

Наталья
ВЕСЕЛОВА

КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА



и другие повести...

Санкт-Петербург
2017



При содействии
Российского Межрегионального
союза писателей
и Академии Русской словесности
и изящных искусств
им. Г.Р. Державина



«Критическая масса» и другие повести.../ Наталья Веселова. -
СПб; Гамма, 2017, - 540 с.

**Иллюстрации и обложка
художника Игоря САФРОНОВА**

В книгу Натальи Веселовой, члена Российского Межрегионального союза писателей, действительного члена Академии Русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, вошли избранные повести разных лет.

***Текст печатается в авторской редакции
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции***

ISBN

Подписано в печать 25.12.2016, Формат 84x108/16,
Тираж 1000, Заказ № 898

Общероссийский классификатор продукции, ОК-005-93;
том 2, 95300 - книги, брошюры.

- © Веселова Н.А., текст, 2017
- © Сафронова Н.А., дизайн,
оригинал-макет, 2017
- © Сафронов И.А., иллюстрации,
рисунок на 1-й стр. обложки, 2017
- © Полякова О.А., портрет автора, 2017
- © Сафронов И.А., фото на 4-й стр.
обложки, 2017

ГАЛАКТИКА ВРАНЬЯ

*О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.*

О. Мандельштам

Глава первая Безумная ночь

Машина то и дело ворчала и дергалась. Когда за рулем сидела мама, бывало совсем не так: она говорила, что «десятка» их старенькая, даже старше, чем Незабудка, а и у той мордочка уже совсем седая. «Незабудку ведь мы жалеем – вот и машину должны пожалеть, а то она не захочет больше нас возить, а новую купить все равно не на что». В сущности, из-за Незабудки Сашенька и вляпалась негаданно в эту подозрительную историю, явно не сулившую ничего хорошего, потому что, если Зинаида Михайловна заметит, то... даже думать не хотелось о том, что будет дальше... Да какая там Зинаида Михайловна! Сашенька осторожно потрясла под пледом головой (точно так же всегда делала ее мама, когда хотела избавиться от неправильных мыслей): пора было перестать притворяться хотя бы перед самой собой – никакой не Зинаидой Михайловной она давно звала про себя эту хитрую и подлую тетку, а Резинкой – закономерно выросшей из Зинки.

Резинка свирепо дергала переключателем скоростей, а ногами проделывала с педалями что-то такое, отчего даже выдавшая виды мамина «десятка» каждый раз захлебывалась от оскорбления и вскрикивала, словно ее пытали. Так, наверное, и есть, сочувственно думала сжавшаяся под горой одеяла на заднем сиденье за спиной водителя Сашенька. Впрочем, если на то пошло то никакая и не Сашенька – так она только сама себя называла, а все остальные, включая и маму, неизменно звали Сашкой – правда, если мама хотела выразить недовольство, то звала дочь Александрой, трагически раскатывая неуместное в девичьем имени «р». А отчим отстраненно называл дочь жены Девочкой – когда в разговоре с мамой изредка считал нужным вскользь упомянуть ее: «Получше бы следила за Девочкой – опять в ванной вода на полу. – Я сейчас... – немедленно срывалась с места мать, с изменившимся лицом кидаясь за китайской шваброй. – Александр-ра! Сколько раз я могу тебе повторять!...». Непосредственно к Сашеньке отчим никогда не обращался – сначала ей казалось, что он намеренно демонстрирует таким образом цар-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ственное пренебрежение к малявке, но потом откуда-то стало ясно, что ее действительно не существует для этого ослепительного, как снег под безоблачным январским небом, красавца северных кровей.

Отчим, Семен Евгеньевич Суворов, появился в доме четыре года назад, когда Сашенька только что закончила первый класс – и сразу стал для падчерицы источником захватывающих дух восторгов и столь же интенсивных терзаний. Невозможно было не испытывать священного трепета перед человеком, словно сошедшим во всем великолепии с победоносного корабля викингов: росту в нем было, по Сашенькиным подсчетам, около двух метров – причем, подсчеты имели место в реальности: она долго прикидывала, на сколько сантиметров голова отчима не достает до верха их югославской стенки, а потом не поленилась взять рулетку, залезть на табурет и измерить получившуюся величину. После всех необходимых арифметических действий, тщательно выполненных на калькуляторе, получилось 196 сантиметров – да еще если учесть, что торс викинга представлял собой почти классический треугольник, то выходило, что Семен Евгеньевич – готовая кандидатура на обложку мужского журнала. Впрочем, голова туда не совсем годилась. Как подметила Сашенька, скитаясь иногда вокруг газетных ларьков (с целью попросить, но так ни разу и не решившись этого сделать, таинственный журнал для девушек, над которым на переменах шептались старшеклассницы), для обложки требовался мужчина, бритый дня три назад – а отчим ее был обладателем светлой курчавой бородки, обрамлявшей твердый подбородок и тонкие губы, – и таких же волос, умеренно коротко подстриженных. Гордый нос с аристократической горбинкой явно принадлежал потомку знатной фамилии, а глаза... Сашенька не знала, как их описать, если кто-то вдруг спросит. Ну, вот если бы вдруг два кусочка неба – только не жаркого, летнего, а такого, как в стихотворении Пушкина про мороз и солнце, – превратились бы вдруг в две льдинки – то, пожалуй, получилось бы что-то похожее на глаза дяди Сени. Это мама велела его так называть – четыре года назад, но Саша только один раз попробовала – и сразу стало ясно, что повторять попытку бесполезно – себе же больней сделаешь.

В тот вечер, когда мама, как всегда, вела свой платный прием, а отчим, тоже как всегда, работал у себя в кабинете, у Сашеньки в комнате вдруг перегорела лампочка – вдруг зазвенела-зазвенела, потом – пырк! – и темнота. Девочка знала, что запасные лампочки хранятся у мамы в стенке, за дверцей наверху – надо только старую вывинтить – кому, как не дяде Сене! Она трусцой перебежала прихожую – там, между шкафом и стенным выступом, было оборудовано нечто вроде спальни для мамы (она называла это пространство «светелкой») – оттуда попала в темную гостиную – и, прокравшись по паласу, не-

«Критическая масса» и другие повести...

решительно замерла перед застекленной дверью кабинета отчима. Матовое стекло мерцало зеленым: на широком письменном столе горела уютная антикварная лампа под плоским стеклянным абажуром. Отчим не знал, что в одном из матовых квадратиков на двери падчерица давно еще процарапала маленькую прозрачную полосочку специально для подглядывания, но сейчас она подсмотреть туда не посмела, на полном серьезе испугавшись, что звук сердца, оголтело колошматившего по ребрам, будет слышен не только в кабинете, но и на улице. Она еле слышно постучала, почти поскреблась в дверь. Ответа не последовало. Сашенька еще раз поскреблась и для пущей убедительности добавила вполголоса: «Дядя Сеня!». Эффект прежний. Тогда она, не сознавая вполне своей дерзости, осторожно потянула ручку – и дверь бесшумно приотворилась, явив взгляду пустой письменный стол с чернильным черного мрамора прибором девятнадцатого века и горячей лампой, ему ровесницей, слегка модернизированной в угоду электричеству.

Семен Евгеньевич никогда за столом не работал: он делал это, сидя на своем кожаном диване и придвинув к нему наклонную конторку с укороченными ножками. Пачка бумаги лежала рядом с ним, а на конторке помещался только один лист. Исписав его своим отрывистым почерком, способностью понимать который была наделена лишь мама, Семен Евгеньевич тотчас же, не глядя, бросал его на пол и брал себе из пачки следующий; когда и на нем не оставалось места, его постигала та же участь – и к приходу мамы от последнего пациента весь пол кабинета оказывался усеянным разрозненными листами рукописи. Отчим никогда не нумеровал их (мама однажды попросила об этом, но он ответил, что не намерен отвлекаться от работы на какие-то цифры), и поэтому мама тратила не меньше часа, чтобы сложить их подряд – сверяя по смыслу последнюю строку каждой страницы с первой на всех оставшихся. После ужина она садилась к компьютеру и бойко перепечатывала все, созданное мужем за день, – и так каждую ночь, потому что иначе неотпечатанного материала накапливалось слишком много, и сидеть за компьютером приходилось не в пример дольше. Потом, когда рукопись была готова, из пасти принтера выскальзывали один за другим красивые, как в книге, листы – но и они постепенно теряли привлекательность, подвергаясь беспощадной чернильной правке, размашисто делаемой отчимом – тогда очередной ночью мама выправляла на компьютере текст, он снова шел на доработку, и так до тех пор, пока Семен Евгеньевич не объявлял, что работа закончена и пора уже отправлять ее в издательство...

Вот почему Сашенька сразу не увидела своего викинга, когда робко заглянула в образовавшуюся щелочку. Она сделала ее по-

Наталья ВЕСЕЛОВА

шире – и тогда ей стало доступно видение холодного строгого профиля над конторкой. Лицо вдохновенного творца как бы испускало сдержанное бледное сияние – и девочка благоговейно прошептала: «Дядя Сеня! У меня в комнате лампочка перегорела!». Не глядя на нее, он медленно поднялся и, на миг словно заняв собой все весьма ограниченное помещение, не торопясь, тронулся – именно тронулся, как теплоход, отчаливший от пристани, – в сторону двери. Сашенька спешно посторонилась, намереваясь дать ему дорогу – но отчим дошествовал только до выхода из кабинета. Мелькнула большая длиннопалая рука – и дверь неслышно закрылась перед удивленным носом девочки. Всё. Неторопливые шаги проследовали в обратном направлении. Вечером она услышала из кухни: «Добейся, пожалуйста, чтобы Девочка не мешала мне работать». Добиваться маме не пришлось: как ни мала была еще тогда Сашенька, а сразу догадалась, что ни при каких обстоятельствах не дождется отклика от отчима – может быть, даже если будет умирать: он раз и навсегда решил для себя, что она не имеет к нему никакого отношения, что ее словно бы нет, так же, как и Незабудки.

Незабудкой звали кошку из породы сиамских, а имя свое она получила за цвет глаз, голубей которых, казалось Сашеньке до явления отчима, быть на свете не может. На беду свою, кошка оказалась не такой умной, как девочка, и, многожды проигнорированная, не прекратила своих домогательств по отношению к новому домочадцу. Быстро съедая разрекламированный хрустящий корм, оставленный утром мамой, Незабудка в середине дня начинала громко требовать следующую порцию, и, если младшая хозяйка уже возвращалась из школы, то насыпала ей из коробки разноцветные комочки сухой еды. Отчим на просьбы кошки никак не реагировал, но по каменному выражению лица было видно, что настойчивый мяв, раздающийся из широкой розовой пасти, донимает его до глубины души. Однажды кошка имела глупость затребовать пищу, когда Семен Евгеньевич вышел на кухню выпить чаю с печеньем, а Сашенька, вернувшись, только еще раздевалась у двери. Коробка с кормом стояла на кухонном столе, и он мог мгновенно протянуть свою длинную руку и насыпать горстку «катышков» в тут же стоящую кошачью миску – заняло бы все не более десяти секунд, и терзающей уши Незабудкин рев в тот же миг утих бы. Но Сашенькин поддельный папа предпочел произвести ряд гораздо более трудоемких действий. Он не погнушался нагнуться, небрезгливо сгрести Незабудку за шкуру – и на глазах у недоумевающей падчерицы вынес кошку в коридор, открыл дверь ванной и без всякого гнева или истерики зашвырнул туда животное, причем, с намерением или нет – но сделал это так, что оно с размаху ударилось головой о чугунную ванну. Кошка толь-

«Критическая масса» и другие повести...

ко хрюкнула – но этого Семен Евгеньевич уже не слышал, потому что отвернулся, когда она была еще в полете. Как всегда, глядя мимо Сашеньки, он степенно удалился по коридору, а остолбеневшая на время действия девочка кинулась спасти свою любимицу. Та была жива, но оглушена и ненормально расслаблена. Сашенька навсегда запомнила расширившиеся зрачки ее выпученных глаз и вязкую струйку слюны вдоль вываленной мокрой тряпки языка. Незабудка пролежала у Сашеньки на кровати два дня, отказываясь от еды и лишь жадно глотая воду, – а потом постепенно оправилась, навечно сохранив панический ужас перед Семеном Евгеньевичем: едва заглянув в его шаги или голос, она молниеносно исчезала под мебелью, а если Сашенька на руках проносила ее мимо двери, за которой находился отчим, то начинала припадочно биться и шипеть.

О поступке красавца-викинга дочка, поколебавшись, все-таки нерешительно доложила маме, постаравшись смягчить краски, особенно рассказывая о равнодушном садизме ее мужа. Мама рассердилась: «Это ни в какие рамки, в конце концов, не влезает! Знаешь, Александра, твои фантазии начинают переходить всякие границы!».

Насчет фантазий это была сущая правда: не то чтобы Сашеньку можно было назвать записной врушкой – просто порой так скучно становилось ей жить на немудрящем свете среди непритязательных людей, что отчаянно хотелось внести толику неопасного приключения, чуть подкрасить мутно-серый фон своего незаметного существования. Ведь мог же и на самом деле сегодня, например, следить за ней после школы какой-то подозрительный дядька – и неумело прятаться за водосточной трубой. Она действительно оборачивалась на улице и почти что видела его – в неброской коричневой куртке и обязательных черных очках, чтоб не опознали бдительные прохожие... Она так и говорила маме: кажется, это был маньяк, но я его перехитрила... Мама сначала пугалась и давала дельные советы относительно людных улиц и пустых подворотен – но вскоре обнаружила, что все маньяки и маньячки Петербурга словно сговорились преследовать ее неосторожную дочь – и махнула рукой, тем более, поняв, что встретиться дочке на жизненном пути настоящий охотник за детскими прелестями – и она, пожалуй, и правда сумеет обвести его вокруг своего тощенького пальчика.

Как и у многих заброшенных интеллигентских детей – а Сашенька относилась именно к этой счастливой категории – у нее давно уже был тщательно придуман и по кирпичику выстроен собственный параллельный мир, легко доступный и всегда спасительный. И в нем она, прежде всего, была любима. В три года – рыжекудрым Аликом Кругловым из параллельной группы, в четыре – артистом, который играл Терминатора (скорей всего – самим Терминатором), в

Наталья ВЕСЕЛОВА

пять – старшим братом-школьником своей подружки по двору Вальки, в шесть – неизвестным мальчиком-спортсменом, ежедневно тренировавшимся с папой на соседней спортплощадке, в первом классе – молодым учителем физкультуры Павлом Олеговичем – всем им она была верна подолгу, не меньше полугода, и в параллельном мире отношения имела отнюдь не платонические – в меру своих представлений в соответствующем возрасте – а уж целовалась, конечно, со всеми. В том же мире иногда можно было набрести на приبلудившегося героя из недавно прочитанной книги – а книг в их доме водилось великое множество, зато на компьютере поставлен был мамой секретный пароль, открывавший Сашеньке доступ в заранее придуманный кем-то иной мир только на ограниченное и подконтрольное время. Да не больно-то ей, по правде, и надо было! По сравнению с ее параллельным, этот виртуальный смотрелся просто как бледная поганка рядом с красным мухомором. А вот в конце первого класса повелительница миров попала в засаду.

Очередным иномирным возлюбленным Сашеньки закономерно должен был стать дядя Сеня – отбросивший там противное приложение «дядя» и превратившийся в ласкового и понимающего партнера по первым эротическим мечтаниям и романтическим прогулкам вдоль побережья Финского залива. Как «папу» она его никогда не воспринимала, твердо усвоив, что таковой ей не полагается: он бросил маму еще до ее, Сашенькиного, рождения, и эта тема была в ее сердце инстинктивно закрыта – возможно, из подспудного стремления оградиться от одной лишней потери. Но ведь возлюбленные появлялись в Сашенькином Зазеркалье не просто так: каждый приходил со своей историей. Алик, например, падал на прогулке и разбивал себе коленку, а Сашенька ее перевязывала; Терминатора она встречала во время войны (ее тоже следовало заранее в деталях придумать) под вражеским обстрелом, Валькиному брату помогала написать домашнее сочинение, за которое он получал «пятерку», спортсмена вовремя спасала от бешеной собаки, а Павел Олегович попросту влюблялся на уроке в свою привлекательную ученицу и сам признавался ей в любви: возрастных препон в Иномирье не существовало. Когда краски Павла Олеговича немного полиняли под обаянием красавца-отчима, проблема оказалась неразрешимой: не могла же она заставить его в своем мире разлюбить маму и предпочесть ее! Куда тогда девать маму? Сделать так, чтобы он маму с ней обманывал? Стыдно! Придумать, чтобы мама умерла? Это уж совсем... того... И Сашенька начала страдать по-настоящему, словно на нее обрушилась несчастная любовь. Странное дело! Ведь предыдущие ее любови («ненастоящие», как она искренне думала про все минувшие, наступившая новой), в жизни тоже были абсолютно без-

«Критическая масса» и другие повести...

ответными, но в своей стране она могла переживать любые страсти – и это полностью заменяло ей безотрадность Реальности. Семена туда было никак не загнать, не пойдя на гнусную сделку с совестью – и потому он как-то неприятно застрял на целых четыре года между тем миром и этим, в этом оставаясь для нее отстраненным, высокомерным и даже где-то опасным человеком, а в тот никак не помещаясь из-за материнских к нему чувств. Ах, если б мама сама его разлюбила! Как бы приятно было там, у себя, его пожалеть! Даже если б мама его после «разлюбления» выгнала из дома, и въяве Сашенька его бы никогда больше не увидела – для параллельного мира такие мелочи значения не имели...

Чтоб выяснить, не идет ли к тому дело, она иногда стеснительно подслушивала – то у кабинета, когда туда входила мать, то у кухни, когда она там кормила мужа, вернувшись с работы. Но с этим девочке как-то не везло. То ей доставалось услышать окончание уже начатого разговора: «Если бы хоть сколько-нибудь денег приносило... Хоть за квартиру платить, что ли... А то ведь в таком режиме ненадолго меня хватит... – Ну, извини, я не виноват, что миром правят деньги. – Я же не говорю про штампованные серийные книжки... Просто чуть-чуть посовременней, подинамичней, что ли... – Знаешь, дорогая, я не бизнесмен, а писатель. Вдохновением не торгую. Уволь-с» – и она на цыпочках отходила вглубь квартиры, зная, что дальше слушать бесполезно – речь идет о скучных взрослых вещах. То вдруг они говорили о чем-то вырванном из контекста и от этого совершенно утратившим смысл: «... бабке с дедом. Потому что твой этот псевдоподвиг уже превращается в абсурд. – Я не могла иначе, и теперь уже ничего не исправишь. Много раз переговорено – почему не перестать? – Нет, мне просто интересно – неужели ты сама до сих пор не пожалела? – Пожалела. Ты сам знаешь, что пожалела. Только не могу в собственных глазах оказаться мерзавкой. – Чем дальше ты с этим тянешь, тем большей мерзавкой становишься. Например, по отношению ко мне... – Да ты бы их только видел! Ни искры интеллекта в глазах! Думаешь, я тогда еще не колебалась?! Но что они дадут... Какое-нибудь текстильное ПТУ – и еще гордиться будут, благодарности потребуют... Жалко, понимаешь? – А меня тебе не жалко? А нас тебе не жалко? Я поражаюсь вашему женскому эгоизму – ни одной глубокой мысли о чем-нибудь, только носитесь с мелочами, как курица с яйцом... – Ну хорошо, хорошо, я что-нибудь придумаю, только не могу вот так сразу... Может, после лета, а? Домик в деревне, а там уже естественным образом, без насилия...» – тут Сашеньке казалось, что неторопливые шаги отчима приближаются к двери, и она бесшумной стрелой перелетала гостиную, успев нырнуть в свою комнату и даже усесться за стол над раскрытым учебником еще до

Наталья ВЕСЕЛОВА

того, как дверь открывалась... Нет, никаких предвестников того, что мама собиралась разлюбить Семена Евгеньевича, эти разговоры Сашеньке не посылали...

Маме, впрочем, попросту некогда было разлюбить своего мужа, потому что, встав в половине седьмого утра, она до ночи не имела возможности «даже присесть с чашкой кофе», как сама выражалась. Утром она наскоро приводила себя в порядок, что означало для нее озабоченную беготню по квартире в полуодетом виде – то со щипцами для волос, то со щеточкой от туши, то с горячим утюгом в руке – между ванной, где судорожно красилась, закутком, где торопливо разбрасывала по своей тахте блузки и юбки, и кухни, где ей надо было успеть приготовить завтрак для мужа, чтобы, проснувшись, по обычаю, около полудня, он мог сразу подогреть еду в микроволновке и, не теряя даром вдохновения, немедленно приступить к ежедневной творческой работе – или отправиться, как часто случалось, на одну из своих долгих пеших прогулок по городу, из которых черпал, по его словам, необходимые сюжеты и образы для романов. С девяти до трех мама работала в неврологическом отделении больницы, на фронтоне которой еще в начале прошлого века было ясно написано: «Для бедных» - понятно, что несчастные бедняки дорого за свое лечение не платили, и поэтому мама с четырех до восьми добросовестно отсиживала в поликлинике при том же богоугодном заведении еще и вечерний хозрасчетный прием, приносящий едва ли больше дохода. С трех до четырех у нее при этом хватало энергии добежать до дома, наскоро покормить немудрящим обедом мужа и дочь и даже просмотреть и подписать Сашенькин дневник или проверить ее упражнение по русскому. После вечернего приема у мамы иногда оказывались еще два или три частных пациента, которых следовало посетить на дому, зачастую в разных концах города – зато прибыток поступал не на кусочек пестрого пластика в конце месяца, а прямо в руку, в виде нескольких красивых фиолетовых бумажек. «Вот, заработала тебе на сигареты!» – радостно кричала она мужу, с порога протягивая деньги, как задобрительную жертву, если видела его недовольное поздним приходом жены лицо. Он рассеянно прятал бумажку в карман новых нарядных джинсов и бормотал: «И когда мы только как люди начнем жить...». Сразу же следовало кормить Семена горячим обильным ужином, потому что после целого дня напряженной умственной и душевной работы за конторкой он к ночи испытывал нешуточный голод, и нетерпеливо переминался на кухне, пока мама суежилась со сковородками. После ужина начинался разбор его бумаг в кабинете и их компьютерная перепечатка...

Сашенька к тому времени уже давно безмятежно спала, сама себе приготовив нехитрую вечернюю еду и мирно поужинав в своей

«Критическая масса» и другие повести...

комнате за книжкой. Если ночью ей случалось вставать в туалет, то неминуемо приходилось идти по коридору мимо маминого закутка – и тогда при свете бра, которого мама так ни разу и не выключила, Сашенька видела всегда одну и ту же картину: мама в лохматом махровом халате, очень тихо, как неживая, спала поверх своего одеяла, с ногами, прикрытыми шерстяным пледом, и с почти неподвижной книжкой на груди. Минуя, девочка осторожно выключала раскаленное бра. Она знала, что мама через пару часов проснется из-за неудобной позы и тогда уже в темноте наденет ночную рубашку и перележет под одеяло как следует...

Интересно, а сколько получает Семен за свои книги, размышляла, вернувшись в кровать, Сашенька. Наверное, много, думалось ей, ведь писатели – народ богатый... Тогда куда же он деньги деваает? Почему еще и от мамы берет? Или это шутки у них такие? Непохоже... И ей начинало вдруг смутно казаться, что она просто, должно быть, всего не знает, а мама считает ее маленькой и ничего ей не говорит. А на самом деле, отчим только притворяется обычным писателем, а сам пишет какую-то трудную ответственную работу про новое оружие, которую нельзя до времени рассекретить, а то враги прознают и убьют его. Отсюда и эти странные отлучки Семена Евгеньевича – он ходит собирать нужную ему информацию. А не пускает он Сашеньку к себе в кабинет и всячески ее отталкивает, потому что думает, что она еще несмышленое дитя – увидит что-нибудь, проговорится подружкам – и тогда всем конец. Не знает, что на нее можно положиться: она спортсмена от бешеной собаки спасла и вместе с Терминатором против захватчиков воевала... А потом, когда секретная работа отчима будет закончена, он получит за нее много денег – вот тогда они и заживут «как люди», мама перестанет надрываться за двоих, будет только отдыхать да для собственного удовольствия принимать на дому частных пациентов... И тогда Сашенька подойдет к маме, хитро улыбнется и скажет: «А я ведь давно все знала, только не говорила: вы все равно бы меня слушать не стали!». Мама поцелует ее в голову, чего давно уже, почти четыре года (Сашенька считала), не делала, и ответит, что она умница, умеет хранить государственные секреты, и теперь они всегда станут ей доверять...

В любом случае, Сашеньку никто не трогал, не мешал ей уединенно проводить время с книгами и мечтами, пугающее словосочетание «воспитательный процесс» ассоциировалось только с трехэтажной одиннадцатилеткой во дворе – но и там Сашенька предпочитала держаться в тени, довольно легко схватывая учительские объяснения на уроках, но предусмотрительно не выпячивая свои, в общем, незаурядные способности, чтобы избежать пристального взрослого внимания и под «процесс», как под танк, не угодить. Ее

Наталья ВЕСЕЛОВА

главная жизнь – и в школе, и дома – текла по недоступному посторонним руслу, и настоящие Сашенькины героини и друзья не могли быть ни отняты, ни украдены – а то, что происходило вовне ее личного мира, особого значения не имело. Пока не появилась в самом начале осени Зинаида Михайловна.

Какая она была красивая! А росту какого! Почти с Семена Евгеньевича! Ну, нет, поменьше, конечно, но все равно – впечатляло. Мама рядом с ней казалась крошечной мышкой-полевкой – да еще и мельтешила, суежилась, пищала что-то жалобное, собирая на стол угощение – тоже, наверное, неловко себя почувствовала, увидев гостью... Да и то сказать – при их-то с мамой мальчишеской комплекции, коротких блондинистых стрижечках да одинаковых плоских грудках, оказаться по соседству с пышной, высокой и осанистой дамой, обладательницей темной кудрявой гривы до пояса, небрежно заколотой бриллиантовым полумесяцем, расписных сверкающих ногтей и множества экзотических браслетов – значило мгновенно ощутить себя даже не курочкой Рябой, а щипаным воробышком... Сашенька как застыла на пороге комнаты, глядя на женщину, вальяжно раскинувшуюся на диване с чашкой кофе и лучшим в доме блюдцем в руках, – так и стояла там очень глупо, пока мягкая мамина рука не подтолкнула ее в направлении коридора, в ответ на мужнино: «Катя, забери Девочку, пожалуйста...».

Дверь тихо закрылась за ней, но не было на свете силы, заставившей бы в тот момент Сашеньку покорно проследовать по коридору в свою комнату, а не прильнуть со страстью к такому же стеклянному прямоугольничку, проскобленному в свое время на двери гостиной, какой был приспособлен и для подглядывания за Семеном Евгеньевичем в его кабинете. Звуки вежливых голосов потускнели – да и дела там обсуждались все те же непроницаемо взрослые: Сашенька точно знала, что ничего ни интересного, ни полезного для себя не услышит, и поэтому лишь смотрела, едва дыша, сквозь незаметную другим царапинку на необычную женщину, ничуть не похожую ни на одну из маминых подруг, что до появления Семена Евгеньевича по выходным забегали к маме... Смутно-притягательной опасностью веяло от нее – от низкого красивого голоса, от уверенных жестов, от раскованной, но изысканной позы, от приветливой многозубой улыбки... Неинтересные слова, произносимые Зинаидой Михайловной, доносились до Сашеньки весьма отрывочно, ничуть не облекаясь в смысл: «Ну конечно, необходимо... Не такие уж и большие деньги, чтобы их не найти... Зато я профессионал... Элитная литература... Шедевр, сами, понимаете, требует золоченой рамы... Простите, не для быдла... Никому не доверю, сама напишу... Разумеется, согласуем... Ну, начнем вот с этого последнего, а

«Критическая масса» и другие повести...

там... Без книги все равно не примут... Само собой, вхожа... Прислушиваются, как же иначе... Окупится сторицей – будьте уверены...».

Смешанные чувства она вызывала – вот бы посмотреть, какого цвета у нее глаза... Но дама так же естественно, как и отчим, не обратила на Сашеньку никакого внимания, даже когда спустя часа полтора просталась с хозяевами у дверей. Она и взглядом по девочке не скользнула, не просюсюкала для приличия, как это обычно принято у взрослых – для услады родителей, что-нибудь вроде: «Чудесный ребенок! Сразу видно, талантливая девочка, вся в маму!». Через некоторое время после ее ухода мама как бы вскользь обронила при Сашеньке, что повезло им с этой Зинаидой, потому что она теперь, как будто, собирается для «дяди Сени» хорошенько потрудиться – может, тогда все и обернется еще в лучшую сторону...

- А кто она такая? – осмелилась спросить Сашенька...

- Да ты все равно не поймешь... – на бегу пожалала плечами мама. – Ну, помогает книги печатать, статьи пишет вступительные, комментарии, редактирует тексты...

- А что такое «редактирует»?

- Я же говорила, не поймешь! Да это тебе еще и незачем... – и на том вопрос о статусе новой знакомой был решительно исчерпан.

Сашенька колебалась несколько дней, не зная, стоит ли каким-нибудь боком запихнуть Зинаиду в свой карманный Иномир, но места для нее там пока не находилось, и девочка на время отложила даму про запас, предполагая дать ей там роль сразу же, как только подвернется подходящая вакансия.

А между тем, Зинаида у них в доме начала появляться регулярно. Сашеньке почти никогда не приходилось на нее нарываться, потому что таинственная посетительница ухитрялась ускользнуть до возвращения подневольной школьницы, – но следы ее недавнего присутствия девочка чувствовала всегда – другое дело, что доказательства, что чувства ее не ошибочны, долго получить не могла... Витал в гостиной и прихожей какой-то тончайший, неуловимейший – не запах даже, а дух – холодный, почти морозный – и это когда прела под непонятно жарким сентябрьским солнцем палая листва в их глубоком двореке... Этот оттенок льдистости Бог знает почему еще с первой встречи прочно ассоциировался с Зинаидой – возможно, из-за голубовато-белой, скользкой на вид шелковой блузки, в которой она явилась впервые. А вот ее машина, стоявшая в тот первый день под окнами, была ярко-красная, прямо огненная, вся какая-то круглая, широкая и низкая – совсем, казалось, не подходящая, разве что по контрасту... Машина больше во дворе не стояла, во всяком случае, Сашенька ее не видела – до того единственного дня, когда в

Наталья ВЕСЕЛОВА

октябре вдруг обрушилось в школе неожиданное везение: внезапно заболела русичка, обычно по средам терзавшая их аж два часа кряду, и классу были прощены не только ее два урока, но и заключительный компьютерный, так что Сашенька оказалась дома сразу на три урока раньше, чем обычно, всего лишь в одиннадцать часов неулыбчивого денёчка...

Ключ от двери у нее уже год был свой – после того, как закончились младшие классы с муторной продленкой. Открыв их предательски бесшумную дверь, она услышала знакомый грудной голос из гостиной – только он теперь походил не на мурлыканье сытой черной пантеры (если они вообще умеют мурлыкать, как положено кошкам, пусть даже и таким огромным), а на отрывистый лай охрипшей дворняжки:

- ... и не заметить, что порвалась резинка!

«Вот-вот, точно – Зинка-Резинка! – пронеслась у Сашеньки вполне законная мысль. – Из-за какой-то резинки так на человека орать...».

- Между прочим, – раздался раздраженный голос отчима, – я от этого могу еще больше пострадать, чем ты... Откуда мне знать?

- Что?! – загремел уже не лай, а вой. – Да ты что ты себе... – и в этот момент бесшумно в темноте криваясь по коридору Сашенька громко споткнулась о неожиданное препятствие, оказавшееся чужим полусапожком на шпильке, и кинулась вперед уже не таясь, сразу услышав, как в комнате помянули черта.

В следующий миг она одним прыжком проскочила мимо настежь распахнутой двери в гостиную, но и этот миг успел медьком показать видение белой-белой голой руки в браслетах, хватающей с дивана нечто воздушно-кружевное... Еще не добежав до своей комнаты, Сашенька уже знала, что Резинка (это имя теперь было присвоено раз и навсегда) находилась в гостиной наедине в Семеном Евгеньевичем – совсем раздетая! Без ничего! И резинка-то, наверное, порвалась у нее... на трусах! Сашенька стремительно закрыла дверь своей комнаты и в непредвиденном изнеможении упала на нее спиной. Вот оно что... Теперь ясно, что они там делали – ребенка! А мама об этом не знает... Сказать? Но что с ней тогда делается! Только на той неделе она из-за единственного волоса такое устроила...

Неделю назад после ужина мама, как обычно, принялась сортировать мужнины исписанные листы, присев на диван и каждый раз устало нагибаясь с него за очередной страницей рукописи. Отчим задумчиво курил у открытой форточки, неопределенно глядя в заоконную непрозрачную тьму. И вдруг, прямо на ровном месте раздался мамин визг, словно она увидела хвостатого грызуна непосредственно у себя на коленях:

«Критическая масса» и другие повести...

- А-а! Это! Длинный! Черный и на подушке! Откуда он там?! Откуда, спрашиваю, а?! Работали, говоришь! Творили! Теперь понятно, чем работали! Что скажешь – не понятно?! Вон!!! – это последнее относилось к перепуганной Сашеньке, сунувшейся было в кабинет на помощь внезапно заголосившей матери; она поспешно ретировалась, успев, однако, углядеть, что меж двух пальцев та зажала не змею двухметроворостую, а всего лишь безобиднейший вьющийся волос, толстый и неприятно жесткий на вид.

Но отбежала девочка недалеко – только до двери в коридор, чтоб удобно было за нее спрятаться в случае неотложной надобности, поэтому беспрепятственно услышала:

- Удивлен, что только один. Она три часа сидела вот на этом самом месте за конторкой и читала рукопись.

- А в гостиной она не могла, значит... Читать рукопись... За столом, как все нормальные люди... На подушке, значит, ей непременно надо было читать! – несколько сбавила обороты, но еще не сдалась мама.

- Не знаю... Не знаю! – с обычной интонацией медленно, но надежно заводящегося человека, отозвался отчим. – Где хотела, там и села. Не мог же я ее согнать – как ты это себе представляешь?

- Клянись! Клянись, что не врешь! – после зловещей паузы, во время которой что-то резко и страшно протрещало, вдруг четко и зло выкрикнула мама. – Вот на портрете своей матери клянись! Пусть она в гробу перевернется, если ты... – дверь кабинета мягко закрылась и дальше пошло уже: «Бу-бу-бу ...женскую истерику... Бу... Бу...».

Но мать, закрывшись в ванной намертво, под шум воды прорыдала тогда часа четыре – пока Сашенька, уставшая ждать развязку, не заснула с нечищеными зубами...

Если уж из-за волоса, так легко и правдоподобно (как теперь оказалось, лживо насквозь) объясненного, она чуть в уме не повредила, то теперь, когда узнает такое... «Пока подожду, – твердо решила Сашенька. – Ведь ребенка сделать – это быстро. Получит, что хотела, и перестанут. Может, это она сегодня второй раз пришла, чтоб для гарантии он получился, чтоб уж наверняка – и не придет больше. Она ведь про Семена какую-то статью пишет, вот и сказала ему, наверное: я про тебя статью, а ты мне за это – ребенка: у меня мужа нету, а ребеночка хочется... Ну, или как там взрослые, которые не муж и жена, об этом договариваются... Тоже ведь не сразу решишься на такое...».

Как делают детей – это она прекрасно знала, не маленькая ведь уже! – да и видела раз, что уж греха таить. Одноклассница еще прошлой весной загнала ее к себе домой после уроков и, загадоч-

Наталья ВЕСЕЛОВА

но ухмыляясь, запустила на компьютере диск с голыми дядьками и тетками, которые попарно занимались такими ужасами, что у Сашеньки на некоторое время и вовсе речь отнялась. Но соседка по парте спокойно, по-взрослому, пояснила, что это вот так делают детей, то есть именно таким образом выглядит процесс оплодотворения семечка, которое сидит в животе у женщины и потом вырастает в ребеночка с помощью мужчины, о чем учителька по ОБЖ по-научному рассказывала. От них только скрыли (побоялись, что малыши испугаются), что все это кошмарно больно – вон, как тетьки орут, как будто их гестапо пытается...

- А что, нам тоже... Когда мы вырастем, женимся и захотим ребенка... Также придется это... делать... – совершенно обескураженная, выдавила Сашенька.

- А куда мы денемся, – подчеркнуто безразлично пожалала плечами одноклассница. – Все так делают, и мы будем.

Великолепное безразличие девчонки, как потом догадалась Сашенька, происходило от сознания того, что «в гестапо» ей очутиться предстоит очень нескоро. Еще Сашенька запомнила свой облегченный выдох, когда вдруг она определенно поняла, что мама с отчимом такими гадкими вещами не занимаются, хотя мама, вроде бы, и просила его о ребенке – так почудилось через стену однажды субботней ночью, когда мама что-то долго, за полночь, засиделась в кабинете у отчима после манипуляций с рукописью, а Саша снова пробежала в туалет. Но мама тогда получила холодный исчерпывающий ответ: «Нет уж, извини: в этом вопросе у меня позиция твердокаменная: детей у нас не будет, и давай подобных разговоров не возобновлять...». А Резинке, выходит, согласился помочь: да впрочем, что ему стоило, не ему же больно было, а ей, и денег она у него на ребенка потом потребовать не сможет, ведь он не ее муж... Поэтому маме Сашенька так ничего и не сказала, тем более что аж до самого ноября чужим духом с тех пор в квартире не пахло...

Осенние каникулы, самые нелюбимые из всех за отсутствие нормальных праздников и недостаток света, только что закончились, оставив по себе лишь легкие сожаления. Сашенька провела их, в основном, в своей комнате, у окна, где на широком подоконнике, над желтым колодцем двора, у нее за занавеской была оборудована личная сокровищница. Девочка имела одну занятную особенность психики: она всегда стремилась все, что было в разной степени дорого сердцу, концентрировать в одном месте, чтобы на случай внезапной необходимости иметь под рукой. Под таким случаем в глубине души она всегда понимала неожиданное бегство, очень здраво рассуждая, что в то ненадежное время, в которое ей выпало родиться, ни для кого вовсе не исключается возможность пронзительного ночью

«Критическая масса» и другие повести...

го звонка (или даже сирены) с последующей паникой, метаниями и психопатическими сборами. В самом углу на подоконнике лежал аккуратно сложенный пакет, куда такой безумной ночью, если она все же наступит, Сашенька рассчитывала одномоментно сгрести все, с чем расставаться не хотелось, и таким образом обрести свой маленький, но гарантированный покой среди обязательного взрослого хаоса.

Все сокровища были строго систематизированы и содержались в отменном порядке, каждое в отдельной круглой жестяной коробке из-под датского или финского печенья. Одна хранила фантики от конфет – но не все подряд, а только прошедшие строгий отбор в смысле необычности и нарядности; другая – разные хорошенькие штуки, обязательно о чем-то напоминавшие: кусочек Балтийского янтаря, осколок пурпурного стекла, фарфоровый львенок с мизинец размером, несколько разноцветных стеклянных шариков, раскрывавших свои тайны только при разглядывании на свет, медная цифра «9», похищенная с двери некогда любимого, но теперь оставившего лишь солнечные воспоминания мальчика; третья содержала «энзе» Сашенькиной косметики, то есть, неначатые тюбики девичьих блессток, пузырьочки с розовым лаком, подаренную маме пациенткой, но по цвету не подошедшую ей помаду и пакетик шипучих шариков для ванны... Главные драгоценности торжественно хранились не в простой коробке, а в настоящей шкатулочке «под Палех», и существовали среди них даже розовые бусы из ровного речного жемчуга, и янтарный паук с булавочкой, и четыре золоченых колечка: одно с синим, другое с зеленым, третье с красным, а последнее с тремя сиреневыми камушками – правда, все они были пока Сашеньке немножко велики...

Жила на подоконнике и любимая ее игрушка, старинное елочное украшение: фея из легкого небьющегося стекла в пышном платьице потемневшего за сотню-полторы лет шелка, со смысленным фарфоровым личиком, настоящими волосами – золотистыми локонами, ничуть не утратившими своего блеска и, главное, с двумя хрупкими прозрачными крылышками, сделанными из тончайшей слюды или чего-то похожего, имевшими безупречные серебряные прожилки – а еще носила фея снимающиеся блестящие тубельки на каблуках и с пряжками... В свои почти одиннадцать лет Сашенька понимала, конечно, что ее Аэлита (так она назвала свою маленькую подружку, «слизав» волшебное подходящее имя с корешка взрослой книги из мамино шкафа) – неживая, ничего не понимает, и никогда не посочувствует. Но когда она думала о тех десятках девочек и взрослых дам, что за все эти невообразимо длинные десятилетия прикасались к Аэлите, разговаривали с ней, любили ее и восхища-

Наталья ВЕСЕЛОВА

лись ею, Сашеньке невольно казалось, будто каждая их них из что-то такое вдохнула в эту небольшую куколку, что она как бы стала полудошевленной, а значит, не совсем такой, как современные пластмассовые клончики Барби и Синди... Стоять Аэлита не умела, потому что во все суставчики ее были вделаны шарики, чтобы ручки и ножки сгибались, и обречена была вечно либо сидеть, либо висеть, причем последнего ее лишила Сашенька после того, как Валька из соседнего подъезда, увидев Аэлиту, подвешенную для красоты к оконной ручке, вдруг прыснула: «Чего это у тебя – елочная игрушка из-за несчастной любви повесилась?». Тогда пришлось срезать с Аэлитиною затылка круглую петельку, состоявшую из крошечных серебряных шариков, – чтоб действительно не была она похожа на казненную партизанку... Сашенька с Аэлитой не играла – не знала, как это – а просто ей невыразимо радостно было иногда на нее смотреть и знать, что вот эта прелестная вещица – ее и больше ничья, и все девчонки ей завидуют, в обмен предлагая даже французскую косметику с тремя отделениями!

Лежали на подоконнике и наиболее любимые Сашенькины книги – например, «А зори здесь тихие...» – она даже с одной из своих Барби или Синди содрала купальник и передела ее в собственноручно сшитую солдатскую форму, решив, что пусть это будет Женя Комелькова, и посадила ее прямо на книгу, иногда перечитываемую... «Детская астрономия» тоже имелась, прислоненная к окну и раскрытая на развороте с изображением черной-черной галактики, неодолимо привлекавшей Сашеньку обилием таинственных планет, на каждой из которых гипотетически предполагалась разумная жизнь – и такая же вот Сашенька, только с шестнадцатью, например, щупальцами вместо рук, ничуть не мешавшими ей быть самой красивой в своем классе...

Так что в каникулы было Сашеньке чем заняться, да и скучавшая Валька частенько зазывала ее к себе – и тогда, случалось, смотрели по четыре фильма ужасов в день, заедая их славными орешками кешью и быстро опротивевшими чипсами... Каникулы девочки благополучно промаялись, и началу занятий сумели даже смутно обрадоваться... Все бы так и шло – сонно, уныло и благополучно, если бы не Незабудка с ее неугасимой страстью к свободе...

В ту ночь Сашеньке не спалось: она еще не успела как следует утомиться от учебы и ранних подъемов, и поэтому тихо и уютно лежала под розовым пуховым одеяльцем, то плывя словно под водой бытия среди спокойных и бессмысленных образов, то вдруг выныривая на поверхность своей не совсем темной комнаты, где сквозь матовые квадратики на двери мерцало голубоватое мамино бра, не погасшее еще в «светелке»... В очередной раз она вынырнула к себе

«Критическая масса» и другие повести...

в комнату от звука мобильного, неожиданно зазвонившего за стеной, в кабинете отчима. Это и днем-то было событием – обычно Семёну звонила только мама – а уж ночью! Сашенька насторожилась, но толстые стены старого здания, как всегда, позволили разобрать только традиционное «Бу. Бу. Бу-бу-бу». Время спустя она услышала, как отчим открывает дверь гостиной и тяжело шагает по коридору по направлению к входной двери. Сашенька села в постели и напряженно прислушалась: так и есть – выходит! Это не сулило ничего хорошего, потому что отчим, не мысливший жизни без длительных прогулок то днем, то ночью в любую погоду, уже несколько раз по рассеянности (а может, и по злему умыслу) выпускал на лестницу неугомонную Незабудку, проводившую большую часть своей коротенькой и в целом бессмысленной жизни, притаившись под вешалкой и карауля входную дверь в надежде, что удастся в очередной раз выскользнуть на улицу и вкусить там от прелестей малодоступной воли или, хотя бы, успеть придушить в подвале сытную бурую крысу. Вот и на этот раз дверь тягуче взвизгнула в открывательном движении – но сколько ни напрягала Сашенька слух, ожидая услышать щелчок, его не последовало, что означало совершенно возмутительную вещь: отчим отправился на свой непонятный «моцион», вовсе не закрыв двери и предоставив таким образом не только Незабудке свободный выход – но и любым грабителям беспрепятственный вход! Это не лезло совсем уже ни в какие ворота, и времени терять было нельзя. Сашенька сунула ноги в свои теплые «зимние» тапочки на бесшумном войлоке и, как была, в байковой пижаме, устремила в коридор – мимо каменно спавшей под голубым ночником мамы – к отчетливой тусклой щели в конце. Дверь оказалась и правда открытой! Можно было не сомневаться, что Незабудка уже на лестнице и воровато крадется вниз, настороженно втягивая желанный воздух странствий своим трогательным коричнево-бархатным носом.

Простудиться за такой короткий срок Сашенька не боялась и поэтому, проскакивая мимо вешалки, не стала прихватывать с нее на ходу свою красную курточку: вдруг Незабудка добралась уже до низу! С такими мыслями девочка и выскочила за дверь, в первую же секунду убедившись, что кошки на их площадке уже нет, а во вторую – что отчим вовсе не отправился черпать вдохновение на черных влажных улицах. Его голос ясно доносился с площадки всего лишь этажом ниже:

- ...безумие. Не стоило тебе и приходить сюда.

Ему отвечал резкий, совсем не похожий на обычный, но по некоторым интонациям все же узнаваемый голос: несомненно, это была она, Резинка, прибежавшая ночью к чужому мужу, с которым делала ребенка – какова, а? Она едва сдерживалась, чтобы не начать орать

Наталья ВЕСЕЛОВА

на Семена, как *тогда*:

- Но у меня выхода нет! Все знакомые – либо общие, либо бабы!

- Не знаю, – то ли сдержанно, то ли раздраженно отвечал Семен. – В любом случае, ни меня, ни ее я впутать в такое не позволю. На твоей – так и быть. Но только здесь – и я иду домой пешком. Там сама справляйся... А вообще-то я и того делать, пожалуй не стану: риск уж очень велик!

- Семен! – шепотом заорала Резинка. – Тогда мы, может, видимся в последний раз! Потому что мою, приметную, если узнают...

- Что ж, в последний, так в последний. У тебя все? Мне холодно, пусти меня, я хочу спать, – уже не скрывая враждебности, громко заговорил Семен.

- Ах, так! – снизу послышалась возня, будто они боролись. – Хорошо же! Я тебе тоже обедню испорчу... Будешь меня помнить... Беленьким хочешь выйти... Чистеньким... А вот я сейчас мышь твою амбарную как позову! Да как расскажу ей про все наше хорошее! И фамилию доктора, который в их же больнице третьего дня чистку делал! Поверит, поверит, не сомневайся... Ишь, чего захотел! Как я его проблемы решаю – так он шелковый... А как мне вот столечко понадобилось... Ай! Идиот! Сволочь! – это последнее прозвучало уже в полный голос, и Сашеньке пришлось в одну секунду взвиться на пролет выше, потому что она отчетливо услышала, как отчим, явно отшвырнув собеседницу к стене, через ступеньку шагает наверх.

Резинка догнала его почти перед дверью, как большой черный бульдог уцепилась ему за рукав и, быстро-быстро проговорила: «Нет-ты-так-просто-от-меня-не-отделаешься...», вдруг с шумом набрала полные легкие воздуха и громовым голосом выкрикнула:

- Эй! Ты! Ка-те-ри... – притаившаяся за лестницей Сашенька как раз выглянула и увидела, что именно в этот миг отчим своей огромной ладонью зажал женщине рот и нос.

Одновременно он схватил ее за шкуру и подтащил к стене. По-прежнему не позволяя Резинке ни говорить, ни дышать, хоть она и мычала, упираясь руками ему в грудь, он нагнулся над ней, тихо прорычал:

- Еще раз твякнешь – сдохнешь, поняла? – и только после того отнял руку от ее лица.

Резинка бурно задышала, но возражать не посмела. Семен продолжал:

- Значит, так. Я тебе помогу, но эта наша последняя встреча. Чтоб ты после этого проваливала – и я бы никогда ничего о тебе больше не услышал. С завтрашнего утра мы незнакомы. Все. Жди здесь.

«Критическая масса» и другие повести...

Отпустив свою жертву, он мгновенно скрылся в квартире.

Только после этого Сашенька решила тихо выдохнуть. Сердце ее колотилось так, что ей показалось даже, что она сейчас умрет. Ноги подкашивались. Никаких стройных мыслей в голову не приходило, кроме одной, проскакавшей галопом и канувшей: «Вот это да... Спятели они, что ли, оба...». Но любопытство пересилило, и она вновь с великой осторожностью выглянула из-за верхней лестницы, нагнувшись над перилами – и как раз вовремя, чтобы увидеть уж и вовсе невероятную вещь: Резинка тихонько приоткрыла дверь их квартиры, засунула внутрь руку и принялась осторожно шарить в поисках неизвестно чего. Сашенька заворожено наблюдала, почти перестав дышать – и увидела, что Резинка вытащила обратно свою руку, но не пустую! В ней оказалась черная мамина сумка, которую мама, возвращаясь домой, всегда вешала на ручку входной двери изнутри. В этой сумке, знала Сашенька, хранилось все-все-все: семейные деньги, ключи, мамины документы и права, косметичка, совсем новый зонтик, лекарства для мамы и частных больных, бланки рецептов, мамина личная печать, даже два золотых колечка в коробочке, снимаемые мамой, когда пальцы от усталости распухали, и надеваемые утром обратно... И вот все это вытянула сейчас из-за двери проклятая Резинка! Только теперь все встало на свои места: Резинка-то, оказывается, попросту воровка! Все очень легко: вошла в доверие, прикинулась другом семьи... Уже, наверное, и из дома что-нибудь украла, только мама пока не хватилась... А напоследок решила стащить сумку, чтоб уж наверняка добыча крупная была... Сейчас тихо-тихо побежит вниз по лестнице, пока Семен не появился... Ну уж дудки – улизнуть-то ей не удастся, надо закричать... Мама услышит... Господи, как страшно... А вдруг она только крикнет – а Резинка ее за это убьет... Очень даже просто... Стукнет головой о стенку пару раз – и мозги наружу... Как же быть...

Но Резинка непонятно почему убежать не собиралась. Она преспокойно стояла под дверью, закинув сумку за плечо и опустив голову, и тоже чего-то ждала... Сашенька решила не торопиться с разоблачениями и подождать того же, чего и Резинка. Девочка разглядела, что одета она была в черную кожаную куртку со светлым мехом вокруг капюшона – точь в точь в точь такую же носила и ее мама. Вот Резинка подняла капюшон, и стало даже страшновато: мамина куртка, мамина сумка, а лица не видно... Дверь снова открылась и пропустила отчима, одетого в свой замечательный английский пуховик, привезенный ему мамой из дальней командировки на какую-то врачебную конференцию. Не глядя на Резинку и ни слова не произнося, он направился вниз, зная, что она поспешит за ним. Так и вышло. Резинка, а вместе с ней и мамина сумка, начали удаляться

Наталья ВЕСЕЛОВА

от изумленной девочки в неизвестном направлении. Она медлила не более секунды. Ведь если и не удастся отобрать мамино достояние у этих опасных и непонятных взрослых, готовых немедленно убить не только ее, мелкую Сашеньку, но и друг друга, то нужно хотя бы знать, куда они собираются, чтобы маме потом легче было направить милицию! И Сашенька, не чуя ног и холода, тоже неслышно заскользила по ступенькам в своих войлочных тапках...

Бесшумно приоткрыв дверь парадной, она выглянула во двор, как всегда, освещенный двумя мутными фонарями, торчавшими с противоположных сторон. Был тот глухой час ночи, когда в домах тускло светится лишь унылый ряд лестничных окон, и только разве случайно горит где-нибудь тревожное бессонное окно... «Пи-пи!» – раздался хорошо знакомый Сашеньке звук, и одновременно вспыхнули рубиновые огоньки на машине. На маминой машине! Час от часу не легче! Резинка, оказывается, уже выудила из сумки ключи и намеревается угнать еще и машину! А свою куда денет? Вон же она, красная, блестит как раз под фонарем на другом конце двора! Почти не думая, что делает, Сашенька шла прямо к маминой «десятке», зная, что у той уже непостижимым образом открылись все четыре дверцы. А те двое меж делом направлялись к роскошной пламенеющей красавице. Открыли эту, а идут к той... Сашенька запуталась совершенно, да и к тому же ощутила реальное неудобство: ее войлочные подметки, попав в ледяную ноябрьскую лужу, мгновенно пропитались холодной водой и теперь отяжелели и хлюпали на ходу. Вернуться назад? Но ведь здесь творится что-то немыслимое! Разбудить маму? Но вдруг они успеют за это время сбежать с сумкой, а потом выпотрошат ее по дороге, выкинут и скажут, что глупой девчонке все приснилось... Сашенька осторожно щелкнула ручкой задней дверцы – щелчок был у нее совсем тихий – и быстро запрыгнула внутрь машины на заднее сиденье. Там, за водительским креслом, еще оставалось огромное зеленое ватное одеяло, которое мама приготовила для отправки в деревню в минувшие выходные, да так и не собрала ее туда, пролежав с головной болью всю субботу, а воскресенье посветив любимому Семенову борщу и нежным куриным котлетам... Одеяло было плохо сложено – и Сашенька, послушная мгновенному наитию, забралась под него и, вжавшись в угол, накрылась с головой. Такая она была маленькая и тщедушная, что одеяловый ком на заднем сиденье, если особенно к нему не приглядываться, мог и не выдать запрятанного в нем любопытного ребенка, тем более что внутреннее зеркало в машине давно уже отсутствовало – попросту оторвалось однажды – и мама привыкла обходиться двумя надежными боковыми...

Девочка осторожно высунулась – но сразу отдернулась и за-

«Критическая масса» и другие повести...

мерла, потому что у передней пассажирской дверцы неожиданно возник Семен. Привычным движением он распахнул дверь и плюхнулся – точно, как когда за руль садилась мама, чтобы везти его по делам или за город. Сам-то он водить не умел и учиться не хотел принципиально – «Я для этого не создан» – и доволен был, что мама у него не только секретарь, но еще и личный водитель. И теперь он так же вальяжно раскинулся, в то время как Резинка молниеносно закинула в багажник что-то гулкое, принесенное из своей машины – пустую канистру, как определила Сашенька. А потом Резинка похозяйски – наглость какая! – уселась на место водителя... Сашеньке стало ясно, что сейчас они все куда-то поедут, на миг отчаянно захотелось выскочить и с ревом помчаться вверх по ступенькам к маме, но она подавила свой порыв – не от мужества, а от великого страха: ведь ясно же, что и трех метров ей пробежать теперь не дадут... А поймают – и... Что сделают?!

Машина закряхтела, но не завелась.

- Чертова раскорячка... Она у вас каждый раз так заводится? – остервенелым шепотом спросила Резинка.

Ответа не последовало, но Сашенька знала, что Семен величественно пожал плечом: он всегда так делал, если не желал общаться. Машина заурчала было, но дернулась и заглохла уже надолго. Пытаясь с ней справиться, Резинка ругалась именно теми словами, про которые мама всегда говорила дочери: «Когда услышишь их – сразу же плотно зажми уши». Но здесь Сашенька так не сделала, боясь вдруг пропустить заодно и что-нибудь существенное – и узнала, что:

- В жизни я не сидела в рыдване с механической коробкой! Только в автошколе сто пятьдесят тысяч лет назад! Что тут сначала, блин, сцепление?! Передача первая – эта?

- Понятия не имею. Не интересуюсь, – снизошел, наконец, отчим.

После еще нескольких бесплодных рывков, толчков и подпрыгиваний «десятка» все-таки мученически тронулась и поначалу медленно, но, постепенно дойдя до весьма резвого аллюра, отправилась в крошечную ночь, увозя с собой двух взрослых озлобленных на мир и друг на друга людей и – контрабандой – ничего не понимающего, но уже победившего первый испуг ребенка.

Догадавшись, что визави в беседу с ней вступать не намерен, Резинка тоже замолчала, сосредоточившись на нелегком управлении, а Сашенька ломала голову – включит ли она отопление, потому что, хотя под толстым одеялом ей пока еще и было относительно тепло, но мокрые ноги на полу леденели с ужасающей скоростью. И вдруг отчим заговорил сам:

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Мне только интересно – на хрена ты это сделала?

- Я уже объяснила: там мою красную все вокруг знают. Даже ночью может заметить кто-нибудь. А таких, как эта – воз и маленькая тележка. И никакой связи... – тихо отозвалась Резинка.

- Это я давно понял. Я не о том. Я спрашиваю, своего благодетеля-рогоносца ты зачем к бабке в гости отправила? – перебил Семен.

- Я же говорила, что не отпраляла – он сам...

- Говори-говори... - усмехнулся он. – Теперь получишь всю его фирму себе, поставишь управляющего на скромном окладе и будешь только барыши загребать... «Сам» – скажите, пожалуйста!

- Да, сам! – повисила голос она. – Только ведь если и ты мне не веришь, то неужели думаешь, что другие поверят?

- Другие скорее поверят – потому что тебя не знают. А я разобрался немного, что ты за птица, потому и не верю.

- Не веришь и не надо, а только как сказала, так и было... Полез пьяный – дай, гаду... Ага, как же, от него разит как из бочки, потный весь, вонючий, да и мне бы недельку еще побережешься... А то кровотечение как раз плюнуть – и опять на кресло. Спасибочки... Как толкану его... Пойди, говорю, проспись, боров... А дальше как в фильме ужасов. Размахнулся кулачищем, да равновесие потерял с пьяных глаз... Я и пикнуть не успела, как он хрястнулся... А у нас знаешь, стол на кухне с крышкой мраморной... Ой, блин, ГАИ, что ли, среди ночи?! – вскрикнула она, инстинктивно давя на тормоз.

- Вот-вот... Здесь и закончится твой путь-дорожка. Имей в виду, это только твои проблемы, я ничего не знаю, – без всякого злодства, с искренним равнодушием произнес отчим.

- Какой ты все-таки гад... – тихо сказала Резинка через несколько секунд, когда опасность нежелательной встречи миновала.

- Да? Ну, останови, я выйду. Зачем тебе гад? – все с тем же спокойствием отозвался Семен.

- Да ладно, извини, подъезжаем уже... – испугалась не на шутку Резинка.

- Останови, сказал! Я не для того согласился помочь, чтоб меня оскорбляли! Если таково твое отношение, то ищи себе другого помощника! – упирался он, явно никуда выходить не собираясь, а просто наслаждаясь моментом.

Тоже поняв это, Резинка промолчала, и до конца недолгого пути они больше друг с другом не разговаривали. А потом машина снизила скорость, и Сашенька почувствовала, что они куда-то сворачивают. Наконец, остановились – и одновременно открылись и снова хлопнули обе дверцы. С минуту девочка сидела затаясь, потом осторожно высунула голову и осмотрелась. Мамина «десятка»

«Критическая масса» и другие повести...

стояла в темном дворе, брате-близнице их собственного. Сашенька выпуталась из своего одеяла и робко заглянула на переднее сиденье. Так и есть! Мамина сумка лежала на пассажирском месте! Теперь схватить ее и бежать! Нет, нет, стоп, надо еще забрать ключ зажигания, тогда далеко не уедут... Она посмотрела: в замке его не было. Все равно, пусть хоть сумка... Сашенька уже протянула к ней руку, но вдруг отдернула, сраженная простой мыслью: а дальше что? Сейчас она выскочит на ночную улицу в пижаме и мокрых насквозь тапочках... С сумкой в руках... Она где-то далеко от дома – ехали-то минут двадцать, не меньше... В милицию? Но где ее искать в полной темноте? А холод какой! Если в машине дубак – то что на улице?! Воспаление легких обеспечено – и даже мама не спасет... Может, зайти в круглосуточный магазин или ресторан и попросить помощи? Но ведь там – взрослые! – они же никогда ничему не верят... Ладно, пусть не верят, но милицию-то вызовут, а оттуда позвонят домой... Ага, а туда к тому времени вернется Семен, и скажет, что ничего не знает, спокойно, мол, дома спал... Кому из них двоих поверят? И гадать нечего... И получится, что это она, Сашенька, выскочила из дома ночью в пижаме, украв с неизвестной целью мамину сумку, и бегала так по городу... Кошмар какой-то... Девочка заколебалась в полной нерешительности – но тут прямо перед ней распахнулась дверь подъезда, и в ярком прямоугольнике света возникли три черные и страшные фигуры – она едва успела нырнуть к обратно под одеяло. И теперь уже отворили заднюю дверцу!

Сжавшись в беззвучный комок, стараясь, насколько возможно, уменьшиться в размерах, в непроглядной тьме Сашенька слышала бормотание:

- Давай, сажай... Осторожно, свалится на землю – больше не поднимем...

- Знал бы – не ввязался... Гадюка... Чтоб ты сдохла...

- Ну, еще немножко... Знаешь, давай его положим и накроём тем большим одеялом...

Сашенька похолодела, но тотчас успокоилась, потому что прозвучало:

- Дура. Пусть лучше сидит. Вот так. В случае чего так и скажешь – пьяный муж заснул. Ничего необычного, а горой на сиденье могут заинтересоваться... И сумку свою в багажник отнеси: странно, когда две женские сумки рядом... Ладно, все. Мое дело сделано. Я пошел, и чтоб больше...

- Семен, – раздалось в ответ тихое, – неужели мы никогда...

- Да пошла ты... – и назван был адрес, который Сашенька хорошо знала, потому что уши по маминой просьбе зажимала далеко не всегда.

С грохотом захлопнулась дверца, и девочка осталась на заднем сиденье в непосредственной близости к огромной туше, заполнившей все пространство до противоположной двери и неприятно притиснувшей ее к уже обжитому углу. Машина тронулась.

Сашенька попыталась собраться с мыслями и что-нибудь решить, пока никуда не приехали, и пьяный муж Резинки не проснулся и не разделался с ними обеими. А то, что он невозможно, как подзаборный бомж, пьян, сомнений не вызывало: ясно, для чего Резинке нужен был Семен – одной бы ей до машины такого кабана не дотащить, это точно... Господи, куда же она его везет, и почему не на своей машине... К бабке? Нет, к ней она уже кого-то отправила, не его, наверное... А этот у нее что-то попросил, а она не дала из отвращения, потому что он пьяный... Что ж, очень понятно, пьяные всегда отвратительные... Но он непременно хотел получить ту вещь, потому что даже вздумал ударить Резинку – и раньше, наверное, бил, она ведь что-то говорила про кровотечение... Наверное, так бил, что она вся в крови в кресло падала, бедная... Но потерял равновесие и свалился, а она убежала... Ну, он упал и заснул на полу – это уж ясно, алкоголики и на улицах спят, и в канавах... Одно только непонятно было Сашеньке – зачем для перемещения пьяного мужа потребовалась Резинке мамина сумка и машина... Ну, сумка – это, наверное, ради ключей и документов на машину... Точно... А вот сама машина... Как она говорила – «Меня там все знают» – может, ей стыдно, что у нее такой муж-пьяница, ведь она вся из себя шикарная дама, а он ее просто позорит – и людям на глаза не покажешься... Она отвезет его сейчас куда-нибудь, где он выпится и примет человеческий облик, и потом машину поставит обратно в их двор, а сумку вернет... Может, она никакая и не воровка, а просто несчастная баба, как говорит про таких мама... Она к Семену пришла за помощью, а он с ней по-скотски обошелся... Интересно, а муж этот ее всегда плохой или только когда пьяный? Почему он сам ей не захотел ребенка сделать, так что ей пришлось, опять же, Семена просить?

Воспользовавшись тем, что автомобиль теперь шел более или менее ровно по хорошей гладкой дороге (насколько это возможно было при таком неумелом водителе, как Резинка), Сашенька решилась все же немножко пошевелиться и чуть-чуть оттолкнуть пьяного дядьку, что ей не больно-то удалось: он был тяжел, как самый большой валун у залива. Девочка выглянула посмелее и обнаружила, что в машине почти совсем темно, не мелькает даже свет городских фонарей. Она спросила себя, когда такое с ней уже было – и сразу вспомнила: ночью ехали они к дедушке с бабушкой по Киевскому шоссе, и она заснула на заднем сиденье, а проснувшись, поняла, что фонарей на улице нет, потому что машина едет далеко за городом...

«Критическая масса» и другие повести...

Выходит, и сейчас они уже выехали за город, туда, где нет фонарей и дорога освещается только фарами? Вот что-то огромное прогрохотало мимо – точно, дальнобойка... Куда же везет Резинка мужа, может, на дачу?...

В любом случае, Сашеньке оставалось только устроиться сколько-нибудь удобно и ждать. Она опять нерешительно задвигалась, все еще надеясь хоть чуть-чуть потеснить противного пьяницу – и вдруг ее рука наткнулась на что-то очень холодное. Настолько холодное, что вспомнился куриный трупик, вынутый мамой в воскресенье из холодильника и пошедший на котлеты. Откуда тут курица-то? Сашенька деловито ошупала предмет и поняла, что это никакая не курица, а человеческая рука – рука пьяного дядьки, случайно попавшая к ней под одеяло. Она непроизвольно отдернула свою – и не сразу поняла, отчего вдруг сердце на несколько секунд совершенно остановилось – так, что помутнело перед глазами – а потом запустилось, но с работой не справилось и вновь упало – теперь куда-то в живот – и стало почти таким же холодным, как эта рука... Рука вовсе не пьяного дядьки, а совсем, совсем, совсем мертвого...

Глава вторая Первая и единственная

Однажды в юности Катя видела, как упал самолет. Она гостила тогда на летних каникулах у подруги по медучилищу, приехавшей учиться в Ленинград из деревни, что прижалась к самой границе Ленинградской области и утонула в болотистых лесах, богатых, однако, хрупкими волнушками и водянистой черникой. Чернику Катя собирать не любила, тяготясь долгим сидением на корточках, но по грибы ходила с подружкой Леной охотно: ей нравилось отыскивать в мокроватом мху розово-полосатые бахромчатые созданыща, словно бы задорно оттуда улыбавшиеся. А потом, в избе, девушки под контролем тети Аллы, Лениной мамы, отмачивали их и подвергали многоступенчатой засолке...

В тот паркий, но бессолнечный день Катя и Лена как раз выбрались с полными корзинами на широкую просеку и, отмахиваясь от прилипчивых кровососов, уселись на двух знакомых пеньках, разложив бутерброды с несколько сомлевшей от тепла «Любительской» на льняной салфетке, расстеленной поверх третьего, большего пня, игравшего благородную роль обеденного стола. Только разлили сладкий брусничный чай из термоса и вознамерились отдать должное такой желанной после трудов праведных трапезе, как одновременно вскрикнули обе: неотвратимо нарастая, приближался с неба грозный рокот, быстро переросший в непереносимый рев... Тогда, в

Наталья ВЕСЕЛОВА

начале восьмидесятых, все ждали неминуемой ядерной войны с Америкой и ежемесячно тренировались, каждый в своем учебном заведении или на рабочем месте, выживать в тяжелых условиях атомной бомбардировки – например, упав лицом вниз на асфальт за бетонным основанием заборчика и закрыв голову руками... Одна и та же мысль пронеслась одновременно в головах остолбеневших девушек: «Вот оно!» – но падать ничком было некуда, потому что вместо заборчика вокруг них расстилалась веселая лужайка, усеянная старыми березовыми пеньками...

Подпрыгнул и опрокинулся термос с чаем, заплясали горячие алюминиевые стаканчики, девушки в панике прижались друг к другу, присели – и прямо у них над головой, так ужасающе низко, что, казалось, сейчас срежет вершины берез на краю просеки, возник беспомощный пассажирский самолет. Промелькнула знакомая и вполне читаемая надпись «Аэрофлот», ряд слепых иллюминаторов (Ленка потом уверяла, что разглядела припавшее изнутри к одному из них чье-то бледное лицо – но, скорей всего, врал) – в секунду самолет миновал открытое место и оказался над деревьями. Было одно мгновение, когда Кате показалось, что он выправится – вроде бы, вздернулся за соснами его отчаянный тупой нос – но потом самолет нырнул и больше уже не показывался. Еще секунд десять он боролся за жизнь – рев его стал уже глухо-надсадным, не зовущим на помощь, а захлебывающимся – и на миг все стихло. А потом девушки все-таки упали лицом вниз – не хуже, чем при ядерном взрыве – потому что за деревьями полыхнуло так ярко и грохот раздался такой немыслимый, что им показалось, будто они теперь навсегда останутся глухими и слепыми... Ну, и немыми заодно, потому что после такого вряд ли скоро заговорят...

Когда все стихло – а это произошло не так-то быстро – они нерешительно приподнялись и переглянулись. Голос вернулся сначала к Лене: «Километрах в семи...» – хрипло прошелестела она. Катя кивнула; обеим стало очевидно, что туда по болоту не добраться – да и подумать было страшно о том, что они могли увидеть, если бы, паче чаяния, все-таки добрались. Не сговариваясь, юные медички попятались и, забыв про термос и корзины, помчались восвояси, не разбирая дороги и ловко прыгая по гадючьим кочкам...

В те годы в Советском Союзе была самая передовая техника в мире, и никакой самолет, кроме одного – гагаринского военного – упасть не мог по определению правительства. Поэтому напрасно с замиранием сердца смотрели вечером девчонки программу «Время» – и в тот день, и на следующий только мирно трудились в огромной дружной стране бронзовые от солнца хлопкоробы, ударными темпами добывали уголь веселые шахтеры в далеком солнечном Дон-

«Критическая масса» и другие повести...

бассе, и в огромном белом зале строгие мужчины в одинаковых пиджаках и галстуках, разбавленные редкими женщинами в светлых кофточках и с высокими прическами, стоя аплодировали старенькому косноязычному дедушке, не отрывавшему близоруких глаз под богатыми бровями от спасительного белого листа...

С того дня, если Кате случалось вдруг задуматься о смерти, первой мыслью всегда было: «Только не так». Потому что очень ясно виделись те люди, которые находились *внутри* самолета – ведь он не упал, а *падал*, выправлялся и опять падал. И они, стало быть, успели несколько раз ужаснуться и зажмуриться, снова зажечься несбыточной надеждой – и вновь все обрывалось, трепетало и опять обрывалось, пока не оборвалось совсем... Как угодно готова была умереть Катя – но не разбиться в самолете! – так и говорила беспрестанно Лене, когда случалось им вместе вспомнить давно пережитое. И все оставшиеся девятнадцать лет их дружбы Лена очень убедительно доказывала: «С нами такого не случится. Мы это все равно что уже пережили. А пуля два раза в одно место не попадает...».

Но она попала – через девятнадцать лет. Так случилось, что в том юбилейном двухтысячном Катя не знала, что Ленка – теперь уже не смешливая студентка медучилища, а солидный врач-отоларинголог – вздумала слетать на недельку в Красноярск к любимому человеку, на чувства которого возлагала запоздалые и неоправданные надежды. Подруга постеснялась ей сообщить о своем сомнительном намерении, зная, как неодобрительно отнесется строгая труженица-Катя к унизительному этому полету. Потому, услышав в «Вестях» об очередном крушении без единого выжившего, Катя лишь привычно содрогнулась, не подумав даже, что отрицаемая ими обеими Судьба, девятнадцать лет назад оплошавшая, все-таки дотянулась в положенный свыше миг до одной из них...

У Лены осталась двухлетняя дочка-безотцовщина по имени Александра, прижитая той намеренно, как водится, «для себя», когда стало ясно, что надежда на полноценное замужество осуществляться не спешит, а грозный термин «старопервородящая» – как раз и отражает самую суть вещей...

Девочка оставалась пока у потрясенных бабушки с дедушкой в той самой унылой деревне среди болот и мшаников, и, когда Катя с заплаканными глазами и болезненной тяжестью в сердце приехала их всех навестить, то была сражена самой простой мыслью, вдруг ясно высветившей очевидное: никакого будущего у этой несмышленной круглой сиротки нет. Ей предстоит расти, как и Ленке, в грязной крестьянской избе – только не с молодыми добрыми отцом и матерью, а с бабкой и дедом – старыми, неопрятными и ворчливыми людьми, трактористом и телятницей на пенсии. Ее миром станет

Наталья ВЕСЕЛОВА

вот эта убогая полупустая деревня с разоренным колхозом за околицей и малярийными лесами вокруг... Лет через пять ей придется в любую погоду бегать за три километра в соседнее село – до куцей двухэтажной школы с печным отоплением и классной руководительницей, у которой пальцы и ногти давно и навеки черные от постоянного крестьянского труда ради хлеба насущного...

- Зачем в село? – удивилась бывшая тетья, а теперь баба Алла.
– В райцентре хороший интернат-восьмилетка есть.

- А потом там же в путягу пойдет, сейчас колледж называется, с общагой, само собой, – обнадежил дед Андрей. – А что? На электрогазосварщицу выучится. И очень просто. Не пропадет, не бойся... А нет – так можно будет в соседний район отправить. Там девчат на обувщиц учат, да прям на местной фабрике трудоустраивают...

Катя чуть не закричала: что ждет ребенка! А ведь в Петербурге ее матери дали служебную квартиру, потому что работала она врачом при Правительстве города, девочка ходила в чистенькие ведомственные ясли, окружена была нормальными домашними детьми; потом бы – языковая спецшкола, Санкт-Петербургский Университет... А теперь... Обувная фабрика в захолустном городишке! После «путяги» и «общаги»!

Катя обладала романтическим сердцем и тогда, в тридцать пять лет, все еще ждавшим геройского жертвенного подвига. В любви ей тоже не повезло, и не только из-за внешности (верней, ее отсутствия: она с первого курса имела кличку Моль Бледная, и ничего точней придумать было нельзя), а еще благодаря патологической застенчивости, нападавшей на нее в присутствии любого совершеннолетнего мужчины. Катю немедленно начинало болезненно тянуть в самый темный угол или даже под стол, особенно если мужчина ей нравился. Она незаметно лишилась невинности на студенческой вечеринке, где однокурсницы на спор напоили ее водкой, после чего в прямом и переносном смысле подложили под столь же застенчивого и таким же образом доведенного до нужной кондиции студента. Думали сделать доброе дело: создать таким способом идеальную пару, но лишь добавили обоим веса к их и без того нелегким комплексам неполноценности – больше невольные взаиморастворители друг с другом даже не здоровались, благо учились в разных потоках.

Зато трудиться Катя умела лучше и больше других – и здесь ее комплекс не срабатывал. Она жила вдвоем с безмужней матерью в центре города, в добротной трехкомнатной квартире на одной из уютных улиц, вливавшихся из спокойной улицы Маяковского в громокипящий Литейный проспект. Но в тридцать три года Катя за неделю потеряла свою скромную и непритязательную маму, всю жизнь

«Критическая масса» и другие повести...

проработавшую в заводской бухгалтерии. Кто бы мог предположить, что мать кандидата медицинских наук, может взять и умереть от воспаления легких – в отдельной палате, при лучших врачах вокруг, напичканная самыми действенными антибиотиками! Но верно, пришел известный неудлиняемый срок, и теперь Кате предстояло мыкать в той квартире одинокую жизнь – без мужа, на которого она уж не надеялась, без детей – потому что откуда их взять, да и будут ли они, если у нее всю жизнь не «месячные», а «полугодовые», да узкий таз, да вместо груди – стиральная доска...

Все это и сделало возможным тот страстный порыв, когда Катя решительно заявила, что готова оформить совместное опекуничество и стать второй матерью маленькой, но уже такой несчастной девочке Саше. Вопреки опасениям, старики не особо сопротивлялись, видимо, обрадовавшись, что на старости лет избавлены будут от непосильных трудов по воспитанию нежданно свалившегося им на голову дитяти, и даже, помявшись, сами предложили пока не сообщать бедняжке, что мама ее – неродная. Договорились, что, когда девочку будут привозить в гости, дед Андрей и баба Алла станут называться Катиными родителями – не все ли ей равно, своих-то давно нету... Все в том же безудержном порыве Катя согласилась – и дело было улажено ко всеобщему удовольствию.

Саша поначалу не слишком охотно принимала Катю, еще, видно, храня на доньшке младенческой памяти золотой образ настоящей матери – но образ тот закономерно тускнел, и уже через полгода Катя слышала твердое и доверчивое «мама»...

Годы вдруг не пошли, а поскакали, что сытые каурые кони, и умиление собственной самоотверженностью стало мало-помалу притупляться у Кати. Лет через пять ей приходилось уже искусственно возжигать в себе едва тлеющее пламя жертвенной любви к несчастной сиротке. Ведь вместо ожидаемого пухленького купидончика в розовых лентах и оборках, восторженно лепечущего трогательные словечки вроде «мамусенька», который рисовался в воображении мнимой мамы в начале ее героического пути, перед ней очень скоро оказалась рассеянная, тощая, хмурая девочка в протертых джинсах, с вынужденно короткой стрижкой – белесые волосы толком не росли и не густели – большей частью молчаливая, совершенно недоступная для близкого общения – и все это у первоклассницы! Что же будет в подростковом возрасте?!

Совсем не похожа дочь на свою мертвую биологическую мать, а пошла, верно, в позабытого отца – закрытостью и вранливостью. Потому что если раскрывала рот – то лишь для того, чтобы соврать. Что видела в синем небе непонятный светящийся шар. Что странный дядька следил за ней во дворе. Что соседскую девочку

укусила бешеная собака. Что ее пыталась затащить в большую черную машину неизвестная размалеванная тетка. Что в школьном туалете регулярно появляется призрак отличницы, которая сто тридцать лет назад там повесилась из-за того, что ей поставили четверку... А еще она рассказывала соседям, что ездила с классом на две недели в Мексику, подругам – что у мамы не серая долбаная «десятка», а сверкающий новехонький «БМВ», коллегам матери – что мама обещала ей на той неделе купить серебристого йоркшира... То-то все удивлялись, откуда Екатерина Петровна деньги берет – левачит, наверное, заставляет пациентов не в кассу платить, а ей в карман: написать бы на нее кому следует... Ее приемную дочь можно было записывать в книгу рекордов Гиннеса по удельному весу ежечасно изрекаемого вранья... Хорошо, что пока она мало времени проводит дома: предстоят три года продленки до семи вечера – а дальше? И ведь нет у нее никакого желания приласкаться, пощebetать, как у всякой нормальной малолетней девчонки...

Катя еще не признавалась себе в том, что не справилась с вдохновенно взятой когда-то на себя ролью, но глухо раздражалась внутри, заметив, как дочь вдруг застывает с ложкой в руках за ужином, и взгляд ее устремляется явно в другое измерение – туда, в собственную галактику вранья. Можно было не сомневаться, что скоро последует впечатляющая история про очередного монстра – с непременным участием вездесущей Сашки. Катя ненавидела ложь больше всего на свете, и потому все чаще срывалась:

- Постыдилась бы! Здоровая девица, а врет, как трехлетка! Людям в глаза смотреть стыдно!

- Мама, но я, правда, видела... Честное слово... – еще и настаивала беспардонная лгунья, вызывая подчас у Кати почти неодолимое желание как следует двинуть ей по наглой физиономии.

- Выйди вон из-за стола! – гремела Катя. – И не смей возвращаться, пока не научишься себя нормально вести!

Так обстояли дела накануне того снаружи непримечательного, а на поверку переворотного дня, когда Катя встретила в сорок два года свою первую и единственную любовь.

Мужчин-пациентов Катя давно уже научилась не стесняться, привыкнув прятаться за нарочито-строгое «Больной!» и невольно ощущая свой врачебный халат чем-то вроде белого ангельского одеяния, на которое и тень двусмысленности упасть не может. Знала, что молодые сестры и ординаторши порой заводят на рабочем месте самые что ни на есть серьезные романы и даже ухитряются вербовать себе полноценных мужей из беспомощных недужных. Но сама Катя подобными способами брезговала, потому что взять на себя инициативу в таком щепетильном деле была неспособна катего-

«Критическая масса» и другие повести...

рически, а собственная ее недоступность исключала любые поползновения с мужской стороны.

Но глаза у Кати все же имелись, и видели весьма неплохо, поэтому и заметили однажды словно белый рой девичьих халатиков, вьющихся вокруг одной из дальних палат, которую вел сам заведованием. Санитарки, сестры и молодые докторши беспрестанно то заходили туда с капельницей, то мчались с таблетками на кокетливом подносике, то по нескольку раз заскакивали с тонометром – и это при хронической нехватке персонала в отделении, где иной больной мог и градусника утром не дожидаться!

Катя естественным образом заинтересовалась – и ее халатик тоже мелькнул у двери в таинственную палату. Зашла – и сразу все стало ясно – и грустно... Мужчина лет сорока, лежавший на крайней койке слева, оказался писанным красавцем – другого определения и не подобрать. Таким, что просто дух захватывало с непривычки. Красота эта была не наша, не русская, сразу в глубине души поняла остолбеневшая Катя, а какая-то северная, что ли, полярная, или нет – норвежская, прямиком из фьордов... Больной лежал, откинувшись на приподнятую подушку, но даже при таком его положении было видно, что росту в нем около двух метров, что он широкоплеч, имеет классически узкие бедра и талию, а руки его (одна – небрежно закинутая за спутанную кудрявую голову, другая – бессильно упавшая вдоль туловища) благородны и крупны. Его волосы и небольшая ухоженная борода имели цвет блестящей львиной шкуры – да и во всем облике было что-то от этого царственного животного. Голова томной кошачьей посадки, породистый, нервно подрагивающий нос, плотно сомкнутые тонкие губы, задумчивые глаза изумительного огненно-голубого цвета, с трагической иронией взиравшие на окружающее и одновременно сквозь него – все это вместе взятое создавало о мужчине впечатление существа совершенно непостижимого, нездешнего, будто по недоразумению оказавшегося в нечистой, припахивающей мужскими носками палате больницы для бедных и только ждущего момента, чтобы мощно взмахнуть до поры спрятанными крылами и вылететь в свой привычный, случайно покинутый мир.

«Да уж... – вздохнула обескураженная Катя. – Тут напрасно они крутятся. Такому подавай Снежную Королеву – да и то, наверно, погнушается: она ведь по сравнению с ним просто девка-чернавка...».

Еще она заметила, что в противоположность тумбочкам остальных обитателей палаты, на которых громоздились бесконечные потрепанные томики бульварного мужского чтения по соседству с грязными кружками, тумбочка этого Царя-Льва представляла опрятной, и на ней можно было видеть только аккуратную стопку бумаги,

исписанной странным иероглифическим почерком, да изящную шариковую ручку. Ученый?

Как и все другие представительницы женского пола в отделении, Катя тоже тайком ознакомилась с историей болезни, самым вульгарным образом украв ее с сестринского поста и утащив в туалет: понимала, что творит глупость – но сердце колотилось так непривычно болезненно и испуганно, что, казалось, еще немного – и не миновать банального девичьего обморока... Суворов Семен Евгеньевич – это имя ничего ей не сказало. Сорок два года – ровесники (правильно, зачем ему зеленые девчонки, мелькнуло в голове что-то дерзко-незаконное). Живет в Гатчине – значит, здесь лежит по знакомству, хорошо это или плохо? Близкие родственники – мать, вот имя и телефон. Позвольте, как же это, не женат он, что ли?! Диагноз – идиопатическая эпилепсия, генерализованная форма пароксизмов... Да. Вот и понятно, почему холостой. Она быстро полистала историю: повторяемость судорожных припадков не впечатлила, раз в месяц – не так уж и страшно, можно успешно лечить, особенно если жена – врач соответствующего профиля... Организовать постоянную действенную терапию... Лидаза... Хороший же препарат, почему им незаслуженно пренебрегают теперь... А еще можно... «Да что это ты – с ума сошла, кажется?! – отчаянно вскрикнул кто-то у Кати в голове. – У него есть лечащий доктор, пусть он и разбирается! Какое тебе-то дело? Какая там жена-врач? Белены ты, родная, объелась, вот что!»). Место работы и должность – быстро читала между тем Катя – безработный... Наверно, на инвалидности... Но с такими редкими припадками все равно же трудоспособная группа...

Она решительно захлопнула историю болезни и целеустремленно направилась к сестринскому посту, где строго сверкнула глазами из-под тонких сдвинутых бровей на глянувшую было с похабным пониманием уже не юную медсестру – и бесстрастно вернула украденное в соответствующую стопку. История, таким образом, вернулась на место, но Катино сердце последовать этому примеру не торопилось. Весь день она ловила себя на мысли, что постоянно занята не рабочими вопросами, а беспрестанными поисками законного повода поговорить с чужим больным и даже, страшно подумать, под предлогом осмотра прикоснуться к нему – так, ничего ужасного, а просто... И в порыве законного самоукорения Катя начинала вдруг трясти головой прямо посреди важного разговора с коллегой. Как и бывает в таких случаях, повод услужливо предложил сам: ее чуть ли не слезно попросили отдежурить сутки в ближайший четверг – а поскольку дело происходило во вторник, то Катя едва удержалась, чтобы не заплясать с притопами и прихлопами, какового желания с самой юности за собой не замечала...

«Критическая масса» и другие повести...

Собственно, дело было совсем плохо – но этого, увы, люди не понимают до тех пор, пока спустя время не оглянутся назад от своего разбитого корыта и не увидят позади яркую точку невозврата...

В четверг незадолго до отбоя больной Суворов был чин по чину вызван строгим дежурным доктором Екатериной Петровной в ординаторскую, где за столом, над открытой историей болезни она долго задавала ему сугубо медицинские вопросы – и скрупулезно записывала его точные и вежливые ответы. Наконец, ничуть не изменив тона и не подав вида, что интересуется чем-то почти личным, Катя небрежно спросила:

- А что, ваша болезнь никогда не позволяла вам работать, Семен Евгеньевич? Образование вы какое-нибудь получали?

- Образование? – улыбнулся он. – Нет, образования я не получал. У меня даже аттестата зрелости никогда не было. Классов шесть осилил за восемь лет, но потом приступы стали повторяться так часто, что родители меня из школы забрали. А немного поправившись, я все равно в школу не вернулся. Все, что мне требовалось, я получил путем самообразования...

Тут Катя заинтересовалась совсем искренне, почти позабыв, что идет официальный врачебный осмотр:

- Как же это? Как можно было психически нормальному человеку остаться с образованием шесть классов? Ведь вам были закрыты все пути в жизни!

- А я их не очень-то искал! – улыбнулся Семен, демонстрируя безупречно ровный ряд холодно блеснувших зубов. – Потому что свой настоящий путь я нашел достаточно рано и вовсе не горел желанием метаться, как, простите, кот в подворотне.

- Вот как? Настоящий путь? Которому не помешало отсутствие аттестата? – все еще продолжала удивляться Катя. – И какой же? Или это секрет?

- Ничуть, – едва заметно усмехнулся больной и с глубоко спрятанной издевкой напомнил: – Только это едва ли касается моей болезни.

Катя вспыхнула, как ветреная заря:

- Возможно, что и касается! Откуда вам знать? Я не из праздного любопытства спрашиваю: эпилепсия – болезнь малоизученная, все может иметь значение...

Он снова усмехнулся:

- Да-да, вижу, что не из праздного... Очень хорошо вижу... Что ж – извольте: настоящий мой путь – это литература. Я пишу книги. Давно. Каждый день. Если помните, эпилепсией страдал и Достоевский, так что все закономерно...

- Книги? – засомневалась Катя. – И что, печатают?

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Разумеется, – спокойно кивнул он. – Во многих журналах можно найти мои рассказы. Вы ведь, конечно, читаете толстые журналы? Тогда вам должно быть знакомо мое имя. Есть и отдельная книга, в нее включены три большие повести. «Узкие улочки Риги» - никогда не приходилось держать в руках?

Катя смутилась ужасно. Невозможно было вот так взять и признаться этому рафинированному интеллектуалу с шестью классами, что она сама вот уже много времени не читает ничего, кроме зарубежных любовных романов в мягких обложках: как подседа на них лет десять назад с легкой руки той же покойной Ленки, так и до сих пор не слезть, как с наркотической иглы. Бывает, даже, что идет домой с работы и предвкушает, как уложит вечером Сашку, устроится в кресле с чашкой зеленого чая и примется за чтение новой изящной книжицы... Знала, что порядочные люди такого не допускают, что смеются над «туалетным чтивом» – но ничего поделать с собой не могла: щелкала их как семечки, по два вечера на каждую – и вновь по дороге с работы покупала в книжном напротив следующую завлекательную историю...

Сказать такое Семену – означало стать объектом открытой насмешки: она чувствовала, что он особой деликатностью не страдает и не упустит случая насладиться своим превосходством над малограмотной докторшей, которая даже о болезни Достоевского впервые услышала именно от него... Да и о самом Достоевском позабыла в девятом классе, из-под палки прочитав половину (больше не осилила) какого-то мутного романа с окровавленным топором вначале и маловразумительными дискуссиями после... Она забормотала что-то о своей тотальной занятости и тут же начала некстати давать страшные клятвы непременно найти и прочитать, при этом порываясь записать названия журналов едва ли не прямо в историю болезни. Неловкая сцена разрасталась, как ядовитый куст в наркозном сне. Но Семен вдруг беззлобно рассмеялся:

- Я вовсе не хотел организовать вам, доктор, такие сложности... – Он помолчал с минуту и вдруг словно решил: – А знаете что? Давайте, вы станете моим первым судьей! – и на ее радостно-недоуменный взгляд объяснил: – Я ведь и здесь времени не теряю, начал вот новую вещицу. И это уже не повестушка, пожалуй, будет, да... А роман, если сподоблюсь... Вы как – спать ложиться намерены или...

Катя поспешила заверить, что «или», конечно же, «или»!

- Тогда позвольте мне через часик придти сюда и почитать уже написанное. И вы мне – только честно! – скажете, каковы ваши ощущения. Очень трудно, знаете ли, найти добровольца-слушателя в моем одиноком положении...

«Критическая масса» и другие повести...

Отчего одиноким? Да кто всерьез отнесется к эпилептику и его творчеству? Жена от Семена ушла – не выдержала, оказалась слабой и капризной... Женщины ведь как? Им от мужа только денег подавай, а о его внутреннем мире они и думать не желают... Вот и она смеялась, дело его жизни называла «хобби»... Будто он марки собирает! А чтобы понимала, что талант – не более и не менее, а драгоценное миро, особенно в таком скудельном сосуде, как его тело – это ни за что... Чтобы заботилась... Вот была же у Достоевского его Анна – и ничего, никакая эпилепсия не помешала... Он теперь с матерью живет, но она совсем старая и два инфаркта на ногах перенесла... Почему на ногах? Да к врачу никогда не ходила, только капли пила, если сердце болело... Задним числом определили и пенсию ей дали инвалидную, приличную, обоим хватает, если тратить разумно... Какие там гонорары в журналах – доктор, что ли, смеется? Спасибо, если они денег за печать не требуют, а то приходится от материнской пенсии отрывать... А книгу напечатали за счет одного богатого банкира. Он рукопись прочитал и прослезился: «У меня в детстве точно такой коник деревянный был, как у вас тут описан... Я вам оплачу, сколько типография потребует». И оплатил – вот и книжка... Кто сейчас настоящую литературу читает? Безмозглые бабы читают примитивные любовные романы, а их налитые пивом мужики – такие же детективы... Потому и печатают все это барахло... А он пишет книги для элиты духа. Это ему точно известно, потому что как кто из интеллектуалов его рассказ прочитает – так сразу: Семен Евгеньевич, у вас дар от Бога... Нет, он, конечно, верит в свою звезду. Особенно если бы в дополнение к дару Бог послал еще и преданную, понимающую женщину, а то мать ведь скоро умрет – и что ему тогда, тоже умереть? Да, так что, после этой горькой исповеди согласится доктор его роман послушать, или и она такая же, как все?

Поздним вечером в полутемной ординаторской, где они с Семеном уютно устроились друг напротив друга под настольной лампой, задумчиво играл нескладный контрабас, бродила меднокудрая дева, держа в тонких пальцах длинный костяной мундштук, шептались разлучаемые влюбленные в неземном сиянье, сладко бормотал сонный ручеек, даже неспешно проехала легкая карета, запряженная двумя аристократическими лошадками, – и спустя неделю Семен Евгеньевич Суворов выписался из больницы и, поддерживаемый Катей под локоть, пешком дошел до ее высокого серого дома с башенками, чтобы поселиться там в качестве мужа, заняв под свой кабинет-спальню бывшую Катину комнату, смежную с гостиной...

В тот день Катя откуда-то точно узнала, что обратного пути не будет. Натура цельная и впечатлительная, она приняла неожиданно пришедшую любовь такой, какой та была, и положила себе больше

ничего не страшиться и не оглядываться назад. А смириться с самого начала пришлось со многим, и не просто смириться, а отыскать хорошие стороны и отныне ориентироваться на них. Например, она всегда в редких мечтах представляла себе широкое супружеское ложе – не как символ утех, а как залог неразрывности. Но Семен в первый же день категорически объявил, что спать будет отдельно, на мягком диване в кабинете, а она, мол, пусть «приходит в гости». Поначалу Катя устроилась в смежной гостиной под бело-розовой абстрактной картиной, но с недовольным выражением лица муж скоро сделал ей выговор за ее слишком шумные, как он считал, перемещения и свет, мешавший ему размышлять за стеклянной дверью. Подумать о том, чтобы разделить спальню с приемной дочерью, Катя даже не захотела: та занимала теперь в ее сердце настолько ничтожное место, а любая мысль о ней вызывала такое раздражение, что показалось попросту невозможным еще и вынужденно дышать с все более и более дичающей девчонкой одним ночным воздухом.

Промежуточный выход был быстро найден: в широком коридоре имелось нечто вроде закутка – углубления, где в старину, возможно, была внушительная кладовая, после капремонта упраздненная. Там Катя и оборудовала для себя миленькую светелку, установив тахту и безвозмездно одолжив из Сашкиной комнаты оранжевое кожаное кресло. Над тахтой удачно вписалось голубое бра и наконец-то пригодившийся постер, подаренный коллегами по случаю сорокалетнего юбилея. В головах она прибила легкую полочку для книг, в ногах утвердила декоративную напольную вазу, понатыкав в нее очень удачные искусственные мальвы – и неожиданно оказалась довольна новоявленным гнездышком, где рассчитывала по вечерам медленно грезить над предсонной книгой – теперь уже не пошлым дамским романчиком, конечно...

Второй неприятностью стало хождение «в гости». Задвинув в самый темный и пыльный уголок памяти свое единственное нетрезвое приключение двадцатилетней давности, Катя все еще оставалась психологической девственницей. Будучи врачом, она, разумеется, прекрасно разбиралась в медицинской стороне любви, а как женщина периодически почитывала соответствующие журналы с лицами роковых соблазнительниц на глянцевого обложках, да и от подруг в комнате отдыха врачей слышать приходилось порой такие неожиданные откровения, что нескоро удалось ей научиться не заливать яркой краской, а сохранять непроницаемую невозмутимость опытной женщины, которой давно осточертели «все эти глупости». Только никто никогда ей не рассказывал, и нигде она не читала о том, что внешне очень приличный, начитанный и талантливый человек, «занимаясь любовью» вдруг может превратиться в грязного

«Критическая масса» и другие повести...

морального уroda, способного получить удовлетворение, только если параллельно с этим изрыгает нецензурную брань, причем даже не изощренную, а заборную, самого низкого пошиба, да и сам акт совершать исключительно по-собачьи, исключив из любовной игры даже подобие человеческой ласки. Семен просто молча разворачивал не успевшую ничего толком понять Катю спиной к себе, одним сильным движением пригибал к дивану, грубо задирая ей юбку на голову и немедленно пристраивался сзади, сразу же начиная терзать ее уши все нарастающим мужицким матом. Через месяц, когда новизна ощущений у него притупилась, Семен приспособился запускать на видеомagnитофоне тяжелое порно, и облегчался, не отрываясь от экрана и никогда не тратя на это более пяти минут. У Кати создавалось полное впечатление, что ее используют в качестве недорогой резиновой куклы, потому что, промаявшись эти минуты в унижительной позе, с зажмуренными глазами – она ни разу не получила за это не только благодарного поцелуя, но и даже теплого взгляда. Завершив свою оздоровительную пятиминутку, Семен сразу же подтягивал джинсы, выключал видик и, оставив Катю с юбкой на голове, удалялся в ванную, мылся и терся там не менее четверти часа, а потом возвращался – но не в свой кабинет, а в гостиную, где с банкой безалкогольного пива плюхался в кресло перед телевизором. Время спустя он начинал непринужденный разговор с женой о посторонних вещах...

Первая же деликатнейшая попытка поговорить с мужем об этой стороне их новобрачной жизни наткнулась на решительный отпор:

- Я вовсе не намерен тебя мучить. Если тебе что-то во мне не нравится, я немедленно отсюда съезжаю.

Точно так же Семен отвечал с тех пор на любое Катинo маленькое замечание относительно ничтожнейшего – или важнейшего – предмета, поэтому окончательный выбор был бесповоротно представлен ей: либо жизнь всей семьи следовало до последних мелочей подчинить вкусам и желаниям Семена, либо послушаться – и тогда тотчас же скатиться в прежнее безмужнее состояние.

А вот этого Катя допустить не хотела ни при каких печальных обстоятельствах, потому что такой исход дела означал бы во всех завистливых глазах ее полное крушение, окончательную несостоятельность, необратимое женское и человеческое фиаско. И сама себя она бы перестала уважать... Выход был найден достаточно скоро и единственно возможный: нужно было научиться радоваться. Например, известно же, что потребность унижать женщину возникает только у мужчины, измученного сильнейшим комплексом неполноценности. Не счастье ли, что она может ему помочь постепенно по-

чувствовать себя не вечным отверженным, а торжествующим победителем? И не только в этом, малом деле, но и в том, что с юности стало смыслом всей его жизни? Она обязана помочь ему раскрыть свой редкий и благородный талант, а недоумков заставить признать, оценить, воздать – и заплатить – по заслугам.

- Что проку в этой компьютерной переписке с издательствами... – обронил раз Семен, видя, как она неумолимо пишет письмо за письмом во все концы страны. – Там в большинстве случаев «самотек» механически отсеивается в корзину без прочтения. Только личным общением можно чего-то добиться.

И Катя обошла и объездила все большие и малые редакции Петербурга, побывала даже в Москве, специально продлив для этого командировку – и везде доказывала, иногда даже со слезами, что ее муж – это надежда отечественной литературы, и если бы хоть кто-нибудь однажды взял на себя труд просто прочитать... От нее отмахивались и нагло ввали, что прочли – и не понравилось: дескать, грамотно, красиво, но затянуто, динамика отсутствует, героини настолько нетипичны, что им невозможно сопереживать, темы несовременные, места действия слишком экзотические... Катя не сдавалась и продолжала строчить электронные письма, а по выходным зачитывалась в своей «светелке» историей средневековой девушки Магды, однажды нектати отправившейся на прогулку вдоль Вислы, и пронизательного латышского сыщика Гунара, сумевшего в тридцатых годах двадцатого века раскрыть убийство, совершенное за четыреста лет до того, и безумного виолончелиста, влюбившегося в Мадонну из Домского собора... Все это казалось Кате не превзойденным до сих пор ни в каких весях – и разрасталось, заполняло ее существо возмущение тупостью зажавшейся толпы, готовой жадно глотать скверные воспоминания турецкой проститутки, но не желающей видеть, какой дивный цветок растет прямо под ногами... И она планировала новые дальние поездки, хотя времени вскоре стало трагически не хватать даже на сон.

В прежнее время, обеспечивая только себя и Сашку, Катя вполне могла ограничиться работой в отделении да частными визитами, всегда набравшимися в избытке, но теперь больше, чем на треть возросли потребности увеличившейся семьи. Пришлось подрядиться еще и на вечерний прием – а он отнимал последние стремительно убывающие силы, и порой после этого в полночь стояла она на коленях с юбкой на голове настолько отупевшая, что мерзкое действие сзади понемногу перестало казаться чем-то неприемлемым, и в голове мерцала лишь одна мысль: «Сколько он сегодня написал? Успею перепечатать или раньше вырублюсь?». Уже странно было и вспомнить про некогда мучившую бессонницу...

«Критическая масса» и другие повести...

Через пару лет после начала совместной жизни стало немного полегче относительно пошатнувшегося поначалу благосостояния: у Семена скоростигжно скончалась его старая болезненная мать, и унаследованную двухкомнатную квартиру в Гатчине Катя сдала, получив возможность выроченную сумму отдавать мужу на карманные расходы, что раньше приходилось делать в ущерб собственной квартплате, и ненавистные розовые бланки перестали зловеще копиться в гостиной на подоконнике под малахитовым пресс-папье.

Что касалось дочери, то в глубине души Катя уже знала, что сдастся: еще не сейчас, но позднее – обязательно. Если поначалу Семен лишь настаивал, чтобы «девочка» и «животное» не путались у него под ногами, то на исходе четвертого года брака он начал переходить уже почти к категорическому требованию по возможности скорее избавиться от обоих – от животного, правда, в первую очередь: он уверял, что страдает аллергией на кошачью шерсть и вот уже четыре года из-за Катиного непонятого потакания прихотям ребенка находится на грани приступа удушья. Сашкину Незабудку решено было безболезненно усыпить, тем более что и возраст у нее подходил критический, но Катя все медлила – Бог весть почему – никак не могла собраться с духом сообщить о предстоящей гуманной акции Сашке, боясь непредвиденной реакции. С Семеном на эту тему советоваться смысла не имело: он никакой неразрешимой проблемы не видел, считая, что блажь всякого рода должна лечиться радикально.

- Не понимаю, что я до сих пор делаю в доме, где не могу даже свободно вздохнуть... – однажды пробормотал он как-то будто про себя, смертельно испугав Катю.

У той уже зрел в голове компромиссный вариант: если Сашку все равно предстоит рано или поздно отправить в родную деревню, то, может, лучше вдвоем с кошкой, чтоб не наносить ребенку дополнительной травмы? Она просила мужа уже только об одном: позволить подождать с выдворением приемыша до лета, чтобы каникулы у бабушки в деревне сами собой, без напряжения, переросли в постоянную жизнь – и она, Катя, меньше бы мучилась совестью. Одна была беда: пятый Сашкин учебный год только начинался, и до лета могло – и грозило – произойти все, что угодно. Катя начала метаться на разрыв...

- А если до лета я умру? – провокационно спрашивал Семен.
– В этом случае тебя совесть мучить не будет?

- А до лета... А до лета... – отчаянно искала Катя, чем его соблазнить. – До лета мы займемся изданием твоего последнего романа!

- Угу. Ты, что ли, его издашь? – хмыкнул он. – Это ведь опять не ширпотреб, как ты понимаешь...

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Я! – загорелась вдруг Катя. – Найду деньги и издам. И еще как шикарно. Вот увидишь! Действительно, хватит ждать милостей от природы!

И в течение одной минуты у Кати созрел гениальный план – такой простой, что она даже невинно удивилась, как раньше до такой элементарной мысли не додумалась. На подоконнике у Сашки давным-давно бессмысленно сидела старинная елочная кукла, которую еще Катина мама носила однажды к приятелю-коллекционеру, где и выяснила, что стоит эта уникальная и почти в первозданном виде сохранившаяся вещица ровно столько, сколько ее, Катина, подержанная «десятка». Тогда одиноким, вполне обеспеченным женщинам и в голову не пришло ее продать – и вот, похоже, теперь эта мелкая старая рухлядь могла обеспечить Кате почти целых девять месяцев покоя и радости! А там видно будет...

Наутро Катя позвонила на работу, вынужденно солгала, что заболела, но пообещала «через силу» на вечерний прием приплестись, и, спровадив Сашку в ее дурацкую школу, схватила куклу и понеслась к знакомому коллекционеру.

Но предвкушающее-радостное выражение, засиявшее было на его лице, вмиг потухло, стоило лишь ему подержать крылатую девку в руках.

- Вы... Вы что с ней сделали?! – горестно спросил он, и столько искреннего разочарования сквозило в его скорбном вопле, что сердце у Кати оледенело.

- Я... Ничего... – выдавила она.

- Неправда! – с неподражаемой обличительной интонацией крикнул коллекционер. – Вы ее просто – убили! Смотрите сюда! Здесь – была – петля! Из мелких серебряных шариков! Вот отсюда она выходила – из затылка! И она... она... Об-ре-за-на! И теперь я вам за эту фею ни копейки не дам, потому что все дело было как раз в той петле!

- Что?! – ахнула Катя. – Из-за какой-то петельки...

- Да не какой-то, мадам, не какой-то! – напирал коллекционер, махая руками. – А самой важной! Потому что куклы такие изготовлялись вообще-то не для елок. А просто как детские игрушки. Было их пруд пруди, гроши они теперь стоят. И только одна партия из пятидесяти штук – пятидесяти штук, слышите ли! – была снабжена перед Рождеством специальными серебряными петлями, чтоб вешать на елку! У вас имелся именно такой раритет в доме, и цены ему не было. А теперь идите вон отсюда, мадам, вон, слышите ли, потому что с этой копеечной безделушкой вам здесь у меня делать нечего!

Катя вышла совершенно уничтоженная. Денег на издание книги взять теперь было решительно негде. У нее появилось вдруг

«Критическая масса» и другие повести...

слепое желание вот прямо сегодня объявить негодной разрушительнице-Сашке, что та отправляется в деревню завтра же – со своей драной кошкой в обнимку. Надо же – такую свинью подложить! И ведь даже ругать бесполезно – отопрется: не знаю, скажет, видеть не видела никакой петельки... Правильно говорит Семен – испорченная... Сразу раскусил ее, как увидел. Тогда еще, четыре года назад, про семилетнюю сказал: «Да за версту видно, кто она такая есть – плоть от плоти своих предков, которых ты ее так бездумно лишила. Угрюмая, недоразвитая дегенератка... Вечно уставится с тупым выражением в одну точку и молчит... Ты ведь знаешь, что такое гены? Ты что, надеялась их перешибить воспитанием? Черта с два! Только измучила всех не по делу: меня, ее, себя, наконец... Отправь ты девочку к ее родным и забудь. Подвигу всегда место в жизни найдется. Только брать его на себя надо по силам...». А она упиралась, дурочка, сиротку жалела. А сиротка чирк ножницами – и небольшого состояница как не бывало... И смотрит голодным волчонком. Точно – волчонок... Вот и пусть отправляется в свои леса...

Но уже этим вечером Кате стало не до отправки волчонка в родные леса и даже не до утраченной драгоценной петельки – потому что в доме у них появилась неожиданная гостья. И привел ее именно Семен, на одной из своих вечных многочасовых прогулок отчего-то решивший завернуть в небольшое частное издательство и там представиться дежурному редактору по имени Зинаида Михайловна.

Бывают на свете счастливые люди, обладающие волшебным обаянием, что обеспечивает им немеркнущую привлекательность среди восхищенных представителей обоего пола. Не нужна в таких случаях ни красота, ни грация, ни даже особенный ум. Достаточно поверхностного интеллекта и некоего негасимого внутреннего огонька, под ласковый свет которого каждый инстинктивно стремится подставиться. А если самым несправедливым образом, по принципу «одному – все, другим ничего» еще и подарена свыше такому избраннику фортуны победительная миловидность – то и вовсе спасения нет никому вокруг...

Именно таким человеком и оказалась приглашенная Семеном в гости Зинаида Михайловна – литературовед, рецензент и редактор хозрасчетного издательства, непринужденно заглянувшая однажды на чашку кофе в их серый дом с башенками... В присутствии мужчин научившаяся не теряться благодаря врачебному статусу, Катя была абсолютно беззащитна перед женщинами такого типа – даже если волею немилосердной судьбы они оказывались в плачевном положении на больничной койке. А уж если во всем блеске своего дружелюбия и доброжелательности такая дама располагается на твоём

собственном диване... Катя некрасиво засуетилась, стесняясь своего ничтожного роста, торчащих отовсюду костей, ненакрашенного маленького лица и неуложенных жидких волос. Ей сразу показалось, что кофе, ею сваренный, обязательно должен показаться гостю противным, обстановка – убогой, картина на стене – безвкусной, а сама она – пустой, глупой и старообразной... Тем не менее, мгновенно оценив расстановку сил в семье, а главное, безошибочно определив кормильца, Зинаида после первых же вежливых слов общего приветствия стала обращаться исключительно к Кате, лишь иногда с непонятным выражением косясь на Семена – лишь как на свидетеля важного разговора, никак не полноправного участника.

...Разумеется, проза господина Суворова гениальна... Она, как специалист, обладает ни разу не обманувшим чутьем... Нужно немедленно издавать за свой счет, раз всякие недотепы так не берут, – но не как-нибудь, а по высшему разряду... С грамотной вступительной статьей – ну, это уж она обеспечит... С классным дизайном обложки, она как раз знает подходящего художника... Иллюстрации, конечно, тоже желательны, причем, цветные – а как же иначе... Редактуру она также сама сделает... Начать стоит вот с этого последнего великолепного романа, и под одну обложку с ним поместить несколько впечатляющих рассказов... Конечно, она сама поможет подобрать... Разумеется, господина Суворова никто не будет утруждать походами в издательство – она лично станет приходить на дом и обговаривать каждый шаг с уважаемым автором... А потом, имея в руках такую достойную книгу, Семен Евгеньевич сам сможет выбирать себе Союз Писателей по вкусу... Она, кстати, во все вхожа, и везде к ее мнению прислушиваются... А следующие книги будет издать уже гораздо легче, потому что автор приобретет известность – для начала в своих кругах... Да что там говорить – с таким дарованием ему и всемирная слава гарантирована – дайте лишь срок... Кстати, как Катя себя чувствует в роли жены гения? Наверное, счастлива – ведь в историю они теперь войдут рука об руку... Что, деньги на издание? Чутье какая, это же суцая безделица... Конечно, она одолжит, и пусть Катя ни о чем не думает, отдаст, когда сможет... Скажем, с Нобелевской премии мужа, ха-ха... Ну, а если серьезно – то свои люди, сочтемся... Она, Зинаида, считает, что талантам нужно помогать изо всех сил, потому что они – штучный товар...

И действительно, работа закипела. Два-три раза в неделю, чуть только Катя и Саша отбывали каждая в своем направлении, Зинаида приходила к Семену, и вдвоем они посвящали несколько часов чтению, правке, отбору произведений – да и просто высоким литературным спорам...

Поначалу Катя самым непостижимым образом ни о чем не

«Критическая масса» и другие повести...

беспокоилась – только радовалась, что муж нашел достойное применение своим рукописям, и труд его, наконец, заслуженно высоко оценен профессионалом своего дела. Мысль о том, что муж может вульгарно изменить ей с новой знакомой, пришла Кате только раз и мельком – из-за уверенности как раз не в Семене, а именно в Зинаиде: зачем ей, такой благополучной и равных себе не знающей, ежеминутно имеющей любых мужчин на выбор у своих ног, мимолетно путаться с неудачливым и совершенно нищим неврастеником – пусть даже и обладателем голливудской красоты и умопомрачительного таланта? Кроме того, открытый взгляд женщины, ее доверительные интонации, естественная манера держаться – все это, казалось, полностью исключало возможность пошлой интрижки, обывательской низости и любой примитивной фальши с ее стороны. Кроме того, Катя уже давно старалась не допускать себя до размышлений о неизбежной конечности их с Семеном сомнительного брака, о том, найдя женщину более удобную и стоворчивую (например, без умственно отсталых приемных детей и злобных кошек, путающихся под ногами), он соберется и покинет временную жену в один день, причем в ее сторону ни разу не обернется – ни взглядом, ни воспоминанием... «Он слишком многим мне обязан. Не посмеет... – убеждала себя Катя, когда мысль такая все-таки подло просачивалась в сознание. – Да и где такую вторую найдет, как я – чтоб все терпела и ни на что не жаловалась? Нет, нет, я слишком много для него значу...».

Первый гром грянул, когда на чистойшей и белейшей подушке Семенова дивана Катя вдруг увидела жирный черный волос необыкновенной длины и курчавости. Словно живое омерзительное существо, он свернулся тремя правильными кольцами, как бы спрятав куда-то внутрь голову с ядовитой пастью. Когда Катя брала его меж двух пальцев, у нее где-то глубоко даже шевельнулся испуг перед ним, как перед змеиным детенышем – и абсолютно непредсказуемо она потеряла контроль над собой, вдруг начав истошно кричать... Потом ей страшно и стыдно было вспомнить, как именно – непристойно, почти непотребно она кричала – будто какая-нибудь дворничиха, застукавшая нетрезвого муженька с товаркой по бригаде... И не слушала, не могла слушать и слышать, что Семен говорит в ответ – так равнодушно, как говорят с непроходимыми и, главное, глубоко безразличными дурами...

Да, да, конечно, могла Зинаида присесть на диван перед женщиной низкой конторкой и, всматриваясь в его рукопись и потряхивая своими божественными волосами, невзначай обронить один из них... Ничего невозможного... Но Кате никак было не остановиться... В душе ее вдруг словно прорвалась какая-то глухая ранее по-

Наталья ВЕСЕЛОВА

лость, киста, таившая или, вернее, копившая неизвестную до времени, темную паразитическую энергию, теперь хлынувшую неостановимо и сокрушительно. В два прыжка оказалась вдруг Катя ногами на письменном столе мужа, и, отбросив шпингалеты, с ужасающим хрустом распахнула окно над бездной их двора-колодца... Оттуда обдало ее холодом не осени, а самой смерти – вовсе в ту минуту отчего-то не страшной, а непереносимо завлекательной. Стоя на подоконнике, Катя отчетливо произнесла вдруг не своим, а низким звериным голосом, поддев носком стоящую в рамке на столе фотографию покойной матери Семена: «Вот на портрете матери клянись. Клянись, что ничего у вас не было. Пусть она тогда в гробу перевернется и никогда больше покоя не узнает. Иначе...» – и она грозно, как ей показалось, глянула в разверстую у ног пропасть. «Что всегда ненавидел – так это женскую истерику, – без тени беспокойства отозвался Семен. – Да прыгай на здоровье, кому ты нужна...». Он молча вышел из кабинета, и Катя уже знала, куда немедленно отправится – на свою освежительную ночную прогулку, длившуюся у него обычно до утра. Вот спустится во двор – а там лежит Катин исковерканный труп... И сразу поняла, что Семен в этом случае просто пройдет мимо, стараясь не смотреть в ее сторону – и постарается отсутствовать подольше, чтобы гарантированно быть избавленным от последующей суеты и скандала. У него есть железное оправдание – он эпилептик и может всего этого не вынести... Словом, Катя так и осталась стоять на подоконнике при распахнутом окне – именно как дура, какой себя только что так красочно и достоверно изобразила... Когда хлопнула входная дверь, изнутри у Кати толкнулись теплые слезы. Она тихо и неуклюже слезла со стола, закрыла непригодившееся окно и отправилась в ванную... Слезы не останавливались долго, несколько часов...

Только тот, кому пришлось неделями жить в состоянии непрекращающегося кошмара, борясь с ежесекундными наваждениями и отбиваясь от вездесущих навязчивостей, может понять, во что превратилась Катина жизнь с той достопамятной ночи, разделившей ее жизнь на две половины. В одной она была пусть не особо счастливой, но сумевшей обрести неоспоримое личное место в жизни женщиной, а в другой – полусумасшедшим издерганным существом, подглядывающим и боящимся увидеть, гадающим и боящимся догадаться...

Так, чтобы убедиться в своей правоте или трагической ошибке, Катя могла в любой момент, уйдя под благовидным предлогом с работы, подкараулить в собственной машине Зинаидин приход, спустя некоторое время беззвучно войти в квартиру – и либо застать преступников с поличным, насладившись их перепуганными лица-

«Критическая масса» и другие повести...

ми и гадкой суетой одевания, либо успокоиться раз и навсегда. Но сделать так Катя не могла, инстинктивно боясь наткнуться на первый вариант, и тогда... А тогда вся жизнь в одну секунду обрушится, как ветхое здание на голову своим жильцам, и уже не поднимешь, не отстроишь... Так и останется гора битого кирпича и крошево щебня...

Поэтому Катя решительных мер и не предпринимала, ежевечерне и еженощно изводя себя подозрениями, казавшимися с первого взгляда неоспоримыми, но через пару минут вполне подававшимися старательно отыскиваемым и всегда находимым оправданиям... Например, это ее банное полотенце в ванной – почему оно несколько раз бывало влажным? Ведь Семен подчеркнуто пользуется только своими личными, раз освоенными предметами – полотенцами, столовыми приборами и посудой! Только посторонний мог схватить для интимной нужды первое попавшееся! Сердце падало... Но тут же она спохватывалась и говорила себе, что бестолковая Сашка вполне могла и пол в ванной полотенцем вытереть, не то, что голову... А ведь спроси – отопрется... А вот халат, собственный ее халат, висит не на том крючке, на который она всегда его вешает... Ясно! *Та* накидывала, когда бежала отмывать свою блудную грязь! Да нет, может, он просто упал, а Семен механически поднял и повесил не глядя... А почему так стремительно стало вдруг убывать жидкое мыло, которое раньше, бывало, по месяцу не кончалось? Сколько раз можно мыть руки? Ну, хорошо, когда вошла с улицы – раз, потом перед кофе (ведь кофе-то выпить вполне допустимо!) – два, еще после работы с бумагой – три, ну, а потом опять кофе, устанешь же – четыре... Да в туалет сходить – пять, шесть.... Может и нормально... Но кто уронил, а потом поставил обратно стопку книг на полке в ее «светелке»? Уж там-то Зинаиде точно делать нечего! Значит, на правах уже почти хозяйки болталась по квартире и все хватала лапами из любопытства... Да нет, почему обязательно она, это, наверное, все та же Сашка-бездельница... И эти волосы, бесконечные волосы на подушке – теперь уже не один, а целые змеиные клубки! Конечно, на кожаном диване облачной мягкости, положив ногу на ногу и откинувшись, удобней читать и болтать, чем за письменным столом да на жестком стуле с прямой спинкой – но почему Семен свою подушку не убирает – с его-то брезгливостью?! Ведь даже если ей, родной жене, случится на ту подушку голову приклонить, то он тотчас наволочку сдерет и с недовольным лицом к стиральной машине тащит! А тут – чужая тетка, и ему хоть бы что! Да вот именно потому и не сдирает, что она голову на подушку никогда не кладет, только волосищами трясет, а что они упали – Семен не замечает... Мужчины вообще мелочей никогда не видят...

Вскоре Катя заметила, что в горле у нее постоянно ощущается твердый комок, словно она недопроглотила пищу – так и ходила, постоянно делая судорожные глотательные движения и хорошо понимая, что пора назначать себе самой транквилизаторы... Потом исчез аппетит – настолько, что стакан томатного сока утром порой казался достаточным питанием до позднего вечера, когда в одиннадцать часов она что-то вяло жевала на кухне – не от голода, а в качестве средства от головокружения. Спать Катя теперь могла только предварительно оглушив себя парой убойных, для параноиков сделанных таблеток. Скулы у нее обтянуло, ключицы над вырезом кофточки выпирали уже неприлично, невольно вызывая в памяти жертв холокоста, а глаза начали гореть темным огнем близко подступающего безумия...

Как врач, она не сомневалась, что, если в ближайшие недели ситуация так или иначе не разрешится, то внутренние резервы неминуемо закончатся, а с ними закончится и еще что-то. Может быть, сама жизнь.

И однажды Катя поняла, что нужно сделать: немедленно достать где-то денег, чтобы вернуть Зинаиде долг за издание книги, через это получив независимость от нее – независимость, невозможную у должника... А потом строго поговорить не с недоступным Семеном, лишь подергивающим плечами в ответ на ее отчаянные взгляды, а с ней, Зинаидой – и пригрозить, если нужно! Потребовать заканчивать поскорей всю эту лирическую возню и передать книгу верстальщику! Сходить к директору издательства, все прояснить, не отдавать ей одной на откуп! Посмотрим, как она завертится, когда поймет, что никто от нее больше ни в чем не зависит! От таких победоносных идей начинали пылать щеки и сжиматься кулаки, но словно в росистый куст бросала ее каждый раз простая мысль: «Где взять столько денег, при этом ни в чем другом не ущемив Семена?».

Катя жила и думала из последних сил, с каждым днем ощущая себя все ближе и ближе к неминуемому конечному краху – потому что, как слепой в своей кромешной тьме чует приближение бесшумного убийцы с ножом, так и она, ничего не зная досконально, тем уникальным чутьем, которым Господь наградил – или покарал – в разной мере каждую женщину, предчувствовала неотвратимую и роковую развязку.

Глава третья Безумная ночь. Окончание

«Не бойся того, кто мертвый, бойся того, кто живой!» – так учил Сашеньку дедушка, когда она, гостя летом в деревне у них с бабушкой, однажды примчалась поздно вечером с местного кладби-

«Критическая масса» и другие повести...

ща – и, задыхаясь от самого неподдельного ужаса, стала рассказывать старикам про белые тени и голубое сияние над крашенными серебрянкой крестами под пугающе оранжевой луной.

Вот и теперь она очень хорошо понимала, что этого вовсе не пьяного, а совсем мертвого дядьку ей бояться совершенно незачем, потому что он теперь, по большому счету, от бледной синявинской куры отличается только размерами и формой. Но не содержанием. И не возможностями. Зажмутив глаза под одеялом и совершенно забыв о давно окоченевших ногах в мокрых войлочных тапочках, Сашенька все это пунктуально продумала и даже шепотом проговорила – вот только зубы все равно неостановимо щелкали, и все тело сотрясалось уже не от неумелой Резинкиной езды... Единственное, чего Сашенька до сих пор не сделала – так это не закричала, инстинктивно чувствуя, что так окажется еще страшнее... И вообще – какой же трусихой она оказалась, когда дошло до настоящего дела! Просто было там, в Иномирье, самой придумывать себе самые мрачные опасности и самой же легко преодолевать их, в любую минуту непринужденно призывая себе на помощь любого представителя как земного, так и параллельного мира... Много же, выходит, она о себе раньше воображала! Думала – смелая, а вот не может даже зубами не клацать! Думала – решительная и предприимчивая, а вот ни одной мысли в голове! Можно сколько угодно повторять хоть про себя, хоть шепотом: «Мне не страшно! Мне не страшно!» – а сердце даже не колотится, а, наверное, и вовсе уже остановилось, потому что на его месте – только обжигающе-ледяная пустота... «Я сейчас тоже умру», – вдруг ясно поняла Сашенька, и мысль эта ее непостижимо подбодрила: а что, ведь действительно, в любой момент, чтобы немедленно избавиться от ужаса, можно просто взять и умереть. Стоит только чуть-чуть поднапрячься, задержать дыхание, и, твердо зная она, что-то такое из нее вылетит куда-то вверх и обратно не вернется, это и называется смертью... Зато после не будет страшно...

Оставив себе этот вариант про запас на крайний случай, Сашенька, имея теперь в заглазнике хоть и хилый, но надежный выход из ситуации, немножко даже поуспокоилась и попыталась размышлять, насколько можно здраво. Дядька этот, ясно, не просто умер, а это Резинка его убила – случайно. Вновь прокрутив в напряженной памяти недавний разговор Резинки и отчима, девочка догадалась, что «хрястнулся» он о какой-то мраморный стол сам – и до смерти. Резинка считала, что все станут думать, будто она его нарочно ударила – и правильно считала, потому что даже Семен ей не поверил – и это после всего, что у них было! Что уж тогда о милиции говорить... А вот Сашенька поверила сразу: она откуда-то точно знала, что Резинка попросту несчастная – несмотря ни на красоту ее, ни

на дорогую машину – и не могла она никого специально убить, тем более, мужа... Телевизор Сашенька тоже смотрела, хотя редко и без особого интереса, и потому очень хорошо представляла, что мертвому дядьке дальше предстоит: его обязательно спрячут или даже заруют. Зачем понадобилась неприметная мамина машина, тоже было теперь предельно понятно: возить труп в ярко-красном впечатляющем авто не то что рискованно, а элементарно глупо. Серую же «десятку» никто не заметит и не запомнит... Вопрос остался только один: что именно сделает Резинка, если все же увидит, что на заднем сиденье, кроме мертвого тела, есть еще и живое – все видевшее и слышавшее? Удобней всего, конечно, это самое лишнее некрупное тело тоже сделать мертвым, тем более, что ему и мраморная столешница не потребуется: шею Сашеньке такая крупная тетка способна свернуть одним не слишком сильным движением... Другое дело – сможет ли Резинка так поступить, ведь она, наверное, любит детей, раз решила делать себе ребенка даже с чужим мужем... В любом случае, роль у Сашеньки оказалась самая что ни на есть пассивная: сжаться получше, в одеяло уйти поглубже, шевелиться поменьше и положить на свою взбалмошную судьбу...

Чуть-чуть отогревшись и вновь призадумавшись, Сашенька обнаружила, что ей уже не так страшно: она умудрилась как-то привыкнуть к ситуации и не то чтобы извлечь удовольствие, а очень сильно взбодриться от неожиданной, хотя и не слишком оригинальной мысли: ведь потом, когда весь этот кошмар закончится, и она станет о нем рассказывать другим, то это будет сущей правдой! Она действительно переживает настоящее, не вымышленное приключение, в котором, пожалуй, и приукрашивать ничего не нужно! Рассказать придется, само собой, маме, потом Вальке, а потом бабушке с дедушкой...

Сашенька подумала о них с мимолетной нежностью: оба они были неизменно ласковы с внучкой и никогда не пытались расставлять невидимые ограничительные столбы вокруг ее законного летнего досуга. В любое выбранное время, прихватив с собой легкий рюкзачок с бутербродами, термосом, кремом от комаров, компасом и спичками, девочка невозбранно уходила в лес на долгие часы и в свое удовольствие бродила там, совершенно игнорируя соблазнительные грибы и ягоды, но предаваясь любопытным наблюдениям и неизменным мечтам. Только она одна знала, что на самом деле рядом с ней всегда кто-то есть: в основном, тот мужчина, которого она в данный момент любила, или подлежащий воспитанию герой из читаемой книги – и она показывала ему заветные места, предлагала, всегда нарываясь на отказ, бутерброд с сыром или советовала внимательней смотреть под ноги. Вернуться позволялось хоть под

«Критическая масса» и другие повести...

вечер – и всегда на веранде ждала ее грустная бабушка в ситцевом платке, над пол-литровой банкой жирного парного молока, недавно нацеженного из розово-гнедой Зорьки, и вкусной обсыпной булкой на белом щербатом блюдечке. А дедушка, то и дело привычно приглаживая все еще толстые лихие усы, неторопливо курил на далекий закат, иногда рассеянно изрекая незатейливые афоризмы...

Неожиданно машина притормозила и стала явно сворачивать по перпендикуляру. Сквозь отверстие, давно еще оборудованное Сашенькой для дыхания и наблюдения, к ней сразу перестал поступать даже жалкий свет встречных машин на трассе, а сама «десятка» пошла неровно, словно уже не по асфальту, а по плохой грунтовке... В своей непроглядной тьме девочка определила, что они въехали на лесную дорогу и, стало быть, велика вероятность того, что цель страшной поездки недалеко. Страх парадоксально притупился, и теперь Сашеньку занимала только одна навязчивая мысль: как увидеть и услышать все, что будет происходить, ухитрившись остаться при этом незамеченной? Природное ее любопытство и склонность к невинному авантюризму, ненадолго отступив под влиянием чрезвычайных обстоятельств, теперь хищно добирала свое, законное. Машина тряслась недолго: через малое время скорость заметно снизилась, а потом и вовсе сошла на нет. Они стояли где-то в лесу – значит, Резинка сейчас вытащит «этого» и закопает? Навряд ли – для такого дела ведь яму надо вырыть поглубже – а как она это сделает одна и во тьме крошечной? Любопытство не то что распирало, а уже раздирало Сашеньку изнутри: неужели она так и просидит бессловесным и безглазым кулем на заднем сиденье?! А между тем «десятка» опять тронулась – шагом, как сказала бы мама – а потом и ползком. Наконец, замерла, хотя и урчала тихонько; хорошо, что фары не погасли, а то бы вообще беда. Резинка времени даром не теряла: немедленно открылась ее дверца, и торопливые шаги, обогнув машину, направились к задней правой. Сашенька замерла и в который раз вжалась в левую дверцу. Видеть она ничего не могла, но расслышала вполне отчетливый злорадный шип: «Что, паук, насосался моей кровушки?». Затем послышалась пыльная возня и тяжелый стук, будто от падения мешка с песком: это она рывком вытащила тело благоверного наружу. Следующим ее делом было достать из багажника пустую канистру для бензина – здоровую, по гулкому алюминиевому звуку определила Сашенька. И с этой канистрой Резинка унеслась куда-то вперед...

Все. Больше терпеть жгучую неизвестность Сашенька не могла. Хотя бы ценой собственной жизни, но должна она была узнать, что там происходит – иначе и самая жизнь эта стала бы ей после немила! Не слыша Резинкиных шагов, она бесшумно поползла, таща

за собой конец одеяла, по свободному теперь сиденью к открытой правой дверце. Прямо под ней смутно темнела безжизненная гора: труп, хладнокровно определила Сашенька, ничуть этим обстоятельством не смутившись, потому что он, можно сказать, был уже старым ее знакомцем, а вот то, что происходило впереди, представляло для нее гораздо больший интерес! Набравшись храбрости, девочка решительно высунула голову наружу и глянула вперед.

Вот те на! Машина, оказывается, стояла не в чаще, а на берегу небольшого лесного озера, снабженного, однако, покосившимися мостками, на которые и был направлен дальний свет фар. На мостках на коленях стояла Резинка, как раз деловито вытягивающая из воды уже наполненную канистру. Сашенька внимательно пронюхивала, как женщина туго завинчивает крышку короткого горлышка, а потом пропускает через ручку отрезанный кусок автомобильного троса. Она определенно знала, что делает, эта Резинка! Но тут Сашеньке пришлось быстрехонько нырнуть обратно в свое одеяловое убежище, потому что красивая злоумышленница, оставив на мостках орудия преступления, налегке направилась к машине... Собственно, все было уже ясно: мертвецу предстояло быть еще и утопленным в этом никому не нужном заброшенном озере, имея наполненную водой канистру в качестве надежного груза... Так оно и случилось: во все позабыв про свой страх и дрожа уже только от жадно утоляемого любопытства, Сашенька дотошно проследила, как Резинка, бесцеремонно схватив труп двумя руками за шиворот, проволокла его по мосткам, отдуваясь и чертыхаясь, обвязала тросом, а потом немилосердно спихнула в воду и тело, и канистру – причем даже с расстояния метров двенадцать, даже в ненадежном свете фар, девочка сумела углядеть злобно-торжествующее выражение на ее лице, когда несчастный покойник получал последний прощальный пинок...

Наверное, Резинка очень умаялась, потому что присела вдруг на корточки над водой и не шевелилась несколько безмолвных минут, ничего вокруг не видя и не слыша. Зато огляделась Сашенька – и невольно вздрогнула: она давно уже заметила, что в этом месте поросшая темной травой грунтовка заворачивала вокруг озера – и там словно мелькнула вдруг большая черная тень. Мелькнула опасно, двумя бросками преодолев открытое место и исчезнув в прибрежных кустах. Но больше ничего не шевельнулось, и никаких подозрительных звуков, сколько Сашенька ни напрягала слух, она так и не услышала. Показалось. Да и размышлять об этом долго не пришлось, потому что спохватившаяся Резинка уже быстрым шагом возвращалась к машине. Хлопнули одна за другой две дверцы. «Десятка» классически, в три приема, развернулась на берегу и вновь заковыляла по ухабам, унося с собой вполне в это время довольную

«Критическая масса» и другие повести...

жизнью Сашеньку и Резинку, неизвестно какими чувствами обуреваемую...

Сашенька так никогда и не вспомнила, что именно заставило ее минуты через три осторожно высунуться и глянуть назад через стекло багажника: может, смутное воспоминание о тени, мелькнувшей у озера, а может, дремучий инстинкт беглеца, которым она себя, сама того не подозревая, уже ощущала вполне. Далеко позади в темноте медленно и осторожно двигались два мутных грязно-желтых огня. Сашенька не зря одиннадцать лет прожила дочерью автомобилистки, и потому сразу безошибочно определила, что это могут быть только фары едущей за ними от озера другой машины. И означать это могло лишь одно: там, у мостков, они все это время были не одни...

Как и все дети в мире, Сашенька с рождения несла в себе идею бессмертия. Ощущение само собой разумеющейся вечности впереди начинает покидать здоровых и не оглушенных особыми несчастьями людей только после благополучного завершения первой трети далеко не всем отпущенного века. Человек старше этого возраста, как правило, уже не так беззаботно подвергает себя бессмысленному, но манящему риску, как дитя или подросток, даже постоявший однажды над холодным трупом ровесника. И это не потому происходит, что взрослый больше знает об опасности – ребенок о ней слышит, определенно, чаще – а из-за глубокой, ничем не вытравливаемой веры, что смерть или непредставимое несчастье не коснется именно его. Эсхатологически такая уверенность, возможно, и оправдана, потому что, человек, от рождения вынужденный словно идти с завязанными глазами по пересеченной местности между двумя ужасающими пропастями, что лежат до рождения и после смерти, по мере отдаления от первой, все менее ясно представляет себе и вторую...

Сашеньке сильно не повезло: с восхитительным ощущением бесконечности земного бытия ей пришлось расстаться лет на двадцать раньше, чем сверстникам, причем, в отличие от них, прозревающих постепенно, с ней это произошло в считанные минуты. Девочка очень быстро и неотвратимо осознала, что раньше, даже тайно сидя рядом с покойником на заднем сиденье машины, она, в сущности, лишь приятно щекотала себе нервы, потому что опасность все равно была скорее воображаемой и даже желанной. Представить себе серьезно, что либо отчим, либо Резинка ее спокойно мимоходом умертвят, было нелепо, и думала она об этом только ради дополнительного адреналина. А от двух зеленых фар, все неотвязнее маячивших позади, вдруг устремилась прямо на беззащитную Сашеньку волна такого слепого ужаса, который, знай она, что он значит, непременно назвала бы смертным. Там, в той машине, находился *чужой*. Не зна-

Наталья ВЕСЕЛОВА

комый с ее мамой, не пивший кофе у них в доме, даже имени ее не знающий. Но имеющий – свою *цель*. И цель эта даже на расстоянии ощущалась такой несправедливой и враждебной, что у Сашеньки вмиг оказались парализованными и воля, и фантазия. Возникло непреодолимое стремление позвать на помощь – но не взрослого человека, например, женщину за рулем, такую же бессильную в эти минуты, а Кого-то более могущественного, Который, как определенно чувствовала Сашенька, сейчас, как и всегда, ее видит и ждет. Но она не знала, как Его зовут, и как к Нему обратиться – из нее рвалось только нечто невнятное ей самой, но Его чудесным образом достигающее: «Сделай так, чтобы... Чтобы не... не... Чтобы я... Еще хоть немножко... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!».

Машина вдруг круто свернула на трассу и прибавила скорость. Закрывшись одеялом и вытянув голову над спинкой заднего сиденья, ошеломленная происходящим вне и творящимся внутри, девочка неотрывно смотрела назад и, конечно, достаточно скоро увидела, как другая машина показалась из леса и уверенно пристроилась метрах в ста позади. А Резинка, глупая Резинка, даже не глядела в правое боковое зеркало, сосредоточившись лишь на том, чтобы теперь нещадно гнать чужую машину прочь, прочь от опасного места! Неожиданно в свете фар встречной фуры на противоположной обочине высветилась знакомая надпись черным по белому: «Рычалово». Сашенька чуть не вскрикнула: значит, они ехали как раз по той дороге, что вела в деревню бабушки и дедушки, потому что смешное это название ей приходилось проезжать на машине с мамой ровно четыре раза в год, когда на зимние и летние каникулы мама отвозила ее к своим родителям и потом забирала обратно. Проехав название села, Сашенька всегда через несколько минут забывала о нем, хотя каждый раз и задавала себе один и тот же дурацкий вопрос: «Кто же тут когда-то сумел зарычать так оглушительно, что даже увековечил свой рык на карте?». Были по дороге и другие смешные, и невозможные, и пугающие названия, гораздо более занимавшие Сашенькино внимание: вот сейчас, например, нужно ожидать справа некую захлебывающуюся «Тараторочку», а километров через пять – непонятные «Лешие Головы». Действительно скоро протараторило, а «голов» ждать Сашенька не стала – спряталась. Сердце ее готово было оторваться...

Так она присидела, в полной мере уподобляясь хрестоматийному страусу, с полчаса, пока опять не почувствовала снижение скорости и мягкий поворот. Высунуться не успела – и очень удачно: знакомые звуки подсказали, что автомобиль заправляют – хорошо, что сидела она не со стороны бензобака! Снова выехали на трассу, и оставалось только из последних сил заставлять себя ни о чем при-

«Критическая масса» и другие повести...

стально не задумываться. «Это кончится. Это кончится. Так не может быть всегда», – вот и все, что только и могла Сашенька думать и твердить про себя... Она знала, что до города еще ехать не менее полутора часов.

Такого не мог ожидать никто. Обе они, каждая про себя, уже успели, наверное, поверить, что сегодняшнее рискованное путешествие, возможно, и сойдет им с рук, когда неизвестно откуда раздался вдруг отвратительный скрежет, вслед за ним машина завихляла и подпрыгнула, ее повело вправо, чуть не бросило в кювет – а перепуганная Резинка изо всех сил топтала визжащие тормоза! Машина остановилась, но еще некоторое время тряслась, как в жестокой агонии, а с водительского сиденья мутным потоком хлынула целая речь – их тех, которые слышать детям совсем не полагается.

«Это конец, – определила Сашенька, и ей вдруг снова стало нестрашно, потому что страх, как оказалось, отступает и перед неотвратимостью тоже. – Трасса почти пуста, и мы безоружны. Сейчас он приблизится и сделает, что захочет. Помешать ему ни одна из нас не сможет...». Она снова оглянулась. Все так и было: издевательски неспешно приближались две грязные фары... Следовало хотя бы предупредить пребывающую в неведенье обреченную Резинку, но внезапная физическая дурнота вызвала вдруг неприятную тягучую расслабленность; воздуха не хватало, и холодной рукой Сашенька попыталась отбросить одеяло – теперь уж было все равно... Резинку тоже, наверное, бросило в пот, потому что резкими угловатыми движениями она сразу же до упора открутила непослушный рычажок, опускающий стекло с ее стороны... Чужая машина медленно, страшно медленно поползла мимо, почти остановившись на миг. Резинка вскрикнула, молниеносно накинув капюшон, отвернулась – и вовремя: в соседнем салоне полыхнула яркая вспышка, после чего автомобиль взвизгнул и унесся. «Да это нас сфотографировали!» – догадалась Сашенька. На трассе несколько минут стояла потрясенная тишина, а потом Резинка вдруг рывкнула: «Сволочь какая!» – и тут же раздался тонкий механический писк: набирала номер на своем телефоне. Сашенька машинально снова втянулась под родное одеяло и привычно прислушалась. Резинка, вполне оправившаяся от всех своих сегодняшних многочисленных шоков, говорила обычным властным и уверенным голосом: «Будьте добры, мне немедленно нужен эвакуатор. Да, прямо сейчас. Абсолютно невозможно: полетела коробка. Ни первая, ни какая... Да, одна и очень тороплюсь. «Десятка». Цена не имеет значения, важно только время. Да, готова. Наличными. И за срочность. Нет, не в сервис, а по конкретному адресу. Мне так удобнее. Записывайте...». Она откинулась и принялась непрерывно барабанить по рулю своими острыми звонкими ногтями.

Наталья ВЕСЕЛОВА

Кажется, Резинка даже шепеляво насвистывала, только Сашеньке очень скоро вновь стало не до нее: неумолимо наступал тот самый ежесуточный предутренний час, когда ее мочевого пузырь совсем не деликатно напоминал о себе, требуя немедленно с ним почитаться. Дома все решалось к обоюдному удовольствию: она вставала, не включая света, и, почти не просыпаясь, босиком двигалась по темному коридору к заветной двери, всегда безошибочно находимой наощупь. После этого подлый пузырь снова благодарно засыпал уже до настоящего утра, как и его обладательница, добравшаяся обратно до кровати прежним макаром...

Вот тут все имевшие место терзания и страхи минувшей ночи показали Сашеньке лишь забавной прелюдией к главному испытанию. Через пять минут она уже беззвучно корчилась и готова была хоть сокровищами со своего подоконника поделиться – лишь бы не нарастали ежесекундно рези, грозившие очень скоро стать нестерпимыми. Весьма кстати вспомнился ей и жуткий рассказец о преданной собаке, вынужденно оставленной внезапно увезенным в больницу хозяином дома, без прогулок, и через некоторое время умершей от разрыва мочевого пузыря, потому что собачья совесть не позволила ей испачкать священный хозяйский пол. А что если и с ней случится нечто подобное?!

...Звук сильного мотора приблизился и смолк, а Резинка выскочила на дорогу. За неинтересными переговорами Сашенька не следила, вдруг с восторгом осознав неоспоримую вещь: очень скоро машину поднимут на эвакуатор, Резинка переседет рядом с водителем, и она останется в машине одна – а тогда уж точно изловчится сделать свое до крайности нужное дело, тем более что сзади, в багажнике, только руку протянуть, непременно должны найтись приемлемые емкости! Ободренная тем, что мучиться остается какие-нибудь минуты – пусть из тех, самых длинных в жизни – Сашенька затихла с закрытыми глазами в мучительно-терпеливом ожидании промежуточной развязки... И абсолютно неожиданно провалилась в, казалось, чье-то чужое, ей неподвластное Иномирье.

Ногам был холодно до боли, потому что она шла по мокрым опавшим листьям босиком. Кругом враждебно стоял лес не лес, а словно заросший бурным сорняком заброшенный парк. Низко нависало неприветливое тяжелое небо, ровно-стальное, неприятно безжизненное. Сашенька брела по замусоренной тропинке, постоянно с отвращением натываясь на куски грязной обгорелой бумаги, какие-то скользкие обломки и обрывки, все время думала, что пора возвращаться, но болезненное любопытство толкало ее вперед. То и дело справа и слева попадались мокрым мхом поросшие развалины

«Критическая масса» и другие повести...

некогда, вероятно, величественных дворцов – с битыми мраморными ступенями и искалеченными статуями обнаженных мужчин и женщин. Среди развалин прямо на земле, в листьях и соре, валялись чудесные, явно драгоценные предметы – тускло-серебряные кубки, мерцающие эмалевые вазы, искореженные бронзовые подсвечники... Здесь явно был когда-то музей... А вот руины небольшого простенького домика, где жили, наверное, сотрудники: еще можно видеть среди горой сваленных заплесневелых балок остатки высокого белого холодильника и целую гирлянду разноцветных рваных проводов, свисающую с уцелевшей стены. Это хорошо: она, по крайней мере, не в прошлое попала... А куда тогда – в будущее? Но ведь совершенно очевидно, что здесь произошел потрясающий катаклизм или закончилась разрушительная война!..

Страх не было, но сердце сжимала оглушительная, беспроветная тоска, тоска нечеловеческая, такая тоска, какой и не бывает на свете. И которая сама по себе пройти не может. Тоска обреченного ожидания неведомого, но приближающегося Дня Ярости – вот что это была за тоска – больше, чем смертная... Откуда-то Сашенька знала, что здесь, над этим бывшим парком, музеем и деревьями, да и на всей неведомой планете, больше никогда ничего не произойдет, потому что все возможное и обещанное этой земле уже исполнилось. Все сроки вышли, все шансы уже использованы, осталось только извне придти тому самому Дню.

Сашенька посмотрела на свои ноги и руки и, хотя видела отчетливо пижамные штаны и рукава, поняла, что здесь она взрослая – длинная, тощая и изможденная. Она осторожно коснулась лица и обнаружила острые жесткие скулы и проваленные щеки – но не помнила, как выросла и что перестрадала. Не знала также, куда идет и куда собирается возвращаться – только босым ногам становилось все холоднее и нестерпимее.

Вот попались еще одни развалины, вернее, остов темного кирпичного дома, причем тропинка, по которой шла взрослая Александра, текла прямо сквозь него. Остановиться отчего-то было невозможно, пришлось войти в мрачные коричневые стены. Войдя, она подумала, что здесь давным-давно располагалась, конечно, церковь, потому что изнутри стены когда-то были оштукатурены и расписаны: вот просвечивает Женицина в синем покрывале, а выше, кажется, смутно виден Крест с Распятым на нем Человеком...

И вдруг она отчетливо, словно вчерашний эпизод, вспомнила один давний маленький случай в школе, на уроке истории. Это было, наверное, класс в пятом, и урок касался возникновения христианства. Учительница, очень важная дама с высокой белой прической и в огромных стрекозьих очках, открыла учебник и звучно, с рас-

Наталья ВЕСЕЛОВА

становкой, прочла: «Среди других персонажей палестинского фольклора постепенно выделился некий мифический Учитель по имени Иисус Христос, рассказывающий красивые притчи и наделенный способностью показывать чудеса магии... – она сделала значительную таинственную паузу и, словно призывая учеников в соучастники чего-то не совсем законного, понизив голос, сказала: – А теперь, закройте, пожалуйста, ваши учебники, так как то, что там написано об Иисусе Христе – суцья чепуха. Я хочу, чтобы вы поняли: это никакой не мифический персонаж фольклора. Такой Человек действительно был в истории, и это доказано учеными. И лично я не устаю удивляться тому, как упорно авторы школьных учебников пытаются внушить детям, что Он – вымышленное лицо. Но...» – и тут снова последовала внушительная пауза. Учительница пытливо оглядела сквозь свои изящные очки устремленные на нее заинтригованные детские лица и, подняв узкую ладонь, вдруг отрывисто спросила: «Я надеюсь, вы все здесь атеисты? Никто не верит в какого-нибудь там Бога или еще что-то такое? Могу я говорить с вами как со здравомыслящими людьми? Все атеисты? Вот ты, Света, атеистка?». Спрошенная Света торопливо закивала, и тотчас ее кивок машинально повторил почти весь класс, включая и мальчика, про которого все давно знали, что он, обладатель трогательного дисканта, уже два года поет с мамой в церковном хоре. «А ты? А ты?» – стала пышная дама выборочно опрашивать других, с готовностью кивавших в ответ – и очередь вот-вот должна была дойти до Сашеньки. Она тоже, конечно, была атеисткой. Хотя бабушка и сказала ей, что носила ее грудную в церковь окрестить, чтоб не болела, но никаких осязтимых изменений это в Сашенькину жизнь не внесло, да и мама, однажды между делом спрошенная, отмахнулась, бросив через плечо, что если и есть что-то, управляющее миром, то это, во всяком случае, не бородатый дядька, сидящий на облаке, а всякие церкви и мечети – просто места грамотного отъема денег у населения, и что пока существуют невежественные люди, всегда найдется кто-нибудь, кто не упустит возможности их обобрать... Но странное дело! В собственном атеизме совершенно не сомневаясь, в ту минуту, ожидая уже непосредственно к ней обращенного вопроса учителя, она вдруг почувствовала, что кивнуть не хочет. Что этот кивок ей каким-то образом противен и совершенно неприемлем... Не соображая толком, что делает, Сашенька толкнула на пол карандаш, сразу звонко покатиившийся, и самым законным образом полезла за ним под парту, избежав на этот раз очной ставки с невесть отчего взбунтовавшейся сествью... Скрючившись на корточках, она услышала сверху ехидное: «А Саша у нас сегодня сидит под партией и вообще не слышит, о чем говорит на

«Критическая масса» и другие повести...

уроке», – и сразу же вопрос был переадресован соседке, а потом потек вольный педагогический монолог: «Я это потому, ребята, у вас спрашивала, чтобы вы четко понимали разницу между научными исследованиями ученых-историков, утверждающих, что Иисус был великим Человеком-гуманистом, принесшим людям учение о добре и самопожертвовании, и измышлениями церковников, ничего общего с наукой и реальностью не имеющими...». Поняв, что опасность миновала, весьма озадаченная собственным поведением Сашенька незаметно выползла на поверхность...

Но вот теперь, через годы стоя в разрушенном и оскверненном храме, она откуда-то точно знала, что ее необъяснимый глуповатый поступок незапамятных времен – и есть причина того, что она здесь стоит, думает и мучительно, до рвущей боли в сердце, тоскует о чем-то утраченном – или, вернее, так и не обретенном... Вдруг она заметила, что у противоположной стены спиной к ней стоит высокая женщина в рваном бесцветном платье и тоже рассматривает стертые изображения. Сашенька хотела спросить ее, как отсюда выйти обратно, то есть, **совсем** обратно, туда, где **все** еще есть, а вместо этого вдруг глухо крикнула: «Чего вы здесь ждете?» – и незнакомка ответила, не оборачиваясь: «Дня Милосердия», – но сразу все вокруг стало постепенно заволакиваться тьмой, а сама Сашенька начала словно запрокидываться – и проснулась.

Сначала она вздрогнула от ужаса, обнаружив, что сидит в полной темноте, то ли чем-то придавленная, то ли связанная, а спинка сиденья неумолимо заваливается. Но сразу же услужливая память развернулась перед ней во всем великолепии, и Сашенька поняла, что все еще находится в маминой машине, покрытая душным одеялом с головой, а машина сломалась, и ее сейчас поднимают на эвакуатор... Поднимают? Нет! Уже опускают! Она, выходит, проспала всю дорогу, так никем и не замеченная, а теперь... Где она теперь? Сашенька осторожно высунулась и узнала собственный двор. Слегка, едва заметно, светало, но фонари уже не горели, и только редкие проснувшиеся окна сонно выглядывали в туманную тьму ноябрьского раннего утра. «Десятка» стояла на своем обычном месте, и буквально в нескольких метрах от нее Резинка в черной куртке с поднятым капюшоном расплачивалась с хмурым и явно недовольным водителем эвакуатора...

В один миг воскресло все пережитое – и девочка встрепенулась: нужно было бежать, быстро и незаметно, пока электронный ключ не закрыл все двери наглухо и не замуровал ее внутри! Но поздно – Резинка направлялась к машине... Оказалось, всего лишь к багажнику. Не заметив напоследок уменьшившуюся в размерах

едва ли не вдвое Сашеньку, она с тихим шуршанием вытащила свою личную весьма не маленькую сумку и, прикрыв багажник, понесла ее к мирно ждущему собственному авто. Нужно было решаться – ничего другого не оставалось. Бесшумно щелкнув дверцей туда-сюда, девочка пригнулась, опротясь бросилась к своему запертому подъезду – и там остолбенела от неожиданной встречи: впервые совершенно позабытая, мокрая и грязная Незабудка, хрипло и укоризненно мяукая, жалась к негостеприимной железной двери. Схватив ее на руки, Сашенька в панике обернулась: возвращавшаяся Резинка теперь ясно видела в свете лестничных окон и ребенка, и животное, а что при этом думала – то на ее лице никак не отразилось. Равнодушно скользнув по ним взглядом, она открыла машину в последний раз, достала оттуда сумку Сашенькиной мамы, захлопнула все дверцы и нажала маленькую таинственную кнопку. «Десятка» жалобно пискнула и мигнула, а женщина устало вынула из кармана свой телефон и долго молча стояла, прижав его к щеке... Наконец, ей ответили, и она очень тихо попросила: «Спустись и заведи ее сумку со всеми причиндалами. Машина на месте, я жду у двери». Выслушав краткий ответ, устало прошептала: «Тогда я попросту выкину все в ближайшую помойку...». Дала отбой и осталась растерянно стоять, где была, потом подумала и спросила дрожащую Сашеньку: «Девочка, ты можешь открыть мне этот подъезд?» – на что та сначала быстро замотала головой, а потом выдавила: «Я за кошкой... выскочила, а он закрылся... А дома все спят...». Резинка махнула было рукой, но вдруг тяжелая дверь стукнула и отворилась, явив в проеме грозную фигуру Семена Евгеньевича. Он устался на Сашеньку с брезгливым недоумением, но та уже успела, ободренная первой ложью, придти в себя и ловко скользнула мимо невольно посторонившегося отчима, лепеча нарочито по-детски: «Дядь Сень, я тут за Незабудкой выбежала...». Забыв про лифт, она на одном дыхании взмыла на седьмой этаж, нырнула в открытую дверь квартиры и вместе с кошкой бросилась в туалет. Там они обе успешно переждали быстрое Семеново возвращение и водворение в дальнюю комнату, а затем, так и не выпуская из объятий главной виновницу всех ночных бед, Сашенька на цыпочках проскакала в свою комнату, где успела сделать две очень важные вещи: поставить абсолютно мокрые ледяные тапки на батарею и придушить так и не успевший завопить будильник. Еще по дороге она знала, что сегодня в школу не пойдет ни за что: ее мама-труженица всегда уходила рано, никогда не будя перед этим дочь, а уж отчим и давно не интересуется...

Постель была сначала очень холодная и как бы чужая, но скоро начало прибывать уютное тепло, и девочка повернулась к стенке, обнимая счастливую вонючую Незабудку, сразу принявшуюся оглу-

«Критическая масса» и другие повести...

шительно мурчать, едва ли не захлебываясь от счастья. Сашенька знала, что никакого разумного решения сейчас не примет. Конечно, она могла бы истерично растрясти крепким утренним сном спящую маму и бестолково вывалить ей, осоловевшей спросонок и ничего не соображающей, все подробности своего сегодняшнего необычайного приключения. Но было ясно, что сделать это упорядоченно и доходчиво у нее не получится: сперва следовало все не спеша обдумать самой – и заняться этим Сашенька решила безотлагательно...

Только перед закрытыми глазами вдруг поплыли голые деревья, сиамские кошки, зазвучали далекие неопределенные голоса... Несколько раз она вздрагивала, пыталась стряхнуть навязчивый сон и заняться неотложными размышлениями, но вскоре пришлось смириться с тем, что все важное придется отложить до момента просыпания... Она еще слышала сквозь первый сон, как мама раздраженно кричит кому-то по телефону рядом с дверью: «Да никакая не включается... Вся коробка, наверное, сдохла! Да нет, вы сможете? Слава Богу... А сколько это будет стоить? Это с вашими деталями? Ну, что делать... Я без машины, как без рук...» – и все пропало уже окончательно, словно затянутое в воронку без дна и просвета.

Глава четвертая День Ярости

Когда Катя училась в медицинском институте, она узнала, как это называется: фобия. Да, да, оказалось, что она тоже принадлежит к ним – психопатическим личностям с ярко выраженной клиникой. Но у взрослых фобии обычно связаны с конкретным резко отрицательным переживанием детства, а как объяснить таковую у ребенка? Какими-то досознательными впечатлениями? Не особенно в это верилось, но прискорбный факт неумолимо присутствовал: с самого раннего возраста Катя была подвержена патологическому ужасу перед калеками и людьми с физическими уродствами. Это не было брезгливостью или чем-то подобным, что можно побороть путем упорных тренировок воли. Не боялась она также, что люди эти сделают или скажут ей что-то дурное, не видела никаких других опасностей, исходящих от них – но испытывала дремучий, первобытный страх, стоило лишь ей увидеть на улице одноногого на костылях, чей-то плоский рукав, небрежно засунутый в карман, а самое немыслимое – мутно-неподвижный стеклянный глаз, нелепо и жутко вдавленный в чужую глазницу. С этой жутью ничего нельзя было поделать и, ребенком столкнувшись на улице с таким несчастным, она, иногда рискуя жизнью, летела на другую сторону, или пряталась в смрадную пасть подъезда, или выскакивала, зажмурив глаза,

Наталья ВЕСЕЛОВА

из троллейбуса, хотя бы и ждала его до этого долгих сорок минут под проливным дождем...

Чем больший телесный ущерб понес человек, тем невозможнее Кате было находиться с ним рядом, но даже самая маленькая недостача могла порой терзать ее непереносимо, чуть не до смерти... Например, Катина мама так и умерла, уверенная, что дочь уговорила перевести ее в другую, дальнюю школу именно из-за непонятной в девочке любви к математике, но только Катя знала, так и не отважившись никогда, никому в этом признаться, что это произошло совсем по другой, просто дикой для других причине. Ее одноклассник, гостя летом в деревне, взялся сдуру помочь деду наколоть дров – и бездарно лишился целой половины большого пальца, в сентябре придя в родной класс с уже поджившей культяпкой. Этого хватило Кате для того, чтобы весь учебный год убежать по школьному коридору в женский туалет, едва завидев вдали вполне со своей неприятностью смирившегося паренька. Никто из парней и девчонок и внимания не обращал на отсутствие маленького кусочка пальца у товарища – а для Кати это обстоятельство превратилось в ежедневную пытку, о которой нельзя было сказать ни одному человеку на земле – кроме психиатра, разумеется, но к этому девочка-подросток совсем не стремилась.

А на улице, что она испытывала на улице! Ведь в детстве и отрочестве ее были живы и даже находились в созидательном и детородном возрасте многие покалеченные ветераны войны – и смели непринужденно разгуливать по улице на протезах, ведать не ведая, что своим скромным появлением доводят до полусмерти шупленькую хилую девочку, которую и в расчет-то брать смешно...

В юности Катя, разумеется, научилась не шарахаться от инвалидов – тем более что больные ветераны быстро повымерли, и остались только самые крепкие, умудрившиеся не подарить Родине ни глаз, ни челюстей, ни конечностей. Катина фобия ничуть не мешала ей учиться на врача, ибо ничего общего не имела со страхом перед кровью, выпотрошенными «препаратами» и пугающими симптомами иных невероятных болезней... Это просто стало ее личной тайной, как у иных становится таковой неразделенная любовь или вылеченная гонорея. Но однажды она получила незабываемую психическую травму, нанесенную ей походя смешливой одноклассницей.

Дело касалось губастого юноши-лаборанта, вдруг начавшего оказывать Кате неуместные знаки внимания, несмотря на то, что его левая нога была навсегда обута в огромный коричневый ботинок-копыто. Человеком он, скорей всего, был редкой хорошеести: мог маниакально добывать для любимой что-нибудь, чего она лишь мимолетно пожелала, организовать ей милый и симпатичный сюрприз с цве-



тами или редкими конфетами – но она только сдерживалась, чтобы не оскорбить его явным пренебрежением в ответ на всю нежную заботу... На что ей открыто и попеняла однажды подруга: «Не с твоей внешностью проявлять чрезмерную разборчивость: он, возможно, как раз твой вариант...». Вот отчего, оказывается, так боялась Катя инвалидов: все они были ее потенциальными женихами! С подругой Катя после этого раздружились, с лаборантом под благовидным предлогом поссорилась, но, хорошо понимая жестокую правоту первой, начала бегать уже ото всех молодых и старых мужчин на свете... А в глубине души твердо знала одно: если у нее, застенчивой и безвидной Кати, когда-нибудь и будет муж – то не дефективный и не уродливый, а только очевидный красавец, совершенный во всем. А нет – так и никакого не надо... Поставив себе заведомо недостижимое условие замужества, Катя успокоилась: теперь отказ словно бы исходил от нее, а не от упорно не желавших замечать бледненькую дурнушку мужчин: просто все они были недостаточно красивы, а следовательно, не заслуживали и взгляда...

Когда в сером доме с башенками на седьмом этаже появился Семен Евгеньевич, Катя была счастлива, прежде всего, тем, что утратила нос самой насмешнице-судьбе, казалось, уготовившей ей участь быть женой убогого, но вынужденной смириться с Катиной непокорностью. На Семена женщины оборачивались на улице точно так же, как мужчины на длинноногую девушку со всеми положенными округлостями и волосами до колен. Пусть завистливые неудачницы при этом думали самые мерзкие вещи про его счастливцу-жену – но он-то шел по улице с ней, а не с ними! Так что жизнь ее была, определенно, теперь лучше, чем у других. У ее Семена есть «личностные особенности» – что с того? У кого их нет? А что, лучше, когда муж спьяну избивает жену и детей, как это происходит в семьях половины их персонала? Или если его никогда нет дома, потому что семья ему осточертела, и век бы ее не видать? Такая ситуация у второй половины... Денег в дом не приносит? Ну, во-первых, приносит: квартира же его сдается... Во-вторых, эпилепсия – это вам не шутки, хотя и болезнь гениев... А он не бездельничает, трудится, не разгибая спины... Сашку не любит? А много ли мужчин вообще любят детей, даже своих – а если это и вовсе неизвестно чей ребенок? Каких тут трогательных отцовских чувств можно требовать? Все больше и больше склонялась Катя к мысли, что с мужем ей редко повезло, и единственная ее задача – это суметь сохранить их хрупкие отношения, не позволить третьему лицу – ни этой роскошной подлой Зинаиде, ни случайной, как оказалось, Сашке – разрушить ее выстраданное, с отчетливой горчинкой, но оттого вдвойне драгоценное счастье...

«Критическая масса» и другие повести...

...На какое-то время Зинаида, вероятно, показываться перестала – так по всему выходило: полотенце оставалось приятно сухим, халат никогда не покидал в Катину отсутствие родного крючка, жидкое мыло перестало волшебным образом убывать, все вещи в доме лежали ровно и только ждали ласковых прикосновений хозяйки, и никаких страшных волос не попадалось больше ни в белой раковине, ни на подушке... Может быть, просто подготовка рукописи была закончена – только уже неделю, как Катя потихоньку начала свободно, не давясь, принимать пищу и перестала судорожно обшаривать глазами квартиру в поисках настоящего или мнимого неурядка.

Вскоре Кате представился случай додуматься до еще одной вымученной истины: совесть – это вовсе не что-то неоспоримое, чем человек обречен терзаться до гробовой доски. Вовсе нет – она вполне подчиняется приказам, если те отдаются вполне решительно, а также склоняет свою гордую голову перед логикой, если та достаточно убийственна. Она нашла – верней, ее нашел – неприятный, но весьма действенный способ заработать приличные деньги, чтобы заплатить и тем обезоружить и выдавить Зинаиду – значит, теперь нужно было посмотреть правде в глаза и насчет Сашки, чтоб не мучиться бесплодно – мол, ах, сиротка, что ее в жизни ждет! Да ничего особенного не ждет: будет жить с бабкой и дедом, которые ее обожают, а потом получит полезную специальность и начнет работать, как все люди. Не сложились отношения с чужим ребенком – значит, не сложились, и нечего тут сыпать сахарной пудрой. Им обоим так лучше; кроме того, Катя ведь не отказывается по-прежнему быть опекуном, станет приезжать, подарки какие-нибудь привозить... Хотя на первых порах... Поэтому какое там «после летних каникул», если до этого Семен может не выдержать и попросту хлопнуть дверь – с чем она останется? Со своим глупым героизмом и «совестью»? А еще лучше – опять от инвалидов начнет на улице убегать – врач ведь знает, какие комплексы брошенным бабам грозят... Короче – на Новый год Сашка поедет в деревню и там останется; родные ее только рады будут: уж сколько намеков делали – пусть, дескать, поживет подольше... Пусть.

Тем более что вредная девчонка опять номер отколола: как раз тем мрачным утром, когда Катина старая, но по-собачьи преданная машина, наконец, сломалась по-серьезному, и вновь предстояли непредвиденные крупные траты, Семен утром рано спустился за газетой, забытой в ящике накануне и – здарсьте! – застучал Сашку, входящую с улицы в подъезд в пижаме и тапочках! За кошкой своей, понеслась, видите ли – совсем спятила! И, конечно, днем уже температура под тридцать девять, в бронхах Катя лично услышала хрипы, но на этот раз миндальничать с приемышем не стала, первую

Наталья ВЕСЕЛОВА

традиционную ступень лечения травами и микстурами безжалостно пропустила – назначила сразу антибиотики, чтоб скорей выздоравливала, не торчала дома, своими праздными шатаниями по квартире выводя из себя отчима, который уже целых четыре года, как ангел, ее терпит и не прибил до сих пор... И ведь до чего все-таки завралась уже – просто так бы и стукнула! Сама горит вся, хрипит и кашляет, глаза блестят, как у ненормальной – лежала бы тихо под одеялом, как все порядочные больные – так нет, и здесь не может удержаться: «Мама, ты просто не знаешь, на самом деле это она твою машину сломала, эта Зинаида, которая убила своего мужа – ну, то есть, не совсем убила, а он сам убился – и на твоей машине увезла его, чтобы выбросить в озеро, а дядя Сеня ей помогал труп перетаскивать...». Если бы не была больная, то на этот раз точно получила бы от души...

...Кто после тяжелого сна, наполненного непонятными и страшными сновидениями, прометавшись несколько часов кряду на влажных горячих простынях, просыпался с болью во всем измученном теле, металлическим вкусом во рту и липким туманом в голове, тот прекрасно поймет, что испытывала Сашенька после своего пробуждения как раз к маминому ежедневному заскоку домой перед вечерним приемом. Ее, мокрую и жалкую, неведомая сила придавила к кровати, в груди она ощущала словно горсть толченого стекла, и даже зеленый дневной свет сквозь тонкие шторы казался нестерпимым для глаз, прикрытых тяжелыми, почти как у Вия, веками.

Все утро и день ей снился один и тот же кошмар: будто она едет на заднем сиденье машины, покрытая жарким тяжелым ватным одеялом – настолько пыльным, что дышать совсем невозможно, потому что сухой колючей пылью забиты и рот, и нос, и горло, и вся грудь... С переднего сиденья все время оборачивается Семен и, взглянув на нее с брезгливостью, начинает убеждать маму, что девочка слишком громко дышит, и ее поэтому нужно утопить в старом озере, а чтоб не всплыла, привязать к ней канистру с бензином... Мама резко, со скрежетом дергает ручку переключателя скоростей, машина вдруг на полной скорости останавливается и, словно конь на дыбы, встает на задние колеса, а отчим с мамой летят прямо на Сашеньку – причем мама вдруг оказывается не мамой, а огромным толстым мокрым мертвецом с белыми выпученными глазами – и на дороге стоит Резинка, размахивает маминой сумкой и хохочет, сгибаясь от смеха пополам... Потом машина оказывается уже в лесу, на берегу того озера, где, знает Сашенька, ее сейчас утопят, и Резинка волочет по гнилым мосткам труп – как оказывается, мамин! Сашенька с пронзительным криком бежит за ними, но отчим жест-

«Критическая масса» и другие повести...

ко хватает ее сзади и держит, все повторяя, что здесь и закончится путь-дорожка... Прямо на них из темноты выезжает чужая машина, оттуда сверкают бесконечные белые вспышки, так что и отчим, и Резинка, и мама, и даже внезапно откуда-то взявшийся дядькин труп – все отпрыгивают в сторону, бросая Сашеньку одну и совершенно парализованную... Потом она вдруг понимает, что машина едет на эвакуаторе, и она там одна, но связанная и облитая кипящей водой, от которой идет пар и постепенно заполняет весь салон... – и так все это вертелось, бесконечно повторяясь и обрастая уродливыми подробностями, пока вдруг не раздался мамин голос прямо над головой, и Сашенька не вынырнула, очумелая и ничего не понимающая, в свою горячую постель – больная, распластанная и беспомощная.

- Так, – строго сказала мама, уже державшая в руках свой ужасный хромированный фонендоскоп. – Допрыгалась ночью по подъездам голая. Мало на меня сегодня всего свалилось – теперь еще и ты...

Сашенька смутно сообразила, что маме немедленно следует узнать все, что происходило ночью на самом деле, но образы начали коварно путаться в голове, а вдобавок пропал еще и голос, поэтому она только присипела:

- Мама, я должна тебе очень многое рассказать...

- Прежде всего, – вспыхнула мама, – ты должна очень сильно извиниться! За непослушание! За то, что вела себя, как идиотка!

- Ах, нет, нет, – слабо билась Сашенька. – Это все не так, на самом деле твоя машина не сама сломалась, а ее Резинка сломала... То есть Зинаида Михайловна... Я там была и видела... На заднем сиденье сидела вместе с трупом ее убитого мужа... То есть, это не она его убила, а он сам убилился... А дядя Сеня его тащил в машину, а потом Резинка его в озеро скинула...

В глазах матери промелькнула далекая тревога:

- Вроде, температура не такая, чтоб до бреда дошло... – про-бормотала она.

- Это не бред! – обрадовалась Сашенька ее пониманию. – Это совсем не бред, это правда, честное слово, правда!

Но вдруг сильная мамина рука сделала то, чего от нее Сашеньке еще никогда не доводилось вытерпеть: жестко и больно взяла ее за левое ухо и безжалостно потянула вперед-назад. Девочка невольно охнула, а мама произнесла с негодованием и даже обидой:

- Когда ты это, наконец, прекратишь?! Вот что: если я еще раз – один только раз – услышу от тебя о каком-нибудь очередном трупе, маньяке, привидении – ну, ты поняла – то тебе небо с овчинку покажется. Возьму ремень и отхожу по голой заднице, так что неделю на животе лежать будешь!

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Мама, мама! – заплакала девочка. – Почему ты мне не веришь?! На этот раз все правда, я ничего не выдумываю, я даже знаю, где теперь лежит труп, я могу показать, только поверь мне, пожалуйста, поверь!!!

Ее ухо тряхнули еще сильнее и ошутимее. Мать сурово ответила:

- Если б не эта твоя болезнь – ты была бы наказана прямо сейчас. И будь уверена – охота к дальнейшему вранью у тебя сразу же отпала бы навсегда. А сейчас потрудись запомнить, что когда ты приплетаешь в свои фантазии реальных людей – членов семьи и друзей – то это уже не просто дурацкие басни, а клевета и подлость. И этого я тебе не прощу. Довольно мы с Семеном уже терпим твои выходки. Теперь вот что: пока больна – лежи, но потом серьезного разговора с нами о твоём поведении – и неминуемых последствиях – тебе не избежать, так и знай.

Мать выпрямилась и, еще раз окинув девочку неведомым раньше злым взглядом, сразу натолкнувшись на воспоминание о какой-то гнусной хищной рептилии, она стремительно вышла из комнаты и, даже пока ее пересекала, во всей походке, в резком движении, каким мать вскинула голову, Сашенька уловила нечто новое – будто твердую решимость, явившуюся после каких-то неизвестных мучительных колебаний. Девочка с тихим стоном перевалилась к стене. Разговор не получился и, как она совершенно бесповоротно поняла в этот момент, уже не получится...

«Я сама виновата, – тихо плача, размышляла она. – Я действительно много врала – кто только меня за язык тянул... Я ведь ничего такого не хотела, просто так жить немножко поинтереснее... Но ведь я и собаку бешеную выдумала, и призрак удушенной в туалете... А уж про то, что за мной на улице следили, я маме почти каждую неделю рассказывала... А теперь рассказываю, как ехала ночью с трупом на заднем сиденье... Я как тот мальчик-пастух, про которого мы читали на английском... Который кричал «Wolf! Wolf!», чтобы просто посмеяться над людьми, которые все «...ran (или run?) to help him» - побежали ему на помощь – а он там у себя на пастбище «danced and jumped and lu...la..» - танцевал и прыгал и – как там по-английски «смеялся»? И делал так несколько раз, и людей прибегало все меньше, а потом, конечно, волк появился по-настоящему и сначала сожрал одну «ship» - нет, надо длинно, а то получится, что он целый корабль съел, а не овцу – «sheep» – вот как правильно, а пастуха уволок с собой. «And nobody ever saw him» – и никто его никогда больше не видел – авторы учебника посчитали, что это справедливо, за одну небольшую шалость быть съеденным волком... И вот Сашенька опять спала и вновь видела во сне себя то в ночном лесу, то

«Критическая масса» и другие повести...

на заброшенном озере, то в знакомой машине в компании все тех же живых и мертвых людей, попеременно убивающих и топящих друг друга – и вдруг приходила в себя глубокой ночью в своей влажной от пота холодной кровати – измученная, дрожащая и едва уже способная отличить страшную явь от причудливого сна, живую фантазию от болезненного бреда...

Три раза в день, утром днем и вечером, мама давала ей красивые цветные таблетки, от которых температура быстро упала, оставив после себя лишь полный упадок сил, утраченный аппетит и тусклое безразличие ко всему минувшему и происходящему. Сашенька не могла и не хотела размышлять о невероятных событиях стремительно отдалявшейся во времени ночи, потому что, кажется, впервые в жизни обычно деятельный и беспокойный мозг ее словно устал и лежал неподвижно внутри головы – как серенькое подтаявшее желе. Еще в начале болезни поняв, что до мамы со своей неправдоподобной правдой не достучится, она тогда же успокоилась, решив, что никакой неотложной надобности рассказывать ей о сомнительном приключении нет – а версии для подружек еще предстояло быть скрупулезно разработанной на досуге.

Досуг настал, когда благодаря добровольно-принудительно поедаемой курице, отчаянно выставлявшей сероватое крыло из прозрачного, золотыми жиринками покрытого бульона, понемногу начали прибывать утраченные было силенки, а вместе с ними – желание читать, играть и придумывать. Накинув поверх новой теплой пижамы мамин белый пуховый платок и подогнув под себя ногу в толстом шершавом носке, связанном бабой Аллой из шерсти ныне покойного козла Хачика, Сашенька весь световой день просиживала на своем широком подоконнике, тихонько беседуя с Аэлитой, разглядывая атлас звездного неба, пытаясь нацепить на недовольную, сутки напролет спящую, стареющую Незабудку свои розовые жемчужные бусы – и между делом думала, ведя про себя бесконечный моно-диалог. Моно – потому что говорила одна Сашенька, а диа – потому что, как всегда, говорила за двоих. Обычным ее собеседником всегда бывал очередной возлюбленный, но сейчас в ее жизни настал редчайший период, когда сердце ее почти пустовало: все прежние образы уже изрядно потускнели, а новый никак не находил дорогу к ее душе: одним кандидатом недолго побыл – и бездарно провалился – Семен Евгеньевич, а другого следовало поискать в каком-нибудь фильме или книге, но их привлекательные персонажи что-то никак в Иномирье влезать не желали. Все, приемлемые для нее лично, имели сугубо узкие интересы: например, она не знала, как объяснять языческому красавцу-вождю из восьмого века многочисленные технические новинки двадцать первого – да еще и заставить его вольно в них

ориентироваться: проще было самой ненадолго сбежать в восьмой, наскоро полюбовиться там, а про перипетии с трупами рассказывать кому-то более просвещенному.

Таким просвещенным промежуточным вариантом стала для нее соседская Валька, дочь уборщицы, туповатая девочка-ровесница, на которой Сашенька не раз в Иномирье и реальности практиковала истории, имеющие в будущем быть рассказанными более интеллектуальным товаркам по школе. «Убегая, я успела захватить с кухни здоровый такой нож – и спрятала его под пижамой», – мысленно рассказывала она Вальке, сидя на своем подоконнике и глядя вниз, в хрестоматийный желто-серый двор-колодец. «Ух, ты! – округляла и без того большие и бессмысленные глаза соседка по двору. – А ты смогла бы человека зарезать?». «Если бы на меня напали – конечно», – твердо и гордо отвечала Сашенька. «И что, они тебя совсем-совсем не видели?» – допрашивала Валька. «Да им не до меня было», – следовал снисходительный ответ. Содержательный разговор шел медленно, с подробностями, с подружьиными преувеличенно глупыми вопросами, на фоне которых еще рельефнее проявлялось Сашенькино неоспоримое превосходство – и так незаметно текли мирные часы болезни, с таблетками по часам, с теплым молоком и гречишным медом на ночь – и все окутывалось приятным чувством постепенного верного выздоровливания...

Тяжелые сны, наконец, прекратились, заменившись совсем не страшными светлыми безднами, ненавязчиво предлагавшими полужнакомые лица, туманные слова и плохо различимые декорации. Болезнь окончателью сдалась, но, съев целую неделю времени, заслонила собою все, произошедшее непосредственно перед ней, и спросила теперь Сашеньку о том, как же именно все происходило в действительности – и она, пожалуй, призадумалась бы надолго, потому что уверенность в совершенной истинности воспоминаний мало-помалу, очень незаметно покинула ее за эти смутные семь дней.

Семен все чаще отправлялся на свои таинственные прогулки – обычно днем, потому что в ожидании стремительно приближавшегося праздника выхода новой книги, позволил себе неопределенный период томного отдыха от творчества – и мама была, таким образом, избавлена от дополнительной ежевечерней нагрузки по сортировке и обработке очередных листов неразборчивой рукописи. Но однажды чуткий слух еще не совсем уснувшей Сашеньки уловил знакомый щелчок двери ночью – совсем, как *тогда*, что пробудило в ней неприятный внутренний зуд. Минут десять она лежала в темноте, напряженно и мучительно избывая отвратительное дежа-вю, когда безупречную тишину, надежно обеспеченную в старых домах и дворах, вдруг с треском разорвал требовательный дверной звонок.

«Критическая масса» и другие повести...

Люди так устроены, что боятся ночных звонков – дверных и телефонных – как в старину боялись стука в дверь, а не совсем в старину – даже звука проезжающих машин. Это никакая не фобия – потому что именно под покровом союзницы-ночи во все времена подкрадывался враг, только плохие новости всегда настолько неотложны, что с ними нельзя подождать до утра, и уж конечно, не существует лучшего времени для грабежа, убийства – и ареста...

Сашенька мгновенно села в постели, прижав обе руки к подскочившему сердцу – и ужасный звук повторился. Станным образом в самом воздухе только что мирно засыпавшей детской комнаты распространилось терзающее предчувствие неминуемой беды. Слыша толчки собственной крови в висках, девочка молча слушала, как разбуженная мать не идет, а бежит по коридору к двери: на ночной звонок нельзя не отозваться, такой уж это гипнотический звук... Но Сашенька оставалась неподвижной лишь несколько неосознанных минут, а потом, быстрым зверком метнувшись из постели, неслышно приоткрыла свою дверь и, как делала это всегда, когда не желала остаться в стороне от происходящих интересных дел, прислонилась к косяку и прислушалась. На мамин традиционный вопрос из-за двери невнятно пробубнил мужской голос. «Да, это я, – испуганно отозвалась мама. – Что вам угодно?» Вновь нечленораздельное бубнение. Неужели откроет?! «А днем нельзя об этом поговорить?» Сашенька изо всех сил напрягла слух и услышала зловещий ответ: «Пожалуйста!». «Я вызову милицию!» – решительно крикнула мама, но с места не сдвинулась, прикинув к двери и выслушав странный, но четко донесшийся до Сашеньки ответ: «Хорошо! Мне тоже есть о чем с ментами поговорить! Догадываетесь?». Мама не ответила, и, заинтересовавшись слишком длинной паузой, Сашенька осторожно высунулась в полутемный коридор. К своему изумлению, она увидела, что мама не мчится с возмущением к телефону, а совершенно белая и растрепанная, стоит, прижавшись к стене спиной и с зажмуренными глазами. «Вы там что – заснули?» – раздалось из-за двери. Мама медленно, словно обреченно, повернулась и неверным движением взялась за дверной замок... Кричать «Стой, не открывай!» было поздно – Сашеньке осталось только ошеломленно нырнуть обратно к себе. Она услышала отрывистый мамин голос в коридоре: «Не сюда, налево... В кухню... Иначе разбудим...».

Разочарованная девочка осталась вне зоны слышимости и целую минуту боролась с собой: рискнуть ли выбраться в коридор или перетерпеть. Собственно, колебалась она больше для порядка, а сама заранее знала, что сделает: бесшумно проскользнет в своих шерстяных носках по коридору до поворота на кухню, а там встанет на четвереньки, чтобы не отразиться в огромном старинном зерка-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ле, висящим так, что любой неосторожный подслушиватель сразу становится виден во весь рост людям, сидящим в кухне за столом. Десять секунд – и она, никем, как обычно, не замеченная, уже заняла свою выгодную и удобную позицию, как раз вовремя, чтобы вполне ясно услышать безликий – то есть, не вызывавший сразу в представлении определенного образа – голос мужчины:

- Пришлось караулить во дворе целый день, пока ваш супруг, наконец, не убрался. Кстати, вас-таки не беспокоят его такие странные отлучки? Ну, да это не мое дело... В общем, извините за столь экзотическое время... Ребенок точно спит?

- Точно, – это мама, слегка не своим, вибрирующим голосом. – Ближе к делу, пожалуйста, мне завтра рано вставать.

- Приятно видеть такую независимую женщину, – с явной ухмылкой отозвался мужчина. – Ближе, так ближе. Вот взгляните на фоточку. Ничего не напоминает? Полезно иметь в мобильнике фотокамеру со вспышкой. Вы не находите?

Повисла ужасная пауза, во время которой Сашенька совершенно чудесным, волшебным образом успела догадаться, о чем идет речь: о той самой таинственной фотовспышке, что сверкнула на трассе из медленно проезжавшей машины, когда Резинка едва успела отвернуться... Значит, именно этот человек сидел сейчас у них на кухне и показывал маме ту самую фотку с Резинкой! Вот теперь-то мама не будет называть Сашеньку врушкой и грозить ей на этот раз вовсе не заслуженным наказанием! Но мама молчала неоправданно долго, и молчание прервала не она:

- Что, впечатляет? Отдайте назад, вещь денег стоит... И найти вас тут по номеру машины тоже, кстати, недешево вышло... – Не дождавшись отклика, мужчина прибавил будто ободряюще: – Да не тряситесь так, договоримся... К обоюдному, так сказать, удовлетворению...

Послышался голос – вроде и мамин, но неузнаваемый, глубоко потрясенный, словно наизнанку вывернутый:

- Откуда это... Как вы... Я не заметила...

- Ну-ну... – у Сашеньки создалось впечатление, что мужик хлопал ее маму по плечу. – После такого... дельца... легко могли не только меня – черта лысого не заметить... Хм. Шучу. Так что, договариваться будем? Или... это... как его... эксгумируем?

Последнее трудное слово Сашеньке было совсем незнакомо, но не оно ее озадачило, а все мамино поведение. Чего это она? Ведь на снимке же другая тетка, ночью, на трассе, в ее машине, а позади – лес... Что вообще все это значит? Понятно, что она, Сашенька, чего-то недопонимает, но все же, почему на маму напал такой столб-

«Критическая масса» и другие повести...

няк? Может, ей Семен что-то наболтал? Мысли метались у Сашеньки в голове, как ласточки перед грозой.

- Сколько вы хотите? – спросила, наконец, мама упавшим голосом.

- Пять лимонов. Не пугайтесь, деревянных, – жестко, без всякого благодушия ответил ночной пришелец.

Не успела Сашенька расшифровать головоломку, как все само собой разъяснилось:

- Пять миллионов рублей?! – не вскрикнула, а почти взвизгнула мать, и вдруг расхохоталась незнакомым трескучим хохотом, все повторяя: – Пять миллионов! Пять миллионов!

- Вполне подходящая сумма, – солидно ответил гость.

- Да, да! – хохотала мама. – С таким же успехом вы могли попросить и пятьдесят, и пятьсот! Потому что таких денег мне все равно достать негде – даже если бы я продалась в рабство или... или...

- «Или» – это уже, любезная, не в вашем возрасте, – грубо оборвали ее. – Ни пятьдесят, ни пятьсот вы никогда не достанете, и я не дурак, чтобы такое – кстати, не просить, а – требовать. А вот пять у вас уже, считайте, в кармане, потому что именно столько, как я определенно выяснил, стоит вот эта ваша ма-аленькая квартирка... Спокойно, дамочка, спокойно... В обмороки не падайте, не поможет... Вот та-ак...

Мама не произнесла больше ни одного слова, но вдруг громко загрохотал отодвигаемый стул.

- В общем так, – сказал мужчина, очевидно, поднимаясь. – Сроку вам десять дней, а потом я с вами свяжусь. Бегать не вздумайте, я вас искать не буду: милиция скорей найдет... Тэк-с... Можете не провожать...

Ухитрившись сохранить полную бесшумность, Сашенька стремглав унеслась к себе в комнату, а Катя осталась сидеть, как по голове стукнутая, привалившись грудью к обеденному столу...

Это был конец. Не тот, который в образе чудного серебристо-мехового зверя «подкрался на тонких плюшевых ногах», как шутили в ее молодости, а настоящий крах всей прожитой жизни – и всего хорошего, что могло еще когда-либо произойти. Ее блуждающий взгляд задержался на белом ящичке аптечки: только руку протянуть, выдавить из облатки, запить прямо из графина... И все, никаких терзаний и поисков отсутствующего выхода... То есть выход есть, конечно – на нары, к уголовникам... Но таблетки лучше, потому что так быстрее... Семен... Какое там, даже на похороны не придет... Сашка... Бабка с дедом есть... Через полгода забудет... Сделать это прямо сейчас, пока еще не больно, пока еще мысль не включилась

полностью... Катя все упорнее глядела на белый ящик с красным крестом...

В дверном проеме неслышно возникла тощенькая детская фигурка в пижаме и носках – это Сашка, имевшая всю жизнь способность появляться только некстати, в туалет, что ли, потащилась и увидела свет на кухне... Но девочка неожиданно метнулась прямо на колени перед онемевшей матерью и, цепляясь, закричала что-то бессвязное, доходившее до Катиного сознания как через стенку:

- Мама, теперь ты видишь, что я говорила правду, что это из-за Резинки и ее убитого мужа, который теперь лежит в озере, и это ее, то есть, нас с ней сфотографировали на обратном пути, когда его уже утопили, а этот дядька на машине преследовал нас всю ночь, а теперь он думает, что это была ты, потому что ездили на твоей машине...

Это было больше, чем могла вынести сегодня Катя. Мало того, что девка, оказывается, подслушивала под дверь, так она и сейчас не может остановиться и перестать рассказывать тут свои бредни, когда ее, Катю, только что раздавили, измордовали, недобили и оставили!!! И она с наслаждением, поджав губы и прищулив глаза, специально не рассчитывая силы, залепила мерзкой вранливой девчонке две такие смачные, оглушительные пощечины, что у той болтнулась в обе стороны ее подлая хитрая головенка, и она с воем кинулась по коридору к себе, в свое темное волчонково логово... Но Кате стало легче, кризис перевалил, наружу рванулись сотрясающие рыдания, и она забилась на столе, размазывая рукавом бессильные слезы, захлебываясь и выводя длинные тоскливые рулады...

Как ни странно, Сашенька скоро простила маму за то, что та незаслуженно ударила ее по лицу – такое в ее жизни произошло впервые, и было совершенно очевидно, что мама была, как это говорится у взрослых, не в себе. Может быть, она даже попросит завтра прощения – но не в этом дело! А все дело было в том, что в те минуты, когда, задыхаясь от боли и обиды, Сашенька влетела к себе в комнату и рухнула ничком на кровать, она вдруг очень ясно поняла, что мама ее находится в какой-то непонятной, но очевидной беде. И беда эта таинственным образом связана с вероломными действиями Резинки и Семена в ту проклятую ночь, когда они погрузили в машину впоследствии утопленный труп... Сашенька приподняла голову и мучительно заколебалась: а так ли все было на самом деле? Ведь сразу после этого ее постигла тяжелая болезнь, породившая в голове целые толпы самых различных призраков, теперь так перемешавшихся в воспоминаниях, что уже трудно было точно сказать, какой из них принадлежал реальному прошлому, а какой – горячечному

«Критическая масса» и другие повести...

сну. Сашенька почти твердо помнила, что ездила в машине под одеялом – но как в действительности развивались события? Может быть, она из-под своего одеяла опять что-то не так увидела и поняла? Ведь это же взрослые, которые всегда имеют самые невероятные тайны – может, там, в ночи происходило что-то другое, имевшее какой-то иной, еще неясный смысл? Как во всем этом разобраться? Как твердо доказать, прежде всего, себе самой, что память ее не подводит – или что самым возмутительным образом обманывает? Всклипывая и поеживаясь, девочка поплелась к своему любимому окну, где уже провела, по сути, полжизни в раздумьях разного рода.

Так как света в комнате не было, в знакомом провале двора можно было кое-что различить. Небо, хотя еще и абсолютно черное, все же казалось светлее на фоне силуэта противоположного дома, не являвшего ни одного живого окна в этот глухой час – только мертвые лестничные окна выстроились равнодушной желтой шеренгой. Внизу, чуть поблескивая в свете молочного фонаря, спали бок о бок темные мощные машины – а вон и мамина среди них, чуть поизящнее и похрупче – мытая, недавно отремонтированная... Ее сломала Резинка... А может, нет? Вдруг приснилось или пригрезилось под температурой? Сашенька растерянно посмотрела на свой любимый белый подоконник с заветными сокровищами, и внезапно взгляд ее упал на лиловую картонную коробочку, обклеенную серебряными звездами. Там хранились у нее принадлежности для девичьего рукоесла, но под ними, прикрытый слоем золотой фольги, находился самый настоящий тайник. И спрятаны там были деньги: пять красноватых сотенных бумажек, подаренных бабушкой по разным случаям. Подарок всегда сопровождался незамысловатым: «Вот, купи себе куколку, какую знаешь», – но запасливая Сашенька далеко не всегда следовала этому простому совету, и таким образом накопила изрядный, как ей казалось, начальный капитал на черный день. Она открыла коробочку: деньги никуда не делись, лежали смиренно и были готовы придти на помощь. Минута – и Сашенька знала, что она завтра, верней, уже сегодня сделает: с самого утра отправится на автовокзал – найти его на карте города не составит труда, а там, как та же бабушка и говаривала, «язык до Киева доведет» – но ей так далеко и не надо. Она поедет на автобусе лишь до Рычалово, и, если отыщется треклятое озеро, то, хотя бы, будет знать, что оно точно существует в природе. И тогда... тогда она заставит маму поверить. Она не станет больше кричать и плакать, а сядет за стол и напишет подробно обо всем, что произошло той ночью и скрепит свое послание какой-нибудь самой страшной клятвой – потом надо будет придумать, какой...

Глава пятая
День Милосердия

На самом деле к десяти годам большинство детей уже испорчены вполне. Сохранить ребенку незамутненный и доверчивый взгляд на мир может только полная его изоляция, фактическое заточение в одном помещении с матерью – и то лишь в том случае, если она принадлежит к почти полностью вымершей породе так называемых «девственных женщин» – психически больных с гормональными нарушениями. В таких случаях ребенок действительно избегает нравственного и физического разврата – зато становится душевно искалеченным, и полноценным членом ни больного, ни здорового общества не станет уже никогда. Порочный этот круг разрывов не имеет, и поэтому, адаптируясь среди себе подобных, человек с раннего возраста вынужден становиться, прежде всего, луном.

У взрослых короткая память. Требуя от дитяти кристальной честности, они все до единого самым парадоксальным образом забывают о собственном детстве, когда и для них единственным способом выживания среди «больших» была постоянная ложь – ложь как средство избежать наказания, принуждения или оскорбления. Но взрослых эта детская ложь вполне устраивает, и даже по какой-то таинственной причине ими поощряется. Родителям важно видеть круглые правдивые глаза ребенка и слышать желаемые слова; до так называемого внутреннего мира своего чада родителям обычно есть дело только тогда, когда в этом мире все спокойно или романтично – а если, не дай Бог, там появляются все признаки надвигающейся грозы, то ребенку немедленно предоставят возможность правдоподобно солгать – лишь бы не видеть этой его давно «прохлопанной» испорченности... Дети не имеют права на свою настоящую правду, а лишь на ту, которую придумали для них взрослые, придумали для того, чтобы легче было жить и «правильно» воспитывать детей...

Девочка обязана любить играть в куклы и дочки-матери, а также обожать помогать маме по хозяйству и мечтать, когда вырастет, стать такой же, как она. И попробуй скажи родителям, что куклы тебе безразличны, мать не видится непогрешимым совершенством, а при мысли о раскатывании непокорного теста попросту мутит: тебе сразу объяснят, что у *хороших* девочек так не бывает, и чтобы стать хорошей, ты должна полюбить все, что тебе ненавистно. В следующий раз за неповиновение тебя накажут – а на третий ты прекрасно поймешь, что вовсе не обязана говорить то, что думаешь, если не хочешь снова постоять в углу или лишиться шоколадки.

Удел мальчика – помогать плотничать и слесарничать неутомимому папе, мечтать о военных подвигах и с трех лет болеть за

«Критическая масса» и другие повести...

местную футбольную команду. Расскажи-ка родителям, что больше тебя привлекают бальные танцы или рисование бабочек, а папа представляется безмозглой и бесчувственной машиной! После пары весьма ощутимых оплеух быстро научишься с чистым взглядом душевно благодарить за очередного подаренного робота, которого потом с выгодой обменяешь у боевой девочки на коробку бесполезной для нее акварельки (ее-то обязали рисовать бесконечные букеты для любимой бабушки).

Сашенька давно подспудно чувствовала, что взрослым нужно, в сущности одно: никоим образом не смущаться относительно своего или чужого ребенка, ничуть не подозревать в нем каких-нибудь «недетских» чувств или намерений. Для этого она приспособилась всегда иметь про запас пару-тройку простеньких легенд, вполне удовлетворяющих нехитрым вкусам дядек и тетек, и после нескольких несложных тренировок научилась особому незамутненному «младенческому» взгляду им меж бровей...

Старательно изучив с утра карту Петербурга, она убедилась, что от недалекой площади Восстания до Обводного канала, на котором и стоит искомый автовокзал – всего несколько остановок на автобусе по прямой. Ее мама убежала на работу даже раньше обычного – едва пригудрив набрякшие от слез веки и не позавтракав – а отчим с ночной прогулки еще и не возвращался. Следовало поторопиться, чтоб не быть им захваченной врасплох, и Сашенька торопливо накромсала на кухне копченой колбасы и булки, кое-как снарядила пол-литровый термос, вывалила из школьного рюкзака все, что там давно и бесцельно находилось, и, наскоро подумав, уложила туда не только съестное, но и пару шерстяных носков, а также мамин цифровой фотоаппарат и собственное свидетельство о рождении. Через четверть часа, одетая в красную куртку с капюшоном, выдавшие виды джинсы и ботинки на меху, она уже неслась по светлеющим улицам в сторону давно проснувшегося, а верней, толком и не спавшего Невского.

До автовокзала она добралась быстро и без приключений, если не считать таковым путешествие в утреннем автобусе, где сонная и злая толпа самых бедных людей, одетых в жалкие китайские одежды, тревожно полуспала, иногда хмуро толкаясь и откровенно зевая неприкрытым ртом... Это было Сашеньке странно – ведь она пока избегала слишком близкого знакомства с общественным транспортом, а так рано, когда на работу едут только самые неудачливые из всех, и вовсе никогда в автобусах и трамваях не ездила.

Автовокзал ей понравился своими малыми размерами: раньше она боялась, что придется в страхе метаться по огромному сверкающему зданию из стекла и бетона, а выяснилось, что проще и быть

Наталья ВЕСЕЛОВА

не может: туалет – налево, кассы – направо, а между ними выход на посадку. Она немедленно пристроилась в хвост за билетами и, когда весьма быстро достигла высокого окошечка, то произнесла независимо и равнодушно:

- Один до Рычалово.

- Направление, – рявкнула сверху в ответ огромная дама.

Сашенька полностью смешалась: направление? Есть какая-то разница? В этом что – особый смысл? Она молчала, озадаченно глядя на суровую даму снизу, а та, подождав лишь секунд пять, раздраженно бросила:

- Девочка, отойди, билет пусть мама покупает... – и следующим: – Говорите!

Сашенька отошла совершенно подавленная и ничего не понимающая: она думала, что это как в электричке – берешь билет до какой-нибудь станции, и все – а оказалось, тут какая-то другая система, совсем непонятная... У кого спросить? Подойдешь к ним, к этим взрослым, а они, пожалуй, тебя в комнату милиции отведут, потому что ты без родителей, а значит, обязательно подозрительна им. Что делать? Она нервно огляделась в поисках союзника, сразу решив, что им может стать только кто-то из «своих», то есть, сверстников, объединенных тем, что вместе противостоят вражеской оккупации всего мира – засилью взрослого диктата. Вскоре она увидела девочку лет двенадцати, маявшуюся у целого склада сумок и рюкзаков, со взглядом, тоскливо устремленным на двери туалета, куда, должно быть, удалилась мать.

- Привет, – независимо поздоровалась Сашенька.

- Ну, привет, – снисходительно глянула незнакомка, и по ее глазам Сашенька определила, что та быстро прикидывает про себя – не позабытая ли перед ней товарка по каким-нибудь давним играм.

- Меня зовут Александра, я спросить хотела, – заторопилась Сашенька, имея в виду опасность явления мамы собеседницы. – Ты не знаешь случайно, что такое направление? То есть, я хотела взять билет до станции, а у меня спросили, какое направление. Как бы это выяснить? Ты не поможешь?

Чужая девочка казалась довольной: ее спросила, как взрослую, какая-то ничтожная малявка, и теперь можно будет солидно растолковать ей, что к чему, благо она такая дура, что даже очевидных вещей не понимает.

- Легко! – ответила она важно. – Здесь нельзя взять билет до любой деревеньки, потому что автобусы останавливаются только в городах – всяких маленьких, вроде Луги там или Гатчины... И побольше – Пскова, например, или Новгорода... Поэтому билет можно взять только до них. Это и называется – направление. Не понима-

«Критическая масса» и другие повести...

ешь? Эх, ты... Ну, ладно, объясню тебе на пальцах... Вот мы с папой едем в деревню Бугрово. Но такой остановки нет. Поэтому мы берем билеты до ближайшего к ней городка. Это Шимск, он за Новгородом. Но там у автобуса не конечная остановка, он вообще-то в Старую Руссу едет. Вот и получается – билет до Шимска, направление – Старая Русса... Все равно не понимаешь? Ну, дурында! Короче, ты должна назвать ближайший к этой своей деревне городок и купить билет до него. Там ты либо выходишь и добираешься как знаешь, либо платишь водителю, и он тебя высаживает в нужном месте... Доперла?

Теперь Сашенька доперла – и повеселела, потому что ближайшим городом к Рычалово была Луга, за которой мамина машина всегда сворачивала с основной трассы и ехала к бабушке уже по меньшей дороге, вскоре минуя и окаянное Рычалово. Значит, нужно добраться до Луги, а там опять найти кого-то из своей касты и спросить о дальнейшем пути. Девочка уверенно встала в очередь к другому окошечку, чтобы не нарваться на давешнюю несговорчивую кассиршу.

- Один до Луги! – требовательно произнесла она со взрослой интонацией и напустила на себя вальяжно-скучающий вид: мол, обычное дело билет этот покупать. – На ближайший рейс! – (это последнее она подслушала у впереди стоящего дядьки).

Кассирша нагнулась и с сомнением спросила:

- Девочка, ты для кого билет покупаешь?

- Для папы, я его провожаю, – не дрогнув, сообщила Сашенька и, понизив голос, словно смущенно-доверительно, сообщила: – Он, ну... в туалет пошел... Сказал, что если не успеет подойти, чтобы я ему купила...

Нельзя врать, нельзя! Но ответ правду: «Для себя» – и посыплются вопросы без ответов...

- А, – успокоилась кассирша, и тотчас умиротворенно застрекотал ее аппарат, исчезли две сотенные купюры с подставки для денег, и вместо них вернулась жалкая беленькая бумажка с несколькими монетками. – Ближайший – на Опочку, бронь продаю. Скажи там своему папе, чтоб поторопился, посадка уже идет вовсю.

Едва пробормотав «спасибо», окрыленная первым успехом девочка рванулась к близкому выходу – и неожиданно была больно схвачена сзади за плечо. Вздвогнув всем своим тщедушным тельцем, она робко обернулась, и увидела над собой высокую крашенную женщину со строгим гладким лицом. От нее исходила физически ощущаемая опасность, как и от любого взрослого, со своей разрушительной волей встающего на пути многих задуманных благих дел... Сашенька начала молча вырываться, но два огромных строгих

Наталья ВЕСЕЛОВА

карих глаза подавляли ее и лишали воли.

- Девочка, где же твой папа? – прозвучал властный грудной голос. – Я слышала, как ты говорила, будто берешь билет для него.

«Школьная училка! Только у них бывает такой голос... И нюх на всякие такие дела...» – с ужасом безошибочно определила Сашенька, но, собрав последнее мужество, попыталась выкрутиться:

- Он там, у автобусов, курит на улице...

- Да? – спросила женщина. – Очень хорошо. Пойдем к нему.

- Пустите! – шепотом крикнула Сашенька, извиваясь. – Что вам от меня надо?!

- Так я и думала, – ничуть не ослабив свою хватку, с каким-то даже злорадным облегчением произнесла училка. – Никакого папы здесь нет. Верно? А ты отправляешься куда-то одна и без разрешения. Проще говоря, сбежала из дома от родителей, которые будут с ума сходить...

- Да нет же! Не трогайте! Какое вам дело? – отбивалась девочка, но уже обреченнее и слабее, ибо почувствовала неминуемое поражение.

Помощь пришла, как это всегда бывает, с совсем неожиданной стороны: прямо рядом с торжествующей училкой откуда ни возьмись появился тощий жилистый мужичок с карикатурным кадыком под косо срезанным подбородком, согнутый едва не вдвое под бургистым синим рюкзаком:

- Достал! Последние два из брони! – пискнул он. – Прямо сейчас отходит! Бежим!

- Постой! Мы не можем ехать – здесь ребенок семилетний из дома сбежал! – нервно крикнула женщина. – Сначала я ее в милицию отведу!

- Спятила, что ли?! – Мне не семь, мне одиннадцать!!! – хором возмущились мужичок и Сашенька.

Учительница уже не смотрела на них. Все еще не выпуская жертву, она развернулась в сторону зала ожидания и вдруг громовым, прямым трибунным голосом воззвала к народу:

- Товарищи! Эта девочка убежала из дома! С ней неминуемо произойдет трагедия! Матери! Я к вам обращаюсь! Отведите ребенка в милицию! У меня отходит автобус, а то я сама бы это сделала! Люди! Не пройдите мимо чужой беды!

Муж изо всех сил дернул ораторшу назад, и одновременно она сильно толкнула Сашеньку в сторону опешившей толпы, ожидая, вероятно, что сотни дружественных рук сразу же подхватят заблудшую овечку. Никто не шевельнулся. В один чудесный миг поняв, что травить ее не будут, овечка рванулась в противоположную дверь – напрямик на улицу. Легкой трусцой она обежала здание слева и

«Критическая масса» и другие повести...

выскочила на платформы с обратной стороны. Прямо перед ней оказался совсем не впечатляющий, довольно дряхлый и обшарпанный автобус с надписью «Опочка», а боковым зрением она увидела, как костистый мужичок уже без рюкзака запихивает в блестящий двухэтажный дворец на колесах свою трагически порывающуюся в сторону вокзала супругу...

Она проследила, как их громоздкий красавец-автобус, сразу напомнивший уроки английского языка, Биг Бен и старую королеву в дурацкой шляпе, величественно отвалил от тротуара, и обреченно выдохнула, готовясь к новому обязательному сеансу вранья. Потом непринужденно подошла к своему водителю, стоявшему у открытой двери, и с самым невозмутимым выражением лица протянула ему билетик.

- Ты с кем? – вяло буркнул он.

- С мамой... Она там... – на лице Сашеньки появилось очень ясно читавшееся выражение: «Не заставляйте меня говорить всякие неудобные вещи...». – Ну, вы понимаете... Сейчас придет... – и она проскользнула в салон, не провожаемая ни единым любопытным взглядом.

Едва Сашенька успела плюхнуться на свое уютное местечко у окна и примериться к слишком высоким подлокотникам, как непосредственно рядом с ней одышливо взгромоздилась пузатая тетка с неопрятной химией на голове, даже сквозь пухлую дешевую куртку сумев обдать соседку тяжелым запахом редко омываемого тела.

«Вот, значит, кого теперь примут за мою маму...» – грустно подумала девочка, отворачиваясь к окну, и внезапная мысль о настоящей маме, которая теперь в белом халате, с заплаканными глазами, невысокая и хрупкая, идет, наверное, с обходом по отделению – и, такая бесконечно жалкая и любимая, неотступно думает о чем-то неизвестном ее дочери, но ужасном и непреодолимом... Для того и ехала сейчас Сашенька в неизвестность, чтобы мама перестала плакать – и сегодня, и навсегда...

По автобусу прокатилась крупная металлическая дрожь, он начал неторопливо разворачиваться, отползая от своей «пристани», и только тогда секундное замешательство охватило решительную беглянку: двери закрыты, пути назад нет! Было мгновение, когда она готова была вскочить с пронзительным детским криком «Выпустите меня отсюда!» – но тотчас же Сашенька взяла себя в руки и, откинувшись, второй раз в жизни неосознанно обратилась к Кому-то, Кто и теперь не спускал с нее пристальных грустных глаз: «Пожалуйста, пусть все это кончится хорошо! И сегодня и вообще, только хорошо!». Автобус набирал скорость, и мимолетная паника отливала от сердца, уступая место возбужденному любопытству прирожденного

бесстрашного искателя приключений.

Сначала потянулись вдоль уже вполне прояснившегося окна утренние улицы, очень редко наблюдаемые Сашенькой в таком ракурсе, мелькнул знакомый блокадный мемориал, памятный ей ужасным мертвым ребенком в центре сурово-трагической скульптурной композиции – и, тем не менее, прозванный победившим народом цинично – «Стамеской» – а потом вдруг с ревом пролетел поперек Пулковского шоссе целеустремленно идущий на посадку самолет. Как хищный коршун, планируя на добычу, выпускает свои ужасные растопыренные когти, так и он уже выпустил два огромных черных шасси... И постепенно город мельчал, мешался со скелетами обнаженных деревьев, все ниже и треугольнее становились крыши, все плавнее и глаже делался ход старенького автобуса – и Сашенька не заметила, как начала сладко задремывать, откинувшись на пригласительно мягкую спинку сиденья – и, вздрогнув, очнулась лишь тогда, когда в путаные образы ее поверхностных грез и снов врезался вдруг низкий тягучий голос: «Лу-уга! Стоянка пятнадцать мину-ут!».

Пару смутных мгновений она ошалело смотрела в окно на смутно знакомую грязновато-скучную площадь, потом обернулась на зловонную тушу, бодро закопошившуюся рядом, но сразу нетерпеливо вскочила, накидывая капюшон и привычно забрасывая за спину школьный рюкзачок. Пассажиры бойко двинулись по проходу, таща в общем потоке и Сашеньку, на всякий случай пристроившуюся поближе к соседке – и так людская волна благополучно вынесла ее вон. Отбежав подальше от стоянки междугородних автобусов, она деловито осмотрелась, и первым ею замеченным было то странное обстоятельство, что взрослые люди, сновавшие по серому месиву из грязи и подтаявшего вчерашнего снега, выглядели вовсе не опасными. Казалось вполне возможным без страха подойти к любому из них и спросить про злосчастное Рычалово. Она не знала, что в русской провинции отношения между взрослыми и детьми несколько правдивее, чем в мегаполисах – во всяком случае, там вполне допускается наличие у вышедших из детсадовского возраста детей каких-то своих дел, в которые родителям, замученным жизнью намного сильнее, чем в благополучных городах, вмешиваться попросту некогда...

Сашенька инстинктивно выбрала женщину попроще, вряд ли одержимую непреодолимым педагогическим ражем, и вежливо спросила ее, не знает ли она, как проехать в деревню Рычалово. «Ты вот кто, – просто ответила та. – Вон туда беги, где – видишь – маленькие такие автобусы стоят. Там водителей спроси, они скажут, кто через него едет».

Так Сашенька и поступила. Она стала подбегать ко всем автобусам на кольце по очереди, деликатно засовываться в открытую

«Критическая масса» и другие повести...

переднюю дверь и быстро лепетать: «Здравствуйте, скажите-пжалста, вы через Рычалово едете?». Ей повезло уже в четвертом, который даже сыто урчал, заглотнув изрядное количество торопливых пассажиров. Деньги она отдала равнодушному водителю и вскоре тряслась у окна, напряженно глядя вперед, на знакомую раздолбанную дорогу. Сначала она лишь хотела поскорей добраться до намеченной цели, почему-то считая, что, как только это случится, все остальное уладится само собой, но когда вдруг увидела над заплыванным домиком остановки название «Лешие головы», изнутри начала постепенно нарастать мелкая противная дрожь. После «Тараторочки» Сашеньку внезапно замутило, так что пришлось прикрыть глаза и глубоко задыхаться, а когда автобус начал неуклонно тормозить, ей захотелось съжаться или вовсе раствориться в небытии... «Ну, девочка, которой в Рычалово! Не спи давай, приехали!» – добродушно пробасил водитель. «Спасибо», – заученно выдавила Сашенька и, автоматически поднявшись, не чувствуя собственных ног, двинулась к двери. «Укачало тебя, что ли? – заботливо спросил ее этот добрый дядька. – Вон какая белая вся... Ну, ничего, сейчас воздухом подышишь...».

Оставшись в полном одиночестве на деревенской дороге меж двух стен неприветливого коричневого леса, под слякотным небом, она ощутила неожиданный приступ острой тоски. Следовало пересечь дорогу и пройти дальше пешком около полукилометра – так примерно она ощущала – после чего свернуть в этот вот страшный голый лес, совсем не похожий на хорошо известный и любимый летний – веселый и цветной. Только в эти минуты Сашенька в полной мере постигла совершенную необычайность и почти невозможность того, что она делала, и ей вдруг подумалось, что окажись на ее месте вполне взрослая женщина, всю жизнь прожившая в большом удобном городе, то ей не менее жутко и бесприютно было бы сейчас... Путешествие переставало быть завлекательным приключением, предпринимаемым во благо мифической справедливости, и постепенно обретало все свои законные и лишённые всяческой романтики черты. Одиннадцатилетний ребенок стоял один на пустынной дороге вдалеке от дома, школы, мамы, друзей и книг и собирался свернуть в незнакомый предзимний лес, чтобы искать там в озере человеческий труп. Ребенку впервые захотелось тоскливо и пронзительно завывать в тяжелое мутное небо.

Сашенька зажмурила глаза и изо всех сил замотала головой. «Милый, хороший! – пронеслось у нее в голове. – Ты ведь можешь сделать так, чтобы я не сошла сейчас с ума! Сделай, пожалуйста, сделай! Ты все можешь, я знаю, помоги мне, как-нибудь помоги!!». Никто не отозвался ни сверху, ни сбоку, но дышать и думать стало немножко легче. Девочка перебежала дорогу и помчалась по обо-

Наталья ВЕСЕЛОВА

чине вперед, стараясь меньше размышлять и производить побольше шума, чтоб не испугаться оглушительной тишины. Дыхания хватило ненадолго, и остро закололо в боку, как бывало на физкультуре, когда жестокий физрук, видя, как она, задыхаясь, плетется в хвосте ровно бегущей колонны, издевательски кричал ей «Быстрее! Быстрее! По-одтянись! Не отставать!». По крайней мере, здесь ее не подгоняли. Минут пять Сашенька шла умеренно быстрым шагом, когда заметила, наконец, поросшую темной травой колею, уводившую в глубь леса.

Свернула, пошла... Думала, что умрет там от страха, но ничего! Удивительным образом даже ноябрьский вовсе не приветливый лес подействовал успокоительно на нее, вечную лесную странницу, и она даже ухитрилась замечать по пути маленькие приветы, словно предназначавшиеся лично ей. Вот два хрупких фиолетовых цветка, смело расцветших поздней осенью среди серебряного мха; вот не подчинившийся всеобщей повинности сбросить листву молодой своевольный дубок, словно накинувший бронзовый кафтан на узкие плечи; вот три крошечные елки-одногодки странно торчат посреди лысой полянки в окружении ровных, как на подбор, плакучих берез... Сашенька не могла не замечать всего этого даже при самых драматических обстоятельствах, потому что привыкла к природе, гостя у бабушки, и ее даже порой тянуло достать из рюкзака фотоаппарат и запечатлеть что-то для будущего – так, на всякий случай.

Но незаметно пробежал уже, наверное, час, а дорога все шла и шла невозмутимо по замершему лесу, и никаких признаков озера или, хотя бы, просвета, так и не намечалось... Сашенька остановилась и призадумалась. Сколько она прошла? Километра три? Четыре? Наверяд ли. А сколько ехала машина, свернув с шоссе? Очень недолго – но она *ехала!* И могла проехать километров пять или... или... семь... Значит, Сашеньке тогда только показалось, что озеро близко – а ей до него вообще не дойти, потому что уже сейчас ослабевшие после недавней болезни ноги начинают подозрительно гудеть, а голова – кружиться... Пусть она на последнем дыхании прошагает еще столько же, пусть потом хоть проползет остаток пути – но ведь тогда уже... – девочка содрогнулась – стемнеет! И домой ей вообще не вернуться – никак, ни при каких обстоятельствах не вернуться! И самое умное, что она сейчас может сделать – это немедленно повернуть назад и, пока не поздно, успеть сесть на обратный автобус!

Очень хорошо поняв, что именно она должна сделать, чтобы не попасть в беду, Сашенька решительно направилась по прежнему пути. Спустя еще четверть часа она вспомнила про термос за спиной – вернее, он сам ей о себе напомнил, когда нестерпимо заныли плечи под лямками легкого рюкзака. Поваленных берез хватало там и

«Критическая масса» и другие повести...

тут, поэтому одна из них сразу превратилась в место привала и перекуса. Булка с колбасой и чай исчезли вдруг так нереально скоро, что Сашенька и сама удивилась, как это она могла так быстро и ловко уплести большое, в сущности, количество калорийной пищи – дома она обычно один бутерброд неохотно жевала минут двадцать... Следовало спешить, потому что часы на мобильнике показали половину третьего – а это означало только одну ужасную вещь: через час – много через полтора – день начнет стремительно гаснуть, и тогда... «Об этом думать нельзя», – строго приказала себе Сашенька, снова пускаясь в путь...

Вскоре усталость начала доминировать над всеми остальными на время притупившимися чувствами. Страх то ли умер, то ли сроднился с душой девочки настолько, что стал почти незаметным, и она теперь могла думать только об одном: скорей бы, скорей... Внезапная мысль пронзила ее насквозь, как пуля: а вдруг это вообще не та дорога?! Вдруг там, на шоссе, был еще один поворот?! Сраженная страшной догадкой, она замерла на месте, дыхание перехватило... Но именно в этот оглушительный момент острый глаз ее уловил далеко впереди намечающийся широкий просвет...

...Это, несомненно, было оно, то самое озеро из ее воспоминаний – или бредовых снов. Те же врезавшиеся в память косые седые мостки среди рыжего камыша, та же заросшая тропа, бегущая кругом... Сашенька мысленно «выключила свет» – ведь тогда была ночь – и вздрогнула от похожести получившейся перед внутренним взором картины. И так, хотя бы озеро ей не приснилось...

Интуитивно она замедлила шаг и, невесомо ступая, одновременно чутко прислушивалась: ничто не шевелилось кругом. Молчали птицы, трава и ветер. Девочка опасно двинулась по мосткам, ощупывая каждую досочку ногой – и ни одна не скрипнула. Вода стояла почти вровень с последними перекладинами, и на ее поверхности густо лежала побуревшая от старости ряска. Если *он* находился там, на дне, то спрятан был надежно... Что это? Может, показалось? Из-под ряски как будто поднимались редкие, но сильные пузырьки... Вот выскочил и лопнул еще один... И еще... Сашеньку начала бить крупная, холодная дрожь...

Она обернулась на берег и у самой воды увидала длинную, серую от времени гладкую палку с ржавым гвоздем на конце – несомненно, часть бывшего поручня этих древних мостков, на которых когда-то, наверно, стирали белье крикливые деревенские женщины... Палку она принесла, но прошло еще несколько черных минут тишины и ужаса, пока решилась осторожными движениями разгрести противную ряску. Глубоко внизу блестел серебряный прямоугольник – и Сашеньке сразу вспомнился пустой жестяной звук в

Наталья ВЕСЕЛОВА

заднем багажнике... Канистра. Та, которую привязали к... к нему... Сашенька нагнулась ниже. Контуры канистры стали отчетливее, а еще дальше, в глубине... Там, определенно, виднелось огромное мутно-желтое человеческое лицо с тремя страшными провалами на месте глаз и рта – и темнели очертания скрюченного, словно замершего в последней борьбе мужского тела...

Палка выпала у девочки из рук, к горлу подкатил едкий настоящий ком – и вся булка с колбасой и чаем одним мощным толчком выплеснулась из ее нутра прямо вверх быстро смыкавшейся над своим гадким сокровищем ряски... Сашенька хотела истошно, животно закричать, но из горла вырвался только чудовищный спастический сип; заломив руки, она неуклюже развернулась и, ничего не видя, не дыша и не соображая, в помрачении ринулась по мосткам, по берегу, по дороге – прочь, в неизвестность, в никуда и ни к кому...

Она бежала без мыслей и без усталости – сквозь незаметно темнеющий лес, не ощущая ни ног, ни сердца. Все простые детские страхи – как-то оживающие мертвецы и «красногубые вурдалаки», злые лесные чудища и убийцы с кривыми ножами – презренные, в общем-то, страхи для храброй девочки, борющейся один на один с бешеными псами и стрелявшей плечом к плечу с Терминатором – все они ожили в один миг и бросились за Сашенькой по пятам. Она не смела даже обернуться и убедиться в том, что никто ее не преследует – настолько реальным было это ощущение неотвратимо приближающейся погони... И вдруг дорога раздвоилась перед девочкой, словно превратившись в гигантскую двузубую вилку. Было ясно, что она пришла по одному из длинных «зубцов», но по какому? На вид они казались в полутьме совершенно одинаковыми, и Сашенька, будучи классической правшой, предпочла свернуть вправо – впрочем, ей было уже почти все равно: она как бы почитала себя словно погибшей, в душе очень сомневаясь в том, что когда-либо еще услышит человеческий голос, увидит живые, а не мертвые лица...

Ее тихая светлая комната, кошка Незабудка с сединой на коричневой бархатной мордочке и выцветающей голубизной некогда ярких глаз, родные вещи на подоконнике, мамина блеклая улыбка под светлым туманом легких волос – все это вдруг оказалось в некоем новом Иномирье, в которое не так-то легко было теперь попасть! Здесь, где плутала в сгущавшихся сумерках убежавшая из дома девочка, не было вообще никого – ни друга, ни врага – а лишь мрачно притаившаяся природа, в молчании готовящаяся ко сну...

Она свернула неправильно. Вечер устоялся, и приближалась ночь – полная уже настоящих призраков и теней, и в этой ночи девочке предстояло погибнуть, потому что из нее никогда не выбрать-

«Критическая масса» и другие повести...

ся к свету... Сашенька не смогла даже заплакать – хотя и понимала смутно, что это доставило бы небольшое, но осязаемое облегчение – но слезы, она чувствовала, свернулись внутри – точно так же, как это бывает с кровью. И она шла вперед, будто окаменевшая, уже прекрасно зная, что идет не туда – но ведь нельзя же было просто лечь на дорогу и умереть без борьбы. Вторично за сегодняшние невероятные сутки ей захотелось остановиться, поднять голову и мучительно завывать – теперь уж она, несомненно, так бы и поступила, если бы не боялась, что на ее вой глубоко в ночи что-нибудь отзовется...

«Вау-вау-вау!» – раздалось недалеко впереди, там, где над верхушками деревьев небо казалось чуть посветлее. Собака! Сашенька прислушалась: вот отозвалась другая, и лай, как артподготовка перед боем, прокатился, будто по цепочке: деревня! Сашенька очень хорошо помнила эти внезапные деревенские собачьи концерты в ночи, когда один пес словно выступал в роли запевалы – а хор собратьев подхватывал боевую песню и уж пока не допевал ее до конца, остановить его не могло ничто...

Перепуганная и уставшая девчонка ускорила шаг, едва разбирая, куда ступает – и действительно скоро оказалась перед небольшой, дворов в пятнадцать, деревенькой, уютно обнявшей круглое темное озерцо, с деревянной церквушкой, строго взиравшей на избы с невысокого пригорка. «Гав! Гав!» – начался новый приступ у собак при Сашенькином робком вступлении в населенный пункт; где-то подхватила корова своим раскатистым «Ми-ир! Ми-ир!», и даже не вовремя проснулся чей-то петух и тоже счел нужным вставить для порядка свое веское и крепкое словцо.

От усталости, голода и потрясения Сашенька к этому времени соображала уже очень плохо, и ей хотелось только одного: убедиться, что на этой планете еще живут простые нормальные люди, с которыми можно поговорить на русском языке, и может быть, даже попросить у них хлеба... Почему подумалось именно о хлебе? Ведь могли бы дать и сыра, и мяса, и яблок... Может быть, потому, что странники – а Сашенька теперь, определенно, вполне относилась к этой вечной категории, имея даже котомку за спиной – просят всегда именно хлеба и копейку. Последняя, впрочем, у Сашеньку была – но что проку от денег, если еды купить негде... Она постучала в первый же достигнутый дом, и ей отозвался женский голос – не из-за двери, а от окна. «Я заблудилась! Можно мне войти?» – крикнула девочка. «Пошла, пошла отсюда! – ответили ей. – Ишь ты, совсем уже не стесняются!». «Кого там несет?» – спросил из глубины мужчина. «Цыгане опять, спасу от них нет! Ты дверь-то запер, проверь!». «Со двора бы чего не сперли. Вот я их сейчас граблями!» – и за дверью угрожающе загрохотало. Сашенька не стала дожидаться, пока получит

Наталья ВЕСЕЛОВА

граблями по спине и, выскочив на улицу, понеслась дальше, но, пробежав и десяти метров, была окликнута юным, почти детским голосом:

- Мальчик, ты к кому?

«Свои!» – восторженно подумала Сашенька и немедленно откликнулась:

- Я не мальчик, и я заблудилась!

- Да? – из темноты к ней приблизилась высокая девичья фигура. – Как тебя зовут? Меня – Софья. Пойдем к нам в дом.

Сашенька представилась, как всегда, солидной Александрой и, удивляясь, как это можно – вот так запросто пригласить чужого человека поздно вечером к себе – да еще в деревне, которую, видимо, осаждают цыгане – затрусила следом за Софьей. Та неспешно направлялась вверх по холму, туда, где маячила темная маковка церкви. Взобравшись на холм, Сашенька вздрогнула: церковь оказалась окружена серебряными крестами, весьма неприятно поблескивавшими в тусклом свете, лившимся из окошка маленького косенького домишки, что стоял как раз в центре небольшого сельского кладбища. Очень кстати в ее голове пронесли кадры какого-то детского фильма с беспокойными покойницами, кровожадно куролесившими на захудалом кладбище в американской глубинке, – но Сашенька тотчас же мысленно обругала себя трусливой малышкой и, бесстрашно вскинув голову, невозмутимо последовала к дому за своей провожатой.

А внутри домик-то оказался очень даже ничего, прямо кукольный! Все стены были обшиты нарядной желтой вагонкой, украшены антикварными иконами под яркими вышитыми рушниками, полками с расписной керамической посудой, старинной медной утварью, висевшей не кое-как, а в продуманном художественном беспорядке... Русская печь – не растрескавшаяся и закопченная как у бабушки, а аккуратная, выбеленная, с несколькими настоящими чугунами на плите... Всего в домике, не считая приятно пахнувших соленьями холодных сеней, были две крошечные комнаты, узкая кухонька и слепой чуланчик. Софья доверчиво показала гостье все: «Вот это моя комната, вот это – папина (он сейчас на тебе, но скоро должен вернуться), в чуланчике мы сделали для папы кабинетик, чтобы работать, а гостей на кухне принимаем, потому что гостиной у нас нет...». Обилие книг, занявших все свободное пространство на стенах в комнатах, ошеломило Сашеньку – и при этом она не обнаружила нигде ничего похожего ни на телевизор, ни на компьютер... «Наверное, бедные очень, даже необходимого купить не могут, – рассудила она. – Про маму ничего не сказала, может, она... умерла? Спрашивать неудобно... Папа ее до сих пор на работе, а работает

«Критическая масса» и другие повести...

где-то «на тробе», и, наверное, мало платят...».

На вид Софье казалось лет шестнадцать, и была она ничем не примечательной румяной девчушкой с простым пухлым личиком и внимательными серыми глазками – вот только по черной ее косе толщиной в Сашенькину руку, да и длины, пожалуй, такой же, сразу становилось понятно, что девочка деревенская: в городе ведь косу носить давно уже не круто, у них в классе все девчонки еще в начальной школе подстриглись, а в средней - перекрасились...

- Ты, наверное, есть хочешь? – догадалась, наконец, Софья и, не дождавшись ответа, стала споро собирать на стол тарелки и мисочки.

«Не такие уж они и бедные», – решила Сашенька, увидев отличную жареную свинину, нарезку жирной семги и полпалки пахучей зернистой колбасы... Неожиданно для себя она вдруг начала неприлично жадно поедать все, что Софья торопливо ставила на стол – стеснялась этого, оправдываясь жалкой улыбкой – и не могла удержаться. По-взрослому подпершись, хозяйка смотрела на нее с явным сочувствием и, когда насытившаяся девочка отвалилась от стола и подняла не нее виноватый взгляд, тихо сказала:

- Бедная... Как наголодалась-то... Ты откуда сама?

- Из Петербурга... – прошептала Сашенька. – Понимаешь... Я... У меня... Извини... Можно, я сначала маме позвоню...

Мысль о том, что мама могла уже вернуться домой и забеспокоиться, посетила ее лишь только что, и она сама поразилась этому странному обстоятельству: раньше они, бывало, созванивались по несколько раз на дню, потому что мама всегда хотела убедиться, что дочь ее жива, сыта и сделала уроки – а сегодня ни разу не позвонила – и это именно в тот день, когда ей угрожала реальная, а не надуманная беда! Но, вытащив из кармана телефон, Сашенька крепко призадумалась: что она могла сказать маме? Что находится в пяти часах езды от дома, в затерянной среди лесной глуши деревеньке, и приехала сюда, опять же, для того, чтобы убедиться, что некий... труп... ей не приснился? И, более того, что она в этом убедилась? Мама не поверила ей при разговоре глаза в глаза – так разве поверит сейчас? Она нажала кнопку, кодирующую мамин номер, и вскоре услышала ее надломленный голос: «Да». «Мама, я тут у Вальки, мы фильм смотрим, а тетя Надя пирог печет... С капустой! Можно я у них переночую, ведь завтра все равно суббота?». «Ночуй, где хочешь», – отозвался приглушенный, едва живой голос, и понеслись короткие гудки. Сашенька с недоумением смотрела на свою трубку: что это – связь прервалась или мама сама дала отбой? Значит, она очень на нее сердита? Но, в любом случае, она теперь не будет волноваться, а это главное. Перезванивать и развивать свою ложь даль-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ше под испытующим взглядом Софьи совершенно не хотелось. И вообще, здесь, в этом доме с русской печью и рушниками, вралось необычайно трудно – это Сашенька успела почувствовать даже во время своего краткого разговора с мамой. Да и Софья посмотрела на нее с грустной укоризной:

- Зачем ты маме соврала? – тихо спросила она.

- Она бы мне все равно не поверила, – обреченно махнула рукой Сашенька. – А так нам обеим лучше.

- Вранье никогда не лучше, – словно с какой-то даже обидой сказала Софья.

Вот этого Сашенька терпеть не могла – чтобы ей читали морали девчонки едва ли на четыре-пять лет старше, чем она. Можно подумать, за эти четыре года они набираются такой огромной премудрости, что теперь вправе говорить с младшими, как строгие учителя. Она рассердилась:

- А, я понимаю. Ты правильная, да?

- Нет, что ты! – будто бы даже испугалась большая девочка. – Какая я правильная! Извини. Тебе, наверное, лучше знать, как разговаривать со своими родителями... Просто мы с папой договорились никогда друг другу не врать... А у других это, конечно, не всегда получается... Прости пожалуйста: я, как всегда, о себе думаю, а о других забываю...

Сашенька даже не сразу поняла, что произошло: перед ней, мелкой одиннадцатилетней соплюхой, на вид семилеткой, как совершенно закономерно показалось той училке на автовокзале, – извинились! Извинился взрослый – ну, почти взрослый – человек! Это не укладывалось у нее в голове, потому что здесь, в этой безымянной дыре, в кривом домике посреди страшноватого кладбища, с ней произошло то, чего никогда еще не происходило! Кто-то признал, что виноват перед ней, перед Сашенькой! Обычно извинялась она – всегда извинялась! – даже в тех несомненных случаях, когда была обижена взрослыми, не понята, поставлена в смешное или унижительное положение! Они всегда исхитрялись как-то так вывернуть все дело наизнанку, эти взрослые, что представляли виноватой именно ее, девчонку, – и только потому, что признать свою вину перед ней было ниже их высокого достоинства! А Софья, перед этим произнесшая непререкаемую истину – врать плохо, кто с этим поспорит! – еще и извинилась за нее!

Тонкая Сашенькина кожа стала свекольной и долго переливалась всеми оттенками красноты, прежде чем ее лицо снова приняло свой обычный цвет – ну, может быть, чуть розовой, чем всегда:

- Да ничего... – смущенно пробормотала она. – Я ж понимаю... Просто ты ведь не знаешь...

«Критическая масса» и другие повести...

Вдруг она вскинула глаза и вгляделась в странную собеседницу, невольно ее оценивая. Софья честно смотрела на нее своими простодушными ласковыми глазами, совсем не привыкшими ко лжи. И, кроме того, она ведь ничего не знала. Не знала о маньяках, привидениях и бешеных собаках из прочного Сашенькиного арсенала – словом, не знала, что этой худой растрепанной девчонке с испуганными глазами нельзя верить ну просто ни в коем случае, потому что она врет всегда, врет по поводу и без повода, врет, как дышит... А если этой непонятной спокойной Софье вот прямо сейчас взять и рассказать – правду?..

Только с чего было начинать? С того, как Семен Евгеньевич однажды случайно выпустил за дверь голубоглазую кошку? Но как тогда объяснить, кто такая Резинка и почему она оказалась у них на лестнице? А может, с того, как Резинка впервые появилась в доме? Тоже не годится – надо сначала рассказать, что в этом доме происходило раньше, а то будет непонятно, зачем ее привели... С чего же по-настоящему все началось? Выдохнув и махнув рукой, Сашенька начала:

- Понимаешь, четыре года назад, когда я училась еще только в первом классе, моя мама вышла замуж...

...За узким кухонным оконцем стояла ничем не разбавляемая тьма и непроницаемая, как стеганое одеяло, тишь. Но вдруг прямо под окном – близко и неожиданно и оттого пугающе – несколько раз гулко гукнула какая-то летающая тварь. Софья встрепенулась, и, глянув на часы, ахнула:

- Господи! Второй час ночи! – и, тревожно приникла к совершенно непрозрачному на вид стеклу: – А папы все нет... Только бы машина не сломалась, а то...

Она не договорила и, обогнув стол, нерешительно приблизилась к Сашеньке, уже несколько минут как замолчавшей и в изнеможении откинувшейся на стуле. Взгляд девочки померк, было ясно, что пережитое ею сегодня – выше ничтожных детских сил, и теперь она даже не ждет отклика – ей было главное высказаться и не быть при этом прерванной на полуслове, не прочитать недоверие в глазах слушателя... Но, как выяснилось, какие-то силенки в этой бедной крохе еще оставались – вообще, наверно, принадеждала к породе стойких оловянных солдатиков – и, приоткрыв один свой туманный глаз, она вдруг просто и по-детски спросила:

- Как ты думаешь, мне ведь это не приснилось?

- Не знаю, – правдиво ответила Софья, желая хоть чуть-чуть смягчить суровую истину, в которую сама-то охотно поверила сразу и без колебаний. – Присниться-то не приснилось, но показаться под водой могло... Что-нибудь... Потому что ты ждала... Ну, опре-

Наталья ВЕСЕЛОВА

деленного... – она поднялась, изо всех сил выражая лицом, глазами, жестами, всем телом – самый крепкий и здоровый оптимизм, какой только существует в природе. – В любом случае, это папа завтра выяснит со своим другом. У него – у нас – есть тут друг такой, дядей Колей зовут, так он в районе самый главный начальник милиции. Поэтому волноваться тебе не о чем, завтра все узнаем, а теперь...

Что теперь, сомнений не вызывало: Сашенька уже начинала потихоньку заваливаться набок со стула, и даже на взгляд было понятно, что в голове у ребенка все мешается, и он скоро заснет прямо здесь, у неприбранного стола. Софья сделала единственно возможную и правильную вещь: обхватив девочку поперек, она подняла ее и кое-как потащила в собственную комнату, где привычно, как поступала с вязанкой дров у печи, свалила на кровать поверх покрывала. Потом она расшнуровала и стянула с ее тоненьких, как у скелетика, ножек тяжелые зимние ботинки, покрыла девочку оренбургским платком и, убедившись, что та измученно спит, тихонько вышла вон...

Сначала Сашенька, как водится, провалилась в традиционную беспросветную бездну дремучего сна, но ее нервная сущность никогда не позволяла ей полностью расслабляться в незнакомых комнатах и на чужих кроватях. Поэтому уже часа через два ее сон снова стал, как обычно, чутким, впитывающим и отражающим все шорохи, запахи и голоса. Так, новый, приглушенный мужской голос отрывками стал проникать в ее подернутое легкой мглой сознание:

- Ясно... Ясненько... Кажется, история прескверная...

Ему вторил знакомый полудетский голосишко, но он лепетал неразборчиво, кажется, утихомиривая первый, и Сашенька опять улетала вглубь перепутанных образов и звуков, а через некоторое время снова слышала безотносительное:

- Пресмыкается перед негодяем, а ребенок заложником стал...

И понеслись перед закрытыми глазами какие-то горящие самолеты, окруженные войсками театры и толпа рыдающих взрослых у празднично разукрашенной школы... Потом опять:

- Застала их за мерзостью, да ведь дитя, слава Богу – не поняло ничего...

Ее тоже в школе однажды застали за мерзостью – она на черной лестнице жирными мелками изрисовала полстены – и заставили все это оттирать грязной тряпкой; от рук потом воняло, даже когда она их вымыла...

- Может и сам, а может, и женушка помогла... Ну, ничего, Николай разберется – недолго чистенькими ходить голубчикам...

Сквозь сон Сашенька вспомнила, что на ночь не умывалась и зубы не чистила, а перед едой даже рук не мыла – стыд-то какой, не

«Критическая масса» и другие повести...

то, что эти «голубчики»...

- Не удивляет меня это давно – такого, знаешь, насмотрелся и наслушался... А вот что действительно странно – так это реакция матери... Неужели знает и покрывает благоверного? Это ж до чего дойти надо...

Не позвонила бы мама все-таки Вальке домой... Да нет... На нее не похоже... Завтра все равно придется рассказать... Но это завтра...

И больше в ее сне никаких светлых островков не оказалось.

А «завтра» все завертелось непредставимо быстро, и основное чувство, которое как завладело Сашенькой с самого момента ее позднего пробуждения, так почти до вечера не отцепилось, было удивление. Прежде всего, перед тем неоспоримым фактом, что вокруг нее оказалось вдруг столько взрослых, которые не говорили ей, как обычно: «Отстань, иди поиграй в игрушки!». Наоборот, эти взрослые дядьки отнеслись к ней с непонятым уважением и не бросили на нее ни одного снисходительного взгляда! Столько дружелюбия и внимания от обычно равнодушных или занятых старших она, пожалуй, и за всю жизнь не получила, сколько пришлось благодарно принять и пережить в это необыкновенное утро.

Когда она проснулась и подскочила от неожиданного солнечного луча – из самых последних, случайно пробившихся на землю перед длинной бессолнечной полосой, – мимоходом ощупавшего ее лицо, то очень скоро поняла, что там, за стенкой, в яркой, как яичный желток, кухне, уже не один мужчина, а два. Сашенька застеснялась: предстояло выйти к ним – заспанной, нечесаной и весьма грязной. Но на тумбочке у высокой пружинистой кровати, на которой ей довелось провести самую странную на данный момент ночь в своей жизни, оказалась скромная коричневая гребенка, так что храбро шагнуть в кухню Сашеньке предстояло хотя бы с расчесанными волосами. Она решила, что лучше долго не собираться, чтоб не стало еще страшнее, набрала воздуха, открыла дверь и, явившись в проеме, гордо и сдержанно произнесла дежурное, но в этот момент весьма трудное «Здравствуйте!».

На нее сразу уставились три пары любопытных глаз: одна, светло-серая и доверчивая, была знакома со вчерашнего вечера, другая оказалась почти идентичной, только немного побольше и принадлежала крупному бородачу с большими добрыми руками; судя по глазам, это мог быть только папа Софьи, бурчавший вечером на кухне; третья пара – два пронзительно-голубых буравчика – располагалась на бронзовом лице гладко выбритого кряжистого мужчины с абсолютно белым, просто снежным ежиком на квадратной голове. Вся тройка была в свитерах и джинсах и пила дымящийся чай

Наталья ВЕСЕЛОВА

из больших керамических кружек с орнаментом... На Сашенькино приветствие все закивали, а Софья преувеличенно-радостно произвела:

- А вот и наша гостя Александра, прошу любить и жаловать... Сашка, это мой папа, отец Даниил, со своим другом дядей Колей, начальником милиции... Ты не бойся, подойди к папе под благословение.

Из сказанного озадаченная девочка поняла примерно половину: например, что папа, то есть, отец, зовется Даниил – красивое имя, но почему без отчества? Как теперь к нему обращаться? Может, дядя Даня? Неудобно как-то... Со вторым дядькой-милиционером все понятно... А подо что она должна подойти – встать, что ли, куда-то? Сашенька смешалась, не зная на что решиться, и озадаченно глянула на Софью. Замешательство длилось не более секунды, после чего отец встал сам и, загадочно улыбаясь, приблизился к оробевшей девочке, перекрестил ее, поцеловал в макушку и подтолкнул к столу. Обычно Сашенька терпеть не могла, когда ее целовали и трогали посторонние, но тут все вышло естественно и ненавязчиво: она почувствовала, что ее действительно хотели перекрестить и поцеловать, а не делали это из хорошего отношения к ее маме или бабушке.

Осмелев, она пристроилась на табуретке и потянулась к блюду с прореженными еще до нее бутербродами.

- Все хорошо, Александра, не робей, – совершенно спокойно сказал тот, которого звали Даниилом. – Вот он, – кивнул в сторону шумно тянущего кипятка Николая, – со своими ребятами уже видел утром твоего приятеля... Соседа по машине, так сказать.

- Видишь ли, какая неувязочка получается, – вмешался тот. – С тебя, вроде как, показания снимать надо, а нельзя. Тебе ведь восемнадцати-то, полагаю, нету? Нету... Значит, допрашивать тебя можно только в присутствии родителей или педагога. То, что ты Софье Даниловне нашей рассказала – это хорошо, но теперь придется под протокол... И это можно в только в присутствии мамы. Поэтому сейчас завтракай не спеша, а потом двинем с тобой в Петербург, к родителям, и уж там придется рассказать все, как было... И что ты не у этой, как ее...

- Вальки, – вставила Софья.

- ...не у Вальки ночевала... Уж и влетит тебе! – засмеялся он. – Не бойсь, в обиду не дадим.

- Я уже маме рассказывала... Два раза... А она все равно не поверила... – тревожно взглянула Сашенька.

- Когда мы придем – поверит. Придется, – вдруг жестко произнес Даниил.

Сашенька решила:

«Критическая масса» и другие повести...

- Простите, пожалуйста... Я не понял, как ваше отчество...

В ответ он вдруг посмотрел на нее печально – и вздохнул. Так вздохнул, словно она спросила о чем-то серьезном и важном. И сказал:

- Да зови хоть дядя Даня...

Сашенька увидела, что Софья тайком укоризненно покачала головой, глядя на отца...

Зато когда собрались ехать, все стало ясно и еще более удивительно: дядя Даня ненадолго ушел в свою комнату и вышел оттуда, как в первый миг показалось вздрогнувшей Сашеньке, в длинном черном женском платье. Но в следующую секунду она вспомнила, что это никакое не платье, а такая специальная одежда, которую носят священники, она даже почти вспомнила, как та называется... Так этот добрый и приветливый человек – поп? Такой, как у Пушкина – «толоконный лоб»? А Софья – дочь попа? И с ним дружит начальник милиции? Значит, эти старинные иконы, которыми здесь все обвешано – не для украшения? А на них, выходит, что – молятся, что ли? И Софья молится? Да нет, ерунда какая-то... Молятся старушки в платках и совсем простые женщины – тоже в платках и очень похожие на старушек... А попы – они обычно такие старые, косматые, седые, брюхо у них с подушку, одеты в золотые одеяния и увешаны драгоценностями – по телевизору однажды показывали, когда ночью какой-то праздник был, Рождество, кажется, или эта, как ее... Пасха... И смотреть на то, что они делают, больше пяти минут нельзя: скучно... Как там эти, в церкви, по столько часов выдерживают и не засыпают? Выходит, вот почему он не папа, а отец... Ну, конечно, попов так и зовут – «отец такой-то»... Значит и он ходит по той кладбищенской церквушке в такой же золотой одежде и блестящей шапке? И поет заунывным голосом? Вот этот молодой, красивый и веселый человек?

- Готова? – спросили Сашеньку, и она вздрогнула и закивала...

- Ты зачем в рясе? – изумленно спросила Софья своего отца. – Или потом сразу по требам?

- Да нет... – непонятно ответил он. – Просто думаю, что вдруг не Бога, так хоть рясы с крестом постыдятся...

...Ровно в половине четвертого в дверь квартиры на седьмом этаже серого дома с башенками Сашенька, открыв ее своим ключом, впустила двоих необычных мужчин: подполковника милиции и священника. Первый держал наготове раскрытое удостоверение, а второй выглядывал у него из-за плеча, но вид имел решительный и на компромиссы не согласный. Услышав в прихожей подозрительно густое шевеление, из кухни тенью скользнула иззелена-бледная Катина мать. Девочка невольно ахнула и отшатнулась. Лицо ее мамы

было неузнаваемо – так опухли не заплаканные, а словно выплаканные и ослепшие глаза. Она окинула вернувшуюся блудную дочь парадоксально безразличным взглядом, и едва ли намного больше интереса мелькнуло в нем при виде странных мужчин.

- Милиция... – на всякий случай опередил любые события Николай.

- Вижу... – без выражения ответила она. – Ну что ж, арестовывайте...

Глава шестая Первая и единственная. Окончание

Катя никогда не могла понять женщин, по несколько раз выходящих замуж или имеющих бесчисленные «романы». Не то что понять, но даже каким-то образом простить их существование на свете она не могла – будто они наносили ей этим личное оскорбление. Катя не осуждала их за «безнравственность» в общепринятом смысле этого слова – нет, ее чувства к ним были сложнее и причудливей. Она словно подсознательно не причисляла их к человеческому роду. А к какому же тогда? К животному? Но даже самая шелудивая сука на свете спаривается пусть и с разными кобелями, но строго два раза в год, во время течки, и делает это, лишь подчиняясь неумолимому инстинкту размножения: почувствовав в себе щенность, она больше не подпускает самцов! Куда же отнести двуногую прямоходящую самку с высшим образованием, думала Катя, способную уже спустя месяц после расставания с одним мужчиной, как ни в чем не бывало, идти под руку с другим, с пугающей естественностью называя его «своим». Ведь он же – *другой!* Это не то лицо за обедом напротив, не той тональности храп в постели, иные привычки, чуждые вкусы, незнакомые пристрастия – *все* иное! И вот так запросто принять и вобрать в себя это иное, приспособиться к существованию бок о бок, не сравнивая и не сопоставляя каждую секунду с *тем*, которое не повторяется... Ведь это же с ума сойти можно, казалось Кате, и, наверное, сходят еще при первой же перемене, а потом, когда *уже* сумасшедшие, то все равно...

Про себя она знала точно: второго мужчины у нее не будет, и быть не может, потому что ведь это же надо будет полностью на *новый* лад перекроить всю свою суть, так мучительно настроенную на *этом*... «Умру, но удержу, – однажды решила она, – пусть хоть весь мир встанет против меня...». Мысль о том, что однажды Семен попросту уйдет от нее к какой-нибудь более молодой и перспективной, посещала Катю не раз, и она вся холодела от одного такого предположения, потому что только начав представлять себе, что будет с ней

«Критическая масса» и другие повести...

потом, как сразу хотелось по-дурному кричать от ощущения падения в какую-то сизую тусклую бездну...

Зинаида оказалась первой за четыре года реальной угрозой Катиного низвержения – и, незаметно оказавшись прикованной к ней тяжелой цепью крупного долга, Катя могла долгие недели неотвязно размышлять только об одном: как теперь отдать проклятые деньги, чтобы получить право указать предполагаемой разлучнице на дверь... Она навязчиво бродила взглядом по жалким остаткам антикварных предметов в квартире, но регулярно приглашаемые оценщики предлагали за них неожиданно смехотворные суммы, ссылаясь то на отбитый уголок у чернильного прибора, то на совершенную неизвестность художника начала прошлого века, написавшего фиолетовое озеро с кособокой лодкой... А в разговоре с нею Семен все чаще ронял небрежное: «Вот мы с Зиной...» – и сизая бездна подступала прямо к сердцу, готовому оборваться...

...В тот день на приеме не произошло ничего особенного: только немного странным показалось, что симпатичная тридцатилетняя женщина, честно протянувшая кассовый чек, попросила лишь измерить ей оказавшееся почти нормальным давление и выписать что-нибудь простенькое «от нервов», а на вопросы отвечала незаинтересованно и односложно. Медсестры на таких приемах давно считались излишней роскошью, и в кабинете они уже четверть часа находились вдвоем, занимаясь, строго говоря, ерундой, потому что женщина оказалась практически здоровой и ни в каком лечении, тем более в платном, явно не нуждалась... Катя недоумевала, но помалкивала, потому что деньги в кассу были официально уплачены, и пятнадцать минут времени мнительная пациентка отняла у вечности вполне законно. Но вдруг, бросив несколько испытующе-напряженных взглядов на доктора, она стеснительно произнесла:

- Извините, пожалуйста, а на дому вы больных еще посещаете? Вы, конечно, не помните, но год назад вы очень помогли маме моей подруги, она мне вас и рекомендовала как толкового, знающего врача...

Таких «подруг» и их мам Катя за год посетила не менее полсотни, поэтому вспомнить и не попыталась, но улыбнулась с привычным дружелюбием: это ведь живые деньги в кошелек шли, а деньги ей были ох, как нужны теперь.

- Если вы хотели пригласить меня на частный визит, то не стоило вам тратиться на платный прием, – приветливо сказала она, откладывая в сторону явно ненужный листок назначений. – Могли бы просто подойти ко мне и спокойно договориться...

- Я не знала... Извините... – мялась женщина, которую звали, согласно медкарте, Алиной. – Но это нужно приехать за город к мо-

ему дедушке, который болен... Онкологически...

- Тогда почему я, а не онколог? – законно удивилась Катя.

Алина понесла какую-то чушь о скачках давления и болях в позвоночнике, продемонстрировав вопиющую медицинскую неграмотность, но ничуть не поколебав уже принятого Катей решения ехать за этими деньгами, как и за всякими другими.

Договорились, что отправятся на дачу, где дедушка пожелал провести в покое последние недели гаснущей жизни с любимой и балованной внучкой, взвалившей на себя добровольный труд ухода за умирающим одиноким дедом... Много лет назад он водил ее в зоопарк кормить булкой кусачих пони и махал рукой, когда она важно проплывала мимо него на карусельной зебре... А еще он рассказывал ей сказки перед сном, причем, похоже, придумывал их сам и на ходу, потому что были они какие-то необычные, не похожие ни на чей фольклор, а также ни на какие измышления псевдосказочников нового времени – словно придуманные сказочными же героями и рассказанные ими друг-другу внутри самих сказок... Алина в этом вполне разбирается теперь, она ведь закончила филфак, русское отделение...

Болен дедушка, оказывается, подошвенной беспигментной меланомой, перенес две операции, одна из которых полностью искалечила ему ногу, а вторая ее и вовсе отняла – а только метастазы все равно опередили все вмешательства, и последующее терапевтическое лечение на них нисколько не повлияло... О своем состоянии дедушка прекрасно знает, так что лгать ему ни к чему, а вот разобраться с давлением и этими болями в спине... Катя на всю эту лирику размеренно кивала: разберемся – ведь если там рак не менее третьей стадии, то почему бы не разобраться, какая теперь разница...

Стартовать в мир иной дедушка собрался с уютного места на сухой возвышенности среди корабельного леса, и дача его была явно не простая, а, наверное, профессорская, не меньше. Участок Катя видела уже в глубокой темноте, но все равно было очевидно, что вокруг дома раскинулся настоящий небольшой парк в английском стиле, запущенный, но с грамотно посаженными деревьями и прочной островерхой беседкой. Сам домик оказался двухэтажным, с двумя широкими террасами и длинным крытым балконом.

Десятилетия назад здесь бывало, конечно, весело – когда приезжали дружные родственники с детьми, вся семья завтракала на солнечной веранде, летал над площадкой перед домом белый воланчик, звонко стучаясь о сетку деревянных ракеток, сидя прабабушка вязала бесконечный шарф в плетеном кресле на балконе, румяные девчонки с пышными бантами на макушках деловито играли фарфоровыми куклами в прохладной беседке, а молодая мать, сидя под

«Критическая масса» и другие повести...

розовой сосной и рассеянно качая низкую детскую коляску с крохотными колесами, листала прошлогодний модный журнал...

Мальчик вырос из своей коляски и пересел на трехколесный велосипед, а потом, без промежуточного транспорта – на эвакопоезд или, хуже, ладожскую баржу – и вернулся уже лишь чтобы катать здесь в другой, более импозантной коляске собственного ребенка, через полвека не нашедшего возможности прилететь из близкой Америки к последним дням отца, предоставив ему умирать на руках внучки...

В квадратной комнате с березовой мебелью и паркетным полом стоял несильный, но ощутимый запах мочи и грязного белья – как врач, Катя давно знала, что это не перебивается никакими памперсами и еженедельными стирками: вокруг смертного ложа ракового больного всегда стоит этот ничем не выветриваемый дух. На узком кожаном диване, слегка отвернув голову к стене, лежало бесполое и безвозрастное существо с прозрачной серой кожей и провалившимися глазницами. Оно не прореагировало ни на довольно громкие голоса двух женщин, ни на свет шестирожковой довоенной еще люстры, безжалостно вспыхнувший под потолком. То, что старик упорно и бесцельно борется со смертью, определялось только по слабому, но еще размеренному пульсу в невесомой и сухой, как старая ветка, руке. В любом случае, вопрос о его давлении или больном позвоночнике совершенно точно не стоял уже давно, потому что этот человек находился при смерти и нуждаться мог только в обезболивающем – и то уже явно ненадолго...

Кате стало страшно. Она находилась пусть недалеко, но за городом, поздним ноябрьским вечером, на одинокой даче среди леса, приглашенная незнакомой женщиной, заманившей ее сюда беспардонной ложью и, конечно, имеющей неблагоприятную цель... Какую угодно... Трусость органично входила в широкий набор Катиных недостатков – но в такой ситуации задрожал бы и гораздо более смелый человек. А вдруг эта Алина – если вообще Алина – не одна здесь? Ведь Катя никому не позвонила, никто не знает, куда она поехала, и ее не хватятся если не до утра, то до полуночи уж точно... У Кати явно и неприятно затряслись ноги, все тело вдруг ослабело, и голос пропал... Она зачем-то тянула время, не отпуская руку больного, и изо всех сил старалась вернуть себе хотя бы способность говорить, нестати вспомнив вдруг сомнительную истину, что лучшая защита – это нападение. Ага, вот и напади сейчас, давай, попробуй...

Сосчитав про себя до двадцати, Катя обернулась, с переменным успехом сохраняя полуспокойное выражение лица – кто знает, может, Алина примет ее страх за гнев.

- Вы зачем меня сюда пригласили? – коротко спросила она, по-

Наталья ВЕСЕЛОВА

тому что на более длинную фразу дыхания все равно бы не хватило.

Но вдруг она увидела, что Алина тоже трясется, вернее, что-то трясет ее изнутри, и решила слегка повисить свой несколько осмелевший голос:

- Сколько он у вас уже на наркотиках? О каком давлении тут может идти речь? Какие боли в позвоночнике? Вы вообще отдаете себе отчет...

- Отдаю... – шепнула Алина. – Вы только выслушайте...

Она подошла к веселенькому светленькому комоду у противоположной стены и достала из нее картонную коробочку с ампулами. Было видно, что говорить ей трудно и страшно, но слушать было настолько трудней и страшней, что Катины ноги все-таки подогнулись, и она невесть как нащупала под собой какой-то стул и косо на него села.

- Две недели... Почти... Каждый понедельник нужно идти за новой коробкой... Я получила разрешение колоть сама, потому что сюда медсестре долго добираться, а нас в университете учили, и у меня даже справка сохранилась... Но при этом нужно сдавать пустые ампулы... Ровно по счету... На той неделе я так и сделала, а на этой... На этой я уколола его только во вторник и сегодня, чтоб спал... пока я к вам ездила... А в остальные дни колола кетанов, хотя, конечно, не фига он не помогает уже... Так вот, если послезавтра... в воскресенье... вколоть все оставшиеся пять ампул... И не внутримышечно, а в вену... То скажите, тогда – что?..

- Все... – шепотом ответила Катя.

- Совсем все?.. Сразу?.. – беззвучно спросила Алина.

Катя кивнула с облегчением: ее, оказывается, заманили сюда не для того, чтобы убить, а чтобы попросить совершить убийство... Ну и гадина эта Алина! За кого она ее принимает! Доктор Екатерина Петровна решительно поднялась, стряхивая с души остатки страха и смятения:

- Мне все ясно, любезнейшая Алина, – придав лицу самое презрительное выражение, какое смогла, сказала она. – Теперь потрудитесь показать мне, где у вас здесь выход.

- Тысяча евро, – тускло произнесла в ответ женщина. – Это все мои сбережения, больше не могу. Я бы и сама сделала, но хочу, чтоб наверняка и грамотно, чтоб никаких лишних следов на руке... Но боюсь в вену не попасть, а знакомых медиков у меня нет. Не случилось.

В душе Кати что-то безболезненно, но отчетливо, как живое, перевернулось.

- Почему именно я? – выдохнула она.

- А можно я вам скажу... потом... если... ну, вы понимаете...

«Критическая масса» и другие повести...

– и глаза Алины вдруг произвольно забегали.

Катя шагнула к двери, но обернулась и добавила в голос еще толику презрения:

- Ради наследства, конечно, стараетесь?

Алина пожалала плечами:

- Ничуть. В городе у него муниципальная каморка, бывшая служебная площадь, не подлежащая приватизации, которая сразу же отойдет нашему бедному государству. А это... поместье... Да, оно действительно его, только завещано моему папаше, который уже двадцать пять лет, после того, как бросил нас с матерью, живет в Америке и приезжать не торопится. Зато, как только дед скончается – будьте уверены, прилетит на следующий день вступать в права. Мне ничего не отломится – разве только мебель, какую получше, в свою квартиру успею вывезти...

- Полагаю, вы не из-за мебели живого человека убивать собираетесь? – жестоко усмехнулась Катя.

- Никакого живого человека я убивать не собираюсь, – уже совершенно твердо сказала Алина, и Катя подивилась, куда девалась трясухая полуграмотная дамочка. – Я собираюсь только довести уже состоявшегося мертвеца до той кондиции, когда его можно будет положить в гроб и похоронить.

- Знаете, это и так произойдет уже очень скоро, – уверенно отозвалась Катя. – Вам совсем недолго, поверьте, осталось мучиться. Неделю от силы...

- Мне нельзя неделю, – хрипло проговорила Катя. – Ровно через пять дней меня здесь быть не должно...

Она была классическим аутсайдером, эта Алина. Всю жизнь мечтавшая совершить что-то значительное на ниве публицистики, и, кажется, вполне способная к этому, она все время терпела таинственные поражения по независящим от нее обстоятельствам. То в самый последний момент ее опережал беспардонный блатной коллега, то вдруг историческое издательство, уже заплатившее ей аванс за толковую книгу о белых пятнах Великой Отечественной, отправлялось под суд, обвиненное в невероятных злодеяниях; то очередной не то кризис, не то дефолт перечеркивал уже подписанный договор с толстым цветным журналом на целую серию выдающихся статей, по достоинству оцененных всеми возможными специалистами – перечеркивал вместе с самим журналом... Рок ее был до такой степени неотвязен, что в своих кругах она стала известна как заведомая неудачница, и некоторые редакции и издательства не брались иметь с ней дело отчасти из суеверных соображений: стоило ей «пристроить» куда-нибудь свой оригинальный фоторепортаж с собственными остроумными комментариями или убедить издательство в грядущем

шумном успехе сборника статей – как журнал бездарно погибал по одной из многих возможных причин, не успев ее напечатать, а издательство разорялось, и шло чуть ли не с молотка. Алина начала закономерно отчаиваться, отчетливо видя собственный талант и все время едва ли не в последнюю секунду лишаясь возможности насладиться его плодами. Перебивалась она случайными заработками на nive жалких переводов или унижительных мелких заказных статей – и так постепенно озлоблялась, превращаясь в обычного российского циника, что еще и трагически усугублялась вечными катастрофами в личной жизни.

В этом смысле она тоже была, как заколдована: самые, казалось, прочные отношения с достойными людьми вдруг рушились на ровном месте, несмотря ни на какие ее самые титанические усилия. Жила девушка одиноко и беспорядочно, после смерти матери имея единственным близким родственником лишь хилого вдового деда, меньше года назад заслушавшего в городском онкодиспансере свой не подлежащий обжалованию приговор... Куча дальних родственников, до того радостно пользовавшихся вместе с чадами и домочадцами вот этой старой добротной дачей, теперь исчезла бесследно, предоставив все прелести ухода за безнадежно больным Алине, справедливо посчитав, что ближе ее у старика все равно никого нет, и она единственная, у кого достаточно для этого свободного времени... Она поначалу не особенно возражала – помнила и про зоопарк с бойкими пони и старой каруселью, и про вдохновенно сочиняемые у ее детской кроватки сказки, да и вообще не особенно представляла себе все масштабы взваленного на себя подвига – совсем как Катя с ее порывистым решением взять опеку над чужой девочкой... После второй операции Алина повеселела: страдания деда явно близились к концу, а подвиг ее готовился засиять в веках – ну, или сколько там ей самой осталось.

И вдруг фортуна повернулась к ней своим золотым боком, ни с того ни с сего решив возместить несчастной женщине все потери, ранее от нее же понесенные. Огромное судно-лаборатория с международным экипажем отправлялось в кругосветное не то плавание, не то экспедицию – с этим гуманитарной Алине предстояло разобратся позже. Ее нынешний любимый человек оказался заместителем руководителя этого годового вояжа с самыми смелыми перспективами – и он же настоял на том, чтобы с его невестой подписал контракт солидное зарубежное издательство. Ей предлагалось осветить в отделе популярной книге сие славное путешествие, полное научных открытий и профинансированное несколькими уважаемыми фирмами, втихаря предполагавшими наложить унизанную перстнями лапу заодно и на упомянутые открытия. В следующий

«Критическая масса» и другие повести...

четверг экспедиции предстояло торжественно отплыть из Санкт-Петербургского морского порта, пока какой-нибудь внезапный ледостав не опередил события – и унести на борту исполненную надежд Алину рука об руку с сияющим от любви избранником...

Все необходимое было упаковано и перенесено на борт, грозные бумаги подписаны, и дело оставалось за малым: дедушку следовало успеть тихонько похоронить – а он упорно не собирался предоставить ей такую возможность – хоть живым закапывай... Оставить его было не на кого – дальняя родня давно перестала им интересоваться. Рассматривалась – и была отвергнута – возможность на авансовую тысячу евро приставить к нему сиделку и ее же обязать устроить похороны в положенный срок. Но откуда было знать, сколько еще дней или недель он пролежит в прострации – а ведь у сиделок почасовая оплата, да двадцать четыре часа в сутки платить... Какая там тысяча... Возлюбленного к своей неразрешимой проблеме Алина привлекать дальновидно не стала: уж больно неприятное для него начало отношений выходило – как бы не взбрыкнул... Каждое утро женщина с надеждой заходила в комнату больного – и с каждым разом все больше его ненавидела, потому что становилось все яснее, что выход, словно в насмешку, ей оставлен единственный: контракт расторгнуть, аванс вернуть, да еще при этом заплатив какую-то издевательскую неустойку, а вдобавок, отправить любимого в дальний поход одного и вследствие этого, скорей всего, потерять... Алине порой хотелось попросту бросить подушку на лицо болящего и прижать минут на пять – но она удерживалась, не зная, как результаты такого вмешательства отразятся на внешнем облике покойного. Да и время было еще – вдруг сам соберется...

А он все не собирался и не собирался – только ходил под себя, заставляя Алину выбрасывать фантастические суммы на памперсы и три раза в день кормить его с ложки манной кашей. Онколог ничего определенного, как водится, не говорил: может, сегодня, а может – через месяц... Срок отъезда самым роковым образом приближался, и Алина начала сходить с ума... Ей казалось, что фортуна, на самом деле вовсе не повернулась к ней золотым боком, а в очередной раз – облезлым хвостом, чтоб поднять его и смачно испражниться ей в лицо. Вроде бы все самое обольстительное, что только можно представить, прилетело на блюде – а принять оказывалось невозможным... Наиболее отвратительным обстоятельством была абсолютная, бесповоротная уверенность – нет, она попросту *знала*, что осужденный будет казнен на следующий день после того, как Алина от всего откажется, и судно покинет порт с ее удачливым соперником-журналистом на борту (он-то и был первоначальной кандидатурой, но Алинин любимый на этот раз пересилил). И вот каким-

то одному-двум дням ровно ничего не стоящей и уже практически угасшей жизни теперь предстояло перечеркнуть жизнь молодую, полную сил и надежд – ее, Алинину жизнь... Ради чего?! Когда она получала разрешение вводить больному наркотики самостоятельно, то еще ни о чем таком не думала, идея мелькнула лишь на исходе первой недели, когда она вдруг увидела, что дед перестает стонать и засыпает совсем ненадолго – собственно, можно и не колоть... Или колоть, но через день... А то и через два... А остальные... Он ведь и не поймет ничего... Даже не почувствует... Вскрытия не будет – в таких очевидных случаях его не делают... И решение пришло во всей ясности и полноте.

- Я вас прекрасно понимаю, – строго сказала Катя. – Вы думаете об эвтаназии как о гуманном шаге. Но ведь в тех развитых странах, где она разрешена, она все равно производится только с согласия больного – и даже при его непосредственном участии... А то, что вы предлагаете мне – это не эвтаназия... Это... Это... Давайте называть вещи своими именами... – но назвать она не смогла.

- Вы отказываетесь? – исподлобья глянула Алина.

- Да... Мне вас очень жаль, но – да... Моральная сторона, видите ли... – заблывая Катя, трясая головой, чтобы прогнать омерзительную мысль, неизвестно как попавшую в сознание: «Если к этой ее тысяче добавить еще мою премию...».

Она быстро встала:

- Все, разговор наш закончен – да и говорить не о чем было. Поищите кого-нибудь другого, – и так стремительно двинулась к выходу, что больно ударилась бедром обо что-то твердое и многоугольное на темной веранде, а потом чуть не сверзилась с высокого крыльца.

Она почти бегом мчалась к своей машине, когда Алина все-таки нагнала ее в пятне света, падавшего из высокого окна.

- Если вдруг вы передумаете... – и она ловко сунула что-то Кате в карман куртки. – То в воскресенье позвоните... Раньше все равно нельзя: ампулы должны быть сданы все семь, значит, умереть раньше вечера воскресенья он не может...

- Не ждите напрасно, – еще больше напустив суровости, отбивалась Катя. – Это тяжелая уголовная статья. И не надейтесь.

- Так за то я вам и деньги предлагаю... – злобно прошипела Алина, бесцеремонно приоткрыв уже закрытую Катей дверцу. – А если нет, то все равно ведь ему дольше не жить: на свой страх и риск сама попытаюсь... Пан или пропал...

Катя рывком захлопнула дверь и рванула с места по грунтовке – подальше от этого змеиного шепота, подлых мыслей и грязных соблазнов. Она выше этого. Она культурный, просвещенный человек.

«Критическая масса» и другие повести...

Она не дойдет до гнусного убийства беспомощного больного. Она даже какую-то там Клятву советского врача двадцать с лишним лет назад подписывала...

На выходные ей предстояло важное, давно запланированное дело: с раннего утра в субботу поехать в деревню к бабе Алле и отвезти ей давно обещанное огромное ватное одеяло – здесь, в городе, ненужное, а там, в преддверье холодов совершенно необходимое. Сколько еще раз обещать старухе и не делать? Конечно, можно и в другой день поехать – а ну, как морозы ударят? И Семен будет рад побродить вдоль засыпающей реки, и о Сашкином навечном выдворении пора завести разговор – не с бухты-баряхты же в Новый год ее привезти с вещами... Путь неблизкий, и вернуться они нескоро, только под ночь на понедельник – так что никакая Алина до нее не доберется... Когда выносила одеяло в машину, нащупала в кармане куртки плотный кусочек картона и, вытащив, обнаружила визитную карточку. Наглость какая! Думает, она сама позвонит и напросится! Но карточку не выбросила тотчас, а сунула обратно – так просто... Не мусорить же в родном дворе... А дома не до того стало... Да и голова разболелась... Ни с того, ни с сего... Пришлось сказать, что поездка откладывается... И то дело – дома который день уже нормального обеда не было – и Семен все чаще недовольно жевал губами и брезгливо ковырял вилкой венскую сосиску, бормоча что-то о «Зининых» великих кулинарных способностях... Вот когда он был у нее в гостях, она его кормила не сосисками... «Если сложить тысячу евро и премию, можно будет резко сказать ей, что чужих мужей одних в гости не приглашают... Или прямо с ее мужем поговорить в открытую – пусть повернется...». Катя снова потрясла головой и принялась яростно крутить ручку старой чугунной мясорубки, чтобы налепить к воскресному обеду любимых Семеном нежных куриных котлет... Да и борщ не мешало сварить – пожирнее, со свиной грудинкой, как ему нравится...

Семейный обед – нудная Сашка опять бесконечно помешивала суп и задумывалась с ложкой в руке, глядя в даль, так, что приходилось на нее прикрикивать – был прерван телефонным звонком. Катя подлетела в смертном испуге Бог весть отчего – и схватила трубку.

- Екатерина? – слышался ненавистный бархатный голос. – С Семеном Евгеньевичем все в порядке? А то я звоню, звоню ему на трубку, а он недоступен... Знаете, я так заволновалась... Можно его пригласить?..

«Ничего, я тебя завтра уже отучу за чужих мужей волноваться... И на трубку им названивать...» – злорадно подумала Катя, и вдруг ее сердце как-то особенно жгуче подскочило и упало.

- Одну минуточку, – ласково ответила она. – У меня для вас

есть приятная новость: завтра я готова отдать вам долг. Когда вам удобно со мной встретиться? Да нет, именно завтра хотелось бы: не люблю, знаете, когда над головой скапливаются неоплаченные долги... как тучи, ха-ха...

...Поздно вечером на некогда светлой даче, что стоит среди соснового леса на песчаном холме, умер тяжело и мучительно страдавший неизлечимым недугом – одним из самых зловещих раков на свете – старик. Вот уже несколько суток, как он непрерывно тоскливо стонал, находясь не то в бреду, не то в агонии. Но после того как ему наложили повыше локтя тугой жгут – процедура еще по разным клиникам привычная – и он почувствовал ничтожный укол, стонать вдруг расхотелось, потому что раковая боль, так долго державшая все его тело в острых клешнях, сразу же отступила... «Надо же, – успел радостно подумать он, – какой хороший укол поставили: еще иглу, кажется, не вынули, а уже помог...». Он даже чуть приоткрыл глаза, чтобы хоть взглядом поблагодарить избавителя – и уловил смутный очерк тонкого и нервного женского лица. Очень несчастного. И так ему стало жалко эту славную бедную женщину, что он решил как-нибудь поднатужиться и ей улыбнуться. Он был почти уверен, что ему это удалось – услышал, как позади внучка задумчиво сказала:

- Смотрите, ему понравилось...

- А что вы думали... – ответила ей несчастная женщина. – Ведь это, наверное, самая сладкая в мире смерть...

Он хотел запротестовать, сказать, что, напротив, ему гораздо лучше, и ничего больше не болит – и вдруг женское лицо начало уменьшаться и таять, дорогой голос внучки превратился в далекую и звонкую барабанную дробь, тьма начала беспощадно заволакивать зрение и слух, зато перед другим, ранее неизвестным, но, оказывается, таким ясным и четким зрением, начали вдруг вставать одна за другой страшные картины детства, волнующие дни первой и единственной любви, лица забытых и милых товарищей и коллег – а потом все смешалось и замелькало...

- Вы тогда не ответили... – внезапно вспомнив, проговорила Катя, стоя над покойником. – Почему именно я? Теперь – скажете?

- Конечно, – кивнула Алина, и на ее лице вдруг появилось выражение, которое нельзя было назвать иначе, как поганым. – Та дама, которая рекомендовала вас мне, между делом сказала: врач она хороший, спору нет, специалист грамотный, да только у ней на роже написано, что за деньги и мать, и Родину продаст...

...Не пересчитывая, затолкав в сумку пачку зеленых и розовых листков, напоминаявших не деньги, а несерьезные конфетные фантики, Катя прыгнула в машину и во второй раз принялась спасаться бегством, бессознательно твердя единственное заклинание:

«Критическая масса» и другие повести...

«Никто не видел... Конечно, никто не видел...». На трассе ее вдруг замутило от нервного напряжения – так что пришлось сначала сбавить скорость, а потом и вовсе остановиться и ненадолго опустить стекло, потому что стало ясно, что в таком состоянии можно запросто разбиться в темноте на каком-нибудь крутом повороте – но теперь в каждой проезжавшей машине мерещился обо всем знающий преследователь – и она, жадно и тяжело дыша, инстинктивно отворачивала лицо от мелькавших мимо чужих быстрых автомобилей... Когда добралась до дома то, проглотив сразу две таблетки, упала в теплую ванну и долго понуро сидела в воде, боясь начать думать, чтобы не пришли убийственные мысли. Но они так и не дошли до нее, потому что магическое лекарство подействовало, и выбираться из неожиданно высокой ванны пришлось уже в полусознании – так доползти до «светелки» и повалиться поверх колочего шерстяного пледа, который уже не было сил откинуть...

Спустя несколько дней на дежурстве Катя без всякого умысла присела в комнате отдыха с чашкой кофе перед телевизором как раз в тот момент, когда там крутили местные вечерние новости. Рассеянно глянула – и увидела под серым дождем черно-белое судно, похожее на ступившую в лужу штиблету с гамашей, совсем уже готовое отвалить от мокрого причала. Снизу махали радостные вопреки погоде люди, даже прилежно надували щеки ливрейные музыканты, а на борту среди нереально белозубых улыбок мелькнула одна, неприятно знакомая – та, что казалась счастливее всех... У Кати вырвался невольный вздох облегчения: значит, вскрытия, как мерзавка Алина и предполагала, не было, похороны благополучно состоялись вчера на близлежащем сельском кладбище, да и антикварная мебель, пожалуй, уже расторопно вывезена по месту назначения... Концы ушли и в землю – и в воду. Задумываться теперь о гуманности или преступности уже содеянного, в любом случае, не имело смысла: усопшего не вернешь, да и он сам, надо полагать, не особенно обрадовался бы такому возвращению... Кроме того... Катя не сомневалась, что откажись она – и Алина, не дрогнув, пошла бы до конца – и в вену бы попала, как надо, и тысячу евро сэкономила бы... Так почему эти деньги не получить – ей, Кате, которой они нужны были – больше воздуха?! Ведь своим отказом она ровно ничего не изменила бы в ни в судьбе отмучившегося старика, ни в будущем злодейки Алины... Что плохого в том, что она просто – воспользовалась? Как бы там ни было, а совесть подчинилась суровому приказу, и лучшим лекарством, как всегда, оказалось забвение...

Не думать, а радоваться: вот выходит же в следующем месяце долгожданный Семенов роман, и у него улучшится настроение, и возродится его вечернее благодушие, и скоро они останутся одни в

их уютном доме – без постоянных раздражителей в лице никчемной девочки и ее линючей кошки... Тогда Семен перестанет хмуриться на шаги в коридоре, исчезнет это его неприятное страдальческое выражение лица, да и она, Катя, постарается загладить все свои настоящие и мнимые вины, чтобы в семье их воцарился покой, и на нем расцвела бы вновь ее такая трудная, такая поздняя, но первая и единственная любовь.

...Ей часто приходилось по роду занятий сталкиваться с людьми, чья жизнь однажды волей слепого случая разделилась на до и после. Чаще всего это были те, кто получил тяжелые травмы позвоночника: с последующими параличами разных форм и степеней они передавались из рук нейрохирургов, все, что надо, шивших – или недошивших – к несчастным неврологам, в чью задачу входило теперь восстанавливать невосстановимое... Но представить себе, что хребет однажды окажется перебитым и у нее... Что и ее жизнь однажды разделится так же – и не найдется хирурга, способного собрать ее из обломков?! Таким днем стала ночь.

Еще когда тот незабываемый звонок только прозвучал, и Катя бежала к двери, убеждая себя, что это просто Семен, отправившийся на свою обычную прогулку, захлопнул дверь и забыл ключи – где-то глубоко в недрах ее сознания прозвучала сокрушительная фраза: «Вот оно, возмездие». Какая чушь! Кто должен был ей мстить? Восставший из гроба покойник?! Мужчина, впущенный ею в квартиру после кратких страшных переговоров, протянул ей через стол фотокарточку – ровно ничего не говорящую саму по себе, но несущую фатальный смысл. Она смотрела на нее не более минуты – потому та была отобрана – но прекрасно увидела саму себя в собственном автомобиле, в единственной приличной куртке с поднятым капюшоном, с чуть отвернутой в сторону головой – именно так она делала на шоссе, возвращаясь *оттуда* – и из какой-то машины ее, значит, сфотографировали... Сфотографировали не для того, чтобы предъявить эту фотографию *кому-то*, а просто чтобы продемонстрировать свою осведомленность о происшедшем... Катя даже плохо рассмотрела мужчину, разговаривавшего с ней: во-первых, потому, что глаз на него поднять не могла от нахлынувшего изнутри ужаса, а во-вторых, из-за его более чем неброской внешности, определявшейся только словами «обычный» и «средний». Несколько раз мимоходом мелко оскорбив Катю – что, вероятно, так же как и намеренно ночной визит, служило для добавочной деморализации жертвы – он потребовал за свое молчание сумму, которую сам же и подсказал, откуда взять: продать квартиру – единственное по-настоящему ценное ее достояние. Продать квартиру или сесть в тюрьму за убийство. Он даже не стал дожидаться Катиного ответа: гадко ухмыльнулся и вы-

«Критическая масса» и другие повести...

шел, пообещав найти ее возмутительно скоро.

Да тут еще выяснилось, что вездесущая Сашка подслушала разговор и, ничего из него, как и следовало ожидать, не поняв, понесла свою обычную ахиною про каких-то очередных покойников... Тут уж и ангел бы не сдержался – Катя пару раз треснула девку по ее дегенеративной морде! Чудесным образом это помогло ей и самой опомниться – по крайней мере, она перестала с излишней пристальностью смотреть на домашнюю аптечку, хранившую в себе достаточно средств для того, чтобы малодушно бежать с поля боя...

К утру решение было принято: квартиру придется продать, деньги выплатить. Катя понимала, что загнана в худший из углов – в пятый, из которого не вырваться – и не найдет ни выхода, ни советчика. Она размышляла недолго и пришла к неизбежному выводу: шантажист не был и не мог оказаться случайным свидетелем. Он, конечно, являлся тайным сообщником настоящей преступницы – Алины, которая теперь, сбежав с корабля в любом подходящем порту мира, будет ждать его и Катины деньги в условленном месте, чтобы начать на них какую-нибудь заранее задуманную новую беспечальную жизнь. А может быть, она никуда и не уезжала, лишь привидевшись Кате по телевизору, и сейчас с порочным нетерпением ожидает где-нибудь в укромном убежище, пока любовник – а только любовник станет сообщником в убийстве, сделанном чужими руками, и последующем циничном шантаже – принесет ей в дар свою богатую добычу...

На работу Катя в тот день не пошла, в очередной раз сказавшись больной, а вместо этого с раннего утра уехала за город, к заливу, где среди холодных дюн и голубых сосен в одиночестве бродила несколько часов, мучительно думая и безнаказанно рыдая...

...Деньги будут выплачены, и шантажист от нее отстанет, зная, что больше с нее взять нечего ни при каких обстоятельствах. Сашка отправляется в деревню к настоящим родственникам – в сложившихся обстоятельствах это уже не прихоть, а необходимость. Они с Семеном переедут в Гатчину, в его квартиру, и ей придется искать работу поближе к дому. Это сейчас кажется, что произошла катастрофа, а через год уже все уляжется... Но слезы текли неостановимо, потому что она прекрасно знала, что ничего ей не кажется, катастрофа действительно произошла, и как только она скажет о ней Семену – он не предложит ей никакого уютного Гатчинского гнездышка – а попросту вычеркнет ее из своей жизни вместе с ее бедой. И она станет тем, что называют вульгарным словом «бомжиха» – придется пожизненно снимать квартиру без надежды когда-либо обрести снова собственный угол, а под старость, когда сил на работу не останется... Тогда сдохнуть под забором. Или, в лучшем случае, в

доме престарелых для бедняков... Катя повалилась прямо на серый песок и долго кричала и стонала без слез, молотя кулаками по жестким пучкам колючей травы и пугая хищных черноголовых чаек, на всякий случай не отлетавших далеко, а зорко ожидавших, не выйдет ли им сытный обед из человечины...

Следующие сутки Катя провела в состоянии странного ступора, прерывавшегося вдруг бурными рыданиями – отчего спрятался в свой кабинет не выносивший женской истерики Семен – и лишь раз была выведена из этого оглушенного состояния вечерним телефонным звонком Сашки, как оказалось, вообще отсутствовавшей дома – чего Катя и не заметила. У Вальки, так у Вальки... Какая теперь разница... Наступающий день был выходным – и это пришлось кстати, потому что силы ее совершенно покинули, и она безмолвно лежала, сломленная, на своей одинокой тахте, ответив на равнодушный вопрос Семена, что больна – и после этого опять заплакала.

Только к вечеру собралась Катя с силами сварить себе кофе, принять таблетки – и надо же! – именно в ту минуту послышался щелчок замка, и вновь намертво позабытая Сашка завозилась в прихожей. Как-то подозрительно громко завозилась. Неужели подружек с собой притащила? Ну, этому-то сегодня не бывать! Катя устремилась в прихожую и остолбенела: прямо перед ней, положив ручищу на острое плечо девчонки, стоял здоровый седой мужик, а рядом с ним – она глазам не поверила! – настоящий живой поп. С бородой и в рясе. Дальше ехать некуда. Ей и так плохо, она умирает, а эта малолетняя дрянь опять с каким-то своим фокусом... Но седой вдруг выпростал вперед другую свою руку, в которой мелькнуло что-то красное, и рявкнул басом: «Милиция!». Катя покачнулась. «Вот оно... Почему?.. Кто?..». Все было кончено, бороться не имело смысла – словно гора в один миг упала с ее поникших плеч... И с каким-то даже смутным удовольствием она вытянула вперед обе руки, словно предлагая немедленно заковать их в кандалы, и почти спокойно сказала: «Ну что ж... Арестовывайте...».

Но седой, по-видимому, принял ее слова за шутку, которую и подхватил:

- Да помилуйте, мадам, за что арестовывать такую очаровательную женщину...

«Издевается... – пронеслось у Кати. – В зеркало я на себя сегодня уже раз глянула...».

- Мы просто привели вам вашу милую дочку, которая хочет сделать вам маленькое признание... Сказать, что ночевала сегодня вовсе не у... не там, где сказала. А у отца Даниила и его дочки Сонечки...

«Что это за бред... Как во сне... Чей еще отец...» – тупо дума-

«Критическая масса» и другие повести...

ла Катя и не отвечала.

Они так и толклись вчетвером в коридоре, потому что хозяйка гостей в комнаты не звала, а девочка пришибленно жалась у вешалки и голоса не подавала. Наконец Катя догадалась сделать приглашительный жест в сторону гостиной, и вся компания, не разуваясь и не снимая курток, протопала по новому голубому паласу и самовольно расселась вокруг стола.

Дело понемногу прояснялось и, как оказалось, не имело никакого отношения к тому, что совершила Катя. Это, подумалось ей, бесстыжая Сашка что-то натворила, и теперь с нее будут снимать показания – как положено, в присутствии родителей... Позор-то какой... На время даже ее собственная беда отступила на задний план, уступив место уже привычному раздражению. Придется теперь еще и это пережить... Последнее... Седой заполнил шапку протокола и тихонько подтолкнул Сашку в бок:

- Начинай. Расскажи все, что вчера вечером рассказала Софье. Не волнуйся и ничего не пропускай.

Девчонка напряженно кивнула и впервые раскрыла рот:

- Это произошло в ночь на среду на прошлой неделе... Ночью я долго не могла заснуть...

Сначала Катя ничего не понимала, тем более, Сашка все время сбивалась на какую-то «резинку» и перескакивала с одного неясного эпизода на другой и обратно... Но минут через пять до нее, как и до всех присутствующих, начал доходить дикий и неприличный, можно даже сказать, похабный смысл слов, бойко вылетающих из еще вполне невинных уст ребенка. Ребенок абсолютно не понимал многое из того, что говорил, но взрослым-то все очень быстро стало вполне очевидно – и они, как по команде, потупили глаза. Память у Сашки оказалась совершенной и очень пунктуальной: она едва ли не с выражением передавала подслушанные диалоги, фотографически описывая увиденное... Все молчали, боясь перебить рассказчицу, чтобы не сакцентировать случайно внимания на чем-нибудь уж очень непристойном или слишком ужасном. Даже почти взрослая Софья, подумалось обоим мужчинам, – и та не совсем поняла все, что услышала...

- И вот, когда мне никто не поверил, я тоже засомневалась – а не приснилось ли мне во время болезни... И тогда я, никому не сказав, убежала из дома и поехала в Рычалово... Без спросу... Я долго шла – но пришла на нужное место, и... Я увидела... увидела... – Сашенька впервые запнулась.

- Мы знаем, что ты увидела: очертания человека под водой... – как можно мягче подсказал отец Даниил. – Да?

Она судорожно кивнула:

Наталья ВЕСЕЛОВА

- И я побежала... И заблудилась... И оказалась у вас в деревне, а Софья, дочка дяди Дани, привела меня к себе домой и накормила... Я потом ей все рассказала и... и уснула... Вот и все...

Взрослые ошеломленно молчали несколько минут – и первая пришла в себя Катя. Она пришла в себя не от рассказа – а *по-настоящему*, потому что ей вдруг открылась дивная, непреложная и простая истина: на фотографии была не она, а Зинаида! Это ее он выследил от места *ее* преступления! У шантажиста нет против нее, Кати, ровно ничего – пусть себе бежит в милицию! Расскажет-то он на самом деле про Зинаиду, а про нее и так теперь все известно! Если бы она послушала Сашку с самого начала, то и разговаривать бы с ним не стала! Хотя кому бы пришлось в голову отнестись серьезно к ее рассказам... А вот оказалось же, что все это – чистая правда... Впервые в жизни... Ай, да Сашка! – и она непроизвольно вздрогнула от восторга.

- А остальное? – вдруг громко и дружелюбно спросил седой. – Насчет того мужчины, который приходил к вам ночью? Забыла?

Катя окаменела: знают. Сейчас зацепят, потянут... Она перестала дышать...

- Какого мужчины? – с непонимающим видом спросила Сашка.

Священник и милиционер переглянулись:

- Ну, как же... – растерялся кто-то из них. – Который Зинаиду Михайловну сфотографировал на трассе, когда сломалась машина... И потом, думая, что это была твоя мама, пришел к вам и вымогал у нее деньги...

- Вы что-то путаете... Я никогда ничего такого не рассказывала... – будто даже обиженно протянула девочка...

- Подожди... Но мне же Софья... – забубнил священник. – Ну, не приснилось же ей...

- Я ей этого не говорила, – твердо и невинно стояла на своем Сашка. – Потому что ничего похожего у нас не происходило... Да, мама?

Катя кивнула, быстро сообразив, что девочка не хочет, чтобы на ее мать обрушились какие-то неведомые неприятности – и, в свою очередь, пожалала плечом:

- Понятия не имею, о чем идет речь... – и неожиданно легко рассмеялась, надеясь, что смех ее не звучит слишком уж искусственно: - А-а, мне все ясно... Позвольте вам объяснить... Тут есть один нюанс... Видите ли, моя дочка – непревзойденная фантазерка... У нее фантазии хватит на троих... Она вечно что-то выдумывает... Всегда что-нибудь приукрасит, добавит... Так, из интереса... Вот, наверное, и вчера не удержалась, когда говорила со сверстницей, да,

«Критическая масса» и другие повести...

Саша? Приплела что-нибудь, чего на самом деле не было – без всякого злого умысла, просто по привычке... А под протокол Саша лгать, конечно же, не будет: девочка она у нас сознательная... Ну, доченька, признавайся, так дело было?

Саша нервно облизала губы, и глаза быстро-быстро заморгали...

- Ну вот, вы и сами видите, – подытожила Катя...

Воздух в комнате сгустился, как перед грозой – но Катя уже знала, что девочка приняла твердое решение не рассказывать о ночном госте, о совершенно непонятном смятении матери, свидетельствовавшем о том, что ей было, что скрывать...

Протокол подписали, мужчины поднялись и стали холодно прощаться. У двери седой обернулся и глянул на девочку с видимым разочарованием:

- Эх, Сашка... А я-то о тебе лучше думал... Но и на том спасибо, – и строго посмотрел на Катю: – Ваш супруг будет вызван для допроса повесткой.

Она охнула, только в эту секунду сообразив, что то же самое, что сейчас спасло ее, может безвозвратно погубить Семена... Семена, достоверно изменявшего ей... Семена, все равно смертельно любимого...

Священник меж делом быстро отвел Сашеньку в сторону, нагнулся и зашептал ей:

- Зря ты... Надо было все рассказать... И этого шантажиста бы тоже поймали...

Девочка молчала, глядя в пол, и отец Даниил, слегка разозлившись на ее непредвиденное упрямство, неожиданно ляпнул нечто совсем лишнее:

- А может быть, ты знаешь, почему мама твоя так испугалась – и потому молчишь?

Сашенька вскинула глаза и глянула ему в лицо. Не в лицо, почувствовал он – в душу – и сказала тихо и твердо:

- Даже если бы моя мама у меня на глазах убила человека – я все равно бы никогда никому ничего не сказала. Потому что это – моя мама.

Он поднялся, исполненный непонятого уважения:

- Если вдруг тебе будет плохо... Или просто что-нибудь... Или вообще без повода – ты напиши Софье... Дала она тебе адрес?

Сашенька наклонила голову – и тотчас же послышался резкий голос ее матери:

- Я не позволяю в моем доме шептаться по углам неизвестно с кем! – к ней уже успел вернуться ее утраченный было специальный «медицинский» тон...

Наталья ВЕСЕЛОВА

Когда дверь за незваными гостями закрылась, сразу бесшумно распахнулась другая, с матовым стеклом – и в проеме показалась высокая и стройная фигура Семена Евгеньевича. Он был бледен так, как даже представить себе нельзя: Сашенька попятилась, нутром почуввав, что страшное, оказывается, еще не закончилось, как она было опрометчиво понадеялась. Он сделал несколько неверных шагов в сторону торопливо распахнувшей ему успокаивающие и ограждающие объятия матери и произнес незнакомым прерывистым голосом:

- Я говорил... Я предупреждал... Ты не можешь теперь сказать, что не знала... Кого пригрела на груди... Какую... Какую... Сначала – шпионила, а потом – донесла... Шпионила – и донесла... На меня... Меня!.. И ты теперь мне будешь говорить... Будешь... будешь... – и его затрясло с ног до головы.

На секунду он словно окостенел, а потом повалился плашмя навзничь, громко и жутко стукнувшись кудрявым затылком о паркет, секунду оставался неподвижным – и одним движением вдруг выгнулся дугой, едва касаясь пола головой и ступнями... Все тело его крупно задрожало и конвульсивно забилося, а рот сразу же выпустил целую волну розовой пены... Сашенька сползла по стенке и села на пол, не отводя расширившихся глаз от припадного, безобразно колотившегося на полу. Ее мать, кружившая над ним, как маленькая серенькая птичка, вдруг обернулась на дочь, и глаза ее показались девочке мертвыми:

- Ты... Ты... – произнесла она. – Убирайся вон... Я никогда... Слышишь, никогда не прощу тебе... И не знаю... Не знаю... Захочу ли вообще тебя когда-нибудь увидеть...

Эпилог Все счастливы

*А душа остается одна –
Навсегда, как всегда, как хотела...*

А.Маничев

Снова стоит лето, и все семейные катаклизмы позади. Екатерина Петровна и Семен Евгеньевич по-прежнему вместе. Он медленно выздоравливает после того невероятного потрясения, которое устроила ему приемная дочь жены. Шутка ли сказать – его допрашивали целых два раза! Счастье, что в присутствии врача – это правдами и неправдами обеспечила Катя, да и диагноз его, что ни говорите, а вызывает почтение. На первом допросе он упал в обморок и пролежал так сорок минут, а на втором с ним случился эпилептический

«Критическая масса» и другие повести...

припадок, до полусмерти напугавший молодую женщину-следователя. В самом деле, что он мог сказать? Он лишь обхватил голову руками и без конца мученически повторял: «Я ничего не знаю... Ничего не помню... Зачем вы все так меня терзаете?!». При эпилепсии случается и амнезия – кто ж спорит? В суд Евгения Семеновича не вызывали – потому что он надолго слег в больницу для бедных, в отдельную платную палату, в отделение, где работает верная и незаменимая Катя. Он пролежал целых три месяца – и вышел похудевшим на пятнадцать килограммов. Сейчас он дома – на усиленном высококалорийном питании, но с постели почти не встает. Дорого ему далась эта история. Правда, есть у него одна маленькая радость: несмотря на арест редактора и автора вступительной статьи, издательство его многострадальную книжку все-таки выпустило, и Катя привезла весь тираж на своей серой «десятке» домой. Что с ним делать – они решат позже, после выздоровления Семена Евгеньевича, а пока двадцать аккуратных пачек штабелем лежат в бывшей Сашкиной комнате. Катя счастлива: ее муж все простил, остался с ней – и это уже точно навсегда. Главное, она ему нужна, и теперь он уж никогда без нее не обойдется...

Зинаида Михайловна тоже счастлива по-своему. Во-первых, потому что не сидит в тюрьме – негодяй прокурор просил для нее аж целый год исправительной колонии за неосторожное убийство. Но доказать, что именно она толкнула мужа так, что он упал и раскроил себе череп, оказалось невозможным, поэтому сошлись на том, что он сам поскользнулся. А что она увезла и утопила его тело – то она сделала в состоянии временной невменяемости. Вообще не понимала, что делает. За такое врачебное заключение заплатить пришлось весьма недешево, но Зинаида Михайловна вполне могла себе это позволить, ведь она теперь богатая вдова. Год ей дали условно – и она по-прежнему ездит на своем огненно-красном «Пежо» и рассуждает о литературе с выдающимися авторами, чьи жены готовы выложить за это денежки.

Сашенька тоже счастлива: прежде всего, потому, что и она вышла из больницы, попав туда после того, как в интернате ей устроили «темную». Устроили за то, что она никак не могла привыкнуть делать все вместе со всеми и как все. Даже очередь к компьютеру, чтобы на нем поиграть, не занимала: неинтересно ей это было. Кроме того, она так и не смогла себя заставить, как ни в чем ни бывало, через слово вставлять в свою речь те самые выражения, которые мама раньше запрещала ей и слушать. Она все норовила сбежать то из спальни, где рассматривали порножурналы, то с игровой площадки, где курили и нюхали клей, накрывшись полиэтиленовым пакетом... Вот ее и проучили, чтоб особо не задавалась и не воображала, что

самая умная. Только войдя в раж и пиная ее ногами, перестарались: сломали два ребра и устроили сотрясение мозга. «Скорая» увезла девочку без сознания – и она долго провалялась в больнице в райцентре. Ужасно было – ни вздохнуть, ни заплакать: от первого в груди больно, от второго – в голове... Бабушка пообещала Сашеньке, что больше она в тот интернат не вернется, а будет ходить в деревенскую школу – правда, это три километра пешком через поля, но все же лучше, чем чтобы опять избили. Интернатских девчонок никто не ругал, сказали только: «Что делать, городских у нас не любят»... А вот мама ни разу не приехала, но это понятно: у нее теперь дядя Сеня – лежачий больной. По ее, Сашенькиной вине... Не лезла бы не в свое дело, не подглядывала, не подслушивала, не доносила на родителей в милицию... А так – сама виновата... Бабушка сказала, что теперь неизвестно, когда мама ее назад заберет. Да и год в школе пропустила: теперь ведь опять придется идти в пятый.

По маме Сашенька очень скучает и – что греха таить – частенько плачет по ночам: даже однажды сбежала в Петербург (на автобусе, по старой памяти), чтоб хоть издали ее увидеть. Но опоздала: мама уже ушла на работу, и сколько ни стояла Сашенька под мокрым козырьком противоположного подъезда – а так мамы и не увидела. А придет с работы ведь не раньше одиннадцати... Столько было не прождать, домой к бабушке тогда бы Сашенька вернуться не успела... И вот теперь, летом, она все ждет, что вдруг мама выкроит полдня и сама придет навестить – и ее, Сашеньку, и бабушку с дедушкой... Но мама не едет – наверное, Семену Евгеньевичу совсем плохо...

Целыми днями Сашенька ходит одна по окрестным болотистым лесам и унылым полям – но этим летом представляет рядом не каких-то глупых возлюбленных, а только маму, и неустанно ей все кругом показывает: видишь, это мое любимое дерево с дуплом, а здесь будь осторожней, не споткнись о корень... хочешь бутерброд? И мама отвечает, что очень ее любит и скоро заберет обратно – вот пусть только Семен Евгеньевич выздоровеет.

Еще Сашенька ждет, не вернется ли Незабудка. Бабушка с дедушкой рассказали, что, как только Сашеньку отправили в интернат, она убежала куда-то, и с тех пор ее не видели. Сашенька не знает, что бабушка солгала ей: на самом деле, Незабудку в первый же день растерзали насмерть местные коты – ведь она была кастрирована, не пахла ни котом, ни кошкой и, к тому же, возраста совсем преклонного... Непонятных чужаков не принимают не только люди, но и животные тоже. Сашеньку не захотели травмировать лишний раз: ребенок подождет-подождет – и забудет: у детей ведь память короткая... Пусть девочка будет счастлива.

«Критическая масса» и другие повести...

Сашенька недавно переписывалась с Софьей – так, понемножку. Переписывалась по-настоящему, на бумаге, ведь у той тоже нет компьютера. Софья ненавязчиво рассказывала ей все, что девочка могла понять, о православной вере и учила, как готовиться к исповеди и причастию. Она даже прислала ей заказным письмом тонюсенькую брошюрку под названием: «Исповедь отроковицы». Следовало честно ответить самой себе на все вопросы, задававшиеся там, – а потом рассказать обо всем священнику. «Не случалось ли тебе проводить время в пустых мечтаниях? – строго спрашивалось в книжке. – Не пренебрегала ли ты занятиями рукоделием и другим домашним трудом? Не читала ли каких-нибудь книг и журналов, кроме тех, которые давали тебе родители или учителя? Не думала ли чего-нибудь неподобающего о каком-либо юноше или мужчине? Не подслушивала ли чужих разговоров? Не подглядывала ли за людьми? Всегда ли рассказывала родителям о своих проказах? Не осуждала ли в мыслях поступков матери или отца? Всегда ли точно выполняла то, что они тебе говорили? Не лгала ли ты сверстникам или – еще хуже – взрослым? Не отлучалась ли из дома без их разрешения? Не считала ли себя в чем-то лучше других? Не стремилась ли к гордому уединению, избегая общества других девочек?» – и, отвечая на эти вопросы честно самой себе, Сашенька ощущала, что хуже ее нет на свете никого – ни отроковицы, ни отрока. Оттого и не поехала к отцу Даниилу на исповедь и причастие: слишком уж была уверена, что он и смотреть не станет на такую неисправимую грешницу – тем более, что об одном-то ее грехе он знал достоверно... Потому и Софье отвечать перестала – ведь она же святая, и, конечно, предположить не могла, с кем связалась...

Все свои надежды Сашенька теперь связывает с сентябрем – с новой школой в трех километрах ходу. Но это ей не страшно: она и так в день наматывает по округе не менее восьми. Она даже не уверена, что ей хотелось бы слишком скоро вернуться в Петербург: комната здесь, в деревне, ей гораздо больше нравится: она хотя и меньше в два раза, зато уютнее, а кровать какая мягкая! Все свои драгоценности Сашеньке удалось перевезти сюда – ну, почти все: Аэлиту и бусы розового жемчуга мама взять не позволила. Бабушка и дедушка с ней добры и справедливы – только дедушка теперь все болеет и кашляет, из-за занавески в просторной горнице, где стоит их с бабушкой огромная кровать, выходит редко – и уж больше не говорит афоризмов.

Отец Даниил, Софья и друг их Николай тоже счастливы: все они очень тесно дружат, а Николай, еще, вдобавок, прочит Софью за своего сына. Вот осенью исполнится ей восемнадцать – и сыграют, Бог даст, свадьбу. Николай о той девчонке Сашке вспоминает с не-

которой досадой: с гнильцой оказалась мелкая, показаний до конца правдивых дать не захотела – мамашу, пожалела, видите ли... А та... Тьфу, и думать не хочется: топить таких надо.

Софья девочку поначалу жалела – за интернат – «Пропадет там, забьют ее» – а теперь довольна: пусть растет, как Бог даст, может, постепенно и к церкви ее привести удастся. Когда Сашенька перестала отвечать, Софья написала ей еще раза два – но, так и не дождавшись ответа, писать бросила: с кем, в сущности, переписываться-то? Ведь она еще ребенок совсем, даже не подросток – в подруги не годится, да и своих дел хватает... Может, действительно, замуж пойти?

Ее отец дольше всех помнил Сашеньку и больше всех ее жалел, но он ведь чуть не единственный священник на район – то служба, то требы, то в епархии хвост накрутят... Пока до дому доберешься – не то, что письмо чужому ребенку писать, сил нет нагнуться и ботинки с ног стащить – Софья снимает... А надо бы, надо бы заняться – девочка-то непростая, с задатками, таких, случается, «Божьими» зовут... Ох, где сил-то взять, прости, Господи...

Сашенька гуляет с первого света до высокой луны, иногда забираясь чуть ли не в медвежьи чащи, без конца думает, корит себя и дает разные страшные клятвы – то кривому дереву над болотом, то мелькнувшему вдалеке испуганному лосю. Не подглядывать. Не подслушивать. Не фантазировать. Не влюбляться. И не врать. Главное, никогда не врать.

2009 г.
Букино



«Критическая масса» и другие повести...

ДРУГ МОЙ, КОТ...

*Роса войны багрова и густа
И оседает на телах погибших.
Смерть начинается с чистого листа
И сочетает бывших и не бывших.*

А. Маничев

*И, это видя, помни: нет цены
Свиданьям, дни которых сочтены.*

В. Шекспир, сонет 73,
перевод Б. Пастернака

Пролог Друг мой, кот,

знаешь, я умираю. Так просто: красное вспухло перед глазами, стало багровым и нестерпимо ярким на секунду, потом провально черным – и снова все четко и объемно. Кажется, еще более четко и объемно, чем раньше. Ну, правильно, так и должно быть после смерти. Ты шерсть свою не подпалишь: умный, близко к кострищу не подходишь. А я уже над ним и наблюдаю сверху – как и написано во всех книгах, которые мне пришлось прочитать про начало Посмертия. Я странным образом не боюсь, потому что меня никто пока не встречает и не прошла еще первая ошарашенность: ведь только повернулся ключ – и... Седой человек, что потешно мечется вокруг места очередного городского аутодафе, мне неинтересен, как и другой, лежащий теперь вниз своим так напугавшим меня в последний миг лицом: какая разница теперь, ведь все равно остановить *это* они не сумели... А ты, друг мой, вышел из подвала все-таки на секунду раньше, чем было сделано то, последнее движение. Может быть, ты тоже – знал и хотел спасти? Какое счастье, что удалось успеть тебя заметить и порадоваться – твоей чудной озабоченной морде. Прощай, настоящий преданный товарищ, больше не встретимся: мы на том рубеже, где пути человека и кота расходятся... Казалось бы – как не вовремя умирать, когда жизнь едва-едва собралась начаться... Но какое странное безразличие к ней, навсегда покидаемой! Жаль, конечно, что хотя бы не завтра утром. Нет, вот завтра утром как раз могло быть жаль – и как еще! Хорошо, что сегодня. Пусть так... А-а, вот и первые зеваки тянутся – конечно, даже ночью как пропустить

такой аттракцион... Господи, что это еще! Люди, да остановите же ее кто-нибудь! Девочка бежит... по парапету, сейчас упадет в Неву! Помогите! Ах, ну да, конечно же, теперь никто не услышит... А она ловко так бежит, даже не балансирует, хотя такая маленькая, лет шести, кажется... И коса летит, и платице... Боже, да это та самая... коса... и платице...

Все. Конец. Здесь не зажмуришься – хочешь не хочешь – смотри... Вот и встретили. Надо же, а еще нестрашно было... Зря.

Глава 1 Он терпеть не мог журналюг

и крупных женщин. А эта совмещала в себе и то, и другое. Зато он любил вьющиеся волосы по плечам и ясные серые глаза без примеси русалочьей зелени или подлой голубизны. Волосы и глаза именно того типа, какой ему нравился, журналистка тоже совмещала, поэтому, когда она вошла, сняла вязаную ажурными цветами шапочку, с уверенностью самовлюбленной женщины тряхнула волосами и с заученной открытостью глянула ему прямо в зрачки, Скульптор вздрогнул душой. В течение следующих полутора часов он так и не решил для себя, нравится ему эта случайная Гостья или нет, притягивает или отталкивает. Она будоражила. Не по-доброму, не солнечно, как бывает у светлых женщин, в которых раньше готов был одним залпом влюбляться, а как... Скульптор не мог подобрать сравнения... Вот, скажем, как чуть надорванная корочка запекшейся крови на разбитой и поджившей коленке: так сладко и больно ковырять ее, поддевать ногтем – но едва глубже подцепишь, потащишь вверх – и боль уже гнущая, невыносимая... И ведь знаешь это – а руки так и тянутся... Вот она какая была, эта Гостья... Противная, неуклюжая, с притворно-оптимистичным уханьем больно ударявшаяся мягким бедром обо все подряд острые углы, с неприятно-хищной, парадоксально не красивой, а уродовавшей ее улыбкой – и совсем неожиданно милая, с беззащитным взглядом светлых глаз фарфоровой немецкой куклы, с низким ласковым голосом, вдруг трогательно выдвигавшая скромную нижнюю губку у края кружки с кофе – чтобы сдуть с правой брови упрямую светлую кудрю.

Внештатная корреспондентка – фрилансер – как немедленно сама себя отрекомендовала (а его передернуло) толстого культурного журнала, Гостья пришла к Скульптору по просьбе его давнего приятеля и коллеги, о котором тоже в свое время напечатала довольно вразумительную статью на четырех полосах с вполне приемлемыми, даже похвально нестандартными фотографиями. Приятель похлопотал, чтоб и ему лишний раз засветиться в глянцевой прессе.

«Критическая масса» и другие повести...

«А почему внештатная? – усмехнулся тогда Скульптор. – На постоянную работу не берут за бездарностью? Или за гордостью? Дать, что ли, кому следует, брезгует?». Тот ответил, что не знает, но вроде, баба сама не хочет, типа, независимая слишком, а в деньгах особо не нуждается: муж содержит; да и детей двое – парни, им ведь тоже внимание требуется... В тот день Скульптор о ней впервые подумал – и с неудовольствием: раз журналистка, значит, Университет закончила, пять лет государство на нее деньги тратило, учило качественно и бесплатно; а она – порх замуж – и теперь не то домохозяйка через пень колоду, не то репортерка от случая к случаю; в результате – ни в семье порядка, ни обществу пользы... А она, небось, вся из себя «нестандартная», «творческая натура», никем не понятая, особенно мужем-кровопийцей... Тьфу. А сидела бы с самого начала на своем месте и не рыпалась с амбициями – так была бы хоть Жена и Мать. Вот именно так – с большой буквы. Как извечно от Бога положено... Вздохнул тогда и забыл, пока не позвонила и не напомнила про статью. Он как раз заканчивал памятник Стольпину – без формы лепил, набело руками мял терракоту – а заказчик отказался еще в самом начале и, косноязычно извинившись «Христа ради», трубку быстренько положил. Хорошо хоть аванс назад не потребовал, совесть не позволила. А работа уж захватила Скульптора, словно в снежную лавину попал – и не так даже работа, как личность изображаемого. Сколько перечитал про него, передумал – у самого душа изболелась. Не мог теперь «приостановить» работу, как предложили: для себя уж работал, не для денег. Пусть будет готов памятник, и, как только деньги, чтоб в бронзе отлить, всплывут откуда-нибудь... Никогда ведь не знаешь. Он и за труд не возьмет – лишь бы поставили где-то, чтоб люди смотрели и думали... Хоть бы чуть-чуть думали головами своими... Впрочем, в Петербурге ведь не поставят же его – чай, не Шемякин, дегенератов-микроцефалов не ваяет, чтоб в Петропавловке на позор выставлять. А в том городке, Ж-сранске каком-нибудь, где гипотетически и могут поставить – Христа ради опять же – там людям есть, о чем подумать, кроме как о Петре Аркадьевиче. Как сегодня не сдохнуть. Как сделать так, чтоб и завтра еще пожрать... Какая там «великая Россия», блин... Эх, невеселые мысли были у Скульптора в тот день, когда Гостья со своим диктофоном к нему пожаловала...

Он опять не мог разобраться – с удовольствием или неприязнью следит за тем, как она непринужденно двигается по мастерской, женственно наклоняется, чтобы что-то разглядеть, нежно прикасается к готовым скульптурам, глядя в их пустые глаза, как живым людям, словно ожидая ответного взгляда, инстинктивно материнским движением, не истребимым ни в какой женщине, гладит их гипсовые

Наталья ВЕСЕЛОВА

и глиняные головы... Но вот Гостя приблизилась к Петру Аркадьевичу – и Скульптор подумал, что не узнает в лицо, он не из круга интересов таких утонченных дамочек... Она пристально смотрела не менее трех минут – лицо-то он уже проработал до тонкостей, самому приятно было – и вдруг сразила нездешним, невместным каким-то суждением:

- Знаете, а ведь Рай, наверное, именно такими вот людьми полон. Настоящими, я имею в виду.

«Нет, она мне, конечно, скорее нравится, – быстро подумал Скульптор. – Не все с ней так просто, как сначала показалось...».

- Я, собственно, обычно в это время обедаю, - вдруг неизвестно зачем соврал он. – Может, составите компанию?

- Ну... давайте. Не откажусь. А вы что, сами готовите? – невозмутимо отозвалась она.

Скульптор улыбнулся едва приметно, четко угадав в последней ее фразе неизменное женское желание на всякий случай узнать у мужчины без обручального кольца, женат ли он или, по крайней мере, имеет ли постоянную женщину, которая, как бы там ни было, а голодным не бросит. Он атавистически подыграл ей – тоже на всякий случай:

- Приходится... Привыкаешь со временем, знаете ли... – и одним властным жестом остановил ее смутный порыв куда-то в сторону, вроде как на помощь ему, несчастному: – Нет-нет, я сам. Вы – Гостя, так что отдыхайте.

Она вновь показала ему свою жесткую полуулыбку, которую сама, вероятно, считала обаятельной, потому что задержала на лице:

- Какое там отдыхайте, я на работе, интервью беру, между прочим...

Скульптор мгновенно погас, мысленно хлопнув себя по лбу: «Чего это я? Какой еще обед? И какое интервью, кстати? На кой мне надо это все на старости лет? Тут с этой только начни – и не заметишь, как огребешь по полной...». Но пойти теперь пятками назад – например, махнуть рукой и бодро так сказать что-то вроде – мол, действительно, не хочу вас задерживать, обед в следующий раз, а теперь берите ваше интервью и дуйте отсюда, мы оба с вами люди занятые – как сделал бы на его месте тот же приятель, Скульптор не мог по причине своей знаменитой и вечно осмеиваемой знакомыми стеснительности в присутствии женщин моложе восьмидесяти. Уныло потрусил на кухню – сунул в микроволновку позавчерашние котлеты из готовых, плеснул на сковородку масла, быстро покрошил вареной картошки... На тарелочку еще можно по ложке зеленого горошка... На вид не хуже, чем в средней руки кафе, а на вкус... Съест, не принцесса. Он человек простой, тигровыми креветками не пита-

«Критическая масса» и другие повести...

ется, красной икры уже год не видел. Не от бедности, а из принципа: в стране народ миллионами мрет, а он тут будет перед капризными ранетками выпендриваться... Суп в кастрюльке – щи, совсем неплохие, между прочим. Сварил на куриных ножках, пену четверть часа снимал – брезглив потому что – капусты положил, лучку, моркови... Для густоты подсыпал рожков и ячки горстку. Ему в самый раз, а она уж пусть как хочет. Так, теперь хлеб нарезать, да без церемоний, не лепесточками... Поставил все на поднос и понес в комнату... Гостья подхватилась, с подноса все быстренько на стол переставила, на тарелки посмотрела – и лицо стало непроницаемым. Он про себя усмехнулся: думает, наверное: «Как, Господи, я все это есть сейчас буду?!». Вот так-то, а ты что, милочка, думала – я тебе сейчас омаров под белым соусом подам? Весело стало Скульптору: Гостья смотрелась теперь совершенной жертвой и вновь стала симпатичной, мило, но не особенно старательно скрывая растерянность, словно всем видом нарочно говоря: «Я, конечно, эдакой дряни отродясь не пробовала, но придется давиться, да еще и виду не показывать. Я слишком хорошо воспитана, чтобы обижать людей. Нужно вести себя просто, дружелюбно и естественно. Пакость эту съесть и похвалить. Но только так, чтобы он понял, гад, – нет, лучше не понял, а почувствовал – что я такое ем исключительно из великодушия...». Она решительно взялась за ложку, упорно играя роль снисходительной аристократки в гостях у непонятливого плебея – но тут ложка со звоном полетела на пол, а Гостья изумленно вскрикнула: к ней на колени беззвучно вскочил, как взлетел, матерый черный с белым кот по кличке Червонец.

Десять лет назад за такие деньги еще можно было купить бутылку дешевого пива, а черно-белый слепой котенок размером с некрупную мышь, допискивавший свое на заскорузлой ладони вылезшего рано утром на свет Божий хрестоматийного питерского бомжа, уже имел мало шансов дожить до полудня. «Червонец, мужик, а? – с надеждой прогугнил бомж. – Хороший кот, породистый...». В котолюбителях Скульптор себя особенно не числил, но тут вдруг вспомнил про Жену: она бы... Он быстро сунул в грязный кулак мужика зеленую десятку и, ладонями накрыв, бросился с котенком обратно домой, вдруг болезненно испугавшись, что тот умрет по дороге. Червонец не умер, продержавшись, вероятно, на кончике своей девятой жизни. Скульптор терпеливо вскаривал его две недели молоком из пипетки, пристроил в обувной коробке под самую батарею, а на ночь давал пососать кончик своего мизинца – и тогда, по-щенячьи поскуливая, малыш засыпал, для надежности обхватив его палец крошечными глянцево-черными лапками в белых «рукавичках». Еще белого в нем было – звездочка во лбу, как у теленка, да полоска вдоль

Наталья ВЕСЕЛОВА

животика, а так весь черный и совсем не пушистый, короткошерстный... Словом, Скульптор полюбил Червонца, и оказался для него главным Существом в мире, вроде божества, а Червонец стал ему другом, каким может быть только кот, в отличие от жалкой собаки, которая на самом деле не больше, чем раб...

Скульптор всегда думал, что среди животных, как и среди людей, бывают более и менее одаренные особи – дух Божий дышит и среди неразумных тварей, и до них милостиво снисходя. И если случаются среди котов гении, то Червонец оказался именно из таких. Скульптор часто ловил себя на мысли, что заговори его кот однажды человеческим голосом – и он бы не удивился, настолько красноречивым был всегда его умный взгляд, разнообразными интонации голоса, способного в одном дыхании измениться от самого низкого воркующего «мур-ра» до пронзительно-требовательного помойного рева. Он обладал тяжелой мужественной красотой крепко сбитого кряжистого парня, утонченными манерами покорителя сердец и безжалостной хваткой кошачьего хищника из африканской саванны. О том, чтобы такого красавца кастрировать, Скульптор и подумать не мог без холодной дрожи в собственном рудиментарном хвосте, а потому периодически, особенно по весне, когда тембр котовьего голоса изменялся особым, прекрасно известным каждому кошатнику образом, он иногда самолично отлавливал ему в подвале сговорчивую подругу и доставлял на дом, запирая парочку в ванной на целую долгую ночь. Утром он виновато кормил обесчещенную даму сухим кормом и отправлял восвояси под равнодушным взглядом пресытившегося товарища... Но Червонец все равно втайне тосковал об уютном рае и неусыпно караулил входную и балконную двери, откуда тянуло пряными ветрами запретной воли, и, как ни бдел над ним обожающий хозяин-друг, иногда – нечасто, раза два в год, не больше – исхитрялся вырваться на желанную свободу, сполна вкусить ее опасных радостей... Как ни искал его Скульптор, как ни надрывался странным криком «Червонец!!! Черво-онец! Где ты, стервец?!», пугая детей во дворах и прохожих на набережной, кот объявлялся строго через трое суток у подъезда, где честно и без тени виноватости поджидал исстрадавшегося хозяина. Они замечали друг друга издалека, и тогда происходила «мини-встреча на Эльбе»: каждый с радостным воем кидался к другому, и Скульптор распахивал объятия, куда с готовностью одним прыжком взмывал с земли мокрый, вонючий, блохастый, иногда порванный до крови, абсолютно счастливый Червонец, сразу начинавший истерически мурчать на всю округу, страстно целуя друга в лицо... Он вообще любил и умел целоваться и делал это с налету, от всей широты бесхитростного сердца.

Вот и сейчас, понаблюдав из укрытия за Гостьей, он выскочил

«Критическая масса» и другие повести...

знакомится с приглянувшейся женщиной, заявив о себе без всяких предварительных экивоков: просто и мягко вспрыгнул к ней на колени, не давая опомниться, обхватил за шею лапами и крепко поцеловал в напудренную и нарумяненную щеку: мол, вот он я, принимай, какой есть, ты мне нравишься! Да, конечно, в этом отношении проще быть котом, чем мужчиной... С посторонними людьми Червонец проделывал такое нечасто, блюдя строгий в этом отношении отбор, и отличался осторожностью в оценках: порой долго и пристрастно разглядывал гостя, обнюхивал с вежливого расстояния, прежде чем подставлял бархатную свою башку под осторожную человеческую руку. Влюблялся с первого взгляда, как сейчас, редко, но если уж такое с ним случалось, то взаимности требовал незамедлительной и адекватной. Скульптор испугался: сейчас она как завизжит – да за шкирку его и об стенку от неожиданности! Он подпрыгнул и метнулся на помощь обоим, умоляюще простирая руки и бормоча:

- Пшел, Червонец, чума такая!.. Вы извините, он у меня немножко... Но не кусается... То есть, не царапается... А ну-ка, иди сюда, невежа, сейчас я тебя по ушам! – наказывать, конечно, не собирался, но для виду изобразил негодование.

- Ах, нет! – вдруг почти пронзительно вскрикнула Гостья. – Позвольте ему еще у меня посидеть! Он ведь у вас – чудо! Какое же чудо! Слов нет!

Она на миг отстранила кота, любуясь, а потом вдруг тоже поцеловала – прямо в блаженную его шерстяную морду. И прижала к себе – без всякой ажитации, с искренним чувством.

«Котолюбительница...» - подумал Скульптор с той невольной симпатией, какая всегда охватывает человека, когда он сталкивается с другим, подверженным тем же нежным чувствам к подобным же существам, явлениям или занятиям.

- Вам никогда не казалось, – задумчиво лаская Червонца, проговорила вдруг она, – что лучший друг человека – вовсе не собака? Что в тех есть нечто уж слишком рабское... А вот кошки... Кошкина дружба дорогого стоит, вы так не думаете?

Он как раз именно так и думал, а Гостья в тот момент и не подозревала о том, что попросту мужика – добила, и все в ней, только что казавшееся неприятным, вдруг стало милым ему, причем, как-то именно через кошачью призму... Улыбка хищная – и что же? В ней есть что-то от львицы, а львица разве не хищник? Зато какой красивый! Крупная женщина, не хрупкая, хотя ему всю жизнь полуподростки нравились? Но разве красива тощая – кошка? Наоборот, нужно, чтобы она была гладкая, упитанная, лоснилась вся от довольства, лениво лежала, выкатив сытый бок... Вот точно как Гостья теперь с тяжелой грацией откинулась на спинку кресла, не выпуская

из округлых объятий притихшего кота – хоть лепи ее прямо сейчас... Вьющиеся светлые волосы неспешно текут вдоль шеи, роняя на нее по пути золотые завитки, падают на мягкие плечи... Странное дело – а ведь любви с полной женщиной он никогда не пробовал – как-то вдруг с самого начала вбил себе в голову, что сексапильны только худенькие, у которых можно все косточки перебрать, – и поехало... Его Жена до пенсии обладала фигуркой мальчика – собственно, даже не мальчика, а лосенка или там какого другого копытного детеныша... Волосы темные носила пышной гривкой, до острых ключиц... А вот насчет сексуальности... Хм... Гостья, конечно, в этом смысле другое дело: тут опытность сквозит во всех жестах, о которых она сама и не подозревает, что это уверенные жесты сексуально востребованной женщины, которая еще не остановила своего окончательного выбора на определенном самце и охотно, не торопясь, перебирает их, пробуя на зуб... Хотя странно, вроде муж у нее там какой-то, дети... А чего странного – брак, наверное, неудачный, живут только из-за детей, а на стороне оба простодушно погуливают: обычное дело – так что, может, и не против она была бы... Но эта треклятая разница, о которой в последние годы все чаще приходится вспоминать при знакомствах... Сколько ей? Лет сорок? Черт, вот это плохо – в дочери годится... Хотя, может, ей и зрелые мужики нравятся... Старый конь, как говорится, борозды не испортит: поговорка-то была придумана про это про самое... Скульптор бросил на Гостью быстрый пронзительный взгляд, исполненный уже настоящего мужского интереса.

- А вы с детства кошек любите? – вдруг спросила она, аккуратно отпихивая на коленях кота влево и берясь правой рукой за ложку, чтобы есть суп, не прогоняя влюбленного животного.

С детства...

На Крестовском острове вдоль Морского проспекта до самого начала двадцать первого века стояли блочные с деревянными внутренностями бараки, куда после Победы тесно селили вернувшихся из эвакуации ленинградцев, не нашедших на прежнем месте своих проглоченных войной домов. Вместе с ними Бог весть откуда возвращались в город и обаятельные кошки, чьи родственники были в блокаду подчистую съедены, напоминая по вкусу диетическую курятину. В бараках на Морском они сразу стали полноправными обитателями, исправно неся извечную службу по ловитве еще раньше вернувшихся серых грызунов и воспитанию быстро народившегося в сорок пятом человеческого молодняка. «Дитя Победы» назывался каждый зачатый в сорок четвертом ребенок. В сорок пятом родившись, мягких игрушек не видел он даже во сне и не подозревал об их существовании, зато представление обо всем шелковистом, теплом и ласковом выражалось для него в нежном слове «киса». Дети и коты

«Критическая масса» и другие повести...

в длинных и черных, как тоннели, коридорах жили вперемешку – и будущий Скульптор тогда еще раз и навсегда принял их глубоко в сердце – хотя собственного питомца не имел до пятидесяти с лишним лет, до Червонца, то есть...

В бараке номер двадцать родила его мама, которая, не эвакуировавшись из города и чудом вырвавшись из объятий «великомученицы Дистрофеи», всю блокаду служила в частях МПВО, куда была мобилизована начиная с сорок первого и где известная аббревиатура, в строгом смысле означавшая «Местная Противовоздушная Оборона», расшифровывалась несколько иначе. «Мы Пока Воевать Обождем!» – радовалась в первые месяцы войны молодежь, не угодившая на фронт, а вместо этого обязанная нести поначалу не слишком обременительные и малоопасные по сравнению с фронтом дежурства. «Милый, Помоги Вырваться Отсюда!» – так стали расшифровывать уже с конца октября... Маме Тане никто не помог – милого у нее еще не было – и она честно оттрубила все девятьсот дней, кошек к декабрю научилась свежевать и кушать за милую душу – пока их еще можно было отловить в городе, конечно... Все, кто шевелился, а не только МПВОшники, стали большими спецами по тушению зажигательных бомб и даже ухитрились породить бесхитростный анекдотец: «Меняю одну фугасную бомбу на две зажигательные в разных кварталах». Не мудрено: фугаска-пятисотка превращала семиэтажный дом в кучу пыли и щебня за пару секунд, в то время как зажигательные виртуозно тушились бдительными дежурными – пока те могли двигаться, конечно. Потом уже не всегда тушились, и над морозным городом все чаще и чаще вставали тусклые, медленные оранжевые зарева... Другая шутка – «Выходя из квартиры, не забудьте потушить зажигательную бомбу» скоро утратила актуальность: без крайней нужды – то есть, за хлебом и водой – уже старались дома не покидать, игнорируя даже бомбоубежища, где как раз, прошив дом насквозь, часто и разрывались фугасные бомбы (вовремя не обменянные на зажигательные, конечно)... «Превратим каждую колыбель в бомбоубежище!» – кинул кто-то в массы еще один народный лозунг... И превратили, и выжили. В дом, где жила мама Таня – тогда едва перешагнувшая порог совершеннолетия девчушка – в феврале угодила не пятисотка, а тонная. Завал никто даже не пытался разбирать – поэтому тел своих больных родителей она так никогда и не увидела, а в сорок четвертом, выйдя замуж за демобилизованного бойца и оказавшись с ним в комфортабельном по тем дням бараке, от вернувшейся из Свердловска бойкой плотно сбитой девушки-хохотушки услышала: «Блокадница, говоришь? Ой, не надо ля-ля! Все блокадники на Пискаревском кладбище лежат!». И не нашлась, что ответить. Танечка почувствовала себя виноватой

Наталья ВЕСЕЛОВА

в том, что выжила...

И в том, что муж у нее – инвалид войны, от которого осколок словно отгрыз сверху кусок наискось вместе с плечом и рукой – отгрыз и выплюнул остаток по причине крайней худосочности. Иначе, как «Огрызок», отца Скульптора в бараке и не звали – впрочем, недолго: только и хватило мужика, чтобы наскоро, без чистовой отделки, слепить молодой жене ребеночка. Воевал он на Ленинградском фронте, внутри кольца, потому так до госпиталя и не узнал, что ППЖ – это, вообще-то, Походно-Полевая Жена – там, за кольцом, на фронтах, где ели. А у них, где котелок «балтийской баланды», сваренной из четырех банок шрот – со шпротами не путать! – и горстки ржаной муки, делился на двадцать рядовых и сержантов, считали ребята вполне искренне: Прощай Половая Жизнь – вот как это переводится... Потому, кое-как залатанный, только сына сделал – горяча, не иначе, даже глянуть не дождался – и отошел. Туда, где и туловища у всех в целости, и конечностей полный комплект – и, говорят еще, плоды на деревьях растут очень вкусные. Питательные, главное, исключительно... Не какое-нибудь УДП – Усиленное Дополнительное Питание, а если точнее, то – Умрем Днем Позже...

Но некоторые не умирали вовсе – например, мамина школьная подружка Лариска. Уже в апреле сорок второго она с невинной гордостью рассказала Танечке, едва переступавшей по начавшему оттаивать Невскому своими жидкими ногами-тумбами, что в самом начале января ей удалось почти что на законном основании (первая доковыляла) обобрать безголовый труп молодой женщины: голову той срезало снарядом вчистую, причем так аккуратно, что алую кровь толчком выбросило куда-то в сторону, и она вовсе не попала на вытертую беличьей шубку, под которой на груди было спрятано главное достояние каждого ленинградца: карточки – две взрослые и две детские, с печеньем... «Умирать-то умирай – только карточки отдай!» – говорилось тогда уже безо всякого стеснения, и обыскивали не только достоверно мертвых – это делали всегда, ничуть не изводя себя никакими нравственными терзаниями, но и, случалось, просто ослабевших и еще, может, сколько-то и протянувших бы на своем недоеденном «попкэ»... Умная Лариска нашла в себе нечеловеческие силы полученные по чужим карточкам продукты не съедать тут же в голодной бессознательности – а экономить две трети, лишь поддерживая шаткие силы – и так обеспечить себе серьезный двойной паек почти до конца обморочного марта, когда нормы выдачи по собственным карточкам ощутимо поднялись – и можно было исподволь начать на что-то надеяться... До самого января сорок четвертого Татьяна растила в себе уверенность, что Ларискин страшный поступок обязательно будет свыше наказан: то ли подруга «угодит в

«Критическая масса» и другие повести...

траншею», попав под неожиданный артобстрел среди ясного июньского дня, то ли саму ее жестоко ограбят в начале месяца, и узнает она на собственной линялой шкуре, каково это – без карточек вовсе, то ли просто съест ее изнутри неизвестный, но безжалостный зверь по имени Совесть... Но ничего похожего! Принцип неотвратимости наказания не сработал: наоборот, устроившись летом санитаркой в госпиталь, подруга подкормилась там еще основательней, так что стала и в прямом, и в переносном смысле аппетитненькой девахой, да и суженого себе прямо на рабочем месте отыскала, расписавшись с бравым чубатым краснофлотцем, обратно на фронт после выздоровления не отправленным; до конца войны она ходила счастливая и румяная, а после Победы родила одного за другим двух здоровеньких бутузов. Те двое неизвестных детей, что в стремительно отдалявшемся во времени январе лишились с ее прямой помощью карточек, из своего Рая им тоже не отомстили: мальчишки Ларискины выросли без больших приключений и в свой срок тоже превратились в бравых чубатых краснофлотцев...

А еще рассказывала сыну мама Таня, двумя с войны еще желтыми пальцами удерживая беломорину, докуренную уже почти под корень, что табачок в городе был второй драгоценностью после хлеба, и что курить научались рано или поздно все – и взрослые, и дети. Иначе с ума сойдешь; а покуришь – вроде и мозги на место становятся; на время, конечно – а потом нужна следующая самокрутка... Самый лучший табачок, вспоминала она, двадцати семи лет отроду вовсе без зубов и почти без волос, был в папиросах, называемых любителями «Золотая осень», потому как делался он из сушеных листьев и тряпок – и ничего, курили за милую душу, а мерли – так не от этого... «Золотую осень» еще достать надо было ухитриться, вернее, шли на черном рынке несколько штук за полновесный дневной паёк, выродившийся в «попóк» в честь предгорисполкома Попкова, отнюдь не голодавшего...

«Но куда уж мне было папиросы курить – даже и «Осень» ту распроклятую... В МПВО мы только махорку и видели... Из чего ее делали – об этом, наверное и знать не надо. Одна особенно хороша была: «Стенолаз» называлась. Но та для мужиков больше. Ну, а мы свою звали «Матрас моей бабушки» – и точно, сразу на ум приходил... Только бабушек уже ни у кого не сохранилось. Или вот еще: «Сено, пропущенное через лошадь»... Как лошадь выглядит – уже едва и помнили...» – блокада въелась в маму Таню намертво, по ней она теперь навечно мерила все ценности – и пищевые, и моральные. Настолько крепко это в ней сидело, что нежданного благополучия она парадоксальным образом боялась. Уже младшим школьником, перед самой смертью Сталина, Скульптор услышал от матери в зна-

менитом на весь Крестовский «Круглом» магазине, где с потолка свисали пахучие копченые свиные окорока и разноцветные балыки, а на прилавке небрежно были поставлены рядом округлые латки с черной и красной икрой, не то ироничное, не то скорбное высказывание: «Ничего, ничего... Блокаду пережили – изобилие переживем...». После войны став учительницей английского языка и потом очень быстро – директором образцовой школы, она зарабатывала достаточно, чтобы не нуждаться ни в чем, но до конца дней своих в смысле питания придерживалась строгого аскетизма – из сложного чувства стыда и вины перед теми, кто не выжил. Те умерли с мечтой о ста граммах – не «фронтowych» водочных, а ленинградских опилково-хлебных, и потому до смерти почти невозможно было для мамы Тани положить банальный кусок «Докторской» на полновесный ломоть ничем не испорченного ржаного хлеба – все вспоминалась ей каша-«повáлиха» или знаменитый «Бадаевский продукт», то есть земля, пропитанная расплавленным сахаром, с которой только и нравственно, и правильно когда-то было для нее пить простой кипяток... Белый колотый рафинад пятидесятых-семидесятых считала мать неприемлемым развратом и в доме не держала, привив и сыну то же понятие о необходимости строгого бытия и ограничений почти что жестоких. «Нет ли корочки на полочке – не с чем соль доесть?» – часто шутила она в шестидесятом по утрам на кухне их уже новой квартиры-крошки в Дачном, и в результате на завтрак ели пшеничную кашу с черным хлебом, запивая чаем из ароматных трав, что было полезно и здорово, но скучно и уже совсем не своевременно...

Блокада так никогда и не отпустила его мать: уже пятидесятилетней дамой со вставными блестящими зубами и в седом парике она шла по улице, инстинктивно озираясь и прислушиваясь: то ли ожидала сигнала воздушной тревоги, то ли боялась ненароком споткнуться о «пеленашку» – вынесенный на улицу завернутый труп. Увидев детей, беспечно играющих в «Море волнуется раз...», неизменно сообщала сыну, что вот так же в блокаду на улице между артобстрелами ребята играли «В дистрофию» – те из них, которые еще до нее не доигрались. Грудные дети в колясках заставляли ее вспомнить о других – блокадных «крючках», скорченных все той же неизлечимой уродливой болезнью... Она никогда не выходила из метро на станции «Гостиный двор», потому что именно там, на углу Садовой и Невского, находился тот самый «Кровавый перекресток», где в начале августа сорок третьего года, преодолевшие две блокадные зимы, победившие голод и уже неподвластные ему, видевшие то, после чего страх уходит навсегда, одновременно были убиты снарядом сорок три успевших поверить в жизнь ленинградца. В невинной Кунсткамере мать обязательно замирала перед фигурой

«Критическая масса» и другие повести...

грозного папуаса с натянутым луком в коричневых руках и стрелой, предусмотрительно направленной в деревянную раму витрины: ведь именно эта стрела во время разрыва снаряда сорвалась с тетивы, улетела в сторону немцев – и весь Ленинград шутил: «Ну, теперь победа не за горами, раз уж и папуасы вступили в войну!». «Джоконда» для мамы Тани существовала только одна – блокадная, а именно – фотопортрет девочки-подростка с вымороченной полуулыбкой точь-в-точь, как на леонардовском полотне в Лувре, собравший в те дни перед собой толпу дистрофиков на художественной выставке... «Мона Лиза? – простодушно восклицала при случае мама Таня. – Ну как же, знаю, это Вера Тихова...».

На самом деле мама Таня не пережила блокаду, а умерла в ней – только душа ее лежала где-то на Пискаревском или, может, просто под ногами гуляющих в Московском парке Победы, а тело по странному недоразумению осталось мыкаться по ленинградской земле – понял однажды ее сын, когда уже стал Скульптором и делал дипломную работу в Академии Художеств – работу, которую назвал «Блокадная Мать», а лепил со своей собственной. Скульптором стать он решил еще в детстве на Крестовском, когда вдруг услышал от нее же легенду о неизвестном художнике: будто бы нашли в пустой квартире восковую медаль с текстом: «Жил в блокадном Ленинграде в 1941 – 1942 годах»... «А откуда видно что это – мать? – прицепилась дипломная комиссия. – Если мать – то при ней должен быть и ребенок, а у вас? У вас – просто мужественная изможденная блокадница, а мать там она или не мать – этого по работе не видно... – Это *моя* мать, - тихо ответил молодой человек. – Только меня в блокаду у нее еще не было...». И получил за диплом четверку. Еще счастьем показало, ведь сначала собирались поставить «три»...

Война и Скульптора зацепила за душу всерьез, поэтому первые десятилетия после Академии все лепил и лепил он из податливой терракоты то маленького трубача в последнем бою, то блокадную девочку с лошадиными коленками, то почтальоншу в беретике и с похоронкой в руках... Что с похоронкой, например, это зритель должен был сам догадаться, и что бой именно последний – тоже, и что девочка – не калека, а просто два года проголодала... А зрителем оказывался, прежде всего, советский худсовет. И из трубача норвил сделать пионера-горниста, из почтальонши – студентку, читающую жизнерадостные стихи, а у маленькой блокадницы требовал обтесать коленки... Ни на то, ни на другое, ни на третье Скульптор не шел по той же причине, по какой его мама не ела сахара, и в результате зарабатывал живые деньги только тошнотворной халтурой в пионерлагерях и детских санаториях, где приноровился по одним и тем же формам отливать беспроегрешных белых мальчиков в шор-

Наталья ВЕСЕЛОВА

тах и пилотках и редких девочек в теннисных платьицах... Издалека да среди зелени смотрелись такие веселые композиции прямо Летним садом – зато жить потом можно было полгода без напряжения... Скульптор ненавидел себя за это – если только не миф, что человек может действительно ненавидеть сам себя – до самой середины девяностых, когда оказалось вдруг, что можно получить богатый заказ, например, на величавую бронзовую Дашкову в корсете и с прической – и будет она стоять, радуя людей и собственного создателя, на гранитном постаменте прямо перед зданием местной администрации никому неизвестного тылового городка, где главой всем на счастье оказалась деловая красивая женщина, с детства выбравшая себе княгиню примером для вечного подражания... Так, кроме Дашковой, встали в торжественные позы или расселись по строгим креслам на малых площадках и в чахлах сквериках не самые спорные государи, особо на рожон не лезшие общественные деятели и один скромный композитор...

- Вам не скучно?! – спохватился вдруг Скульптор, вынырнув из глубокой зеленой воды воспоминаний и заметив, что Гостья с Червонцем в обнимку, давно уже тихо доевшая и суп, и котлету, сидит напротив него и смотрит ему в лицо насмешливо-ласковыми своими глазами. – Что же вы меня не остановили? Я тут, старый болван, рассентиментальничался...

Скульптор непредсказуемо смутился: чего это он перед ней, а? И про маму, и про войну... Ей-то какое до всего этого дело? Молодая ведь еще, да вдобавок, из этого, как его... потерянного поколения. Небось, сидит и думает: «Вот прорвало старпёра на мою голову!». Он рассердился на себя, а сурово глянул на нее и буркнул:

- Вам, может, еще кофе? – и на ее качание головой – строже: – Тогда уже давайте берите ваше интервью, а то и так Бог весть сколько времени у меня отняли.

Гостья едва заметно усмехнулась.

«Ну, конечно, – мысленно рассвирепел Скульптор. – Вот сейчас точно думает: интересно, кто у кого отнял? Но если вслух скажет – возьму за шкварник и, блин, за дверь выброшу... Подумаешь, цаца!».

Но она вдруг отозвалась по-прежнему ласково:

- Какое интервью, помилуйте! Лучше того, что вы мне только что дали, и быть не может... Я из этого такую статью... – и она, поднимаясь, забрала и спрятала в сумку плоскую серебристую коробочку, весь обед промерцавшую на столе и определенную Скульптором как какой-нибудь крутой современный мобильник, оказавшийся, выходит, диктофоном!

Он даже осип и смешался от возмущения и ужаса:

«Критическая масса» и другие повести...

- Нет, только не это... Это ведь совсем не то, что я... Подождите, я вам сейчас... Или нет, вот что: давайте просто бросим все это дело, а? У вас от других желающих отбоя не будет, а мне-то на что, строга говоря...

Гостья подняла на него именно тот женский взгляд, перед которым Скульптор всегда был беззащитен, как новорожденный котенок перед голодной вороной: это взгляд – покорный, чуть ли не отдающийся, и в то же время ненавязчиво торжествующий, нежно-победительный... Ее сливочного цвета рука с единственным крупным аметистовым перстнем и жемчужными ноготками робко легла ему на рукав:

- Ну, пожалуйста... Я ведь без вашего разрешения все равно ничего не напечатаю. Я вам принесу показать, когда будет готово; все обсудим, исправим, если надо... Не будьте... таким. Не обламывайте меня... – лукаво. – Я ведь уже загорелась вами, а вы...

Скульптор посмотрел на нее, стоявшую опасно близко, и понял, что на все согласен: эта ярко-синяя атласная блузка с мягкими рюшами вокруг довольно глубокого выреза теперь бросала холодный звездный отсвет на дымчато-серый раек ее глубоких и умных глаз, и он поймал себя на отчетливом желании вот прямо сейчас прикоснуться к ним губами... Он резко отстранился: только влюбиться ему сейчас и не хватало... А что... Запросто... Ему до семидесяти еще жить и жить – да и после... Нет уж, дудки, только не с этой. Сам ведь сразу понял: львица. А значит, искогтит всю душу, на лоскутки пустит, а потом и не оглянется. В таких случаях главное сразу – назначить непреодолимую дистанцию. Статью? Пожалуйста, мадам. Он не трус и не рохля, ваши нехитрые чары ему нипочем. Намеренно холодно бросил ей:

- Ну что ж, напишете – скиньте мне на ящик, я гляну в свободную минутку. А теперь извините, я человек занятой... Дорогу до метро найдете? Надо дворами выйти на Среднеохтинский...

- Спасибо, я за рулем, – улыбнулась Гостья. – В Петербурге родилась и выросла, так что уж не заблужусь...

- В Ленинграде: мы с вами не немцы, – жестко поправил Скульптор, не только немецким названием в ее устах уязвленный, но и ее еще раз доказанным феминизмом: машину водить – не женское дело, это и в двадцать первом веке любой нормальный мужик скажет.

- Но и не ленинцы, к счастью, – мягко огрызнулась она. – Так до встречи.

- Всего хорошего, – намеренно не сказал «До свидания», а про себя еще и добавил: «Нет уж, милочка, встречи с тобой мне больше не предстоит»...

Но к окну все-таки подошел – глянуть, за каким таким рулем

Наталья ВЕСЕЛОВА

она гордо обретаётся – и увидел, как журналистка выскочила из подъезда в тонкой отороченной светлым мехом курточке, да в машину – нырк! Что за шикарное авто – в льдистых февральских сумерках да с девятого этажа особо не разобрался: вроде, недорогая темненькая иномарка, «фольксваген» какой-нибудь, или престарелый «фордишка»... Прогривалась Гостья минут десять с выключенными фарами – и знай порулила себе в сторону набережной... Вздохнул Скульптор: скатертью дорожка...

Дом, в котором он вот уже тридцать лет обитал – сначала с семьей, а теперь один – давно известен был всему городу: именно сюда со всех его концов сосредоточенно стекались, как в паломничество, озабоченные невесты в отчаянных поисках свадебных нарядов, потому что в первом этаже располагался знаменитый магазин для новобрачных «Юбилейный», куда пускали только особых счастливиц по талонам, выдаваемым в советских подозрительных Загсах... Окна квартиры-мастерской, доставшейся Скульптору после долгой и дорогой череды обменов, обманов и взяток, откуда в свое время его Жена традиционно ушла «к маме», из принципа не отсудив ни метра и забрав лишь свои носильные вещи, – эти окна выходили большую часть в серый и пыльный охтинский двор, и лишь одно, кухонное, – глядело на мир из узкого торца дома, позволяя видеть справа далеко внизу тускло-серебряный днем и чернильный ночью кусок несговорчивой Невы.

Скульптор еще раз взгляделся в сумерки – и вздрогнул: недалеко от его машины снова появилась та самая светлая «Самара». Если б он ее только по своему двору знал – то и глазом бы не моргнул: понятно, что соседская... Но тут... Он помотал головой: бред, кому он нужен, полунищий старик, живущий можно сказать, на пенсию... Ну, не совсем, конечно, а все же не столько приносят его редкие заказы, чтобы кто-то следил за ним с целью ограбления... Ведь бьется он над податливой глиной не так ради денег, как ради того, чтоб не лишиться последнего самоуважения... Чушь это все... Не эта «Самара» стояла у «его» магазинчика, когда брал любимую «Краковскую» и пару пива, не она ждала – и умчалась, когда от заказчика расстроенный вышел... А все же, если еще покажется – надо номер запомнить, мало ли психов... и мало ли «Самар»... Махнул рукой: глупости, не хватало еще начать об этом всерьез думать! Но и не о Гостье же...

Выйдя из кухни, задержался в прихожей у помутневшего от времени зеркала и даже фыркнул: герой-любовник, надо же! Оттуда сонно пялился потасканный яйцеголовый тип с розоватыми от недосыпания буркалами, гладко пробритыми бульдожьими брылами и клочковатыми бровями, одутловато-бледный и вообще отвратитель-

«Критическая масса» и другие повести...

ный на вид... Скульптор с болью отвернулся, снова мысленно ругнув себя за давешние эксцентричные мысли о Гостье. Вот бы хохотала она, если б вдруг подглядела то мгновенное движение его души, когда ему на миг захотелось поцеловать ее! Идиот. Это ведь другое поколение – просто другое поколение, ничего больше. Его поздняя дочь не намного моложе Гостьи – и где она теперь? Правильно, вышла за еврея и уехала с ним в Америку, где и живет себе припеваючи... Его принципиальным ровесницам такое даже в кошмарных снах не снилось. А для дочери и для журналистки этой – ничего особенного... Впрочем, ведь мама Таня когда еще говорила: «Каждому поколению – своя блокада...».

Глава 2 **Бетховен пришел к Нельсону**

рано утром, хотя с давних пор знал (и неизменно удивлялся), что тот раньше полудня не встает. Хотя, строго говоря, зачем ему... Сам Бетховен с детства числил себя в «жаворонках», и это, как он тогда же и понял, обеспечивало ему немалые преимущества перед большинством населения, неспособным, выбравшись из постели по будильнику, ни запустить с места в карьер мыслительный процесс, ни совершать сколько-нибудь полезные действия – кроме необходимых физиологических... Было время – и он, лишь откинув одеяло, способен был сразу подскочить к инструменту – и пальцы сами летели, по клавишам, как бы выполняя радостный утренний ритуал приветствия... Давно и навсегда миновало то незабываемое время – уж двадцать четыре года, как он слышал последнюю музыкальную фразу – а именно, первое утреннее завывание муэдзина. Оно донеслось откуда-то снизу, из несказанно далекого, неведомого кишлака, и таким казалось надрывно-отвратительным, так душу скребло, как ржавый гвоздь... Чего только ни отдал бы теперь, чтобы услышать опять. Что-нибудь услышать. Кроме того, что доносилось через чуткую пуговицу продвинутого слухового аппарата, способного превратить для него чужой натужный крик только в едва слышный шепот – и на том спасибо ему, драгоценному... Правда, еще задолго до того, как престарелые родители, каждый забрав вперед по две пенсии и одолжив денег у всех, кто готов был не особенно надеяться на скорое возвращение долга, торжественно преподнесли ему на День рождения это чудо корейской техники, предназначенное для тех, кто уж и вовсе всем «Пням-Пень», Бетховен сумел научиться читать по губам и говорить, не слыша собственного голоса, не хуже любого глухого с рождения... Господи, лучше бы он таким родился! И не прожил бы на свете двадцать лет, наделенный слухом – цветным и объемным,

Наталья ВЕСЕЛОВА

стереоскопическим, как зрение иных странных животных... Он слышал так тонко и мучительно-счастливо, что, казалось, мог бы, если б захотел, и соловьиный концерт на десятки голосов записать нотами, и шелест ветра в ветвях рябины-ровесницы под окном, на общественном газоне – ровесницы потому, что отец взял – и самовольно посадил ее в день рождения сына...

Бетховена произвели на свет самые простые люди: папа его всю жизнь водил неуклюжий троллейбус двадцать четвертого маршрута, что шел от Московского Парка Победы до Троицкого собора, а мама трудилась рядовым бухгалтером в том же троллейбусном парке и имела три платья: два – коричневое с воротничком и синее на мысик – для работы, а третье – бордовое бархатное – для театра и гостей. Не от бедности – денег в семье хватало: отец получал неплохо, никогда не пил больше двух рюмок в праздник и других излишеств себе не позволял – но только мама не понимала искренне: а зачем еще другие платья-то? Ведь больше одного за раз на себя не наденешь! А менять их... только хлопоты одни... Необычайные музыкальные способности любимого сынка она заметила первая – услышав, как точно попадает он в мотив старинной песни, когда в Новый Год, выпив и закусив, как положено, затянули они за столом с подружкой любимую: «Окрасился месяц багрянцем...» – а мальчишечка-то вдруг давай подпевать – да чисто так! Голосишко слабенький, писклявый еще, как и подобает тощему четырехлетке, а мелодия – ну ты подумай! «Ты, Любка, это... Учителю музыкальному, какому ни есть, нашего пацана покажи... Может, он у нас будет этот, как его... Фамилия еще немецкая, а может, из евреев... Рихтер!» – решил тогда же призванный в качестве третейского судьи отец.

«Да какой там Рихтер! Если дело так и дальше пойдет, то Рихтера этого ваш мальчик скоро мелко видеть будет!» – постановила спустя две недели Елена Ивановна, учитель музыки в купчинской типовой школе, прослушав по просьбе знакомых стеснительного мальчонку с каштановой челкой и серьезными карими глазами. Она позволила ему позабавиться с выдавшим виды школьным фортепьяно, потеревить кремового цвета клавиши с мелкими трещинками, и, внимательно прислушавшись к извлеченным из черного облезлого брюха школьного «инструмента» звукам, предложила заниматься частным образом у нее дома, плату запросив неожиданно умеренную. Елена Ивановна оказалась честным человеком: на мамино удивление смехотворностью запрошенной суммы, ответила, не дрогнув: «Это для того, чтобы стоимость уроков не стала для вас решающим фактором. Музыкальных дебилов, чьи родители надеются сделать из них выдающихся исполнителей и платят по полной за мои ежедневные муки с их чадами, у меня достаточно. А ваш ребенок должен

«Критическая масса» и другие повести...

заниматься в любом случае – неважно, есть у вас деньги или нет. Закопать такой талант вы не имеете права – ни по какой причине. А раз случай или – называйте, как хотите – привел вас ко мне, то и я не могу отказываться. Не все за деньги в этом мире делается...».

Елена Ивановна не только поставила Бетховену руку, внедрила в его восприимчивую голову твердые теоретические знания, заложила основы будущей технической виртуозности, подготовила к поступлению в музыкальную школу при Консерватории. Она сумела заставить его самого словно прорасти в мир звуков – или, может быть, прорастить все самые прекрасные звуки мира в себе – а не просто научиться красиво извлекать их из коллекционного рояля от «Теодора Беттинга», унаследованного ею от чудом сохранивших его в революцию предков и любовно отреставрированного в новое время одним из штатных настройщиков Мариинки... «Мой рояль среди других роялей, – шутила она, – как скрипка Страдивари среди всех прочих...». Это еще не все – у нее, не имеющей даже традиционной кошки толстой и потной старой девы в роговых очках и с тощим кукишем на затылке, любимый инструмент был вместо родного существа, нуждающегося в ласке и заботе и страдающего в ее отсутствие... Может, действительно дело было в волшебном рояле – кто знает! И правда, вполне достойный «Красный Октябрь» из комиссии, на который, просоветовавшись на кухне всю ночь и к утру приняв жизненно важное решение, однажды разорились родители, не зачаровывал так своими звуками, не гудел так таинственно и нежно сумрачным духовитым нутром, не вызывал порой в сердце таких неодолимо подступающих рыданий... Музыка стала для Бетховена праздником и счастьем – а не предначертанной карьерой неизменного победителя скучных музыкальных конкурсов и юношеских никчемных олимпиад... Он бы, если б не довлекла предначертанность, может, даже и не сделал бы музыку своей профессией, смутно чувствуя, что получать деньги за то чувство гармонии и восторга, которое она ему давала – все равно что брать плату за близость с любимой женщиной или за долгую глубокую беседу с истинным другом... Но других путей, как будто и не виделось: иные области человеческих занятий, особенно те, что зиждились на точных науках или технике, вызывали у него явное и тошнотворное неприятие, доходя даже до проявлений его самого пугавшего идиотизма. Например, упражнения по алгебре и геометрии в школе, что в простоте своей были подвластны даже тем, кто давно и безнадежно болтался между двойкой и тройкой, никогда не поддавались Бетховену – с каким бы отчаяньем обреченного он ни кидался на штурм... Да и родителей так подкосить было невозможно: причины им ни при какой погоде не объяснишь – а ведь высшей гордостью и счастьем стал для них,

Наталья ВЕСЕЛОВА

простых трудовых людей, нежданно, будто с неба упавший к ним талантливый сын-музыкант, после школы сразу принятый в недоступную, как далекая зеленая звезда, Консерваторию по классу фортепьяно, сын, которому предстояло еще и еще раз подтвердить для всего мира ту загадочную истину, что – вот может же быть, ядрена вошь!

В самом начале второго курса его совершеннолетие скромно отпраздновали дома с сияющими родителями, новым другом-валторнистом и стеснительной, впервые приведенной в дом одноклассницей Наденькой, с которой Бетховен только утром первый раз поцеловался в своем подъезде и оттого был совершенно неприлично (все время приходилось украдкой поглядывать на ширинку) счастлив. А через неделю пришла повестка в парадоксально всеми позабытый и по той причине раньше в расчет не принятый военкомат. Мама сама ходила к декану – и получила полную и закономерную его поддержку: такого талантливого студента можно считать частью золотого фонда страны, и уж конечно отсрочку ему сейчас выхлопочут, а там... «Не надо, – неожиданно уперся несуществующим рогом безусый юноша. – Отслужу, как все. Не сахарный. Я комсомолец. Мой талант теперь никуда не денется. Но благодаря государству он развивался. Это оно меня бесплатно учило и воспитывало. Я ему обязан. И точка на том». Терпеть не мог, всеми силами души презирал Бетховен здоровых парней «кровь с молоком», объявляющих себя чуть ли не инвалидами, охотно записывающихся в сумасшедшие – и все для того, чтобы не послужить Отечеству, как всякий нормальный мужчина от века обязан. С души воротило, когда слышал их судье скуление: «Не всем же по окопам с автоматом бегать... Я, например, Родине послужу своим талантом...». Ага, Родине, как же... Себе ты послужишь, а не Родине. А служить – это значит, не как сам хочешь, а как долг требует. Тьфу, ур-роды...

А может, Бетховен и кривил душой: просто передышки малой захотелось: словно отступить от музыки на шаг – и подумать... И понять, что только она одна в жизни нужна. И еще, может, Наденька, если согласится, конечно. Когда он объявил ей о своем решении, Надя плакала безутешно но, видя непреклонность, смирилась, а в вечер прощания затряслась у него на груди: «Я буду ждать, буду... Ты верь в меня, милый, милый...». Они стояли, обнявшись, у окна в ее пустой квартире в потоке последнего питерского солнца, и Надя, не поднимая лица и обливаясь слезами, быстро-быстро зашептала ему в шею: «Хочу, чтоб ты стал у меня первым... И единственным... Сейчас... Прямо сейчас...» – но он заставил себя отстраниться, почти с силой выдравшись из ее цепких мокрых объятий: «Вернусь – и стану, – а про себя добавил: – По крайней мере, тогда будет ясно,

«Критическая масса» и другие повести...

насколько преданно ты меня ждала...» – а выйдя, замер вдруг на месте, вспомнив о своей мимоходной мыслёнке: ведь о любимых так не думают, наверное... И действительно, с Надей он больше так никогда и не увиделся. Без всяких угрызений совести тою же ночью в очередь с валторнистом в общаге оттрахал по самое не хочу сговорчивую разбитную брюнетку Евгению с музыковедческого, а поутру, провожаемый враз постаревшими и неожиданно маленькими родителями, трогательно жавшимися друг к другу на остром ветру, уже стоял среди других разномастных призывников во дворе районного военкомата. От паркетной службы в музыкальной роте Бетховен с возмущением отказался еще раньше, поэтому будущее его в те минуты было покрыто такою же тьмой, как у остальных испуганных парнишек как, собственно, это бывает всегда и у всех, и как должно быть по своей сути...

Несомненной казалась только музыка.

Тьма рассеялась окончательно спустя почти два года, когда он пришел в себя и не сразу смог открыть глаза: невероятная, ярко-красная боль рвала его голову словно хищным клювом, горизонтально распластанное тело терзала мучительная железная вибрация – но оттуда, из этой невыносимой красноты и тряски, не доносилось ни одного звука. Бетховен бесконечно долго открывал глаза, как Вий, боролся с каменными веками – пока, наконец, удалось приподнять их и удержать ненадолго... Тогда он понял, кто он сейчас: груз-триста в вонючей раскаленной вертушке, а рядом, безмолвный и неподвижный, лежит другой такой же «трехсотый». Мало того, за те несколько секунд, что смотрел в полумрак, Бетховен даже успел взглянуть светлый, почти что белый чуб, единственный дембельский чуб такого цвета в их взводе, с которым сразу ассоциировались ультрамариново-синие на тонком смуглом лице бедовые глазищи... Теперь он торчал в своей странно нетронутой, как снег на вершине горы, первозданности над багровой, без единого белого островка, коркой присохшего бинта, сплошь покрывавшей лицо его земляка-питерца, взятого в армию тоже со второго курса – но только из Академии Художеств. С ним Бетховену во взводе скорешиться не пришлось – даром, что зёмы, да как-то не приглянулись друг другу с самого начала – но и до неприязни не дошло: с симпатией вспомнилось вдруг, даже сквозь боль, как лихо, едва ли не одним замысловато-изгибистым движением, тот вдруг стряхивал с карандаша на листок чей-то точный и законченный образ в нескольких линиях... Особо запомнились добрый губастый урюк Узукбай, и норовистый горбоносый джигит Аслан, и пучеглазый мясистый бульбаш по прозвищу Картошка... И в духаны, когда выпадало, парень этот носился не за ходовыми видеокассетами с порнухой или блестящими тенями

Наталья ВЕСЕЛОВА

для капризной бабы из медсанчасти, а все норовил выпросить у духанщика особенные какие-то авторучки, рисовавшие, будто тушью, цветной и черной, да пачку бумаги, вроде альбомной... Тогда, в вертушке, художник не стонал и не двигался: то ли в глубокой отключке лежал, то ли смилосердствовался санинструктор, вкатил промедолу...

Теперь, двадцать четыре года спустя, обладатель все такого же светлого чуба, в котором, правда, может, и седины уж было больше, чем природного льняного цвета, вставал поздно, но Бетховену всегда бывал рад – даже спозаранку. Улыбнулся, открыв дверь – хотя улыбка его теперешний лик украсить, конечно, не могла. Бетховен думал как-то подготовить парня сначала – все ж не каждый день приходилось им вспоминать о том существе из давнего прошлого, которого звали они не иначе, как Мразем – вот именно так: в женском роде, но с мужским склонением. Но понял, что подготовить не получится: удивительная весть сама так и рвется наружу, да и кореш его, небось, не красная девка – в обморок не свалится. И, хотя, как и сам Бетховен, на весть эту он тоже никогда особо не надеялся, но все равно ревниво ждал ее втайне. Ждал с того самого дня.

- Он здесь, – сказал Бетховен. – Я нашел его, Нельсон.

«Тот самый день» для Нельсона был во времени не совсем тот, что у Бетховена, потому что в трясучей «вертушке» он так в себя и не пришел – это произошло на целую неделю позже, в ташкентском госпитале. Но суть от этого не менялась: в тех смутных нездешних областях, где обитают страховидные химеры очищенной ненависти и златоликие, но не менее опасные привидения вечной любви, времени, как известно, не существует. Тишина, внезапно навалившаяся на него еще там, под отвесной зеркальной скалой, неумолимо отразившей весь замедленный, как в кошмаре, полет короткого огненного змея, неспешно плывшего ему прямо в голову – от которого, тем не менее, совершенно невозможным оказалось увернуться, – та тишина ожила сначала голосом его жены Верочки. «Все хорошо... Все хорошо... Все хорошо...» – повторяла она с такой непререкаемой убедительностью, что Нельсон, поверивший сразу и безоговорочно, потом до самой середины нутра своего удивился – как это она ухитрилась, сидя у его койки и достоверно зная страшную истину во всей ее невероятности, врать так нежно и правдоподобно. Она, которая и в школе, не выучив урока, не могла ответить расвирепевшей училке традиционно-обиженным: «Я учи-ила...». В таких случаях Вера просто начинала беззвучно плакать, опустив голову, но даже самая невинная ложь не шла у нее с языка, уверенно застревая где-то на полпути. Их расписали сразу после выпускного вечера – двух

«Критическая масса» и другие повести...

влюбленных несовершеннолетних, за пять месяцев до этого неумело сделавших ребенка на узенькой кушетке в гостях у какой-то случайной подружки. Через неделю после свадьбы у молодой жены с не устоявшимися еще месячными и крайне субтильного телосложения приключился закономерный выкидыш – причем какая-то злорадная медицинская сволочь, без всякого наркоза вывернувшая наизнанку обливавшуюся густой коричневой кровью девчонку, не преминула сообщить ей прямо на столе пыток, что погибший плод был женского пола... В госпитале, куда она примчалась ночью прямо с самолета – бледная до зелени и с прыгающими губами – с ней тоже не церемонились, а без всяких околичностей сообщили, что ее двадцатилетнему мужу, студенту ленинградской Академии Художеств, а ныне рядовому СА, уже давно отпраздновавшему вместе с другими дембелями долгожданные «сто дней до приказа», слегка скользнула по верхней половине лица огнеметная струя, в результате чего упомянутой половины как таковой более не существует, как и правого глаза – целиком, а левого – на три четверти... Им обоим вместе – потому что в жизни с той минуты они больше не разлучались ни на день – предстояло вынести одиннадцать пластических операций на том, что когда-то было ее любимейшим лицом в мире, и семь – на остатке левого, раньше синего, как горное озеро, глаза, который лишь через четыре года начал различать свет и тень, еще через два – движущиеся силуэты, после этого совсем скоро расплывчатый мир немного окрасился – но на том улучшения закончились навсегда. Ни читать самостоятельно, ни рисовать ее лучшему в мире мужу больше никогда не пришлось...

Но в самый первый день *Праздника Возвращения Звуков* Верочка, припав к груди возлюбленного, только твердила, что счастлива тем, что он жив и они вместе, обещала, что огромную пухлую повязку скоро снимут навсегда («Ну, конечно, ожог придется немножко полечить, а может, даже и прооперировать – ну, да это пустяки...»); что с глазами тоже обойдется, ведь задело буквально только краешком («Ну, правый-то глазик похуже, зато доктор сказал, левый целенький, почти весь целенький...»); что они скоро поедут домой в Ленинград («И мама испечет «Наполеон-мокрый» – или, может, ты больше сухой хочешь, с таким белым-белым кремом?»).

Он почти успокоился и, сжимая ей тонкую кисть, спросил, благо хоть рот уцелел в неприкосновенности, о том, что сразу стало – главным: «Вер, не знаешь... Кроме меня... Еще кто-нибудь из взвода...» – и даже в непроницаемой темноте догадался, что она быстро-быстро закивала. Через час на его кровати сидел невидимый земляк-музыкант, хорошо запомнившийся по дням совместной тяжелой службы своей какой-то несевойной, смугловатой мужествен-

ной красотой – и тем, как, оскалив голливудские зубы на черном от копоти лице, он вдруг схватился обеими руками за уши и стал сползать спиной по зеркальной скале, а между пальцев с обеих сторон толчками выплескивались маленькие фонтанчики крови – и не удалось рвануться на помощь, потому что... Потому что больше ничего уже никогда не удалось... «Он не слышит... – шепотом, противоречащим смыслу слов, предупредила Вера. – Но по губам уже научился понимать немножечко... Если артикуляция четкая...». Так и скорешились глухой со слепым. Первый надсадно ревел, инстинктивно считая, что если удастся докричаться до себя самого, то и другие, верно, лучше услышат, а второй изо всех сил, до боли в губах, изображал, почти рисовал ими буквы и слоги: «Ну – ты – Бет – хо – вен – бля...» – и слышал в ответ словно рев реактивного самолета, от которого звенела палатная лампочка: «От Нельсона слышу!!!!!».

Хорошо было тому, настоящему Нельсону: его единственный глаз видел Божий мир отчетливо, и он, если б захотел, мог бы рисовать...

А этот Нельсон способности к рисованию унаследовал от отца. Тот никогда ничему такому целенаправленно не учился, считая умение красиво изображать на бумаге интересные предметы и явления чем-то лишним, мешающим важным мужским делам и годящимся лишь в невинное хобби. Во всяком случае, не заслуживающим того, чтобы становиться профессией настоящему мужику, предназначенному для глобальных мыслей и великих свершений. Другое дело, превратившись в директора солидного питерского завода, то есть, продемонстрировав миру свою доказанную состоятельность, потешить иногда таких же солидных друзей, собравшихся на праздник у его очага, молниеносным наброском, изображающим то летящую к солнцу лошадь, то растерянный парусник среди бури, то молодую любовницу приятеля, ступавшую в присутствии презрительно настроенных толстых чужих жен... И, разумеется, сделать вид, что к тебе не относится одобрителный гул, вызванный пущенным по рукам листком: «Толян, да ты талант! Жаль, в землю закопал!»

У матери Нельсона в работе ради хлеба насущного не было нужды, причем, даже такое скучное и малоинтересное занятие, как ведение хозяйства, жену обеспеченного человека на двадцать лет старше ее, обошло: это безраздельно поручалось приходящей домработнице – а бывшей ученице Вагановского училища осталось, по идее, только заниматься единственным сыном, любимцем и баловнем. Но ничего подобного: материнский инстинкт был развит у нее настолько слабо, что она едва интересовалась его школьными успехами, не всегда безупречный дневник подписывала, не глядя, а от сына откупалась нескончаемыми подарками и кондитерскими

«Критическая масса» и другие повести...

изысками. Мадам Марго было чем заняться в этой жизни. В отличие от своего непробиваемого мужа, она посвятила свое существование тому, чтобы разнообразные таланты, наоборот, не закапывать. Исключенная из Вагановки за крайнюю долговязость и отсутствие каких-либо дальнейших перспектив, она, тем не менее, завела в супружеской спальне балетный станок и по утрам делала бесконечные батманы, жестко считая вслух: «И-раз, и-два, и-три...» – и так до бесконечности. Решили в свое время ее интеллигентные родители, что коли уж из девочки не получилась великая балерина, то, может, музыка станет ее звездной судьбой. В результате, теперь в гостиной стоял огромный полированный рояль красного дерева, и мать бесконечно, до судорог в пальцах доводила до совершенства какой-нибудь упорно не поддающийся ее виртуозности прелюд – и, опять же, металлический ее голос долбил неизбежное: «И-раз... и-два...». Рядом с фортепьяно уверенно примостился дорогой импортный мольберт, на котором всегда торжественно присутствовал холст с незаконченной маминой фантазией маслом или пастелью: уроки живописи она брала уже сама, во вполне сознательном возрасте, дисциплинированно посещая какой-то левый хозрасчетный класс, где больше рассказывали о «течениях», чем пытались побудить учащихся хотя бы полуграмотно управляться с кистью. Но красивое свидетельство об окончании было честно выдано, что позволило Марго при каждом случае с полным правом вворачивать в разговор: «Вот мы, профессиональные художники...». Ее поставленными почти на серийное производство картинами, обрамленными в дорогие резные и золоченые рамы, было увешано все свободное пространство на стенах квартиры, исключая, пожалуй, только санузел, и многочисленные гости, бродившие в преддверье застолья с икрой и шампанским по этой вечной экспозиции, сдержанно хвалили и хромоногую лошадь с длинным туловищем, и аляписто-фиолетовый закат над неузнаваемой Невой, и некую многоугольную фигуру с неожиданно безумными глазами наискосок, определенную автором как «Портрет мужа художницы»...

Муж ничего – терпел, потому что самым парадоксальным образом любил свою восторженную идиотку с голубиным взглядом, неспособную ни на какие глубокие чувства ни к чему живому и вечно находящуюся в странном экстатическом надрыве по поводу собственной исключительной неповторимости... С молчаливого согласия мужа жена заказывала себе у жадной портнихи самые невероятные наряды с турнюрами, корсетами и кринолинами, изводя невероятное количество шелка, бархата, кружев и перьев, имея гардероб на вкус любой эпохи – не хуже любого эстрадного – и целую коллекцию немислимых шляп всех цветов и пород. Начисто лишен-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ная способности различать время и место, потребное для каждого туалета, она могла явиться в греческой тунике и высоких сандалиях, расшитых искусственными жемчужинами, или, наоборот, в бархатном платье «а ля Мария Стюарт» – на выставку гобеленов в Союзе художников советского времени и там самой стать центральным экспонатом для почти открыто вертящих пальцем у виска посетителей – но при этом искренне считая себя аристократкой, не снисходящей до презренной толпы «гомо советикус»...

Отец Нельсона сам-то дураком не был, и, случилось, приняв на грудь немалую стопку после утомительного рабочего дня, доверительно говорил на кухне повзрослевшему сыну: «Мозгов-то у матушки твоей – меньше, чем у голубицы... Да чего там – и ни рожи, ни задницы, прости, Господи... А ведь поди ж ты – как припаяла меня к себе, сучка такая...» – наливал еще одну и, махнув рукой, опрокидывал. Сам Нельсон маму любил – но будто не как маму, а как Жар-птицу, волей судьбы поселившуюся в доме, или очень красивую драгоценную вещь, к которой нельзя прикоснуться во избежание ущерба, а может, просто как Великую Загадку, не подлежащую разгадыванию никогда.

Когда он от нечего делать приглядывался к привычным картинам мамы, то иногда происходило удивительное: из глубины души поднималось чудесное, волнующее наитие – и через какой-то миг он точно знал, что именно жизненно необходимо привнести на конкретное полотно, чтобы оно превратилось из тусклого и пошлого пятна цветной грязи в одухотворенное произведение, радующее душу. Десяти лет отроду он однажды так и поступил: в одно из маминых многозначительных отсутствий, предназначенных доказать родным и подругам ее востребованность суровым внешним миром, Нельсон, встав на стул, снял со стены над буфетом убогую пастель, изображавшую мутную долину с неубедительными холмами на горизонте. За полчаса вдохновенного труда он насадил в долине поле алых маков, странные темные возвышенности превратил в благородные голубые горы, а на плоском бездушном небе прописал пару-тройку озаренных отсутствующим закатным солнцем облаков...

Отец вернулся раньше матери и застал отпрыска за работой. Нашкодивший отрок втянул голову в плечи, ожидая, что отцовская воспитующая длань вот-вот обрушится на его белокрысый стриженный затылок – но тот только сопел и хмыкал добрых пять минут и, наконец, никаких физических воздействий так и не применив, спросил озабоченно:

- Сам или срисовал откуда-нибудь?
- Сам, – обреченно уронил голову на грудь Нельсон.
- Так, – и отец вдруг грузным маятником прошелся по комнате;

«Критическая масса» и другие повести...

остановился и потребовал: – Еще есть что-нибудь? – и, в ответ на виноватый кивок: – Неси.

Сын принес папку и застыл перед отцом, глядя в пол и смертельно боясь, что папа сейчас взорвется своим знаменитым вулканическим гневом, обнаружив в наследнике – крепком спартанского воспитания парне – презренные девчоночьи склонности, и в несколько движений на ленточки пустит все рисунки из заветной папки, а потом как достанет из шкафа ремень... Отец рассматривал лист за листом, сохраняя на пухлом веснушчатом лице, которое никто, тем не менее, не рискнул бы назвать добрым или простодушным, выражение полнейшего бесстрастия. Ущерб никакого не нанес, и, вложив в папку последний рисунок, закрыл ее и крепко погладил мощными ладонями.

- Так, – повторил он неумолимо. – Так. По математике больше тройки у тебя уже и сейчас не бывает. Дальше станет только хуже. Потом начнется физика – и вообще кранты. Думал репетитора тебе брать. Ничего подобного. С осени пойдешь в СХШ. Там твое место. Не мне решать, хоть я и коммунист. Господу Богу. А Он уже решил. Чего стоишь? Забирай эти бумажки и дуй к себе в комнату...

Вечером мама заламывала руки и с пылающими щеками прижимала к груди коллекционный кружевной платок: «Как ты посмел?! Нет, ты мне скажи, как ты посмел?! Неумелой детской рукой! Прикоснуться к работе профессионала! Изуродовать одно из лучших произведений! Нет в тебе совести! Совсем нет совести! И нет высокого страха перед творениями искусства! И это – сын художницы! Боже! Боже! За что Ты меня так сурово наказываешь?!». Пожилой отец с ласковой снисходительностью поглядывал из-за развернутой «Правды» на свою молодую высокую и костлявую жену, принимавшую замечательно красивые балетные позы, и нежно бубнил, кривя суровый рот в не идущей ему улыбке: «Не бери близко к сердцу, Риточка... Не перенапрягайся, девочка моя...».

Она умерла от аппендицита, когда Нельсону только что исполнилось шестнадцать, умерла, собственно, не от болезни, а все от той же непроходимой глупости: несколько дней испытывая мучительную боль в животе, она упорно отказывалась показаться любому врачу, трагически восклицая: «Советская медицина! Ха-ха! Она опасна для жизни! Если не пройдет, я поеду в поликлинику для творческих работников и добьюсь приема у профессора! За меня вся моя жизнь в искусстве! Я не позволю калечить себя какому-нибудь недоучившемуся ветеринару!». Когда аппендикс, наконец, разорвало и гной вылился в беззащитную брюшину, эти бездушные «ветеринары» целую неделю бились за ее никчемную, то потухавшую, то обнадеживающе загоравшуюся жизнь, организовали отдельный се-

стринский пост у ее постели и перешептывались между собой: «Известная художница... Надо же... Такая молодая...» – но повлиять на роковое решение злодейки-Судьбы уже не смогли.

Отгоревав положенный срок, отец Нельсона не додумался красиво вдоветь всю оставшуюся жизнь, а благополучно женился на бесталанной, но доброжелательной и милой женщине – глубоко равнодушной к почти уже взрослому Нельсону, зато сразу вознамерившейся подарить своему немолодому мужу нового, более перспективного наследника. Нельсон не расстроился, так как и сам переехал в типовую двухкомнатную квартиру к любимой жене и простой, как мать-земля, теще, выдюжившей в качестве презренной «разведенки» с дочкой целых семнадцать непростых лет, все это время промечтав о надежном добром сыне, наконец, обретенным в лице неожиданного зятя. Решения в семье она принимала единолично, и после окончания детьми СХШ, скороспелой свадьбы и несостоявшегося прибавления семейства, постановила безоговорочно:

- Так, двоих студентов мне не потянуть. В Академию пойдет только один из вас. В семье главный – мужик, ему и нужно образование. Он будущий кормилец, а у нас – известно: без бумажки ты кашка. Поэтому ты, Верка, сейчас быстро на курсы какие-нибудь записывайся, чтоб через полгода – уже зарплата. Вдвоем его пока потянем: высшее получит – отработает. А насчет армии батя его через год договорится: как-никак, директор завода...

Но, если Верочка, влюбленная в юного мужа и, вдобавок, наделенная жертвенным характером, даже и не пыталась воспротивиться волюнтаристскому обращению матери с собственной совершенно иначе представляемой судьбой и немедленно отправилась обучаться на чертежницу, то отец Нельсона никаких указаний со стороны сватьи не потерпел – и через год грянул: «Какого черта? Мало было, что я тебя не гнул – позволил в мазилы податься, а не в мужики нормальные? На хилой шлюшке дал жениться, а не на девке порядочной? Так ты теперь требуешь, чтоб я и последней отцовской совести лишился? Хочешь кисточкой махать, чистоплюй? А за автомат пусть другие берутся, которые похуже? Сдур-рел совсем! Иди и служи Р-рдине – муки прими, если надо! Иначе ты мне не сын...».

Но, конечно, на те муки, которые сыну его в действительности выпали, отец сгоряча не рассчитывал. С другой стороны, он ведь не предполагал о существовании Мразя на этом свете – вот именно так, в женском роде, но в мужском склонении... Теща рассказывала потом, как отец ревел медведем и бился головой о мебель, катаясь по полу, когда узнал про огненную струю, что спалила от носа доверху лицо и почти дотла выжгла глаза – ярко-синие, в мать – у своего старшенького...

«Критическая масса» и другие повести...

Напрасно Бетховен боялся оглушить неожиданной вестью единственного друга: весть эта уже много лет жила в Нельсоне, еще не озвученная, как живет в теле женщины яйцеклетка, которой однажды предстоит быть – одной из тысяч других – оплодотворенной и превратиться в целый мир, неся в себе и жизнь, смерть, и бессмертие. Он верил, хотя и молчал, что Бетховен рано или поздно разыщет того, про которого они одни на всем равнодушном свете знали, что он, не дрогнув, небрежно послал на мучительную смерть пятьдесят человек – и ходит по земле счастливый и безнаказанный. «Однажды из-за горизонта выну, – только раз процедил сквозь зубы глухой слепому. – И к тебе приведу. И тогда мы его – казним».

Глава 3 Скульптор встретился с Гостьей снова

только через месяц. За это время он совершенно закончил Петра Аркадьевича, особенно долго провозившись с его плохо поддававшимися кистями – все хотел, чтоб были они точно такими, как и те, что давно истлели в Киевской земле – для чего увеличил множество фотографий, разглядывал их иногда в лупу, а потом, недовольный собой, вновь размачивал в мокрых компрессах уже вполне готовые, просохшие конечности – и в который раз переделывал, все больше злясь на самого себя. Скульптор знал, что, кроме него, ни одному человеку в мире не придет в голову разбираться в ширине ладоней и форме пальцев век назад почившего великого премьер-министра – а вот не мог с собой ничего поделывать: решил так – и баста. О Гостье он совсем – совсем! – совсем, черт побери!!! – не думал. Да пусть она провалится со своей статьей, корреспондентка хренова... Навязалась на его голову – ему что, заняться больше нечем? Лукавил, конечно: она не уходила – не из головы, потому что всякое мимолетное воспоминание о ней сразу выкорчевывал нещадно – а из сердца или чего-то другого, что еще глубже гнездится и ведаёт самым сокровенным. Не присутствуя в мыслях, она все равно *была* в нем – вот что странно! Так человек чувствует устремленный на него взгляд другого – которого в этот момент не видит и о нем не помышляет... Она позвонила сама, чтобы вежливо, с оттенком некоторой интимности, на которую, собственно, не имела ровно никакого права, сообщить ему, что статья готова и выслана, ждет его одобрения...

К компьютеру Скульптор бросился с жадным нетерпением – и там ждал его унизительный, лишний раз напомнивший о неумолимом возрасте, облом: он не смог даже открыть электронную почту, не то что уж разыскать там какое-то «письмо с прикреплен-

ным файлом» – Господи, откуда ж ему знать, что это такое! Почту полгода назад соорудил для Скульптора его четырнадцатилетний внук-американец, а вернее, юный и веселый безродный космополит, два раза в год привозимый своей русской матерью на историческую родину пощекотать нервы местной экзотикой. Обещал на эту сомнительную почту писать родному и любимому дедушке регулярные письма и высылать фотографии – на то Скульптор и купился, допустив внука до святая святых – своего верного компьютера выпуска конца прошлого века. На следующий день в доме появился анемичный молодой человек с чемоданчиком, протянул через всю стенку кабинета жирные белые провода – и выяснилось, что таким образом открыл мгновенный доступ в любую точку мира: подсоединил неведомый Интернет. Пальцы внука со скоростью сороконожки заматались по клавиатуре, и уже через минуту, как показалось шокированному Скульптору, он объявил: «Иди, деда, готово...». Процесс обучения длился примерно столько же:

- Во, смотри, деда: сюда жмешь, сюда, а потом сюда. Допер?

- П-подожди! – засуетился доперший ровно наполовину «деда». – Я лучше запишу...

Записал добросовестно, а бумажку потерял. Переписке завязаться было не суждено – дочь по телефону потом сказала, что внучок так ни одного письма написать и не сподобился – все собирался-собирался, да и забыл за ненужностью – а что ему... Почта не пригодилась – но Интернет так и остался, откусывая от бюджета ежемесячно скромную сумму, вычитавшуюся с пенсии автоматически вместе с коммунальными платежами... Пусть будет на всякий случай, решил Скульптор и выплату эту не аннулировал. Потому и пробился добрых часа три, пытаясь попасть в недостижимый почтовый ящик, все время нарываясь на странные письма и пугающие картинки – словно в дремучей тайге плутал среди дикого зверья в поисках волшебной зеленой поляны... Но так Гостьину статью и не нашел, в чем пришлось ей на следующий день по телефону сухо признаться – с оправдывающей оговоркой, правда: «Может, вы куда-нибудь не туда послали?».

Она пришла на следующий день – с головы до ног в красном. Червонец прознал про ее приход минут за десять и вдруг аккуратной черной статуэткой, обернувшись толстым хвостом, уселся прямо напротив двери, не спуская с нее янтарного гипнотизирующего взгляда. Скульптор неожиданно разозлился: эта тварь бессловесная словно вытаскивала наружу и бессовестно демонстрировала то, что хозяин сам от себя старательно скрывал – а именно, неодолимое желание встать у двери и слушать урчание медлительного лифта... В раздражении он не больно пихнул Червонца тапком в бок:

«Критическая масса» и другие повести...

- Пшел отсюда, черт черный, расселся на дороге!

- Умр-ру... – пригрозил кот, лишь немного отодвигаясь с пути.

Он вообще иногда разговаривал почти что по-людски: например, когда встречал в прихожей своего припозднившегося друга, неизменно кричал ему в лицо, элегантно танцуя на стиральной машине: «Ур-ра! Ур-ра! Жр-рать, жр-рать... Пор-ра!».

- Я сам тут сейчас умру! – гаркнул вдруг Скульптор в порыве бешенства и швырнул в озадаченное животное рекламным проспектом.

- Дурр-рак... – нежно отругнулся Червонец.

Хозяин поднял его, прижал к груди и прошептал:

- Конечно, дурак, – и в этот момент она позвонила в домофон.

Сняв с Гостьи теплую норковую куртку, Скульптор обнаружил под ней ярко-красное платье со смущающе глубоким вырезом, плотно облегающее все ее то ли отталкивающие, то ли соблазнительные выпуклости. У Жены, а потом и у Подруги их вообще не было, поэтому он и не знал, как к ним относиться. Гостья словно бы чувствовала себя у него как дома или пришла к близкому другу, причем этим близким другом, казалось, считала не его, а Червонца. Женщина подхватила кота и закружилась с ним по комнате, целуя в морду: «Милый ты мой! Друг ты мой, кот! Как же я рада тебя видеть!». А уж как кот-то был рад: он и обычно мурчал для хозяина очень громким мужественным басом, а тут, прижатый к ее полуобнаженной груди, аж загремел весь, пуская сопли и слюни от восторга.

- Осторожно, – ревниво предупредил Скульптор. – Он линяет. У вас сейчас все платье будет в черной шерсти... – и с хмурым злорадством добавил: – И у него острые когти, так что он вам его еще и порвет.

- Наплевать, – небрежно отозвалась она. – Мертвое платье или живой кот – что важнее?

Она именно так и сказала – «мертвое платье». А между тем, платье-то было совсем живое – струилось вдоль крутых бедер, волнилось вокруг полных коленей... Он опять подумал: «Лепить бы...». Гостья остановилась и посмотрела на него, прижавшись щекой к котовой голове. Он невольно приблизился – такое у нее в этот миг было светлое лицо. И прямой, спокойный и доверчивый взгляд. Интересная, конечно, женщина – и не только в смысле внешности: там, внутри, за этими ясными глазами, угадывалось так много всего, причем такого близкого... Скульптор едва заметно потряс головой:

- Компьютер тут вот... Я уже включил его... – пробормотал он. – У вас статья – на дискете?

Гостья глянула с неподдельным изумлением:

- На какой еще дискете? Их давно уже не бывает. Только диски

Наталья ВЕСЕЛОВА

лазерные. Но нам они зачем? Я со своей почтой вам сейчас скачаю.

Он вообще потерялся – можно сказать, и до тайги еще не доедя: с дисками, ладно, понятно, это блестящие такие, он знает – а вот насчет почты...

- Да, но ведь здесь же – *моя* почта? В моем компьютере – *моя* почта, так ведь? – он уже догадывался, что порет, вероятно, какой-нибудь фантастический бред, и готов был провалиться на месте – в нижнюю квартиру к вечно нетрезвым маргиналам.

Вот сейчас она презрительно расхохочется, обзовет ископаемым или еще кем-нибудь в этом роде, а потом снисходительно сообщит что-то продвинуто-интернетное, чтоб уж и вовсе его размазать... Да пошла она... Он заранее ошестинился, готовый к отпору.

- Да нет же, – осторожно поставив Червонца на стул, Гостья поделовому уселась за компьютер, и руки ее (он заметил, что перстень на этот раз другой, гранатовый, кажется) залетали по клавиатуре не хуже, чем у внука. – Все легче гораздо, – и принялась серьезно и просто, без всякого превосходства пояснять: – Почта находится не в конкретном компьютере, а в таком воображаемом – виртуальном – ящике. Попасть туда можно из любой точки мира, хоть из Австралии. Надо только знать пароль... Вот видите, здесь выскочило: чужой компьютер? Для меня это так – ведь он же ваш – поэтому ставлю галочку и пароль теперь буду вводить вручную... А если б дома у меня, то само бы открылось – только и всего... Теперь смотрите...

Но Скульптор уже не слушал, что она говорит – до него доходил не смысл ее слов, а непостижимый *надсмысл*: она, определенно, была, как он определял таких женщин – *из его питомника*. Вот Жена не была оттуда. Подруга – только хотелось, чтобы была... А Гостья...

- И вот я вам ее выложила на рабочий стол, теперь закрываю Интернет, и – пожалуйста: вордовский документ, называется «Статья», чтоб вам было сразу видно... Сами умеете открывать? – между тем бойко и ровно говорила она.

Скульптор облегченно закивал:

- Да-а! Это-то я умею! Конечно, конечно, умею... – только это он и умел по компьютерной части, если по-честному, но не обо всем же ей докладывать...

Закинув руки за голову, Гостья деликатно потянулась, словно после трудной работы, и глянула на Скульптора смутно-вопросительно. Он подхватился: «Ну, конечно, кофе теперь пить положено – и болван же я, в самом деле!».

За ночь небо затянуло, а к утру началась оттепель. Когда они одновременно ненадолго замолчали, Скульптор отчетливо услышал, как по подоконнику дробно стучат ледяные капли – и сразу предста-

«Критическая масса» и другие повести...

вилось, как там, за шторой, уныло просыпается огромный, холодный и мокрый город. Там отвратительное мартовское утро с колючей серой кашей под ногами первых прохожих – бедного рабочего люда, тоскливо тянущегося со всех сторон по Охте к всепожирающему метро. Впервые за последние семь лет Скульптор чувствовал себя безмятежно-счастливым. Он и его Гостья сидели, почти касаясь друг друга коленями, за маленьким кухонным столиком и давно уже не пили кофе, потому что он кончился около четырех часов утра, а потом они еще доели последние сосиски с хлебом, по очереди выдавливая на них горчицу из тюбика, а уж под самый рассвет закусили подсохшим сыром – и оба были очень довольны своей бивуачной трапезой. Скульптор уже считал Гостью совершенной красавицей в русском стиле, к тому же, наделенной изрядным обаянием – качествами, обычно взаимоисключающими, но, при редком соединении, дающими сокрушительный эффект гремучей смеси. Разумеется, он находил в ней редкий неадамский ум в сочетании с победительной женственностью – и уже не смущался до полной багровости и не бормотал несуразное в ее присутствии, как это случилось в самом начале разговора, когда он вдруг решился разрядить обстановку и рассказать ей к случаю подвернувшийся бородастый «компьютерный» анекдот. Под ее доброжелательным взглядом, таившим в самой-самой глубине крошечный, но острый огонек насмешки, он вдруг снова заблудился в трех соснах. Анекдот был самый простенький: приносят, дескать, «новому русскому» в офис подписывать счет на заказанную технику; он читает: «Компьютер – семьсот евро, монитор – пятьсот евро, мышь – пятнадцать евро, коврик для мыши – два евро...»; он с возмущением отодвигает счет и выговаривает менеджеру: «Может, вы еще и тапочки для тараканов закупите?». Но Скульптор почему-то сначала запутался в ценах, потом вдруг сделал в самой середине непонятное лирическое отступление на тему «отчего мужик не разбирался в компьютерах», и, наконец, попутно потеряв и едва отловив обратно нить повествования, с трудом, краснея и потея, выгреб на уже совсем несмешную концовку... Он с ужасом ожидал, что сейчас повиснет неловкое молчание – но Гостья сердечно расхохоталась, из глаз ее побежали веселые теплые лучики – и Скульптору легко и хорошо стало на сердце. Он догадался, конечно, что она наделена врожденной деликатностью – и не захотела толкнуть падающего – многие женщины на ее месте сделали бы это с мстительным удовольствием – а предпочла ненавязчиво протянуть руку помощи, спасла шаткое положение, заслужив тем самым его уважительную благодарность. Его сердце инстинктивно потянулось навстречу ей – ее глубоким глазам, низкому серьезному голосу, всему ее тяжелому ленивому телу... Он никогда не обнимал

крупную женщину, и сейчас ему представилось вдруг – как спокойно и радостно могло быть, если бы... Он даже отодвинулся слегка от греха подальше, но от ненавязчивых чар ее уйти не удалось: его прорвало на откровенность. Опять, как в прошлый раз, понесло в детство – и припомнилось сразу, как однажды, упав на школьном паркете от подлой подножки, он сломал себе руку в двух местах – и ему вправляли смещение без всякого наркоза. Маленький и одинокий, он кричал и рвался из рук почти лежавших на нем двух могучих милосердных сестер, которые и тогда были не юнцами, а теперь уж наверняка померли; но бесстрашный средних лет врач – ныне точно уже покойник – не обращая никакого внимания на вопли страдальца, долго пытал его, как в гестапо, потом отстранялся, критически оценивал результат и, покачав головой, вновь приступал к истерзанной, тонкой, как ветка, руке, желая, вероятно, довести свою работу до совершенства... Ужас тех нескончаемых минут не покидал Скульптора всю жизнь, иногда преследуя на рубеже сна и яви, а вот рассказал Гостье, увидел в ответ искреннее, так и рвавшееся наружу сочувствие, и вдруг с изумлением понял: все, отпустило. Навсегда. Она тоже рассказала ему о себе, вернее, о двух своих мальчишках-школьниках, разнойцовых двойняшках, его внуку ровесниках, что, как во все века водилось, не слушаются матери, грубят и своевольничают, из школы носят двойки, а из двора – синяки, а ее опять на неделе вызывают к директору... Ничего особенного не говорила – а Скульптор внимал ее речам, как дельфийскому оракулу, потом сорвался с места и принес старый плюшевый альбом, куда еще мама Таня подклеила всю его детско-юношескую нехитрую историйку... Гостья долго смотрела на групповую фотографию 1963 года, где, лет за семь до ее рождения, сфотографировали его с новыми товарищами, новоиспеченными рядовыми Советской Армии, сразу после принятия Присяги. Сказала очень печально:

- Скажите, а почему... Когда я вижу всяких там солдатиков... Или матросиков... В форме, с оружием, гордых таких, красивых... Почему мне всегда так их жалко, а? Почему плакать хочется?

Он рискнул прикоснуться к ее плечу – так, вскользь, без всяких намеков:

- Может, это оттого, что у вас – сыновья? Были бы дочери – возможно, вы бы так не реагировали? – и почувствовал, что Гостья отчетливо вздрогнула под его рукой; на всякий случай он убрал ее подальше.

Чтоб утешить – осторожно вынул из альбома небольшую серую фотокарточку: его молодая мать, закрывая собой выкушенную осколком часть отцовского тела, стояла рядом с ним в белом беретике на фоне родного барака на Морском – и это было их единствен-

«Критическая масса» и другие повести...

ным совместным изображением. Еще одно фото отца сохранилось только в его комсомольском билете – и все...

- Дайте... На время... – жадно схватила Гостья снимок. – Я отсканирую и помещу среди других иллюстраций к статье! Вы, когда прочтете – увидите, я там и про детство ваше немножко... Как кстати! Надо же!

Отказать ей он уже не смел и, внутренне трепеща, кивнул:

- Только смотрите... Это ведь драгоценность... Вы понимаете...

На мгновение она сжала его руку:

- Можете не говорить...

Рука на руке лежала долю секунды, но Скульптор сразу же понял, что это быстрое и теплое дружеское пожатие забыть ему придется нескоро. Он теперь полностью доверял ей – настолько, что поделился очередным своим недоумением:

- Знаете, что я вам хочу сказать? За мной кто-то с месяц уже следит, как мне кажется... «Сейчас она решит, что я параноик», – нехотая прошла совсем не безумная мысль.

Гостья посмотрела без всякого недоверия:

- Что, правда, что ли? Вы уверены? Смотрите, сейчас действительно всякое случается: не забывайте, где живем. Почему вы так считаете?

Он постарался рассказать потолковее:

- Видите ли, повадилась тут машина одна – «Самара» серебристая такая, самая затрапезная. Я сначала не обращал особого внимания – мало ли во дворе машин, да и меняют их люди теперь часто. Дом у нас большой, как видите, рядом другие, так что ничего необычного. Потом замечать стал – черт возьми, она мне слишком часто на глаза попадается! Выхожу из магазина – стоит. К заказчику подъезжаю – смотрю, и она паркуется поблизости. Номер посмотрел, думал, похоже просто машины – ничего подобного: одна и та же. Как в кошмаре: где я из моей «Нивы» выйду – там сразу и «Самара» неподалеку, хоть ты что делай... Думаете, я спятил?

- Водителя рассмотрели? – деловито спросила она.

- А как же! – гордо сообщил Скульптор. – Раз, из машины выйдя, я не по своим делам пошел, а прямо к нему: ну, думаю, посмотрим, как ты завертишься, дружок! Подошел, нагнулся – и прямо в рожу ему глянул. Он, правда, отвернулся сразу, аж вниз нырнул, но я успел разглядеть: лет за сорок, чернявый такой, крупный...

- Господи, кавказец, что ли?! – ахнула Гостья.

- Нет, славянин, это факт – я ведь профессионально такие вещи ловлю – ну, там форма черепа, глаз, носа... Русский он, просто темный. Но вот что: я его никогда в жизни раньше не видел! Никогда!

Наталья ВЕСЕЛОВА

Это у меня тоже профессиональное – я бы запомнил! Не знаю его, вот в чем штука! Что ему от меня понадобилось, а? Думал к участковому сходить, пусть бы хоть по номеру эту машину проверили, да стыдно как-то... Кому за мной следить? Что у меня брать? Работы? Да кому они нужны... Их и в подарок-то не всегда принимают – ставить некуда... Деньги? Да я пенсионер вообще-то, концы с концами только заказами свожу – редкими и нерегулярными... Зачем меня пасти? Квартира? Так она на дочь и внука давно отписана, это проверить легко... Скажут про себя – мол, сбрендил старикашка, вежливо выпроводят – и все дела... А может, действительно, сбрендил? – Скульптор глянул на Гостью почти беспомощно.

Она улыбнулась – и улыбка теперь была ласковая; с чего это в прошлый раз она ему хищной показалась?

- Что не сбрендили это точно, но могли ошибиться, – сказала мягко. – Поскольку особые причины за вами охотиться действительно, как будто, отсутствуют (хотя кто знает), то и прямой опасности нет, скорей всего. Вы все же понаблюдайте еще. Убедитесь – ищите концы в милиции, без знакомства не ходите, засмеют. Если что – я буду вашим свидетелем. Заявлю, что вы мне жаловались уже, что я тоже эту машину видела. Интересно, здесь она сейчас, «Самара» эта ваша? – и Гостя потянулась рукой к шторе, желая выглянуть в окно.

Отодвинула – и ахнула на хлынувший ей в ночное еще лицо отчетливый белый свет:

- Боже мой, это что – утро уже?! Господи! Я думала, не больше полнотчи!

Он глянул во двор:

- Нет ее сейчас. Хорошо мы с вами посидели... Не было б только теперь у вас дома неприятностей... – и глянул исподлобья: знал ведь досконально, что у нее там не только распрекрасные двойняшки, но и папа их во всей красе – тоже; ревность заворочалась в нем и приоткрыла свой мутный глаз.

- А-а, – женщина презрительно махнула рукой. – Думают, я у родителей ночью, это не впервые... И отлично: дети сейчас уйдут в школу, а... – она запнулась и впервые заметно смутилась.

«...муж на работу», – мысленно досказал за нее Скульптор, жестоко укушенный вполне проснувшейся ревностью.

- ...а я приеду домой, завалюсь в постель и без помех высплюсь, – вывернулась Гостя, как ни в чем ни бывало.

Он поднялся, не глядя на нее: все очарование минувшей ночи враз померкло от ее маленькой, но такой значительной недоговорки.

- Да, – произнес упавшим голосом, – конечно. Конечно, вам надо собираться...

Он опять смотрел, грустно припав лбом к жесткой оконной

«Критическая масса» и другие повести...

раме, как внизу ее скромный «оппель-кадет» (теперь он это знал точно) осторожно маневрировал среди невежливо припаркованных в самых неожиданных местах, еще не разбуженных, покрытых быстро тающим инеем машин, и думал, что она-то, может, и выспится этим утром всласть, но ему заснуть уж точно быстро не придется...

За одну ночь лед на доступном взгляду куске Невы приметно почернел: весна все-таки пробивалась и к Питеру из своего бесконечного далека. Сколько еще таких весен ему предстоит увидеть? Десять... При хорошем раскладе – пятнадцать... Двадцать – это уже из области фантастики... А ей? Все сорок, если без рака обойдется... Он был рад, когда зазвонил телефон.

В такую рань мог возжелать немедленного общения только один человек на свете – тот, кто давно мог позволить себе пренебречь условностями. Жена. Они расстались, не разведясь официально, одиннадцать лет назад, из них вовсе не общались пять, а потом, столкнувшись нос к носу на очередном идиотическом вернисаже, заговорили, как давние друзья – и так продолжалось до самого последнего времени. Темой долгих спокойных бесед всегда была покинутая их не сильно им любимая дочь, равнодушный американский внук, ничуть не утолявший потребности в ее «бабушкинских» чувствах, потом ее же внезапный, с удивлением встреченный диабет и уже его вечно на ровном месте бунтующая печень. Иногда он Жену обрывал, иногда выслушивал – смотря, как карта выпадала. На этот раз склонен был подчиниться равномерному журчанию ее звонкого, невзирая на шестьдесят пять лет, голоса – и прилег с трубкой на диван, изредка в нее для порядка угукая, – а перед глазами все вставало чудное открытое лицо в обрамлении светлых мягких локонов, мерещился яркий и смелый – не пресловуто «свеженький», как любила Жена! – аромат явно дорогих и непременно французских духов... Они все равно должны хоть раз еще встретиться: фотографию-то она ему обязательно придет возвращать! И вдруг какое-то пролетевшее мимо и не пойманное вовремя слово Жены заставило его прислушаться к тому, что она говорила:

- ...почему и нет? Ты не волнуйся, я ведь давно все простила – теперь лишь бы Бог тебя простил. Мы же старики с тобой уже, в сущности, нас эти отношения... всякие там... больше не волнуют. Ну и давай тогда попробуем. Что терять? И так уже все потеряли, что можно... Старость-то одинокими встречать... Сам понимаешь... Мы же не чужие с тобой, столько лет прожили. Как ты считаешь? Эй, ты что – заснул там, что ли? Ответь что-нибудь, я что, зря полчаса распиналась?

Только тут до Скульптора дошло понимание простого факта, что эта честная и щедрая женщина предлагает ему сойтись с ней

Наталья ВЕСЕЛОВА

снова, чтобы жить и умереть вместе. Предлагает вкупе со своим прощением, которого вслух до сих пор никогда не произносила. Предлагает свою заботу и дружбу, взамен прося лишь одного: не покидать ее больше одну. Предлагает то, о чем он уже исподволь задумывался, не решаясь только первым заговорить о будущем, помня о своем пожизненном «непрощенном» состоянии. Предлагает сама... Но сегодняшним утром, с этим светлым лицом перед глазами – выглядя полным кретином, да им, по всей видимости, и будучи, он в ответ мог только промямлить, как мальчишка, застигнутый за воровством яблочко в чужом саду:

- Я... не знаю... Слушай, как-то все... неожиданно...

Жена на расстоянии чувствовала его всегда. Он ее – тоже. Поэтому тот вид молчания, которое сразу же установилось на том конце провода, он безошибочно определил как предгрозовое. Миг – и все громы и молнии обрушились ему на голову:

- Ах, во-от оно что... Следовало мне и раньше догадаться... Эти... – издевательски, –от-но-ше-ния... не интересуют только меня. А ты и сейчас еще не нагулялся. И ждет тебя гусарская смерть когданибудь... На очередной... – деликатное воспитание не позволило ей уточнить, на ком именно. – Что, права я? Отвечай немедленно! – хорошо знакомый звон близких слез отдался ему в голову.

«Хм. Благодарю покорно. Снова твое нежное сердце носить в трепетных ладонях – это уж извини, милая...».

- Да, – злорадно сознался он, тихонько бурля восторгом. – В моей жизни, кажется, действительно... Во всяком случае, я не готов сейчас обсуждать эту тему...

- Угу, – уже вполне стервозно отозвалась она. – Понимаю. Давай дальше, скажи на белом единороге. Только в зеркало на себя чаще поглядывай, – и трубка часто и оскорблено запищала.

Червонец, мирно проспавший всю ночь на стуле по соседству с Гостьей, проснулся только теперь и мягко прыгнул хозяину на живот, сразу прижавшись щекой к его груди, как удовлетворенная женщина.

- Да знаю я прекрасно, что там в зеркале... Видел сто раз... – горько прошептал Скульптор, теребя котовьи прохладные острые уши. – Права она. Опять права. Из этих она – вечно правых... Потому и сбежал от нее, иначе подход бы... Вот так-то, друг мой... кот.

Жена Скульптора в молодости была идеальна: недостатки в ней словно и не предусматривались. Все, что она когда-либо говорила или делала, а может, даже думала, никогда не подлежало пересмотру, потому что было правильным на полновесные сто процентов – и не согласиться с этим не представлялось возможности. Можно

«Критическая масса» и другие повести...

было только считать себя ничтожеством. Ее нравственная высота, небывалая тонкость чувств и восприятий, гибкость типично женского, с юности мудрого ума, хрупкая дымчатая краса скудельного сосуда – все это вместе возводило ее на хрустальный пьедестал обожания. Неизменно дружелюбная, открытая, ласковая, ни минуты не сидевшая без дела и не терпевшая никаких праздных занятий и разговоров, она могла быть и вежливо-твердой, когда дело касалось принципов – а их она имела немало, и все они были безупречны. Работая в школе учителем начальных классов и нежно любя своих многочисленных «деток», Жена уже с обеда появлялась дома, чтобы нести вторую любимую вахту – у семейного очага, где ее заботами царил сверхъестественный уют и порядок. Она относилась к семье, как к великому служению, подходя творчески к каждой, на первой взгляд, рутинной обязанности, проявляла таланты незаурядного художника и дизайнера – и все это незаметно, никогда не выставляя напоказ и не напрашиваясь на похвалу. Потому что художник в доме был один – ее муж Скульптор. Она же, латая порванную им дорожную рубашку или маскируя невыводимое пятно на новом платье дочки, с нестандартным вкусом вышивала на пострадавшем месте замысловатый вензель или авторскую розу – и все признавали, что вещь после починки стала не как новая, а гораздо красивее. Но Жена относилась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, ни разу никто не слышал от нее вполне бы подошедшего к случаю: «Посмотрите, как у меня получилось! Здорово, да?». Но она ничего такого не говорила, поэтому Скульптор просто молча надевал починенную рубашку – ему и в голову не приходило, что на свете бывает иначе – а дочь, наутро хватая обновленное платье, быстро влезала в него, выдыхала: «Прелесть!» – и летучий чмок в щеку становился для Жены главной наградой.

Скульптор взял ее уже практически старой девой и с тех пор долго и мучительно любил. Любил, как часть самого себя. Хоть и были они почти ровесники, любил, как маленькую девочку, осторожно перебирал ночью хрупкие косточки под ночной рубашкой, целовал острые позвонки на куриной шейке, зарывался лицом в пушистые, травами пахнувшие волосы... Она с готовностью отзывалась на ласку – но ласкалась только как трогательный ребенок или грациозная кошечка – но не как страстная женщина. Первые годы он не торопил события, боясь оскорбить ее проявлениями открытой мужской похоти, зная, что у каждой женщины – свой срок пробуждения. Он даже находил поначалу умилительным этот ее неизменный холодок, ее прохладное смирение в минуты ярких взрывов его страсти, ему даже где-то нравилась сомнительная игра, где он неизменно являлся скверным животным, а она оставалась вечно добродетель-

ной и чистой, как хрусталь, полудевственницей. Перелом в его отношении вызвала она сама, когда однажды, в те неконтролируемые пронзительные секунды, которые так скоротечны, но так хочется продлить их хотя бы на полмига, вдруг с ледяным раздражением отстранилась от мужа и страдальчески пробормотала: «Ну, скоро уже?! Сколько можно...» – лучше б она в него выстрелила... Он оставил ее в ту же секунду – и в течение последующих двух дней смотреть в ее сторону и разговаривать с ней не мог. Самое поразительное, что Жена обиделась: в ее голову просто не помещалось понимание того, как страшно ранила, предала она своего мужа в наискровеннейший момент...

Потом отлегло, конечно – и настал черед научно-популярной литературы. Скульптор перечитал уйму целомудренных советских брошюрок, посвященных «гигиене брака», пытаясь найти там рекомендации ученых медиков по вытравливанию холодности из любимой женщины. Везде писали, что нужно «проявлять терпение и нежную настойчивость» – Скульптор только усмехался: однажды, когда на пятом году семейной жизни он осмелился после часовых изнуряющее невинных ласк осторожно поцеловать Жену в маленький шелковый животик, она напряглась так, словно он грозил ее зарезать, а когда с рекомендованной «нежной настойчивостью» опустил губами на два сантиметра ниже – она взвилась с супружеского ложа, попутно заехав ему острой коленкой по лицу, и стоя в глухой ночной рубашке на безопасном расстоянии, закрыла горящее лицо ладонями. «Что ты делаешь... Что ты делаешь... Что ты делаешь...» – в самом настоящем ужасе шептала она в угол. Тут Скульптору впервые захотелось ее хорошенько треснуть... Он этого не сделал, но предложил пойти к врачу – должны же быть, черт возьми, и в Советском Союзе какие-нибудь специалисты! «Но я же тебе никогда не отказываю... – прошептала Жена, все так же не поворачиваясь. – Тебе не в чем меня упрекнуть...». Так оно и было: она никогда не прикидывалась смертельно усталой, если муж начинал недвусмысленно тыкаться ей головой в плечо, не жаловалась на внезапную головную, зубную или пяточную боль – нет. Она покорно поворачивалась к нему и закрывала глаза. Она была уверена, что дело жены, находясь на одинокой чистой вершине, – «снисходить» до мужа, «уступать» ему и «допускать до себя», чтобы не вынудить ненароком на какие-нибудь левые похождения. От чего ей лечиться? От собственного целомудрия?

С той ночи Скульптор на святость Жены больше не посягал, а любовь постепенно превратилась в жалость. Она по-прежнему оставалась для него самым близким и родным человеком, советчицей и другом все больше устающей души, но только настоящая, взаимно радостная близость может стать фундаментом будущей неразрывно-

«Критическая масса» и другие повести...

сти, когда, познав друг друга до самого доньшка, можно уже и отказать от прискучивших совокуплений, выполнивших полностью свое назначение... Но необходимого этого фундамента они так и не заложили – и семья их потихоньку оседала и крошилась, как дом, не имеющий прочного основания...

«Налево» он, конечно, ходил не раз и не два, и даже не десять. Ни к кому не привязывался, увлекался легко, еще легче – расставался, а Жена никогда ни о чем не спрашивала. Он приписывал это ее закономерному попустительству: семья в сохранности, выходные и отпуск – вместе, гости-друзья – общие, дочка при родителях... Так бы, может, и устоялось, если б однажды не появилась в его жизни Подруга.

Чтобы серьезно влюбиться в женщину, Скульптору необходимо было ее сначала зауважать. Случилось ему встретить у знакомых красивую, как валькирия, художницу, работавшую почти только маслом, причем сурово, по-мужски подвижничая. Пейзажи, например, она писала исключительно с натуры, никогда не позволяя себе халтурить с фотографиями или легкими набросками, и, в прямом смысле пополам согнувшись под здоровенным этюдником и рюкзаком, непреклонно и без малейших жалоб взбиралась едва ли не по альпинистским тропам, чтобы поймать и написать горный рассвет или найти и увековечить поляну загадочных эдельвейсов. В девяносто третьем она оказалась с оружием в руках в рядах защитников Белого Дома, была потом зверски, почти до инвалидности, избита и, возможно, изнасилована победителями – но не посвятила остаток жизни бесплодному саможалению и зализыванию ран, а к лету закончила огромное, шесть на четыре, многофигурное полотно под названием «Победа», где, не убоившись возможных репрессивных последствий, изобразила расстрел истерзанных спецназовцами женщин – с ликующей толпой освобожденного от чести и совести уже не советского народа на заднем плане...

Преклоняясь перед женственностью, Скульптор ненавидел дамскость – и этого порока в своей валькирии не видел. Он любил ее маленькие жесткие руки без следов маникюра, потрескавшиеся от скипидара; знал, что она может, при случае, запустить лихим матерком в обидчика и не побрезгует стаканом самогона, если предложит друг; любовался блестящими, цвета теплой соломы, волосами, доходящими до копчика; в страсти она кричала, не закрывая глаз, и невидящие зрачки ее расширялись, совершенно похищая обычно прозрачно-голубой раек; и столько желанной ласки непринужденно, как имела право только жена, Подруга дарила ему даже мимолетно, что он все больше и больше уверялся с каждым днем: да вот же она. Все так просто: вот она – навсегда.

Наталья ВЕСЕЛОВА

Пока он решался на объяснение с Женой – «Давно посторонние... годы спим в разных комнатах... дочь выросла и уехала... чего ради... можем обрести счастье с другими...» – добрые люди, как водится, его опередили, и разговор начала Жена. Такого оборота событий он предположить не мог даже в кошмаре.

– Какой позор... Господи, какой же позор... – страшным шепотом повторяла она, вперив остановившийся взгляд непосредственно в кафельную стенку на кухне. – И ты мог – ты... Какая низость... С блондинкой-профурсеткой... Боже мой... Боже мой... Изменять мне... Гнусно, тайно... И с кем? Да что же это творится... Какая грязь! Как же теперь жить... И это – ты, ты...

Скульптор совершенно растерялся. Чего это она несет? Какие еще измены, если он двадцать лет к ней не прикасался? Ну, почти двадцать... Не могла же она рассчитывать... Он пристально глянул ей в лицо и понял: могла и рассчитывала; более того, была уверена в его лебединой верности. Ему стало жутко: ну и дела...

– Я думала – у нас семья, – продолжала между тем Жена, все так же стеклянно глядя в пространство. – Я думала – я могу на тебя опереться!

– И правильно думала! – горячо воскликнул он, цепляясь за соломинку. – Всегда могла и всегда сможешь! Но тут ведь другое, Господи, ну пойми же ты! Ты мне друг, единомышленник, опора! Ну не получилась у нас семья! Не вытанцевалась! Разные мы, не подходим друг другу! Разные, понимаешь? Ну что теперь – врагами становиться?

– А с той – одинаковые? – угрожающе тихо спросила она.

Он задумался, внимательно оглядел ее – непредставимо тонкую в коричневой водолазке и узких джинсах, красивую даже в слезах до умопомрачения – и такую навсегда потерянную... И вдруг сказал Жене то, чего еще не говорил Подруге:

– Нет. Но я ее, кажется... люблю...

– Потому и изменил мне? – слабым голосом спросила она – и тут началось форменное безобразие.

Внезапная холодная злость подбросила Скульптора с места, он схватил и вывернул, едва не сломав в один прием, хрупкую, словно птичью, лапку – и отшвырнул Жену к стенке с посудными полками, тотчас отзывчиво посыпавшими на пол звонкие цветные чашки.

– Сука!!! – заревел он. – Ты что думаешь – я тебе тут двадцать лет монахом жил?! Что баб не имел, сколько мне надо было?! «Дорогой, я тебе никогда не отказывала...». Да лучше б ты меня по морде била – хоть честнее!!! Хватит, хватит, сыт я по горло твоей добродетелью! Я люблю женщину – грешную, чувственную, человеческую – нормальную-ю!!! Ну, давай, ударь меня, прояви ты хоть напоследок

«Критическая масса» и другие повести...

какую-нибудь страсть!!!

- Довольно, – Жена глянула на него с искренней брезгливостью – как на раздавленного червяка – и тихо двинулась в сторону двери. – На этом у нас с тобой всё.

И уж будьте уверены, как она сказала – так и сделала: перешла в дом своего детства и пропала из его жизни на целых пять лет – но там, *наверху*, поношение непорочной весталки не прошло незамеченным. Безнаказанным его решили не оставлять – и, дав лишь несколько лет походить на длинной привязи по изумрудному лугу и слегка откормиться, отправили на только чуть отодвинутый во времени убой. Валькирия не изменяла Скульптору тайком: для этого она была слишком благородным человеком – поэтому, когда полюбила другого, так и объявила, без лишних мерехлюндий – и ушла, не оглядываясь, не давая липовых обещаний дальнейшей, все равно никогда не возможной в таких случаях дружбы.

Лет через семь приятель открыл для Скульптора ее сайт у себя на компьютере – и с первой же страницы глянуло совершенно незнакомое, вширь раздавшееся грубое лицо много и нехорошо пожившей старообразной женщины, обрамленное стриженными жесткими патлами неопределенного цвета; разглядел он и узловатые трудовые руки с короткими твердыми ногтями – и что он тут целовал когда-то в таком безумии, скажите на милость... Он не стал рассматривать ее новые работы, не заинтересовался заманчивыми, вероятно, «предложениями»... Этой женщины он не знал и узнавать не собирался, но в тот день окончательно умерла в нем и другая – та, что была когда-то светлой и грозной валькирией его судьбы...

Скульптор понял, что заснуть ему сегодня не предстоит – и решил, чтобы время не уходило впустую, не тратилось на зряшное, но все равно по сей день болезненные воспоминания, заняться чтением Гостьиной статьи. Сел за компьютер чин чином, удачно открыл искомый документ с первого раза – и пропал. Еще читая, понял, что Гостья по сути своей никакая не журналистка-неудачница, а самый настоящий одаренный, если не сказать выдающийся беллетрист. Впрочем, может, он смотрел сквозь призму нового мощного чувства, властно захватывающего все существо – но сладкий морозец бежал у него вниз по хребту, когда он читал не статью – какая там статья, что за неопределенное, плоское слово! – а увлекательный, полный живых подробностей, художественный рассказ о себе самом, увиденном другими, пронизательными и сочувствующими глазами. Неужели он успел действительно это все ей рассказать? Например, о школе-интернате на Крестовском, где учились ленинградские сироты, а они, благополучные «домашние» детки из трехэтажных ба-

раков, презрительно называли их «инкубаторскими» и с жестоким детским хохотом швыряли в них куски угля через высокий забор... Или о своем единственном за всю жизнь, близком, почти что кровном друге, обретенном в Академии и обещавшем превратиться со временем в русского Микеланджело – но банально и унизительно погибшем в двадцать три года от рук пьяных хулиганов на неизменно криминальной Лиговке... Несколькими уверенными, сильными мазками Гостья увековечила его память – и на глазах у Скульптора впервые за много лет выступила подозрительная горячая влага... В статье мелькнул, словно быстро глянул из угла, даже Червонец, совершенно справедливо определенный ею не как пошлый домашний любимец, а как почти равный товарищ на жизненном пути художника... Гостья писала, разумеется, о Скульпторе, о его жизни и работе – с традиционными лирическими отступлениями и экскурсами в прошлое – но за четкими компьютерными строчками независимо ни от чего вставал и ее собственный, глубоко индивидуальный, харизматичный образ.

Сердце Скульптора бухало тяжело, часто и мягко, когда он встал из-за стола и пустился вдруг нарезать круги по комнате, как старый неприкаянный пес, чувствующий приближение опасного шторма. На него, неожиданная и непрошенная, надвигалась последняя, испепеляющая любовь: это он вдруг понял четко и неотвратимо. Любовь, несущая смерть – это тоже стало почти ясно. К молодой еще, сильной, витальной, как сама природа, жаждущей жизни и властно берущей ее, талантливой женщине. Женщине, которая, не задумываясь, возьмет его себе, если вдруг пожелает, мимоходом присоединит к внушительной коллекции жертв, несомненно, имеющейся в памяти сердца и тела – иначе откуда такая самоуверенная, победительная манера обращения с малознакомым мужчиной и даже с его котом? Она получит от него все то самое последнее мужское, что он с восторгом отдаст ей, самое мощное, острое – наипоследнейшее... И останется от него – оболочка. Катастрофически быстро хиреющая, отягощенная пока игнорируемым, но грозящим вскоре превратиться в ужас геморроем, одолевающей все чаще и чаще всецельной гипертонией, с полным холодильником бесполезных снадобий, призванных продлить все более и более никчемное существование... Потом заведется где-нибудь подлый рачок-убийца – и пожалуйста: омерзительная дырка в боку с подвязанной баночкой для фекалий... А женщина спокойной и плавной своей походкой соблазнительницы пойдет себе дальше, к новой обязательной победе, с гордостью неся на поясе очередной лысоватый скальп...

К вечеру так ни минуты и не поспавший Скульптор уже мог считаться невменяемым. Прижав к себе несколько ошалелого, но,

«Критическая масса» и другие повести...

в общем, снисходительно отнесшегося к неожиданным хозяйским антраша кота, он метался по квартире, задевая готовые скульптуры, укоризненно глядевшие со всех сторон. Кому-то не пригодившиеся, а своего создателя неизменно радовавшие. Но не сегодня. «К черту! – повторял он, будто его заклинило. – Ко всем чертям собачьим!» – но отчего-то еще дальше послать Гостью даже мысленно не решался, хотя обычно, да наедине с собой, в выражениях особенно не стеснялся. Проглотит – и не заметит, убеждал он себя в сотый раз. Преимущества – молодость, обаяние, имеющееся в наличии обширное будущее – на ее стороне... На ее! А в нем – на сколько еще хватит мужеского, когда и так одни поскребыши остались? Ведь уже отчетливо холодеет кровь, и он скоро – через пять лет при самом оптимистичном взгляде на вещи! – превратится в старую жабу, противную и никому не нужную... Останется только сдохнуть в гостеприимном хосписе среди других таких же вдоволь намыкававшихся бывших мачо, гремящих баночками в веселеньких, говорят, коридорах... И что она – рядом останется? Возьмет его стынувшую руку и прижмет к груди? Отлетающей души коснется теплыми губами? Да ни в жизнь, даже представить смешно, ха-ха... А вот Жена, кстати – возьмет... И коснется, если надо. И глаза ему закроет, и отпоет, как положено, и на вечное поминовение в монастыре разорится... Все такая же худенькая, между прочим, все так же напоминает фигуркой молочного козленочка – ну, а к лицу можно и не приглядываться... А у Гостьи, если подумать, климакс тоже не за горами, и там уж, при ее склонности к полноте, ее разнесет так, что она в дверь станет пролезать боком... Впрочем, этого он все равно не увидит: она бросит раньше... Всё, всё, всё, всё... Похорохорился напоследок – и будет... Что там народ говорит про беса в ребро? Правильно народ говорит, на то он и народ... Дурак тот, кто не прислушивается к вековой мудрости...

Скульптор запил две таблетки снотворного водкой, смутно соображая, что рискует при этом жизнью, но залихватски пойдя на риск, и около полуночи его будто косой скосило прямо на неразобранном диване – и уволокло в черный омут непроглядного беспмятства.

Когда он проснулся – нет, это слово, конечно, не подходило, скорее, очнулся от затяжного обморока – солнце уверенно лупило ему прямо по глазам сквозь незашторенное окно. Значит, снова подморозило... Интересно, там случайно не Восьмое марта сегодня? Или он его благополучно прохлопал и никого из знакомых женщин не поздравил? Да и фиг с ними, переживут как-нибудь... Вчерашняя буря утихла в нем совершенно – и он лежал, как раздавленная виноградная улитка после летнего дождя, с отвращением обоняя соб-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ственный кислый запахок стремительно стареющего тела, провалявшегося полсуток в пропотевшей одежде... Надо же, хрен старый, а туда же... Телефон зазвонил, как всегда неожиданно, и Скульптор сразу понял что это она. Кто угодно мог звонить – и родственники какие-то водились на заднем плане, и знакомыми за жизнь оброс, как ракушками корабль – а вот не сомневался: она – и все тут. Но теперь он знал, что делать. Сухо уронил в трубку:

- Слушаю вас, – это вместо обычного своего жизнерадостного «Алло!».

Голос, далекий и теплый, сразу напомнивший капель под солнцем, тотчас отозвался:

- Это я...

Откуда она знала, что может и должна быть для него теперь просто «я», а не по имени-отчеству? Как смела это знать?

- Я звоню поблагодарить вас, – продолжала Гостья своим солнечным голосом. – За весь наш разговор, за эту ночь, которая в чем-то примирила меня с жизнью. Спасибо вам. Вы – настоящий...

Скульптор еле перевел дыхание: вот сейчас... если хоть какую-то слабину... то – сорвется и покатится... стремительно... в бездну... ну уж нет...

- Пустяки, – ответил сурово. – Не обращайтесь внимания. А сейчас извините меня, я занят. Очень срочная и сложная работа. Всего хо...

- Пойдите! – ее крик ударил почти отчаянным недоумением, голос сразу сорвался. – А моя... статья... Вы еще не... или...

- Читал, – сдержанно сказал он. – Написано грамотно. Можете печатать, а теперь изви...

- Подождите же! – вскрикнула Гостья, будто он ее ударил. – Фотография... У меня фотография ваших родителей... Я ведь должна отдать... привезти... Вы сами сказали...

Да, фотография... Про нее он забыл совершенно – а лишиться не хотелось бы... Конечно, нужно забрать – но только не сейчас, а когда утихнет насовсем... Может, через кого-нибудь, потому что увидеть Гостью еще раз...

- Это не к спеху, когда-нибудь при случае вернете, только не потеряйте, – раздраженный собственной несообразительностью, буркнул он. – У меня руки в глине, можете вы это понять?! Вы сейчас – мешаете. Пр-рошу пр-рощения, – последнее вышло и вовсе оскорбительно – ну да ничего, лучше уж так, чем...

Он тяжело оперся на телефонный столик и перевел дух. Вот и все. Больше она не появится. Слава Богу – пронес. Действительно, надо посмотреть, что там с глиной... Складки Петру Аркадьевичу на пиджаке поправить, что ли... Это уж последние штрихи. Хорошо

«Критическая масса» и другие повести...

получилось. Ай да Пушкин, ай да сукин сын...

Гостья приехала на следующий день без всякого звонка – предательски заголосил домофон, и Скульптор опять охнул: она – и сразу засуетились злые мысли. Ну и хватка у бабы, ничего не скажешь... Не так-то просто от нее будет отделаться... Раз палец дал – теперь руку до плеча откусит... Сейчас вот сказать ей: я, мол, вам подъезд открою, так бросьте в почтовый ящик... Или еще лучше: я не один, принять не могу – и пусть кушает... Или это уж совсем хамство? А не хамство приезжать вот так, как снег на голову? Ведь она же ему никто... Нахалка, вот что... – все эти соображения бойко провернулись в нем в нем еще до того, как он ответил на домофон и точно узнал, кто стоит внизу – мог быть и дворник, в конце концов... Но отозвалась Гостья – робко, извиняючись:

- Простите ради Бога, я тут в выставочный зал по работе ездила и захватила фотографию... Вы, может быть, хотите, чтобы я ее в почтовый ящик опустила?

Он не решил для себя – верит ли ей. А может, и правда – она просто щепетильный порядочный человек, возвращает ценную вещь, затерять ее боится, а он, осёл самодовольный, накрутил себе: хватка, наглость... Просто хорошая женщина, жена и мать, одаренная журналистка, никакая не охотница за скальпами... И сейчас он выставит себя полным невежей и сволочью, не заслуживающим не то что такой замечательной статьи, но и вообще доброго отношения...

- Ну что вы, зачем... – пробормотал сконфуженно. – Поднимитесь на минутку.

Но когда увидел ее тревожные глаза на словно осунувшемся за двое суток лице, понял: никакой ошибки не было, эту женщину в нем что-то зацепило, он не получит по физиономии даже если вот прямо сейчас обнимет ее без слов и начнет целовать – но только тогда уже нельзя будет оторваться – ни сегодня, никогда. Он с этим и в гроб ляжет. А она?

- Огромное вам спасибо, – внушительно сказал Скульптор, забирая в дверях из теплой руки белый конвертик от диска. – Очень признателен, что потрудились привезти. Очень. Но я работаю. Прощу меня извинить.

Гостья убито кивнула, отступая в пыльный лестничный свет – и вдруг словно растворилась в нем вместе с голубоватым мехом коротенького пальтеца, кольцами светлых волос, бегущих по воротнику. Скульптор прикрыл дверь, и в тот же миг все оборвалось в нем. Вот теперь она ушла навсегда. Он тут издевался над ней, в мужественного героя играл, а она взяла и ушла. И все.

Червонец боднул его твердой черной головой в ногу – Скуль-

птор вздрогнул, глянул на кота и быстро спросил, будто рассчитывая на ответ:

- Думаешь – ...?

Но сам он уже не думал – рванулся в чем был на лестницу, заметался по площадке и, увидев, что красная кнопка лифта горит, поскакал с девятого этажа вниз, ускоряясь с каждым прыжком, так что боялся не затормозить вовремя и врезаться лбом в бетонную стенку... Загадав на лету: «Если догоню, то... то все будет хорошо...», он вырвался из подъезда, будто его там убивали, теряя и кое-как цепляя обратно тапки, пронесся по узкой ледяной дорожке до угла – чтобы как раз успеть увидеть едва заметные на ярком солнце габаритные огни ее безнадежно далеко отъехавшего серенького «оппеля». Визитная карточка Гостьи лежала у него дома вместе с другими в элегантной коробке из-под английского чая – но в этот момент он уже знал, что позвонить ей никогда не посмеет...

Когда осторожно, чтоб не завалиться на бугристом льду – да головой об дом, оглушенно брел к своему близкому подъезду, знакомая серебристая «Самара» вновь оказалась где-то на обочине зрения. Равнодушно отметил: «А все-таки пасут гады какие-то...» – но это было последнее, что могло огорчить его в ту и без того горчайшую минуту...

Глава 4 Гостья уехала недалеко

и теперь плакала в машине, кое-как припарковавшись на Среднеохтинском. Жизнь в очередной раз летела под откос – впрочем, роковые эти откосы она уже считать устала. Да и были это, наверное, не откосы, а уступы в отвесной стене той главной пропасти, куда она начала стремительный полет еще двадцать три года назад – и все меньше и меньше шансов оставалось на то, что она сможет ухватиться за что-то спасительное раньше, чем придется вдребезги расколошматиться о каменистое дно... Скульптор не ошибался: Гостью он зацепил намертво с первой же встречи. Просто, рассматривая себя в зеркало и морщась от омерзения, он инстинктивно применил и к ней извечные мужские критерии подхода к влюбленности, не приняв в расчет, что женщина видит не внешние мужчины, а сразу замечает и оценивает то, что за ней стоит. В Скульпторе, чье лицо Гостья, пожалуй, помнила только в очень общих чертах, угадывалась хорошая родственность, словно души их где-то в забытых, но родных местах кроились по одному сложному, изгибчивому лекалу. По возрасту он годился ей в отцы, причем даже не в очень-то молодые папаши, и это тоже исподволь подкупало: собственный отец, как

«Критическая масса» и другие повести...

водится, всю жизнь бесплодно промечтавший о сыне-наследнике, холодно и подчеркнуто равнодушно относился к двум нежеланным дочерям. Вдобавок, если старшая еще оставляла родителям надежду на долгожданного мальчика в будущем, то рождение второй дочери – а ею-то и посчастливилось оказаться Гостье – сокрушило все отцовские чаяния, потому что задумываться о третьем чаде в двухкомнатной «хрущобе» считалось попросту нереальным: еще одного ребенка там элементарно некуда было девать. Гостья не ощущала себя «женщиной-дочкой» по натуре, но сначала смутно чувствовала, а потом, проанализировав, и поняла, что ей серьезно не хватает в жизни авторитета старшего, дружески расположенного мужчины, тем более что ровесники обоего пола казались ей невыносимо ограниченными, ее поражала чуть ли не животная узость их сознания, и в их присутствии она отчаянно, почти неприлично скучала. Она убить порой готова была симпатичную женщину, при знакомстве клявшуюся ей в вечной любви к художественной литературе – и потом у себя дома с гордостью демонстрировавшую трехметровую высоту стеллажи, тесно стоявшие вдоль длинных стен и битком набитые глянцевыми журналами из киосков и серийными изданиями, писаными не очень дружными, судя по местам «скрепки», бригадами «литсотрудников». Еще больше она начинала ненавидеть мужчину, который, судя по разговору и обхождению, сулил оказаться тончайшим, умнейшим и прочувственным другом, а потом оборачивался банальным и безыскусным самцом, не желающим ни знать, ни чувствовать ничего, что находилось дальше головки его эрегированного фаллоса. Гостью всегда поражал тот странный факт, что человеческое отношение мужчин к ней заканчивалось с первым поцелуем. Он словно смывал все то ценное, душевное и трепетное, что было наработано до первого сексуального контакта – и дальше оно становилось ненужным и неважным, а целенаправленно осуществлялось лишь то, ради чего, собственно, и весь огород городился...

Люди на поколение старше казались другими, действительно более чистыми и понимающими – или, во всяком случае, они теперь попросту могли себе это позволить, в свое время насытившись плотскостью и закономерно возжелав высоких чувств... Две встречи со Скульптором потрясли ее, словно приоткрыли дверь в тот мир, где она впервые могла быть сама собою, говорить, что думает и ощущает, инстинктивно зная, что не встретит упреждающей агрессии... Она, конечно, видела и мешки под глазами, и глубокие морщины от носа к губам – но вместе с тем ясность и честность его глаз, бесхитрость слов и поступков, прямоту и откровенность суждений. Он был невероятно мужественным даже в своих погрешностях, да еще и простодушно стремился педалировать это качество, проявляя

Наталья ВЕСЕЛОВА

особую грубоватую заботливость, которая в сочетании со стеснительной нежностью, то и дело прорывавшейся в жестях и улыбках, становилась все неотразимее с каждой минутой... И еще этот его друг-котейка – как специально – просто сводник какой-то с человеческими глазами и повадками развратно-ласкового мужика... Гостья влюбилась. Она не начала еще думать о будущем, а начав, ужаснулась бы, как и Скульптор, подумавший о нем сразу – но, внутри себя зная, что ужаснется, гнала прочь даже малейшие проблески таких мыслей, как беспечный купальщик, слыша далекий гром и видя неяркие еще вспышки у горизонта, не торопится выйти из теплого озера, которому вскоре суждено забурлить под ливнем и принять в себя миллионы вольт стреляющих с небес голубых молний... Зато она представляла, как он будет целовать ей лицо, бережно держа его ладонями, как станет срывать его хриплый шепот у ее губ, она даже знала, какие именно слова он скажет в эти минуты – самые простые на свете, которых она никогда ни от кого не слышала... Она и сама знала, куда будет целовать его: в крошечный вертикальный белый шрамик над уголком рта справа... Интересно – другие женщины тоже с ума из-за этого сходили? Не может быть, чтоб она первая заметила. Или может? Откуда шрамик, кстати, – из детства, из армии? С ним тоже связана какая-нибудь неприятная история? Она это узнает и... зацелует... Вот так вот. А потом Скульптор внезапно взял и выгнал ее, не пустив даже на порог. Испугался того будущего, о котором она не желала ничего знать, или просто... она ошиблась? Может, на самом деле и не было с его стороны никакого радужного всплеска, окатившего ее тысячей ярких хрустальных капель? Может, это был только *ее* всплеск – и уж, конечно, не в горный чистый ручей ступила она, а, как всегда, в грязную лужу, окатившую помоями? Неужели почудилось? А на самом деле она вовсе не в его вкусе, он терпеть не может эдаких знойных «пышечек» и называет их жирными коровами – просто расслабился занятой человек, обретя доброжелательного слушателя, поговорил о сокровенном – мало ли с кем не бывает! А потом, видя, что она начала навязываться вроде как в друзья или сомнительные подруги, – неприятно удивился и постарался отвалить побыстрее, и все дела... Ничего невозможного... Короче, дура. Толстая, никчемная дура. Слезы смывали с ресниц комковатую тушь, и две небольшие черные речки несли свои быстрые соленые воды вниз, вниз, прямо в шелковую шейную косынку...

Вот уже без малого шестнадцать лет они с мужем жили в разных комнатах. Собственно, настоящую комнату он джентельменски оставил ей, потому что как раз тогда, после похорон девочки без косы, выяснилось, что Гостья опять ждет ребенка, и отправить жить в чулан пусть ненавистную, но все же от него беременную

«Критическая масса» и другие повести...

женщину бывший офицер Советской Армии как-то не сумел, вырвав на остатках бывшего благородства. Вместо этого он разгрузил их поместительную кладовку от ненужного хлама, устроил там что-то вроде вентиляции и оборудовал для себя спартански обставленное и увешанное черно-белыми портретами одного и того же детского лица помещение для сна и одиноких тяжелых дум. Ей осталась бывшая супружеская спальня с широкой тахтой, давно позабывшей о тех радостных и славных делах, которые когда-то на ней вершились, старинным трельяжем розового дерева, очень мешавшем когда-то родителям в ее родном доме и спихнутым ей в качестве свадебного подарка, и обширным письменным столом о двух мощных тумбах, на котором в начале века поселилось и разрослось до неведомого колена сложное компьютерно-принтерное царство, необходимое для ее работы. Входили туда только мальчики, восьмимесячными вынутые один за другим из ее многострадального лона посредством милосердного кесарева сечения: неспособная избыть запредельно кошмарные воспоминания о своих первых родах на акушерско-фельдшерском пункте в таежном поселке, Гостья истерически отказалась рожать еще раз самостоятельно. Она была счастлива, когда ей сообщили после наркоза, что оба разнояйцовых близнеца – здоровые мальчики: по крайней мере, ни у кого из них не вырастет в будущем толстой, в руку, темной косы...

Ее муж считал, что прекрасно знает, как именно надо воспитывать сыновей: защитниками Родины они должны быть – кем же еще? Он ошибался в этом вопросе так же точно, как и многие родители, мечтающие реализовать несбывшееся в своих детях, развернуться в них во всю ширь когда-то искусственно зауженной собственной души. Дети обязаны это воплотить, особенно мальчики – так считают отцы. Матери считают иначе: дочь должна стать счастливее, чем я – а уж что ей нужно для счастья – это позвольте мне решать, я мать и лучше знаю... Другими словами, пусть дети не рыпаются, а приходят на готовое... Гостья была категорически не согласна с такой точкой зрения, но голоса в семье она не имела: он не только не засчитывался, но и вообще не имел права звучать – с того далекого дня, когда однажды она взяла в руки острые портновские ножницы – и использовала их не по назначению... Все семейные репрессии в отношении нее были вполне справедливыми – и Гостья со стоическим смирением принимала свою пожизненную отверженность, тем более что идти все равно было некуда... Но это была запретная тема для воспоминаний, та хорошо охраняемая непроходимая зона, где протянуты красные лазерные лучи, которые, если их только вскользь коснуться, мгновенно приводят в действие во всех направлениях нацеленные самострелы – и там уж ты бьешься в судорогах под жа-

лящими со всех сторон пулями, желая лишь, чтоб они скорее дошли до сердца...

Муж Гости в качестве военного человека не состоялся. Очень хотел отдать всю мужественную жизнь родной Армии – как сделали его отец и дед, на которых он искренне равнялся, но... остаться на своем посту в середине девяностых посчитал унижительным превращением в холуя, не служащего великой и ясной цели, а подло прислуживающим у стола, где высокомерно пируют исподволь захватившие власть ухмыляющиеся враги... Выйдя в отставку, он быстро нашел себе место в военизированной охране, а лет через десять уже руководил всей службой безопасности серьезного и почти непотопляемого банка. Работу холодно ненавидел, но выполнял по-военному честно и споро и, когда показалось ему, что впереди у Родины забрезжил давно ожидаемый им рассвет, понимая, что возврата в Армию для него не существует, решил хотя бы бестрепетно принести ей в жертву самое дорогое: двух соответственно выпестованных сыновей... Для того следовало сначала превратить их в настоящих, а не только биологических мужчин, в первую очередь оградив от тлетворного влияния *Этой*... – иначе он жену за глаза не называл, а в глаза уже шестнадцать лет звал полным именем – и то в самых уж необходимых случаях. Давно бы уже он ее из дома своего без всякой жалости изгнал – да понимал, не тупой же: дому нельзя без хозяйки, а детям без матери, да и вообще – пусть учатся примеру его к ней отношения, что такое женщина в этом мире и какова ее унижительная при торжествующем мужском племени роль – чтоб не угодили потом в хищные когти *Какой-нибудь*... Как он в свое время... Пусть спины не разгибает – обстирывает, готовит, подает и убирает, а потом – в свой угол, и чтоб не высывалась. Раньше по-другому считал, разговоры с ней разговаривал умные... Доразговаривался...

Мальчишек еще с детсадовского возраста лично поднимал он в половине шестого любого утра – и навязчиво жаркого июльского, и колюче темного декабрьского. Вместе с ним они делали четверть-часовую зарядку, получая ощутимые подзатыльники, если начинали хныкать с недосыпа и взывать к маме, а потом летом в одних трусах, а зимой – в тренировочных костюмах бежали на полчасовую пробежку по району, прерывавшуюся на школьном стадионе, где от века вкопаны были железные брусья. Там он следил, чтобы парни подтягивались без халтуры, всякий раз подбородком касаясь перекладины – а если вдруг не касались, то себе дорожке выходило: такое подтягивание отцом не засчитывалось, и вместо него требовалось сделать полноценных два... Особенно жестко наказывал за любые проявления душевной слабости. Однажды младшего (две минуты у них разница была, а сказывалась все-таки), не одолевшего сорок обя-

«Критическая масса» и другие повести...

зательных отжиманий от колючего мелкого гравия и пустившего по этому поводу позорную слезу, несильно, удар хладнокровно рассчитывая, бил под ложечку до тех пор, пока тот *не перестал плакать*. «Ты что, баба? – повторял тихо и размеренно. – Бабой хочешь быть, да?». Страшнее ругательства, чем эта злосчастная «баба» сыновья его не знали, и скоро перестали удивляться, периодически слыша от отца в адрес матери презрительное: «Да чего с бабы взять...». Они – не бабы, это мальчишки прекрасно усвоили, а мать – баба. И быть на нее похожими – страшнее ничего в жизни мужчины не бывает... Они – будущие офицеры, им эти сиропы с лимонадом заказаны...

Старший отца боготворил и слепо, как девчонка-подросток у эстрадной звездочки, перенимал у него все, что перенималось: манеру ходить, ставя носки твердо и прямо, медленно цедить слова сквозь зубы, держать ложку, как вилку, сплевывать, презрительно щури глаз, склонять при разговоре набок лобастую голову, и, демонстративно не замечая мать, сидящую за компьютером, швырять ей на кровать грязные, подлежащие стирке джинсы...

Младший никому не подражал и держался спокойно, в стороне от матери – но и от отца тоже. Гостья долго подозревала, пока не убедилась окончательно, что очень не по душе ее любимому (старшего не любила совсем) сынку ни суровое будущее, назойливо навязываемое отцом, ни настоящее, исключавшее любое тепло, предписывающее отталкивать даже материнскую ласкающую руку... «Дола скалась уже один раз. Больше не дам», – тихо и грозно произнес однажды муж, видя, как жена прижала было на минуту к животу светлую головенку младшенького, после зимних пробежек под мокрым снегом схватившего полновесную, до полусмерти испугавшую ее ангину. Но сын все равно до самой юности находил момент, чтобы хоть мимоходом – но приласкаться к своей никем, кроме него, не любимой матери, понимая, что делает запретную, непозволительную вещь: ласкается к опущенной и вечно виноватой, не стоящей никаких добрых чувств «бабе». Следует отдать справедливость Гостьиному мужу: никаких таких категорических запретов он вслух никогда не произносил – но все вытекало из самого семейного уклада, заведенного отцом и покорно воспринимаемого матерью. Значит, так и нужно – давно сделали закономерный вывод сыновья, только для старшего он оказался приятным и правильным, а младший чувствовал всю его несообразную уродливость и боролся в меру скромных силенок, хлопал подрезанными крылышками... Гостья грустно целовала его прохладный лоб и осторожно подбрасывала кусочек послаще... Это все, что она могла теперь сделать доброго, в свое время вполне заслужив то, что теперь происходило с ней под этой крышей.

Наталья ВЕСЕЛОВА

Квартира детства, где была до сих пор пописана, для Гостьи давно стала чужой: хохотушкой-школьницей она делила маленькую девичью комнату с мишками на розовых покрывальцах со старшей сестрой-букой, но та первая вышла замуж, привела к себе бездомного мужа, и Гостья была с поспешной небрежностью переселена за ждановский шкаф в комнату еще не старых родителей, где и обрелась до самого дня своей свадьбы. Уйти на съемную квартиру можно было уже давно, но сделать это Гостья не могла сначала из-за обоих сыновей, мысли о которых рвали душу, а в последние годы только из-за младшенького: ей было отчетливо ясно, что вдвоем отец с братом доведут его, может, и до витой петли, и если кто и сможет спасти его от неминуемой чуждой и противной участи или даже ранней гибели, то это она. Только неясно было, как именно.

Раньше, пока сыновья были маленькими, она как-то приспособилась. Ее крошечным личным раем стала жалкая съемная дачка в ленинградской области, куда, даже без особенных ее просьб – лишь бы только убрать с глаз долой, муж ссылал ее с двумя подростками слегка детьми на лето. Несмотря на то, что на ниве охранной деятельности он быстро постиг ту истину, что за целостность своих лоснящихся от довольства шкур заинтересованные особи готовы платить не скупясь, муж придерживался той справедливой точки зрения, что на ведение хозяйства никогда не следует выделять избыточной суммы, ибо весь туманный «избыток» нелюбимая жена немедленно потратит на собственные нужды. Пусть лучше приучается к разумной экономии и никогда не забывает, что тратит *чужие* деньги, заработанные потом и кровью и выданные ей под отчет отчасти из милости... Но, приблизительно представляя себе достаточную сумму на месячное проживание в городе, он демонстративно не желал брать в толк, что у пары стремительно растущих, худых, как жеребята, подростков, с утра до вечера не тихо просиживающих за скучной партией, а занятых такими гораздо более интересными и полезными, но изнуряющими делами, как гонки на велосипедах, мотание на тарзанках, купание в мелкой быстрой речке до полного посинения – и аппетит вырастает в геометрической прогрессии. Четырехлитровая кастрюля наваристого борща и чугунная латка калорийного жаркого не держались и полутора дней – и это притом, что мальчишки, невероятно спешащие, кем-то под окнами всегда поджидаемые, дробным вихрем врываясь на террасу, беззастенчиво потрошили старый пузатенький холодильник, поедая бутерброды с колбасой и сыром в астрономических количествах – и еще мимоходом утаскивали их для поддержания сил немощных сотоварищей... В результате сумма требовалась ровно вдвое большая, чем молча выдавал муж – но заикаться об увеличении довольствия было бесполезно: «Надо – за-

«Критическая масса» и другие повести...

работай, – бросал он через презрительно приподнятое плечо. – А то привыкла, что все на халяву достается...». Он, разумеется, прекрасно понимал, что заработать летом, находясь на дачном хозяйстве, ей нечем и негде, да и зимой в городе с ее профессией – проблематично, но эти минуты давали ему пусть небольшое, но удовольствие от общения с женой – хоть унижить ее лишний раз – и то целебным маслом текло по незаживающей ране... И вскоре Гостья перестала это удовольствие ему безропотно доставлять. Она знала, что ей теперь нужно для полного счастья: пакет муки, пакет риса, немного воды и соли, кило репчатого лука, чуть-чуть растительного масла и букетик зелени с хозяйской грядки... На эту-то роскошь средств хватало даже в конце месяца – а она приоровилась и в середине, и в начале так своевольничать...

С раннего утра, едва двойняшки, нетерпеливо проглотив по обязательному стакану парного козьего молока с драниками, бомбами ссыпались по крутой лестнице со второго этажа – и только она их и видела – Гостья повязывалась архаичным платком до бровей, влезала в хозяйкины резиновые сапоги на три размера больше, прихватывала из сеней одну из многочисленных круглых корзин – и отправлялась в близлежащий лес за грибами, количество которых в их удивительной местности странным образом не зависело от того, считался ли год «грибным» или нет. С начала июля уже всюду золотились среди палой хвои и ярко-зеленого, почти неестественного мха вездесущие лисички, торчали ровными полусферами шляпок крепкие, налитые сыроежки. С августа в строгой последовательности возникали сначала скромные, ничего из себя не строящие подберезовики на длинных, словно испачканных землей ножках, за ними вылезали, целеустремленно буравя коричневый дерн, тугие и прохладные, смущающей формы темно-оранжевые подосиновики, и уж потом, к пятнадцатому числам, долгожданные боровики осчастливили своим важным и торжественным появлением давно с истерической надеждой залезавших под каждую стелящуюся по земле еловую лапу грибников...

Гостья собирала их все, пропадая в лесах и рощицах по четыре, пять и даже больше часов – но то острое счастье, которое она испытывала в своих одиноких походах, вовсе от грибов не зависело... Давным-давно ей случилось прочитать в популярном журнале о любопытном медицинском случае: делая пациентке полостную гинекологическую операцию, врач вдруг с изумлением наткнулся на некое плотное, чуть ли не известковое образование у нее в брюшине – и заодно удалил его тоже. Гистологическое исследование показало, что подозрительный объект являлся чем-то вроде капсулы, содержащей в себе давно затвердевший гной и... рваный червеобразный от-

росток слепой кишки. Должным образом расспрошенная, пациентка рассказала, что несколько лет назад, находясь в какой-то далекой экспедиции, где от ближайшей медицины отделяли сотни километров равнодушной тайги, она почувствовала сначала тупые, а потом и резкие боли в животе – но, кроме как массируемыми атаками анальгина лечить их в тех условиях было нечем. И народное лечение помогло: боли постепенно утихли, оставив лишь периодические неприятные ощущения в животе... Только спустя несколько лет случайно выяснилось, что в сибирской тайге с ней случился гнойный перитонит, обреченный привести к смерти, но потерпевший парадоксальное поражение. Потрясенный организм мобилизовался в условиях крайней надобности и заключил излившийся в брюшину гной в плотный непроницаемый кокон, тем самым защитив себя от неминуемого истребления... Эта всего лишь любопытная для других людей статья имела для Гостьи первостепенное значение, потому что такой же кокон, сотканный из неизвестной метафизической материи, она давно носила в душе, и содержал он орудия всех пыток на свете – но, прежде всего, острые портновские ножницы... Гостья ощущала этот твердый угрожающий кокон в себе всегда, даже во сне, он шевелился и предсказуемо – и совершенно неожиданно, потому что ассоциаций, приводивших его в движение, оказалось гораздо больше, чем она думала тогда, вначале, когда он только что образовался... Ну, ножницы, ну, коса, ну, менингококк... Это она поняла бы... Но не всё же... А оказалось, что всё.

Кроме леса. Там она кокона не чувствовала. Там она – пела, потому что у нее были средние слух и голос, а также далеко не средняя память, удерживавшая, как вдруг выяснилось, едва ли не сотни прочувственных песен, которые она пела себе, собирая грибы. Она знала наизусть почти всех сколько-нибудь значимых русскоязычных бардов, несчетное количество самых странных романсов столетнего возраста и даже, как оказалось, псевдонородный репертуар нескольких голосистых певиц со старых виниловых пластинок. Не мудрено: в детстве у них с сестрой в комнате стоял передовой стерео проигрыватель... Грибы Гостья собирала как бы и мимоходом – но, вернувшись и постепенно начиная вновь ощущать известковое образование в душе, она все равно весело готовила рисово-луково-грибную начинку для пирожков – и, ловко переворачивая, жарила их, маленькие и аккуратные, на двух огромных, как противни, деревенских сковородах.

В обед грачиной стайкой налетали сынки с вечно голодными друзьями и, галдя и толкаясь на тесной дачной кухоньке, расхватывали горячие пирожки своими шершавыми, никогда вовремя не мытыми лапами в неизменных цыпках. Вот тогда она вспоминала,

«Критическая масса» и другие повести...

что такое счастье – особенно, когда младший, забывший на лето о тяжелом взгляде отца («Большой Брат видит тебя» – это безотказно действовало в городе), сгоряча бросался к ней на шею, называя «мамусечка» – и никто не спрашивал его, хочет ли он стать бабой...

Таких счастливых лета она прожила два – и окрепла внутренне, подобралась, почти готовая к отпору – или нет, пожалуй, даже к опережающему прыжку... Ей бы еще одно оживляющее лето... Но муж ревниво разглядел вдруг, что с осени дети непринужденно болтают с мамой о своих делах, не проходят высокомерно мимо, как он показывал своим навязчивым примером, и даже кто-то из них осмелился однажды оспорить его непререкаемый отцовский авторитет, пропищав нечто на тему о том, что «...а мама нам разрешала...». Словом, все лето с бабой провозжались – сами на осень бабами стали... Это следовало пресечь, пока не зашло невозвратно далеко.

Он и пресек. Начиная со следующего года дети отдыхали три месяца по путевкам в достаточно дорогих и престижных спортивных лагерях, где любой «бабий» дух мгновенно перешибался духом казарменным. Оба вместе однажды чуть не утонули в глинистом карьере с родоновой водой прямо на глазах у ответственных воспитателей и вожатых, беспечно отправивших питомцев в заманчивую голубую воду и озаботившихся приготовлением обязательного на природе шашлыка... Четверть часа, мучительно захлебываясь, отчаянно выныривая и вновь обреченно уходя ко дну, братья спасали друг друга из кипящей воронки меж бурных белых ключей, Божьей милостью выплыли, и потом всю жизнь каждый из них искренне считал и рассказывал всем на свете, что спас жизнь другому, рискуя своей; судя по всему, они были правы оба...

С того дня, когда это случилось, Гостья отпустила себя на волю. В то время она уже внештатно сотрудничала в нескольких журналах и выгодно редакторствовала на дому в хозрасчетном издательстве, обеспечивая свои человеческие и женские потребности, на которые очень редко удавалось выкроить (вернее, украсть, если быть уж совсем честной) средства при той унижительной подотчетности, которую дома ввел ее супруг. Она уверенно позволяла себе теперь и приличную одежду, и более или менее невредную косметику, и редкие посиделки в кафе с ненадежными приятельницами – близкие подруги в ее жизни как-то не держались... Это были первые робкие шаги в человеческую жизнь – а потом из пестрого и мутного журналистско-писательского круга общения стали вычленяться поначалу с возмущением отвергаемые, потом постепенно заинтересовавшие жадные мужские лица...

Замужняя женщина с двумя детьми – всегда удобная любовница, от которой вряд ли можно ожидать каких-нибудь пугающе-

радикальных требований, всегда рано или поздно предъявляемых озабоченными незамужними дамами, изо всех сил стремящимися превратиться в законных и уважаемых жен. Мужчины Гостью не боялись, а она не боялась их, заведомо неспособных причинить ей сколько-нибудь чувствительное горе: кокон из метафизически жесткой ткани, так никуда из души и не девшийся, надежно защищал ее от мелких уколов разбитой любви или обманутых надежд. Она шла на легкие связи мстительно-просто, с удивлением думая о забавной уверенности мужа в том, что, после всей той медленной казни, в которую он превратил ее жизнь, она уже никогда не расправит крылья, так и оставшись навеки в положении приговоренного на эшафоте, растерянно стоящего у плахи в те неопределенные минуты, когда палач небрежно отвернулся от него, ненадолго отложив законную расправу ради какой-нибудь собственной сиюминутной надобности.

Нет, вне дома, в гостеприимном социуме, Гостья теперь давно уже не чувствовала себя полупрощенной преступницей. Прошло несколько лет – и она даже начала смело задумываться о возможности прихода в ее вполне теперь созревшую душу обновляющей и оживляющей любви. Настало время – и она готова была принять за нее любую подлую свою или чужую страстишку, в любых с интересом обращенных на нее глазах с уверенностью читала предсказание при дверях стоящей любви – и с открытым забралом и распахнутым сердцем доверчиво шла навстречу очередной пошлой случайной связи, неизменно оставлявшей после себя мерзкое послевкусие, словно после изнурительной рвоты... Горечь наполняла душу, заставляя разубеждаться в возможности хотя бы подобия гармонии на этом неверном поприще для нее лично. Все потеряно, отрезано-таки теми ножницами, навеки застрявшими в душе – и не суждено ей пережить даже такой простой и многим самым немудрящим людям доступной вещи, как безоблачная ночь любви... Были ночи разнузданного секса в алкогольном остервенении, приуроченные к суточным дежурствам мужа, с последующим обморочным сном и некрасивым и неудобным просыпанием рядом с ненужным и случайным чужаком, или горькие ночи без сна за спиною кратковременно любимого, но равнодушно-го, лишь снисходительно пошедшего навстречу человека, или ночи, прошедшие в раздражении на чью-то докучливую, но не встретившую ее равнозначного отклика страсть... Мнимые совпадения случались только два раза – но и они не принесли ожидаемого ровного счастья, имея отчепливый привкус украденности и кончности...

И конец закономерно наступал. В первом случае животно страдавшая жена Гостыного возлюбленного подкараулила ее у дома, держа в руках маленькую бутылочку со зловеще-прозрачной жидкостью – и, каким-то дремучим чувством угадав в этой бутылочке свой

«Критическая масса» и другие повести...

земной конец, Гостья внезапно совершила легкоатлетическое чудо, невольно побив, вероятно, мировой рекорд по бегу на короткую дистанцию. Она стремительно проскочила в свой подъезд и захлопнула его перед самым носом лишь на долю секунды отставшей соперницы. А любимый, которому, захлебываясь ужасом и рыданиями, она через четверть часа рассказала по телефону о немислимом происшествии, сразу и безоговорочно объявил о своем невмешательстве в их «разборки». Как похолодевшая Гостья безошибочно определила по легкой самоуверенности тона, он даже некоторое своеобразное удовольствие получил от всей ситуации, доказавшей ему самому и его дружескому окружению, какую ценность он, как выясняется, представляет собой для немощного пола. Вот ведь как крут оказался – бабы из-за него даже кислотой друг друга поливают! Избежав поливания кислотой, Гостья будто приняла на себя отрезвляющий ушат воды...

Во втором случае друг оказался давно разведенным и очень сочувствующим. Он водил Гостью под руку по осеннему Александровскому парку в Петергофе, многозначительно прижимая ее восприимчивый локоть к своему теплему боку, и едва ли не плакал настоящими слезами, слушая ее щемящее-откровенные рассказы о быстро и бестолково идущей мимо жизни. Он сокрушался, обнадеживал и обещал. Пусть она забудет этот кошмарный сон, она святая и ни в чем не виновата, он ее, конечно же, трагически недостоин, но если она снизойдет – он поможет ей пробудиться для того солнечного счастья, которого она единственно достойна; долой, долой предрассудки – он достанет ей лучших адвокатов, отсудит детей у изверга-отца и с радостью станет им новым папой – самым любящим и терпеливым; она – как солнце, взошедшее над его безнадежной жизнью и, разумеется, единственная женщина, сумевшая проникнуть в недоступные другим глубины его ранимой души... Он читал витиеватые вирши собственного сочинения и неожиданным тенором на грани дисканта – хотя в жизни, как будто, говорил достаточно уверенным баритоном – исполнял под гитару наиболее душещипательные из бардовских песен. Дискант ей пришлось принять как данность и простить, но других недостатков Гостья в любимом долго не видела: он даже ухитрился, единственный из всех ее разномастных мужчин, сделать ей приятный подарок в виде довольно пристойного серебряного браслета с камнями.

Но, к сожалению, камни в серебре, как клад в шкатулке, лежали на той заоблачной вершине, выше которой возлюбленный уже не взлетел. Целых три года после этого продолжались самые заманчивые обещания – и находились самые непреодолимые препятствия к их исполнению. Все решительные действия откладывались совсем

недалеко – на ближайшее и доступнейшее будущее, до которого каждый раз рукой было подать, но которое всегда оказывалось волшебным образом недостижимо... Любовь эта рассосалась сама собой, как давний и уже безболезненный синяк на месте сильного застарелого ушиба...

Снова нанизывались одна на другую необязательные, но порой необходимые, как стакан водки после мороза, интеллигентные связи с долгими обнадеживающими разговорами о вечности, но длящиеся от месяца до трех – в зависимости от того, как скоро происходило и насколько взаимно удовлетворительным оказывалось всегда грязноватое соитие. Потом в течение смутной недели Гостя уже давно не с болью, а с приевшейся тоской ждала, вся настроенная на мобильник в кармане, иногда мимолетно ранившего, а иногда и вовсе не поступавшего звонка... Время спустя все начиналось сначала.

Встретив Скульптора, она сразу поняла – одним из своих многочисленных чувств, далеко превысивших количеством заветную цифру шесть – что на этот раз старый сценарий не запустится. Скульптор был *тот*, но не понял этого, а повел себя, *как все* – и это мучило больше всего. Кроме того, за него ей неожиданно с первых же дней жестоко пришлось заплатить.

До того все по местам расставившего дня Гостя была с некоторых пор уверена, что муж вынужденно подарил ей ту же личную свободу, какую она давно уже безоговорочно предоставляла ему. Она самоуверенно полагала, что достаточно между делом проронить, будто встречается с мифической подружкой или ночует у родителей, чтобы вопрос о ее времяпрепровождении при более или менее длительном отсутствии даже не возникал у давно равнодушного мужа. Естественно, у него были – и не особенно скрывались – женщины, как постоянные, так и разовые, и Гостье казалось, что и от нее требуется лишь соблюдение внешних приличий, да и то подразумевается без слов, что все условности необходимы только для святого обмана растущих сыновей, и отпадут сами собой по миновении надобности. Оказалось, что муж и в мыслях не держал никакого ее в этом отношении равноправия.

Звоня Скульптору из своей комнаты в то далекое воскресное утро, когда была наполнена восторгом от их платонической, но, казалось, такой многообещающей ночи, Гостя слышала, конечно, что муж ее топает и гремит на кухне и в коридоре, но ей и в голову не приходило, что он может заинтересоваться одним из многих ее пустыжных телефонных разговоров – но до него, верно, долетело что-то недвусмысленное. А может, просто чутьем, присутщим любому хищнику, почуял он, что здесь пахнет *настоящим*. Не мелкой интрижкой, обещающей оскорбить падшую жену еще больше, еще

«Критическая масса» и другие повести...

верней поставить ее на подобающее место, а чем-то великим – спасающим, ограждающим и вызволяющим. Тем, на что, как давно и навсегда ясно ему было, она не имела никакого морального права.

Впервые за много лет он ворвался в ту комнату, куда ему давно не хотелось даже заглядывать, и, без звука подскочив к Гостье, с глупым видом сидевшей у стола и пялящейся в пикающую трубку, схватил ее за длинные ненавистные волосы и с размаху ударил лицом о дубовую столешницу. Она дико закричала и вывернулась, но он с радостью увидел, что жидкая малиновая юшка почти что струей ливанула на все ее подлые бумажки, раскиданные по столу. Он хотел добавить ей еще и ногой под сучьи ребра, да на крик прибежали оба парня из своей комнаты... При них мать избивать все-таки не рискнул – мало ли, какотреагируют; за старшего не боялся, а вот младший... Баба и баба, сколько не выколачивал. Но не смог отказать себе в злом удовольствии сплюнуть в ее сторону и сурово пояснить оторопевшим ребятам: «Ваша мать – б...., как все бабы. Поняли, как б...ей учат?».

«Ничего, – сказала себе Гостья, неловко поднимаясь с пола и избегая смотреть в сторону застывших сыновей, боясь увидеть в их глазах не беспомощное сострадание ей, а молчаливую поддержку отца, особенно у младшего. – Это – ничего. Зато я теперь, кажется, люблю... Люблю, раз могу страдать *не от этого*...».

Статья, написанная про Скульптора, удалась ей особенно удачно: ничего удивительного, когда пишешь о любимом мужчине, чье расположение требуется незамедлительно завоевать; но и про все остальные ее большие и малые произведения смело можно было сказать, что их создание являлось самым любимым в ее несчастной жизни занятием. Собственно, ничего другого она делать и не умела: хозяйство шло через пень колоду, от воспитания детей она оказалась практически отстраненной, а дружеских связей надолго не хватало из-за патологической Гостьиной лени. Дружба, как и любовь, требует немалых усилий души и отнимает странно много времени – хотя результат, разумеется, стоит потраченных сил. Но на то, чтобы душевные силы, как и деньги, грамотно тратить, блюдя в этом отношении особо щепетильную бухгалтерию, Гостьи попросту не хватило: много случилось безвозвратных потерь на рубеже опрометчивой юности...

Компьютер, хранящий в своем таинственном нутре более сотни ее мини-рассказов о реальных, подчас совсем незаметных людях, с которыми каждый мог столкнуться на улице, или, наоборот, о личностях-гигантах, подлежащих немедленному увековечиванию, стал самым верным и надежным другом Гостьи. Вместе со всеми этими людьми, которых она неустанно расспрашивала под диктофон и без,

Наталья ВЕСЕЛОВА

Гостья путешествовала аж до обоих полюсов, они порой становились ее проводниками в канувшее прошлое лучше всякой машины времени. Фотографии, что они щедро дарили или она сама делала иногда, в экстазе увлечения даже ложась на пол или на землю, если того требовал вдохновенно изобретенный ею ракурс, заслуживали отдельной полноценной выставки, призванной отобразить грандиозность чужих судеб и неохватное величие Божьего замысла в отношении самой совершенной и самой отвратительной из Его тварей...

В таланте Гостьи имелся один значительный дефект – а может, и достоинство, смотря с какой стороны посмотреть. Наделенная фантазией, сравнимой по бурности только с весенним цветением Земли, она, тем не менее, начисто была лишена способности придумывать *из головы* персонажи и события, умея опираться только на твердый фактологический материал. Все люди, о которых она писала, действительно жили теперь или раньше на белом свете, все события произошли именно так, а не иначе, именно в той последовательности, как описывала Гостья. Когда ее просили что-то додумать от себя – ее обычно непринужденный язык заправского борзописца мгновенно немел, путался, и начинал косноязычно изрекать бедные и тусклые плоскости... Она убедила себя, что именно такая постановка словесного дара, организованная свыше, как, например, талантливый педагог ставит руку начинающему музыканту, и есть самая правильная из всех. Что проку плести сложные речевые кружева на коклюшках бесплодной фантазии, создавать искусственные мини-вселенные, населенные говорящими фантомами, обрекаемыми жестоким автором на запредельные страдания или фальшивую радость? Хорошо, если все это просто канет в тот же мутный омут, который затягивает ночные кошмары и мечтания! А ну, как оживет и материализуется в каком-нибудь невидимом до поры до времени, но реально существующем соседнем малоприятном миреке – и сошлют тебя туда – не поэтически, а *навечно* – в компанию тобою же безответственно сочиненных и жаждущих мщения гомункулов?

Толстые дорогие журналы со знакомыми шеф-редакторами во главе охотно печатали Гостьины отчетливо талантливые эссе, но сотворить себе полноценную карьеру можно только прибившись к одному изданию и войдя в его либо дружный, либо раздраемый распрями штат. Когда Гостья осмелилась заикнуться мужу о своем возможном выходе на любимую работу, он тяжело глянул на нее исподлобья своими мутно-серыми, как у хряка, глазами и медленно, грузно произнес: «Я и так все эти твои ночные писульки терплю только до тех пор, пока от них нет ущерба моим парням. Работающая баба детям не мать. Понятна мысль? Или хочешь, чтоб растолковал? Я это умею, ты знаешь».

«Критическая масса» и другие новости...

Превратить свою жизнь в жаркий филиал ада Гостья тогда предусмотрительно не решила, зато, хлопотливым грызуном провозившись с месяц, причесала-подкрасила свои наиболее удачные эссе о современниках и собрала их в солидную книгу, немедленно же разослав рукопись по перспективным издательствам. Сразу два из них, равновеликие и равновесные, отозвались доброжелательными голосами в телефонной трубке, и осталось только выбрать то, которое больше понравилось названием – других критериев ей не предоставили. И выбрала она, разумеется, неправильно, заключив договор с наиболее благозвучным, которое, не сумев выжить в жесткий кризис восьмого года, было проглочено здоровущим прожорливым концерном и аннулировало все свои незапущенные вовремя проекты. Чувствительная редакторша, полгода состоявшая с Гостьей почти в личной уже компьютерной переписке, на прощание сентиментально прослезилась. Можно было бы продолжать целеустремленные искания и дальше, и, возможно, все еще и образовалось бы к всеобщему удовольствию, но первоначальный пыл у Гостьи поutih, как утихает со временем не оправдавшая душевные затраты влюбленность...

В любом случае, тогда, после школьных выпускных экзаменов, профессия была выбрана верно. Уже много лет Гостья с легким умилением вспоминала, как на творческий конкурс журфака, ничтоже сумняшеся, притащила жирный трепаный рулон школьных стенгазет, где несколько лет протрудилась бессменным «собкором», художником и выпускающим редактором – и ее не выгнали с позором вон из-за того, что ни одной настоящей публикации – даже в «Пионерской правде» – у нее не было, а неожиданно зачислили на первый курс тогда еще ленинградского Университета... Тайну своего зачисления Гостья так никогда и не разгадала: на вступительных экзаменах она недобрала целых два балла и в день зачисления, ее, как она искренне считала, не касавшийся, пришла с убитым видом лишь для того, чтобы забрать не пригодившиеся документы. В списки зачисленных она заглянула без всякого интереса – и вдруг ноги отчетливо ослабели: она увидела свою простую русскую фамилию и столь же распространенное имя, которые вместе могли принадлежать какой угодно счастливце – но не вкупе с ее невероятным отчеством: Гостья была ни больше, ни меньше, а Илларионовна... Четверть часа спустя, заполняя в деканате многочисленные необходимые для принятых на факультет анкеты, она обратила внимание, что на обложке папки, заключавшей в себе поданные ею документы и экзаменационный лист, чьей-то уверенной и явно *имевшей право* рукой цифра, означавшая итоговую сумму набранных баллов, была исправлена на другую, необходимую для поступления... Кто был

этот добрый волшебник? Почему он решил дать незнакомой девочке ничем не заслуженный шанс? Он никогда не явил себя за все пять лет обучения, не потребовал никакой благодарности, не оказал больше никакого покровительства... Но вот один раз вмешался – и обеспечил Гостье не только получение желанного диплома, но, будто наперед прознав общую безрадостность предначертанной ей судьбы, организовал светлую щелку в наглухо закрытых ставнях той виртуальной комнаты, в которой ей потом пришлось жить. За его здоровье Гостья неизменно ставила в церквях свечи. «А имя его Ты, Господи, и Сам знаешь...» – всегда говорила она при этом...

Между тем дела у нее дома обстояли все хуже и хуже: она оказалась в родной двухкомнатной квартире самым настоящим уже не «третьим», а шестым лишним. Сестра ее ютилась в их бывшей детской со своим хмурым мужем и невероятно писклявой новорожденной девочкой, сорокапятiletние родители, любившие друг друга и вовсе не стремившиеся прекращать свою богатую сексуальную жизнь из-за присутствия за шкафом семнадцатилетней студентки, тоже постоянно выражали раздраженное недовольство. Во всяком случае, ей предписывалось «искать мужа с квартирой» и, похоже, к концу пятого курса дружная, но припертая к стенке унижительным «квартирным вопросом» семья уже готова была выпихнуть младшую дочь хоть в пещеру к неандертальцу – только бы избавиться хоть от одной из многочисленных донимавших проблем...

Курсант-выпускник знаменитого тем, что располагалось в здании бывшего Третьего отделения, но совсем не престижного военного училища, с которым Гостья познакомилась у каких-то случайных приятельниц, внешностью далеко не отталкивал. Наоборот, его можно было рисовать на красочных плакатах, изображающих самых мужественных и готовых только к победам защитников социалистического Отечества. Сероглазый пшеничный блондин с квадратной челюстью майора Пронина, с традиционной косой саженью в плечах, упорно и многозначительно молчавший, он ухаживал за Гостьей с туповатой настойчивостью и не допускал и мысли о ее возможном отказе. Ехать одному на место далекой службы – учился он так себе, а влиятельными покровителями не обзавелся – парню мучительно не хотелось, потому что ничего привлекательного в изнуряющем онанизме над контрабандным затасканным порножурналом он, как разумный человек, не видел, да и вообще жизнь предпочитал ясную, чистую и правильную – с надежной женой-другом и не менее чем с двумя крепкими советскими детишками. Жене, разумеется, предстояло стать не только другом, но безотказно восторженной любовницей, а, следовательно, внешность играла роль едва ли не первую.

Он терпеть не мог гремящих костями на всех углах скелетоо-

«Критическая масса» и другие повести...

бразных красоток нового времени, а предпочитал девушек с впечатляющими диаметрами обеих важных окружностей – и тут Гостьины тициановские размеры пришлись ему как раз по душе. Решил завоевать – и точка. Отступать он не привык, ибо считал себя настоящим, а не опереточным мужиком.

Была ли Гостья влюблена? Поначалу ей казалось, что да. Кроме того, та основательность, с которой суровый курсант ухаживал – то есть, по раз и навсегда кем-то утвержденному сценарию – априори означала самые серьезные намерения из всех возможных. В проштампованный сценарий входило обязательное первичное приглашение в кино, скромный букет на первом свидании, пешая прогулка в красивых питерских сумерках до ее дома, утренний звонок с обстоятельным рассказом о недавно прочитанной мудрой книге и последующим приглашением уже рангом повыше – в труднодоступный театр, куда еще нужно было ухитриться достать два билета в бельэтаж... По мере развития событий дело закономерно доходило и до первого поцелуя – почему-то обязательно в подъезде – но пока что руки целующего скромно касались только спины лобызаемой девы. Там не за горами было уже и церемонное представление жениха растроганным родителям в прихожей с непременно виднеющимся на заднем плане через гостеприимную дверь столом, накрытым для чаепития, с ужасающим блюдом эклеров по центру. Совсем скоро гремел над летней Невой марш Мендельсона для пышной и белой, как зефирина на свадебном торте, смущенной невесты и накануне произведенного в офицеры озабоченного жениха, неизвестно, чем больше гордившегося: то ли двумя свежесолотыми погонами, на которые по очереди счастливо косился, то ли все-таки теплым и воздушным чудом в кривой фате, с надеждой уцепившимся за его новенький зеленый рукав...

Спустя месяц на секретной точке в тайге их было восемь человек: ее серьезный тугодум-муж, бойко, но бестолково руководивший всем эти странным неполным отделением; насмешливый сержант-сверхсрочник, по-настоящему командовавший всеми, включая и своего розового лейтенанта-командира; пять рядовых, вырванных Родиной себе на службу из крупных областных вузов и оттого к ней категорически непригодных; и она, молодая неприкаянная жена, две недели как беременная, по каковой причине мучительно блевавшая под каждый куст...

Мужа она к тому времени уже прочно и безнадежно разлюбила – да и раньше не особенно обольщалась перспективой их показательного брака, почти не скрывая от себя, что просто неловко сбежала с его помощью из утратившего былую надежность родительского гнезда. Даже пятеро рядовых-студентов казались теперь привлека-

тельнее законного супруга, сразу приобретшего все хрестоматийные черты самого банального солдафона. Вот отрубят они треклятый срок на таежной точке, закончат свои интересные институты – и превратятся в чудных трудовых интеллигентов, инстинктивно чурающихся кампании дубоватых военных... Не рожать бы – может, уехала бы с одним из них... А теперь...

Для образованных ребят из приличных семей ее плачевное положение с самого начала не являлось никаким секретом. Недаром сговорились они из своих пеших командировок в ближайшее село за двенадцать нелегких километров, куда сержант еженедельно отправлял одного солдата по неотложным нуждам их маленького дружного сообщества, приносить ей в качестве гостинца то десяток малосольных огурцов, считавшихся на точке деликатесом, то кружку квашеной капусты от самой опрятной бабушки в пределах досягаемости. Они бы таскали ей и редкие по красоте цветы из ставшей почти родной тайги, да боялись непредсказуемой реакции своего строгого командира. Так и осталась Гостья без таежных цветов: муж ее, почитая свою программу-максимум по уходу за женщиной успешно выполненной, больше до гостинцев и букетов не снисходил: жену баловать – себе на шею посадить. А шея ему, чтобы умную голову держать, пригодится...

До райцентра, где существовала амбулатория и больница, и куда раз в месяц ответственно отвозил молодой лейтенант свою отяжелевшую жену на обследование, в страшную ночь ее родов они не успели добраться. От первых неясных схваток до судорожных потуг, превративших Гостью в бесстыдное в нечеловеческом страдании животное, прошло не более двух стремительных часов, в течение которых они доехали только до акушерско-фельдшерского пункта. Ей было уже все равно, и явно приблизившаяся смерть – чья угодно – своя ли, ребенка ли – выглядела желанным островком сказочного блаженства. Все что угодно – мать родную, государственную тайну, христианскую душу – она отдала бы в тот невероятный час за избавление от убийственной боли...

Несентиментальная, корявая, как старый пень, акушерка, вынутая из стародевичьей постели на окраине мертво спящего села, только положив ей одну руку на бугристо-шевеливающий живот, сочно выматерилась:

- ..., спиной ведь идет,...!!! Сейчас оба содохнут!!!

- Чего?! – обернулся от столика с инструментами позеленевший от такого известия до той минуты меланхоличный худосочный интерн в роговых очках, безжалостно сосланный родным мединститутом по распределению в, как теперь оказывалось, совсем неромантическую глушь.

«Критическая масса» и другие повести...

Его руки крупно затряслись, и губы запрыгали, но какой-то рисунок из учебника по акушерству за четвертый курс все-таки, вероятно, встал перед глазами:

- Над-до... п-плодоразрушающую оп-пер-рацию... Б-б-б-быстро... – тут комсомолец шустро и неожиданно правильно перекрестился: – Г-господи, п-помилуй Ты нас, грешных, п-пожалуйста...

Сам-то он младенца щадить не собирался, а милости просил исключительно для себя – но молитва дошла до черных здездастых Небес.

- Иди ты – плодоразрушающую... – акушерка решительно отодвинула растерянного доктора твердым острым бедром. – Ща поворот на ножку спворим, чай не впервой... Камфару приготовь, олух Царя Небесного...

Истерически-дикое «Не-ет!!», утробно испущенное начинающим эскулапом, было последним, что успела услышать Гостя меж собственных не менее варварских криков, а в следующий миг, по полам разорванная уже не земной, а явно преисподней болью, она стремительно низвергнулась в непроницаемую бездонную бездну долгожданного обморока...

Из бесчувственного тела была за ножку извлечена и очень быстро отшлепана по маленькой синей попе до первого крика крошечная и уродливая, но, насколько это вообще возможно после такого катастрофического появления на свет, здоровая девочка. Бог судил ей выправиться в безупречную красавицу, отрастить косу длиной и толщиной в собственную руку, прожить целых пять лет и под корень срубить жизнь родной матери. Но сначала ей предстояло быть на-смерть полюбленной своим суровым отцом.

Глава 5 **А Бетховен с Нельсоном не дремали**

с того самого дня, когда белый от переживаний Бетховен еще до рассвета примчался к другу домой и, путаясь в словах, поведал, как случайно встретил Мразя на открытии второразрядной художественной выставки – да еще в качестве кого! В качестве скульптора-участника! Новость была настолько архиважной, что Бетховен пренебрег даже неписанным правилом, установленным в том доме его железной хозяйкой Верочкой – никогда не упоминать при ее муже ничего, что связано с любыми формами изобразительного искусства, второй большой любви Нельсона, только, в отличие от первой, навсегда утраченной. Ну и что? В конце концов, у Бетховена вообще только одна любовь и была – музыка, и он ее тоже лишился... По милости Мразя...

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Ты уверен? – тихо спросил тогда Нельсон. – Не мог ошибиться? Ведь почти двадцать четыре года прошло...

Бетховен был уверен. Мразь по военкоматовской линии числился в списках пропавших без вести – и действительно, после того, что он спокойно (это оба друга отлично запомнили) совершил тогда, в августе восемьдесят восьмого, подавать о себе какую бы то ни было весть ему не было вовсе никакого резона. Он не мог быть уверен до конца, что в том последнем бою у зеркальной скалы погибли все ребята до единого – и тут уж уцелевшие его не пощадят; не идиот же – должен понимать ясно... А вот поди ж ты – имя сменил (Бетховен специально на табличке прочел), профессию новую обрел (может, из прежнего хобби выросла, кто знает), не усидел в Иране (или куда там рванул из-за скалы той) – припекло, видать, ближневосточным солнышком... Но рожу-то не сменишь... Сколько ему тогда было, когда капитанские погоны носил? Лет тридцать пять, а сейчас, стало быть, под шестьдесят... Выглядит старше, потаскан, ничего не скажешь – а что удивляться, жизнь и по нему БТРом проехала... Черты лица остались теми же, только темные оспины на висках стали четче и жестче, кожа обвисла, как у старого бульдога, внимательные глаза ушли глубже, оделись сеткой мелких и частых морщин – так это от старости, а взгляд тот же... Помнил Бетховен его взгляд – обманчиво-порядочный, вроде как искренне заинтересованный, чуть ли не дружеский...

На выставке Мразь его не узнал – иначе обязан был испугаться и на месте обделаться. Ничего похожего: скользнул по нему дружеской улыбкой, как ножом полоснул – и мимо потек, с каким-то бородатым типом обниматься полез... С обжигающе-колотящимся сердцем с виду вальяжно прогуливаясь по недорогому вернисажу, разглядел Бетховен и скульптуры его, понатыканные тут и там среди картин на вершинах грязно-белых параллелепипедов. Видел бы Нельсон что-то, кроме мутных полувцветных пятен, он бы, конечно, лучше определил, но Бетховен и сам догадался: добротнo сделано, не на дурачка рассчитано. Лица у скульптур одушевленные, и глаза у них не пустые, как это обычно бывает, а словно бы бьется за ними напряженная, значительная жизнь... Надо же... и как в одном человеке такие крайности совмещаются? Тогда – пять десятков парней, глазом не моргнув, «дúхам» на растерзание беззащитными сдал, а здесь, скажите пожалуйста, две глиняные блокадные бабули – а может и девушки, шут их разберет – и одна из них с трагическим лицом играет на скрипке, а другая, скорбью исходя, слушает...

Чтобы совсем убедиться – или разубедиться – в своей правоте, Бетховен в отцовской «Самаре», давно у бати добровольно-принудительно реквизируемой, Мразя у выхода скромно подождал, гадая,

«Критическая масса» и другие повести...

сумеет ли потом в городе удачно выследить и по дороге не упустить, а выяснилось, что и упускать некуда: Мразь спокойно проживал себе в соседнем дворе в таком же длинном и неуютном блочном доме, в каком располагался и замурзанный выставочный зал, на девятом последнем этаже, окнами в торец и во двор: следы не хочу. Он это, кто ж еще – позади конспиративно труся, определил Бетховен: и походочку узнал – вроде как невытравливаемо-подтянутую армейскую, а вроде и наглогато-расхристанную: несоветскую, из того, «свободного», свободой своей уже сколько стран задавившего мира... Жест особый вспомнил, когда тот ключ из кармана доставал, чтобы в подъезд свой проникнуть – точно так же, бывало, и кобуру в свое время лапал... Ну, все. И из-за края земли вынимать его не пришлось для Нельсона: сам в руки летит, голубок, думает, срок давности вышел – и можно вновь русскую исстрадавшуюся землю безнаказанно импортными ботинками на меху попирать. Не выйдет...

В отличие от Нельсона, двадцать четыре года назад свалившегося на любящие руки юной жены (а вот интересно, всегда думал Бетховен, будь Вера тогда не женой уже, а лишь невестой – пошла бы замуж или сдрейфила, как Надька, даже на просьбы его рыдавшей перед ней матери не отозвавшаяся?), он себя инвалидом не считал, на шее у родителей с копеечной своей пенсией сидеть считал недостойным, и потому, еще в армии получив водительские права, вот уже двадцать лет профессионально «бомбил» питерские богатые улицы. Официальным таксистом, конечно, устроиться не мечтал: работодатели как видели слуховой аппарат («А что это у вас в ухе такое интересное?»), так и шарахались, будто от чумного; и то сказать: хорош таксист со знаком «глухой водитель» на заднем стекле... Частным клиентам плевать было – лишь бы доvez, куда надо, подешевле – а обидный дефект свой со временем он так ловко научился прятать, что о нем не все и догадывались, многие просто за нелюдима держали... Чистую выручку делил по справедливости: две трети – матери на хозяйство, одну – себе, на баб тратить. «Ходоком» за это время стал еще более виртуозным, чем водилой, но пол женский ни во что серьезное в своей жизни не ставил: за цветной мусор под ногами держал – только жалел иногда, что в тот последний пыльный и солнечный день перед армией на Надькин отчаянный призыв не откликнулся: может и по-другому все пошло бы, если б он так пренебрежительно ее тогда не отодвинул... А теперь – кто был у нее первым, кто станет последним – Бог весть... Ну, да уж как вышло...

Музыка не покинула Бетховена, снилась ему по ночам и – вот удивительное дело! – в снах своих он глухим не был! Он слышал и бархатно поющий драгоценный инструмент давно покойной Елены Ивановны, и собственный добротный, уверенно звучащий «Ок-

тябрь», и сотни концертов для фортепьяно с оркестром, где за фортепьяно, конечно, неизменно сидел он сам... Стало быть, слух ушел, был грубо вырван с корнями – а музыка сохранилась? Где, в каких глубинах его организма она продолжала волшебным образом звучать? В мозгу, в крохотном участке, отвечающем за память? Нет, *помнил* он и наяву, а во сне – *слышал*... И не только музыку, а и забытый голос мамы, мурлыкавшей ему, маленькому, безыскусные колыбельные, – голос, который он наяву давно позабыл совсем, а во сне узнавал безошибочно... Где теперь гнездились в нем утраченная музыка и дорогой голос? В душе? Значит, она все-таки есть? Присутствие ясно слышимой музыки в деревянно глухой голове доказывало существование бессмертной души почти неоспоримо...

Интересно, а у Мразя тоже есть душа? Есть? Ну, так пусть летит на Божий суд черным лебедем... Бетховен исправно, несколько раз в неделю, приносил Нельсону самые свежие сведения о вражеских передвижениях по городу – простых и совсем не подозрительных: за продуктами ходил, пиво в ларьке брал, к заказчику на старой «Ниве» ездил, а потом чего-то «Самарой» заинтересовался... Бетховен не слышал, конечно, как тот приблизился – едва успел чуть ли не под сиденье нырнуть... Поосторожней теперь следить придется, не запаниковал бы «объект» раньше времени... Правда, однажды Мразь отчего-то выскочил из своего подъезда как ошпаренный, в одном свитере и тапках – а морозище был... Добежал до угла, посмотрел там на что-то – и домой трусцой, пару раз чуть на лед не сверзился... А так ничего особенного...

Столкнуть его под поезд в метро? – дни и ночи рассуждали Бетховен с Нельсоном. Нельзя, там везде камеры наблюдения понатыканы, не убережешься потом – самих на пожизненное отправят. Под электричку? Это нужно на глухом полустанке делать, а зачем туда Мразь попрется, разве что за грибами... А если не попрется? Отравить гада? А с чего это он с ними обедать сядет? Ладно, прикинуться заказчиками и пригласить на деловой ланч. Даже если он яркого Бетховена и не узнает (хотя почему – приглядится и вспомнит), то латаный-перелатанный Нельсон уж точно возбудит подозрение, а он непременно хочет в казни участвовать – и как его не понять... Да и где такой яд добыть, чтоб и без вкуса, и наповал? Станешь справки наводить – засветишься...

Утонченный Нельсон возражал против того, чтобы Мразя тихо укокошить – исподтишка и с оттенком подлости. Приговоренный не должен в последние секунды смертного ужаса посчитать происходящее жестоким убийством или нелепым несчастным случаем. Он должен узнать, что его не убивают за тощей кошелек бессмысленные бандиты, а казнят добровольные мстители-палачи, казнят от лица не

«Критическая масса» и другие повести...

только своего, но и тех сорока восьми парней, что из серого ущелья и от подножия отвесной скалы, преградившей путь к спасению, улетели вверх – но не свободными, перламутровыми в рассветном солнце птицами, а страшным грузом-двести в рокошущем «черном тюльпане»... Зачитать ему приговор – и разрешить последнее слово сказать, если липкий язык шевельнется. А не шевельнется – пусть молча на коленях ползает. Но не безвинной жертвой умрет, а кровавым преступником...

- Значит, план такой!!! – мечась по комнате с выставленными вперед по давней привычке руками, раненым мамонтом ревел Нельсон, в надежде донести до друга хоть комариный писк сквозь драгоценную жемчужину слухового аппарата. – Ружье охотничье двустольное и к нему крупную дробь берем в квартире моего отца: мачеха не откажет, совру, что на память о нем, да и баба она невредная!! Покойник-то охотником был азартным, и на медведя случалось ему ходить! Лопату покупаем сами, место тебе придется заранее выбрать – чтоб поглуше!! Потом знакомимся с ним и приглашаем на рыбалку, грибы собирать – или чего он там любит!!! Тебе гримироваться придется, чтоб не узнал ненароком! В доверие надо втереться! Если он ничего не подозревает, то почему бы ему и не поехать?!! Ведь одинокий же, никаких развлечений!! А там уже дело техники!! Завозим в лес на твоей тачке!!! Лопату и двустолку сначала в багажнике оставляем, чтоб не заподозрил до времени!! Делаем привал на выбранном месте, жратву достаем, вроде как пикничок задумали!! Я ему зубы заговариваю, а ты за ружьем бежишь! Как возвращаешься – ствол ему ко лбу!!! А я приговор зачитываю – то есть, наизусть, конечно, говорю! Ты палишь первый, да так, чтоб он не сразу окоchuрился!!! Чтоб я мог потом добить с твоей помощью!!! И все!!! Закапываем поглубже, землю ровняем – и все дела!!! Ну, детали мы по ходу дела обдумаем...

Какие там детали... Бетховену хитроумный план не нравился категорически.

- Не барышня я, чтоб знакомиться! Как я познакомлюсь, платочек уроню, что ли?! – огрызнулся он. – А и познакомлюсь – не артист: как такую сложную роль играть! Ведь это ж долго с ним возиться надо, чтоб он доверять стал и поехать согласился! Не сумею я! Догадается! И потом, как это – гримироваться? Даже не знаю, с какого конца за это берутся! На клоуна буду похож! В цирке! Что он, дурак, что ли? Или что – череп побрить, а усы-бороду, наоборот, отрастить подлиннее? Так вообще решит, что чечен, испугается и убежит! И, кроме того, если даже до машины дело дойдет – будь уверен, кто-нибудь увидит, как он ко мне садится! И номер запомнит! Так всегда бывает! А потом Мразь исчезнет – а свидетель прямиком в мили-

цию... Нет уж, это извините, другое что-то надо придумывать! Шевели давай, Нельсон, своими извилинами интеллигентскими – ты у нас мозговой центр – по праву рождения. А я Консерваторию не закончил, так в рабском сословии и остался, мне исполнителем быть... И глазами твоими тоже...

Глаза Нельсон предпочел бы иметь свои собственные. Хотя бы один – чтобы рассмотреть Мразя получше, не совсем уж на горячего Бетховена полагаться. Без глаз стопроцентная уверенность, как ни крути – а не обреталась. Ненависть вела его друга по не зарастающей тропке большой памяти, туда, в давний закат на чужой и враждебной земле, где свершилось предательское злодеяние, не отмщенное и поныне. Надо ли мстить за ту вечную тьму, которая многих ожидает после смерти, а его по чужой вине настигла при жизни, сомневался Нельсон бессонными ночами, осторожно вертясь рядом со спящей крепким трудовым сном женой Верой на горячей подушке. «Мне отмщение и Аз воздам», – строго предупредил его Бог в Своей главной книге. Но разве не через людей действует Он в этом несправедливейшем из миров?

Только под утро забывался неугомонный Нельсон, слушая, как на своей подстилке в прихожей старчески шумно сопит его верный и любимый друг, седой эрдельтерьер по имени Раджа.

Одиннадцать лет назад специально обученного пса-поводыря организовал для Нельсона Комитет ветеранов Афганской войны. Раджу учили грамотно и долго, два года, поэтому в дом к своему подопечному, о котором следовало теперь заботиться до конца короткой собачьей жизни, он попал уже вполне взрослым. Первое время он катастрофически скучал по прежнему хозяину, вовсе не догадываясь о том, что это был всего лишь профессиональный кинолог, призванный натренировать животное в нужном направлении, передать его инвалиду-афганцу и никаких сантиментов при прощании не испытывавший. Раджа, умный красавец-эрдель с черным курчавым чепраком, кирпичными подпалинами, мордой-саквояжиком и жаркими южными глазами, тяжело переживал измену первого друга-предателя, с месяц был ни на что не годен и Нельсона до себя не допускал. Второй курс дрессировки проводила Вера, которую Раджа быстро вынужден был полюбить, потому что она его кормила и выгуливала – да и вообще он ничего не имел против милых дам, ведь кинологом-изменником был мужчина. Сначала он вообразил было, что в качестве поводыря предназначен именно ей, и все порывался упираться, когда она невозмутимо волокла его через дорогу на красный свет, или, наоборот, вдруг деловито устремлялся вперед, таща ее за собой на зеленый к приманчивым дверям мясного магазина, который для нее, убежденной вегетарианки, неизменно являлся



драконьей пещерой ужасов... С того памятного дня в Ташкентском госпитале, когда ей сказали, что муж ее, вероятно, навсегда ослеп, хрупкая и нежная Вера давно научилась преодолевать такие незначительные трудности, как незапланированное упрямство дурацкой собаки, решительно и радикально. Пару раз Раджа был хорошенько выдран поводком прямо на улице под осуждающие реплики жалостливых прохожих, а потом на сутки оставлен без воды и корма, что, во-первых, живо и наглядно продемонстрировало ему, кто в доме хозяин, а во-вторых, напомнило о том, зачем он вообще в этом доме нужен. Словом, через месяц пес исправно нес свою нетрудную службу по выгуливанию Нельсона в пределах их спокойного микрорайона, сначала с отвращением, трудясь только ради миски теплой баланды из манной каши и куриных горлышек, а потом с радостью и восторгом, потому что новый друг оказался гораздо привлекательней прежнего, равнодушно-строгого и часто надолго исчезавшего в неизвестном направлении. Между Нельсоном и Раджой вскоре завязалась суровая мужская дружба, они стали словно бы соратниками в невидимой борьбе со страшным врагом – вечными сумерками одного из них, полными разноцветных призраков прошлого и злобных серых чудищ настоящего. Разговаривая со своей отзывчиво бодающейся собакой, Нельсон часто ловил себя на мысли, что ему совершенно не мешает тот факт, что Раджа не умеет разговаривать. Ну и что, его другой близкий друг Бетховен с некоторых пор не умел слышать, а сам он – видеть, но на дружбу это ведь никак не влияло! Когда Вера уходила на работу, оставляя более или менее беспомощного мужа на долгие часы наедине только с неразумным, как ей казалось, животным, Нельсон все больше и больше убеждался, что пес его поразумнее и посовестливее некоторых особо отличившихся в этом мире двуногих... Во всяком случае, на предательство он не способен. Лгать не умеет. Не знает, что такое притворство.

Но прошло лет девять, и Раджа начал приметно сдавать: собачья старость неумолимо подкрадывалась к нему, лишая былой феноменальной зоркости и ослабляя тренированную память... Зато появилась не свойственная ему ранее неопрятная стариковская прожорливость, случалось, необыкновенно смущая деликатного Раджу, недержание мочи во сне, тяжелый его храп будил среди ночи усталых хозяев... Теперь ему, еле передвигавшему четыре облезлые лапы, самому требовался поводырь на прогулках – и уже Нельсон, обжившийся в своем полумраке до почти полной уверенности, служил другу верой и правдой, осторожно, с долгими остановками, водя его на длинном поводке между коварными холодными лужами... Неизвестно, что думали теперь прохожие об этой странной медленной паре, где первым размеренно брел очевидный слепой – в темных

«Критическая масса» и другие повести...

очках, с обязательной белой тростью, и бережно влек за собой на тонкой цепочке шатающегося лысого эрдельтерьера, гордо несущего, тем не менее, на шее красивую табличку: «Собака-поводырь».

О том, чтобы взять и коварно усыпить навеки старого четвероногого дармоеда, теперь на халяву присосавшегося к ее более чем незначительной зарплате скромной чертежницы и тем унижительным подачкам на бедность, которые ежемесячно получал от государства ее муж, Вера даже не заикалась, за что Нельсон был ей нежно благодарен. Жена, как он молча подозревал, даже принеся столько неопенимых жертв на алтарь любви, все равно чувствовала себя перед мужем несколько виноватой за то, что, пережив первую печальную беременность, сознательно не стала лечить вполне закономерное после варварских медицинских манипуляций бесплодие. В своей ежедневной борьбе за каждый тусклый просвет в той плотной завесе, что всегда теперь окутывала ее несчастного мужа, она боялась, что с дополнительным потребителем ее вовсе не неиссякаемой энергии, каким станет ребенок, она попросту не сумеет справиться. Потом она прочла в повести у известного, но совсем не модного в перестройку автора, что самка любого дикого животного, прежде чем выйти с выводком на открытое место, обязательно выталкивает вперед одного из детенышей. Мать как бы заранее жертвует им во имя спасения себя и остальных, на тот случай, если впереди ждет грозная опасность. Вера поняла, что поступила в полном согласии именно с этим древним инстинктом, пожертвовав не рожденным и даже не зачатым ребенком, ради того, что было много значительней звериного выводка. Она стремилась не просто не усложнить до невозможности и без того нелегкую жизнь маленькой семьи, но и билась за сохранение своей собственной любви к мужу-калеке, любви, которой неминуемо предстояло бы померкнуть, ослабеть и вовсе угаснуть, если вдруг одолели трудности, которые нельзя вынести без необратимого искажения собственной личности... Вера билась за свою цельность. И она ее сохранила. Да и то сказать – каково бы жилось ребятам при отце, на которого нельзя смотреть без жалости и отвращения? А как бы стал жить он сам, ни разу не взглянув на зачатых им детей? Не хотела Вера лишней драмы в своем доме – хватило ей уже этих драм. Так и объявила Нельсону однажды – и он ни на чем не стал настаивать.

Иногда, лежа без сна с Вериней теплой сонной головкой на своем плече, Нельсон размышлял о том, что они с женой все-таки самым парадоксальным образом счастливы. Счастливы даже как-то кощунственно: он, лишившийся главного из пяти наиглавнейших чувств, и она, пожертвовавшая ради него всеми возможностями своей юной жизни и, прежде всего, искусством, которое любила раньше

Наталья ВЕСЕЛОВА

не менее жадно, чем муж... От живописи Вера отказалась из деликатной солидарности и, стиснув зубы, вычерчивала каждый день сложные чертежи нелюбимых и неинтересных предметов, потому что не могла позволить себе мучить близкого человека своей возможностью запросто заниматься тем, чем ему было навеки заказано, да и просто терзать его самым желанным на свете запахом масляных красок... Вместо этого она однажды съездила в негостеприимную Польшу с единственной целью – достать там большую коробку духов «Может быть». Этого модного когда-то в восьмидесятых парфюма теперь нельзя было достать в России ни за какие деньги, а Вера знала, как мил для Нельсона ее прежний, девичий запах, как он тоскует по нему в минуты их частой и привычной, но все равно умудрившейся не потускнеть за долгие годы близости... Духи она сумела найти лишь в провинциальном Белостоке и, вызывая недоумение как хмурого польского продавца, так и обыскивавшей ее впоследствии на границе русской таможенницы, гордо повезла в Россию целый ящик маленьких тонких флакончиков с круглыми пластмассовыми головками, наивно надеясь, что этого запаса хватит ей до конца жизни...

От пушистой светло-русой головы, каждую ночь доверчиво лежавшей у него на груди, теперь всегда пахло этими давно немодными духами, и Нельсон растроганно думал о том, что Вера, уже справившая сорок четыре года, скорей всего, выносит на скучной своей работе и пошлые насмешки женщин-коллег за упорное употребление этого скромного девичьего аромата из далекого прошлого... Иногда он усмехался про себя, когда понимал, что приди он с войны целым и невредимым – и мог бы потерять ее очень скоро, потому что непутевые бабы всегда вешались ему, синеглазому блондину с мужественным голосом, на шею – и он неминуемо загулял бы на свободе от молодой жены – а мог бы бросить ее и позже, когда синие те глаза, которые Бог у него милостиво отнял, увидели бы, как она некрасиво стареет, как упругое бархатистое тело превращается в рыхлую квашню, а задорное юное личико становится непоправимо бабьим, обвислым и густо крашенным... Теперь он ничего этого не знал и знать не хотел, помня ее только тонкой романтичной девушкой с ровной русой челкой до бровей и ореховыми глазищами косули – ну, а руки и губы, неутомимо исследовавшие по ночам ее тело в самых сокровенных подробностях, – они привыкли делать это почти еженощно и не замечали свершившихся роковых изменений... Нельсон не мог без Веры жить не потому, что в грубом материальном смысле без нее давно спился и пропал бы, а просто потому, что любил и знал, что она тоже любит... Бог дал гораздо больше, чем отнял – проблеск этого понимания все чаще мелькал у него в сознании, и тогда Нельсон

«Критическая масса» и другие повести...

смущенно чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Жена давно уже стала для него своеобразным центром мироздания, он привык делиться с ней всеми своими мыслями, подробно пересказывать фильмы, прослушанные в ее отсутствие, звонить на работу по нескольку раз в день, просто чтобы знать, что она есть у него... А вот попросить совета в том правом деле, что задумали они с Бетховеном еще до того, как Мразь был обнаружен и вычислен, Нельсон никак не мог – язык не поворачивался. Хотя и повторял каждый раз, когда вновь начинали они с другом толочь в невидимой ступе невидимую воду: «Вот бы у Верки спросить – она бы точно подсказала!». И однажды в середине дня, когда снова сошлись друзья у Нельсона на кухне и принялись обсуждать и отвергать один за другим уже фантастические способы казни, горячо громоздить одну нереальность на другую, дверь вдруг бесшумно открылась, и на пороге возникла совершенно непроницаемая внешне Вера, давно ушедшая на работу.

- Болваны, – спокойно сказала она. – Нужно просто прийти к нему домой, позвонить в дверь и отозваться женским голосом, чтобы он не испугался открыть. Ворваться, оглушить и связать. Он старый – сопротивляться не сможет. Быть при этом, разумеется, в перчатках. Очухается – зачитать приговор, дать последнее слово и повесить на люстре. В квартире ничего не трогать. Если он живет под чужим именем – а это так, конечно, ведь он военный преступник – то никакой связи с вами у него нет. Такое дело – «глухарь», вас никогда не найдут. И это действительно будет не убийство, а казнь.

- А... кто отзовется женским голосом? – глупо спросил прочитавший монолог по губам Бетховен.

- Я, – не дрогнув, ответила Вера.

...Обвинительный акт – он же приговор – сочинила, строго говоря, тоже она. Нельсон с Бетховеном так хотели уместить в каждое предложение наибольшее количество информации, что выстраивали на тетрадных листах странные сверхсложноподчиненные конструкции с целыми гроздьями беременных друг другом придаточных, наконец, уверенно запутывались в трудной русской грамматике и жалобно звали на помощь Веру. Она приходила из кухни, вытирая руки о фартук, с минуту сосредоточенно шурилась на измаранный петлистыми стрелками и неразборчивыми вставками линованный лист и твердым звонким голосом выдавала неоспоримую в своей точности формулировку. Готовый текст друзья вызубрили и сожгли: оставлять его без присмотра даже на день было опасно...

Ликвидацию назначили на самое мертвое время рядового безнадёжного рабочего дня – на вторник, одиннадцать тридцать

утра. В это время на работу уйдут все – и честный трудовой люд, и паразиты-«белые воротнички»; дети еще не вернутся из школы, зато бабульки, завершив утренний поход за баранками, усядутся пить чай перед телевизором: наличие южноамериканского сериала гарантировалось придиричиво изученной по совету все той же Веры программой телепередач. В домофон звонить не предполагалось, чтобы дорогого клиента заранее не встревожить, но Вера в неприменном парике и дымчатых очках должна была непринужденно дожидаться у двери подъезда, пока оттуда кто-нибудь выйдет. Ей предстояло просигналить по мобильному, что она внутри – и тогда уже Нельсон с Бетховеном максимально оперативно проследуют в подъезд из машины, оставленной предусмотрительно не на виду. На лифте вся тройка поднимется на девятый нужный этаж, и спортивный Бетховен займет позицию сбоку от двери, держа наизготовку мешочек с песком. Вера быстро позвонит в дверь Мразя и, сняв очки, с дружелюбной улыбкой встанет прямо перед глазком. На вопрос хозяина квартиры она сразу назовет его по новым, ложным, фамилии-имени-отчеству и помашет большим конвертом – мол, срочный пакет вам, надо расписаться... В таких случаях, утверждала Вера, даже в самых криминальных весах девяносто девять процентов населения откроет дверь... Дальше она напрямую участвовать отказывалась, вызываясь, однако, покурить на лестничной клетке, пока вершатся, в прямом смысле, суд да дело, чтобы обеспечить обоим исполнителям безопасный выход с места приведения приговора в исполнение...

Весь план был так прост и надежен, что заставить его сорваться могла только отвратительная случайность – и то она вряд ли могла оказаться настолько роковой, чтобы впоследствии безупречный сценарий нельзя было запустить по-новой.

И все с самого начала пошло, как идеально заточенный конек по свежезалитому катку. Никто не обратил внимания на неприметную женщину с гладкими черными волосами и в мышинном плаще, рассеянно ждавшую кого-то у подъезда, никто не воспрепятствовал ее тихому проскальзыванию в подъезд, никто не заметил, как, быстро шагая под руку, к подъезду приблизились два скромных, в китайских куртках мужчины – один, правда, носил подозрительные в пасмурную погоду непрозрачные черные очки – но кому это, на самом деле, интересно! Подъезд почему-то открылся мужчинам навстречу самостоятельно – но этого вообще никто не видел и над несурзанностью не задумался... На нужной площадке мужчины уже стояли спинами к шершавой стене рядом с косяком рыжей железной двери, а женщина, только что позвонившая в дверь, с немного каменным лицом стояла перед глазком, держа перед собой обеими руками

«Критическая масса» и другие повести...

белый конверт, необыкновенно щедро обклеенный цветными марками – и тут на всю лестницу прозвучал безысходный животный рев.

Маленькая железная дверца, ведущая на чердак, с ржавым визгом распахнулась, и из отверстия, минуя ненадежную железную лесенку, неловко вывалился огромный тяжелый мужик. Он не успел и пошевелиться, как прямо на него с грацией рыси, в сибирской тайге бросающейся с кедровой ветви на беззаботную дичь, легко спрыгнул поджарый милиционер в бронежилете.

- Полиция, урод, – радостно сообщил он, артистично валя жертву мордой в серо-грязный бетонный пол и зверски заламывая ей руки. – Не дергайся, хуже будет... – и он торжествующе глянул на троих белых от ужаса людей, застывших у квартирной двери, как раз начавшей открываться без всяких риторических вопросов изнутри.

Дверь раскрылась, явив в проеме удивленного пожилого человека с мятым лицом и в темно-синем шерстяном тренировочном костюме – эксклюзивном, доперестроечных еще времен – и одновременно с чердака весело посыпались другие накачанные парни в серой пятнистой форме и с автоматами. Их было явно слишком много на одного уже заваленного зубра, и они с молодым любопытством озирались вокруг, доброжелательно разглядывая случайных свидетелей своего подвига, полностью онемевших от такого зрелища.

Пожилой мужик тоже недоуменно осмотрелся, с некоторым смутным узнаванием задержав испытующий взгляд на лице красивого черноволосого мужчины в штатском – и тут уютный матерок, ровно и беззлобно звучащий на сцене, был прерван явно командирским железным баритоном:

- Так, граждане, не толпимся. Проходим по своим делам, не задерживаемся.

Дверь квартиры захлопнулась, глотая сдрейфившего хозяина, а три неизвестно чем занимавшихся на площадке, но ни о чем таком не спрошенных человека были быстро и нелюбезно запихнуты в специально для них вызванный лифт.

- Спалились, – выдохнул Бетховен на первом этаже. – Уходим...

...Через полтора месяца, когда уже начинала робко пушиться первая чахлая северная сирень, и снова пришла в город короткая, восторгающая гостей и ненавидимая аборигенами призрачная пора схождения зари с зарей, Бетховен и Нельсон стояли на чердаке дома, что располагался торцом против торца длинного невзрачного дома их приговоренного врага. Расстояние оказалось приличным, едва ли не семьдесят метров, что совершенно не смутило важного по

случаю торжественного дня Бетховена, запасшегося военным биноклем, и столь же совершенно не интересовало Нельсона, без очков различавшего в уж и вовсе кромешной тьме лишь бледное сероватое пятно на уровне человеческого роста. Сероватое пятно на самом деле являлось торцовым чердачным окошком и обеспечивало идеальный обзор Мразевой крохотной кухни, где он уже час в одиночестве мрачно пил темное крепкое пиво.

Наутро Мразю предстояло умереть – мгновенной, непонятной и, к неудовольствию Бетховена, безболезненной смертью – и поделаться с этим, вероятно, уже ничего было нельзя, даже если б друзья почему-то передумали: разминировать машину обратно, они, скорей всего, просто не сумели бы, не подорвавшись вместе с ней. А вот подключить взрывное устройство, замыкавшееся, по давней и верной традиции, на замке зажигания, оказалось неожиданно легко: четкая и простая, как в познавательном пособии для юного физика, схема нашлась на вполне доступном и абсолютно экстремистском сайте, обнаруженном Бетховеном уже на пятьдесят шестой странице поисковика, которому был поставлен конкретный невинный вопрос: «Как взорвать чужую машину?». Способов описывалось обнадеживающе много – от примитивных, доступных и пятикласснику, до непостижимых никакому инженерному гению. Нельсон убедил Бетховена особенно не усложнять себе задачу, чтобы в решающий момент не запутаться в разноцветных проводах так же, как еще недавно запутались они оба в придаточных конструкциях смертного приговора. Зачитывать его с того памятного дня, когда все их лица были сфотографированы профессиональной памятью не менее чем десятка местных полицейских, сочтено было опасным, поэтому центр управления операцией в лице ласковой и надежной Верочки категорически потребовал проведения казни с почтительного и разумного расстояния, предпочтя пожертвовать давно вышедшим из моды рыцарством ради безопасности всех благородных участников справедливого мщения. Никто из них троих технарем не бывал даже во сне, и потому решено было остановиться не на самом простеньком устройстве, способным обидно подвести, но и не на заковыристом до чрезвычайности. Порадовало, что все необходимые детали и компоненты свободно и вежливо, с комментариями, продавали в хозяйственных, строительных, пиротехнических и прочих хлопотливых отделах питерских торговых точек. Конспирации ради все закупили в противоположных концах родного мегаполиса, но потом остались в нерушимой уверенности, что можно было не заморачиваться и купить все в одном месте за полчаса: никто из граждан несчастной страны, где за последние двадцать лет прозвучало множество самых

«Критическая масса» и другие повести...

разнообразных взрывов, не обращал на Веру с Бетховеном (приметного Нельсона все же оставляли в машине) ровно никакого бдительного внимания.

Давно уже было известно, что Мразь в своем уютном дворе имеет постоянное личное место парковки, будто специально предназначенное для того, чтобы от взрыва не пострадал никто невиновный: старушка «Нива» всегда стояла в кирпичном закутке между помойкой и трансформаторной будкой, надежно защищенная, вдобавок, и мощной кривой липой. Нужно было быть очень невезучим человеком, чтобы заезваться в этом глухом месте именно в момент взрыва – но такие обычно до взрослого возраста не доживают, оптимистично предположил Бетховен.

На чердаке Нельсон угрюмо молчал, прислонившись к стене, что, в общем, не соответствовало его достаточно жизнерадостному характеру, не подорванному даже после всех нечеловеческих испытаний. Его постепенно одолевал холодный и гадкий ужас от мысли, что не видимый им человек, который сегодня на глазах скрупулезно описывавшего каждый его шаг Бетховена провел счастливый день с милой женщиной, а теперь блаженно пьет любимое пиво, обречен завтра погибнуть неожиданной и безобразной смертью... Если б Господь даровал полноценное зрение его единственному глазу на хоть минуту, чтобы успеть выхватить у спокойного Бетховена бинокль и разглядеть лицо приговоренного, Нельсон согласился бы весь остаток жизни не видеть больше во тьме никакого просвета. Строго говоря, зачем ему? Но он обязан знать точно, обязан... И эта женщина... Может, она любит Мразя? За что пострадает она? Нельсон тихо, но отчетливо простонал. Как узнал об этом глухой, как подушка, Бетховен? Но он легко прикоснулся к локтю друга, и Нельсон услышал:

- Я знаю, о чем ты думаешь. Я и сам об этом думаю. Только... Видишь ли, ему уже за шестьдесят, наверное, а он все по бабам ходит в свое удовольствие. А те сорок восемь наших ребят на горной дороге... Им было только двадцать. И кто-то, может, вообще попробовать не успел... Вот ради них, Нельсон...

Нельсон кивнул – да и вообще понимал, что уже, скорей всего, поздно, но сердце все равно подозрительно часто сбивалось с четкого ритма, вдруг трепетало, словно заполошно хлопало крыльями, и вновь с легким запозданием запускало свой привычный ход. Он знал, что с Бетховеном происходит то же самое, только тот из глупой гордости молчит о том постепенно завладевающим каиновом страхе, который раньше был до времени притуплен в многочисленных бестолковых хлопотах и мальчишеском охотничьем азарте. При той первой сорвавшейся попытке, прозвучавшей для Нельсона грозным

Наталья ВЕСЕЛОВА

предупреждающим набатом, они все трое действовали как бы и не совсем всерьез, словно каждый играл на сцене перед затаившим дыхание зрительным залом, где сидели только два зрителя – и, пожалуй, могли бы взять и укокошить ничего не подозревавшего Мразя на голом энтузиазме – а может, до поноса напугав, отступили бы в последний момент. Могло произойти элементарное: не поднялась бы рука на чужую теплую жизнь... А на гору старого перекрашенного железа музыкальные руки Бетховена под мрачным руководством Нельсона поднялись без всяких сомнений – и вот она стояла, готовая при повороте маленького ключика разлететься на сотни стремящихся в светлое ночное небо ослепительно ярких метеоритов, несущих на себе неизбежную смерть... И уже ровно ничего не зависело от них, двух злобствующих калек, в мучительном ожидании, беззвучном для одного и темном для другого, топтавшихся на чужом чердаке.

Еще днем они увлеченно следили за Мразем, вдруг вышедшим из подъезда под руку с высокой и полной симпатичной женщиной лет сорока в легком ярко-фиолетовом платье до неожиданно тонких щиколоток. Она увезла его в своей скромной асфальтового цвета машине на берег залива, где, с комичной застенчивостью держась за руки, они несколько часов бродили вдоль кромки воды, но не целовались, а лишь изредка тесно соприкасались плечами, потом обедали в открытом суши-ресторане, долго и серьезно разговаривая, и вновь сели в машину, причем на этот раз за рулем сидел уже погрузневший отчего-то Мразь. У круглосуточного гипермаркета, сиявшего прожорливыми огнями, куда подъехали поздним светлым вечером, вышла странная неувязка: внутрь зашли и взяли железную тележку объекты слежки вдвоем, но около получаса спустя – что они там делали теперь уже никто не скажет: внутрь за ними пойти не рискнули – женщина вышла одна, без всяких покупок, и тут же умчалась не оборачиваясь, словно там, в магазине, Мразь ее чем-то смертельно обидел... Во всяком случае, свой главный объект они благополучно потеряли – но и легко обрели: через час он уже зачем-то потешно метался с криками по своему двору, словно ища пропавшую собаку – но только вот собаки-то никакой у него не было! Наконец, угомонился, поднялся к себе и прочно занялся темным пивом, дав возможность без всяких помех и особых хлопот прикрепить взрывное устройство к днищу своего тупорылого автомобиля, а потом и вовсе сгинул из поля зрения, когда выключил свет, завалившись, верно, на боковую после волнительного дня...

- Теперь до утра. Хоть спать ложись... – хмуро пробормотал было Бетховен – но вдруг на том же дыхании матюгнулся: –, баба его!

«Критическая масса» и другие повести...

Тяжелой лиловой птицей среди сонного перламутрового марева она неслась наискосок через двор от своей машины к подъезду, и длинная воздушная юбка сказочным шлейфом летела за ней... Промчалась и скрылась. В тот же миг Нельсон оказался у чердачного окна и глянул вниз с таким странным видом, словно вдруг на миг прозрел – и отшатнулся. Бетховен судорожно сглотнул сухим ртом и выдал:

- Ну, все. Теперь, как карта выпадет... Может, и ничего... – и намертво сжал ледяную руку друга.

Едва дыша, они стояли плечом к плечу. Минут десять ничего не происходило, и вдруг белое безмолвие ночи разорвал прерывистый вой автомобильной сигнализации. Бетховен вздрогнул, будто мог ее услышать, но и на миг ему даже не пришла в голову здравая мысль, что ревет любая другая машина, кроме той, в которой всего минут сорок назад он варварски-жестоко ковырялся. Это действительно была она, квадратная «Нива», надрывавшаяся в ночи, и у нее, наверное, после неумелого хирургического вмешательства закончилось неизвестный провод.

- Если просто отключит – ничего не случится? – малодушно пробормотал Нельсон, уже, казалось, готовый броситься на помощь Мразю и спасти, оттолкнуть его, закрыть собой, если надо...

- А хрен его знает... – прошептал тоже похолодевший Бетховен, внутренне настроенный на то, что время все-таки доразмыслить у них еще есть до утра – но вот вышло, что оставались секунды; он взял себя в руки: – Сейчас увидим.

«А я – услышу, – добавил про себя покрывшийся смертным потом Нельсон. – Да... сейчас услышу – и... И все...».

Но вдруг Мразь, как ни в чем ни бывало, появился в темном кухонном окне и распахнул его, свешиваясь во двор. Озадаченный Бетховен припал к цейсовским окулярам и забормотал:

- Ничего не понимаю... Сирена гудит еще или нет? Почему он отключать-то не идет? Чего высматривает? Свою машину по голосу не знает? Ишь, голый, смотри-ка... Нельсон, они там уже раздеться успели... Ничего, сейчас поскачет, как миленький, иначе весь двор проснется... Нет, не скачет... Вниз пялится... У окна стоит, а у самого из одежды – только перстень на мизинце...

Рука Нельсона впилась в его плечо с такой силой, что Бетховен мучительно взвыл и обернулся: ему показалось, что под стальной хваткой мгновенно треснула крепкая живая кость. Друг что-то потрясенно шептал, стоя в профиль и не давая возможности читать слова по губам, но он все равно непостижимым образом услышал:

- На каком мизинце... Ради Бога – на мизинце – на каком???

Глава 6
Скульптор понял, что погиб,

как только увидел Гостью перед дверью. Ничего никуда не делось. Он любит эту женщину – причем истерически, как студент-первокурсник. И любить ее теперь он будет до смерти. Хотя бы просто потому, что разлюбить уже не успеет, по всей видимости. Взглянув на нее еще раз, он убедился, что чувство его взаимно: это именно она теперь проведет рядом с ним весь куцый остаток его жизни, она же и закроет ему в конце пути глаза... У Гостьи было любящее лицо – вот в чем дело. Так никогда не смотрели на него ни Жена, ни Подруга, ни другие, еще раньше канувшие в бессознательность женщины. Потому что они Скульптора не любили. А она – любила, страдала и надеялась все эти три месяца, пока он думал, что сумеет вытравить из себя вредные плевелы лишнего под старость чувства. Оказалось, что он усиленно выпалывал не упрямый сорняк, а драгоценную розу единственной любви, пришедшей, словно в насмешку, именно сейчас. Сволочь бесчувственная. За три месяца он ни разу не позвонил ей сам, а когда звонила она, тщательно придумав и даже разработав, как теперь ему было пронзительно ясно, приличный повод, отвечал намеренно жестко и старался быстрее закруглить разговор, чтоб, не дай Бог, не разбередила она его снова, не повлекла исподволь за собой в туманом порытый дол любовных недоговорок, призывного лукавства и умелого кокетства. Он знал, что легко бы туда повелся – и вот упирался на краю, взбрыкивал поистертыми своими копытами...

И, наконец, сумел убедить себя, что сурово разделался с неожиданной и ненужной немощью, как и положено нормальному мужику в таких случаях, утонув в любимой работе: сроду так с глиной быстро не управлялся, как теперь, когда дали ему заказ на бюст героя Второй Чеченской! Лепил он для сумрачного дворика дальней сельской школы, куда не так давно, в общем-то, всего лет пятнадцать назад, высыпали, счастливо галдя, по-провинциальному бедно наряженные в китайские бесформенные костюмчики выпускники, и среди них – курносый широкоскулый мальчишка-троечник, даже и не попытавшийся подавать свои безнадежные документы в заухудалый институт бедного областного центра. В двухтысячном сержант-сверхсрочник с перебитыми автоматной очередью ногами командует «А-атставить, н-на!» испуганному рядовому, собравшемуся тащить его дальше на себе, прикроет на узком горном перевале отход застигнутого врасплох отделения, продержится под плотным железным огнем боевиков и калеными стрелами вражеского солнца с рассвета до полудня – но помощь к нему так и не придет... Серро-невзрачным и совсем не мужественным лицом этого сержанта и

«Критическая масса» и другие повести...

жил Скульптор последние три месяца, ласкал его чуткими своими руками, словно сына не дождался с той войны – где уж там какой-то случайной Гостье (да, случайной! он лучше знает!!!) вклиниться тут с дамскими своими финтифлюшками... Она давно ему безразлична. Вот, пожалуйста, раз так хочет ему этот журнал со статьей своей принести – да ради Бога. Он и глазом не моргнет. Возьмет в дверях – просто из вежливости. Но уж никакого кофе с разговорчиками не дождетесь, мадам! Знаем, пили... А журнал – в мусоропровод, потому что на фиг он нужен. Он большим делом занят, на мелочи не разменивается. Решил – и точка. Он мужик, а не сопля голландская.

Но оказалось, что сопля. Не голландская, а самая обычная, русская. Как увидел Гостью в темно-сиреновом платье до пят (уже въехал в тему, по питерским улицам с весны гуляя, что мода в этом сезоне такая – «макси» называется), с аметистовым ожерельем на светло-кремовой груди – так и сгорел. Гостья смотрела на него прямо и грустно, обнимая обеими руками толстый журнал, прижатый к животу, и Скульптор подумал вдруг, что у незамутненных другими цветными вливаниями серых глаз есть совершенно неземное свойство: они ловят отсветы тех тонов, которые их окружают. Вот и у Гостьи они казались инопланетно-фиалковыми в те минуты – и огромными, страстными, вопрошающими... Журнал она протянула молча, как что-то незначительное и совсем внимания не стоящее, а сказала другое, единственно правдивое, то, ради чего и пришла:

- Я так соскучилась по вас.

Он открыл рот, чтобы ответить что-нибудь вроде «Ну, что вы! Какие пустяки! Кто я такой, чтоб вы по мне скучали!» – а вместо этого покорно склонил перед ней неумолимо лысеющую голову:

- Да, и я... Я тоже ... Очень.

...У кромки залива вместо предполагаемых больших желтоклювых чаек, для которых Гостья предусмотрительно купила в палатке у входа в парк целый круглый лаваш с кунжутом (Скульптор и сам бы его с удовольствием съел, если б не постеснялся), оказались полчища очень деловитых и абсолютно непугливых ворон. Они только тяжело и лениво отпрыгивали в сторону от людей и со снисходительной разборчивостью принимали подачки, презрительно кося блестящими кнопочками коричневых глаз. Гостья показала Скульптору, как две дородные вороны бесстыдно целуются невысоко на лиственнице, очевидно не снисходя до того, чтобы испугаться какой-то невнятной парочки бескрылых и безрогаточных.

С тех пор, как они вышли из машины («Нет уж, давайте на моей, вы какой-то заморенный весь, отдыхайте и радуйтесь жизни») ее теплая сухая ручка редко покидала его наспех отмытую горсть с

Наталья ВЕСЕЛОВА

голубыми разводами глины вокруг ногтей и фамильным, всегда пунктуально надеваемом после работы, перстнем-галисманом с черным нефритом. Теперь он бы ни за что ее не выпустил, особенно, когда с нежностью вспоминал, как только что эта слабая на вид лапка уверенно и непринужденно лежала на руле старенького автомобиля, а его хозяйка иногда поворачивала к нему голову, и правый глаз ее, который он единственно мог при этом увидеть, сиял уже откровенной влюбленностью, не маскируемой никакой благопристойной «человеческой симпатией».

Гостья шла по мутной воде босиком, перед этим отдав ему в сумку свои туфли с такой подкупающей простотой, что Скульптор почувствовал себя ей давно и навечно близким – она была рядом, как данность, словно все между ними уже свершилось, было сказано, решено и запечатано. Чудная уверенность, что рядом с ним – *его женщина*, накатывала на Скульптора теплыми волнами, и, когда это происходило, у него сладко покалывало сердце, потому что волны приходили не просто так, а всегда под каким-нибудь милым предлогом: то она наклонялась, приподнимая потемневший от воды подол, и наивно говорила: «Ну вот, посмотрите, вся мокрая до безобразия...», то вдруг аппетитно откусывала от замурзанной половинки лаваша и рассеянно давала откусить ему, словно позабыв о том, что они не только еще не целовались, но даже не перешли на «ты», то доверчиво прикладывалась щекой к его плечу, на секунду зажмуриваясь – и потом шла дальше, как ни в чем ни бывало...

Он никогда потом не мог вспомнить, о чем они говорили у зеленой воды на сером песке. Оба трещали без умолку, даже перебывали друг друга, рассказывая, верно, что-то забавное, потому что Скульптор навеки запомнил, как Гостья хохотала до слез, запрокинув голову так, что видны были в глубине аккуратные дорогие пломбы у нее на верхних зубах, и он всерьез размышлял о том, сумеет ли впоследствии, когда все уже будет позволено, дотянуться до них языком – и это казалось безумно важным. Еще он долго вспоминал, как учил ее делать на легкой волне знаменитые «блинчики», по которым мальчишкой был большой специалист – а тут тряхнул стариной и сходу запустил аж девять – и жутко возгордился, зная, что самым нелепым образом краснеет, когда Гостья захопала в ладоши, крича: «Класс! Класс! Вот это круто!». Но сама она оказалась вовсе не способной к такой науке, и все ее плоские камушки, неловко брошенные «с локтя», как он с ней ни бился, сразу же тонули с виноватым прощальным «бульком», и Гостью это тоже ужасно смешило, она отпрыгивала от воды, подобрав уже действительно мокрое и тяжелое платье – а Скульптор смущенно искал удобного момента, чтобы задержать ее, прижать к себе – и больше никогда не выпустить...

«Критическая масса» и другие повести...

Маленький пляжный ресторанчик, замеченный ими одновременно, поманил здоровыми съестными запахами, Скульптор решительно потянул Гостью в ту сторону – но вдруг замер, сжимая ее руку и шурясь на недалекие сосны.

- Бред какой-то... – пробормотал он и потряс головой.

На озадаченный взгляд Гостьи растерянно пояснил:

- Все та же старая история... Странная история, должен вам сказать... Помните, я вам когда-то рассказывал про машину, «Самару»... Не помните, конечно...

- Все, что вас касается, я помню прекрасно, – твердо ответила она. – Это машина, из которой за вами, как вам казалось, следили.

- Мне ничего не казалось! – раздраженно бросил он. – За мной действительно следили! Я однажды даже водителя рассмотрел, брюнета. А потом, представьте, месяца полтора тому, увидел его на своей лестничной площадке. У двери у собственной! В которую перед этим позвонили! Его, еще каких-то людей – и десять ментов в форме. Дверь я от греха захлопнул, но в глазок посмотрел: менты затолкали его в лифт вместе с женщиной в парике и парнем в черных очках. Запахнули их и отправили вниз, одних. Значит, он не из милиции, во всяком случае... А у моей двери... Что он там делал, черт бы его побрал?! Долго я потом ни его не встречал, ни «Самары» его долбаной... Думал, отвязался, слава те... И вот сейчас, честное слово... Он там, между сосен, только что прошел с тем же мужиком в очках... Только не говорите мне пожалуйста, что я рехнулся!

- Нет-нет! – Гостья обеими руками схватила за его локоть. – С чего бы вам рехнуться? Но может, показалось? Послушайте, когда за человеком следят, то не просто же так, а с какой-то целью! Но вы мне про это чуть ли не зимой еще говорили! Если бы за вами следили, то давно бы уже сделали, что собирались! Ну, обобрали бы, или шантажировали, или... не знаю...

- ... убили, – мрачно подсказал Скульптор.

- И такое возможно, – отрезала она. – Но ведь не сделали ни того, ни другого, ни третьего! Значит, передумали. С чего теперь за вами ходить? Столько времени спустя!

- «День Икс» настал, – хмуро пошутил он.

- Идите вы... – с нервным смешком Гостья слегка подтолкнула его плечом. – Мало ли брюнетов кругом, особенно теперь... А темные очки сегодня на каждом втором, кстати... Мнительность это все, вот что... Ну, вы, кажется, меня обедать вели, нет? – она опять задорно взглянула, и сверкнули в радостных светлых глазах знакомые теплые искорки.

Скульптор механически взял ее под руку и повел, но все очарование этого удивительного дня померкло в один миг. Причем не

Наталья ВЕСЕЛОВА

в тот, когда он увидел надоедливо и опасного брюнета – именно его, а не другого, он не сомневался! – а в тот, когда Гостья отмахнулась от его слов. Не произошло еще, значит, между ними того сокровенного, что чудилось там, у воды, и раньше, в ее машине, и еще раньше, у него дома, когда она только пришла... Не произошло *еще* или *вовсе* не предусмотрено? В душе Скульптора снова взбаламутилось задремавшее было нехорошее чувство, словно прошелестел невдалеке гнилой ветерок: тебе все кажется, дураку старому... она ведь чужая совсем... бросай ты все это, пока не поздно – потом ведь не убежишь...

Ему уже не хотелось ни есть, ни пить, и на Гостью он глянул со скрытой враждебностью: действительно, что ей надо от него? Неужели вот прямо так влюбилась без памяти? Что-то плохо верится в такие чудеса на этом свете... Прошли те времена.

Вдобавок ко всему, ресторан оказался японским – из тех, что он всегда обходил с опаской и некоторым отвращением: черт их разберет, этих япошек с китаёзами, каких они там гадов жрут и не морщатся... А Гостья, наоборот, проявила себя жизнерадостным заведующим таких подозрительных заведений: огромное меню, в котором Скульптор не понял ни слова и, оскорблено крикнув, отложил в сторону, Гостья изучила с абсолютной невозмутимостью, потом подозвала желтокожую официантку в кимоно и, как ему показалось, заговорила с ней по-японски – быстро-быстро, а та все кланялась! Жуть какая... В довершение неприятного впечатления, она привычным движением извлекла из длинного узкого пакетика две белые деревянные палочки, с легким треском отделила их одну от другой и ободряюще улыбнулась Скульптору через стол:

- Я покажу вам, как ими пользоваться...

Тут он не выдержал:

- Ну, уж нет! Я русский человек, в конце концов! И не собираюсь кр-рысятничать! Пусть мне дадут ложку и вилку! Зачем я должен ковыряться в еде какими-то дур-рацкими палочками?! Что за фиглярство, не могу понять!

- Тише, тише, что вы... – умоляюще зашептала она и накрыла его руку своей.

«Осталось ей только сказать, как, случалось, Жена в общественном месте: «С ума сошел? Веди себя прилично!» А, и ладно... Тогда просто встану и уйду... – зло подумал Скульптор. – Не судьба, так не судьба... Хорошо, хоть целоваться не полез сдуру...».

- Приборы принесите, пожалуйста, – окликнула Гостья официантку и взяла руку Скульптора уже обеими своими руками. – Ради Бога, не надо опять... Я еще раз не переживу... Я за три месяца эти... Чуть не умерла... И вам было несладко... Правда ведь?

«Критическая масса» и другие повести...

Он не вынес ее взгляда и начал бубнить что-то на тему о том, что едва ли надо обезьянничать с малоцивилизованных народов способности принятия пищи лишь из-за того, что это иногда кажется экзотичным – но раздражение только усилилось, потому что чувствовать себя виноватым и просить прощения Скульптор по гордости терпеть не мог и обычно сразу начинал ненавидеть тех, кого задел, если нужно было заглаживать вину. В результате ели молча. Для него Гостья заказала мелко наструганное мясо неизвестного зверя, плававшее в сомнительном соусе среди ядовито-зеленой маслянистой травы, но, занятый своими печальными мыслями, он не почувствовал никакого вкуса. Она же ловко орудовала палочками, закидывая себе в широко открытый рот продолговатые комочки слипшегося риса, накрытого кусочками явно сырой рыбы – и все это выглядело исключительно несимпатично, вызывая в Скульпторе едва ли не физиологическое неприятие. «Если она часто этим вот питается, – продолжал язвительно думать он, – то у нее там, внутри, пожалуй, что и солитер проживает...». Гостья вдруг осторожно отложила палочки, глаза ее теперь стали тяжелыми от непролитых слез:

- Я так не могу. Давайте уж лучше пойдем тогда...

Но Скульптор был всерьез обижен на нее за весь этот день – начавшийся такой многообещающей душевностью, а теперь обернувшийся вовсе не интересным и банальным, каких сотни прожил он с другими, давно забытыми женщинами: ловко провела, ничего не скажешь! А он-то, он-то раскатал губу...

Он насмешливо уставился в ее совсем потерянные глаза:

- Конечно, что уж теперь. Может, вы только сначала объясните мне, дуралею, – зачем вам вообще все это было надо? Что вы прилипли-то ко мне? Ведь вы благополучная женщина, обеспеченная, с интересной работой, подать себя умеете... У вас полно друзей, нормальная семья, здоровые дети... Муж хороший... – это последнее он специально ввернул, чтоб кольнуть ее побольнее и посмотреть, как дернется; она не шевельнулась, не моргнула даже. – Словом, все у вас другим на зависть – а вы тут что-то крутитесь, крутитесь, как, извините, муха над... Хм... – ему непременно захотелось именно оскорбить ее: а что, ей можно, а ему нет, что ли? – Нет, я ничего. Я просто понять хочу.

- Ладно, – Гостья отодвинула квадратную деревянную тарелку и быстро пробарабанила пальцами по столу. – Вот ведь... В такие минуты всегда жалею, что бросила курить...

- Все поправимо, – открыто ухмыльнулся Скульптор. – Бывших курильщиков не бывает. Как и бывших алкоголиков, и наркоманов... Это, так сказать, до первого срыва. Так что держите и не сомневайтесь.

Наталья ВЕСЕЛОВА

Он протянул ей нераспечатанную пачку сигарет и зажигалку, что последние годы всегда носил с собой в сумке на случай, если самому неодолимо захочется: действовало безотказно. Мол, я только временно не курю, никаких обетов-зароков не давал, захочу и обратно курить стану. Пока держался. А вот Гостья сорвалась тотчас же – схватила сигарету почти с неприличной жадностью и затянулась так упоенно, что сразу стало ясно: курильщик со стажем, который по-настоящему бросит нескоро, да и то лишь в том случае, если его что-то до печенок испугает. Не раньше.

- Этого я никогда еще никому не рассказывала, – дрогнувшим голосом произнесла она. – Пора, видно, настала рассказать.

То, что Сонечке не предстоит стать миловидной девчушкой с симпатичным личиком и прелестными глазками, стало ясно уже в первом полугодии ее жизни. Родилась редкая, уникальная красавица, по сравнению с которой любая новоиспеченная «мисс Вселенная» спустя очень короткое время будет выглядеть ошипанной болонкой. Девочка словно сублимировала в себе все самые привлекательные внешние качества, какие только существуют для ее невезучего пола, унаследовав, вероятно, по одной лучшей черте от каждой прекрасной женщины из близких и далеких предков. Уже в три года, когда и мальчики, и девочки выглядят одинаковыми бесполо-умилительными карапузами с перетяжечками на запястьях и, все одетые в шортики и яркие футболки, различимы между собой только для родителей, Соня смотрелась миниатюрной греческой статуэткой с тонкой талией, крутыми бедрами, узкими щиколотками и длинными пальцами. Волосы, настолько густые, что их трудно было расчесывать, вились до поясницы упругими каштановыми кудрями, и каждая прядь отливала своим неповторимым оттенком. Длина и густота выглядевших приклеенными ресниц, казалось, тянула вниз сиреневато-прозрачные веки. Глаза имели таинственный древнеегипетский разрез и невероятный, никогда никем в России не виданный цвет: они были отчетливо золотыми, как у дикой черной кошки. Светло-кремовая смуглость ровно покрывала ее кожу с ног до головы, оттеняя на идеально правильном, тонком лице ярко-розовый цвет капризных, луком изогнутых губ с крошечной коричневой родинкой над левым уголком – единственной родинкой на всем ее совершенном теле. С самого нежного возраста Соня никем не воспринималась как девочка – а только как взрослая женщина, обладательница невероятной, давно не виданной по грехам Земли красоты, не принадлежащей ни одной человеческой нации – неземной красоты, от сияния которой перехватывало дыхание. Незнакомые люди на улице просили разрешения просто посмотреть на нее по-

«Критическая масса» и другие повести...

дольше, как, случается, чувствительные дамы выражают желание поцеловать чужого обворожительного младенчика. Поцеловать своего ребенка постороннему человеку легко можно запретить – но как запретишь преследовать его нездоровыми взглядами, как остановишь гнусный завистливый разговор за спиной: «Какая красивая, бедняжка! Вот увидите – такие долго не живут! А уж счастливыми точно не бывают!».

Ее отец и саму Афродиту, рожденную пеной морской, считал девкой-чернавкой по сравнению со своей бесценной дочерью. Гостья подозревала, что ее муж, как и все мужчины любого возраста, хоть раз близко взглянувшие на Сонечку, попросту влюблен в нее без памяти – и готов на вечную рыцарскую службу. Будучи классически нормальным человеком, имеющим десяток самых необходимых табу, он никогда и помыслить не смог бы о ней, как о женщине, но глядя на дочку, все равно выглядел несколько помешанным. Жена очень быстро превратилась для него лично лишь в место отправки неотложных физиологических нужд, а основная ее функция теперь, по его мнению, должна была заключаться в виртуозном исполнении роли униженной служанки при высочайшей особе сказочной феи, недоступной принцессы – Ее Высочества Дочери.

- Замолчи! – вдруг на полном серьезе рявкнул он на жену за столом, с ненормальным восторгом наблюдая, как годовалая девочка, вертясь на своем высоком креслице, силится выдавить гукающие звуки. – Ты что, не слышишь – Сонечка говорит!! А ты все вхохчешь, вхохчешь – тебя не переорешь!

- Встань, корова! – рывком выдергивал он Гостью из кресла, видя, что дочка двумя сильными ручками пихает мать в бедро, намереваясь влезть на ее место. – Не видишь – Сонечка хочет сюда сесть! Тебе лишь бы развалиться – а там трава не расти!

- Опять пирожное жрать собралась? – отодвигал он ее тарелку за чаем, видя, как четырехлетняя дочь, только что лихо умявшая пару корзиночек и бисквит, неодобрительно наблюдает за матерью, робко осмелившейся поднести ко рту только что забракованный дитятком эклер. – А если Сонечка еще захочет? Только и знаешь, что ребенка объедать!

Плоды отцовского воспитания начали сказываться закономерно быстро, потому что вместе с пугающей красотой девочка от кого-то унаследовала еще и крайнюю восприимчивость вкупе с острым живым умом и поразительной памятью. Свою исключительность она осознала едва ли не с пеленок и уверенно пошла по земле сразу прямой и не забавной поступью, эту землю победительно попирая. Да и то сказать: свое право глядеть на мир с насмешливым прищуром превосходства, лишь пользуясь по мере надобно-

Наталья ВЕСЕЛОВА

сти мелкими окружающими людьми, она читала не только в глазах дуреющего в ее присутствии брутального отца, но и в глазах тех, кто навсегда состоял для нее в ранге презренной прислуги – врача в детской поликлинике, у которой на приеме тряслись руки от восхищения, воспитательницы в саду, открыто преклонявшейся перед девочкой в присутствии всех остальных, совершенно неинтересных ей детей, соседки по площадке, застывавшей с открытым ртом при виде царственного прохода невозмутимой девочки Сонечки, молодого знакомого милиционера-курсанта, инстинктивно отдававшего ей честь... Мать? Ну что ж, мать пока приходилось терпеть в злорадной надежде когда-нибудь поквитаться...

Гостя оставалась единственной не сдавшейся особью в окружении собственной дочери Софы. С завидной регулярностью она обрушивала на своего мужа темные грозы справедливых упреков:

- Ты кого растишь?! – со слезами кричала она. – Ты же сволочь растишь – показательную! Отменную!

- Не смей так о моей дочери! – бурным медведем рычал он в ответ.

- Это и моя дочь тоже! – отбивалась жена. – У меня на нее столько же прав, сколько и у тебя! Даже больше, потому что я мать, а ты всего лишь отец! И я не могу смотреть, как ты калечишь ее личность! Имей в виду: если будет так продолжаться, то я подам на развод и через суд отберу ее у тебя! Не позволю превратить ребенка в тупое красивое животное!

- Тупое животное здесь только ты! – ревел муж. – Только вот не красивое, а уродливое! Потому и бесишься – исключительно из бабьей зависти и ревности! Если бы мне перед выпуском не нужно было хоть на черте жениться – ты бы в девках померла! Сейчас и подавно – кому ты нужна! А она красавица, и у нее в ногах тысячи мужиков будут ползать! Тысячи!

- Они уже ползают! – язвительно кидала Гостя. – И один из них – ты! На себя со стороны посмотри, срам-то какой! Ну уж хватит... Все... Разводимся на фиг...

Он подсказывал к жене с белым лицом и страшными глазами и шипел:

- Только попробуй... В тот же день сдохнешь... Лично застрелю... Лично...

Это он гипотетически мог, потому что Сонечка превратилась в гиперидею «фикс» для своего неудовлетворенного жизнью отца, не сумевшего реализовать главное жизненное начинание: уже через несколько месяцев после рождения дочери полк, к которому принадлежала и странная таежная точка, был предательски расформирован, а офицеры с нищим пайком в зубах отправлены в при-

«Критическая масса» и другие повести...

нудительный отпуск без содержания... Он уволился из стремительно рассыпавшейся армии, думая, что уходит на самое короткое время, лишь пока страна не опомнится, – и осел в опасном, но родном Петербурге девяностых, выбрав себе профессию, не заставлявшую, по крайней мере, расстаться с казенным оружием, без которого он и вовсе чувствовал себя омерзительным гражданским кастратом... Соня стала отрадой, единственным лучом ослепительного света в поганой его жизни, и она же крепко удерживала его в ней крошечными своими ручками. Не она – может, давно бы ствол в рот вложил, на новую Россию наглядевшись. Не пришлось ему повоевать за Родину, как сызмальства мечталось. А вот за Соню убил бы, не задумываясь. Пришло бы жену – и ее тоже. Глупа была непроходимо, как все бабье, а это чужла. Края не переступала...

Но переступить однажды пришлось.

Гостья категорически отказалась подчиниться требованиям мужа стать пожизненным бесплатным приложением к своей дочери и провести рядом с ней в качестве покорной няни все часы и минуты до поступления той в школу. Снова, бледнея от гнева, она грозила разводом и судом – и только тогда муж выбрал платный почти приличный садик, куда отвел однажды девочку, рыдающую навзрыд. Пришлось скрепя сердце рассказать ей правду: это эгоистичная мать, думающая только о своей никчемной персоне, выгнала доченьку из дома к чужим людям, а ему, неутешному по этому поводу отцу, приходится до кровавого пота трудиться каждый день, чтобы кормить и наряжать свою любимую Сонюшку...

- Убей ее, папа! – заходила в крике трехлетка. – Ты же сильный! У тебя пистолет! Бах! Застрели!

- Давно бы уж застрелил, – честно ответил он. – Только вот понимаешь, меня тогда и самого застрелят...

Но в детском садике Соне неожиданно понравилось. Она невозмутимо осваивала там новую важную науку должного обращения уже не с наскучившими взрослыми, а с малоизученными до того сверстниками. Роли красавиц-принцесс в шелковых платьях с рюшами и воланами принадлежали ей как само собой с первого дня – и девочка играла с удовольствием, вкладывая душу в создаваемые образы, как профессиональная актриса. Феноменальная память позволяла ей чуть не с голоса заучивать наизусть длинные стихи и песенки – и на частых детских утренниках, проводимых в дорогом садике по любому поводу, именно она блистала на маленькой сцене перед застывшей от восторга публикой, без запинки ишаря всего «Айболита» от начала до конца и «с выражением»... Видя единодушное отношение взрослых людей, и дети, поголовно недолюбливавшие Соню за банальное чванство, очень скоро приучились оказывать ей

Наталья ВЕСЕЛОВА

внешнее почтение, потому что любая малейшая обида, нанесенная Соне, каралась немилосердно, всегда оставаясь незамеченной в своей смехотворности, если ущерб причинялся кому-то другому. Так, например, смелый мальчик однажды рискнул не позволить ей молча забрать кусок сыра со своего бутерброда, что она вознамерилась походя сделать, даже не повернув головы в его сторону. «У тебя есть свой...» – робким шепотом возмутился парнишка – и тотчас подоспевшей воспитательницей был публично заклеимен презренным жадиной. Он еще легко отделался. Девочка, чьего крошечного пластмассового щенка Соня мимоходом присвоила просто потому, что игрушка ей приглянулась, а она привыкла, что все понравившееся немедленно поступало ей в собственность, тоже воспротивилась произволу и грубо отняла свою вещь обратно... И что же? Взрослый суд неоспоримо доказал, что щенок всегда принадлежал Соне, а ограбленную девочку, уже опухшую от слез, собственные родители в самых благих воспитательных целях заставили при всех извиниться за воровство и жестокость... Соня снисходительно кивнула. Она знала, что не подлежит критике, и очень трезво оценивала непобедимое могущество своих ослепительных глаз...

В те годы вошло в моду носить детей в церковь к причастию, причем это ухитрялись бойко проделывать даже некрещеные родители. Считалось, что ребенок станет здоровее и будет спокойно спать. Гостья, сама крещенная в младенчестве, поразмыслив, окрестила дочь еще в таежном поселке, где рожала (сорокадневная девочка весь обряд каменно проспала), потому что краткий призыв жестокого интерна к неведомому Богу в страшный день ее родов, призыв, мгновенно спасший от смерти и ее, и ребенка, засел в памяти железной занозой. Причастить уже годовалую девочку, которую тогда еще беззаветно любила, она вознамерилась сразу по приезде в Петербург. Соню нарядили ради такого торжества в атласное белое платье и кружевной чепчик – и гордый отец понес ее, как всегда, серьезно молчаливую, к огромной золотой Чаше, которую держал молодой ласковый священник в голубом по случаю Богородичного праздника облачении.

- Причащается младенца София! – умиленно объявил он, с сияющей улыбкой поднося лжису с Кровью Христовой к чувственному надутому роту.

Дальше произошло невообразимое: хрупкая принцесса в купидоновых локонах издала низкий и страшный животный рев. Ее маленькое тельце мгновенно выгнулось железной дугой в отцовских объятиях, а ручки и ножки задергались в кошмарных конвульсиях, но не хаотичных, а упорно стремившихся к Чаше. Девочка то по-звериному рычала, то хрипела, будто при смерти, вовсе не напо-

«Критическая масса» и другие повести...

миная балованного ребенка, привычно капризничающего во время Причастия... Явно растерянный священник инстинктивно отпрянул, спасая Святые Дары, но Соня в последний момент все-таки дотянулась до Чаши ногами, и с детской силой толкнула ее. Кровь Спасителя мира на глазах у всех плеснулась ей на подол – и вот тут-то городской церковный люд, в массе своей не выдававший ужасов беснования вживую, в одну грудь ахнул.

- Отойдите пока... – опомнился все это время столбом простоявший алтарник. – Батюшка потом к вам выйдет.

Чувствуя, что происходит нечто гораздо более страшное, чем кажется, Сонечкин отец попятился с нею прочь.

- Платье снимите и отдайте! – строго сказала ему подбежавшая свечница. – На нем Кровь Господня, его нельзя теперь просто так постирать...

- Доченька, успокойся... – протянула к Соне руки толком еще ничего не понявшая Гостья. – Это не страшно, это сладко, как варенье...

И с неистребимой материнской нежностью она посмотрела в заплаканное личико своего ребенка. На Гостью глянуло совершенно взрослое землисто-каменное лицо, исполненное холодной и вовсе не беспомощной ненависти ко всему живому; желтые длинные глаза хищника готовы были убить мать одним взглядом – и где-то на самом дне этих ледяным огнем пылавших глаз таился не успевший погаснуть запредельный страх... Через секунду все исчезло, как губкой стертая, и вновь перед Гостьей было знакомое прекрасное лицо любимой дочери – просто немного покапризничавшей в непривычной обстановке... Бывает... Гостья зажала себе рот обеими ладонями... Но муж ее уже взял себя в руки, как и подобает человеку военному.

- Какое еще платье?! – гаркнул он на свечницу. – У-у, карга старая!!! Развели тут... Чтоб вас всех!!

Прижав к груди крепко обхватившую его ручонками девочку, он без оглядки бросился к двери, печатая по привычке шаг. Люди в молчании расступались перед ними. Последней выбежала на паперт серая от ужаса мать...

- Ноги ее больше у попов не будет! – мрачно сказал муж в машине. – Хватит, поигралась... Бог, если есть, ее и так не оставит...

Единственное место, где люди не склонили перед ней раболепные головы, его дочь больше никогда не должна была увидеть.

...К четырем годам у Сонечки отросла замечательная коса, ее главная драгоценность в жизни. Такой не было ни у одной девочки из знакомых, в большинстве своем способных похвастать только жалкими лохматыми веревочками, убого свисавшими с их глупеньких страшеньких головок. Сониная коса была толщиной в ее дале-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ко не худую руку и доходила до самого крестца, всегда украшенная на конце роскошной лентой любимого пурпурного цвета. Процесс конструирования лучшей в мире прически отец никому не доверял и ежедневно заплетал голову дочери собственноручно, причем он научился ловко плести и модную корзиночку вокруг головы, постепенно плавно переходившую в корень коричневой, плотной и ровной косы из четырех прядей. Это Гостья делать умела неважно и принципиально не желала учиться, считая, что простой девичьей косички без всяких дурацких венчиков, плетеной из обычных трех частей, вполне достаточно для пятилетней девочки, и без того наделенной завидной внешностью. А еще лучше для нее – простая стрижка «в кружок». И голове легко, и к лицу идет, и родителям хлопот не доставляет. Но раз уж муж плел эту корону с армейским упорством, она не возражала: пусть делают, что хотят. А она возьмет – и родит себе другую девочку. Может, совсем некрасивую. Но родную и любимую, которую в обиду не даст...

В тот день, что разделил Гостыну жизнь на традиционные «до» и «после», драгоценную косу ей пришлось заплести самой – как и во все дни, когда мужу случалось рано утром уйти на работу. Она никогда не миндальничала попусту, а спокойно делила богатые волосы дочери на три толстые пряди и в меру своего невеликого умения заплетала надувшейся, как мышь на крупу, Соне аккуратную гладкую косу, вместо корзиночки оставляя на голове скромный прямой пробор. Соня не артачилась, потому что мать плела любимую «корону» очень редко, и всегда на это шла уйма с рождения высоко ценимого ею времени. Но в тот день ей предстояло танцевать в качестве солистки на очередном тоскливом утреннике партию девочки-пастушки – и обожаемый папа пообещал, что успеет заскочить в садик, чтоб полюбоваться. Ни за какие в мире блага не могла позволить себе красавица-пастушка трясти на сцене гладкой плебейской косой и сообщила матери за десять минут до выхода:

- К завтраку в сад не пойду. Переплети мне косу так, чтоб была корзиночка. Мне на сцене выступать.

- Не могу доченька, – как можно спокойнее и дружелюбнее отозвалась ее мать. – Я по важному делу опаздываю.

Ей действительно предстояло через час, за который еще надо было успеть привести себя в порядок, собраться с мыслями и доехать до места, ответственное собеседование с главным редактором известного на всю страну политического журнала, работа в котором вот уже год казалась ей недоступной вершиной мечты – и вдруг выпал уникальный, почти невероятный шанс попытаться улыбочливую судьбу.

- Можешь, – холодно отозвалась дочь. – Отложи свое дело,

«Критическая масса» и другие повести...

иначе папе пожалуюсь, и он тебе покажет.

Бояться своего неудачника-мужа Гостье и в голову не приходило, потому что была она насмешливо уверена, и уверенности той пока никакой его поступок не поколебал, что ни на что большее, чем очередная противная мужская истерика, к которым за шесть лет она успела притерпеться, супруг неспособен по определению.

- Не смей хамить! С матерью разговариваешь! – прикрикнула она. – Живей собирайся, завтрак ради тебя не отложат!

- Не буду, – тихо и спокойно сказала Соня. – И пока не перелетешь, как я хочу, в садик не пойдём.

- Сейчас получишь, – начиная звереть, предупредила Гостья. – Немедленно поворачивайся, мерзавка, и иди, как есть. У меня нет ни минуты, чтобы тут с тобой сегодня рассусоливать!

- А ты пощи, – пристально глянула девочка на мать, и та увидела, как лицо ребенка начинает быстро и жутко каменеть; в глазах дочки Сонечки вспыхнул мрачный тяжёлый пламень, словно отсвет какого-то другого, далекого и неназываемого огня, от одной мысли о котором замерзает любое сердце.

Этот взгляд Гостья уже видела раз – четыре года назад, в церкви, у золотой Чаши, – видела и не могла без крупной дрожи вспоминать. Потому и не вспоминала. А сейчас он снова горел перед ней – уже более матерый и опасный – но она не позволила себе малодушного отступления:

- Да пожалуйста, – отчеканила воспитательно-железным тоном. – Останешься голодная, только и всего.

Следующие несколько секунд растянулись на семнадцать лет и снались ей все эти годы не только ночью, но и днем, если случалось вдруг безответственно забыться от усталости. Она услышала совсем не детский, а словно бы старческий, надтреснуто-свистящий свирепый шепот из уст своего пятилетнего ребенка:

- Ты, жирная сука. Ты сейчас же сделаешь то, что тебе велят, – из Сониных глаз вырвались и огненными жалами впились ей в лицо два острых ледяных луча.

И Гостья бессильно отвела глаза, уже готовая страдальчески покориться – но блуждающий взгляд ее упал на тонконогий столик со швейной машинкой. Рядом, на куске ярко-желтого шелка, врезавшегося в мозг, как зазубренный осколок, лежали огромные портновские ножницы, только вчера по ее просьбе заточенные мужем на допотопном, цвета грязного марганца точильном камне. Рассудок помутился, и Гостья уже никогда не могла сказать, как ножницы оказались в ее руке. Сонину косу она отхватила одним махом, под корень, отшвырнула к стене, как убитую гадину, и развернула неожиданно мягкую, как тряпичная кукла, дочь лицом к себе, без вся-

Наталья ВЕСЕЛОВА

кого смущения глянув в ее остекленевшие от ненависти глаза:

- В следующий раз, если вякнешь, обрею наголо.

Тяжелым, будто испитым голосом пожилой женщины маленькая девочка устало ответила:

- Следующего раза не будет. Больше ты меня не увидишь, – и после звенящей паузы добавила одно короткое слово: – Здесь.

Соня, очевидно, знала, о чем говорила. Через час после того, как ее, больше ни слова не проронившую, но очаровательную с короткими кудряшками, как грезовская головка, Гостья сдала с рук на руки расплывшейся в жабьей улыбке воспитательнице, у Сони начались стреляющие головные боли, от которых она жалобно, как кошка в руках садиста, кричала на весь детский сад до самого приезда «скорой». В машине, прямо на глазах перепуганных фельдшеров, она начала сплошь покрываться багровыми пятнами размером с ладонь – и вскоре забилась в неостановимых безобразных судорогах. В детскую инфекционную больницу девочка поступила уже без сознания с предварительным безнадежным диагнозом-приговором: менингококковая инфекция, генерализованная молниеносная форма. Антибактериальная массивированная атака на уже холодеющее, сплошной коричневой коркой покрытое детское тело не дала даже минимальных результатов – и к обеду любимая папочкина принцесса-Сонюшка умерла в реанимации, за сотрясающейся от ударов белой дверью, которую все-таки сумел в последнюю секунду профессионально высадить ее отец.

- Что вы сделали с ней?! Что вы с ней сделали?! – заревел он, как простреленный, имея в виду не чужое почерневшее лицо на громадной белой кровати, а коротенькие веселые кудряшки, насмешили-во его обрамлявшие...

Потом ему объяснили, что такая редкая форма заболевания встречается только в исключительных случаях, когда по какой-то причине у ребенка резко обрушивается иммунитет – например, после неожиданного переохлаждения или глубокого шока.

Причина именно такого шока валялась дома под батареей, украшенная багровым, будто крови насосавшимся, бантом – в мстительном порыве Гостья, убегая на собеседование, специально не стала убирать мертвую косу с глаз долой: пусть полюбуется дражайший супруг, до чего доводит безответственное воспитание. Коса была обнаружена, поднята и аккуратно положена на стол. Ее-то первым делом и увидела, вернувшись к шести, впервые за много месяцев довольная и усталая Гостья – под большой новогодней фотографией дочери в костюме Снегурочки – фотографией, у которой левый нижний угол уже был перечеркнут черной сатиновой ленточкой.

«Критическая масса» и другие повести...

Муж бил ее, не посмевишую даже охнуть, сначала лицом об стену, держа сзади за волосы, а когда, оставляя широкую кровавую полосу, Гостья грузно сползла на пол, сломанным носом в плинтус, принялся отделявать ногами в так и не снятых ботинках, круша ребра и целясь в беззащитные почки. Он был твердо намерен забить жену насмерть и непременно довел бы дело до конца, если бы вдруг она смело не повернулась на спину под смертоносными ударами и не проговорила со странным равнодушием:

- Уймись, если можешь, скотина. Я беременна.

На обратном пути Скульптор вел машину сам. Мысли его спутались необратимо. С одной стороны, ему непреодолимо хотелось остаться одному, чтобы со вкусом прочувствовать и осмыслить все еще раз, а с другой он четко понимал, что таким рассказом Гостья каким-то образом навеки привязала его к себе. Навеки – это если они сегодня останутся вместе; но если сейчас он молча отвезет ее домой на ее же машине, то эту женщину точно никогда не увидит снова, потому что она приравняет его поступок к предательству и будет, в сущности, права. Своим рассказом она ненавязчиво обязала его, вырвала и захватила инициативу в отношениях – ту неприкосновенную инициативу, которая извечно принадлежит мужчине. Словно сказала: я твоя, а ты мой, раз теперь знаешь обо мне такое. А какое, собственно, если пристально посмотреть? Да ничего особенного она не сделала: отстригла косу распоясавшейся малолетке, непотребно нахамившей родной матери... Всякие там звериные голоса, потусторонние взгляды – это уже постфактум родилось, лирика, так сказать... Гостья сама для себя придумала страшную сказку, чтоб прочнее удержаться в чувстве вины. Если б девочка в тот же день так драматически не скончалась, весь выеденного яйца не стоивший конфликт кончился бы ничем – вернее, очередным истерическим припадком ее психованного мужа; и до рук бы не дошло, скорей всего, не то что до увечий... Через год и коса бы отросла лучше прежней, а ссора бы еще раньше забылась... Девчонка, правда, действительно грозила вырасти отменной гадюкой – ну, так тут и Гостья постаралась: кто ее заставлял все воспитание на откуп мужу-придурку отдавать? А тут менингит – да как некстати, прости, Господи... Умерла бы накануне или, наоборот, через месяц, и супруги у ее гроба, пожалуй, в слезах помирились бы, родившихся потом мальчишек папаша бы не уродовал, за дочку подспудно мстя, и жену живой не закопал бы... Но получилась эдакая заковыристая мистика, хоть фильм ужасов снимай... Конечно, тут Гостьяина жизнь под откос и обрушилась...

Очень хорошо понимал Скульптор, что жизнь этой измученной

женщины, так и оставшуюся под откосом, только поросшую травой и побитую непогодой, именно ему теперь предстоит оттуда, надрываясь, вытащить и весь остаток собственной терпеливо выправлять... Или нет – строить заново... Вот именно – остаток. А много ли ему осталось? Он воровато косился на нее, прямо сидевшую на пассажирском сиденье, и в какой-то миг с волнующим удивлением заметил, что профиль у нее откровенно греческий, и линия прямого твердого носа почти сливается с гладкой и чистой линией перламутрового в летней ночи лба. Он улыбнулся, подумав, что Гостья похожа на дорогую греческую гетеру в этом подхваченном под сильной грудью свободном платье-тунике до пят, с пшеничными кольцами волос вдоль полной красивой шеи... Он может, как ни банально это звучит, возродить ее к жизни, вернуть ей и себе счастье близости с любимым человеком, не напрасно, в конце концов, прожить эти туманные годы, в которых иначе ждет его катастрофа предсмертного одиночества... Может, если решится. Но вот именно проклятая нерешительность и была всю жизнь главным и роковым недостатком Скульптора, отравляя радость бытия как ему, так и ни в чем не повинным доверчивым спутникам...

- Сверните, – вдруг сказала Гостья, не поворачивая головы. – Вон гипермаркет, а вы же сами сказали, что в холодильнике у вас хоть шаром покати...

Да, действительно сказал – еще утром, кажется... Но какое ей дело могло быть до его холодильника? А такое. Такое дело, что ехать она собиралась сейчас все-таки к нему. Она принимала теперь решения, понял Скульптор. Дал под влиянием момента слабину, выслушал навязчивую исповедь – теперь отвечай. Он послушно припарковался среди десятков других машин, ждавших хозяев у гигантского желтого куба, зазывно сиявшего огромными буквами на боку, без устали втягивая в свою сверкающую утробу обманчиво деловитых, вечно голодных и неразборчиво прожорливых людей.

Гостья шла, непринужденно толкая тележку меж бесконечных, заваленных снедью стеллажей так уверенно, словно гуляла по Невскому. Она ориентировалась здесь, в ледяном дворце потребления, с легкостью и естественностью охотника-индейца в девственном тропическом лесу. Было очевидно, что, чувствуя себя в этом великанском чреве, как дома, Гостья и не думает замечать, что друг ее попросту испуган. Ему не то что неудобно, а страшно стало в этом необъятном муравейнике, где идея перенасыщения воплотилась в чудовищных, извращенных формах. Если бы мама Таня дожила до нынешних времен, а не утасла виновато от сердечной недостаточности перед самой перестройкой, то она умерла бы, попав в такое адское место, отчетливо понял Скульптор. Он с ужасом смотрел

«Критическая масса» и другие повести...

на приличных с виду людей, целеустремленно катящих перед собой огромные телеги, в которых громоздились грозные эвересты из пестрых коробок, кое-как сваленных банок, непристойно торчащих батонов... Кому все это надо? Как это съесть? Или они просто повинуются неодолимому крабовому рефлексу, а потом половину выбросят? Съездившись, он трусил вслед за Гостьей, стараясь не смотреть по сторонам. А она то и дело останавливалась на секунду, небрежно кидала что-то в тележку и преспокойно плыла себе дальше, ни разу не поинтересовавшись у Скульптора о его возможных предпочтениях. Дно покрывали уже какие-то тюбики, коробки, пульверизаторы... А зачем его и спрашивать-то? Он теперь – ее мужчина, а значит, автоматически лишен права голоса, и вообще – она хозяйка и лучше знает... Его дело не мешать женщине выполнять свою вековую роль, а просто бессловесно оплатить покупки на кассе... И не под каким она не под откосом, кстати, если вдуматься. Прекрасно обжилась в этом мире; а что красиво страдает – так это в свое удовольствие, значит, нравится ей... Вот сейчас она спокойно утащит его с собой в этот чуждый ему и противный мир, где женщины лихо водят машину и берут себе приглянувшихся мужчин, где русские люди, не морщась, поедают сырую рыбу и чуть ли не головастика с помощью деревянных палок, где они не покупают себе хлеб насущный и вино для веселья, а жадно, как пираньи, хватают и жрут все условно съедобное в радиусе протянутой руки... Она, наконец, застопорилась со своей тележкой у какой-то полки и принялась пристально изучать надпись на пакете странно коричневых макарон, а потом подозвала к себе женщину в униформе и стала ее о чем-то подробно расспрашивать. Стояла с раздумчиво-отрешенным лицом в двух метрах, а казалось, будто плавала за стеклянной стеной в невиданно громадном аквариуме и была экзотической рыбой, которую он наблюдал с опаской и легким отвращением...

Скульптор сделал большой шаг назад. Покосился на нее, ничего вокруг не видящую, кроме своей злосчастной загадочной пачки в руках – и завернул за ближайший угол. Зачем-то стараясь ступать по возможности тихо, он быстро прошел вдоль стеллажа с разнообразными лимонадами (как остро вспомнились вдруг навсегда исчезнувшие с лица земли автоматы газированной воды – уж и попил бы он сейчас того нектарчика!) – и вдруг оказался прямо у пестрой линии касс. Подняв вверх пустые руки, как солдат, выходящий из окружения в плен, он протиснулся мимо равнодушной короткой очереди и, голову в плечи втянув, плавно устремился никогда ему не свойственным стремительным шагом в сторону противоположного выхода. Только когда на трассе ему повезло почти сразу же поймать машину до родной Охты, и он с глубоким болезненным вздохом от-

кинулся на заднем сиденье, Скульптор почувствовал себя законченным и совершенным подонком. Теперь уж хочет он или не хочет – а с этой женщиной ему встретиться больше не предстоит. Такое не прощается.

К дому приехал хмурый и злой на весь мир, в круглосуточном «подвальчике-выручальчике», где добрый иноверный продавец, он же хозяин, продавал всем обладателям знакомых лиц спиртное в любое время суток (а незнакомым, но желающим доказать свою непричастность к племени ревизоров почему-то достаточно было для этого просто перекреститься), взял бутылку водки и пузырь пива, поднялся к себе на трескучем лифте и обнаружил, что Червонца в квартире нет, а балконная дверь открыта. Это его собственная была, разумеется, оплошность, Червонцем сразу умело использованная. В таких случаях кот, как бывалый канатоходец, протанцевав по перилам, мягко прыгал на карниз, царапая жуть острыми когтями, с риском для жизни добирался до лестничного окна с всегда открытой форточкой; несколько секунд, припав на задние лапы и устремив вождедеющий глаз на проем, он расчетливо балансировал резко потолстевшим по такому случаю хвостом, потом без разбега пружинисто перелетал на подоконник – и только его и видели. Ближайшие трое суток звать черную бестию было бесполезно, но Скульптор никогда не выдерживал железного срока – мчался искать, жалобно зовя кота, как пропавшего ребенка, по всем окрестным дворам и подвалам. И на этот раз он еще долго и путано метался по округе, устремляясь на каждую мелькнувшую вдали темную кошачью тень, выкрикивал своим суровым басом странную для прохожих кличку, Червонца, конечно, не нашел, вернулся домой, сел за кухонный стол, разбавил пиво изрядной порцией водки, глотнул – и заплакал. Скульптор просидел неподвижно некоторое время – не всхлипывая, не утирая лица ладонями, а просто позволяя едким слезам неостановимо, как у апостола Петра, течь по своим шершавым, так сегодня Гостьей и не поцелованным щекам. Потом поднялся, решительно забрал пузырь с пивом и, срывая на ходу одежду, отправился в ванную, где сразу врубил мощную белую струю и повалился в горячую, пахнущую хлоркой и ржавчиной воду...

Как он смог услышать сквозь шум воды и собственные уже громкие рыдания тонкий писк дверного звонка? Он и в комнате-то не всегда его раньше слышал! Вероятно, даже сквозь всю безнадежность был на него настроен, как умный камертон! Скульптора молниеносно вынесло из ванны голого и мокрого, скользящего по линолеуму в первом попавшемся полотенце вокруг бедер – и, придерживая его непослушной пястью, он другой рукой бестолково гремел заартачившимся замком, суетливо бормоча магическое заклинание:

«Критическая масса» и другие повести...

«Я сейчас... Сейчас я... Сейчас...».

Когда дверь открылась, Гостя молча обняла Скульптора, пряча лицо на его груди – а он поначалу лишь мог обхватить ее свободной рукой, потому что другой все еще зачем-то стыдливо держал под животом холодную влажную тряпку.

- Миша, Мишенька! – плакала она, целуя его, куда придется. – Не могу без тебя... Любимый мой... Хороший...

«Да гори оно огнем!» – решил он и выпустил полотенце. Он прижал ее сразу всю, от колен до груди, оторвав от себя ее лицо, запрокинул его, стал целовать, как безумный, и, сбиваясь на хрип, повторял обрывающимся крещендо:

- Дарьюшка, родная... Ненаглядная, желанная ты моя...

Когда первая волна цунами схлынула, они так и стояли в прихожей, обнявшись – полностью одетая и обутая женщина и совершенно голый и босой мужчина – и одновременно слышали, как далеко внизу надрывается истошными прерывистыми воплями автомобильная сигнализация.

- Моя... – обреченно прошептал мужчина. – Из сотни узнаю... Неделю уже барахлит, да все руки не доходят... Придется идти.

Женщина непринужденно рассмеялась, инстинктивно поправляя волосы:

- Куда ты пойдешь, на себя посмотри... – ее рука мгновенно схватила с тумбы автомобильные ключи. – Я сбегаю. Долго ли на лифте...

Он на миг задержал ее руку в своей, потом поднес к губам и поцеловал теплую ладонь. Помедлил и попросил, заговорщицки улыбаясь:

- И знаешь что... Переставь ее чуть подальше... Туда, к набережной, что ли... Если опять заорет, то меньше народу разбудит. Да и мы ее здесь не услышим...

Женщина кивнула, ослепительно просияв, и выскользнула за дверь, а он, не прекращая улыбаться, быстро пошел к кухонному окну, чтоб увидеть, как любимая пойдет через двор, и успеть махнуть ей со своей приветливой высоты.

Глава 7 **Перед выводом советских войск из Афганистана**

мотострелковая часть сворачивала в восемьдесят восьмом году свою боевую деятельность. На Пункте Постоянной Дислокации уже несколько недель шла веселая, словно предпраздничная подготовка. Молодых и необстрелянных парней, учебку с ее казаками-раз-

бойниками считавших пределом военных тягот и готовившихся к фронтовой романтике с черно-белого экрана, гоняли не по-детски. Алексей Веретенников, огонь, воду и медные трубы за полтора года прошедший не по одному разу, сидел, меланхолично покуривая «Кэмэл», на БТРе, подставив абсолютно коричневый, как у мулата, торс пыльному заходящему солнцу. Оно как раз нацелилось провалиться ровнехонько меж двух острых горных вершин, и осталось ему совсем немного – а потом после очень кратких и невнятных сумерек на измученную землю падет непроницаемая паранджа недоброжелательной восточной ночи. Алексей был, в общем, не особенно против заклеянной чистоплюями дедовщины, несколько даже завидуя первогодкам: что с того, что поползают немного раком, зубной щеткой отскребая и без того чистый казарменный пол! Ну, выплунут на ладонь зуб-другой, ежели на «дедушку» зыркнут как-нибудь неподобающе – зато, скорей всего, направо и налево гордо называясь афганцами, дослужат до дембеля где-нибудь на паркете. А что не паркет по сравнению с этими дикими ущельями, где даже большую нужду приходится в случае чего справлять под себя, потому что остановиться в Афгане на пути следования, где ты всегда – мишень, и каждый камень готов стрелять – значит, скорей всего, умереть на месте... И это еще ничего – умереть на месте, степенно размышлял Веретенников. Классно в плен попасть – раненым особенно. То, что добьют в затылок – это нормально, это благо, о котором молиться станешь с первой минуты. Потому что для начала обрежут тебе все, что торчит – с ушей начиная и далее вниз – глаза выколуют шомполом, и только потом пристрелят, а в открывшийся в предсмертном крике рот напоследок вставят то, что торчало ниже всего... Он, Лёха, это сам видел, вот этими глазами. Слава Богу, что не было среди тех парней ни одного знакомого... А вот среди восьми обугленных грудных клеток из сожженной на ближнем перевале колонны, которые лично грузом двести отправлял, по крайней мере, три принадлежали его близким друзьям... Лёха автоматически при этом воспоминании снял и швырнул на броню все равно не нужный больше солнцезащитный шлем, дурацкой формой похожий на детскую панамку, и пятерней взъерошил свои выгоревшие до почти полной белизны волосы... Надо ж было так случиться, что у здорового духа, первым заваленного в следующем же бою и опрокинувшегося на спину, балахон распахнулся так, что всему отделению стал виден огромный лиловый член, стоявший на диво прямо. Чем они там занимались, интересно, прямо перед боем?! На мертвого духа обрушили шквальный огонь – и потом каждый уверял, что диво дивное отстрелил именно он – правда, помкомвзвода лейтенант Граев мордобой им учинил знатный, у троих вообще рожи подушками

«Критическая масса» и другие повести...

стали... Улыбаясь, Алексей прихватил шлем и грациозно спрыгнул с БТРа, тут же лицом к лицу столкнувшись с Таиром Амировым – коренастым азербайджанцем, которого во взводе любили даже украинские западенцы. Он казался мягким, тихим, услужливым парнем, почти без акцента говорившим по-русски, но не матерившимся даже на родном языке. Худшее, что он произносил, даже когда в бою неожиданно зверел не на шутку, проявляя малопонятный восточный садизм, было все-таки цензурное ругательство «Ара, ограш, гетваран!», и все знали, что он каменно надежен для тех, кому посчастливилось лежать или отходить под пулями с ним рядом...

- Лёха... А нарисуй мне кобру... Королевскую... – застенчиво попросил он, опуская долу глянцево-черные, как нос у кухонного пса, глаза.

- Зачем тебе кобра, Таир? – улыбнулся Веретенников. – Забыть не можешь? – и, видя, как друг обиженно набычился, поторопился успокоить его: – Давай тогда в казарму бегом, чтоб до проверки. У меня и альбом, и карандаши там, я ведь просто покурить вышел...

- Лёха... – осмелел стеснительный Таир. – А можно так, чтоб рядом с коброй – это... И я где-нибудь стоял?

Это, конечно, было не только можно, но и нужно, потому что Таира с самых недавних пор прозвали заклинателем змей после того, как ему удалось уговорить безмозглую королевскую кобру не нападать на него – и действительно, уж очень обидно было бы погибнуть накануне дембеля, да еще не от руки визжащего в раже боя «духа», а от банального укуса ядовитой змеи, которые и в родном Азербайджане водятся так же просто, как ласточки в средней полосе. Она поднялась перед спокойным от природы пареньком в вертикальную стойку под прямым углом и принялась волнообразно шевелить своей отвратительной плоской головой, раздув от избытка охотничьих чувств знаменитый капюшон. Бежать или кидаться в сторону в таких случаях может только самоубийца – это примерно то же самое, что соскочить с мины-прыгунка, на которую по дурости наступил: скорость кобриного броска вполне сопоставима со скоростью пули-дуры... У Таира, доживавшего, по сути, последние секунды, внезапно прояснилась его темная азиатская голова, и каким-то чудным наитием он ласково, как девушке, предложил изготовившейся к убийству гадине: «Ала, гузал, су лар?» («Дорогая, милая, воды хочешь?»). Кобра озадачилась: так вежливо с ней еще ни одна жертва не разговаривала. На долю секунды она перестала качаться – и этой доли хватило Таиру, чтобы со скоростью, почти равной змеиной, совершить молниеносный рывок за соседний камень, где в теории могла находиться еще одна такая же тварь... Услышав этот бесхитростный рассказ из уст любимого боевого друга, Алексей, помнится, с раз-

Наталья ВЕСЕЛОВА

маху обнял его, охваченный мгновенным счастьем – тем огненным счастьем, которое иногда вспыхивало в нем после тяжелого боя, когда он облегченно понимал вдруг, что оба они опять уцелели...

- Знаешь, чего я больше всего испугался? – наивно сказал тогда Таир. – Я подумал – а вдруг эта змея не женщина, а мужчина? На «ала» обидится – и все тогда... Ведь если змея – мужчина, то надо было «ара» говорить...

- Все нормально, – зажмурился, чтобы не заплакать, Алексей. – Здесь же Афган. Она все равно по-азербайджански не понимает...

В казарме он вновь с удовольствием достал альбом и коробку самых лучших карандашей, нашедшихся у духанщика, и, чувствуя на ушах и затылке молодое горячее дыхание сразу десятка ребят, как всегда, бросившихся жадно наблюдать таинственный процесс, несколькими скупыми, но точными линиями изобразил на листе весь драматический рассказ всеобщего любимца о том, как удалось ему победить свирепого афганского змея... Змей вышел очень страшный и очень испуганный – что дракон, попираемый Георгием-Победоносцем, а скромный заклинатель выглядел непобедимым сверхчеловеком с пламенными черными глазами, мечущими разящие стрелы. Рисунок всем очень понравился, а Таир вообще благодарил так, будто Алексей Веретенников не картинку забавную нарисовал на потеху публике, а лично спас его от неминуемой смерти в зубах афганской кобры...

Нетерпение в эти недели стало главным чувством всех старослужащих, вдоволь хлебнувших лиха на этой негостеприимной земле. Странно, но дело было даже не в постоянной опасности, грядеющей злобными глазами из-за каждого невинного на вид камня, целившей гранатой из каждого приветливого зеленого пятна. Двадцатилетние, они видели безобразную смерть веселых сверстников, но до последней секунды не верили в собственную. Они ухитрялись даже бросать мальчишеский вызов своей неуязвимости в минуты едва ли не панического бегства под сплошным огнем, когда приходилось, невольно прикрываясь ими, как щитом, тащить из неудачного боя стонущих раненых на худых спинах: «Хоть бы ранило, бя... – почти на полном серьезе бормотал тщедушный паренек, подбрасывая на плечах, чтоб половчей улегся, медленно исходящего кровью товарища. – Чтоб не я тащил, а меня...».

Но не каждый же день все-таки приходилось стрелять – далеко не каждый, иначе никто бы с той войны не вернулся. Но ежедневно приходилось экономить драгоценную чистую воду, наблюдать, как быстро обезвоживается и без того изнуренный организм, и знать при этом, что любой глоток из соблазнительного арыка – это обязательный кровавый понос в перспективе – а безобидного гепатита уже

«Критическая масса» и другие повести...

почти не боялись... Их убеждали в необходимости умереть, если надо, за социалистическую Родину, но сама эта Родина не заботилась даже о том, чтобы досыта накормить своих отправляемых на смерть сыновей. Молодые солдаты, безжалостно обираемые «дедами» в смысле еды, иногда доходили до первых стадий дистрофии, но и самые бывалые старослужащие частенько держались в теле только тем, что при молчаливом попустительстве начальства бегали в кишлаки и обменивали на еду все, что пользовалось хоть каким спросом. Впрочем, из кишлаков приносили не только паршивую еду и третьесортное барахло – но и неизменный гашиш, который и добывать было не надо: грязные до какой-то предпоследней крайности афганские дети навязчиво продавали его вдоль дорог наряду с такими необходимыми вещами, как жвачка, зажигалки и презервативы – то есть товарами повседневного спроса... «Бакшиш!» (подарок) – просили они, кувыркаясь в пыли и протягивая на черных ладошках заветные пакетики... Скоро эти ручонки крепко ухватят надежные израильские «Узи»... «Дурь» курили поголовно все – даже сверхзастенчивые пареньки из интеллигентов, каждый день писавшие мамам успокоительные письма. Эти курили недолго, погибая не в первом, так обязательно во втором бою, если ротный не клал на них глаз, определяя при спасительном штабе или сытном и покойном госпитале... Хотя и это было относительно: долго ходили вдоль белых азиатских дорог рассказы о брезентовой палатке медсанчасти, которую однажды ночью без единого выстрела в несколько ножей вырезали душманы подчистую, а медсестер, блюдя странный выбор (именно красивые были убиты), утащили в качестве военных трофеев...

И Алексей Веретенников, и Таир Амиров, хлебнувшие не только военного горяшка, но и солдатских тягот сполна, понимали, что прежними домой не вернуться – и не только из-за того, что знали теперь, как легко умирает человек, на какой тонкой нитке подвешена его, оказывается, большая и тяжелая жизнь, но и оттого, что, долго прожив в скотском унижении, нечеловеческой грязи и моральном опустошении, сами отчасти превратились в отупевших от побоев скотов...

У самых, казалось бы, крепких и обстрелянных парней психика сдавала прямо на ровном месте – вот взять хоть Лёхиного земляка, брутального красавца-питерца из второго отделения, идола кухни и медсанчасти, однажды оказавшегося музыкантом, вырванным на помощь несчастным братьям-пуштунам прямо из Консерватории. Возвращаясь в сумерках из давно освоенного кишлака, он почему-то беспечно отстал от своих – и вдруг бархатную тишину разорвали истерические автоматные очереди и неистовый рев... «Духи!!!» –

Наталья ВЕСЕЛОВА

орал, грамотно отстреливаясь, Санёк Изотов – и хорошо еще, что не вся сонная рота дружно бросилась ему на помощь. Спустя десять минут злого и хмурого Санькá, увидавшего в ночи фосфорический блеск хищных глаз и уловившего чутким музыкальным ухом мягкую вражью поступь, привел на ППД, отобрав у него от греха дымящийся «Калашников», добродушный, ухитрившийся даже в спартанских условиях сохранить благостную полноту, сержант-хохол Осадчий: «Двух шакалов изрешетил, яко дуршлаг!» – сообщил он с ухмылкой – но никто и не думал смеяться, и Санькá грозой шакалов, как он, может, боялся, не прозвали...

...Спустя две недели все они сидели в одном из четырех «Уралов», стоявших у белых стен вроде как дружественного кишлака. Несколько часов, мокрые насквозь, оглушенные тропической жарой и почти слепые от невыносимой белизны солнечного света, выцветшего от жары неба и жгучего воздуха, они выгружали из грузовиков муку, сахар, сгущенку и еще какие-то аппетитные, но при такой погоде вовсе не желанные продукты, привезенные сюда для умасливания седебородых неласковых старейшин. Это они должны были, использовав свое непонятное для русских, но неоспоримое на востоке влияние, устроить так, чтобы в ближайшие дни, когда колонна советской техники отправится по горным дорогам на выход, с территории кишлаков на нее не напали бы всеядные душманы. Переговоры шли во время разгрузки, неумолимо близились быстрые сумерки, и нервничал весь законопаченный в грузовиках и БТРах сопровождения взвод: какого хрена капитан Крапивин там застрял с этими старперами?! Ночь – время «дúхов», как обратно добираться будем? Опять «трехсотые» на себе «двухсотых» попрут? Потому что Крапивин, дипломат долбаный, уже третий чайник на мягких коврах допивает и щербет трескает?!

Комвзвода Крапивин популярностью у подчиненных не пользовался. Тип был скользкий, явно из гнилых интеллигентов, – какая вообще нужда принесла такого в армию? Стороной узнали и это: была, оказывается, у него когда-то злая невеста. Потому злая, что ни за что не хотела жениха из армии два года ждать. Другой бы плюнул и другую нашел, а Крапивина на ней почему-то заклинило: чтобы с капризной девицей не разлучаться, скрепя сердце и естество свое изнасиловав, поступил в военное училище в том же городе – а она за него все равно не пошла, кинула. Да и то сказать: судьба офицерской жены, видать, тоже не сахар.

Крапивин во взводе не свирепствовал, но, хоть и держался демонстративно вежливо, радости от него рядовые тоже не видали: все было отдано на откуп бывалому сержантскому составу, наводивше-

«Критическая масса» и другие повести...

му зубодробительный порядок по собственному разумению. Себя почитал капитан, по-видимому, «белой костью», солдат втихомолку держа за быдло без разбора способностей и происхождения, причем подозревали, что тех горемык, что были из студентов, недолюбливал особо: ни одного из них Крапивин ни в прохладную контору писарем не порекомендовал, ни санитаром в дружелюбную медсанчасть не предложил... Вот и сейчас плевать ему было в уютной чистой комнате, что помкомвзвода лейтенант Граев уже не раз незаметно кивал ему на выход, вспоминая о сорока девяти ребятах, что в задыхаются, потом исходя, в раскаленных машинах и проклинают разнежившихся переговорщиков.

...Ехали быстро, но было понятно, что ночь наступит быстрее. Опытный солдат, Веретенников уже понимал, что боя сегодня, скорей всего, не избежать – и сердце сжималось в смертной тоске, к которой все равно никогда нельзя привыкнуть. Она каждый раз разная, эта тоска, и чувство обреченности вовек не становится знакомым – ты каждый раз заново готовишься умереть. Да это еще хорошо – умереть... Не раз Алексей видел чудовищные раны, когда тело живого человека уже не выглядело человеческим, а лишь варварски разделанной тушей на столе сумасшедшего мясника... Уж лучше сразу, мрачно думал он. Но не теперь же, ядрена вошь, когда отметили знаменитые и долгожданные сто дней до приказа! Когда почти дотянули... Таир вот – дружан его, Санёк-музыкант, Серега Осадчий, так мечтающий о сале, которого здесь ни за какие деньги не добудешь... Советский паренек, уверенно и равнодушно перешедший из толстощеких октябрят в гордые пионеры, а потом, советью несколько покривив, перебравшийся в обязательный комсомол, Лёша любил, помнится, смотреть по телевизору после смехотворной программы «Время» фильмы про Великую Отечественную войну. С нее не вернулся его дед с одной стороны, обидно подорвавшийся на mine уже в почти добитом Берлине, и бабушка с другой, санинструктор, погибшая сразу в сорок первом при выходе из окружения. Они воевали за свою страну, освобождая ее от врага – это было просто и понятно ему с раннего детства. Здесь, в Афгане, он прекрасно мог взять в толк, ради чего в мучениях умирают его друзья и ежеминутно рискует отправиться вслед за ними и он сам: да, конечно, в этом стратегически важном для Советского Союза диком государстве, прочно застрявшем в средневековье, должна быть послушная Большому Другу власть, для чего необходимо любой ценой поддержать верных президенту Наджибулле пуштунов... Но вот нутром он не мог принять такого объяснения. Они ходили здесь по чужой земле, где народ совершенно не собирался считать их благодетелями, особенно после тех тошнотворных зачисток, в которых сам Веретенни-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ков не раз и не два участвовал со злостью и отвращением – так может, творилось все-таки что-то неправильное?

Первый БТР взорвали из гранатомета через десять километров, и почти сразу же вспыхнул замыкающий. «Вилка» – вот как это называется. Четыре грузовых «Урала» с этого момента превратились в классические ловушки, из которых нужно было мгновенно выбираться – под пули и гранаты, разумеется – потому что им предстояло сгореть до железного остова в считанные секунды. Немного, правда, помогало в те мгновения, что «дúхи», нападая на врага, издавали пронзительный визг и поистине первобытный вой, изначально призванный деморализовать противника до ступора, но на самом деле хорошо обстрелянных русских уже не пугая, но служа ориентиром для огня даже в темноте. Веретенников автоматически выбросился наружу, безостановочно поливая огнем окружающие камни, каждый из которых, казалось, стрелял сам по себе, без участия укrywшегося за ним разъяренного душмана. Настоящая темнота еще не наступила, а сумерки имели особый ярко-синий цвет, в котором хорошо была видна вся та кровавая сумятица, что происходила теперь на серой горной дороге, где метались, беспорядочно занимая оборону, рядовые и сержанты, сумевшие выпрыгнуть из «Уралов» благополучно.

Алексей успел мимолетно удивиться самому себе, вернее, своей неистребимой способности даже в моменты смертельной угрозы регистрировать уголком сознания удачные колористические и композиционные моменты – в прямом смысле дьявольски красив был, например, оранжевым пламенем пылавший головной БТР в этой адской синеве – и тут Веретенников услышал короткий матюг у своего плеча: капитан Крапивин скрючился рядом с ним, прижимая к груди окровавленную левую руку, с которой осколок гранаты, как ножом, ровнехонько срезал мизинец под самый корень. Кто-то уже кинулся перевязывать командира, когда Алексей метнулся за ближний свободный камень, на ходу меняя магазин у своего горячего «Калашникова». Он не видел и знать не мог, кого еще точно задело, кого уже нет в живых – пульсировала только изредка мысль о Таире, который был действительно дорог, и лишиться его означало оторвать кусок сердца из тех, что были жизненно важны... Но голос стеснительного азербайджанца, выкрикивавший приличные не смотря ни на что выражения, обнадеживающе звучал где-то позади, вселяя уверенность в благополучном исходе: сейчас Таир найдет его и подберется поближе, тогда хоть за тыл можно будет не опасаться... Веретенников не выдержал и обернулся. За соседним валуном залег Сашка Изотов, жаля из-за него короткими точными очередями – и вдруг повернул к Алексею странно изумленное лицо:

– Глянь, зёма! Крапивин!.. – крикнул он. – Что делает, сука такая...

«Критическая масса» и другие повести...

Алексей взгляделся и успел увидеть. Забросив автомат за спину и зажав под мышкой раненую руку, Крапивин, крадучись и оглядываясь, перебежками уходил вбок, целясь на серую, квадратную, как трехстворчатый шкаф, скалу. Оттуда не стреляли, но там кто-то был, судя по тому, с каким выражением поглядывал за немую скалу капитан: он едва заметно, поджав изгибистые жабыи губы, кивал в ту сторону, словно обещая добраться поскорее... Веретенников с Изотовым изумленно переглянулись, Санёк нерешительно вскинул автомат, но инстинктивно медлил... Алексей похолодел, хотя, казалось, что ужасаться дальше сегодня уже некуда. Изотов медлил зря. У самой скалы Крапивин слегка остушился, и оба солдата ясно увидели, как его, чуть-чуть пошатнувшегося, подхватила и втащила в укрытие отчетливо мелькнувшая рука в грязно-белом рукаве. В ту же секунду на их защитные камни обрушился целый шквал остро звеневших осколков, и парни припали к сухой земле, закрывая головы... «Отходим вверх от машин по ущелью! – грянул откуда-то бас помкомвзвода лейтенанта Граева. – Все живые, за мной! Пулеметчик, ко мне! Прикрываем отход!». Санёк и Лёха, молча откувырнувшись от камней, покатались вниз по обрывистому склону, в кровь раздирая тела о зазубренные обломки...

Отходили несколько часов почти в полной темноте. Помкомвзвода с пулеметчиком по прозвищу Пашка-Бэ-эм-вешка, потому что по совместительству тот был при надобности и лихим водилой, шли последними, злобно огрызаясь во враждебную ночь длинными смачными очередями и не подпуская «дúхов» слишком близко к измученным долгим пешим дралом, почти поголовно подраненным бойцам. Задела пуля и лейтенанта, сорвав ему над ухом кусок его рыжего скальпа, но он упорно держался замыкающим вместе с оптимистично настроенным и вовсе помирать не собиравшимся Бэ-эм-вешкой, успевавшим еще и травить по ходу дела абсолютно скабрзные анекдоты. Алексей и Таир шли, разумеется, рядом, и Веретенников чувствовал себя парадоксально спокойным: ему почему-то казалось, что, пока цел-невредим его тихий черноглазый друг, и ему самому ничего не грозит в этой проклятой всеми богами стране...

Но местности не знал никто, и к полуночи двадцать три уцелевших в мясорубке над ущельем человека уперлись в отвесную скалу, насмешливо отсвечивавшую в ночи гладкой, словно полированной поверхностью, что очень редко бывает в азиатских горах и почти никогда – в Афганистане. Высоту ее определили метров в восемьдесят – но могла она оказаться и больше, и меньше – без разницы, потому что без специального снаряжения влезть на нее все равно было принципиально невозможно. «”Чимган”, ”Чимган”, я ”Чинара”!» – в сотый раз отчаянно выкрикнул радист в заведомо мертвую трубку

Наталья ВЕСЕЛОВА

– и отшвырнул все бесполезное устройство прочь. Никто не сказал ему ни слова. Под этой зеркальной скалой, на вершине которой уже собралось штук тридцать-сорок насмешливо и торжествующе галдящих «дúхов», им на рассвете предстояло принять свой последний бой на земле.

Про капитана Крапивина знали уже все. Думать здесь было не о чем: нападение на колонну оказалось не случайным, а спланированным давно, во всяком случае, до разговора со старейшинами, в котором принимал участие и героический Граев, не заметивший ничего особо подозрительного. Ничего – кроме того, что Крапивин намеренно тянул время, без меры и оглядки на часы потягивая душистый горячий чай и покрываясь блаженной испариной. Опытный боевой офицер, не от беспечности он это делал. А просто знал заранее, куда и к какому времени приведет колонну техники, где именно погибнет весь без исключения личный состав его взвода. Не сегодня переметнулся капитан на сторону врага под влиянием жуткого момента – все давно спланировал вместе с душманскими командирами, а цель имела простая и легко достижимая: приняв ислам, перебежать в экзотический Иран, например, и прожить там остаток подлых дней безбедно, еще и солидным гаремом, пожалуй, обзаведясь... В Союзе у него заложников не оставалось, свидетелям предательства предстояло сложить головы всем до единого, а капитана Крапивина внесут в список безвозвратных потерь по военкоматской линии – и забудут через месяц: кому он нужен, этот ни в чем не реализовавшийся неудачник... Ровно двадцать три проклятья пали в ту ночь на голову черного злодея на земле – и двадцать семь грянули с небес. Таких проклятий, которые никогда не возвращаются на голову проклинающего...

Если бы эти старательно скрывавшие муку ожидания страшной гибели солдатики были взрослыми по-настоящему, а не стали ими лишь на войне, стремительно перешагнув все положенные ступени взросления, на коих полагалось постепенно набирать жизненный опыт, они бы, может, и дрогнули под этой скалой, где отчетливо веяло в душной ночи властным холодом потусторонности. Но каждый из них, несмотря на то, что успел уже в короткой своей жизни увидеть худшее, все-таки твердо знал, что это худшее может произойти лишь с другими. Вот с ним же – не произошло! Всегда уцелевает и на белом экране, и в пронзительной книге в самой безнадежной боине главный, необходимый в дальнейшей жизни мира герой, предназначенный отомстить за поверженного товарища, за собственную искалеченную, но все равно не отнятую жизнь! А кто главный в этом жутком кино, кроме тебя самого? Значит, ты и уцелеешь. А потом со знанием дела отомстишь... Но душа все равно сжималась и рвалась от извечного рабского страха, когда-то раз на-

«Критическая масса» и другие повести...

всегда сковавшего сердце еще только-только согрешившего и даже не успевшего оглянуться Адама...

Безмолвно сидели рядом, привалившись друг к другу спинами, неразлучные Алексей и Таир, примолк добродушный Осадчий, баюкая раненную в мякоть руку, тяжело молчал, положив сильные руки на автомат и слушая обманчивые звуки горной ночи, питерский пианист Санёк. Сорок диких «дúхов» ждали серого рассвета на зеркальной скале, предвкушая, как легко прихлопнут сверху, будто неразумных мух, два десятка необрезанных гяуров, отданных им сегодня во власть всемилоостивейшим Аллахом; еще около ста человек, таких же непонятных, но чувствующих себя в полном праве на своей земле, отогнанные перед ночью шагов на сто, в потных смердящих балахонах бродили в темноте, по-шакальи нетерпеливо взвизгивая и вбирая трепещущей ноздрей сухой, не успевший остыть воздух... Все вибрировало, почти осязаемо гудело в ожидании малейшего проблеска света – и некоторые доведенные до крайности ребята уже повторяли про себя отчаянное «Скорей бы!».

Спокойным казался только неунывающий Пашка-Бэ-эм-вешка. Сидя на низком камне, он невозмутимо оглаживал по всей длине свой еще раз досконально проверенный, насколько это возможным оказалось во тьме, пулемет, и непринужденно разговаривал с ним, как с боевым другом: «Ты уж, братан, того... Не подводи, ладно? А я тебе за это принесу настоящего ружейного маслица, а не машинного какого-нибудь... Если живы останемся. Ты и я... Договорились, что ли?».

Чуть заметная серая полоска, еще почти не видимая глазом, а прозорливо угаданная напряженными глазами двадцати трех молодых смертников, лишь собиралась возникнуть на востоке, когда Граев, ни на секунду в свою последнюю ночь не присевший, отрывисто скомандовал: «Взвод, к бою!». Он погиб первым, потому что очередь из тьмы была послана на голос, и смерть его оказалась легкой: пуля вошла в один висок и вышла из другого, так что двадцатидвухлетний лейтенант не успел даже особенно огорчиться.

Как они и договаривались, в ожидании ружейного маслица пулемет не подвел Бэ-эм-вешку. Чтобы ликвидировать их обоих, задорно поливавших пулями неприступное пространство на сто восемьдесят градусов перед собой, потребовался целый гранатомет – и только после этого несколько оторопевшие «духи» смогли осторожными перебежками приблизиться к вспыхивавшей очередями темнеющей громаде отвесной скалы. И неизвестно еще, кто победил бы в том бою, если б сверху не летели гранаты, если б не редкий, непонятно откуда взявшийся у дикарей огнемёт, прицельно спаливший в адском пламени пятерых увернувшихся от пуль парнишек, если бы просто больше было у них самих драгоценных патронов...

Наталья ВЕСЕЛОВА

Таир умер так же скромно, как жил, и так же героически, как воевал. Он поначалу даже не понял, почему вдруг упал на спину от легкого, как ему показалось, толчка в живот, и презрительно поморщился, увидев сизую вздрагивающую горку собственных внутренностей, лежащих рядом. Таир просто взял их двумя руками и аккуратно поместил обратно в свое наискось распаханное чрево, не считая, наверное, такой ничтожный повод достаточным для того, чтобы выйти из боя – ведь стреляет же с левой сержант Осадчий, у которого вместо правой бьет ярко-красный фонтан, да и Лёха Веретенников так уверен в своем тылу – как оставить его одного!

Обернувшись на тишину Алексей увидел, что друг его без единого звука буквально тонет в собственной крови, но силится поднять автомат и стрелять хотя бы из положения лежа – и сам плюнул на заведомо безнадежный бой, упал на колени перед Таиром – как раз, чтобы успеть увидеть, как из глаз его выкатился последний свет...

- Ы-ы-ы!!! – взревел он в отчетливо посветлевшее чужое небо и послал туда последнюю бесцельную очередь.

В этот момент огненная струя с жарким шумом пронеслась мимо – и Алексей инстинктивно откатился в сторону, атавистически испугавшись быть именно сожженным заживо, предпочитая любую другую кошмарную участь – но вторая струя пошла уже прицельно по нему... Он успел еще увидеть последний живой образ – выронившего автомат Санька, у которого из обеих ушей хлестала почему-то очень черная кровь, услышать родной, знакомый и сразу опознанный гул, нарастающий сверху, обрадоваться – «Наши ”вертушки”!» – и его унесло огненным шквалом в нестерпимо жгучую непроницаемую бездну.

Только много позже Алексей Веретенников и Александр Изотов уже в Ташкентском госпитале узнают о том, что группа наших разведчиков еще накануне перехватила радиопереговоры «духов» и сумела вызвать помощь, опоздавшую примерно на час. Они напишут совместный рапорт о том, что видели в первом бою на горной дороге около ущелья, но двум потрясенным калекам никто не поверит, а рапорт их затеряется по нудным канцеляриям, медленно пробираясь вверх по бюрократическим инстанциям. Великая страна, которой они отдали один – зрение, другой – слух, вскоре исчезнет с политической карты мира, и никому уже недосуг станет разбираться в незначительном эпизоде мелкого боя на той изнурительной войне, что быстро признают неправильной и ненужной. В двух мирах, одном – темном, другом – беззвучном останется только больная память, подогревающая дремучую ненависть.

Эпилог
- На левом...

- прошептал, по непонятной причине леденя, Бетховен.

Не ослабляя хватки, Нельсон силой развернул его к себе и абсолютно беззвучно, но с отчаянной артикуляцией, проговорил:

- Да – нет – у – него – никакого – левого – мизинца!

- Чего?! – шепотом спросил остолебневший Бетховен.

- Сам – видел – как – оторвало!

Черные очки Нельсона показались Бетховену огромными всевидящими очами, и какое-то время он серьезно пытался прочесть в них ответ на ужасный вопрос, с такой простотой и неотвратимостью возникший перед ним. Он прочел этот ответ. И знал, что нужно делать.

- Вниз, – скомандовал Бетховен чужим голосом и бросился к чердачному люку.

Каждый миг был на счету, и помогать Нельсону, тотчас рванувшемуся вослед, он уже не мог. Скатился с лестницы на площадку – и без особой надежды ткнул в красную кнопку лифта. Тот неохотно ожил в самом низу, но Бетховен не осознал, что слышит его тяжкое копошение. Он обернулся к товарищу, как раз рыхлым мешком выпавшему из люка: «Поедешь на нем. Встретимся внизу», – и сломя голову рванул вниз по частым цементным ступенькам. На втором этаже он глянул в лестничное окно и охнул, увидев то, чего боялся с первой секунды: вовсе не тот, кого все это время считали капитаном Крапивиным, а крупная высокая женщина в длинном лиловом платье и с радостным лицом легко, словно под музыку, выпрыгнула из подъезда и, крутя на пальце кольцо со звенящими ключами, вприпрыжку направилась в сторону припаркованной за домом «Нивы» своего друга. Теперь Бетховен мог поклясться, что именно слышит, как звенят ее ключи, но думать над этим не было времени, и он только мучительно прошептал ей: «Стойте...», ускоряясь, как мог. Но на первый этаж в этот момент приехал лифт с обезумевшим от страха Нельсоном, тотчас ринувшимся вон, и, спрыгнув с последних ступенек, Бетховен со всего разлету сшибся с ним на нижней площадке... Огромным кубарем они вдвоем подкатились к входной двери, в полутьме кое-как поднялись и, с мерзким хрустом раздавив Нельсоновы очки, вырвались в ожившую вдруг тремя короткими острými звуками белую ночь. Узнав писк сигнализации и хлопок закрывшейся дверцы, Нельсон дико замахал руками и наугад устремился в ту сторону, косноязычно рыча невнятные мольбы, в которых только бегущий рядом Бетховен смог угадать страстный призыв не заводить

Наталья ВЕСЕЛОВА

мотор – но женщина, сидевшая в машине, их не поняла, зато обернулась и взглянула Нельсону – в лицо...

Алексей сгоряча пробежал еще метр и тихо опустился на колени, пытаясь поймать и задержать в ладонях судорожно затрепетавшее и рванувшееся вон сердце. Не смог – оно проскочило меж ребер и пальцев, шелковисто-упругое, и свободно вылетело навстречу двум сошедшимся в небе зорям. Веретенников ясно, как в детстве, увидел незнакомого, кипенно-седого, крепкого мужчину лет сорока пяти, горестно мечущегося у высокого черно-красного пламени. Мужчина его не заинтересовал – Лёха искал взглядом тонкого и сильного темноволосого Сашку Изотова, не находил и удивлялся, куда тот мог исчезнуть так внезапно... «Санёк, – прошептал он удивленно. – Какого хрена? Я ведь все вижу...» – но зрение опять стало предательски гаснуть. Последнее, что он заметил, заваливаясь набок, было торжественное и беззвучное явление атласного черного котика со звездой во лбу. Кот медленно и скорбно сел в гладком кольце своего хвоста – и остался так насовсем, неотрывно и бесстрастно глядя в гудящий огонь – впрочем, в реальность своего видения Нельсон уже не поверил.

Закончено 15 августа 2012 года в деревне Букино Пушкиногорского района Псковской области на вилле «Счастливая кошка».



НА ЛИНИИ ЛЮБВИ

...тайна сия велика есть...

Послание св. Ап. Павла к Ефесеянам, гл. 5, ст. 32

Глава 1

Бригантина опускает паруса

Небо напоминало немывтый пол, покрытый вытертым серым линолеумом, по которому метались грязные половые тряпки – тяжелые бесформенные тучи, напитанные холодной колючей водой. Словно чья-то насмешливая рука то и дело крепко отжимала их в возмущенно бурлящую Неву – и тогда тугие струи дождя под напором падали в антрацитовые воды маленькой, но великой реки, размыто отражавшие странный парусник, растерянно шествовавший от Троицкого к Дворцовому мосту. Все алые паруса корабля, теперь мокро-пунцовые от влаги, отчаянно надулись от бокового ветра, отчего судно неумолимо кренилось на левый борт – но все же мучительно шло с поднятыми парусами, стремясь изловчиться назло непогоде и торжественно пройти до моста в подражание знаменитой гриновской бригантине – и в ознаменование тысяч надежд на обязательные подвиги и победы. Просто сильный ветер, вероятно, еще можно было до определенного момента просто игнорировать – но момент этот настал, когда не пожелавшая и на несколько минут смириться буря наслала такой мощный порыв на все подставленные ей паруса, что корабль на миг почти упал на воду плашмя. Благодаря идеальной устойчивости он сразу подлетел, как ванька-встанька, но дальнейшего риска здравомыслящий капитан допустить уже не мог – и последовала роковая команда спустить паруса... Они стали падать один за другим – и именно в это время среди клубившихся низких туч, похожих на стаю мокрых одичавших крыс, вспыхнули первые разноцветные звезды приветственного салюта. И она все-таки прошла гордо, словно несдавшийся флагман, уцелевший в безнадежном бою, эта потрепанная штормом бригантина с темно-бордовыми валиками вместо обещанных алых парусов, возникшая среди грозового мрака и тьмы в окружении неистового, как боевое пламя, фейерверка...

Если некоторые из выпускников и были втайне суеверны – а суеверны все люди на свете, только многие слишком старательно пытаются это скрывать – то предзнаменования на грядущую взрослую жизнь виделись им чрезмерно, почти тошнотворно ясными: ну ежу ведь понятно, что одиннадцатиклассникам выпуска 2012 года

путь предстоит нелегкий – настолько, что, может, даже придется воевать – но их Бригантина все-таки не утонет и, хотя опустит все свои паруса – но не перевернется, и флаг, главное, флаг останется на месте...

Мокрыми насквозь стали уже все без исключения. Мокрыми, холодными и судорожно веселыми – потому что шампанское в такую погоду не лезло в горло ни одному нормальному человеку – и русские обоего пола пили, естественно, водку, в чем привычно следовали им люди всех других российских национальностей, причем, поскольку заказанные для выпускников рестораны с едой пока принадлежали будущему, все они пили, ничем не закусывая – просто «для сугреву».

Лариса принадлежала к числу тех самых записных неудачников, которым за столом всегда достается именно подгорелый кусок, за кем никто никогда не занимает очередь, кто единственный подворачивает в турпоходе ногу, мгновенно становясь обузой для окружающих, и кому, разумеется, и мечтать заказано о том, чтобы вытянуть счастливый билет – как на экзамене, так и в жизни. Нога у Ларисы подвернута еще не была – но это только благодаря редкой благосклонности судьбы: каблук праздничной туфли уже треснул на ровном месте и при каждом шаге предательски отъезжал назад на целый сантиметр. Это можно было бы пережить – блистай она сегодня в своем первом взрослом платье, что гораздо привлекательней и эффектней, чем у кузины Анжелы. На деньги, полученные от родителей на выпускной наряд, та купила себе банальное открытое платье изумрудного цвета (воображала, дура, что и глаза у нее зеленые) в неоправданно дорогом бутике – и теперь горевала о том, что бирка с именем почти приличного кутюрье пришита внутри, и ее никому не видно. Лариса же отправилась в ателье – и не прогадала. Она стала обладательницей эксклюзивного муслинового платья с жемчужно-серой двухслойной юбкой и умопомрачительным лифом, сплошь расшитым стразами... все считали, что от Сваровски и завидовали. Но только в суровых погодных условиях нынешнего выпускного вечера все старания ее пропали втуне: оставаться с открытой спиной и плечами под секущими плетями ледяного ливня на сбивающем с ног ветру быстро было решительно невозможно – и пришлось прикрыть драгоценный лиф повседневной серой курткой, а из под нее виднелась лишь мокрая серая же юбка, облепившая сжатые от холода полные ноги. Дрожащая под блеклым зонтиком Лариса напоминала сама себе одну из сегодняшних небесных туч, все никак не желавших прекратить свои безудержные рыдания. Кроме того, Лариса не умела пить водку. То есть – совсем. И сейчас нарочно не пила вместе с другими, чтобы не начать позорно давиться и кашлять у всех на

«Критическая масса» и другие повести...

виду – тогда ее начали бы хлопать по спине и снисходительно учить предварительному выдоху. Да пробовала она уже сто раз! Ну, не получается... И вот, прихрамывая и дрожа, с приклеенной улыбкой на мокром лице, она обреченно таскалась по загаженной набережной под непрерывным дождем вместе с кучкой пьяных, упорно резвившихся одноклассников – и больше всего на свете хотела оказаться сейчас дома под теплым одеялом с электронной книгой в руке... А ведь предстояло еще принудительное ресторанный веселье!

Его она кое-как перетерпела, почти не снимая куртки, потому что начался явный озноб – с сопутствующей тупой болью в голове и полным безвкусием во рту... Ну не ест, не ест она курятины! Почему, когда родительский комитет заказывал меню для банкета, никому не пришло в голову поинтересоваться вкусами детей? Зачем ей эта жирная поддельная котлета по-киевски, из которой неаппетитно торчит сломанная птичья кость в бумажном кружевце? Впрочем, есть все рано не хотелось – и как же она позавидовала одной незаметной девочке, позвонившей из туалета своему сговорчивому папе, тотчас явившемуся за дочкой на непрестижной «десятке» и незаметно увезшему ее в их бедный, но добрый уют... Лариса никому не могла позвонить, пока не отвеселится свое отчаянно плясавшая полуголая в изумрудном чудо-туалете Анжела – а уж она-то возьмет все до капельки, будьте уверены! Гуляем – заплачено!

Считалось, что сестренки трогательно дружат, просто жить не могут друг без друга. На самом деле, взаимно испортив друг другу жизнь с пеленок, они яростно ненавидели одна другую, и каждая была бы искренне рада безвременной кончине сестры, случись вдруг такое несчастье. Все дело в том, что Лариса воспитывалась в семье своей тети по матери – после того, как та пропала без вести в девятнадцать лет, оставив ее, трехмесячную, нагулянную неизвестно от кого, на попечение сестры, у которой во вполне законном и уважаемом браке за два месяца до того родилась очаровашка Анжелочка. Ларисина мама Люба была младшей, беспутной сестрой, рожденной усталой и больной сорокапятилетней женщиной уже после смерти мужа. Бабушка вовсе не собиралась сохранять внезапную, как ОРВИ, беременность, грянувшую на пороге ее раннего климакса, и уже намеревалась привычно расправиться с Любой в районном абортарии, куда после рождения старшей желанной дочери Аллы бегала с узелком не менее десяти раз, сбившись на одиннадцатом и махнув рукой на дальнейший счет. Но скоропостижная смерть мужа от легкого сердечного приступа («Слушай, что-то мне как-то не по себе, прилечь, что ли... – Конечно, приляг, только не забудь потом уютю починить...») – и он решил починить его сначала, а уж потом лечь; вероятно, не стоило этого делать) вызвала в ней прилив никог-

да ранее не свойственной сентиментальности – и беременность была сохранена в память усопшего, никогда не взглянувшего не зачатое им чадо; собственно, из всех зачатых он при жизни сподобился увидеть только одно – старшенькое... С младшеньким же вдовая мама намучилась на старости лет, потому что получилось оно, по единому приговору всех членов семьи, определенно беспутным и никаких добрых надежд не подававшим. Девочка Люба училась плохо, в школе ее не ругали только те учителя, что сразу и навсегда поставили на ней жирный «хер», зато помешана была на танцах и с малолетства носилась в какой-то невразумительный танцевальный кружок, мечтая стать профессиональной артисткой-плясуней. Но дальше выступлений в захудалых Домах культуры и поездок в пригороды Питера с какими-то подозрительными народными танцами ее карьера не продвинулась. Корабелку, куда никчемную Любу из жалости запихнули в начале девяностых по благу, она бросила после первого же курса – и продолжала бесплодно мотаться по лихорадившей стране со своей «танцевальной студией», которую какой-то самозванный продюсер из махинаторов первых лет перестройки мечтал переделать в востребованный и приносящий завидные барыши ансамбль песни и пляски. Может, он и преуспел, как и многие тогда на этом поприще, – но уже без Любы. Та, как и следовало ожидать, однажды, приехав откуда-то издалека, оказалась беременной, причем дурочка клялась и божилась, что скоро познакомит всех со своим замечательным «мужем» и наотрез отказалась от предусмотрительно предложенного старшей сестрой и матерью аборта, все твердя, что у нее какая-то особенная, небывалая любовь, недоступная пониманию никого из ныне живущих... Никакой никем с самого начала и не ожидавшийся муж, разумеется, так и не объявился, и Лариса родилась на свет безотцовщиной на месяц раньше трепетно ожидаемой родителями кузины, получившей волшебное имя Анжела и легшей в розовое бельё с рюшами и шелковой вышивкой. Все надеялись, что девятнадцатилетняя Люба хоть теперь вынужденно остепенится – когда прахом пошла ее мечта о профессиональной сцене, а на руках заагукала грудная Ларисочка. Так и казалось первые три умиленных месяца, но потом юная мать вдруг исчезла из родительского дома, оставив родным возмутительную записку о том, что едет «потому что иначе нельзя», потом все объяснит, вернется через неделю и просит присмотреть это время за ребенком...

Она не вернулась никогда. В милицию, конечно, заявляли. Но следствие не продвинулось дальше удивительного открытия, что Люба сошла с ТУ-154 в Архангельске – и дальше следы ее потерялись безнадежно. Впрочем, тогда, в девяносто пятом, потерялись не только Любины следы – терялись некогда благополучные города и

«Критическая масса» и другие повести...

поселки в полном составе, сотни людей числились без вести пропавшими по всей метавшейся в горячке стране, тысячи трупов ежегодно вытаивали из под черного снега как в глухих оврагах, так и в центре цивилизованных городов... А Любин не нашли. Нет, никто, конечно, не считал ее кукушкой, подбросившей дитя в чужое гнездо и улетевшей к солнцу на широких крыльях: ее трогательная любовь к новорожденной девочке не подлежала никаким крамольным сомнениям. Родные верили, что блудная душа собиралась непременно вернуться домой – но что-то случилось. Что-то, чего никто не хотел называть словами... Все понимали, что Люба уехала к отцу своего ребенка, желая, конечно, пристыдить его, уговорить вернуться – и потерпела поражение. Окончательное поражение потерпела Ларисина мама Люба... Пожилая мать пережила ее ненадолго – потрясение оказалось непереносимым для и без того надорванного сердца, и годовалая Лариса поступила на правах не племянницы, а приемного ребенка в семью своей родной тети Аллы, безжалостно потеснив там круглую и белую кузину Анжелу, вынужденную с того дня делиться с ней всеми родными игрушками, оборчатými платицами и желевыми конфетами, а главное – своей ненаглядной мамусей Аллочкой.

В новую семью Лариса прибыла не просто так, а с приданым. Во-первых, с двухкомнатной бабушкиной квартирой, тотчас реквизированной тетей в счет неизбежных будущих издержек – и две маленькие квартирki были благополучно обменены на одну большую четырехкомнатную, дабы сиротка в будущем не дерзнула посягнуть на наследство. Во-вторых, вместе с ней явился и более неприятный довесок – а именно, тетушка семидесяти с лишком лет, старая дева, всю жизнь бесполезной гирей провисевшая на шее своей младшей сестры, Любиной покойной мамы. Эта была уж абсолютно никому не нужна, хоть и суетилась там что-то с ванночками и пеленками, высказывая безнадежно устаревшие сентенции вроде необходимости свивальника не только для прямизны ног ребенка, но и для того, чтоб он не приучался без толку махать руками, что вредно не только для тела, но и для вечной души. Тетушку использовали для мелких поручений – и после вежливо отправляли в самую маленькую комнату в квартире, рассчитывая, что должна же она когда-то освободиться! Рассчитывали неверно: к моменту выпускного вечера девочек их двоюродной бабке Зое исполнилось девяносто лет, она оставалась твердой на ногах и крепкой телом – зато предсказуемо тронулась головой.

Собственно, это заметили случайно. Обычно не принято было обращать особое внимание на ничем, кроме факта своего существования на земле, не докучавшую семье старуху, пока вдруг в дверь не позвонили чужие люди. На пороге между двумя прямыми и строгими

Наталья ВЕСЕЛОВА

дамами, как ни за что ни про что арестованный между старательными конвоирами, понуро стояла баба Зоя, виновато глядя исподлобья на удивленную племянницу Аллочку, наскоро пытавшуюся осознать тот факт, что девяностолетняя тетка, оказывается, давно уже находилась где-то вне дома и вот теперь была доставлена посторонними по месту проживания... Пока дома считали, что тихая старушка, как всегда, обретается в своей никому не интересной опрятной келлейке, куда входить, тем не менее, брезговали из-за явно обоняемого там легкого сладковатого запаха приближающейся смерти, она, как выяснилось, неожиданно предприняла многотрудное одинокое путешествие по родному городу, где закономерно и заблудилась. Две дамы, прогуливаясь по холодку, заинтересовались призрачным существом в дурацкой шляпке, потерянно сидевшим на бортике давно высохшего дворового фонтана и стоически отвечавшим «Не знаю» на все их участливые расспросы. Гуманность победила: у существа была изъята сумочка с паспортом, откуда добрые самарянки и вычитали домашний адрес... Подвергнутая дома допросу с пристрастием, баба Зоя молчала и там с упорством пытаемой партизанки – и результатом быстрого следствия стал суровый домашний арест, к которому ее приговорили с того же дня, отобрав ключи от квартиры и указав на просторный балкон как на место всех будущих прогулок. Баба Зоя попробовала возражать, обещая, что никогда больше не отлучится никуда, кроме ближайшей церкви, насущно ей необходимой – и получила жесткую отповедь племянницы: «Твоя комната и так вся в иконах – молись не хочу. А по улицам тебя искать – это уж уволь, нам не по силам. Добрые люди, чтоб беспамятных стариков домой приводить, каждый день не сыщутся», – и вопрос был закрыт, казалось, навечно. «Это Альцгеймер¹, – постановлено было вечером на семейном совете. – Теперь глаз да глаз за ней... Вот не было печали!».

- Может – того... определить ее... В платное, чтоб с гуманностью... Она труженик тыла и все такое... Пенсии ее как раз хватит... – робко посоветовал Аллин муж дядя Славик.

- С ума сошел! – трагически вскинулась Алла и метнула в него тяжелое копьё своего фирменного «пронзительного» взгляда, призванного сразу указать собеседнику его незавидное место. – Ведь это же – издевательство! Сбагрить с рук беспомощную старуху... или сироту... Как жить после такого?! Нет, ты мне скажи – как?!

Вот уже шестнадцать с лишним лет приемные родители Ларисы с особой щепетильностью шерстили свою вечно неспокойную совесть. Взяв к себе в дом обездоленного приемыша-племянницу,

¹Болезнь Альцгеймера - один из вариантов прогрессирующего старческого слабоумия

«Критическая масса» и другие повести...

они большую часть своей жизни посвятили тому, чтобы доказать всему миру и, прежде всего себе, что незаконнорожденная сиротка не терпит у них никаких притеснений и воспитывается абсолютно наравне с родной дочерью. Никому никаких преимуществ! Все игрушки – общие, лакомства – пополам, наряды... кхм... ну, да, и наряды тоже... хотя Анжелочка такая хорошенькая, что сам Бог велел... Нет, нет, никаких ущемлений слабейшего! Поводов для ненависти у Анжелы и так было бы предостаточно – но с приходом в семью кузины Ларисы она лишилась и главной своей привилегии: материнской ласки. Не способная умиляться чужим неприятным ребенком, свалившимся ей на вовсе не для того подставленные руки, Алла боялась, лаская только свое дитя, сама себе показаться злой мачехой из всех сказок сразу. Поэтому ласки не получила ни одна из девочек и, желая быть строгой с племянницей, тетя невольно оказалась строга и с родной дочерью... Первым дурным чувством, что Анжела познала на земле, стала ревность, быстро переросшая в закономерную ненависть. Лариса тоже невзлюбила двоюродную сестру – за то, что деваться от нее было некуда, и приходилось обирать ее каждый день – да и вообще за то, что семья тети с дядей явно метила в бескорыстные благодетели – а их-то и принято ненавидеть больше всех. Сдали бы в детдом – и никому бы не была обязана, а так не сами – другие в свой срок напомнят о благодарности... И неси ее на горбу до смерти, будь хорошей девочкой...

Мать культивировала в девочках аккуратную и пристойную любовь друг к другу, вменяя ее в тягостную обязанность – и любовь эта сразу бросалась в глаза всем посторонним, как удачно сделанная и с художественной небрежностью брошенная в изящную вазу искусственная роза, почти неотличимая от настоящей. Анжела поддерживала мать с особой злобной готовностью, например, вдруг начиная ни с того ни с сего обнимать и целовать выдирающуюся со сжатыми зубами из объятий двоюродную сестру, картинно закатывая глаза и восклицая: «Как же я тебя люблю, сестренка моя!» – и Алла искренне не видела в этой сцене фальши, радуясь собственным педагогическим успехам. В тот же день в школе, где по литературе проходили пушкинскую «Пиковую даму», Анжела могла начать нетерпеливо подпрыгивать за партой, вертеть некрупной гузкой и стонать, трясая высоко поднятой рукой в сторону учительницы, задавшей классу каверзный вопрос: «Лизавета Ивановна была у старой графини воспитанницей. Кто знает, что это такое?». Спрошенная, Анжела простодушно растолковывала классу: «А это когда бедную сиротку берут из милости на воспитание, как мои мама с папой нашу Ларису...» – она с преувеличенной детскостью хлопала светлыми наивными ресницами – и Ларисе нечем было крыть эту козырную

Наталья ВЕСЕЛОВА

карту... Она точно знала, что ее воспитывают «как свою родную дочь» – и если не из милости, то ведь не со злости! Так и бабу Зою не сдают же в дом престарелых – потому что порядочные люди так не поступают... «Мы – гуманисты!» – четко определил их жизненную позицию дядя Славик, когда его об этом за столом спросили любопытные гости. За тем же столом сидели Лариса с бабой Зоей – и все гости сразу дружно посмотрели в их сторону, видя в обеих неоспоримое доказательство хозяйского гуманизма. Куда же больше? Вот они – живые: старая и молодая. А без Славика и Аллы давно были бы мертвые...

Баба Зоя под своим домашним арестом горько плакала. Лариса прознала об этом случайно, когда ночью однажды свернула с проторенной дороги в уборную и отправилась на кухню за водой мимо бабызоиной двери – и услышала из-за нее сдавленные старушечьи рыдания. В этом не было для девушки ничего удивительного: по Ларисиному мнению, все женщины старше сорока лет должны каждый день оплакивать свою горькую участь: чего хорошего только в лице, постепенно превращающемся в пережаренную котлету, которую наблюдаешь в зеркале минимум два раза в день! Заплачешь тут! А в девяносто! Когда знаешь, что все твои знакомые давно умерли, а сама ты вообще неизвестно для чего тут мыкаешься последние полвека! И Лариса решительно прошла мимо рыдающей двери. На следующую ночь разобрало любопытство, а на третью она все-таки осторожно постучалась и, не дождавшись ответа, вошла.

В эту комнату Лариса заходила редко, ощущая в ней отчетливое неудобство из-за того, что одна стена сплошь была увешана яркими золочеными иконами, с которых укоризненно смотрели на нее похожие друг на друга святые. Их было слишком много, поэтому от их взглядов не всегда получалось полностью абстрагироваться. Никто не удивлялся, что девяностолетняя бабушка верит в Бога, и мешать ей не собирався, спорить – тем более. Этой темы просто не принято было касаться, потому что на бабу Зою тоже распространялись неотъемлемые права человека со свободой совести в числе самых главных, и она, как и все прочие люди, тоже могла иметь свое исключительное «прайвиси». В то, что человек произошел от обезьяны, в их передовой семье, разумеется, не верили и смеялись над недоумком Дарвином, чья легко разбиваемая теория могла родиться только в темный девятнадцатый век, не имевший представления о науке генетике. Конечно, уверяли родители, без Высшего Разума дело обойтись не могло. И они предлагали девочкам взглянуть на заманчивое звездное небо. «Неужели можно всерьез думать, – восторженно произносила Алла, задрав голову, – что среди такого неслучайного множества миров только наш обитаем? Каким же чван-

«Критическая масса» и другие повести...

ным, самодовольным дураком нужно для этого быть! Как можно не понимать очевидного: земная цивилизация находится в зачаточном состоянии! А сколько там... – следовала интригующая пауза, – цивилизаций, уровень развития которых мы и представить себе не можем! Сущест, чей внешний облик даже неподвластен нашему скудному воображению!». Алла работала заместителем заведующей коммерческой аптеки, поэтому особыми гуманитарными знаниями ей в жизни овладеть не пришлось, и она гордилась собственной, как ей казалось, теорией сотворения мира, теорией, в которую мирно и без сопутствующих конфликтов вписывались все основные религии. Она тонко подметила одну их общую особенность: едва ли не все религиозные законы направлены лишь на то, чтобы обеспечить человеку здоровое размножение, а учения о нравственности грамотно подводится под эту же идею, игнорируя практически все другие. Да просто кому-то нужен был качественный биоматериал! – однажды осенила ее небанальная мысль, пришедшая без всякой посторонней помощи. И вокруг этого заботливой выделки материала, необходимого на какие-то научные или другие непостижимые нужды, пять-семь тысяч лет земного времени (сущие пустяки в небесном измерении) и суетились Обладатели Высшего Разума, периодически навещая подопытную Землю и подбрасывая ее обитателям очередные заповеди, по виду новые, а на самом деле – видоизмененные старые, направленные все на ту же благую цель: не прекращать бесперебойное воспроизводство человеческой колонии. Когда опыт закончился, хлопотать перестали, а материал позабыли выкинуть в некое космическое помойное ведро – а может, просто не с руки было залетать именно за этим. Вот и осталось брошенное без присмотра человечество с причудливым наследством в виде многочисленных теперь ненужных ему религий, в которых давно само запуталось, как муха в паутине, но в невежестве своем продолжало цепляться за свои изодранные сети! Вот посмеялись бы те Высшие Ученые (если, конечно, им не чужда такая крайняя и примитивная эмоция, как смех), узнав, что на одном из их забытых лабораторных стекол колония недобитых микробов все еще продолжает истово поклоняться им, воздавать почести их исковерканным изображениям и – мало того! – ожидает от них каких-то будущих милостей! Так считала Алла, ее муж и обе дочери – родная и приемная. А что баба Зоя один из тех упрямых микробов – так это ее личное дело. Не гуманно одним микробам другие прихлопывать...

Обученная уважать чужие свободы, Лариса с полным пониманием отнеслась к тому, что баба Зоя, как выяснилось, уже которую ночь рыдала из-за того, что, заперев дома, ее лишили возможности каждое воскресенье ходить в церковь и совершать там необходимые

для душевного спокойствия обряды.

- Это для того, чтобы ты опять не заблудилась, – пояснила ей Лариса, с некоторым смутным отвращением вытирая со сморщенной, как прошлогодний лист, щеки большую блестящую слезу. – Ведь в следующий раз это может не так хорошо кончиться... А молиться ведь можно и дома...

- Все было совсем не так, как вы думаете, – жалко прошептала старушка. – Просто я не могу объяснить... А молиться... Да, дома, конечно, можно молиться, но причаститься дома нельзя...

Ларисе сразу вспомнился красивый итальянский фильм, где монахиня с мраморным лицом, трагическими бровями и со сложной крахмальной конструкцией на голове смиренно съедала с серебряного блюда из худых рук падре огромную белую таблетку.

- Так давай я тебя в воскресенье туда и обратно отведу! Со мной-то ведь тетя Алла тебя отпустит, я же тебя не потеряю! – от чистого сердца предложила Лариса.

Алла не только отпустила с охотой (роль беспощадной тюремщицы не очень-то подходила тому образу, в котором она себя много лет видела), но и восхитилась очередным доказательством гуманности воспитанницы – качества, почерпнутого, бесспорно, в их образцовой во всех отношениях семье. С той ночи прошло много разных воскресений – и каждое начиналось теперь для Ларисы одинаково: как и все прочие дни недели, она вставала спозаранку по будильнику и, про себя проклиная раз проявленную слабость, бесшумно умывалась-одевалась, боясь нарушить законный воскресный сон остальных беспечных домочадцев, и тащилась под руку с девяностолетней старухой на остановку маршрутки, чтоб везти ее в небольшую белую с синей маковкой церковку на окраине. Два часа Ларисе потом некуда было деваться: она скоро выучила наизусть убогий ассортимент всех окрестных магазинов и бутиков, ожидая окончания службы, каждый раз клялась себе, что он-то и станет последним, потом хмуро везла бабушку домой, мысленно подсчитывая понесенные моральные убытки и подбирая жесткие слова отказа от этой бессмысленной повинности – и снова и снова откладывала разговор, не решаясь потушить в глазах бабы Зои всегда после церкви загоравшийся особый трогательно детский огонек. А к лету Лариса смирилась и уж не помышляла больше о малодушном бегстве, однажды додумавшись до того, что не только микроб микроба, а и отверженный отверженного не должен прихлопывать на хрупком лабораторном стеклышке под названием Земля.

Ларисина исключительная неудачливость не пожелала ограничиться официальными рамками детства и поставить жирную точку в виде скверной погоды в выпускную ночь. Подарки судьбы продол-

«Критическая масса» и другие повести...

жались с такой же неотвратимостью, как движение учительской авторучки вниз вдоль столбика фамилий в журнале в день, когда ты заведомо не выучил нудного урока. Цветные стразы на лифе вечернего платья оказались халтурно пришитыми все на одну худую, тихонько лопнувшую нитку, зато посыпались в ресторане на пол – звонко и весело, как дополнительный мини-залп праздничного салюта – и пьяные девчонки находили забавным с визгом подбрасывать их пригоршнями вверх, причем Ларисе пришлось очень натурально хохотать вместе с ними, чтоб не стать в очередной раз объектом всеобщей жалости... Ей давно, еще с набережной, было не только обратимо, снаружи, но и глубоко внутренне холодно, и согреться никак не удавалось, так как водки, наливаемой уже открыто, она по-прежнему не пила, сухое вино, наивно предусмотренное родителями для детского веселья, оказалось противно-кислым, а сок, издевательски доставлявшийся из холодильника, естественно, подавали ледяным. Платье без камней осталось равномерно серым, отсутствие стразов обнажило недобросовестный пошив, пришлось прикрыться влажной курткой, на которой невеста откуда оказалось огромное жирное пятно, и, в довершение программы, Лариса осталась почти совершенно голодной, потому что от котлет по-киевски отчетливо тошнило, в черно-глянцевых, как собачьи носы, маслинах обнаружили крупные косточки, а редкие бутерброды с семгой быстро расхватали более расторопные товарищи. Она неохотно надкусила слишком огромное и пунцовое, чтобы быть вкусным, яблоко, вяло пожевала несколько салатных листьев да ухватила пару тигровых креветок из-под носа зазевавшейся кухни. По спине с самого начала словно бежали противные резвые сороконожки, в мокрых и сохнуть не желавших туфлях давно онемели плотно прижатые друг к другу пальцы, любая пища имела вкус либо ваты, либо резины – на выбор, в голове неразборчиво стучала странная морзянка, тело клонило в тяжелый сон... Потом говорили – да и фотографии бесстрастно подтверждали то же самое – что она, несмотря на потерю разноцветных стекляшек, выглядела очень милой, даже одетая в странную для такого жаркого помещения куртку, а уж какой веселой! – все время заливалась-хохотала в тридцать два зуба!

Кстати, зубов в тот холодный день еще было всего двадцать восемь, четыре остальных, знаменовавших, должно быть, неожиданно пришедшую мудрость, бурно полезли друг за другом почти год спустя, когда Лариса уже приближалась среди финских сосен к окончательному выздоровлению и в полном неведении готовилась совершить изумительное открытие.

Но тогда, бурной от непогоды и веселья ночью, до этого так еще было далеко! А наутро после самого неудачного Ларисино-

го праздника жизнь ее привычно пошла наперекосяк. Организм не справился с ночными потрясениями, и уже к полудню незадачливая выпускница тряслась в колючем ознобе под грудой одеял, колотилась в громких и гулких приступах кашля, в промежутках умоляя сестру подняться к уже неделю как отсутствующим соседям и попросить их отложить свою варварскую работу с электродрелью на другой день, когда у нее не так чудовищно будут болеть уши... Участковый врач прописал жаропонижающее, посоветовал дышать паром над горячей картошкой и отбыл с сознанием выполненного долга, пообещав, что через неделю девочка опять начнет бегать.

Этого не случилось и через полгода. Через полгода, когда Анжела ответственно готовилась к своей первой в жизни сессии в ИНЖЭКОНе, Лариса только начала осваивать по-новой медленные самостоятельные передвижения по квартире до кухни и обратно, каждый раз пугаясь в коридоре своего страдальческого, будто старинного лица, бесстрастно отражаемого длинным гардеробным зеркалом. «Легкая простудка», диагностированная в июне, переродилось в двустороннее крупозное воспаление легких, на фоне которого как-то всерьез не смотрелся и лечился лишь по ходу дела двусторонний же гнойный отит. На зубы мудрости Лариса теперь получила полное право, потому что как не набраться ее по самое не хочу, когда на полгода погружаешься словно в колючий кошмар, о котором нет даже толковых воспоминаний. Кто же станет смаковать в памяти бесконечные пытки в операционных, где под пронзительным белым светом тебя терзают, распластанную и пригвожденную, серьезные зеленые люди без лиц, или переживать заново мутные ночи без дна и просвета в тесных палатах с высокими серыми потолками, или... Нет, одно воспоминание было терпимым. Это когда в недели коротких передышек между больницами близко перед глазами появлялось доброе старческое лицо в коричневатых пятнышках и с очень белыми зубами в терпеливой улыбке меж узких лиловых губ. Баба Зоя смиренно вливала в большую традиционный теплый говяжий бульон, давила вилкой в тарелке вареную картошку со сливочным маслом, маленькими кусочками подносила ей ко рту паровые тресковые котлеты... В те недели казалось, что болезнь отступает, побежденная, и больше не будет мучительных проколов и отсосов, побледнеют черные кровоподтеки на сгибах локтей, а сон превратится из мрачных темных провалов в радостные цветные острова... Но температура вновь и вновь взлетала к верхним границам, в груди начиналось густое влажное клокотанье, при каждом вдохе приходила мысль о толченом стекле – и вот уж опять вокруг только чужие лица, и суровая девушка в бирюзовой форме водружает у твоей новой кровати с казенным бельем нескладную металлическую капельницу...

«Критическая масса» и другие повести...

Только к концу декабря до того беспомощно разводящая руками медицина, наконец, осторожно заявила о предполагаемом благополучном исходе этой непонятной затяжной болезни и выпустила семнадцатилетнюю девочку, потерявшую треть живого веса, но горького опыта набравшуюся вперед лет на пять, из стен больницы окончательно – на волю и усиленное питание.

Радости Анжелы не было предела. Ей, всегда на месяц младшей, что изменить было, как ей казалось, невозможно никакими силами, теперь предстояло обогнать сестру возрастом на целый год! Открыто проявляя только самое нежное сочувствие больной и лично приготовив для нее целебные морсы из африканских фруктов, она между делом обещала предоставить осенью будущей первокурснице и свои аккуратные, как примерные дети из хорошей семьи, конспекты, поделиться с ней за год наработанным опытом обьегоривания бдительных «преподов», раскрыть маленькие, но необходимые тайны безболезненного вливания в дружное студенческое сообщество... Ведь она уже будет большая – второкурсница! Но Лариса слушала с закрытыми глазами, преступно не проявляя никакой восторженной благодарности.

Анжела знала, торжествуя, что сыплет сестре соль на и без того развороченную рану, но не знала, до какой степени мучает ее – знай она, и радость была бы уж и вовсе неприличной. Все дело в том, что проторенная дорога в ИНЖЭЖОН, где уже полтора десятка лет успешно деканствовал дядя Славик, совсем не была любезна страдавшему сердцу Ларисы. Настоящая мечта ее не имела никаких шансов осуществиться, потому что в семье должной поддержки не находила, найти не могла, и, только раз робко озвученная, была признана несколько шокирующей и дурно припахивающей. Лариса хотела стать ветеринарным врачом. Она не любила животных – она была жадно влюблена в них, как иная девочка в самого недоступного парня в классе, и любовь ее подогревалась тем, что в семье даже на сам вопрос о том, чтобы завести дома пушистого (или голого, но теплого) друга, было наложено безоговорочное и непреодолимое табу. От пушистого – шерсть, от голого – запах, а проблемы – от того и от другого. Эти Аллины высказывания в семье не оспаривались, а перспектива «работать в зверинце» для сироты-племянницы, которой перед памятью ее безвременной сгинувшей матери они обязаны дать приличное образование, виделась столь же неприемлемой, как если бы она вознамерилась нигде не учиться вовсе.

Лариса провожала на улице трагическим взглядом любое, даже вовсе не привлекательное четвероногое, с детства охотно пачкала руки о бездомных, почему-то никогда даже не рычавших на нее собак, лечила в опасных для жизни подвалах шелудивых кошек от

придуманных болезней, неукоснительно и небрезгливо собирала со стола все объедки, раскладывая их по дороге в школу в местах кучкования бомжующих псинных стай, неутомимо мастерила и строго блюла зимой птичьи кормушки из молочных коробок... Местная колония ворон, регулярно получавших от девочки корки черствого хлеба, приняла коллегиальное решение охранять кормилицу от опасностей, и однажды черно-серые городские интеллектуалы действительно спасли ее от приставаний агрессивного сумасшедшего, который проследил за хорошенькой девочкой от метро, когда она возвращалась из тайно, как масонская ложа, посещаемого юннатского кружка. Они вдруг грохочущей черной тучей бросились на голову толстому неопрятному дядьке, под равнодушными взглядами быстрых прохожих целенаправленно теснившему растерянную школьницу в сторону чужого темного подъезда, и он едва унес от них свои тонкие кривые ножки, потешно закрывая жирную голову старым коленкоровым портфелем... На карманные деньги Лариса неизменно покупала продвинутые зоологические журналы, оставляя на заколки и косметику только самый смехотворный минимум, в гостях у какой-нибудь счастливой обладательницы рыжей морской свинки страстно целовала оторванное от важных дел животное в колючую перепуганную морду, домашних котов одноклассников ценила гораздо выше их неинтересных хозяев, а пуделей-аристократов почитала настолько, что, обращаясь к ним, все время незаметно съезжала на «вы».

Но вот миновало некоторое родительское попустительское ребячьим шалостям, и теперь вполне сознательной обладательнице аттестата зрелости предстояло «не носиться со смешными детскими фантазиями, а сделать ответственный взрослый выбор на всю жизнь, обеспечив себе достойное и уважаемое будущее». Этот неоспоримый семейный постулат засел в Ларисе накрепко, так что даже в спартанских условиях больничных палат, где, внезапно получив возможность заняться непривычным делом созерцания и размышления, иные люди ухитряются перебелить начисто разрозненные листки черновых набросков грядущего, Лариса все равно с неизменной твердостью отвечала на вопросы старших болящих женщин, что специальность себе давно и уверенно выбрала. Она станет экономистом, когда – если – выздоровеет. Есть же решения, которые не принято легкомысленно пересматривать...

В апреле стало невмоготу. Температура упала в последний раз, и заветный серебристый столбик старомодного, но надежного градусника больше никогда не переваливал через красный рубеж тревоги. Сухих шершавых хрипов никто из врачей не слышал в Ларисиных исстрадавшихся легких, грудь не закладывало, словно ват-

«Критическая масса» и другие повести...

ным одеялом, в ушах не ломило. Позади остались страшные ночные просыпания, когда непонятной влагой заливало дыхательное горло, и девчонка в панике вскидывалась с ощущением наброшенной на горло удавки. В смертном ужасе она бросалась в постели на колени и силилась вдохнуть сквозь пузырящийся хрип, ударяясь лбом в жесткий угол капитальной стены – и сразу слышала рядом тихий властный голос: «Не вдыхай – выдыхай. Со всей силы. Вот так. А теперь – медленный вдох. Не торопись. Давай вместе... Во-от... Молодец... Дыши, дыши... Умница... Все хорошо». Лариса раньше и понятия не имела, что у бабы Зои, никогда не произносившей на ее памяти никаких слов, кроме самых насущных, да и то всегда с явно различимой извинительной интонацией, мог вдруг появляться такой твердый и повелительный тон, разом прогонявший дикий мохнатый страх, вселяя уверенность в благополучном исходе не то что этого мелкого случайного приступа, но и чего-то другого, неназываемого, но гораздо более важного...

Болезнь отступала уже почти не огрызаясь, но навалилась неподъемная тоска. В Ларисе все никак не появлялось той жадности ко всем проявлениям жизни, свойственной выздоравливающим, не приходила и усталая благость, когда победивший злую болезнь человек исподволь копит силы для здоровой полноценной жизни, не роились ни дерзкие планы, ни даже скромные, легко исполнимые желания. Наоборот, при самой невинной попытке заглянуть в ближайшее будущее, ее охватывала странная душевная тошнота. Перед мысленным взором представала вереница одинаково бессмысленных дней, заполненных неинтересной и не приносящей радости учебой среди вполне предсказуемых сверстников, в свободное время невесело тусующихся в дешевых кафе, где на столе всегда больше демонстративно открытых планшетов, чем тарелок с едой – и это называется дружеским общением, которого нельзя избегать, чтоб не прослыть белой вороной... И нет никакого не достигаемого другим помещения, чтоб уклониться от всего этого тошнотворного копошения, кроме гроба, который уж было избавительно открылся – да на тебе, на дворе двадцать первый век, поднатужились да вылечили! Едва-едва достигший смешного гражданского совершеннолетия ребенок мрачно рассуждал о том, что не дотянувшаяся в этот раз до нее безногая гостья, собственно, никого бы не огорчила, преуспей она в своем замысле утащить за собой Ларису. Все бы сдержанно поплакали на кремации, принимая дружеские соболезнования, очень ясно представляла она, а тетя и кузина непременно приобрели бы себе по такому случаю очаровательные черные шелковые платяица, надев их с обязательными нитками одна – серого, другая – розового жемчуга...

Наталья ВЕСЕЛОВА

И на этом месте потока размышлений Лариса всегда, содрогнувшись, припоминала невероятную женщину, сотрудницу ритуальной службы крематория, чья должностная инструкция вменяла ей в обязанность произносить траурную речь над еще открытым гробом, перед тем, как он торжественно уплывал в пылающую преисподнюю; сей хронически нетрезвый персонаж, одетый по форме в несвежий, дурно пошитый и криво застегнутый черный костюм с худым дешевым галстуком, имел *такое* порочное и прожженное лицо, *настолько* испитый и гундосый голос, что был не просто лишним при прощании даже с безразличным покойником, а метафизически пугал собой, как земным, осязаемым образом адского обитателя. Представить эту без всякого переносного смысла *кикимору* дома, в окружении детей и родных... Самое интересное, что *можно* было. И виделся паутиной повитый семейный очаг *Бабы-Яги*, с огромным чугуном посередине хромого стола, где дымилась сочная аппетитная человечина. Вот именно эта дама, уже дважды на похоронах дальних родственников увиденная при исполнении служебных обязанностей, и проводила бы Ларису в последний путь, а могила... Да какая там могила – просто крошечная мраморная дощечка с быстро стершейся надписью, скрывающая раз навсегда замурованную урну где-нибудь в самом верхнем, недоступном никаким посещениям и сожалениям ряду городского колумбария, где нашли свои вечные квартиры те, кого никто никогда в этом мире не любил. Может, так и лучше было бы, и правильной?

На семейном совете, состоявшемся без привлечения заинтересованных сторон, Ларисе поставлен заочный диагноз «депрессия», и решено было, в ее, разумеется, интересах, выдворить выздоравливающую вместе с добровольной няней бабой Зоей открывать дачный сезон на месяц раньше положенного времени, дабы они находились под взаимно полезным присмотром, не огорчая своим наводящим уныние видом никого из бодро настроенных домочадцев. В первых числах мая приехали на дачу всей семьей во вместительном, похожим на добротное корыто «Рено», и Алла с Анжелой азартно вытряхивали во дворе слежавшиеся в холода одеяла, в то время как баба Зоя мрачно резала на веранде водянистые весенние помидоры, а Славик единолично шаманил над мангалом с наветренной стороны. Вечером баба Зоя на шашлык не вышла, еле слышно уронив: «Страстная», – и, как всегда, была проявлена по отношению к ней похвальная деликатность, выразившаяся в примирительном шепоте Аллы: «Что-то религиозное, девочки, ее дело, не надо настаивать...» – и Анжела понимающе кивнула, не поддержанная на этот раз ко всему равнодушной сестрой.

Только вечером следующего дня, в субботу, заботливо прото-

«Критическая масса» и другие повести...

пив промерзший за зиму бревенчатый дом, стоявший в окружении оранжевых сосен среди северных некрутых дюн в полукилометре от не вполне проснувшегося залива, родственники оставили на даче двух женщин, за которых беспокоиться им было не с руки: одна все равно уже доживала свой незаметный век, а другая только начинала его – и он обещал стать таким же не видным никому и никем в расчет не принимаемым. Но они оказались правы: сразу после их отъезда Лариса почувствовала себя гораздо лучше, чем весь последний месяц в городе, – сказался, верно, с детства всегда бодривший ее здоровый запах залива вперемешку с настоящим на солнечном свете весенним ароматом обновляющейся сосновой хвои. Девочке впервые захотелось медленно гулять и, радуясь по-летнему жаркому майскому дню и почуяв нешуточную свободу, Лариса предприняла рискованно дальнюю прогулку на знакомый берег. Там она долго просидела на теплом высоком валуне, жалея о том, что не захватила с собой подаренной на совершеннолетие фотокамеры, потому что совсем близко от берега, рукой подать, меж фиолетовых льдин на холодной предзакатной воде спокойно качались перелетные лебеди, целая стая из двадцати двух пунктуально подсчитанных птиц. Грациозно завивая сложными кренделями розоватые шеи, они заботливо чистили твердыми клювами потускневшие в полете перья, а иногда вдруг мощно поднимались, словно вставали, во всю ширь расправляя усталые крылья над гладкой водой, плававшей в лучах темно-оранжевого, как перезрелая хурма, низкого солнца...

Незаметно подкрались вовсе не веселые мысли. После болезни к Ларисе, как и к любому счастливо выздоравливающему, вернулся, наконец, здоровый юношеский аппетит, не зависевший ни от каких интеллигентских депрессий и пубертатных перепадов настроения. Вместе с аппетитом коварно возвращался и утраченный во время болезни естественный вес, вот уже лет пять служивший источником неизбывных мучений. Ибо Лариса была уверена, что неприлично, как молочная корова с упаковки сливочного масла, толста – ведь уже к шестнадцати годам ее размер достиг неимоверного сорокового! Это при Анжелкином-то тридцать шестом! Единственный стоящий парень, бурно понравившийся ей в десятом, не довел свои ухаживания даже до поцелуя, и причиной тому – так и сказал, не постеснялся! – стала именно ее невозможная полнота. «Неужели трудно похудеть! – злобно шептал он ей во время медленного танца на чьем-то скучном дне рождения. – Сидят же другие девушки на диетах! Почему одна ты такая безвольная, что даже ради любви не способна мобилизоваться! Вчера, когда в кино были, слышал, как два мужика на тебя показывали и смеялись. «Такой крутой парень (это про меня), – говорят, – а бабу себе нормальную найти не мог:

Наталья ВЕСЕЛОВА

жирная, как рождественская индейка...». Думаешь, мне приятно такое слушать?». И Лариса вполне верила ему: конечно же, именно так все и было вчера в кино, и она чувствовала себя отчаянно за это виноватой, и давала под музыку страшные клятвы, что с завтрашнего утра... Но не позже, чем к полудню, одолевала такой невыносимый голод, что, ненавидя и проклиная себя, она неслась на перемене в буфет – и воровато съеденная там горячая сосиска казалась слаще любого самого страстного поцелуя... Болезнь обстругала Ларису размера на два, и, неделю назад вынув тайком из Анжелкиного шкафа ее самую просторную кофточку, она ее даже почти застегнула! Но неделя прошла в отчаянном гастрономическом разврате – и вот она уже с омерзением осязала сегодня утром под ночной рубашкой свои жирные, как у матушки Гусыни из английской песенки, гладкие и упругие бока... Нет, решено: с завтрашнего дня – голод. Окончательный и бесповоротный!

Когда Лариса, вовсе не усталая, как боялась в начале прогулки, неторопливо вернулась вечером домой, она вдруг столкнулась на веранде с бабой Зоей, вполне одетой и уверенно опирающейся на свою дагестанскую трость с чудным резным набалдашником. «Сейчас уйдет и потеряется», – быстро подумала девочка, прежде чем бабуля произнесла хоть слово.

- Я еще не могу сегодня просить твоей помощи, – совершенно разумно, без тени «Альцгеймера», сказала старуха. – Но и не пойти в церковь тоже не могу, потому что сегодня ночью – пасхальная служба. Я прекрасно доберусь туда и обратно одна, на маршрутке, а храм стоит прямо у шоссе... – и, поскольку Лариса растерянно молчала, соображая, насколько ответственной окажется она перед тетей Аллой за возможное бабкино навечное исчезновение, то баба Зоя мягко добавила: – Я не заблужусь, не бойся... – и совсем уж едва различимо: – Я и *тогда* не заблудилась...

В светлом деревянном доме, насквозь пронизанном закатным солнцем и запахом просыпающейся земли, спать в тот вечер Ларисе не хотелось. Невозможно было и запустить очередной фильм из тех, что сотнями были просмотрены и забыты за минувший год и словно слиплись в ее памяти в один огромный мерзко-пестрый ком, не оставивший хоть сколько-нибудь значительного следа. Тогда девочка рассеянно поднялась по узкой боковой лестнице на жаркий под раскаленной крышей чердак – неинтересное, еще во времена детских игр в привидения подробно изученное место, где, тем не менее, в дряхлых картонных коробках кучей свалены были за ненадобностью старые книги – наследство тех дремучих времен, когда люди не знали ни видео, ни Интернета и вынужденно убивали лишнее время за чтением. Раз это, наверное, делала ее мама и, уж точно, родная ба-

«Критическая масса» и другие повести...

бушка, то почему бы и ей, Ларисе, не попробовать почитать какую-нибудь забавную настоящую, не электронную книгу? Ведь находили же люди это интересным раньше! И сейчас некоторые чудики продолжают покупать книги в магазинах, а не скачивать... Ну, хорошо, прочитаешь, а потом вот будут валяться, как эти... То ли дело электронный текст – удалила и все, загружай себе новый... Лариса вытащила несколько книжек наугад, сморщилась: стихи-и! Это – извините... Она порылась еще: «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл. Ну да, фильм еще такой был, что-то про войну в Америке – и дамы в кринолинах... или турнюрах... Старье... А вот еще пожалуйста, русская фамилия, смешная, будто у инвалида – этого она знает: он написал роман про педофила, как он украл девчонку двенадцати лет; они с Анжелкой набросились было в восьмом классе, думали, там сцены какие-нибудь откровенные, а оказалось – скучища... Но это другая, называется «Дар»... Ну и пошла подалее... Лариса уже отложила ее на угол соседней коробки, когда вдруг заметила, что из середины книги торчит цветной глянцевоый уголок.

Фотография. Девочка без особого интереса вытянула ее и поднесла поближе к крошечному чердачному окошку, подставляя под пыльный диагональный луч из самых последних. Лицу сразу стало горячо, потому что в первый миг показалось, что на фотографии – она сама, в джинсовой юбке, каких имела полдюжины, и брезентовой штормовке, которой у нее не было никогда. В следующую секунду Лариса поняла: это ее без вести пропавшая мама по имени Люба, о которой в семье говорили редко и неохотно, что заставляло подозревать какую-то подлежащую раскрытию в дальнейшем будущем тайну; фотографий от мамы осталось до обидного мало: все, в основном, парадные школьные, в синей форме, а на черно-белых любительских карточках всегда неясно выходило лицо. То, что она похожа на маму не просто как дочь, а почти до полной тождественности, Лариса знала давно и потому стригла под каре гладкие русые волосы, чтобы избежать и без того регулярных сторонних напоминаний о своем горьком сиротстве. Мама же была вынуждена волосы отращивать и забирать их в высокий жидкий узелок, ведь она танцевала на сцене, а короткие волосы танцовщицы тогда не носили... Все это Лариса снова мгновенно вспомнила, с волнением разглядывая фотокарточку резких, кричащих тонов, где мама стояла на фоне абсолютно ровного, глазом не за что зацепиться, плоского пейзажа, в небольшой группе незнакомых людей, пожив голову на плечо улыбающемуся худенькому парнишке в ушастых кроссовках и такой же точно, как у мамы, выцветшей штормовке. «Дер. Койдино Архангельской обл., – гласила еле видимая карандашная надпись с обратной стороны. – 14 июля 1994 г».

Девочка еще не начала обдумывать увиденное и прочитанное, когда в голове ее, независимо от осознаваемых мыслительных процессов вдруг начался непонятный самостоятельный отсчет – и кто-то сосчитал ровно до девяти. Месяцев. Получилось – 14 апреля 1995 года – именно тот день, когда она восемнадцать лет и двадцать дней назад зачем-то родилась на этот неприветливый свет.

Глава 2 В эмиграции

По-дурачки, конечно, получилось. Привели домой посторонние люди. А там племянница уж и рада была заклеить «Альцгеймером». Все произошло совершенно иначе – но кто станет слушать выжившую из ума старуху. В девяносто лет – а Зое именно девяносто исполнилось в начале февраля, чего никто, конечно, не заметил – уже положено ослабеть на голову. А кто не ослабеет – того заставят. Запрут в четырех стенах, ключи от квартиры и карточку с пенсией отберут – и гуляй себе на балконе, как кошка. Впрочем, кошки у них в доме нет. На балкон можно было бы выносить обувную коробку с черепахой, но черепахи тоже нет. Если не считать ее, Зою. В зеркале – совершенно черепашья голова. Очков только не хватает, как у Тортиллы. Смешно, да? Она была с детства безнадежно близорукой – под тридцать пять лет дело уже дошло до минус семи. А с сорока зрение вдруг понеслось в обратную сторону. С возрастом ведь у большинства наступает дальновзоркость. Вот и ее организм, устремившись в плюсовую сторону, плавно пришел к единице. К восьмидесяти пяти лет! И стала Зоя читать и вообще жить без очков в свое удовольствие...

Раньше-то с очкариками не церемонились: никаких вам дизайнерских оправ и незаметных линз – стекла с палец толщиной в металлической проволоке. Так всю жизнь и проходила – какие уж там надежды на личное счастье, да еще притом, что драгоценные уцелевшие на войне мужчины оказались в абсолютном меньшинстве, и к каждому стояла очередь из невест на любой вкус. Можно было, конечно, мудро выйти за конченного инвалида, в которых никакого недостатка во второй половине сороковых не ощущалось, – так не одна дурнушка и дурочка свою жизнь благополучно устроила – но Зоя побрезговала. Не очень-то и хотелось... Перед самой войной, правда, *было* у нее. В смысле – целовались, ничего больше. Насчет больше – на это девушки тогда с оглядкой шли, некоторые до загса вообще ничего не допускали. И она из таких была. Никакой особенной заслуги – просто не горело у нее *там*, как у многих, которые позволяли себе. А горело бы, так и она б позволила, экое дело. Но

«Критическая масса» и другие повести...

она хотела именно замуж – и детей обязательно. Троих, больше не надо. Сначала мальчика, потом девочку, а третьего – все равно кого. Но она от всего этого взяла – и отказалась. Кому сказать, почему... – нет, даже сейчас никому не расскажешь. Решат, что она не к старости с катушек съехала, а всегда такая была... Все дело в том, что жила у Зои кошка. Самая обычная, полосатая, сугубо домашняя. Ничем особым не отличалась, даже мышей ловить не умела. Котенка Зое подарил папа в тот день, когда она впервые пошла в школу. И Мурка выросла у Зои на руках – всю жизнь спала по ночам у хозяйки на подушке, счастливо мурча, стоило только девочке немного пошевелиться. Предана была ей, как собака – даже странно, все кругом удивлялись. Большие они с Зоей стали друзья... Так вот, жениху в Зое все нравилось, даже с очками ее жуткими он смирился как-то – а вот Мурку терпеть не мог. Она его, кстати, тоже. Как он в комнату – так животина под кровать, ничем не выманишь – хотя он руки не понимал на нее, не было такого. Студент Политеха, приличный парень, родители – инженеры. А вот вбили ему в голову с детства, что кошки – разносчики микробов, а ночью могут перегрызть горло грудному ребенку. Были, мол, такие случаи. Как она ни доказывала в слезах, что это глупые предрассудки – уперся и все тут. «Мама сказала, а она знает». После свадьбы Зоя должна была переехать к мужу домой без кошки, с гарью занесенной заводской окраины – на таинственную Петроградку, в отдельную квартиру с домработницей. Вся улица по-черному завидовала, лучшая подруга с Зоей из ревности рассорилась. А Зоя как представляла себе, что без нее Мурка будет часами кричать, стоя всеми четырьмя лапами на их общей подушке – так и сердце у нее падало. Все неотступней вспоминалось, как бедняга однажды прокричала целую неделю, когда Зоя лежала с тяжелой корью в Боткинских бараках. С тех пор они не расставались – девушка и животное. Чуть не все Зоины молодые фотографии – с Муркой в обнимку... А когда завидный жених, вежливый и полный свежих молодых идей юноша, появился в их длинной коммунальной комнате, Мурка стала уже совсем старенькая по кошачьему счету – ей незаметно стукнуло двенадцать лет. Чужая возможную разлуку – а может, и близким предательством несло, кто кошкин нюх проверял! – она и вовсе от Зои отходить перестала, а когда той не было дома – от двери Мурку было не отогнать. И вот теперь – взять и бросить ее, как Мурка и боялась, всю жизнь прожив с этим неотвязным страхом... Зоя не смогла. Месяц прорыдала в подушку... Жених, конечно, оскорблен был до глубины души – еще бы, а кто тут не оскорбится! Походил-походил обиженный, да и женился на другой. На той самой подруге. Осталась Зоя со старой кошкой в обнимку без жениха и подруги – всем на потеху и вечное осуждение... Ну, и что б вы дума-

ли? Жертва, конечно, оказалась напрасной: старушка Мурка умерла ровно через месяц после этого. Все знакомые при виде Зои открыто крутили пальцем у виска!

А еще через месяц началась война. В сорок четвертом стало известно, что бывшему жениху родители достали надежную «броню» и мгновенно эвакуировались с оборонным заводом, где оба работали. Сына и сноху, конечно, забрали с собой – и больше Зоя никогда про них обоих ничего не слышала... Двадцать второго июня по всему городу стояли длинные очереди. Ни в какие не в военкоматы – эта пропагандистская байка была придумана придворными историками много позже. Умные люди кинулись в сберкассы, хорошо зная, что с минуты на минуту поступит приказ об изъятии «излишков» денег у населения на нужды обороны – а уж крепить оборону своими кровными никто не горел желанием. Из сберкасс счастливицы неслись в продовольственные магазины: умудренный опытом Гражданской, народ справедливо ожидал скорого голода. Те, которые в Ленинграде двадцать второго июня сорок первого года проявили патриотизм или просто растерялись, к декабрю поголовно умерли... Зоина мама, к тому времени уже два года как вдовая, не растерялась. Она работала кастеляншей в роддоме, а Зоя, второй раз провалив в финансовый институт, – там же в справочном, поэтому в сберкассе им было нечего делать, как и в магазинах: сбережений, чтоб запастись едой, в доме сроду не водилось. Единственной драгоценностью немолодой мамы были две дочки-лапушки, восемнадцати и шести лет – и она уже к вечеру первого дня войны приняла единственно верное решение.

Зоя опомнилась вместе с другими согражданами уже утром двадцать третьего – и объявила матери о своем непреклонном решении идти на фронт... Дальше произошло вот что. Мама не торопясь намочила в зеленом эмалированном тазу белое вафельное полотенце. Она спокойно, без ненужного гнева, подошла к дочери и молча изо всех сил хлестнула ее мокрым полотенцем по возбужденному близостью долгожданного подвига лицу. Зоя ахнула. Мама хлестнула ее еще раз. И еще. И еще раз пятнадцать. При этом она своим обычным голосом, ничуть не истеря, размеренно повторяла: «Вот тебе фронт. И вот. И вот. И еще. Нравится? Получи. Вот тебе. Вот. И вот. Еще? Вот еще один фронт. Мало? Получи еще один». В военкомат Зоя благоразумно не пошла. Вместо этого по приказу матери она отправилась к не получившему пока никаких высоких распоряжений управдому и забронировала их комнату по случаю предстоящего длительного отсутствия. Они не стали дожидаться никакой организованной эвакуации, понимая, что надо не эвакуироваться, а просто и аполитично смыться. Не стали также и увольняться с рабо-

«Критическая масса» и другие повести...

ты: увольнение по собственному желанию уже год, как запретили, а возиться с официальными разрешениями было недосуг. Зоина мама, простая русская женщина, имела, как и многие из них, глобальное мышление. И предвиденье – не простое, а сопровождавшееся крупными прозрениями и откровениями. И двадцать второго июня она определенно прозрела катастрофу, среди последствий которой никто не вспомнит об их мелком правонарушении. А от катастрофы надо бежать, знала она. Бежать и спасать потомство. Пока оно не получило повестку... Мать и дочери выехали из Ленинграда с двумя чемоданчиками каждая, не сказавшись никому. Они проскочили в те последние часы, когда выезд не успели взять под тотальный контроль, и можно было еще просто пойти и купить билеты на поезд. Что они и сделали. И через две недели оказались на окраине далекого и надежного Свердловска (который если б немцы взяли, то уж точно после Москвы со всем правительством), в маленьком деревянном домике, где доживала старенькая бабушка. Зоя так и не уразумела, чья именно, но это было и неважно... Обе они сумели получить работу раньше, чем Свердловск затопило лавиной эвакуированных со всего Союза, тихую и спокойную работу в больнице, не успевшей пока превратиться в военный госпиталь – сначала санитарками, но скоро Зоя закончила краткосрочные бухгалтерские курсы. Ее незаметно перевели младшим бухгалтером – а мама к тому времени привычно переустроилась кастеляншей же. Младшую с сентября отправили в первый класс...

Так, милосердно не огрызнувшись, не плюнув в лицо ни огнем, ни морозом, ни кровью, прошла мимо них великая война. Через несколько однообразных десятилетий Зою наградят скромной медалью «Труженик тыла» – и это все, что у нее останется на память о тех смутных годах...

Выжившие ровесницы-подруги Зои после войны непредсказуемо оказались гораздо старше ее. Они либо прошли фронт, где жили год за пять, умывшись не своей, так чужой кровью, и вернулись взрослыми женщинами с погасшими глазами и боевыми медалями, либо уцелели в блокаду, навсегда распрощавшись со здоровьем и пересмотрев былые ценности. В любом случае, внешне благополучная Зоя, пересидевшая лихо в Свердловске, была им не компания – ее искренне и просто не замечали, потому что с ней не о чем было говорить, нечего вспомнить. Перенесенные той смехотворные лишения вроде, как им казалось, легкого недостатка вкусной еды и девичьих развлечений, не могли идти ни в какое сравнение с черным голодом, пережитым ими, с частыми потерями неделю по земному времени знакомых, но навечно близких людей, не восполнимыми никаким слишком дорого давшимся миром...

Наталья ВЕСЕЛОВА

С тех пор Зоина жизнь постепенно ушла внутрь. Снаружи осталась только неизменная и уже неизменяемая бухгалтерия – снова в Ленинграде, на сей раз не в больнице, а в восьмилетней школе на Васильевском острове – и шестнадцатиметровая комната в неуклонно вымиравшей коммунальной квартире. Мама успела до смерти не только поднять Зоину сестру до совершеннолетия и дождаться окончания тою института пищевой промышленности, но и погулять на свадьбе младшей дочери. Желанных внуков она, правда, увидеть не сподобилась, и нянчить сестриных девочек Аллу и Любу, у которых разница тоже вышла в двенадцать лет, пришлось безнадежной Зое – к тому времени давно неприметно перешедшей все возможные рубежи и законно числившейся в старых девах. Когда в начале восьмидесятых семья переезжала в новую квартиру, Зою некуда было девать как данность, и ее увезли с собой в качестве довеска – наравне с унылой канарейкиной клеткой и расписным горшком с полосатой традесканцией...

Однажды лукавая судьба подкинула ей роман Мопассана с незамысловатым названием «Жизнь». И то сказать – какая интеллигентная дамочка над ним не плакала! Да и в предисловии без обвиняков поясняли для неразумных, что книга – «о безжалостно загубленной жизни молодой женщины». Зоя прочитала два раза – да какого же черта!!! Что это за загубленная жизнь, когда все в ней было, как надо: свежая влюбленность, вполне достойная свадьба с последующим романтическим путешествием на Корсику, обожаемый ребенок, экстагическое материнство! В мужья попался сукин сын, а собственное дитяtko, повзрослев, сбежало из дома? Экая беда: пять копеек пучок такие неприятности стоят в самый удачный базарный день... Вот у кого в романе жизнь действительно оказалась загублена – так это у тети Лизон, парой точных штрихов описанной мастером как пустое место... Точно такое же, как и она сама, баба Зоя... Несколько лет она не называла себя иначе как «Лизон» – не вслух, разумеется, зачем лишние вопросы... Но те годы положили начало сложному и по первости самой Зоей не осознанному духовному процессу, растянувшемуся на десятилетия, и лишь многие годы спустя определенному ею как внутренняя эмиграция. Эта эмиграция незаметно увела ее гораздо дальше, чем бравировавших тем же красивым словосочетанием с жиру бесившихся диссидентов – потому что они эмигрировали лишь незрелым умом и слепыми растленными душами, не желавшими видеть в России ничего большего, чем ее трагическое несоответствие образу свободной страны в свободном мире. В отличие от них, Зоя случайно эмигрировала в область духа, где цепи накладываются совершенно добровольно, и со временем именно они становятся символом свободы – и залогом ее в неназы-

«Критическая масса» и другие повести...

ваемом будущем. Неназываемом, потому что посмертном, которое, даже при всех неоспоримых доказательствах своего существования, все равно является вопросом веры, а стало быть, его вполне может и вовсе не оказаться... Как ни крути – а по-настоящему оттуда еще никто не возвращался. Кроме Лазаря Четверодневного – но его уже не спросишь. А когда еще можно было спросить, он все равно никому ничего не рассказывал. Но зато достоверно известно, что никогда не улыбался...

Зоя крестилась в семьдесят два года, приведенная для этого за руку своей бывшей одноклассницей, утраченной в сороковом году по причине ссылки в качестве «религиозников» обоих родителей, за которыми, как оказалось, благоразумно последовала и сама – пока не сослали в другую, еще более дальнюю сторону и не лишили тех иллюзорных гражданских прав, что к тому моменту еще оставались. Обрелась обратно она лишь через пятьдесят пять лет – причем настолько похожей на себя прежнюю, что Зоя мгновенно узнала в чуть-чуть подсохшей, чуть-чуть выцветшей, чуть-чуть полинявшей – всего по чуть-чуть – моложавой пожилой женщине давнюю, наглухо забытую Кирку Богданову, умницу и стройняшку, обладательницу небывалой длины и густоты черных, как вакса, ресниц, в которых тоннули контрастно светлые, прозрачно-голубые глазищи. Ресницы поредили, как буйная шевелюра у иного мужика, а глаза не изменились вовсе... Зоя негаданно набрела на нее во дворе небольшой городской церквушки, внутрь которой заходить не собиралась, придя лишь по давней, атавистически соблюдаемой традиции освятить десяток луком крашенных яиц и пару скромных магазинных куличиков...

Французских и английских романов девятнадцатого века, без которых со школы не могла жить, Зоя с тех пор больше не читала. Без всякого сожаления перепрыгнув все художественные книги, написанные по обе стороны железного занавеса в железном же двадцатом веке, она восемнадцать лет читала только те, что дарила или рекомендовала ей воцерковленная Кирка, искренне не замечая, как явно и часто противоречат друг другу писания не только сомнительных современных духоведов, но даже творения признанных и, вроде, греховному осуждению не подлежащих великих Отцов. Само же Евангелие долгое время Зоя могла осилить только адаптированное для детской воскресной школы... С Киркой, еще при Советах тайно принявшей постриг и ставшей своего рода Зоиным Вергилием – сравнение не очень передавало самую суть их отношений, но напрашивалось само собой – они почти не разлучались все эти годы, бесконечно разъезжая вместе по новым церковным знакомым, посещая дальние сплоченные приходы с таинственными, скромно носящими неявные нимбы прижизненной святости пастырями во главе,

отстаивая длинные, мучительно-дивные монастырские службы.

Новым рубежом стала быстрая и блаженная Киркина смерть в самом конце девятого десятка. После Литургии на Валаамском подворье их обеих – и еще четырех причастниц преклонного возраста пригласила к себе обедать местная свечница лет семидесяти пяти, сушая для них девчонка. Она расстаралась из уважения к их возрасту: к чаю подан был невероятно душистый клубничный пирог, отведав которого и отодвинув пустые чашки, все поднялись на благодарственную молитву. Пропели – и дружно сотворили поклон, но из семи умиленных трапезниц восклонилося только шесть. Кира упала вниз лицом прямо из поясного поклона, и, когда старушки наперегонки подсемили к ней вокруг большого овального стола, она уже не дышала...

До того момента Зоя из последних сил гнала от себя мысли о неизбежной скорой смерти. Не дура – и читала, и видела, и размышляла о посмертии – чисто умозрительно. О своем загадывала – тоже с оттенком недоверия. Кроме того, начитавшись о воздушных мытарствах всех, кто не поленился потом рассказать о них интересующимся смертным, Зоя твердо усвоила себе одну очевидную закономерность. Регулярные и очень основательные поставки грешников на соответствующие круги ада осуществлялись, в основном, именно мытарством блуда, располагавшимся обидно высоко: обреченный аду грешник, с горем пополам отбившись от разочарованных бесов на многочисленных предшествующих ступенях, уже обнадеженно взиравший на близкие райские врата, все-таки гремел вниз с головокружительной высоты, когда на шестнадцатом-восемнадцатом мытарствах выяснялась его дремучая блудная сущность. Никаких добрых дел и полезных свершений, растраченных на предыдущие малозначительные стражи, уже не оставалось в его похуевшем кошельке, чтобы расплатиться за проход именно через эту, почти для всех абсолютно непроходимую, как трясины... Так вот, добрыми поступками, достаточными на пятнадцать мытарств, Зоя запаслась с лихвой, а на мытарстве блуда ей ничто не грозило: прожив свою жизнь почти безупречной девственницей (в поцелуях, безответственно допущенных с несостоявшимся женихом, она благоразумно раскаялась еще на самой первой своей исповеди и, следовательно, стерла их из бесовских хартий), она могла надеяться пройти через блудные мытарства с высоко поднятой головой, чуть ли не поплеывая в сторону падших ангелов, окопавшихся там. Оставшиеся – колдовское и еретическое – и вовсе ее коснуться не могли, поэтому в тайне ото всех – но не от себя самой – Зоя иногда дерзала надеяться... Тем более, что пенсионные деньги с карточки ежемесячно снимала, излишки переводила в басурманскую валюту и складывала

«Критическая масса» и другие повести...

в самый надежный банк в мире – собственный коленкоровый чемодан с четырьмя железными уголками, имевший незаметную дырку в клетчатой подкладке... Это и были ее заветные «гробовые». Вместе с ними Зоя поместила обстоятельное письмо племяннице Алле, подробно расписав в нем, где следует на эти деньги ее отпевать (предпочла Владимирскую церковь, ибо очень любила синеглазого Нерукотворного Спаса), на каком кладбище хоронить (на Богословском, в ограду к матери и младшей сестре), и как поминать ее умеренно грешную душу (сочла достаточным сразу заказать сорокоуст, на девятый и сороковой день потребовала по панихиде, а после обязала родных лишь ежегодно обновлять ей «золотой пояс» – годовое поминовение, хорошо понимая, что в церковь Алла заходит разве что случайно, и поэтому ожиданием частых проскомидий не следует ей на том свете слишком уж обольщаться). Вполне пристойную сумму, которая должна была остаться после всех вышеописанных трат, Зоя справедливо делила между двумя внучатыми племянницами, Анжелой и Ларисой, считая, что уж на свадебное-то платье каждой с избытком хватит – старых дев нынче не бывает, кончилось их, горемычных, время... Все это Зоя сделала по примеру точно так же поступившей Киры, что тоже полвека, после своего возвращения в Ленинград (с добровольной ссылкой она не ошиблась, так никогда и не получив ни «по зубам», ни «по рогам») мыкалась смиренной приживалкой в семье дальних вполне интеллигентных родственников. Но, в принципе, и на рубеже девяностолетнего юбилея возможность близкой смерти парадоксально не представлялась Зое чересчур реальной. Выживаемостью она обладала несокрушимой от рождения, словно, когда-то втихомолку откусив по немалому куску от здоровья рановато ушедших матери и сестры и спокойно присоединив их к своему никому не интересному стародевичьему веку, ничтоже сумняшеся доживала за них обеих. Давление под сто сорок Зоя и в восемьдесят девять лет считала для себя высоким и хваталась за таблетки, сердце работало, как исправный электронасос, а некоторую утреннюю скованность в суставах пока игнорировала, зная, что на это же каждый день жалуется ее сорокавосемилетняя племянница своему мужу-ровеснику, который вообще – одна сплошная болячка. Зоя намеревалась жить на земле долго-долго и по мытарствам отправиться еще очень нескоро, во всяком случае, сто лет твердо намеревалась осилить – а там видно будет...

Мгновенная и безболезненная смерть такой же крепкой и полной планов подруги стала Зои страшным и потрясающим откровением, а похороны, на которые она, осознавая свое право, явилась без приглашения, стали воплощением ужаса. В крошечном пыльном микроавтобусе, нанятом для перевозки простого соснового гроба,

грубо обтянутого ненавистным покойной кумачом, кроме Зои, сидели только Кирины родственники – очень занятые муж с женой – громко обсуждавшие в поездке неотложные дела, никак не связанные со скорбным текущим днем или воспоминаниями об усопшей. Микроавтобус летел по объездной дороге со скоростью гоночного автомобиля, порой закладывая опасные крутые виражи, так что сидевшая прямо у гроба Зоя иногда слышала, как внутри него Кирино тело глухо стучалось о стенки. Она поздно поняла, что едут они ни на какое не на Северное кладбище, как завещала покойница, непременно хотевшая быть похороненной рядом со своей грудной от скарлатины умершей дочкой в мягкую желтую землю, а мчатся напрямик в крематорий, не намереваясь заворачивать по дороге даже в самую захолустную церковь. Микроавтобус подъехал не к центральному, так сказать, парадному подъезду, откуда гробы обычно с помпой несли в ритуальные залы, а куда-то на задворки, к обшарпанной, железом обитой двери. Оказалось, это вход для «неторжественных» – и гроб был споро погружен на грохочущую медицинскую каталку. Двое тружеников в спецовках привычно пробубнили что-то о срочной необходимости «помянуть» почившую – и деловая родственница Киры брезгливо сунула в кулак старшему смятую бумажку. Гроб исчез за мгновенно и герметично закрывшейся дверью, а полегчавшая машина рванула в обратный путь...

Зоя опомнилась и закричала, только когда они медленно ехали где-то среди одинаковых новостроек, и то лишь потому, что муж деловой дамы вдруг выпрямился, застегнул добротную коричневую дубленку, обернулся к молчаливой старушке и вежливо спросил: «Вас у какого метро высадить?». Она давно привыкла перемалчивать любые несправедливости, творившиеся по-соседству, просто потому, что ее настоящая жизнь – то одна, то другая – никогда не имела к ним отношения. Никто ведь не мог, в конце концов, отнять у нее утренние прогулки по снегириным аллеям, любимые книги, жадно читаемые с юности, холодный закат над близким заливом, в светлые дни ясно видимый из окна... А тут не умолчала.

- Ироды! – хрипло взревела она, инстинктивно чуя, что это имя собственное последние веков двадцать – оскорбление пострашнее, чем причисление к банальным мерзавцам. – За что ж вы человека даже нормальных похорон лишили?! Почему даже не отпели, будто она последний нехристь?! Ладно бы дорого – да я же ведь знаю, что она деньги вам оставила – и немалые! Как руки-то поднялись – у покойницы гробовые воровать! Неужели не боитесь, что самих когда-нибудь вот так вот... с черного хода...

Супруги вовсе не удивленно, а с выражением «Так мы и думали, что без идиотизма не обойдется» переглянулись.

«Критическая масса» и другие повести...

- Бабуля... – устало выдохнула женщина. – Бабулечка... У меня ученый совет через сорок минут, а еще по городу через все пробки тащиться... Ну как вам объяснить, что мертвым это уже все равно, а живым бы со своими проблемами справиться... Давайте похорошему, а? Вон метро впереди – видите букву «М» – вот и идите себе тихонечко...

Зоя осеклась и быстро посмотрела на женщину: та действительно выглядела очень усталой и вообще не здесь присутствующей, а отлетевшей очень далеко, дальше, чем даже сама считала; на одутловатом лице под толстым слоем жирного грима угадывались темные старческие пятна, пока подвластные маскировке, но грозившие скоро выйти из-под контроля и усыпать собой всю дряблую кожу... И вдруг Зое на несколько секунд стало жутко: она отчетливо увидела на этой беспросветно загрюнтованной маске явно проступивший оскал близкой смерти, словно кто-то живой и всезнающий глянул *изнутри* этой жалкой женщины сквозь тусклые глаза, как сквозь немые окна... Зоя вышла не попрощавшись – до какого «свидания», собственно, они расставались, глупо же! – но с той минуты смертный ужас больше ее не покидал.

Он свернулся в ее душе длинным толстым змеем, почти осязаемым, особенно когда шевелился – а шевелился он по малейшему поводу. Так, наверное, чувствует себя счастливый обладатель взрослого солитера, в минуты, когда тот устраивается в гостеприимной утробе поудобнее, чтобы надежней присосаться к вкусной стенке хозяйской кишки... Зоя никогда раньше не пыталась разыскивать у себя ранние признаки рака, этого авансом засылаемого смертью искусного лазутчика, которого уже не перехитришь. А теперь вот придирчиво ощупывала под рубашкой свои сухие холодные груди, превратившиеся в чахлые морщинистые мешочки, ни разу не выплывшие извечного предназначения и оттого обреченные, быть может, стать очагом убийственной опухоли – и мерещились, мерещились тут и там твердые бугристые узелки. Зоя стала мучительно прислушиваться к тембру собственного голоса, отчетливо вдруг убоявшись, что рак заползет через горло и попросту придушит однажды, и иногда ей казалось, что голос уже огрубел до мужского, и даже стоит у трахеи шершавый комок... По ночам она сама себе ощупывала живот и бока, каждый раз натываясь, конечно, на непонятные лишние органы в неположенных местах, а утром мчалась в церковь заказывать молебен о собственном здравии... Ничто не помогало. Ей никогда не дожить до ста лет, и ее так же, как Киру, сдадут в длинной корявой коробке на милость страшных мужиков в спецовках, которые небрежливо сорвут с нее парадное коричневое шелковое платье... Парадное? Коричневое? Черта с два! – в морг наскоро отнесут

первое попавшееся... Ну и хорошо, первое попавшееся не сорвут, потому что его не сдать во всеядный сэконд-хэнд, но ведь из гроба все равно выкинут, чтоб пустить его в оборот по второму и третьему кругу – и отправится она вверх тормашками в белый всепожирающий пламень, сначала местного значения, а потом... Да, потом в вечный – и именно с того самого мытарства блуда...

Вменится ли ей? На всю жизнь она запомнила равномерное хлопанье приоткрытой форточки, за которой стояла неподвижная и безмолвная белая ночь. Ее единственная ночь с мужчиной. Заповедная ночь, о которой нечего рассказать, потому что и она прошла – внутри...

В тот день маленький коллектив их бухгалтерии – и секретарь директора в качестве необходимого приложения – был в полном составе приглашен домой к молодому главбуху по случаю ловко выбитой им крупной премии, милостиво спущенной с недосягаемого «верха». Как в других коллективах на вечеринки приглашают сотрудников мужеска пола «с женами», так в их случае хозяину пришлось пригласить всех дам «с мужьями» – иначе уж очень явно возникла ассоциация с отдыхающим от государственных дел султаном в гареме или, в крайнем случае, попросту с деревенским петухом. Мужа не оказалось только у Зои, и, когда она поняла, что одна пришла без пары (почему-то ей думалось, что молоденькая секретарша тоже не замужем), ретироваться было поздно: в желтом шерстяном платье выше колена и без рукавов, с сочными янтарными бусами, такими аппетитными на вид, что их хотелось съесть, высоко начесанной «бабеттой» и экстравагантными черными «стрелками» на веках, наведенными дома умелой сестрой, она уже сидела на модной низкой тахте, независимо положив ногу на ногу, с бокалом светлого вина в напряженной руке. Чувствовала себя сорокатрехлетняя Зоя весьма глупо: вечеринки такого рода всегда были, что называется «не для нее», но не пойти в очередной раз означало снова стать объектом скользких бабьих пересудов, вечно клеймивших ее то зазнайкой, то гордячкой. Получалось, что она сама собой попала в партнерши хозяину дома – их снисходительному начальнику, у которого жена с двумя дочками была заблаговременно отправлена на дачу и на свою долю от мужниной премии, кажется, уже не могла рассчитывать. Но у Зои имелась в тот вечер личная крупная неприятность: обутая в очаровательные кремовые «лодочки» с узкими носами и на невысокой шпильке, она чувствовала себя жестоко оскорбленной. Дефицитные туфли, выброшенные в «Пассаже» в маленький отдел с противоположной от Невского стороны, за которыми она простояла пять жарких часов в оживленной очереди, прошившей универмаг насквозь, достались ей на размер меньше, чем требовалось для сча-

«Критическая масса» и другие повести...

стья. Ее ходовой тридцать седьмой закончился обидно близко перед Зоей: она вздрагивала всякий раз, когда очередную лаковую коробку снимали по требованию счастливой покупательницы с вершины уже самой низкой пирамидки у чернильной цифры «37» – и драгоценных коробок долго оставалось всего две, что позволяло надеяться на неслыханную удачу. Увы! Стоявшая на четыре дамы впереди самоуверенная девушка с грубым лицом, которому совсем не подходили такие волшебные туфельки, купила сразу две пары – и обе тридцать седьмого размера, буркнув продавщице, что берет для сестры-близняшки... Едва не заплакавшая Зоя ясно представила себе этих двух уродин, бойко цокающих тонкими шпилечками, унижая их хрупкую прелесть своими обязательно кривыми и волосатыми ногами... Да в калошах таким ходить, в калошах! Словно загипнотизированная, она не смогла уйти прямо от прилавка, достигнутого с таким трудом, и купила пару туфель тридцать шестого размера, заведомо тесных, недружелюбно стиснувших и без того распухшие от долгого стояния ноги – и опомнилась уже у выхода на Невский. Конечно же, надо было брать на размер не меньше, а больше, стельку положить – и порядок! Зоя кинулась назад бегом с целью срочно обменять покупку – и как раз успела увидеть, как пробивали чек на последнюю пару тридцать восьмого... Она ушла убитая: растянуть туфли до вечера, даже если налить в них водки и ходить так целый день, не получится... Убитая же и сидела на тахте, отвергая соблазнительные приглашения потанцевать, как назло, посыпавшиеся на нее в этот вечер со всех сторон, словно компенсируя недостаток, с юности наблюдавшийся у нее в этой области... Горько переживала и не заметила, как гости отвеселились и ушли по-английски, оставив ее, привычно таинственную, в качестве законной ночной добычи радушного хозяина.

Не говоря ни слова, он принес из ванной белоснежный тазик с теплой водой. Так же молча он снял с ее отяжелевших ступней одну кремовую туфлю, а за ней другую – и маленькие ступни вдруг словно расправились, как вольные тюленьи лапы, когда он бережно опустил ее ноги в зеленоватую мыльную воду. Он стоял на коленях перед тазиком, сосредоточенно склонив над ним голову, Зоя видела темный плотно стриженный затылок и металлические полукольца очков за беззащитными ушами, хотела и не смела прикоснуться рукой к его голове, инстинктивно чувствуя, что это было бы очень ответственным прикосновением. Мужчина мыл и массировал ей ноги без слов – неторопливо намывливал каждый пальчик, осторожно разминал натруженные подушечки стоп и мягкие еще пятки, а старая удивленная девушка, застыла, не зная, надо ли вырываться или просто замереть от блаженства и ждать, что будет. Она неотрывно, словно жизнь от

этого зависела, смотрела на маленькую высокую форточку, что размеренно ударялась о раму застрявшей задвижкой – с приглушенным стуком, остро вспоминаясь в ночи и через сорок семь лет, и в те минуты уже знала, что именно так и будет его помнить... А чужой родной человек бесшумно отставил таз с водой в сторону и принялся, не вставая с колен, вытирать ей ноги чистейшим вафельным полотенцем, точь-в-точь таким же, каким за четверть века до той ночи мать крепко отходила ее по лицу – и это тоже сразу вспомнилось, но уже без обиды, словно смытой его бережными руками... Он так ничего и не сказал, и она молчала, как окаменевшая. Туфли надевать обратно было трудно и жалко, даже неудобно немножко перед собственными ногами, только что так возмутительно разнеженными и, вот опять безжалостно загоняемыми в темную тесную тюрьму – и Зоя сделала это сама, пока мужчина, виновато поднявшись с колен, ушел ловить для нее раннее сонное такси...

Надо было об этом говорить на исповеди? И если надо, то как? Или оставить до блудного мытарства – и пусть там спорят падшие ангелы с непадшими, страшный ли это грех, когда чужой мужчина в пустой квартире белой ночью моет тебе настрадавшиеся ноги, – пусть они спорят там об этом подольше, пусть – а она постоит в сторонке и еще раз, последний, вспомнит ту ночь, перед тем, как заставят напиток из горьких вод Леты и сотрут это воспоминание – вместе с другими ненужными и суетными... Ведь туда, куда ушла успевшая указать путь подруга, не войдет ничто сомнительное или пустое... А может, наоборот, именно такие ночи имеют право доступа в жизнь будущего века, а вовсе не те, когда неволью зачинают в законном и неосужденном браке нежеланных детей?

Настал день, когда через сорок семь лет Зоя однажды решила вновь отыскать тот дом, где больше ни разу с тех пор не была и адреса его не знала, помня только, что стоял он где-то между Гоголем и Герценом, а форточка, без всякого сквозняка стучавшая в ту вечную белую ночь, располагалась на втором этаже. Что это теперь Большая и Малая Морские, Зоя прекрасно помнила и в этом отношении не растерялась. Сорок семь лет назад раз навсегда вымытые ноги уверенно несли ее по, как выяснилось, не забытому пути, и она почти не сомневалась, что вот сейчас поднимет голову, а там... И форточка по-прежнему хлопает, и, если подняться в квартиру, то за тюлевой шторой и белая ночь все та же – вот только теперь они уже не станут молчать... Зоя храбро подняла голову.

Перед ней оказалась станция метро «Адмиралтейская». Зое стало ясно, что все-таки случилась ошибка, ее понесло в сторону вместе с толпой, она вырвалась и устремилась обратно, потом вдруг оказалась на улице Дзержинского, обернувшейся Гороховой

«Критическая масса» и другие повести...

из каких-то давних стихов Чуковского; совершенно сбита с толку, она стала зачем-то заглядывать во все подряд дворы, ища какого-то смутно всплывавшего в памяти переулка, по которому шла почти полвека назад, но большинство дворов оказалось за запертыми чугунными воротами – но именно там, думалось ей каждый раз, и есть вход в заповедный переулок; вновь старуху вертело в потоке людей и машин, она непостижимо оказывалась все перед той же нелепой и невозможной «Адмиралтейской», и уже понимала, что никакой ошибки не было с самого начала... Вернее, была, но сорок семь лет назад.

Совершенно дезориентированную, залитую слезами сорокасемилетней давности, наконец, нашедшими дорогу из ее давно уж сухих глаз, Зою действительно привели домой две посторонние добрые женщины. Расслабившись в чужих руках, она не сумела догадаться, что ее странное путешествие, так глупо окончившееся, приведет к катастрофе домашнего ареста – да и шут бы с этим! Но Зоя неожиданно лишилась главного, что давало ей силу жить, из последних сил ощущая себя полноценной, не готовой пока для гроба: ей запретили ходить даже в близкую церковь, а значит, существование утратило последний смысл, и на время посторонившаяся смерть имела полное право брать ее теперь тепленькой.

Отсрочка неожиданно пришла с самой невероятной, как казалось, стороны: внучатая племянница Лариса вдруг сама предложила сопровождать Зою в церковь и обратно, что и было, конечно, с благодарностью принято. Раньше Зоя обеих девчушек не то что в расчет не принимала, а даже особенно не различала между собой. То есть, она знала, конечно, что та, что потемней волосами и потоньше станом – это Анжела, а та, что пониже ростом и миловидней лицом – Лариса, в семье этой приемыш-довесок, как и она сама. Но в целом девчонки были для Зои чем-то вроде единого существа – не особо приятного: дурного соответственно возрасту, совершенно бездушно-го, не умеющего читать, истерично писклявого, одетого в пестрые нелепые тряпки, проводящего время в какой-то исключительной, ненормальной праздности, всюду волочащего за собой хвост сладкого цветочного запаха... Словом, это был пучок безнадежных евангельских плевел... Но теперь Зоя начала исподволь присматриваться к Ларисе, с радостью находя в ней смутные черты ее матери Любы, безвестно пропавшей в буйных девяностых. Та тоже считалась безнадежной, лишь она, ее тетка, умела тогда разглядеть сквозь наносную пыль еще полудетской самости алмазный блеск незаурядного человека... Любу подбили на взлете, искренне считала она – считала так и молчала, зная, что из своей дальней эмиграции все равно не будет услышана.

И вдруг Лариса тяжело заболела, простудившись на выпускном вечере. Зоя хорошо помнила ту совсем не праздничную белую, а темную дождливую и ветреную ночь, когда десятки тысяч детей-выпускников невесело резвились, пьяные и злые, на мокрых неприветливых набережных. Лариса вернулась под утро уже совсем больная, встрепанная и жалкая, как выпавший из гнезда птенец, и проболела, мыкаясь меж домом и больницами, все лето, осень и зиму, то немного поправляясь на время, то приближаясь к опасной черте умирания. Зоя находилась при ней неотступно – сама не знала почему. Особенной родственной любви она к девочке не испытывала: в таком возрасте уже поздно было начинать. Но она ощущала, что уходит человек, которому можно в жизни доверять и, может быть, опереться на него после смерти. Похожий на того, которого она почти разглядела, но трагически упустила восемнадцать лет назад... Несколько раз, когда Лариса вдруг начинала среди ночи задыхаться в соседней комнате, жутко, по-мужски, кашляя и биясь головой о стену, Зоя, всегда чутко спавшая, прибегала и ухитрялась «раздышать» уже синевшую девочку, а потом укладывала на две высокие подушки и долго гладила усохшей рукой по голове. Не потому что испытывала какую-то особую нежность, а потому что знала, что Ларисе эта нежность нужна.

Весной, когда девочка начала выздоравливать по-настоящему, врачи посоветовали отправить ее для реабилитации за город, на северный берег залива, где сосновый воздух мог бы оказаться полезным для, как виделось Зое, в ключья изодранных приступами кашля Ларисиных легких. Старую деревянную дачку семья унаследовала от покойной Ларисиной бабушки, завещавшей собственность именно ей, тогда едва родившейся, и формально, достигнув в апреле совершеннолетия, Лариса и владела теперь этой дорогой по нынешним временам недвижимостью, о чем, конечно, по молодости не задумывалась. Мысль поехать туда с выздоравливающей очень полубилась Зое, однажды остро понявшей, что в скромном трехкомнатном домике с похожей на старые кружева верандой, вечно нуждавшемся в латании то одной, то другой дыры, обе они могут почувствовать себя хозяйками, а не приживалками в чужом доме... Нет, им никогда не тыкали в глаза их очевидной «лишнестью», но ведь человек всегда и сам знает, когда окружающие только терпят его рядом, и лишь из вежливости не говорят о том, как сильно он мешает им жить так, как хотелось бы.

Зое повезло – на дачу их доставили как раз под Пасху, и ей сразу же удалась неслыханная, в городе в связи с арестом невозможная вещь: она с девчоночьим азартом удрала с дачи на всю пасхальную службу. За Ларису можно было не волноваться: она давно уже не

«Критическая масса» и другие повести...

задышалась по ночам, включить в подвале паровой котел прекрасно смогла бы, если б вдруг замерзла, а развлечений в виде многочисленных дисков с фильмами и – по странной прихоти – толстой стопки журналов о жизни животных она привезла с собой немало.

Возвращалась Зоя в четвертом часу теплого майского утра – ее безвозмездно и уважительно подвез незнакомый мужчина-прихожанин, после службы добровольно занявшийся развозкой трех едва державшихся на ногах героических старушек и одной матери-одиночки со спящим на ее согнутом локте бледным ребеночком. Выйдя из машины, среди сосен Зоя увидела свет в окне их недалекого домика и, будь она хоть на десять лет моложе, то припустила бы рысью – ведь это значило, что что-то случилось! Отродясь в их трудовой семье не зажигали огня в половине четвертого утра – только если кому-то было плохо! Мгновенно прокляв себя за преступное легкомыслие, старушка ускорила свое ковыляние; лакированная антикварная трость тревожно стучала по сухой земле, легкий складной стульчик больно ударял по лодыжкам.

Целая и невредимая Лариса сидела на выстывшей кухоньке над стаканом холодного красного чая, неотрывно глядя на старую цветную фотографию. Увидев бабулю, она внешне спокойно протянула ей изображение и, стараясь сохранять мнимое безразличие, тихо спросила:

- Баб Зой, не знаешь, с кем это тут моя мама?

Зоя внимательно рассмотрела щуплого паренька, с явной нежностью обнимавшего Любу, незнакомых людей, стоявших на скудной равнине, прочитала бледную надпись на обороте...

- С твоим отцом, конечно, с кем же еще, – уверенно ответила она.

До позднего утра они проговорили в Ларисиной комнате. Зоя больше не таилась. Она честно рассказала внучатой племяннице о том, каким человеком, по ее мнению, была ее мать, не скрыла и своей внезапной догадки:

- Смотри сюда внимательно. Вот этот мужчина с бородой, что стоит позади твоих... родителей. Видишь? Ведь это у него не брюки! За ногами Любы и... этого парня... не очень ясно видно, но ведь можно угадать: на нем – подрясник! Он священник, Лариса! Значит, Люба не фантазировала, когда говорила, что у нее есть муж! Боже мой, девочка, это ведь действительно муж: здесь священник, наверно, только что обвенчал их!

Глаза Ларисы горели совершенно Любиным пламенем, тотчас узанным так же загоревшейся Зоей. Девочка проговорила, запинаясь:

- Значит, я... Я не приبلудная, что ли? И у меня был закон-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ный... настоящий отец... Но как же он мог... бросить меня и маму... Раз они были обвенчаны!

Зоя помолчала.

- А кто тебе сказал, что он вас бросил? – наконец, прошептала она. – Тетя и дядя тебе сказали. Просто потому, что им было... приятней так думать.

Озарение шло за озарением, и теперь остановиться было нельзя.

- Приятней?! – вспыхнула Лариса и тут же осеклась: – Да, конечно... Приятней, я понимаю. Но что толку... Правды теперь никогда не узнать... Столько лет прошло... И ничего не осталось, кроме этой фотографии...

Зоя неприметно усмехнулась: еще похожая после своей изнурительной болезни на ошипанного воробья девчонка, прожившая на свете лишь восемнадцать лет, из которых десять можно смело списать на полную бессознательность, считала девятнадцатилетний срок – непреодолимой вечностью, а людей, живших так много дней и ночей назад, давно вымершими или впавшими в беспамятство. Она осторожно потрепала девочку по худенькой коленке:

- Столько – это сколько? Вот этому батюшке – лет тридцать пять. Сейчас, значит, пятьдесят четыре, и, если его спросить, то он все расскажет... Живет он в этом твоём... Койдино или нет, а найти его все равно труда не составит.

- Но кто меня пустит туда, чтоб его расспрашивать! – отчаянно воскликнула Лариса.

- А что, тебе надо просить разрешения? – Зою вдруг охватило совсем не старческое волнение, напомнившее вдруг ни к селу ни к городу о первых днях войны, когда она поняла, что жизнь вот сейчас круто переменится, и от нее это не зависит. – Ты забыла, что ты уже не маленькая, и закон позволяет тебе разъезжать, куда вздумается? А на что серьезное нужен твой вечный Интернет – неужели только в Контакте пропадать до полуночи? Если не найдется там села Койдино, то для чего он вообще?

- Но... деньги... – прошептала отчетливо задрожавшая Лариса. – Ведь такая поездка – это целое состояние для меня... А может, и не только туда придется съездить...

С тем, что ехать непременно надо, она не спорила, и именно это стало основным фактором, подсказавшим Зое мгновенное и правильное решение. Она хитро улыбнулась, потому что знала: ее коричневый дерматиновый чемоданчик с металлическими углами, способными ощутимо покалечить любую неосторожно подвернувшуюся коленку и готовый невинно предъявить любому желающему нехитрое старушечье барахло, прячет за клетчатой подкладкой не-

«Критическая масса» и другие повести...

малые, за много лет накопленные деньги. Зачем они существуют на свете? Ведь ей уже ясно, какие пышные похороны ожидают ее в недалеком будущем, а вот если пустить теперь этот капитал в оборот... Кто знает, какие неожиданные дивиденды принесет он – пусть уже не ей! – а остатка наверняка хватит Ларисе на свадебное платье...

Глава 3 На линии огня

У их солистки Вальки Геннадьевой были абсолютно некрасивые ноги – с круглыми и плотными, как дыни-«колхозницы», икрами, тонкими щиколотками и огромными ступнями – а также плоское, равномерно белое лунообразное лицо с всегда кислым – и на сцене, и в жизни – выражением. Говорила Валька редко и неохотно, причем рот открывала не прямо, как все здоровые люди, а презрительно цедила слова из правого уголка слегка искривленного, будто у инсультницы, маленького бледного ротика. Если б еще на сцене она преображалась! Так ведь нет – танцевала без всякого артистизма, слишком четко, технично и напряженно, каждое движение выглядело заученным и неестественным, застывшая улыбка – приклеенной... И вот уже четвертый год, с угловатого отрочества, являлась неизменной солисткой...

«Блатная? – рассуждала Люба под стук колес на верхней боковой полке плацкартного вагона самого задрипанного из всех поездов Петербург-Москва. – Непохоже: мать у нее простая продавщица, а отца, кажется, и вовсе нет. И орет на нее Тамара Васильевна не меньше, а больше, чем на нас всех...».

Руководительница их девичьего танцевального ансамбля народной пляски, по слухам, балерина-неудачница, действительно считала особым балетным шиком ругаться, как извозчик, на своих танцовщиц подросткового возраста. На репетициях только и слышалось: «Как стоишь, уродина?! А вы, овцы поганые, чего тут разблелись?! А ну, пасти закрыли – и ногу выше! Ногу, я сказала, стадо безмозглое!». Никто давно не обижался – жаловаться было некому и идти некуда. То есть, было куда – в родную Корабелку на лекции, о чем Люба без содрогания не могла и подумать... Господи, ну какой из нее инженер-кораблестроитель? Но у мамы надежные знакомые оказались только в этом горе-институте, потому Любу туда осенью и зачислили со всеми тройками на вступительных почти насильно – после того, как в прошлом году она вполне предсказуемо провалила в танцевальное училище. Не от бездарности, конечно, провалила, а потому что не было там ни одного знакомого в приемной комиссии... Танцевала Люба, как сама прекрасно понимала, да и добрые

Наталья ВЕСЕЛОВА

их девчонки без всякой зависти подтверждали то же, не в пример лучше Геннадьевой – да и собой была уж точно симпатичнее, во всяком случае, ноги стройные, самой нравились. Бывает, идет по улице и где-нибудь случайно увидит отражение собственных ножек, затянутых в блестящие черные лосины – так и стукнет: надо же, какие у кого-то ноги красивые... да это ж мои! Однажды Люба набралась храбрости и, уловив на лице Тамары Васильевны редкое незлое выражение, подбежала к ней балетной чарли-чаплинской рысью и на одном дыхании выпалила:

- Тамара Васильевна, а давайте я разучу сольные партии венгерского и неаполитанского! Чтобы просто про запас у вас быть, на всякий случай!

- На место! – в ответ рявкнула на нее та, как на собаку. – А ну, пшла! На место, я сказала!

Последние два года их самодеятельный коллектив, когда-то рожденный в недрах третьеразрядного дома пионеров и с тех пор кочевавший в одном и том же составе по Домам культуры, выезжая в пригороды и ближнюю провинцию с нечастыми концертами, был взят под крыло энергичным толстопузым директором-продюсером, обещавшим раскрутить талантливых девчонок – им на радость, себе на пользу. Концерты стали чаще и выгодней, девушки, раньше танцевавшие почти на общественных началах, стали получать за каждый концерт невеликую денежку, достаточную на скромное питание и сценические костюмы, которые раньше были для них сущим разорением. Дело шло к тому, что никому не известный полудетский коллектив вот-вот должен был получить гордый статус профессионального – с соответствующими материальными последствиями и общественным признанием. Многое зависело именно от того ответственного, выбитого для них правдами и неправдами выступления во Дворце Культуры им. Ногина в Москве, куда они и ехали сейчас из родного Питера в пыльной прокуренной плацкарте...

Люба со стоном повернулась к стене. Именно сегодня она находилась в самом невыгодном положении по сравнению со своими подругами, давно молодо и здорово сопевшими в разных концах дешевого вагона. Она не умела спать в поездах – ни разу не заснула, когда приходилось ездить на дальние расстояния, всегда мучилась с тяжелой головой, ломотой во всех костях и словно песком присыпанными глазами до самого утра, завистливо слушая безмятежных храпунов. Таково было одно из побочных свойств ее слишком утонченной нервной системы. По прибытии на пункт назначения Люба обычно уж и вовсе ни на что не была годна, головная боль становилась к тому времени резкой, никаким лекарствам не поддавалась – и, словно в насмешку, теперь хотелось спать по-настоящему, а лечь,

«Критическая масса» и другие повести...

как правило, было негде. «Неужели ты в поезде не выспалась?!» – удивленно спрашивала какая-нибудь свежая и умытая попутчица, вызывая в Любе острое желание стукнуть ее прямо сейчас кулаком по упругой румяной щеке с вызывающим отпечатком казенной подушки. Вот именно это и предстояло ей завтра, 3 октября 1993 года, в тот самый великий день, когда могло решиться будущее их коллектива – ну, а свое собственное она от него давно уже не отделяла. Да еще и пробежал перед самой поездкой легкий гнилой слушок, что из двадцати танцовщиц в коллективе нового завидного статуса будут оставлены только шестнадцать – такое, мол, количество, «спущено», придется соответствовать... Имена трех девушек, с которыми без жалости расстанутся, хотя и не назывались, но были примерно известны, а вот четвертое... Как бы ей, Любе, этим четвертым лишним не оказаться, если она будет напоминать на сцене переваренную картофелину! А то еще и запутается в чечетке – а как не запутаться, когда в висках уже орудуют тонкие острые молоточки, что к полудню превратятся в кувалды – тогда уж точно пиши пропало... Люба вспомнила, как однажды, когда ей едва исполнилось восемь лет, и она танцевала в детском танцевальном кружке, их пригласили выступать на телевидении в программе «Творчество юных». Танец назывался «Октябрятская полька», и мама, помнится, две или три ночи подряд, не разгибая спины, шила ей на безотказном «Зингере» первый в жизни сценический костюм: пурпурного сатина платьице с «фонариками»-рукавами и газовый белый передничек с оборками. И вот, когда они уже приехали на телестудию, у Любы начались непереносимые рези и спазмы в животе. Хоть и маленькая, она уже знала, что в этом нет ничего страшного: такое происходило с ней в детстве всякий раз в минуты сильного волнения. Чтобы рези прошли, нужно было срочно лечь плашмя на спину, без подушки, и полежать так не более пяти минут. Лечь было негде. В огромной студии стоял арктический холод – такой, что у детей клубился пар при дыхании. Высокие лампы, окружавшие абсолютно гладкую площадку, давали безжалостный режущий белый свет. Танец сначала прогнали без записи, в качестве репетиции, потом неторопливые накрашенные тетеньки долго настраивали аппаратуру, запретив маленьким артистам и на секунду покидать помещение – и вдруг, похохатывая, ушли курить, а их заперли. Хотелось уже не кричать – выть, как попавшая под машину собака. Случайно глянув в какое-то зеркало, Люба внезапно увидела там свое лицо – маску пепельного цвета со страшными провалами глаз и закушенными серыми губами. Ей было восемь лет – почему она не зарыдала, как любая ровесница на ее месте, не сказала их доброй руководительнице, что у нее болит животик, и танцевать она не может? Да и взрослый бы не смог на ее месте – с

такими-то болями! По сути, «скорую» можно было вызывать... Конечно, съемку бы отменили, потому что три пары вместо четырех не смотрелись, а удалось бы или нет устроить это в другой раз – Бог весть. Неудачливые звезды экрана возненавидели бы Любу как виновницу краха несбывшихся детских надежд – но это потом. Так далеко восьмилетняя девчушка не загадывала, ее спартанской терпеливостью (вряд ли тот хрестоматийный лисенок, думалось Любе позже, принес маленькому спартанцу больше страданий¹, чем она перенесла тогда) двигало другое, загадочное чувство, гибрид прямо противоположных друг другу: крайнего смирения – и крайней же гордыни. Она протанцевала эту треклятую польку – и никто ничего не заметил. Подскакивала, уперев руки в боки, кивала с кукольной улыбочкой направо и налево, игриво подпирая указательным пальчиком пухлую щечку, легко перелетала, кренделем сложив ручку, от партнера к партнеру... Но лишь смолкла музыка – и она уже никого не слышала. Молча вышла в незнакомый коридор, горевший мертвенным зеленым светом – а может, просто так казалось из-за заливавшей глаза дурноты – и безошибочно попала прямо на взрослый туалет, как усталый грибник на лесной полустанок. Там тоже курили какие-то равнодушные женщины – но Люба прошла в кабинку мимо них – и закрыла дверь. К счастью, дверь эта достигала пола, но девочке было уже все равно. Она легла на спину прямо на грязные метлахские плитки, протиснув ноги в белых балетных тапочках между унитазами и перегородкой и уперев их в заднюю кафельную стенку. На всю жизнь запомнилось блаженство, с каким она впитывала спиной и затылком резкий каменный холод, входивший в тело вместо улетающей куда-то вверх боли... Ее искали, звали – она лежала тихо, как мышь, пока не исчезли последние отголоски страданий... Если тогда, в восемь, смогла, то неужели не сможет теперь, в семнадцать? Господи, дай мне заснуть. Хоть на часик дай мне заснуть, Господи...

На Ленинградском вокзале в половине седьмого утра было серо и промозгло холодно, и высыпавшие из поезда с рюкзаками девочки, совсем не похожие на будущих известных танцовщиц, а напоминавшие заблудившуюся стайку взъерошенных синичек, нахохлились и сонно моргали, подняв капюшоны своих дешевых китайских курточек. Еще накануне вечером прилетевший на самолете продюсер прыгал по перрону маленьким недожаренным колобком:

- Девчоночки мои, я вас сразу разочарую: экскурсии не получится. В Москве беспорядки, центр перекрыт, делать там нечего. Кто

¹ По легенде, мальчик из древней Спарты спрятал под туникой найденного лисенка пред тем, как войны-воспитатели построили учеников; лисенок прогрыз мальчику живот до внутренностей, но маленький спартанец, стоя в строю, так и не подал вида, что испытывает страшную боль и, когда воспитанников распустили, он упал и умер

«Критическая масса» и другие повести...

хочет в Третьяковку – пусть отправляется на метро самостоятельно. Начало концерта в семь, наше выступление в первом отделении. Очень надеюсь, что до половины девятого вы уже отпрыгаете, потому что обратный поезд в десять с копейками... А сейчас пока базируемся в соседнем Доме пионеров, сегодня он закрыт – воскресенье. Но нам откроют – я договорился – и пустят в спортзал с мягкими матами... Может, кто и вздремнуть захочет, расслабиться... А потом – почистить перышки, да и в Ногина галопчиком, пока другие участники не захватили лучшие гримерки-раздевалки...

Среди разочарованного девичьего мычания – опя-ать эти депутаты с президентами что-то не поделили, а мы распла-ачивайся; столько о Москве мечтали – и вот пожа-алуйста, даже Красной площади не уви-идим – Люба хмуро молчала, предательски радуясь про себя: какое счастье, что не потащат их ни на какую добровольно-принудительную экскурсию! Может, найдется ей вместо этой повинности укромное местечко, чтобы свернуться калачиком и поспать?

Мечта ее, что, вообще-то, в жизни Любы случалось нечасто, взяла и просто осуществилась ровно через час. В спортивном зале ей быстро и ловко удалось подтащить тяжелый жесткий мат к шведской стенке. Там она, не мешкая, постелила вместо простыни мамину вытертую шаль, часто служившую верой и правдой в некомфортных поездках, под голову сунула собственный свитер, куртку приспособила вместо одеяла, а два сценических костюма, потребных для вечернего выступления, были нежно расправлены и заботливо повешены все на ту же шведскую стенку... Надеть их Любе больше никогда не пришлось.

Как странно всегда бывает оглядываться на дни-рубежи и видеть в них себя самого за несколько часов или минут до того, как ты беспечно занесешь ногу чтобы сделать роковой шаг, после которого путь назад окажется навсегда отрезанным – хочешь ли ты вернуться или нет. Около двух лет спустя, в день, когда дребезжащий, но выносливый и надежный АН-2, ласково прозванный мужчинами-летчиками «Аннушкой», станет заходить на посадку над аэродромной площадкой среди негостеприимной тундры, Люба глянет вниз, и вдруг ни с того ни с сего перед мысленным взором ее предстанет мрачное московское утро, когда, лежа в футболке и джинсах на колленоровом мате под мягкой синтепоновой курткой в семистах километрах от дома, перед тем, как провалиться в крепкий короткий сон, она зачем-то открыла глаза и обвела взглядом весь небольшой спортзал... Словно вернувшись во времени в те последние минуты прежней своей жизни, Люба отчетливо вспомнит мелкие вешки прошлого, на тот момент еще принадлежавшие близкому и неотвратимому будущему... Все они были еще там, в зале, – девчонки,

которых после сна ей никогда не придется больше увидеть. Когда Люба проснется, они уже дружно убегут в обязательную, как Эйфелева башня в Париже, Третьяковку, а ее не разбудят, потому что она сама еще раньше попросила их этого не делать. Она вспомнит, как Киса Соболева упорно расчесывала на соседнем тоже заботливо застеленном мате свои легендарные локоны Златовласки, горевшие, казалось, самостоятельным светом; как Леля Евдокимова, на миг остановилась над ней и спросила о чем-то неважном, слегка склонив по привычке свою умную птичью головку; как Юлия Витман засмеялась где-то вне поля зрения своим странным гортанным голосом, напоминающим тревожный клетот, и как все они уютно поплыли, поплыли перед Любиными глазами – и исчезли навсегда... Какое-то время – а именно, лишний час, не больше – еще продержалась в ее жизни Леночка Кузнецова, маленькая беленькая девочка, едва в том году закончившая школу, почти пародийно напоминающая молодую ангорскую кошечку с голубыми глазами и розовым бантом. Леночка не пошла со всеми в Третьяковскую галерею – ее туда родители в детстве насильно таскали раз шесть – но зато ни разу не водили в знаменитый московский зоопарк! Поэтому она честно дождалась Любиного полуденного пробуждения и предложила ей сходить туда с нею; показала и заранее припасенную карту Москвы: «Смотри, туда добраться ничего не стоит: он прямо у самой «Баррикадной», эта такая станция метро...».

В течение нескольких лет – ежедневно, а потом, надолго – в начале каждого октября у станций метро «Баррикадная» и соседней «Краснопресненской» станут прямо на асфальте появляться букеты красных гвоздик. Этого Люба так и не узнает, потому что с тех пор судьба в Москву ее больше не занесет.

...Непонятная тревога смутно восстала со дна души еще в битком набитом вагоне, ехавшем в сторону «Краснопресненской». Девочки стояли, плотно прижавшись друг к другу, почти в обнимку, и Леночка растерянно шептала:

- Куда это они все, а? Ведь воскресенье же...

- Слушай, ведь наш-то говорил про какие-то беспорядки... Может, они как раз здесь? Только этого нам и не хватало: не дай Бог, на концерт вовремя не доберемся... – так же шепотом отзывалась вполне оробевшая Люба.

- Не-а... - успокаивала подруга. – Он говорил, в центре, а это совсем не здесь: центр, это где Кремль, далеко отсюда...

- Но не в зоопарк же они все едут! – волновалась Люба. – Ты только посмотри на них!

Посмотреть действительно стоило. Ехали, в основном, мужчины – и Люба никогда не видела столько серьезных мужских лиц сра-

«Критическая масса» и другие повести...

зу. Кроме того, ее вдруг поразило одно простое наблюдение: *все это были очень красивые мужчины*. Даже те из них, у которых оказались неправильные черты лица или наблюдался серьезный недостаток роста и внешней мужественности – и те выглядели таинственно привлекательными для женского взгляда. «Они как будто идут на войну, – вдруг без всякого повода подумала Люба. – А любой мужчина, идущий на войну... прекрасен...». Тут их обеих вынесло словно лавиной на платформу «Краснопресненской» – и дальше вагон поехал почти пустым – во всяком случае, там оставались только женщины и дети. В общем потоке подружек волокло дальше – к переходу на «Баррикадную», издававшие резкий запах свежего пота тела мужчин, отнюдь не расположенных ни к джентельменству, ни к праздным шуточкам, тесно сжимали их со всех сторон.

- Ленка, быстро поехали отсюда! – в небывалом волнении схватила Люба подружку за рукав. – *Это* здесь происходит, я знаю! Ни у какого не у Кремля! Там, наверху... Ленка, я не знаю, *что* там!

Кошачьи голубые глаза на остреньком беленьком личике сощурились:

- Ну, ты и трусиха! – зашипела подружка, вырываясь. – Какое нам дело до их митингов! Зоопарк прямо у метро. Пусть идут, куда хотят, а мы быстренько направо – и нет нас... Чего ты дрейфишь-то, а? Вроде, никогда особо не трусила, даже перед Васильевной рот открывала, а тут вдруг... Не понимаю...

Люба и сама не понимала, что именно так пугает ее – просто инстинктивно чувствовала, что они не просто оказались в толпе каких-то непонятных мужчин, а, возможно, некстати попали в суровый строй воинов, идущих в бой и, следовательно, в любой момент могут оказаться на линии огня. Ею все больше овладевал древний пещерный страх, продиктованный инстинктом самосохранения не просто дрожащей твари, а возможной матери, продолжательницы рода, на которой он в любой момент может быстро и незаметно прерваться...

Вместе с ними людская волна выплеснулась на маленькую площадку перед метро – и здесь толпа, под землей лишь приглушенно гудевшая, заговорила в полный голос – и голос этот был грозен. Вокруг стоял будто завораживающий рокот штормового моря, волны тысячной толпы одна за другой разбивались о неколебимые ряды военных в пятнистой форме и низко надвинутых касках, с настоящими с автоматами наперевес. «Ты в кого стрелять собрался?! – насакивал на белокурого богатыря из оцепления низенький пожилой гражданин. – Я в отцы тебе гожусь, сукину сыну! Ишь ты – на свой народ с автоматом! А у самого усы не выросли! Да пороть тебя надо – ремнем! С пряжкой!». Самое странное, что парень вовсе не оби-

Наталья ВЕСЕЛОВА

жался и стыдливо глядел себе под ноги, не отвечая обличительно ни слова. Зато другой, жилистый и иссиня-черный, наоборот, замахи-ваясь прикладом на старушку в шляпке с вуалью, похабно орал на нее, ничуть не смущавшуюся и ни отступавшую от оцепления ни на шаг: «А ну, гребни отсюда, кошелка старая! Развонялась тут! Без тебя не разберутся!».

Плотно стиснутых людей мотало из стороны в сторону, как каторжников в трюме корабля; иногда лавина устремлялась вперед, на цепь испуганно выставлявшего дула ОМОНа, иногда ее отбрасывало обратно, к дверям метро, откуда все выходили и выходили прибывавшие люди, которым, казалось, уж не было места на крошечной площади – но они втискивались куда-то и тотчас же сливались с грохотающей толпой...

Люба в панике глянула вправо, ей было уже не до зоопарка, а хотелось только согласовать с Ленкой план срочного отступления с передовой – но никакой Ленки рядом не оказалось: во время очередного колебания толпы ее засосало и отбросило в сторону, и Люба оказалась совершенно одна в этом непонятном хаосе, куда ее будто заманили обманом и теперь ни за что не хотели отпустить. «Ленка! – истерически выкрикнула она. – Ленка! Где ты?!». Если подруга и отозвалась на отчаянный зов, услышать ее Люба уже не могла: все перекрыл рев милицейского мегафона: «Внимание, граждане! Вам предлагается немедленно прекратить несанкционированный митинг и разойтись по домам! В противном случае к гражданам, не подчинившимся распоряжению законной власти, будут применены силовые меры!». Толпа в очередной раз дрогнула – не в отступательном – наступательном движении; линии оцепления мялись и ломались где-то впереди – слышались сдавленные крики, глухие удары и уже откровенный боевой мат, всегда сопровождающий кровавые столкновения. В ужасе от всей невероятной ситуации Люба зажала уши руками, зажмурилась и пронзительно завизжала.

- Девочка, что ты здесь делаешь?! – рявкнул на нее оказавшийся рядом крупный спортивного вида парень в странной черной форме, смутно напominвшей что-то враждебное. – Марш в метро!

- Эти уроды его закрыли! – отозвался другой. – Чтоб подкрепление не подходило. А сами уже женщин дубинами своими бьют! Ей надо прорываться по Конюшковской к реке, а там пёхом до Калининского моста!

- Руку дай, дура! – грубо схватил ее за запястье первый парень. – И не дергайся, а то в лоб получишь!

Люба и не думала дергаться, она была счастлива тем, что даже в такой невыносимой неразберихе и давке кто-то вдруг решил заняться ее судьбой, и послушно засемила рядом с больно проди-

«Критическая масса» и другие повести...

равшим ее сквозь толпу молодым мужчиной. Омоновца, вдруг растерянно выросшего прямо перед ними, он уложил на землю одним быстрым и незаметным движением – и развернул Любу спиной к себе:

- Вот по этой улице вниз бегом – марш! Увидишь реку – поверни налево по набережной, там будет мост. Через него – и чтоб духу твоего здесь...

По улице уже давно дружно бежали целеустремленные люди, прорывавшиеся там и здесь через оцепление, и Люба, себя не помня, до потери дыхания бежала среди них под холодным светло-серым небом. Некому было задать ей тогда вполне разумный вопрос – почему она не поступает, как сказал ей тот надежный парень у метро, не бежит до набережной, а вдруг сворачивает вместе со всеми направо, к громадному белому дворцу Верховного Совета, который уже раз стоял в центре бурлящей толпы два года назад, как невозмутимый океанский лайнер среди бури. На подходах к Дому правительства тоже стояло военное и милицейское оцепление, и здесь уже все выглядело гораздо серьезней: за пешими цепями, окружавшими здание, виднелась сплошная линия страшных на белом фоне баррикад... Бойцы оцепления, стоявшие с продуманно непроницаемыми лицами спиной к баррикадам, имели совсем другой вид – отрешенный вид людей, на что-то решившихся. Толпа плескалась о них, как в Питере вода о стену Петропавловки во время привычного осеннего наводнения. Здесь раздавались все те же гневные слова – только больше слышалось женских голосов: «В матерей своих стрелять будете?! В сестер?! В невест?! Кто вы после этого – солдаты?! Защитники?!». Как под гипнозом, Люба шла вдоль оцепления в сторону, прямо противоположную той, что указал ее спаситель от «Баррикадной» – и делая каждый шаг, удивлялась, что ей выпало видеть *такое* своими глазами наяву, не в черно-белом фильме про Октябрьскую революцию. Это в конце двадцатого века, в центре спокойного культурного города громоздятся неприступные кучи тяжелого хлама, за которыми виднеются строгие лица, ходят покрытые платками женщины в длинных юбках, с алюминиевыми кастрюлями в руках, и кричат, кричат и проклинаят... Точно перед такой, наверное, баррикадой душещипательно погиб мальчик Гаврош из романа Гюго – но, Боже мой, та Парижская коммуна была в тридцатых годах прошлого века! Ее проходили по истории в – восьмом? – классе, те давние события казались покрытыми седым мхом вечности и не могли, никак не могли повторяться на ее молодых глазах! Люба не заметила, как оказалась у противоположной стены Белого дома, со стороны Рочдельской улицы, среди особенно толпившихся и кричавших людей, стремившихся во что бы то ни стало попасть туда, за оцепление и

Наталья ВЕСЕЛОВА

баррикады, где расположился уже целый палаточный город, кишачий людьми. Она приблизилась, вполне к тому времени освоившись в толпе и научившись без стеснения работать локтями, как раз в тот момент, когда рослая женщина со скуластым сибирским лицом, рыжеватыми волосами и крупными белыми руками, обнимавшими укутанный тканью и обвязанный бечевкой бак для белья, одним несильным толчком бедра отодвинула с пути преградившего ей дорогу военному:

- Дети у меня там, понял? Пожрать им несучу. Ну, давай, останови меня.

Мрачный парень рисковать не стал и молча посторонился, а Люба, держась за женщину как пришитая и сгорая от напряженного любопытства, беспрепятственно прошла вместе с ней внутрь железного кольца...

Любопытство! Это замечательное детское чувство, погубившее не одну жизнь в самом начале, не раз толкнувшее всего на полшага дальше, чем следовало, чтобы не получить пулю, наклонявшее лишь на сантиметр ниже, чем надо было, чтобы сохранить равновесие, задерживавшее во времени всего на секунду дольше точки невозврата... «Тебя ведь это никак не касается, – страстно шептало оно девушке, случайно забредшей за линию окруженных войсками баррикад. – Зато смотри, как кругом интересно! Все эти люди, может быть, уже завтра умрут за какую-то странную, лишь им понятную идею – а ты их всех увидишь и запомнишь... Сейчас, здесь, рождается История – и ты в самом центре родильного зала... Спустя полвека ты расскажешь внукам, о том, что видела – и так сама станешь частью этой Истории... Походи, посмотри, не торопись... У тебя впереди бездна времени, сейчас только три часа... Тебе ничто грозит, потому что это еще *не твоя* война...».

Но люди, обосновавшиеся целыми семьями под стенами осажденного Белого Дома, смертниками вовсе не выглядели. Люба оказалась в грязноватом палаточном лагере, где на траве, как ни в чем не бывало, возились с игрушками тепло одетые дети, а женщины мирно стирали в тазиках совсем не воинственное разноцветное тряпье, то и дело сжимая оледеневшие руки... В одном месте молодые ребята в стройотрядовских куртках поверх толстых свитеров жгли небольшой костер, переворачивая палками черные горячие картофелины в золе, а в котелке варилось совсем мирное, вкусно пахнувшее варево. И Любе стало все уверенней казаться, что ничего страшного кругом не происходит – это что-то вроде невинного лагеря переживающих стихию людей или даже просто большой суетливый кемпинг... Завтра, когда закончится будоражающая нервы безопасная «Зарница», все эти благодушные отцы семейств и матери с чудными резвыми дет-

«Критическая масса» и другие повести...

ками спокойно разойдутся по своим теплым домам и всей семьей сядут перед телевизором.

Вдруг она остановилась в некотором удивлении. Впереди на складном стуле меж двух палаток сидел перед раскрытым этюдником худенький мальчик. Он поднял голову, и стало ясно, что это все-таки юноша – с умным и цепким взглядом серых внимательных глаз. Молодой человек спокойно рисовал что-то на белой бумаге цветными карандашами – и заинтересованная Люба стеснительно подошла поближе. Он рисовал людей – такими, как они были. Женщину, с отсутствующим взглядом поправляющую платок, семилетнего мальчишку, играющего с веселым сиамским котенком, усталого рабочего, дующего на круто посоленную половинку раскаленной картофелины...

- Похоже... – изумленно прошептала Люба. – Надо же, как похоже!

Юноша поднял на нее спокойно оценивающий взгляд.

- Не отходите далеко. Сейчас закончу и вас тоже нарисую, – сказал он.

По мнению Любы, он должен был спросить на это разрешения – во всяком случае, так делали художники в книгах и фильмах; можно бы ехидно бросить ему: «А мое согласие вам не требуется?». И сразу же она поняла, что паренек просто пожал бы плечами в ответ, отвернулся и позабыл ее навсегда. А может, он потом когда-нибудь станет известным дорогим художником, и эти небрежные рисунки, запечатлевшие отважных героев накануне исторической битвы, будут оспаривать между собой самые престижные музеи мира. Все станут гадать – кто эта хрупкая девушка с длинными волосами и тонким породистым лицом, как она попала на баррикады, что стало с ней после? Ее разыщут искусствоведы, и она даст пространное интервью, которое навечно впадет ее имя в Историю... – а что? Мало ли женщин попало в нее именно так, не приложив ни грана труда, подвига или таланта, а просто приглянувшись либо художнику, либо поэту? Что из себя представляли, например, Анна Керн или та же Галá? Да ноль без палочки, прости, Господи... А вот защищают же люди диссертации на их именах!

- Вы – художник? – с трепетом спросила Люба.

- Не знаю, – без улыбки ответил он. – Во всяком случае, в Академию Художеств только что второй раз благополучно провалил – у нас в Питере.

- В Питере? – бурно обрадовалась она. – Так ведь мы земляки с вами! Я тоже оттуда! – можно было гордо добавить: «Учусь в Корабелке», сразу установив дистанцию превосходства, но отчего-то захотелось обозначить свою причастность к вечному племени «воль-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ных стрелков». – Я... артистка... В смысле – танцую... Сюда приехала выступать, и вот... понимаете...

Она вдруг мучительно покраснела, потому что и сама не знала, что – вот. Как она попала сюда, на баррикады? Что она вообще тут делает?

Парень серьезно кивнул:

- Не смогли остаться в стороне. Не волнуйтесь, что ж тут непонятного? Здесь все именно из-за этого и находятся... – и вдруг его лицо просияло короткой и яркой, как вспышка молнии, улыбкой: – А вы что, так и собираетесь воевать с распущенными волосами?

Люба опять невероятно смутилась. Пропустив мимо ушей распущенные волосы (ну да, в давке у «Баррикадной» действительно соскочила и потерялась заколка, отчего ее гладкие русые волосы рассыпались поверх куртки, покрыв спину до лопаток), она поняла, что абсолютно невозможно взять и признаться серьезному юноше в том, что воевать вовсе не собирается, хотя бы потому, что очень смутно представляет себе, что именно хотят отстоять здесь все эти благородные люди. Что она просто зашла посмотреть на редкое и пока внешне безопасное зрелище, а через несколько часов, как ни в чем не бывало, будет высоко подкидывать на сцене свои красивые обнаженные ноги... Как раз когда они тут, может быть, будут умирать.

- Нет-нет, я заплету... – в совершенном смятении пробормотала девочка. – Просто мне надо найти, чем завязывать...

- Возьмите, – он резким движением вырвал тесемку из своего откинутого капюшона, протянул ей и жестко велел: – Заплетите прямо сейчас. Неизвестно, когда они попрут. И тогда любая мелочь может пасти – или погубить – вашу жизнь.

- Думаете, попрут? – шепотом спросила она. – И что... что тогда...

- Попрут обязательно. И не пощадят никого. Поэтому, если боитесь – уходите сейчас, – строго ответил молодой художник.

Вконец оробевшая Люба только теперь заметила, что этот полумальчик говорит с ней сильным и глубоким баритоном взрослого крепкого мужчины – голосом, который создан, чтобы приказывать. Она бросилась неловко плести свои нечесанные волосы, наощупь разделив их сзади на три пряди. Такой и запечатлелась на его быстром рисунке – растерянной маленькой глупышкой, запутавшейся пальцами в недоплетенной косе, выгаращившей детские испуганные глазенки... Стань он великим художником – кто бы захотел брать интервью у такой модели!

Как у людей *начинается*? Откуда они знают, что среди сотен и тысяч случайных встреч и бесед именно эта – *настоящая*? Что именно вот этот человек, а не любой другой скоро станет средото-

«Критическая масса» и другие повести...

чием всех твоих устремлений и помыслов? Какое сокровенное слово или жест может в один миг перенастроить душу на музыкальную волну другой – настолько, что даже в бесконечной разлуке всегда безошибочно ее поймаешь? Неужели все это было предусмотрено Всевышним в конечном счете просто ради продолжения человеческого рода? Зачем, для кого предусмотрел Он такую расточительность? Или это просто жалкие отголоски памяти об утерянном Рае? Если так – то *что* же мы потеряли?!

Павел больше не рисовал в тот день – и рисовать ему не пришлось еще достаточно долго. Люба не подбрасывала ноги в лихом канкане тем вечером – и не делала этого больше в своей жизни никогда. В одно пропущенное ею мгновение пришла и осталась естественная, как дыхание, мысль, что в той же Истории ее танец может остаться пляской на крови...И еще – просто нельзя было взять уйти от этого незащищенного, мужественного мальчика-мужчины, тоже пришедшего *не воевать*, но – оставшегося...

Павла мама вырастила в одиночку: муж бросил ее вскоре после того, как их годовалый сынок Паша с улыбкой сделал первые шаги, любовно подталкиваемый мамой в распахнутые папины объятия. Бывшая жена отказалась получать даже алименты, переменила фамилию ребенка на свою девичью и подняла его сама, никогда не порываясь замуж и, как искренне считал ее сын, не имея даже коротких утешительных романов. А когда мальчик закончил школу, ей однажды поставили самый короткий и самый страшный диагноз. Этот рак оперировать в России не брались: гений от хирургии профессор Углов состарился, а другие не решались. Согласилась немецкая клиника – и деньги волшебным образом быстро нашлись: их показательно давала немецкая Баптистская Церковь. Требовалось лишь немного – перейти из Православия в Баптизм. Кого бы это остановило? Очень немногих – но Пашина мама, лишь недавно, в окодиспансере, со страху крестившаяся, неожиданно оказалась среди них. Сын не умолял мать – знал, что это бесполезно... Была еще одна туманная возможность спасения: ее бывший муж, а его отец, на свободе подпрыгнувший до депутата Верховного Совета России и заседавший теперь именно там, в осажденном белом здании. Павел решил смирить свою наследственную гордость и, если надо, кинуться отцу в ноги: сумма, потребная на лечение, была теперь сущей мелочью для него, а мама смогла бы прожить еще лет десять и дожждаться, быть может, внуков... Павел приехал в Москву, не полностью осознавая, что Белый Дом блокирован, и отец его находится в добровольном плену. Он остался под стенами Дома без всякой поддержки извне, зарабатывая себе на пропитание тем, что рисовал баррикадников с натуры и дарил им их карандашные портреты. За это его там и тут

кормили той простенькой снедью (чаще всего картошкой с огурцами), что родственники приносили защитникам Парламента из дома, и пускали ночевать в палатки – случались, правда, на его пути и чудные щедрые женщины с тазами мясных пирожков для всех, и тогда в душе поднимался восторг. Он уже не знал – удастся ли ему встретиться отца и переговорить с ним, зато хорошо понял другую истину: ему придется остаться здесь до конца. Может быть, до собственного. Потому что уйти теперь отсюда как ни в чем не бывало и невозможно поехать по Кольцевой в сторону Ленинградского вокзала, отложив исполнение задуманного до конца очередной русской политической свары, было для него так же невозможно, как и виться сегодня в Саломеином танце девушке Любе, Богом данной невесте его...

Когда пришла тьма, они бродили, держась за руки, от костра к костру и рассказывали друг другу о своей жизни. Хотя что им было рассказывать? Оба только что вышли из вполне приемлемого детства, у обоих, правда, прошедшего без отцов, – только Любин торжественно присутствовал за стеклом секретера на их с матерью черно-белой свадебной фотографии, а Пашин был вычеркнут, вытравлен со всех скрижалей – и даже лицо его сын впервые увидел с телевизионного экрана. Оба с юности поддались неодолимым страстям: он – рисовальной, она – танцевальной, оба мыкались по дворцам пионеров и студиям, обучаясь этим сомнительным ремеслам. И оба еще не узнали даже поцелуя... У какого-то костра их накормили густым горячим супом, острый вкус которого врезался в память обоим надолго; на одной из баррикад разрешили спеть со всеми хором «Тонкую рябину»; у огромной брезентовой палатки, оказавшейся походной часовней, рассказали, что там сегодня днем обвенчались жених и невеста из Союза Офицеров – и показали другую палатку, маленькую оранжевую, установленную в стороне от всех, где новобрачные проводили сейчас свою первую (и последнюю, как выяснилось чуть позже) брачную ночь...

- Идем спать, – сказал Павел около четырех часов утра. – Неизвестно, что будет завтра.

Они бесшумно прокрались в семейную восьмиместную палатку, гостеприимную для Павла две последние ночи, и тихонько легли, не снимая теплых курток и, укрывшись пропахшим костром рваным ватным одеялом, на толстый надувной матрас, подаренный Павлу еще раньше кем-то из сострадательных баррикадниц, годившихся ему в матери. Дрожа от холода, эти полуподростки обнялись, как брат с сестрой и, понемногу пригревшись, задремали в полной темноте, в которой ярко горели у них в головах лишь красные цифры электронных часов.

Дальнего грома первых выстрелов они не услышали, прова-

«Критическая масса» и другие повести...

лившись в крепкий счастливый сон, и проснулись только от визгливого женского вопля, прозвучавшего прямо в палатке:

- Танки!!!

Все ошеломленно подскочили в темноте – и близящиеся выстрелы стали отчетливо слышны. Любе врезались в память три горящие цифры 6-52 на так и не зазвеневшем будильнике, а потом она вслед за Павлом выпрыгнула из палатки на серо-стальной свет. Прямо на их баррикаду с другой стороны быстро и неотвратно, как в кошмаре, надвигались три огромные ревушие тени.

- БТРы... – послышался сбоку чей-то сиплый от ужаса, утративший пол голос.

...В полдень на скользком от крови полу подвала в двадцатом подъезде кто-то, кому она несколько раз в день попадется на глаза, восхитится Любиной небывалой храбростью и самообладанием, проявленным с самого начала и парадоксально не иссякшим до самого поражения. Она устало поведет плечом и откинёт с лица липкие грязные волосы. Никакого героизма за собой она не знала – с первой минуты, когда со стороны Рочдельской улицы на них выскочили из полумрака три беспрерывно стреляющих БТРа. Как только Люба увидела их, с ней приключилось что-то странное: ее словно отрезало от внешнего мира, где совершалось нечто настолько невероятное, что оно не могло уложиться в ее сознании, не разорвав его на клочки. Люди, немедленно бросившиеся врассыпную, потому что все их традиционное баррикадное вооружение состояло из бесполезных обрезков труб и стальных прутьев от ковровых дорожек, виделись ей не более чем фантомами, а происходящее вокруг, казалось, никоим образом не может никому навредить, потому что происходит в некой совершенно иной реальности. Люба своими глазами видела, как высокий парень и девушка с растрепанными волосами, вместе выскочившие из крошечной оранжевой палатки, без звука упали, сложившись ровно пополам, будто перерубленные невидимым тесаком, но это огорчило ее не больше, чем сцена на белом экране, наблюдаемая из темного зала; присутствовала полная убежденность, что они чуть-чуть полежат, и с улыбкой вскочат, отряхивая одежду, когда властный голос крикнет: «Снято!». И такой голос действительно донесся: «Всех на поражение! Живыми никого не брать! Всех уничтожить!». Легкие танки остановились, прекратив стрельбу, и неожиданно с брони посыпались вовсе не военные. Атлетического вида парни, все как один в кожаных куртках и темно-серых брюках, со знанием дела рассредоточивались по окрестностям, на ходу снимая с предохранителей длинные тяжелые ружья. Обезумевших Любу и Пашу, несшихся плечом к плечу, накрыл огромными руками, как крыльями, необъятный мужик в тельняшке под расстегнутой

Наталья ВЕСЕЛОВА

курткой – накрыл и толкнул вниз, на землю, заслоняя собой.

- Головы не поднимать! – рычал он, придавливая их своей доброй потной тушей. – Сейчас мочилово начнется... Видели их ружья? Так они помповые! Разнесут всех к е... матери!

- Кто это вообще? – сдавленно шепнул, выворачивая голову, Павел.

- «Бейтар»... Эти ни перед чем не остановятся... Они...

Договорить он не успел – частые выстрелы застучали со всех сторон, и метавшиеся вокруг люди стали падать один за другим.

- Туда, к подъезду, за пандус! – скомандовал моряк, указав направление головой. – Бегом, пригнувшись... Может, попадут, может нет. Но если здесь останемся – точно пристрелят, как собак. Ждем затишья – и, как только скажу...

«Ну, конечно же, не попадут! Как они могут попасть, если они где-то там, в военном фильме, а я просто подошла слишком близко к экрану...».

- Вперед, – тихо скомандовал дядька, и в ту же секунду Павел вскочил, поднимая Любу за собой.

Сзади слышалась короткая очередь – но левее, кто-то закричал, а они втроем всё бежали и бежали по-обезьяньи, почти на четвереньках, пока не оказались за высоким пандусом восьмого подъезда. Здесь уже собралось много ополумевшего народу, и прятаться было фактически негде.

- Пока из пулемета садят – еще ничего, а как жажнут снарядом – всех тут размечут, н-на... – нервно заметил кто-то.

- Решились все-таки... Надо же – русские русских! – истерично шептала молодая большеглазая женщина; впрочем, может, глаза у нее просто расширились от страха.

- Где ты видела там русских?! Дура! – злобно гаркнул на нее моряк, но сразу осекся, махнув рукой. – Уходить отсюда надо, здесь всех как кур перебьют.

Паша и Люба все не могли расцепиться, судорожно держась друг за друга, как за последний оплот.

- Он прав, Любушка, – вдруг вполне вменяемо произнес Павел. – Смотри, там, вроде, потише, давай пробираться вдоль стены.

Она послушно дала ему руку, внутренне давно и безоговорочно признав его негласное лидерство, которым он и не думал бравировать. Как всякий сильный не на словах, а по сути мужчина, Павел ощущал, как данность, свое право принимать решения и отвечать за них, не задаваясь даже странным вопросом – а откуда у него это право, и есть ли оно вообще. Взявшись за руки, ребята пригнулись и помчались вдоль стены. Они бежали одни на ярко-белом фоне, но до них никому не было дела: танки в упор расстреливали баррика-

«Критическая масса» и другие повести...

ды. У бесстрашных защитников демократии было в то утро много первостатейных дел: например, совершенно необходимо было подавить такой важный очаг сопротивления, как походная часовня, где молодой священник прямо под огнем начал взволнованный молебен, вопреки всему не просительный – благодарственный. Им действительно было за что благодарить Бога в те минуты – ему и нескольким женщинам, прямо, как свечи, стоявшим перед иконами. Часовню снесло одним прицельным залпом из БМП, но и этого штурмующим показалось мало: поверженную палатку, из-под которой не доносилось уже ни звука, для гарантии проутюжили гусеницами – чтоб уж точно никто оттуда не восстал...

Между тем ребятам удалось без ущерба под шальными пулями обогнуть здание – и как раз для того, чтобы попасть под уже прицельный огонь. Они оказались у настезь распахнутого подъезда, куда как раз волоком затаскивали босого человека с лицом цвета свернувшегося молока. Голова его запрокинулась и моталась, естественно выкатившиеся глаза смотрели снизу вверх жалобно и жутко... Двое тащивших его мужчин, один из которых, как на миг показалось Любе, был с ног до головы облит бордовой краской, глянули на парочку, как из-под земли выросшую перед ними, со смутным удивлением. Один бросил на ходу:

- От Горбатого моста досюда все ранеными усыпано. Руцкой разреши затаскивать их в подъезды... Помогайте, не стойте...

Люба подняла голову: на расстоянии около ста метров несколько легких танков – она уже усвоила, что это более маневренные и опасные БТРы – методично стреляли из пулеметов по людям, не оказывавшим ровню никакого сопротивления, а, наоборот, устремившимся перебежками к пока еще открытому подъезду. Без движения лежало, на первый взгляд, человек пятьдесят. Перед самым входом Люба отрешенно отметила кровавую сумятицу – уже непонятно было, кто кого втаскивал, кто был ранен, кто помогал, кто просто, потеряв голову, стремился прорваться внутрь по спинам лежащих – и всех косили ни на секунду не прекращавшиеся очереди.

- Все равно надо попасть туда!! – прокричал Павел сквозь грохот боя. – Иначе и минуты не проживем!!

Люба кивнула, судорожно облизнувшись; в принципе, ей было все равно – она не собиралась просыпаться так рано. Но проснуться пришлось. Проснуться на самом пороге открытой двери, когда втолкнувший ее в темный подъезд Павел вдруг поскользнулся со странным всхлипом и, словно пытаясь удержать равновесие, пробежал, согнувшись, несколько шагов. Они упали рядом – и молодой человек все еще крепко обнимал девушку поперек спины. Двери сзади захлопнулись, и настал полумрак, потому что никакого электричества,

оказывается, и в помине не было. Люба приподнялась на локтях и огляделась: освещаемые только недружелюбным дневным светом, в коридоре вповалку валялись люди. Все залитые кровью, кто больше, кто меньше, некоторые задыхались, стиснув зубы и зажмурив глаза, иные, как заведенные, издавали страшные ритмичные крики. Другие растерянно ползали среди них на карачках, иногда нависая над стонущими и пытаясь перевязывать их подручными материалами – попросту говоря, грязными тряпками. «Такого не может быть, – твердо решила для себя Люба. – Откуда я здесь? Как все могло произойти так быстро?». Ей опять показалось, что эта чересчур натуралистичная массовка вот сейчас по команде поднимется, забалагурит, доставая сигареты, посыплются грубоватые анекдоты, разряжающие обстановку, и все станет просто и спокойно...

- Паша, – позвала она, толкая его. – Что нам дальше делать?

- Люба, только не паникуй, – тихо отозвался он. – Я ранен. И, кажется, сильно.

Может, если бы он не предупредил, что ожидает ее паники, Люба и смогла бы удержать себя в руках. Но он, сам того не желая, подал ей сигнал сорваться и закричать:

- Нет! Не смей! Только не это! – ее заколотило в приступе слепого ужаса; еще немного – и она, пожалуй, ударила бы Павла за то, что он так подло подвел ее – взял и вышел из строя именно тогда, когда она так нуждалась в поддержке сильного!

- Не ори. Лучше попробуй остановить кровотечение, а то я скоро потеряю сознание, – тускло приказал Павел; он явно сэкономил силы, чтобы они не уходили с неудержимо текущей кровью.

- К-куда... куда тебя? – крупно трясущимися руками Люба пыталась стянуть с него, так и оставшегося лежать на животе, набрякшую кровью куртку.

- В спину... Не в позвоночник, не бойся... Заткни чем-нибудь... Просто заткни покрепче, потом разберемся, – шептал он, из последних сил сдерживая малодушный стон.

Небольшая, похожая на раздавленную черешню рана оказалась чуть выше поясницы, слева. «Там ведь где-то почки», – смятенно подумала Люба, уже сдиравшая с шеи крепдешиновую мамину косынку. Сложив во много раз, она прижала ее к ране, и тут же ее озарило: она начала судорожно стаскивать с себя джинсы. Только сняв колготки и туго примотав ими к ране скомканный платок, Люба вновь надела и штаны, и кроссовки с носками – а до того ползала по склизкому полу вокруг Павла в одних трусиках, с голыми ногами – и никому не было дела до того, насколько они красивы...

В тот день еще много чего пришлось пережить: когда обстрел подъезда усилился, все, кто мог двигаться, долго перетаскивали не-

«Критическая масса» и другие повести...

подвижных раненых в подвал, пригибаясь под подоконниками простреливаемых снайперами окон, и сваливали там умирающих как попало. Кому-то хватило сил потом еще оказывать им новую помощь, с риском для жизни, как в Брестской крепости, пробираться куда-то за недоступной драгоценной водой – но полностью обессиленная и деморализованная Люба, отупев от усилий и слез, не зная, чего еще ждать, лежала на бетонном полу рядом с безмолвным, иногда слабо пожимавшим ей руку Павлом, и тихо всхлипывала ему в плечо.

Около полудня штурмующие ворвались в подвал – и она инстинктивно закрыла своего поверженного мужчину телом, ожидая очереди напряженной спиной – но женский голос выкрикнул: «Не стреляйте! Здесь все безоружные!» – и выстрелы прекратились. Все смешалось. Мысленно оглядываясь назад, Люба видела, будто сквозь полиэтиленовую пленку, что в кое-как освещенном подвале их уложили рядами, лицом в скользкий холодный пол, и стали хамски обыскивать, от души пиная замешкавшихся под ребра; у лежавшей по соседству женщины нашли в кармане шоколадку – и здоровый детина в бронежилете с рёготом пожрал ее, а потом длинно сплюнул сладкой коричневой слюной в ее, Любину сторону, и плевок упал прямо у нее перед глазами – но поворачивать голову не разрешалось, поэтому она только зажмурилась, сдерживая горячие слезы унижения... И все-таки она ни на секунду не сомневалась в одном: это все равно почетней, чем если бы она вчера... на сцене... Люба знала, что Павел также распластан на полу рядом, но не слышала его дыхания и все время боялась, что он уже умер... Руки всем велели сложить на затылке, шевелиться и разговаривать запрещалось; она слышала, как какой-то обыскиваемый мужчина твердо потребовал вернуть ему водительские права – в ответ раздался дружный хохот, мерзкая брань и сочный удар, а потом кто-то из победителей, похабно растягивая слова, объяснил: «Они тебе больше не понадобятся, по-онял, козли-ина?!». Только через час разрешили опереться на локти и закурить, а когда кто-то спросил, долго ли их так продержат, ему небрежно ответили: «Пока не поступит приказ пустить вас в расход»... В глубине помещения завывли женщины, послышался густой мужской мат – а Люба не легла на локти и не закурила, она подползла поближе к Павлу и обхватила его. Теперь ей стало слышно, что юноша пока дышит, и снова припав к его неподвижному плечу, даже в такие минуты парадоксально надежному, впервые за этот нездешний день Люба вспомнила о своей маме – и негромко зарыдала... Ведь мама уже знает, что дочь пропала в революционной Москве, не явилась на выступление, не вернулась домой... И где-то в Петербурге плачет, по крайней мере, еще одна мать – это мама Павла... Люба тихонько скулила, обливаясь слезами, боясь привлечь к себе внимание и полу-

Наталья ВЕСЕЛОВА

чить зубодробительный удар ботинком в лицо, как только что получила черноволосая девушка слева, принявшаяся было причитать...

Было около пяти часов по полудни, когда двери их подъезда номер двадцать внезапно открылись. Громовой голос грянул с потолка: «Для безоружных мирных граждан открыт коридор «Альфа». Выходить по два человека, раненых выносить к санитарным машинам. Кто не несет раненых, руки держать на затылке». Павел давно потерял сознание, лежал с заострившимся, словно золой присыпанным лицом, но возможная близость медицины придавала Любе сил и надежды. Невольно виделось, как, позвонив маме домой – сказать что жива, она останется здесь, в Москве, и сутками не отойдет от его постели, будет выхаживать нежней родной сестры, засыпая только на четверть часа, на коленях, прислонившись к его подушке – и вот, он когда-нибудь откроет глаза... Неожиданно крошечного, как котенок, Павла на руках у рослого мужчины и ее, панически ухватившуюся тому же мужчине за полу, вытолкнули прямо в ревущую толпу: «Коммуняки! – ревели вокруг. – Б...и красножопые!» – Люба едва осознавала, что это относится и к ней тоже. Вдруг прямо перед ними оказалась машина скорой помощи, Люба побежала вперед, чтобы запрыгнуть внутрь и принять любимого с мощных рук мужчины, но фельдшер устало глянул на нее и негромко твякнул: «Брысь». Она увидела, что и на каталке, и на кушетке уже лежат две сплошь покрытые кровью голые женщины, как две огромные разделанные туши, а для Павла есть место только на полу – его почти грубо втащили в машину и стали закрывать дверцы... И только тут в ней прорезалось до того словно дремавшее сознание:

- Куда вы его повезете? – дико крикнула она. – Куда, ради Бога, скажите!!!

- Уйди, девочка, не до тебя... – буркнула ей молодая бледнокудрая медичка, споро разрезая на Павле заскорузлый от крови свитер.

Тогда, себя не помня, Люба ухватила за его тощие ноги в огромных серых кроссовках и стала трясти их, зовя его по имени.

- Убери малолетку – поехали! – раздался женский голос – и ее сразу сильно толкнули в грудь.

Девочка чудом не упала, успев ухватиться за болтающуюся дверцу и, пока ту не вырвали из рук, обливаясь слезами, все кричала и кричала внутрь уже медленно поехавшей машины:

- Паша, как твоя фамилия??!! Как твоя фамилия, Паша??!!

Глава 4 На краю света

Конечно, он помнил. Такое и захочешь – не забудешь. Гнал только воспоминания прочь – что ж тут удивительного... Места здесь дикие, конечно, но чтоб такое... И, главное, сколько непонятностей осталось... А милиция... Что милиция, тогда девяностые были... А если рассказывать, то даже не знаешь с чего и начать... Может, как увидел ту девчущку заплаканную у сарая, где Пашка трудился? Да нет, все раньше началось, месяца за три. Пришло ему тогда – помнится, стоял уже апрель, во всю дул теплый шелонник¹ с материка – письмо от однокашника по семинарии. Тот как-то (рука, наверное, дружеская вела – не без этого) ухитрился в Петербургскую епархию перевестись, окормлял там малый приходец. Так вот, умерла у него новоначальная прихожанка. Новоначальная-то новоначальная, а исповеднического венца сподобилась: баптисты ей деньги давали на лечение какого-то мудреного рака, взамен прося в их веру перейти, ну, а она отказалась. В Церкви без году неделя – а вот пожалуйста: прямо по-евангельски – взялась за плуг и не стала оглядываться назад. И умерла, конечно, – в мучениях. Остался у нее сынок-юноша. Рисовать горазд, хотя в тамошнюю Академию Художеств два раза провалил – ну, да это не показатель. Непростой парнишка: Белый Дом, вроде, защищал, даже ранили его там, почку прострелили и что-то еще важное. Полгода по питерским больницам – мать, сама еле живая, его, полумертвого, домой как-то доставила. В Москве только пулю вынули, перевязали – и до свидания. Тамошние доктора-сволочи получили приказ тех, кто *по ту сторону* был, особо не лечить – мол, *недобитые*. А как он на поправку пошел – так и мать его умерла: видать, только тем последнее время держалась, что сына выхаживала. Отца, конечно, не было, давно уж их бросил. Парень места не находил себе – в храм, правда, стал захаживать, стоял там в уголочке чуть краше покойника. Вот и пришла однокашнику идея: пусть сюда, к нему, отцу Олегу, на короткое северное лето съездит. Не бесполезный человек, так или иначе пригодится, может, нарисует что. Обьесть уж точно не обьест: клюет, как птичка Божья. А то, еще дело – у отца Олега три поповны на выданье, не за рыбаков же на тонях² их выдавать. Словом, пусть возьмет мальчишку под крыло

¹ Шелонник - теплый ветер с материка (диал.)

² На тонях (тони) - специально приспособленные ловушки для ловли семги, во время прилива заходящей на мелководье; определенное количество ловушек обслуживается двумя рыбаками, в летний период живущими в домике у обрыва моря (диал.)

месяца на три-четыре, чтоб оклемался, в себя пришел, посмотрел на новый край, ремесло какое-нибудь освоил – не всё сидеть скрюченным над мольбертом...

Не возражал отец Олег: дом тут священников добротный, пятистенок на подклетьях, поместить есть куда, да и работы край не початый: церковь в Койдино поставили на деньги жертвователя, что был родом отсюда, поехал, как водится, хорошей жизни искать – и нашел, вот что удивительно! А еще удивительней, что про малую родину не забыл и решил храм ей построить, потому что ближайший – семь километров пешим дралом по тундре – не набегаешься. И построил – на месте того, что большевички в свое время с землей сравнивали. Даже старообрядцам в соседнем селе – и тем больше повезло: их-то церковь просто под магазин пустили... Поставить-то поставили с Божьей помощью – так ведь где церковь там и заботы: вот прислали его с семьей окормлять здешних суровых обитателей и просвещать, по мере возможности, ненцев-язычников. Жить-то надо, зарплаты ведь не положено! Ну, понятно, огород разбили, скотинку какую-никакую завели. Попадья – сугубо городская женщина – давай с тремя дочками убиваться. Да еще и воду таскай, дрова пили-коли бесконечно, потому что полярная зима кажется, что всегда, а лето... Что там Пушкин писал про Псковщину: карикатура южных зим? Да там же курорт, хоть не топи вовсе! Сюда бы Александр Сергеевич приехал – вот бы вдохновился... А отец Олег, понятное дело, что зима, что лето – на санях или пёхом по тундре, как заведенный: там треба, здесь треба – изголодались люди по ненаказуемой молитве... Даже ненца одного с женой крестить сподобился – вот какие дела, прямо по Лескову...

Паренек – Пашей звали, Павлом, имя красивое, да ко многому обязывает – как сошел с трапа «Аннушки» у них на аэроплощадке – так отец Олег головой покачал: вот это помощника Бог послал – да ему ж постельный режим, кажется, нужен! Идет себе мальчишечка с рюкзаком за плечами, волосья, как у духовного, в хвостик сзади схвачены... Идет – а самого под тяжестью рюкзака из стороны в сторону качает. Дула бы морянка¹, не шелонник теплый – так, глядишь, и унесло бы. А тут не унесло: этюдник на плече не дал. Здоровый такой этюдник, парнишку так вправо и заносило... Но ничего, правильный оказался: подошел чин-чином, руки лодочкой сложил... Благословил его отец Олег, пригляделся повнимательней: лицо хорошее, глаза ясные такие, светло-серые – и грусть на дне таким темным пятнышком. Ну конечно: мать похоронил, один во всем свете остался, да и вообще – *то* видел. Вот этими самыми яс-

¹ *Морянка* – холодный ветер с моря (диал.)

«Критическая масса» и другие повести...

ными глазками...

Выделил ему отец Олег в своем большом пятистенке небольшую, но светлую и теплую комнату. И полочка книг там была – от прежнего хозяина, мирского, не духовного, осталась. Романы там, альбомы всякие – девчонкам своим не давал: еще наберутся чего. А этому уже ничего не сделается, хуже не будет: питерский. И вот что случилось неделю примерно спустя. Приходит к нему в комнату вечером Паша (а они уж привязались к нему, как к сыну, попадья уж, чай, за будущего зятя держала, хотя с поповнами он вежливо-то вежливо, а чтоб ухаживанья какие – того ни-ни) и говорит, застенчиво так: вот, посмотрите, мол, отец Олег, там альбомчик у вас лежит художественный – так в нем целый раздел с иконами, я и дерзнул: деревяшку загрузил, да и скопировал одну – Богородицу Казанскую. Ну, вроде как, не совсем точно скопировал, а как чувствовал... Отец Олег зыркнул на него поначалу строго – как это, мол, икону – да без благословения! – а глянул на фанерку, что Паша ему протянул – да и на лавку осел, медленно. Сам-то он про иконопись знал только то, что в семинарии проходили, но не на иконописном же учился! Несколько раз сглотнул судорожно, глаза с иконы на Павла переводя – и обратно. Погрешности там были, конечно, какие-то, если б профессионал глянул – так, поди, и раскритиковал бы, да не в том же дело! Живая была икона, вот что! Дышала прямо, в душу глядела. А у любой иконы известно, какое назначение: окном быть – в горний мир. Таким, чтоб через него туда хоть одним глазком глянуть можно было... Так вот, с колотящимся сердцем понял отец Олег: тут не глянуть – тут *войти* ничего не стоило. Сам себя окоротил, помнится: э-э батёк, в прелесть не впади на ровном месте! Заволновался, велел Павлу альбом тут же принести – и уже вдвоем смотрели чуть не до заутрени: решали, что еще копировать, какого размера доски заказывать – вдохновились оба настолько, что, как мальчишки, спорили, без учета всякой там субординации. «Ведь он же самородок! – как птенец в ладонях, билась в сердце отца Олега ясная догадка. – Надо же, кого Господь послал! А я-то, дурак, для баб своих помощника по хозяйству у Него выпрашивал!».

В мае расчистили Павлу небольшой сарай под мастерскую – а он и рад стараться, почти что поселился там: верно, душа изболевшаяся высоким искусством вылечиться хотела. Случалось, и обед ему туда носили – впрок, слава Богу, шло: к лету уж на тони рыбаки приехали, семгу, случалось, и по пятнадцать кило им к столу приносили. Рыбе – что? Какое ей дело, что перестройка началась, и рыбсовхоз дотла разорила – она как валила валом при коммуняках – так и сейчас на куйпоге¹ взрослые семги, здоровые, как молодые акулы,

¹Куйпога - приливно-отливная зона на приливной воде (диал).

аж кувыркались, хвостами плеща. Раздолье им стало, ловушек побывало. Раньше, говорили, как начинался отлив, весь берег оставался покрытым трепещущей рыбой – знай, только, лупи ее колотушками, да собирай себе на здоровье. Теперь рыбаков, что промышляют, по пальцам пересчитать можно – почти что, можно сказать, браконьерствуют... Но на столе-то семга эта всегда – и зимой, и летом – то вареная, то тушеная, то соленая, то копченая, то вяленая... Икрой красной и собаки зажрались... Глаза б не глядели на эдакое изобилие, прости, Господи. Суп – тоже только рыбный, жирный такой, что губы потом полдня не оближешь: рыба, соль, перец, лавровый лист с материка, и все. Ложка стоит – так густо. А вот картошка – деликатес. Хлеб и по мелочи что – это «Аннушка», спасибо ей, доставляет два раза в неделю, а так – все свое. Он еще морзверя застал, его зимой артелями били – из винтовок, на лодках среди льдов ходили. Опасный промысел, ничего не скажешь... На берегу салотопни стояли – шелегу¹ топить. А у кого из тюленей детеныши оставались – тех доразивали, целая ферма по этому делу была. Цех еще работал по обработке шкур, изделия меховые шили – эти из песка: испокон веку тут живет. Потом прахом все пошло, по ветру развеялось, как пепел, за каких-то три года. Ничего, зато церковь поставили: раз церковь есть – значит что-то, может, и восстанет из того пепла...

Так вот, Павел-то в сарайчике своем на семге как на дрожжах поправлялся: в Питере он ее там с рождения не видывал и названия даже не знал, а тут она ему вроде лекарства стала. Смотрели поп с попадней – нарадоваться не могли: уж и румянец у их Пашки сквозь нездоровый воск на щеках просвечивает – да и щеки те округлились, лицо как-то оформилось, что ли, черты резче стали. Бородку он решил отпустить тогда – думал с тайной усмешкой отец Олег, что редкая полезет, как у отрока, – ан, нет, через две недели уже вполне мужеская была, почти, можно сказать, густая – светлая, курчавая – загляденье. Павел не замечал, конечно, а матушке в глаза бросилось, что стал он к Петровкам таким – хоть самого на иконе пиши – прямо князь древнерусский... Эх, знать бы тогда... Постом его было решено не мучить – пусть себе отъедается рыбой на правах болящего. И действительно, округлился, глаза заблестели – чем не жених, думалось матушке. Жених, конечно, оказался. Да не про их честь...

А на следующий день после праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, когда, как могли, не только праздник, но и Пашин День Ангела отметили и подарок ему всей семьей сделали (толстый свитер, попадней любовно связаный и поповнами вышитый, серый, с коричневыми оленями) – тут он ее и увидел. Прочь от

¹Шелега - тюлений жир (диал.)



сарая шла городская девчонка в хилой для их краев курточке, ботинках и с хвостиком, по виду – десятиклассница. Шла и рыдала, только тихо, без воплей – ладонью себе рот изо всех сил зажимала. Помнится, удивился отец Олег – это что ж, выходило – Пашка приезжую девчонку так разобидел, что она белугой ревет? Не похоже на него было – скромный, вежливый, на кошку не прикрикнет никогда, не то что на человека... Нет, серьезно, если их кошка, бывало, на табуретке спит – он ее ни за что не сгонит, себе другую табуретку принесет. А нет другой – так на лавку сядет. Вот какой парень был, не мог он такую малышку обидеть. Подошел к ней отец Олег заинтересованный: ясно же, что девочка только что на «Аннушке» прилетела – с родителями, конечно, таким молоденьким одним летать не разрешается. Интересно, чья девочка? Так и спросил:

- Девочка, ты чья? И чего это размокропогодилась?

А она эдак отвернулась, слезы по щекам размазала, носом шмыгает и отвечает вполне независимо:

- Ничья, одна я здесь. Сейчас обратно улечу на том же самолете, не беспокойтесь.

А что ему беспокоиться? Не его дело, в конце концов, раз она, оказывается, совершеннолетняя, одна летает в свое удовольствие. Но в сердце засаднило: ясно же, что скорби у человечка; выговор у девчушки интеллигентный, ручки беленькие – домашняя, значит. Кроме того, он здесь привычно чувствовал себя неким властелином душ: как что не прямо идет – так это его, отца Олега, вотчина.

- Э-э, нет. Так не пойдет, – властно заступил он ей дорогу. – Только что прилетела – и сразу «улечу». Откуда сама?

- Из Петербурга, – всхлипнула она, все еще не в силах удерживать слезы.

«В такую даль прискакала! Значит, все-таки Пашка», – пронеслось у него. Вслух сказал:

- Так. А ревешь чего?

- Неважно, – девушка попыталась обогнуть отца Олега. – Дайте пройти, самолет улетит.

Не мог же он ее силой удерживать! Спросил – глупо, наверное, но ничто другое на ум не шло:

- Что, с Пашкой нашим, что ли, поссорились?

Она помотала головой, и вдруг слезы просто брызнули у нее из глаз, как под давлением, отец Олег даже испугался – схватил ее за плечо. Девчонка вся дрожала от беззвучных рыданий – он только, как дурак, по голове ее гладил.

- Не поссорились... – сквозь рыдания вырывалось у нее. – Просто я приехала... Приехала... Наугад... Не была даже уверена, что это он... Не знала...

«Критическая масса» и другие повести...

- Так *не он*, стало быть? – догадался отец Олег.

- Он... – тряслась она уже у него на плече. – Он... Только... Я ведь пока ехала – не думала, что делать, если это окажется он... Что сказать ему... Ведь почти год прошел! Он уж и лицо мое забыл, наверное, и как звать, тоже... А тут я – приехала за ним на край света – здравствуй, милый, я твоя Люба... – Люба горько усмехнулась сквозь слезы. – А у него, поди, и невеста есть... – отец Олег тихо кашлянул, потому что невестой Павла последнее время все упорнее видел свою старшую, Катеньку, но Люба не заметила: – Я в Москве его встретила, на баррикадах, когда Белый Дом расстреливали... Мы вместе вбежали в подъезд – и тут его ранило... Потом мы на полу с ним... Столько часов... В крови... А когда «скорая» его забрала – меня вытолкнули... Я фамилии-то и не знала – все Паша да Паша... А он – без сознания... И только неделю назад... Однокурсница замуж выходила за парня одного – здесь родители его живут... Он на свадьбе про Койдино это ваше... рассказывал, да и говорит между делом, что живет тут у попа богомаз из Питера... И описывает... Описывает его... С издевкой так, будто блаженненького... Я сразу поняла, что это он... Меня как подкинуло. Расспросила, где да что, да как добраться и – в ломбард бегом... Заложила все золото, что было – два колечка от бабушки, цепочку, что мама подарила, сережки, тетин подарок... Написала пачку открыток для мамы, а даты поставила с разницей в пять дней... Поручила подружке, что в деревню к родным погостить собралась, отправлять их по очереди маме из той деревни – и отпросилась будто бы с ней вместе ехать... Сказала, что сессию сдала, а на самом деле институт бросила... Билет купила до Архангельска. А там этот... – она содрогнулась. – АН-2, что ли... Господи, как трамвай летающий... Чуть не умерла со страху... И вот, прилетела, спрашиваю человека, не знает ли, где тут художник из Питера живет... Он, говорят мне, сейчас во-он, в сарае... Работает... Я и побежала – думаю, посмотрю сначала, вдруг – не тот, чтоб глупость не вышла... Подхожу – дверь настежь, а он почти спиной ко мне, у мольберта... Но я и со спины узнала, я ведь эту спину... Перевязывала я ее тогда... А на мольберте – огромная икона стоит – то ли ангел, то ли... Не знаю кто, с крыльями... И солнце из окна – прямо на них обоих, на Пашу и ангела, холодное такое, низкое... У вас здесь совсем другое солнце, не как у нас... А он так весь в работе, что не видит, не слышит, ни до чего ему... Стою я, стою, смотрю на все это – и думаю: чего ты, глупая, приперлась? Вот человек, дело у него. Дело настоящее, призвание. А ты приехала только душу ему смутить. Сейчас вот затянешь его в это свое мелкое – поцелуйчики какие-нибудь... Разбередишь – а дальше что? Кто ты ему, если честно? Сутки вместе провели, да и то из них последние несколько

Наталья ВЕСЕЛОВА

часов он без сознания пролежал... – Люба по-взрослому, мудрым бабьим движением махнула рукой и высвободилась: – Пустите, товарищ священник... Действительно ведь улетит самолет – что я тогда делать буду...

Отец Олег растерянно выпустил ее, и Люба тихо пошла прочь по улице, ведущей к их тундровому аэродрому – попросту ровной площадке с будкой – посреди тундры. Ну и хорошо, что улетает: он Катьку к осени Паше сосватает. Жена она, ясно, будет ему хорошая: девка с головой, здоровая, в теле – не то что эта истеричка, прости, Господи... Ровно минуту смотрел он ей вслед: тяжело шла, как приговоренная – да уж и Бог с ней, ангела в дорогу... Посмотрел-посмотрел – и сорвался с места, назад побежал, как оглашенный. Хорошенькое зрелище, нечего сказать: подобрал подрясник, мчится по деревне, не разбирая дороги, поп, будто черти его гонят! Ворвался в сарай – едва дыхание перевел:

- Скорей давай! Там эта твоя, как ее, – Люба! Да, да, из Белого Дома! Беги, болван, чего стоишь, она сейчас на «Аннушке» обратно улетает!

Никогда бы не поверил, если б сам не увидел, что лицо у человека в секунду может так измениться. Румянец словно вниз стёк, губы побелели, щек как не стало, одни глаза остались – на пол-лица.

- Люба... – выдохнул Павел – и вмиг сдуло его; отец Олег даже шагов не услышал – как на крыльях полетел парень.

Ну, теперь в обратный путь можно было степенно идти, как по сану положено... Когда до площадки добрался – «Аннушки» уж и след простыл, а посреди летного поля – так сказать, картина маслом: стоит девушка эта питерская, рюкзачок ее рядом валяется; Пашка – на коленях перед ней и ноги ее обнимает, как бешеный, а она ему волосы его длинные обеими руками ерошит – такие вот дела... Народ кругом северный, суровый, близко не подходит, с расстояния дивится на материковые страсти... «Да... – подумалось, помнится. – Этой осенью Катерина моя точно замуж не выйдет...».

Ну, и завертелось все с места в карьер, как и водится в таких случаях. Приехала-то приехала девушка, а что с ней дальше делать – селить, например, ее куда? Хозяйку ей найти да и пусть живет на другом конце поселка? Куда там! Только посмотреть – и сразу ясно, что голубков этих теперь друг от друга оторвать можно только с мясом. К парню в комнату? Это уж извините: он священник – как блуд под собственной крышей терпеть? Выгнать вместе с Пашкой – и пусть как хотят дальше? Магушка так и сказала сгоряча – гони, мол, его с его девкой, гнилой он оказался, видеть больше не хочу. Это она не по злобе, просто уж больно большая надежда в ней выросла на него как на зятя. А Павел, если с холодной головой глянуть, чем ви-

«Критическая масса» и другие повести...

новат? За Катей не ухаживал, глазки ей не строил – просто держался, дружески – какая тут гнильца? Икон одних сколько им в храм написал, не церковь стала – загляденье; и не взял ни копейки, наоборот, еще должником себя считал. Так, конечно, иконы не пишут, понимал отец Олег – не профессиональная это иконопись – так ведь иначе бы никаких не было: штук десять маленьких, что прихожане из домов своих пожертвовали, висело по стенам – и все. А теперь только на Царские Врата глянешь – жить хочется. После всего этого взять и выгнать? Не по-божески, с какой стороны ни взгляни... Но, когда первая обида-то поулеглась, матушка, от природы отходчивая, сама посоветовала: «Так повенчай их тогда, Олег, Бог с ними – и пусть живут»... Увел Павла на другую половину, пока девочку кормили с дороги, да и выложил ему напрямик все эти соображения. Тот и секунды не колебался: «Венчайте скорей, батюшка», – даже у Любы не спрашивал, так уверен в ней был... На том и порешили сразу же. Предложила им матушка в сельсовет, пока открыт, сбежать и расписаться сначала – да тут невеста заартачилась: «Мама моя не поймет: для нее нужен петербургский Дворец Бракосочетаний с фотографом, платье белое и фата до пят, а потом чтоб гости – и стол бы ломился, иначе это не свадьба. Вернемся домой – и сделаем так для нее, чтоб не обижать. А то до конца жизни не поверит, что дочь замуж вышла». Ну, что тут скажешь? Ночь Люба на их половине переночевала (младшие-то дурочки еще были, только хихикали, а вот старшая спать к подруге демонстративно ушла – что ж, тоже понять можно), а утром отслужил отец Олег обедню, исповедовал-причастил обоих – да и обвенчал во славу Божию. Невеста стояла в джинсовой юбке (другой в рюкзачке не нашлось, все брюки да брюки), синей шерстяной кофточке и матушкином белом платочке, а жених в джинсах, как всегда, и новом дареном свитере... Серьезные оба... Один венец держала матушка, другой – Анатолий Иваныч, человек заслуженный, герой войны... Две младшие дочки смотрели, как венчал, но Катя так и не пришла – никто и не настаивал. Накинули все потом штормовки, вышли и сфотографировались на память: самая маленькая их щелкала, сама сниматься не стала, застеснялась... Отпечатали каждому по одной, отец Олег многие годы потом свою хранил...

Вспоминал еще один эпизод забавный – на свадьбе уже, когда выпили-закусили – о том никому никогда не рассказывал. А было вот что. Как отец Олег в сени вышел за понятной надобностью – так его Пашка на обратном пути подкараулил и в сторонку отвел – а сам, как дитя, смущается: «Отец, – говорит, – Олег, можно мне к вам, того – как к мужчине... Спросить-то ведь здесь больше не у кого... Видите ли, у меня с женщиной – ну, короче, не было еще никогда. Что мне теперь с женой делать? Как бы не опозориться...». У отца

Наталья ВЕСЕЛОВА

Олега аж оленина в животе заурчала: надо же, вот привел Господь – двух девственников перевенчать, это ж редкость какая в нынешние времена-то! Сделал он ему отеческое внушение, что, мол, позор ему был бы, если б он к своим восемнадцати уже наблюдал, как кот гуллиевый, а так – дерзай, мол, паря, с Божьей помощью, природа сама подскажет, куда... кхм. И, видать, подсказала природа правильно. Наутро специально на молодую искоса поглядел – ничего, довольная была, улыбалась счастливо: стало быть, не оплошал Павел, рода мужеского не посрамил. Таил в бороде улыбку отец Олег: сам тогда не остыл еще до этого дела, тридцать восемь только весной стукнуло...

До перестройки в этих краях водка-матушка главной валютой была: завозили ее в магазин редко, чтоб людей не забаловать, а приедем, чтоб сыту-счастливу быть, ящик ее, родимой, привезти с собой надо было. За одну поллитру давали ненцы бочку сладкой морошки – для приезжих невидаль, а здесь заелись все, – иногда оленью ляжку, а когда и выделанную шкуру песка выторговать можно было. Ох, и знатный песец здесь был, в феврале и сам отец Олег, что греха таить, с ненцами в тундру бить его ходил, потому как именно тогда у этого зверя лучший мех в году – белоснежный, без единого темного волоса. Летом грязно-бурым становится, не нужен никому. Промышляют его ненцы в песчаных сопках на берегу Белого моря, а еще зверь этот хитрый в подземных лабиринтах живет – главное, вымани! А стрелять ему нужно в глаз, чтоб драгоценную шкуру не попортить. Для ненцев – плевое дело, а он, дурак, сколько меху извел, пока научился! Своих зато всех потом мехом обеспечил. И вот однажды вдруг берет Катя – и Любе самую богатую шкуру из собственных дарит. Люба смущается, а Катя – пуще: это смиряла она себя так, понял отец, жалеючи – и ее, и шкуру: лучшая была... А Люба все морошкой не могла наесться – куда там земляника средней полосы! Паша ее горстями с руки кормил – смешные такие, дети всё ж, куда денешься. Ходили только за руку, по тундре гуляли часто – день-то не кончался, солнце как повисало над горизонтом – так все и висело, подглядывало... Это только кажется, что хорошо: на ночь ставнями наглухо закрывались, иначе не заснуть. А молодым хоть бы что – день с ночью перепутали, одно слово: медовый месяц. Работа встала, конечно, да грех осуждать – дважды ведь такое в жизни не повторяется. Ну, в смысле – не должно повторяться... Ходили они и за несколько километров к рыбакам на тони, на глядень¹ лазали, смотрели, как сети выправляют, как прилив уходит, оставляя огромных рыбин серебряных колотиться на желтом песке. Рисовал там Павел

¹ Глядень - открытое место на возвышенности за наблюдением за морем и судами (диал.)

«Критическая масса» и другие повести...

много портретов рыбарей – простым мягким карандашом: видать, от красок тоже отдохнуть хочется. Рисунки редко домой приносил – обычно сразу дарил там на память. У него вообще правило такое было: нарисовал – подарил. Часто в гости ходили, у Анатолия Иваныча чай пили не раз – любили, когда про войну рассказывал. А он мастер был истории всякие травить, не в пример иным фронтовикам, что о войне и вспоминать не могут. А этот ничего – хоть и ранило его миной сильно: весь живот перепаян был старыми шрамами вдоль и поперек... И у ненцев на становище тоже были, Люба все оленей гладила. Ненцы народ дружелюбный, на лицо только корявый: сначала все, конечно, одинаковыми кажутся – с плоскими коричневыми лицами, выпяченной нижней губой и тонкими усиками, странными такими, вниз растущими, к подбородку. Шкуры носят зимой и летом, снимают ли когда – загадка, но близко лучше не подходить: запах с ног валит, потому что они еще и шелегой натираются от холода – а может, и для красоты, кто их разберет. Их женщины Любе кошель бисерный подарили, мехом отделанный – красотища, она наглядеться не могла... А иногда молодые просто по тундре рука об руку гуляли – так и видел отец Олег потом много лет во снах своих два темных силуэта влюбленных на фоне низкого арктического солнца...

Всего медового месяца отпущено им было недели три с хвостиком – а потом принес Паша жене своей телеграмму. Обычай у него был такой: всегда почтальона лично у «Аннушки» встречал, и всю почту, что в их дом приходила, сам приносил, бегом. Телеграмму прислала та подруга, что три недели за Любу из деревни открытки отправляла. Туда, в деревню, другая телеграмма пришла: Любина мама в больницу попала – сердце. Улетела Люба в свой Питер с той же «Аннушкой» – даже проститься с мужем толком не успела: собиралась, как сумасшедшая, белая вся стала от страха. А может и не от страха: бледной она уж неделю как ходила, и за столом толком есть не могла – мутило. Отец Олег с попадшей тогда понимающе переглядывались: ясно же, что благословил Господь, что тут еще могло быть... К самолету ребята бегом по площадке бежали, Пашка с рюкзачком ее кожаным. Матушка только и крикнула вослед: «Песца своего забыла!» – да Люба уж не оглядывалась... «Через неделю буду! – надрывался ее молодой муж, когда она вверх по трапу шла. – Много – дней через десять! Только «Успение» закончу!» Она обернулась у входа, кивнула ему и исчезла – отец Олег издалека смотрел...

О том, что дальше происходило, он без слез и через двадцать лет вспоминать не мог. А если рассказывал кому, так самыми скупыми словами. А день тот, перед постом – и вообще – последний, хорошо помнил: и захочешь – не вырвешь. Морянка в тот день впервые после лета задула, скорую осень обещая. С утра, помнилось, самолет

прилетал, и Пашка, как всегда, про почту спросить бегал. Письму от Любы рано было, но, может, телеграммы она ему слала – про них он не говорил, только про первую, что долетела, мол, и маме лучше. К ним в дом в тот день корреспонденции не было, и Паша не сразу в сарай свой работать пошел, а еще с Анатолием Иванычем дома у него посидел сколько-то... Только в полдень за работу взялся, отец Олег еще проведать его зашел: матушка пирог с олениной в тот день испекла – заговеться, так он кусок ему отнес с пылу с жару – подкрепиться. Сидел Паша задумчивый и – мрачней тучи. Попенял ему отец Олег по-родственному: негоже так короткой разлукой умирать, грех это: послезавтра полетишь, а третьего дня, даст Бог, уже и свидитесь. С тех пор надолго зарекся глаголы будущего времени употреблять... Потому что тою же ночью – на этом месте отец Олег неизменно начинал плакать и не стеснялся – убили Павла на его половине. Времена лихие были тогда, и полушки жизнь человеческая не стоила. Впрочем, и потом не дороже. Увидел его утром Анатолий Иваныч, фронтовик их легендарный: зашел книжку парню занести, про которую тот вчера у него спрашивал, да не нашлась сразу. Толкнул дверь – а она открыта, впрочем, по привычке не всегда они и запирались. Павел в постели своей лежал – с перерезанным горлом. От крови все кругом коричнево стало... Кругом – разорение полное, перевернуто все, разворочено... Как Иваныч заорал страшным голосом – так попадя первая со двора примчалась, через плечо ему глянула – и наземь. Саму потом еле отходили... А отец Олег как застыл от такого зрелища, так и через двадцать лет еще не до конца разморозился. Во всяком случае, две вещи с ним с тех пор случились – странные: смеяться напрочь разучился, и делу тому самому, мужскому... Ни о том, ни о другом не пожалел ни разу... Милиция прилетала, конечно, куда ж без нее? Допросили всех чин по чину, но с прохладцей: то ли знали убийца, да свой был, то ли найти не надеялись. Никто ничего не видал-не слышал, разумеется. Вещи Павла забрали все подчистую – и одежду с обувью, и краски с кистями и мольбертом в придачу, и рисунки, что не раздарил – все до одного, даже зубную щетку увезли – вещдоки, дескать. Про песца Любиного и говорить нечего. Хоть иконы из церкви не вытащили – и на том спасибо. Забыли только фотографию со стены снять – ту, свадебную: Паша ее в рамочку одел и на стену повесил – все любовался. Думали, наверное, что хозяйская, вот и оставили, как и книги – те тоже не тронули... Хотел было отец Олег на свою половину карточку унести, да передумал: у самого такая же в столе лежит, а эта пусть здесь останется. Может, приедет еще Люба, так пусть хоть что-то в их комнате, как при муже ее, сохранится.

Долго голову ломали, как ей сообщить о таком ужасе: ведь

«Критическая масса» и другие повести...

ждет же, бедная, не знает, что и думать. «В положении она, – твердо решила матушка. – Напишем – чего доброго, выкинет. Или на грех пойдет, что еще хуже. А так, хоть и мучается, и терзается – но, как ни погляди – а с надеждой жить проще... Официально ведь не жена она ему, в паспорте у него не пропечатана – отсюда ей не сообщат. Если сама не придет – через девять месяцев расскажем. Оставь, Олег, на Божью волю...». Так и сделали.

Сначала телеграммы от нее шли отчаянные, все на один лад: где ты, мол, что с тобой, отзовись; письма потом приходили – одно другого толще. Их не вскрывали, в ящичек под иконы аккуратно складывали. После Нового года замолчала Люба – изуверилась, видно. Так и чесались руки написать ей, узнать, как носит, здорова ли – да как расспросишь, о главном не рассказав? В мае решили – пора. Две недели письмо писали и переписывали, все хотели удар смягчить. Так и не понял отец Олег, получилось ли. Но письмо отправили, а в начале июля Люба и сама, как они и ждали, приехала.

Она не плакала, строга была и серьезна. Сказала, что все слезы еще в осень ту выплакала. Чего только не передумала! Всякие мысли бывали, греха не таила: и такие проскакивали, что разлюбил ее и давно уж в Питер вернулся – да не к ней. Гнала их, конечно, да куда от них денешься? А если не это – тогда что? Тогда только самое страшное оставалось, но если так, почему матушка не написала? Не думала ведь Люба, что они поняли про ребеночка и щадили его, боялись... Всю беременность лететь порывалась, на месте все узнать, да не сдюжила: тяжело ходила, все по больницам маялась. Дома осуждали, думали, нагуляла, раз артистка – а она и не артистка давно. Про венчание и рассказывать не стала – только посмеялись бы да сказали еще, что ее вокруг пальца обвели, как дурочку. Потом дочку родила, Ларисой назвали, фамилию собственную пришлось давать, отчество – Павловна. А тут письмо их... Но слез уже не было – любовь свою она еще раньше похоронила, в сердце у себя, так вот. Как дочка чуть окрепла, головку держать стала – она сюда и вырвалась, на несколько дней только: могиле мужниной поклониться, на комнату, где счастлива с ним была, взглянуть, в церкви, куда муж иконы писал, помянуть его... И назад, потому как за ребенка страшно – и трех месяцев нет младенце... Они с матушкой тоже рассказали ей, что сами знали, про следствие. Да какое следствие, если родственников у парня здесь не было, и никто не погонял, не подмазывал? Ту первую версию, что еще при осмотре места происшествия сама собой разумелась, так и не изменили потом: заезжали-де чужие по тундре, кто-то даже людей подозрительных в районе видел. Прослышали они-де каким-то образом, что в Койдино художник питерский всю церковь расписал, и теперь уезжать собирается. Подумали-де,

что плату хорошую он за работу взял, никому ж и в голову прийти не могло, что такое благолепие – и за просто так. Потому и разор-де такой в комнате, что искали те деньги-то... А куда потом подались – ищи ветра в поле. Времена такие настали, что не один художник – сотни людей ни за что пропадают... Люба слушала и кивала, а глаза сухими оставались и горячими... Прямо перед собой смотрела – так думалось, взгляд тот стенку прожжет. Как она сказала – так и сделала. Обедню зауспокойную отслужили, на могиле крест, что за зиму просел, поправили. По тундре долго одна ходила – отец Олег к ней в попутчики не набивался, понимал же: самого так первые недели мотало. Только он с молитвой ходил – ему легче было, а она молиться – научилась ли?

Проститься не довелось с ней, не судил Господь. Матушка – та простилась, потому как сама еще раньше в Архангельск с дочерьми улетела, к отцу больному. А как раз накануне, как и Любе ехать, приехали за ним из ненецкого становища: ненец знакомый, крестник его, «от живота» помирать собрался. Думали, что ли, собратья его, что, раз родственник их шамана звать не хочет, то надо русского попа ему привести с той же целью: потрясет вокруг своей железной чашкой на цепях, из которой дым благовонный валит – и встанет сородич их. Причастил он больного, как следовало, сам аппендицит ему диагностировал, да пока с отправкой в Архангельск на операцию управлялся – уж и сутки прошли. Не дождалась его Люба, помчалась к своей девочке – оно и понятно, мать она и есть мать. Как вернулся – Иваныч зашел чайком побаловаться, поклон от нее передал, сказал, что не прилетала «Аннушка» в тот день, потому он сам на баркасе своем по Мезенскому заливу отвез ее по дружбе... Хотела, бедная, напоследок на Белое море взглянуть – столько раз с любимым вместе глядели... Посидели с ним, вспомнили... И про войну под сто грамм поговорили, не без этого... Больше он Любу никогда не видел. Писем тоже они ей больше не слали. Попадья отговорила: «Не бери ты ей раны, молодая она. Может, за другого замуж хочет: и ребенку отец нужен, и сама с девятнадцати лет вдоветь весь век не будешь. Напишет – ответим, а нет – и не трогай...». Но Люба так никогда и не написала.

Через восемнадцать лет оставался отец Олег все на том же приходе. Всех изменений – это что из иерея на шестом десятке протоиереем заделался. Стал протопоп, одним словом, как Аввакум – а что, до Мезени тут рукой подать. По молодости-то он в протопоповы писания особо не вдавался, а как за полтинник перевалило, под руку попала книга – и перечел. Старовер-то, конечно, старовер, упертый на редкость – а что, плохо, что ли? Сам-то он, протопоп Олег, он из каких, интересно? Понятно, что из никониан, если по-аввакумовски,

«Критическая масса» и другие повести...

а для новых раскольников, тех, что Катакомбную Церковь основали – для тех уж и никониане хорошие. Для них он сергианин – а хуже и не придумаешь... Раз ступенька, два ступенька – дальше-то куда пойдём? Аввакума бы сюда: Литургию нынешнюю если б воочию узрел, особенно в городе где-нибудь – никониане тогдашние ему святыми бы показались; Типикон давно попрали, о Номоканоне и вспоминать неудобно. Иначе теперь вообще никто бы никогда не причащался, и его, недостойного протоиерея, сюда включая. А вот интересно, думалось: стал бы он, как Аввакум, на своей нынешней сергианской ступеньке до смерти упираться, если вниз поволокли бы еще на следующую, называемую по имени очередного передового реформатора? И поймал себя на мысли: хотелось бы! Ох, как хотелось бы – только откуда взять такой силушки... И зауважал Аввакума с тех пор отец Олег, на восток, в сторону Мезени, что почти на той же широте лежала, все пристальней стал поглядывать. И мысли всякие роились, особенно когда Павла покойного вспоминал. Почему-то казалось, что у того точно сил бы хватило. Почему – Бог весть. На вид такой был, что соплей перешибить ничего не стоило, а сила – та чувствовалась. Настоящая. Только не расправилась еще, наружу не вышла. Не позволил Господь. Почему?

К тому времени они с матушкой во всем доме уж вдвоем остались – старушка, правда, была у них еще – за ради Бога и в церкви, и дома у них прислуживала. А дочери – те, как водится по новому времени: сначала в Архангельск учиться упорхнули, потом замуж без всякого родительского совета повыскакивали. Внуки, хотя и народились – да что толку: один в Москве, двое в Америке. Больше не хотят, избегать научились – карьеру делают – Номоканона на них нет... Только и мог отец Олег вздыхать тяжело, когда об этом думал – а что ты тут поделаешь. Вот если б Павел с Любой – у них бы... Вздыхал еще тяжелей и гнал от себя подальше ту мысль протопоп.

А летом как-то раз постучали в дверь. Матушка на ту пору в Архангельск отлучилась, прислуга туговата на ухо была, пришлось самому открывать. Кто там, никогда не спрашивал – какая разница: если и резать хотят, как Пашку тогда, то все равно ведь будет, как Бог попустит. Тяжелая дверь медленно отворилась, и отец Олег увидел Любу. Точь-в-точь такую, как вспоминал. А вспоминал он ее не скорбную с горячими глазами и тенями сиреневыми во все лицо. Нет, он всегда представлял, как она после венчания из церкви выходила. Такой и стояла теперь перед ним девятнадцать лет спустя, ничуть не изменившаяся. И лицо также светилось...

Через полминуты сообразил, конечно, – девушка еще и рта раскрыть не успела. Никем иным не могла она оказаться, кроме как дочерью Любиной, Ларисой... Павловной. Отличалась, конечно от-

Наталья ВЕСЕЛОВА

личалась: ростом повыше, собой пофигуристей. И волосы, опять же, острижены. Одета хорошо, не по-тогдашнему. Тогда что здесь знали? Летом – штормовка линялая, зимой тулуп извечный. На Ларисе была нарядная синтетическая курточка – розовенькая такая, смешная... А лицо – неиспорченное еще, это он сразу понял, все-таки священник с опытом. Такое и двадцать лет назад редкостью считалось, а уж сейчас-то...

- С мамой приехала? – спросил, не здороваясь.

И по тому, как она на секунду замялась, сразу понял. Понял, и в один миг весь какой-то тяжелый стал, будто секунда та ему лет десять возраста прибавила. Распахнул дверь шире:

- Ну, проходи, Лариса...

А она и не удивилась будто. Нынешние молодые, они такие – сообразительные. Хотя что тут – два и два сложить... Знает ведь, что как две капли воды на мать похожа. Девчонка кивнула с улыбкой, бойко скинула куртку в сенях, кроссовки сбросила и в комнату уж в носках пошла, прихрамывая.

- Упала? – спросил сочувственно (не могла же у Павла с Любой дочка от рождения хромоножкой быть). – Садись сюда вот...

- Да, здесь уже, как с самолета сходила... Так укачало в нем, что, земля из-под ног ушла... – сдержанно пояснила девочка и, чуть смутившись, добавила: – Значит, я правильно сюда приехала, раз вы сразу поняли, кто я. Я название села прочла на обороте фотографии, где вы, мама моя и... папа, да?

Сердце у отца Олега подскочило так, что он аж ворот на себе рванул: она что, не знает, кто ее отец?! Про Койдино никогда не слышала?! Это ведь значит, что не Люба ее воспитывала – с самого начала... Господи, да что же там еще могло стрястись?!

- Лариса, когда твоя мама умерла?! Что она тебе рассказывала?! – крикнул так, что стекло в шкафу звякнуло.

Она глянула как бы изумленно:

- Я не знаю... Я у вас спросить приехала... Маму свою я не помню... Она пропала, когда мне было три месяца, ее искали, но не нашли. Узнали только, что в Архангельск прилетела в июле – и с концами. Меня тетя и дядя, как дочку, воспитали. А этой весной нашла я на даче, на чердаке, фотографию. На ней дата ровно за девять месяцев до моего рождения. Мы с бабой Зоей и подумали, что там рядом с мамой, наверное, мой отец. И вы тоже там, только моложе, не седой еще – баба Зоя так и сказала: священник. И еще сказала, что, похоже, венчался мои родители. Денег дала, чтоб я поехала, вас разыскала и спросила, не знаете ли вы, что случилось с мамой и... папой... А вы тоже удивляетесь. Значит, не знаете... Зря я, выходит, ехала, да?

«Критическая масса» и другие повести...

Отца Олега подбросило из кресла и замотало по комнате туда-сюда.

- Нет, нет, не зря... – бормотал он, пытаясь собрать в кучу разметавшиеся мысли. – Странное здесь что-то, вот что... Подожди, подожди, давай с самого начала... – Спихватился: – Да тебе, наверно, чаю?! Или поесть с дороги?! Ты прости: оглоушило так с самого начала, что не сообразил.

- Да ничего. Меня доктор покормил, Григорий Петрович, – ответила Лариса.

Такая фраза простая – а зарозовела вдруг девушка, как шиповник в цвету. Он глянул внимательней и переспросил:

- Доктор?

Глаза опустила, русыми ресницами их прикрыв до половины:

- Да... Я когда упала прямо у трапа, меня мужчина один поднял и в медпункт отвел. А там Григорий Петрович... Ногу мне посмотрел, сказал, что ничего страшного, и повязку эластичную сделал. Пока делал, расспрашивал, кто я, да зачем приехала... Я стала рассказывать, а он, вот как вы только что, сразу понял, что я после такой дальней дороги голодная. Повел в соседнюю комнатку, а там столик у него и плитка электрическая... Супу мне дал из красной рыбы и оленины кусок... А потом мы чай пили и... обо всем... разговаривали... Григорий Петрович сказал, что я могу в другой половине того дома, где медпункт, остановиться: там не живет никто, и вход отдельный... Я согласилась, конечно, мне же ночевать где-то надо... – и опять слова все обычные, не придерешься, а вот совсем другой смысл в них промелькнул, *тот самый*... *Коснулось* ее – что тут говорить...

Хоть и взбаламучена душа была и мысли не о том, а не сдержался протопоп, усмехнулся в бороду: ай, да доктор! Шустёр Гриша, ничего не скажешь! А с виду тихий такой очкарик, в церкви прилежный прихожанин. Здесь он после интернатуры отбывал, чтоб от армии откосить. Уклонистов-то отец Олег в целом не поддерживал – но тут ведь дело другое: да кто ж придумал такое вредительство, чтоб врачей, что столько лет проучились и так народу нужны, – да под винтовку рядовыми! Неужели они там полезней будут?! Лично помог Грише отсрочку получить, пока на отдаленной точке врачом работает, – а там, глядишь, и возраст выйдет. Знакомствами-то оброс за годы, понятно: многие чины и повыше военкоматских, делов понаделав, ада бояться стали и пред духовными лебезили – отпусти, мол, батёк, грехи мои тяжкие, а я тебе за это... Для себя ничего не надо было отцу Олегу, а для других – пользовался. И за грех не держал. Тем более что и Гриша нравился ему: честно лечил, вдумчиво. Мзды не брал – разве по мелочи, да и то натурой – да в этих краях в

таким и на исповеди не каялись. Ночами доктор над книгами медицинскими просиживал. Я, говорит, в институте-то и ворон на занятиях считал, случалось, и половину экзаменов на халяву спихнул; теперь пробелы заполнить должен – не всегда же успеешь, если что, в Архангельск больного доставить; а помрет по дороге только потому, что у тебя знаний не хватило – так ведь как жить после такого-то... Этот подход отец Олег целиком поддерживал и нравственным чувством своего духовного чада вполне доволен был. Одного только, по его мнению, Грише недоставало: жены толковой, чтоб по местным бабам-разведенкам тайком не бегал, триппера себе на... то самое... не искал... И вот, гляди-ка... Хотя рано загадывать. Посмотрел на Ларису серьезно:

- Ладно, давай вдвоем все по полочкам разложим.

И вот какой расклад вышел неутешительный: по всему вышло, что тогда, в июле девяносто пятого, сойдя в Архангельске с баркаса Анатолия Ивановича, Лариса билет на самолет не взяла. Не было такого, иначе б милиция, когда искала ее тогда, это бы первым делом выяснила. А значит... Значит, в самом Архангельске случилось с ней что-то страшное, она и до аэропорта добраться не успела... И выяснять теперь, что стряслось тогда, восемнадцать лет назад, когда люди целыми городами пропадали – дело гиблое. Грузно обрушился на диван отец Олег, еще лет на пять постаревший, а Лариса беззвучно заплакала. Много свалилось сегодня на девочку – да еще и про отца такое узнать: как ни крути, а рассказать пришлось... Но она вдруг подняла голову и спросила вполне рассудительно:

- Отец Олег, а если не в Архангельске? Кто подтвердит, что этот ваш фронтовик маму действительно до порта довез, а не по пути в Белое море за борт выбросил?

Он махнул рукой:

- Это ты, дочка, брось. Он войну до Сталинграда прошел – там живот ему миной разворотило – человек заслуженный, проверенный. Здесь с конца сорок четвертого, я только родился после этого через двенадцать лет. Всю жизнь он здесь летом в совхозе рыбарил, а зимой морзверя бил. Даже если б я ему, как себе, не верил, сама подумай – зачем бы он на Любу руку подымал? Ему тогда уже за семьдесят перевалило, мама твоя по возрасту внучкой его могла быть – что ему, изнасиловать ее, что ли, приспичило, прости, Господи? Если на то пошло, Иванычу когда и восемьдесят было, никакая одинокая баба ему здесь не отказывала – кому, как мне, не знать... Кхм... – он запнулся, вспомнив, с кем разговаривает. – Короче, глупости. А хочешь – еще раз у него спросим. Не думаю, что забыл, голова-то у него дай Бог каждому.

- А он что – жи-ив еще?! – подбросилась Лариса.

«Критическая масса» и другие повести...

- Не только жив, но до этого года еще в море ходил за пикшей. С весны только сдал маленько, со двора не очень-то выходит, – отец Олег глянул на часы. – Еще не спит, наверно, хоть сейчас пойдём...

Ветеран не только не спал, но и во дворе своем прибирался весьма бодро.

- Доброго вечера, Анатолий Иваныч! – приветствовал его от забора протопоп и рукой помахал.

Тот поднял голову, ответить хотел – да замер, гостю за плечо глядя. Туда, где скромненько Лариса шла. И увидел отец Олег на миг не лицо, а... Сказал бы «маску ужаса» – да к чему такие сравнения. Просто удивился старик, ясное дело: тоже в первый миг Ларису за мать ее принял. Домой не повел их – сказал, не прибрано – во дворе разговаривали... Да, отметил отец Олег, сдал старик, ничего не скажешь: руки трясутся, говорит еле-еле, сам серый весь – старость... Все помнил, конечно, ничего не прибавил, не убавил – все, как тогда, рассказал. Да и чего особенного было-то, чтоб рассказывать? «Аннушка» в тот день не летала – погода нелетная. Вот Люба к нему и зашла – вроде как навестить – с мужем-то часто раньше заходили. Пожаловалась, что до Архангельска не добраться, а дома дите без груди неделю, сердце изболелось, дома давно уж быть обещала. Он и предложил по-дружески на баркасе своем довести ее. А что? Подумаешь, шесть часов туда, шесть обратно, на море только рябь небольшая – одно удовольствие. Она согласилась, через час и отправились, а к четырем пополудни уж и на месте были. Поблагодарила его Люба, привет всем передала, здоровья пожелала... Он на берег за ней не сошел – на что? Домой торопился: в Мезенском заливе вроде как ветер усилился... Вот и все. О чем тут еще было спрашивать?

Обратно шли молча, оба грустные. О том, что тайны той вовек не разгадать, помалкивали – и так ясно. Из докторова дома он Ларису все же забрал тем же вечером: хороший-то хороший Гришка, а неровен час... Поселил у себя на другой половине – той, где родители жили когда-то, только в другую комнату, не ту, где Павла зарезали. Та – давно закрытая стояла наглухо, а полки с романами и фотографии со стенки – это все во вторую комнату перенесли. Туда и гостей всегда теперь селили.

- Можно я поживу немножко? – спросила, краснея, Лариса.

- Живи, сколько хочешь. Хоть навсегда оставайся, – от души ответил отец Олег.

Какой ей резон теперь был оставаться? Да ясно какой – девичий. И в том протопоп давно уж научился смертным не перечить.

Не греет тундровое солнце – висит над горизонтом, как перемороженное яблоко, смотрит неприветливо. И море ледяное – редко какой смельчак в самой середине лета окунуться рискнет – да тотчас

и выскочит, холодом обваренный. Тундра кругом – плоская и седая от ягельника, насколько хватает взгляда. Редко где кривое корявое деревце притулится. Зима почти всегда, даже когда лето по календарю – потому что разве ж это лето? А ведь есть один период в жизни людей, когда им и здесь хорошо, думалось отцу Олегу. Это когда любовь их настигает, да не всякая, а первая – без оглядки на прошлый горький опыт, как потом бывает. И солнце, отродясь здесь и кошки не согревшее, греет их жарче южного, и море ласково лижет босые ноги...

Ни от кого не таились доктор Гриша с Ларисой. Как ему свободная минутка выпадет – тотчас они за руки – и по тундре на берег. Он, отец Олег, когда на тоне ходил к знакомому – видел не раз обоих: даже не целуются. Так вдоль обрыва ходят – разговаривают. Дивны дела твои, Господи – о чем им говорить-то, ведь неделю знакомы! Все правильно. Сказал об этом апостол: тайна сия велика есть. На двери медпункта почти всегда записка повешена: «Ушел за медикаментами. Скоро буду» – и номер мобильного. Ничего, дело святое, если помирать кто соберется – вызвонят, а нет – так и подождут... Как вернется парочка – доктор не старше Ларисы выглядит, хотя уж четверть века на свете живет. Резвый стал, как мальчишка, оленем скачет. А она... Тут отец Олег мать ее всегда вспоминал и лицом темнел. Нет, за этими он пристальней смотреть будет. Беды не допустит! И сам себя окорачивал: «Аще не Господь сохранит град, всеу бде стрегий»¹... И радость, и горе – так и ходят рука об руку. Как эти вот двое.

Он уже спал, когда она начала колотить кулаком ему в дверь. «Отец Олег!» – кричала не своим голосом – он чуть в одних кальсонах к ней не выскочил, думал, спасать надо. Лариса буквально ворвалась в комнату – и прямо в лицо ему стала бумажку какую-то совать. Он спросонья ослотивший был, не сразу и понял. Оказалось, телеграмма на имя Павла – восемнадцатилетней давности. Текст непонятный, словно кусок откуда-то вырван: «Справа Генка» – иди, разбирайся.

- Вы что, не понимаете? – повторяла Лариса, как заведенная. – Не понимаете, что ли?

Только теперь он заметил, что в другой руке у нее фотография – та самая, в рамочке, со стены. Проснулся, глянул внимательно, да и без того наизусть знал. Слева первым он сам стоял в подрыснике, потом – молодые, следующий – Анатолий Иванович. Матушка со средней дочкой чуть впереди... Телеграмму взял, дату проверил первым делом. Что за напасть! Выходит, получил ее Паша прямо в

¹Псалом 126, ст.1

«Критическая масса» и другие повести...

последнее свое утро! И не знал никто... Конечно, не знал, он же сам всегда почтальона встречал...

- Где взяла? – прошептал – а сердце из груди наружу чуть ли не проламывалось.

- В книжке, – пролепетала она. – Книга там такая же, как та, в которой я дома фотографию нашла. Набокова, «Дар» называется. Взяла я в руки – думаю, мама ведь и здесь ее могла читать – а в ней... Обратный адрес где-то в Псковской области... Какая-то Пахомова Клавдия... Отец Олег, сколько у моих родителей было этих фотографий?

- Какая разница! – с досадой воскликнул он, хоть и точно помнил, что они взяли три вместо двух – магушка им свой экземпляр уступила. – Здесь справа – Иваныч, не Генка никакой. Это вся деревня знает, хоть кого спроси. О чем-то другом телеграмма, но важная она, Лариса! Важная – понимаешь – в любом случае! Отец-то твой, Павел, – тоже Пахомов был! Эта Клавдия, стало быть, родственница его – а тут тебе адрес готовый. Телеграмму, девочка, он прямо накануне смерти получил – и не показал никому! Может, ерунда какая-нибудь, может – нет, но ведь это адрес родных твоих, кровников, понимаешь? Южиков¹ тех самых! – хитрой улыбки не сдержал.

- Каких ёжиков? – изумленно спросила девочка, как он и надеялся.

Утром они с доктором проводили Ларису на «Аннушку».

- Думаете, вернется? – грустно спросил Гриша, не отрывая взгляда от все уменьшавшейся темной точки в невысоком светлом небе.

- Куда она денется... – философски ответил отец Олег. – Сам-то ты что обо всем этом думаешь?

Телеграмму ту странную имел он в виду и фотографию, конечно, – что же еще? Но воистину – что у кого болит...

- Да смешная она... – блаженно улыбнулся Гриша. – В тот еще, первый день у меня спрашивает: «Какие, доктор, самые надежные таблетки, чтобы похудеть побыстрее?». Представляете? А я смотрю – у нее же серьезный недобор веса!

О чем с ним говорить было – ясно же, что не на аэроплощадке рядом с ним стоял доктор – в самолете с Ларисой летел... Вдохнул протопоп. И призадумался.

¹Южики - родственники (старослав.) Специфическая «православная» шутка, основанная на созвучности слов.

Глава 5
Всякому свой ад

Тонечкиного сына Пашу Клава видела в своей жизни всего раза четыре. Впервые – когда новорожденного встречали в Ленинграде из роддома – она тогда специально приехала из Краснореченска поглядеть на внука. Строго говоря, приходился он Клаве внучатым племянником, но она до того привыкла считать Тонечку своей дочерью, что даже имя внучку дала сама – в честь своего покойного мужа. Родных деток им Бог не дал: даже того единственного, которым было благословил сначала, пецифическая «доносить не позволил – недостойна, наверное, оказалась. Клава скинула четырехмесячный плод как раз вечером того дня, когда напротив школы вешали девчат и парней из краснореченского подполья – почти весь Нинин класс в полном составе. Нина и послала ее, старшую свою сестру, с хутора, где к тому времени уже неделю пряталась у нее, в город, посмотреть, что будет, – и пошла Клава на свою голову. Ровно семьдесят лет ей тот день видится, как голову приклонит... Многие из ребят уж не понимали, где они и что – их эдакими кулями кровавыми затаскивали на помост и вздергивали из лежачего положения в воздух, как поломанных кукол. Кто-то все же своими ногами шел, но кто – понять уже было невозможно, потому что лица напоминали иссиня-черные головешки. Клава только Таю Мотовилу смогла опознать – и то не наверняка, лишь по слипшимся коротким кудряшкам, яркая рыжина которых просвечивала даже сквозь темно-коричневую корку. Ее волос, поперек спины одной рукой ухватив, высокий парень, у которого вместо второй болталась перетянутая культяшка: он один ухитрялся голову держать высоко и даже с дощатого возвышения обвел палачей презрительным взглядом. Клава близко стояла, поэтому услышала, как из черного провала разбитого рта с острыми обломками зубов донеслось гневное пророчество: «Недолго вам осталось... по нашей земле... за все ответите...», – и вслед за словами толкнулась наружу густая кровь. Клава зажмурилась. Она ведь их всех знала – всех до единого! Еще когда года три назад, до войны, набивались всем классом в их большой учительский дом в Краснореченске – и читали стихи, свои и чужие... А она теперь не может даже узнать их лица, чтобы свидетельствовать! Кто, например, этот высокий парень, которому на допросе отрубили руку? Миша Андреев? Женя Мещерский? Кто еще в том классе ростом вышел? Женщины в толпе безмолвно падали в обморок – эти-то узнавали своих искалеченных детей, убиваемых у них на глазах. Но ни стоны не раздавалось в школьном дворе – предупредили: если кто станет по преступникам во время казни выть – со двора никого живьем не выпустят, на месте

«Критическая масса» и другие повести...

всех из автоматов положат; а смотреть пригнали весь народ от мала до велика – даже древнего деда Сеню парализованного принести велели. Полицаи из оцепления сигарки по кругу передавали, слышались веселые матюги... Клава скосила глаза: и Генка среди них стоял – кровь с молоком, сам белый, как подушка, щеки румяные. Еще бы – отожрался на фрицевских-то харчах... Господи – а ведь тоже с ними учился, за Ниной весь девятый класс как пришитый ходил. Сама она, Клава, ей записки от него носила, случалось, думала, может, поженятся – парень-то справный, работающий и до спиртного не горазд...

Когда началась война, все парни из Краснореченска, окрестных деревень и хуторов, кому на тот день уже восемнадцать исполнилось, не стали дожидаться повесток – добровольно ушли на фронт. И Генка собирался – это все знали. Только не взяли его в армию, потому как покоцанный он тогда был сильно: месяца за три до войны на свадьбе собственной старшей сестры жирного переел парень – и готово: заворот кишок, чуть от одной только боли не помер. Его в Псковскую областную больницу тогда отвезли, и кишки несколько раз так и сяк перекладывали – все брюхо перепахали. К войне не зажило еще брюхо, потому и дома остался. Вместо него батя его сорока с лишним лет пошел добровольцем: если, говорит, сын за Родину встать не может – сам пойду. Пошел – и, конечно, без вести... Матери давно уж не было – вот и остался Генка без догляда один. Остановить было некому, когда немцы пришли и тем, кто в полицию найдется, пообещали сытную беззаботную жизнь. Впрочем, пошли многие – из тех, кто по возрасту или болезни не угодил на фронт. Советской власти ведь обратно никто не ждал, все думали, что новый порядок теперь если не навсегда, то уж точно надолго – а жить-то надо, принципами и сам сыт не будешь, и семью не накормишь...

Клава тогда только что вышла замуж, и муж ее, Павел, до того лет десять вдовевший на отдаленном хуторе, по возрасту годился ей в отцы, потому тоже в армию не попал. Хороший был человек, добрый, дом даже при колхозе ухитрялся держать полной чашей – может, оттого, что его организм самогона не принимал на дух: выпьет грамм пятьдесят и за голову хватается: «Убери ты, Христа ради, эту гадость, глаза бы ее не видели!». Детей его от предыдущей жены одного за другим в младенчестве унесла корь, за ними и сама жена отправилась, не снеся горя. А Клава как вошла в возраст – так и заглядываться на Павла стала: никакой не старый, плечи широкие, глаза синие – а главное, ласковый, слова плохого не скажет, даже на дворового пса не прикрикнет никогда... Подумала – да и пошла за него, когда посватался. Ни разу потом не пожалела – самостоятельно жили на хуторе душа в душу. Жаль только – мало. Победы дождал-

ся – и через три года сердцем помер, едва до пятидесяти дотянув... Больше Клава замуж не выходила.

Это он, муж ее, спас Клаву во время войны. Когда выпускники сорок первого года, среди которых была и сестра Нина, через год после начала оккупации организовали в Краснореченске подпольное комсомольское Сопротивление, Клава тоже решила, что вступит к ним. Дочери сельского учителя, ушедшего на фронт на второй день войны и воспитавшего их в духе высокой нравственности, девушки не могли спокойно смотреть, как по-хозяйски ходят враги по их родному городу, как походя втаптывают в грязь все самое сокровенное из того, что помнилось, о чем мечталось светлой ночью после выпускного вечера; только рабынями им теперь быть не запрещалось, все остальные пути перекрылись сами собой... Так не бывать же такому! По привычке она поделилась с мужем сокровенными мыслями – и вдруг ее кроткий Павлик потемнел лицом. Супруги сидели друг напротив друга за чистым оструганным столом – и между ними стояла глиняная миска с вареной, только что очищенной дымящейся картошкой. Муж не торопясь взял одну картофелину, положил ее на свою широкую жесткую ладонь и вдруг одним движением стиснул. Когда он разжал пальцы, на ладони осталась бледно-желтая картофельная труха – и Павлик медленно отряхнул руки. «Вот что будет с этим подпольем, – изменившимся тихим голосом произнес он. – Жаль ребят – желторотые совсем. Сможешь – отговори Нинку. Не сможешь – на Божью волю. Но вот ты – ты с ними не пойдешь. Втихаря бегать станешь – скручу и на цепь посажу вместо Полкана. Сбежишь – поймаю и запру в погребе. С сегодняшнего дня в город – только со мной. С сестрой твоей я тоже сам поговорю». Клава испугалась так, что несколько минут и слова вымолвить не могла: ведь это сушая правда, что нахрапистых мужиков, вечно не по делу утверждающих свою мнимую силу, бабы не боятся и им не подчиняются. А вот если тихий да нежный вдруг коршуном глянет да веское мужское слово скажет – то это страшно, и не ослушаешься. Слова поперек не скажешь – скорей язык себе откусишь, проверено... Не вступила Клава в подпольную комсомольскую организацию – и на цепь ее сажать не пришлось.

А вот Нина – та вступила. И нанялась машинисткой в комендатуру, чтоб к секретам поближе быть, да и кушать тоже хотелось. Генка тот краснощекий и все остальные полицаи – свои же парни со всех близких деревень – пуще голубями весенними вокруг нее заворковали: красивая была, ничего не скажешь: волосы каштановые волнистыми прядями вдоль шеи, глаза глубокие, не то зеленые, не то карие – смотря при каком свете... И офицеры немецкие заглядывались, да тем начальство запрещало со славянками заигрывать. А

«Критическая масса» и другие повести...

Нина только улыбается уголками губ да глаз не поднимает – а сама знай себе слушает: по немецкому в школе пятерку имела, а во все каникулы еще на курсы какие-то в Псков ездила...

Краснореченское подполье просуществовало рекордно долгий срок – и разгромлено было почти прямо перед освобождением. Несколько раз подорвали грузовые машины с фрицами, списки сельчан, предназначенных на угон в германское рабство, из комендатуры два раза виртуозно выкрали, а однажды – так не списки, а приезжего офицера с секретным планшетом – да и к партизанам с оказией переправили; про такие мелочи, как красивые рукописные листовки со сводками Советского Информбюро, расклеенные по всему городку, и рисованные плакаты-карикатуры – и говорить не следовало, привычным делом стало, даже немцам художников тех ловить надоело. Ловко работали, слаженно – на то и были самым дружным классом за всю историю Краснореченской школы. И, наверное, в боевом запале своем, в полудетской еще лихости, закусили удила от безнаказанности...

Попались глупо, совсем как детсадовцы. План операции по захвату грузовика с боеприпасами, о прибытии которого узнала в комендатуре Нина, расчертили на самодельной карте местности – со стрелками, надписями и цветными рисунками: кому где стоять, когда куда стрелять – и фашистов в серой форме, падающих под меткими очередями. План согласовали и – нет, чтобы сразу уничтожить! – засунули под скатерть в доме Борьки Томилина, чтоб завтра еще раз на свежую голову глянуть. Знали, что никто их не подозревает, почитая не за детей, так за недоумков: привыкли к вечной безопасности. А к Борькиной старшей сестре Альке утром пришел свататься Васька-полицай. Сел за стол чин-чином, шапку снял, ружье прочь отставил – да будущей теще та скатерть вдруг несвежей показалась. Застеснялась она своей неряшливости – и сорвала ее со стола одним суетливым движением. Разрисованная карта так прямо на колени жениху и спланировала...

Пока дня три на допросах только били – то ногами, то железками – парни девчонок еще не сдавали. Те даже передачи им в тюрьму, то есть, в бывшую школу свою, носили, осмелев. Но когда, заподозрив, что молодежью управляло взрослое коммунистическое подполье, и выявив у комсомольцев связь с местными партизанами, в виду особой важности расследования, районное начальство вытребовало из Пскова профессиональных заплечных дел мастеров, мальчики стали выдавать девочек по одной. Одна названная фамилия обеспечивала возвращение в камеру и желанную передышку – всего лишь до завтра, но и это имеет первостепенное значение в те минуты, когда у тебя по кускам отрезают пальцы – и хорошо еще, если только

пальцы... Больше ребятам нечем было покупать себе эти редкие передышки в пытках: узнав о провале молодежного подполья, грамотные и хорошо организованные партизаны первым делом обрубали, как в таких случаях положено, все концы и ниточки в Краснореченске. Поэтому немедленно выложенные под пытками сведения о них сразу стали бессмысленными, а никаких связей с настоящими подпольщиками у детей не было – они и понятия не имели о том, как к ним подобраться... Только вот немцы закономерно в такую самостоятельность не верили, упорно доискиваясь до неуловимых руководителей – и допросы продолжались с всевозрастающей жестокостью. Школа была оцеплена с утра до вечера в радиусе пятидесяти метров, и все равно истошные крики пытуемых доносились ветром даже до хуторов. Родители арестованных дежурили у оцепления, мучительно вслушиваясь в нечеловеческие вопли, ясно слышимые здесь, простоволосые не старые еще матери рвали седые волосы... Весь Краснореченск подавленно затих, предчувствуя неотвратимо грядущую катастрофу, после заката солнца в домах не зажигали огня...

Нину выдали последнюю – и не ребята, поголовно в нее влюбленные, а кто-то из девчонок. Несколько раз тайно приходивший в город Павлик уговаривал ее немедленно скрыться у них на хуторе, но Нина почему-то была убеждена в своей неуязвимости – или просто, как и все молодые люди, считала именно себя бессмертной...

- Да мне ничто не грозит, не волнуйтесь! – горячо убеждала она. – В полиции же все наши ребята! Они мне по пять раз на дню в любви признаются и замуж зовут! Один Генка чего стоит: готов ноги мне мыть и воду пить – с мылом! Если что, предупредит заранее – и нет меня!

- Дура... – плевал себе под ноги зять. – Кто из-за тебя свою голову в петлю совать станет!

- А вот увидишь! – уверяла Нина. – Нельзя мне уходить: я могу ребятам еще понадобиться!

- Им и гробы теперь не понадобятся, не то что ты, – мрачно говорил Павлик. – Послушай доброго совета...

- И слушать не стану, – отворачивалась она. – Хороший же я товарищ им буду, если теперь, как заяц, в лес побегу, когда их там мучают...

Нину арестовали поздно вечером и втолкнули в наскоро оборудованный под камеру класс математики, где уже несколько дней сидели их девчонки – восемь человек смешливых девочек, с которыми столько лет она секретничала в школьном дворе, передавала с ними записочки красивым мальчикам, бегала в клуб смотреть кино с Ладьиной, мерила перед выпускным белые носочки под первые взрослые туфельки...

«Критическая масса» и другие повести...

Страшный запах ударил Нине по ноздрям, и память опознала его на секунду раньше, чем разум: мелькнуло мгновенное воспоминание о колхозной скотобойне... Так пахнет старая протухшая кровь, поняла арестованная. Очень много крови. Очень. Единственная голая лампочка, едва дававшая темно-желтый ненадежный свет, показала ей невероятную, потустороннюю картину. Среди кучами сваленных черных парт и скамеек, девочки лежали на полу как попало, прикрытые жутким бурым тряпьем. Со всех сторон слышалось тяжелое хрипкое дыхание вперемешку с долгими глубокими стонами. Кто-то мучительно закопошился сбоку, и навстречу остолбеневшей Нине поднялась неузнаваемая косматая голова. Только отчаянно взглядевшись, Нина разобрала, что это остатки – другое слово в голову не приходило – Зины Юдиной, главной классной хохотушки и заводилы. Именно она, лучшая в классе рисовальщица, мастерила веселые плакаты, где изображала немцев то крысами, то тараканами, беспощадно истребляемыми синеглазыми русскими красавцами-солдатами с лихо заверченными желтыми чубами. Она же придумывала едкие рифмованные подписи к рисункам, иногда вставляя и хлесткое бранное словцо, а потом, дождавшись комендантского часа, бесстрашно расклеивала плакаты по всем улицам их тихого городка – и оказалась, в придачу, такой великой артисткой, что даже, однажды попавшись патрулю чуть ли не на месте преступления, сумела выпутаться и уйти ни в чем не заподозренной... Теперь узнать ее можно было только по общим очертаниям, потому что лицо в общепринятом смысле отсутствовало. Нина увидела синюшную бесформенную массу с двумя щелочками на месте глаз и жуткими багровыми струпьями. В первую секунду она зажала себе рот обеими руками, чтобы не завизжать от нахлынувшего животного ужаса, но потом пересилила себя и кинулась к подруге, лепеча бессмысленные слова:

- Зиночка... Господи... Что же это они с тобой... Как же это... – и попыталась обнять вновь упавшую на подстилку девушку.

Ответом был короткий и дикий, ни на что не похожий крик – такой, что Нина отпрянула и взвыла.

- Не трогай... – прерывисто зашептала Зина. – Рука раздроблена... вся... сверху донизу... Кувалдами молотили... Сволочи...

Нина задохнулась и на четвереньках попятилась назад. Сбоку кто-то тягуче простонал, она рванулась было туда, но Зина хриплым шепотом повторила:

- Не трогай... Не трогай ее... Ей сегодня глаза выжгли... Раскаленной кочергой – я сама видела... А Маринке – той грудь отрезали... Майю на горячей плите два раза жарили... Парней – тех вообще, как туши... разделявают... Нина... дай попить, подыхаю...

Наталья ВЕСЕЛОВА

– в голосе засквозили рыдания. – Скорей бы... прикончили...

Нина бросилась к ведру, увидела рядом кружку, но долго не могла поднять ее крупно трясущимися руками, а когда, наконец, зачерпнула воды, то расплескала почти всю. Только со второго раза кружку удалось донести до распластанной девушки и кое-как напоить ее. Слышно было, как зубы несчастной стучат о железный край, а Нинина рука, которой она поддерживала Зине затылок, сразу стала липкой от крови...

Нина отбросила кружку и вскочила с колен. С этой секунды ей стало понятно одно: здесь она не останется, не может остаться, потому что уже завтра утром превратится в такой же бессмысленный сгусток боли и унижения, как все эти разбросанные по полу уже не люди, и не-скотина, непонятно зачем еще живые... Она мгновенно вспомнила, что, когда ее вели по школьному коридору, в открытую дверь одного из классов, превращенного в «дежурку» для полицаев, увидела невозмутимо пьющего чай своего вечного, самого верного, с седьмого класса еще, ухажера Генку – он мелькнул перед ее взглядом – противный, распаренный, с одной щекой, распухшей от засунутого в рот хлеба с салом... Значит, он дежурит сегодня – именно сегодня! Другой такой удачи не будет...

Нина бросилась к двери и замолотила в нее – кулаками, каблуками, коленями...

- Гена!!! – истошно кричала она. – Геночка! Геночка, миленький!! Иди сюда!! Это я, Нина!! Геночка! Гена!

За дверью послышались неторопливые тяжелые шаги, загремели запоры... Он! Генка стоял прямо перед открытой дверью, чуть насмешливо глядя Нине в лицо.

- Чего орешь? – спокойно спросил он, будто и без того не знал очевидного ответа.

Раньше Нине было противно, даже когда он робко прикасался к ее руке – теперь она сама с размаху кинулась к нему на грудь и затряслась:

- Геночка, помоги, не оставь... Что они с девчонками сделали... Изверги... И меня завтра... на допрос... А я не знаю... Ничего как есть не знаю, а то бы сразу сказала... И они со мной... то же самое... Не-ет!!! Не хочу! Не могу! Гена, помоги... Я тебе, что хочешь... Хочешь – замуж, ты ведь звал же... Не хочешь – так бери... Хоть прямо сейчас... Только помоги... Выпусти меня отсюда, Геночка! – и она разрыдалась.

Он с минуту помолчал, видно, раздумывая. Наконец, солидно ответил:

- Помочь можно.

Нина подняла на него просиявшие надеждой глаза.

«Критическая масса» и другие повести...

- Посиди пока, я пойду разведую, – негромко проговорил Генка. – Как затихнут – через дяди Витин чулан тебя выведу – и чтоб духу твоего в городе больше не было. Даже домой не заходи, ясно? Куда хочешь, тикай.

Нина бурно закивала, высвобождаясь из его объятий.

«Дяди Витин чулан» знали все ученики Краснореченской средней школы. Там работал и жил сосланный из Ленинграда на 101-й километр инженер Виктор Николаевич, из бывших. Он числился в школе истопником, но оказался на все руки мастером, благодаря чему весь учительский коллектив, начиная с директора, готов был на него ежедневно молиться: где что-то текло – вмиг надежно заделывал, если что надо смастерить, починить – всегда проявлял творческий подход к делу, умел ловко наладить охотничье ружье или рыболовную снасть – только вот никогда ни с кем не по делу не разговаривал... Жил, за неимением другого помещения, прямо в школе, в каморке без окон, имевшей отдельный вход с торца здания, и заметная снаружи только тем, кто знал о ней, дощатая дверца без крыльца смотрела прямо в смородиновые кусты; внутренняя дверь выходила в здании под лестницу. Умер дядя Витя незадолго перед войной, и оба ключа от его жилища быстро и окончательно потерялись, а грянувшая война помешала заняться изготовлением новых, так что помещение, собственно, оставалось всегда открытым. В загроможденной теперь всяким ненужным хламом каморке, кроме узкого топчанчика, стоял небольшой верстак, да всюду развешены были полки с полезным инструментом. Немцы, раз, при захвате здания, заглянувшие в чулан, увидели там традиционную русскую кладовку и поморщились. Их педантичный менталитет так за три года оккупации и не позволил им предположить наличие в заваленной ломаным скарбом клетушке всегда беспечно незапертый вход и выход – откуда! – из неприступного следственного изолятора.

Нина тоже помнила про каморку и несколько часов, томимая нешуточной надеждой, не отходила от запертой двери класса-камеры, боясь лишний раз оглянуться на истерзанных одноклассниц и завывать от ужаса в голос... Генка не обманул: глубокой ночью дверь почти бесшумно отворилась. Нина услышала: «Быстрее!» – и воровато скользнула в тускло освещенный коридор. Быстро и тихо они миновали несколько запертых классов, свернули на пустую заднюю лестницу – и там, уже почти не таясь, бросились вниз по ступеням к чулану. Когда Генка закрыл за собой дверь, в крохотном душном помещении оказалось так темно, что нельзя было увидеть даже собственную руку, поднесенную к глазам, но Нина знала, что выход с противоположной стороны, и метнулась в темноте туда, больно наткаясь на твердые и острые предметы.

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Где, где, где тут эта дверца... – обезумев, повторяла она.

- Да здесь, здесь, куда она денется... – раздался рядом Генкин уверенный шепот. – Я тут и путь к ней разгреб немножечко... Только вот... – он вдруг похабно кашлянул, и сердце у Нины остановилось. – Ты ведь мне за эту услугу обещала что-то, а? Или ослышался? Сказала, кажется, – хоть сейчас... А сама утечешь через дверочку – и ищи тебя потом, чтоб должок взыскать... Ну, так как – рассчитывать-ся будем, или назад в камеру пойдем?

Нина отступила от гнусного шепота прочь – и что-то с грохотом обвалилось сзади. Генка подскочил к ней и ухватил за локти, сам не на шутку испуганный:

- Тихо ты, дура, сейчас погорим – и каюк обоим...

Изо рта у него воняло нечищеными зубами и перегаром – со стоном отвращения Нина вывернулась было, но он тотчас же зажал ей рот огромной потной ладонью и стал заваливать набок, туда, где была кушетка.

- И чтоб без звука... – повторял он. – Без звука чтоб, сука продажная...

Она извивалась под его вонючим жилистым телом, кусала себе кулаки от боли и омерзения, но остатки расплзшегося, как старое полотенце, рассудка, все-таки подсказывали ей, что кричать смертельно опасно... Ей казалось, что унижительная экзекуция никогда не кончится, даже мелькнула мысль, что вопить от страданий и захлебываться кровью в руках палачей – почетней и чище, чем сейчас вот стискивать зубы и зажмуривать глаза, утоляя чужую неумелую и жестокую похоть... Но вот Генка самозабвенно захрюкал над ней последний раз, пару раз дернулся – и быстро встал, натягивая в темноте штаны. Что-то тихонько стукнуло, взвизгнули петли, и в духоту каморки ворвалась волна чистого и свежего весеннего воздуха, мелькнул сероватый свет.

- Проваливай, шалава, – презрительно прошипел Генка. – Гребь отсюда, пока я добрый.

Нина молча скатилась с топчана, чувствуя грязную скользкость и жжение между ног, схватила с полу сорванную Генкой юбку и бросилась к едва светлевшей щели, на ходу пытаясь вступить в ускользающую резинку юбочного пояса... Она плохо помнила, как мчалась напролом сквозь кусты, прочь со школьного двора через знакомую дырку в заборе, как неслась по вымершим улицам, проваливаясь в глубокие и ледяные весенние лужи, как чудом ухитрилась не напороться лоб в лоб на размеренно вышагивающий немецкий патруль... В какой-то момент она сообразила, что инстинктивно бежит домой, куда идти ни в коем случае нельзя, потому что ее отсутствие может быть обнаружено в любую минуту, круто повернула, заметалась,

«Критическая масса» и другие повести...

как кошка, завидевшая стаю псов, и брызнула, не разбирая дороги, прочь, прочь из города – туда, где через несколько километров начинались районные деревни, а за ними, еще дальше – дальние малообитаемые хутора, посещаемые немцами очень редко и неохотно по причине извечного, панического страха перед вездесущими партизанами. Те хутора, на одном из которых жила в счастливом браке дурнушка Клава, ее сестра, что всего на год старше...

Беглянка пробиралась туда весь остаток ночи и полдня, не чувствуя ни усталости, ни горя, одержимая лишь одним стремлением – убраться подальше от страшных, автоматически-безжалостных немцев, запятанных ими до полусмерти девочек-подруг, а пуще всего – от неизменного своего ухажера Гены, вдруг открывшего свое настоящее, на человеческое вовсе не похожее лицо, и надругавшегося над ней так, как она даже и предположить не умела... В полдень, идя по знакомой тропе через еще местами покрытый снегом луг, она услышала вдалеке родные и любимые, с раннего детства привычные мерные звуки: кто-то колот дрова за близкой рощицей, и это мог быть только ее добрый зять Павлик на своем дворе. Нина ускорила шаг и сразу увидела маленький и темный, но крепкий домик с серым резным крылечком, а у двери, в расстегнутой цигейковой безрукавке, держа в руках огромное решето и перекинув длинное полотенце через острое плечо, стояла и улыбалась, глядя на мужа, смуглолицая Клава...

От сразу слегшей сестры она не отходила ни на шаг, и выслушивала, бесконечно выслушивала ее все повторявшийся и повторявшийся, как в кошмаре, невероятный рассказ. Павел озабоченно бегал в город за новостями и слухами почти ежедневно, а спустя дней пять, вернувшись под вечер, когда Клава уже не находила себе места от тревоги, с порога бухнул: «Завтра». Такое простое и нестрашное слово – но Клава упала на лавку и застонала, а Нина в постели закрыла лицо руками. Потому что это значило: завтра ребят казнят... «Клавочка, миленькая, сходи! Может, хоть словечко передать удастся девочкам! Скажи, чтоб простили... чтоб плохого не думали...», – рыдая до икоты, умоляла ее среди ночи младшая, уже не похожая на саму себя. Зная, что муж все равно ее, беременную, не отпустит, Клава не стала даже отпрашиваться – сбежала тайком, еще до зари.

Передать что-то оказалось невозможно, да и некому, по сути, было передавать: почти всех приволокли на казнь без сознания, а кто еще сам двигался – тем уж, ясно, не до прощений-отпущений было... Как домой пришла – Клава едва помнила, сразу повалилась на постель во всей одежде, накрыв голову тяжелой подушкой, а ночью произошел у нее мгновенный и безболезненный выкидыш – едва только успела мужа на помощь призвать. Утром думала – упре-

кать ее станет, что ребенка их, первенца, по глупости загубила, опять Полкановой цепью пригрозит... Но Павел, сидя у кровати, только наклонялся иногда и тихо целовал ее в плечо, а когда сама спросила напрямую – винишь ли, мол, меня – грустно задумался и медленно ответил: «Не виню, Клава. И сам бы пошел на твоём месте. Иногда бывает так, что нельзя по-иному. А что потом – то уж не в нашей власти...».

Сестры встали после болезни одновременно, и в первый же вечер, когда Павлик вышел на двор за какой-то хозяйственной надобностью, Нина постучалась к сестре в горницу и, глядя в пол, мрачно спросила ее, каким растением можно быстро и надежно вытравить нежеланный плод. Клава всплеснула руками – и сестра жестко, даже злобно глянула на нее:

- Да, да – не пялься так. Уж неделю, как знаю. Но это ничего: сволочному отродью я все равно жить не дам, – она присела на край сундука и горько усмехнулась: – Вот как бывает на подлом свете: ты, вон, от любимого мужа – потеряла, а я от гнусного скота теперьшошу... Ну так что – помогать мне будешь?

Клава замахала руками:

- Что ты, что ты, Бог с тобой! Ребенок-то чем виноват! Даже и думать не смей! А как я тебе помогать стану?! Ведь после этого мне Бог точно своего второй раз не даст! Одумайся, глупая, ведь он, может, теперь единственным твоим утешением будет – на всю жизнь!

- Ага! Вот тебе! – и обычно сдержанная Нина выбросила вперед, как заряженные пистолеты, сразу два крепких розовых кукиша. – Чтоб я, на него глядя, каждую минуту тот чулан вспоминала! И камеру! А в ней – девочек наших изувеченных! Не дождешься! Ищи другую правильную! Сегодня же изведу окаянное семя!

Нина вылетела вон, от души грохнув дверь, и действительно, с того часа ежедневно, до самых родов, судорожно пыталась погубить упорно растущий и цепко держащийся в ее утробе плод. Иногда Клаве казалось, что сестра готова умереть и сама – лишь бы убить ненавистного, никак помирить не желавшего ребенка. Бедная девочка заваривала и настаивала для себя ядовитые травы, пила, икая и давясь, смертоносные отвары кружками – ее выворачивало наизнанку, она иногда почти глохла, а однажды чуть не ослепла, но, отлежавшись, вновь и вновь повторяла свои остервенелые попытки: прыгала на отмель реки с высокого берега, скакала, рискуя головой, на полудиком соседском коне, что однажды сбросил ее и топтал – а она радостно терпела... Тайно сбежав летом, когда неподалеку уже шли бои, к аптекарше в Краснореченск, Нина вернулась оттуда довольная, сжимая в кулаке пакетики с хиной, и натопила их черную баньку так, что и в аду, наверное, не бывает жарче – но она проси-

«Критическая масса» и другие повести...

дела там, наглотавшись своих порошков, не менее часа – и просто выпала из двери без чувств в росистую траву... Но истребить своего ребенка ей так и не удалось. Когда фашисты, гонимые советской Армией, ушли, наконец, из Краснореченского района, сжигая за собой деревни, как мосты, Нина не радовалась Освобождению вместе со всеми, а сидела в углу избы, сверкая оттуда угольями одержимых глаз, со всей силы ударяла себя кулаком в заметно подросший живот и повторяла: «Все равно ты у меня околеешь, семя треклятое...».

Семя не околело, и роды начались в свой срок, когда хутор их давно уж тонул в морозно-фиолетовом рождественском снегу.

- Вот увидишь! – шептал Клаве Павлик, споро выталкиваемый ею из комнаты, где в потугах глухо стонала, не допуская себя до криков, так и не смирившаяся роженица. – Как увидит она свое дите – так и отгадет. Сколько раз такое бывало, что баба и не хочет ребенка, и травит его даже, а как грудь ему даст...

- Задавлю! – донеслось до них надсадное рычание. – Сдохни, паскуда!

Отпихнув Павлика, Клава метнулась к постели – и вовремя: только что выскочила скользкая темно-красная головка и, несмотря на убийственную боль последнего акта родов, Нина все-таки изо всех сил пыталась свести напряженные ноги – и раздавить ими, как жерновами, голову нежеланного детеныша... С криком, что более пристал бы в ту минуту сестре, Клава инстинктивно кинулась ей на живот – и ребенок, целый и невредимый, легко выскользнул из утробы и почти сразу же запищал – не громче невезучей мыши, прихваченной сытой кошкой.

- Дай сюда... Убью... Дай... – в изнеможении шептала Нина.

- Да у тебя девочка... – с непонятым облегчением, будто родила сама, проговорила Клава. – Сейчас увидишь, какая милая...

Она заранее приготовилась перевязать и отрезать пуповину, так что справилась с этим быстро и без труда, а послед вышел сам, так что не пришлось с ним ни секунды провозиться.

- Такая хорошенькая... – приговаривала Клава, бережно обтирая младенца теплым влажным полотенцем. – Вот сейчас мамочке тебя покажу... – и осеклась, словно подавившись, когда внимательней взгляделась в крошечное, еще пятнистое личико: на нее словно глянул мутным сизым глазом подонок-Генка – такой точно, каким и сам, наверно, явился лет двадцать с небольшим назад из материнских ложесн...

Нет, нельзя было давать сейчас ребенка его матери на руки – и минуты бы он там не прожил... «Бедняжка... – прошептала Клава, невольно прижимая новорожденную к себе. – Не бойся: и мама у тебя будет, и папа...».

Наталья ВЕСЕЛОВА

Нина уехала с хутора – и вообще – уже дней через десять. Это было, в целом, правильным решением, считал Павлик: ведь ни одного полноценного свидетеля ее участия в разгромленном комсомольском подполье в живых не осталось, зато весь Краснореченск знал, что она работала у немцев в комендатуре и пользовалась их – и полицейским – неизменным расположением. Кто-нибудь да рассказал бы. Осенью и зимой у временно вырвавшихся из рабства жителей было много других насущных проблем, а весной непременно вспомнят о не догадавшихся уйти с немцами предателях – настоящих и выдуманных – и обязательно начнут жестоко сводить счеты... Вернувшись домой в городок, запросто угодила бы под это колесо и Нина, далеко при немцах не бедствовавшая, – а если и нет, то могли приписать, отобрав документы, к восстановленному колхозу – и тогда, опять же, сиди на привязи вечно и жди, пока мстительная рука не дотянется и до тебя... В неразберихе и горе конца войны Нина отправилась, куда глаза глядели, в надежде найти себе тихое место, где ждет, быть может, пусть не самая лучшая, но хотя бы не такая страшная, как раньше, участь. Родным своим она так никогда ничего о себе и не сообщила.

Клава удочерила новорожденную девочку, назвала ее Антониной – Тонечкой – в честь давно уж покойной матери, выкормила с помощью незадолго до того родившей молодухи с соседнего хутора, а после смерти мужа вернулась с ребенком домой в Краснореченск, в уцелевшую крошечную квартирку родителей (отец-учитель до дома так и не добрался: умер от ран по дороге с фронта). В городке вскоре вновь заработал молокозавод, построенный еще до войны, и Клава проработала там всю жизнь счетоводом. Тонечка закончила школу, училась прилежно, была всем на зависть тихой и послушной девочкой, а в начале шестидесятых уехала в областной город Псков, где и выучилась на инженера. Она долго не могла выйти замуж по причине крайней скромности – и создала семью только в тридцать лет, да и ту неудачно. Хотя и увез ее муж в Ленинград, прописал и устроил там по специальности – да только года через два все равно ушел от нее к другой, бойкой и модной... Остался годовалый сынишка, тоже Павлуша, как Тонечкин приемный отец – Клава сама имя выбирала. Спасибо, хоть квартиру двухкомнатную бывший Тонин муж при разводе не отнял...

Тоня растила мальчика сама, но в Краснореченск приезжала все реже и реже – понятное дело: большой город и сам по себе затягивает, а тут Ленинград... Не сердилась Клава, просто любила свою Тонечку. Но с той случилась однажды непоправимая беда: навалился на нее неизлечимый рак и быстро свел в могилу. На похоронах она внука Пашу впервые увидела взрослым – смешной мальчишечка, на

«Критическая масса» и другие повести...

Генку-урода ни капли не похож ни лицом, ни характером, а, как ни странно, пошел чем-то в своего тезку, покойного Клавиного мужа Павлика, хоть и не было у них общей крови ни капли... Это если не считать того, что все люди на свете родственники. Кто больше, кто меньше... Сказал ей тогда Паша, что собирается куда-то на север – мир смотреть, жизни учиться. Она одобрила: мужчина – не женщина, нечего на одном месте сидеть. Поглядела на него еще поближе, подумала-подумала, да и рассказала ему про войну и про Генку – то, о чем и мать его, Тоня, не знала: берегла ее Клава, говорила, что родители без вести пропали, и девочка верила ей, тете своей любящей, а не гнилым слухам, таскаемым злыми бабами, что мать нагуляла ее с немцем-интендантом (что и правда ей однажды букет цветов принес), а потом сбежала от позора и людского суда. Рассказала – и пожалела: и так горе у парня, а она, жестокая, ему еще одну ношу... «Да нет, бабушка Клава, – серьезно сказал, помнится, Паша. – Правильно вы сделали. Есть правда, которую скрывать нельзя. А что дальше – это уж не наше дело...». И снова он ей в тот момент мужа покойного напомнил – так, что расплакалась старая. Хотя какая старая? Только семьдесят лет ей тогда было – и еще двадцать, как один день, прошли...

Уехал Паша на север этот свой, а в середине лета вдруг письмо от него пришло. Женился Паша! О жене своей написал – Любой звали, – как поп местный их повенчал, рассказывал. И была еще в письме том фотография, где молодые сразу, как вышли из церкви, вместе с попом и свидетелями снялись. Сначала-то Клава только невесту разглядывала: ишь ты, девчонка совсем, глазки светленькие, волоски жиденькие – а вон куда к жениху прилетела! – и лишь минут через пять рассмотрела свидетелей... Стало Клаве жарко – хотя лето в тот год стояло холодное, в доме сырость по углам поднималась. Хотела ворот себе расстегнуть, вдохнуть поглубже – пальцы не слушались. Наконец, продышалась, взгляделась пристальней. И поняла, что не ошиблась: на фотографии справа стоял он – Генка-полицай и насильник. «Да полноте, – попыталась окоротить себя Клава. – Полвека прошло...». Но она знала, что все так и есть, потому что не очень-то Генка и изменился – высох, разве что, соответственно возрасту, но лицо – лицо осталось прежним, даже выражение сохранилось такое же – полное собственной значимости...

Не соображая, что делает, Клава бросилась на телеграф и отправила Паше телеграмму – как сама позже поняла, совсем невразумительную. «Справа Генка» – только это в мозгу и стучало, когда схватила телеграфный бланк, – так и написала. Поймет, казалось, мальчик – он умненький... И только по дороге домой задумалась: а что теперь? Мчаться сейчас туда, разоблачать его, суда требовать?

Просто в глаза посмотреть мерзавцу, спросить, как ему на свете живется? Про дочку его рассказать, Тонечку? Сообщить, что он у собственного внука на свадьбе свидетелем был? Просто в морду его поганую плюнуть? Задумавшись, брела по улице семидесятилетняя тогда Клава. И вдруг пришла ей в голову простая и мудрая мысль: да все ведь давно кончилось. Пятьдесят лет назад кончилось. У Генки этого, конечно, семья, жена такая же, как вот она, Клава, да еще больная, может быть... Дети, которые отца уважают – ведь он им про жизнь свою сказок каких-нибудь напридумывал... Внуки, наверное, которых он на коленях нянчил, играл с ними, премудростям учил... И вот приедет она и заявит им всем: муж ваш, отец и дед – полицей, каратель, военный преступник. И девушку изнасиловал зверски... Какая польза от этого будет? Кому? Одно только несчастье ни в чем не повинным людям... И решила Клава подождать от Паши ответа, разобраться, что он из телеграммы понял, да и написать ему потом обстоятельно все свои соображения по этому поводу... Но ответа от внука она так и не дождалась – может, не понял он, о чем речь, а может, недосуг было: медовый месяц все-таки у ребят, а она им такую пилюлю... Да и, кроме того, знала Клава его все-таки мало, а взрослым – так вообще только раз видела; чужими почти были – на что ему, если разобраться... Тут как раз серьезно заболела ее одинокая подруга – инсульт с ней случился – и пришлось почти полгода ее днем и ночью выхаживать: не до писем стало – так и сошло все на нет, за другим, важным и насущным, перегорело.

И никогда бы она больше в жизни своей об этом ни с кем не заговорила, если бы не приехала к ней однажды девушка Лариса – совсем как та, Люба с фотографии. Клава схожесть их все-таки заметила, хотя к тому времени совсем уж мало видела сквозь свой помутневший хрусталик и доживала горький век в богадельне – той, что при церкви недавно открылась. Шестеро их было в комнате, почти столетних старух-горемык, и все слушали, а некоторые – так и плакали. Но никто не дивился: к таким годам люди давно уже не умеют удивляться.

Глава 6 Живые не знают

Посмотрев в иллюминатор, можно было увидеть то, что всегда: блистающую лазурь кругом и словно бы густую свежую простоквашу внизу – самое успокаивающее зрелище для пассажира на высоте километров так двенадцать. Если видишь именно это, значит, самолет летит себе пока ровно и падать не собирается. Иногда картина быстро превращалась в фантастическую: на некотором расстоянии

«Критическая масса» и другие повести...

чуть справа по курсу и впереди появлялось нечто, напоминающее бокастую белую акулу с крыльями; она висела в невыносимой синеве почти неподвижно, но самым непостижимым образом росла и росла; наконец, торжественно выплывала, гладкая и ослепительная, на странно близком расстоянии и оказывалась большим и тихим самолетом встречного курса – и внезапно исчезала навсегда...

После такого Ларисе каждый раз казалось, что самолеты разминулись, избежав рокового столкновения, лишь случайно, и следующая небесная акула обязательно проглотит их жалкий и тощий ТУ, следующий обыденным рейсом Санкт-Петербург – Архангельск... Лариса откинулась в кресле и улыбнулась с закрытыми глазами: зачем она поехала туда, на край земли, около месяца назад? Просто чтобы узнать, не помнит ли кто ее маму, не знает ли, куда делся отец... Она не рассчитывала и не собиралась превращаться в юного следопыта, выясняющего подробности давно канувших в Лету человеческих перипетий. Какое, к едрене фене, подполье во время Второй мировой, о котором рассказала эта полуслепая лысая старуха, оказавшаяся двоюродной прабабкой? Все эти давние события стояли для Ларисы в одном ряду с невнятными мотаниями Пьера Безухова по Бородинскому полю и черно-белым видением революционных матросов, храбро лезущих по витой решетке Зимнего Дворца... Хотя, в принципе, получалось понятно: тот полицейай Генка в тюрьме изнасиловал некую Нину... Хотя, почему, собственно, изнасиловал? Он ведь серьезно рисковал головой, вызволяя ее из камеры, и вправе был рассчитывать на некую, так сказать, компенсацию, тем более, что Нина ему сама предложила... Тут Лариса несколько запнулась в собственных мыслях, остро ощутив, что думать так не положено: это абсолютно противоречит традициям гуманизма... Ну ладно, проехали... Она родила девочку Антонину, а та – сына Павла. Этот Павел и есть ее трагически погибший отец, а шалунишка-полицай, значит, родной ее, Ларисы, прадедушка... Хорошенькое дело. Но и это еще не все. Выходит, негуманный Генка-прадед ухитрился как-то сменить свое опозоренное имя на честное и проживает себе спокойно уже шестьдесят девять – Лариса ужаснулась такой запредельной цифре – лет в деревне Койдино, что у самого горла Белого моря... Все его уважают и зовут Анатолием Ивановичем, а государство периодически награждает за героическое прошлое и дает разные приятные льготы... Стоп-стоп-стоп. А кто это доказал, собственно? Да никто, если беспристрастно взглянуть. Потому что узнала его старушка Клава – полвека спустя! – по не особо четкой, с пленки еще, фотографии, да и самой ей тогда было уже за семьдесят и зрение, должно быть, не очень, раз потом почти ослепла. А сейчас она и вовсе никакая не свидетельница. Так ли, нет – концы в воду. Собственно, и рассказывать не о чем: и баба Зоя, и отец Олег, да и

Гриша, пожалуй, не то что посмеются над ней, но ласково так усмехнутся, по макушке потреплют: ишь, сыщица великая, ну ладно, покुшай вот пирожка с морошкой...

Лариса досадливо шмыгнула носом: она терпеть не могла, когда с ней разговаривали, как с маленькой. Но про родителей-то своих она так ничего и не выяснила! Кроме того, что отец ее, Павел, погиб как раз в день, когда получил ту взбалмошную телеграмму, из которой, конечно, ничего не понял... Хотя почему не понял? Ведь Клава рассказала ему историю его бабушки! Она-то ведь, Лариса, сразу поняла: одна фотография у нее и сейчас в сумке, а другая прямо на стенке висела. И у отца... тоже. А телеграмму он прочитал прямо на аэроплощадке и пошел... Куда?! Господи, да батюшка сказал, что прямо к Анатолию Ивановичу! И сидел там долго! А потом в сарае у себя мрачный был и чем-то подавленный. Отец Олег решил, что разлукой...

Лариса выпрямилась в кресле и невидящим взглядом обвела салон. Изнутри поднималась противная мелкая дрожь. Она оперлась локтями на откинутый столик и уронила похолодевший лоб на сцепленные руки. Спокойно. Спокойно. Отец был человеком прямодушным и... как бы это сформулировать... несколько наивным, что ли... Ему было примерно столько же, сколько и Ларисе сейчас, – и ей ли не знать, каковы в ее возрасте мальчики такого типа. Не мог он носить такое в себе, не сумел даже донести до дома... А может, не захотел, не проверив, делиться таким жутким подозрением. И просто спросил. Спросил напрямик... Ну, а тот же не дурак – мальчишке с места в карьер признаваться – отперся от всего, разумеется, сказал, мол, знать ничего не знаю, какой еще Генка... Не мог же Павел настаивать – ушел, конечно, да еще и извиниться, небось, пришлось. Чтобы точно выяснить – теперь очная ставка с Клавой нужна была, а на это время требовалось. И вот этого-то времени Анатолий Иванович – нет, Генка, Генка! – Павлу и не дал: ночью пришел и спящему горло перерезал: знал, что никто на него, гада, не подумает... Потом всю комнату перевернул, когда телеграмму искал – а вот в «Даре» посмотреть не додумался... А может, не успел, спугнуло его что-то... Но ведь тогда выходит, что и маму... Лариса запустила пальцы себе в волосы и со стоном рванула их.

- Девушка, вам что – плохо? – наклонилась к ней участливая соседка.

Лариса ошалело глянула на нее, словно вынырнув из-под воды:
- А? Нет... То есть... – она едва перевела дыхание. – Нет-нет, спасибо... Извините...

- Ну держитесь, мы уже на посадку идем... А если что – вы скажите, я стюардессу вызову... – недоверчиво отвязалась женщина.

Плохо? Да, конечно, Господи, ей плохо... И матери ее, Любе,

«Критическая масса» и другие повести...

тоже плохо было там, в комнате, где убили ее мужа, где столько воспоминаний смотрели из всех углов... Самых дорогих воспоминаний... Теперь и она, Лариса, понимает – почти понимает – каких... И маме тоже не спалось все эти светлые ужасные ночи... Однажды она открыла любимую книгу, чтобы успокоиться... И нашла ту телеграмму, до которой не доискался убийца. Люба тоже поняла, о чем в ней идет речь – ведь фотография все еще висела на стене! Рассказал ли ей муж ту отвратительную историю? Конечно, да! Ведь они же были самыми близкими людьми на свете, вместе смотрели у Белого Дома смерти в глаза! А если и нет – пожалел ее, допустим... Все равно она смутилась, задумалась... И наутро пошла – к кому? – да все к нему, ветерану войны, у которого не раз чай с вареньем пила! И которому доверяла... Да и вообще – старый ведь, что такой сделает? Если в чем виноват – то сам скорей испугается... А священника в тот день как раз куда-то вызвали – и, хотя такое и происходит по нескольку раз в неделю, но в тот день для Генки это стало просто подарком Небес... Успокоил Любу, наврал ей с три короба – за пятьдесят лет врать будь здоров научился, иначе не выжил бы! – и предложил в Архангельск отвезти, раз погода нелетная... И по дороге где-нибудь... Нет! Не было такого, не ступала мама на его баркас! Не уехала бы она, не попрощавшись с отцом Олегом по-человечески, дождалась бы! Да еще со стариком этим, которому не могла вполне доверять... Значит...

Самолет постепенно снижался, отчетливо закладывало уши – и подступила гадкая, тягучая тошнота. Не от перегрузки – от ужаса. Потому что Лариса знала теперь, что ее девятнадцатилетняя мать была убита там, в Койдино, и там же находится ее безвестная могила. И еще знала, что ее могилу тот старый негодяй обязательно покажет – и признается. Во всем. Сам...

Лариса прекрасно понимала, что все толпившиеся в ней прозрения и догадки были слишком сложны для обыкновенной восемнадцатилетней девушки, а вся невероятная ситуация, в которую этот полуподросток нежданно-негаданно попал, могла оказаться не по зубам и взрослому мудрому человеку. Зато девчонка была полностью детищем своего века – века-бунтаря и созидателя все новых и новых машин, века не философа и не мыслителя, а созерцателя и накопителя информации. И она, конечно, посмотрела сотни и сотни самых разных фильмов, особо предпочитая триллеры и продвинутые ужастики, и потому навеки усвоила себе, что ситуации случаются и пострашнее, а, чтобы выпутаться из них, особо необходимо личное бесстрашие и самая малость везения...

...Летной погоды в Архангельске ждать пришлось до самого вечера, и в Койдино по аэроплощадке Лариса, изведаясь нетерпении

ем, бежала бегом – а там припустила к медпункту шустрей январского песка. И уперлась в запертую дверь, увенчанную знакомой бумажкой. «Ушел за медикаментами» – гласило идиотское послание. И действительно, бред ведь, если подумать: куда ушел за лекарствами – в тундру? В десять часов вечера? В эту минуту Лариса узнала, что чувствует человек, когда у него внезапно темнеет на сердце: все цвета, и без того не очень яркие, в один миг отчетливо потускнели перед ее глазами. Потому что она прекрасно знала, где находился Гриша, когда на двери висела эта записка: именно в тундре. Или на берегу моря. С ней. А если не с ней, то с кем? Тут найдется... Можно не сомневаться... Она быстро нажала горячую клавишу с Гришиным номером – не может ответить, ласково сообщил ей специальный поставленный извиняться перед обманутыми девушками робот. Чуть не плача, Лариса развернулась и тяжело пошла к дому священника, где ставни были еще распахнуты, и убито постучала в дверь. Долго не открывали, так что Лариса отчаялась ждать и отбила костяшки, но наконец – никаких традиционных шагов за дверью не раздавалось – дверь открыла старушка Липа в огромных, носимых ею зимой и летом и снимаемых только на ночь, черных валенках. Одевалась она тоже только в черное с головы до ног, хотя была не горькой вдовой, а сознательной девственницей. Возраста ее не знал никто, и даже старожилы определить не брались: сколько ее помнили – она всегда оставалась одинаковой, с маленьким темно-серым личиком, казавшимся вырезанным из старого растрескавшегося дерева, безмолвным провалившимся ртом и в теплом черном платке, доходившем до глаз. Говорила Липа только, если ее спрашивали, а в остальное время ритмично жевала губами, словно всегда повторяя про себя одну и ту же короткую – не более восьми слов – фразу. До того, как в начале девяностых в Койдино построили новую дивную церковь, Липа, нацепив на валенки огромные галоши, каждое воскресенье ходила пешком по тундре в ту дальнюю, что была открыта – и таким образом наматывала за один поход четырнадцать километров, да еще и выстаивала службу. В это никто, кому рассказывали, не верил, но местные знали – правда, и боялись. Потому что ведь действительно – страшно же... Когда появилась церковь в Койдино, Липа сама почти поселилась в ней, никого не спрашивая. Она ежедневно терла добела и без того чистый дощатый пол, скоблила дареные жертвователями золоченые паникадила, продавала тоненькие гибкие свечечки, принимала за стойкой требы и бдительно следила за всем немалым и сложным церковным хозяйством. На службах ненавязчиво прислуживала отцу Олегу вне алтаря, читала, что полагалось, когда не было псаломщика – а в священниковом доме несла обязанности добровольной прислуги, берясь за любое дело и никогда не сидя без него. Денег и гостинцев не брала ни под каким видом – «Мне моей

«Критическая масса» и другие повести...

пенсии на все хватает» – а если что всовывали насильно приезжие, то немедленно передаривала чужим прожорливым детям и своим нетребовательным домашним. За все это ее, конечно, законно осуждали – «пристроилась, чтоб в богадельню не сдали», остро недолюбливали – «святоша, хитрая гордычка», открыто брезговали едой из ее рук – «грязная бабка, одежду не меняет»...

- Матушка еще из Архангельска не вернулась, – как всегда тихо доложила она Ларисе. – Батюшка с доктором на старые тони ушли, рыбак там покалечился. Ты к себе проходи да оправляйся пока, а я сейчас супу согрею.

- Не беспокойтесь, баба Липа! – выдохнула Лариса, у которой с плеч свалилась такая гора, что ноги от легкости чуть не оторвались от земли. – У меня в рюкзачке зефир, печенье и бутылка лимонаду есть!

- Ну, ладно тогда... – баба Липа глянула на нее с непонятно пронзительным выражением – впрочем, у нее всегда был такой взгляд, словно она знает куда больше, чем все остальные, но молчит из вежливости.

Она бесшумно исчезла в своих черных валенках, а Ларису стало носить по дому: усидеть на месте со всеми нелегкими соображениями, коими ровно не с кем было поделиться, разрывавшими голову и сердце, она все равно не смогла бы... Отец Олег разрешал ей раньше заходить в его отсутствие к нему в кабинет – делал он это в напрасной пока надежде, что девчонка от нечего делать заинтересуется какой-нибудь дельной книгой, но Лариса об этом не знала, и просто с уважением рассматривала интересные и невиданные предметы: иконы в чудных старинных окладах – прежде всего, потом олени рога, понатыканные везде, где было место, и охотничьи ружья, конечно, – у Гриши тоже такое было, он даже управляться с ним Ларису на досуге учил... Ружья? Она все пристальней вглядывалась в одно, оставшееся: другое, отправляясь далеко в тундру, священник всегда брал с собой на всякий неожиданный случай – там ведь и на волка выйти не заказано. Лариса робко приблизилась, а в сердце все ощутимей вставала новая, приятная и где-то словно украденная решительность. Секунда – и ружье оказалось у нее в руках. Патроны лежали в нижнем ящике старого тяжелого комода – отец Олег однажды при них с Гришей доставал... Лариса резко дернула ящик – так оно и есть! А вот эти – крупнокалиберная дробь, с которой ходят на морзверя. Что ж, жестко подумала она: у нее тут неподалеку сидит в своей норе зверь страшнее! И уже недрогнувшими руками она с силой переломила ружье, загнала два патрона, звонко клацнула. Ага, вспомнила, откуда такая удаль явилась: Ума Турман в «Убить Билла». Сейчас она тоже покажет, что не соплиуха недоделанная. И, когда Гриша и отец Олег к утру вернутся, они уж не посмеют над

ней беззлобно подтрунивать, все главное дело сразу забрав себе на правах мужчин... Она не Ума Турман, у них в России женщины во все века покруче были! Лихо закинув заряженное ружье за спину, Лариса вышла в неугасимую летнюю полночь и, держась очень браво, так что и самой нравилось, твердо зашагала по каменно спавшей деревенской улице.

Тут главное было – не потерять кураж и не выйти из образа. Страха Лариса не испытывала вовсе никакого – не воевать же ей предстояло с девяностолетним старцем – а вот некоторое смущение ощущалось очень ясно: а ну, как никакой это не Генка-полицай, а самый настоящий Анатолий Иванович, престарелый ветеран Второй мировой или, как раньше называли, Великой Отечественной? И она сейчас вот к нему ворвется, непотребно оскорбит – да еще станет перед носом больного старика ружьем размахивать! Господи, если так – стыд-то какой! Сраму потом не оберешься, придется срочно бежать из этого дурацкого Койдино, поджавши хвост и чуть ли ни камнями по дороге побиваемой! А Гриша же не побежит за ней так сразу – ему до двадцати семи лет тут, хоть тресни, досидеть надо, чтобы в армию не замели! Положеньице... Но остановиться Лариса уже не могла, находясь в том классическом состоянии, которое давно и метко характеризуется великим народом так: вожжа под хвост попала. Это – одна, а другая, видно, нахлестывала...

Во дворе ветерана сонно брехнула, издала тяжкий вздох и вновь смежила усталые от жизни веки непривычная к ночным вторжениям и оттого не ведающая, как в таких случаях быть, старая беспородная псина. Лариса стукнула в дверь – громко и намеренно нагло: пусть вспомнит там спросонок, как полицаем в дома честных людей вламывался. Стукнула раз, стукнула два – и за дверью послышалось далекое шарканье. Девушка оробела: сейчас либо бежать без оглядки, либо уж переть до конца, а там видно будет. Дверь открылась раньше, чем она успела принять твердое решение – и Лариса сделала шаг назад от неожиданности. Перед ней стояло жалкое низенькое существо в просторной исподней рубахе и смешных семейных трусах, из которых тянулись две тонюсенькие и слабенькие безволосые ножки, покрытые жесткими фиолетовыми шнурами вздувшихся вен. Круглая лысая головенка с островками седого пуха, торчавшая на шуплой дряблой шее, как на шесте, сплошь была покрыта отвратительными темными пятнами, на складчатом нечистом лице выделялся лишь мощный желтоватый нос, делаая своего обладателя похожим на потрепанного птенца птеродактиля. Впечатление довершали две тощие коричневые птичьи лапки, рассеянно теребящие несвежий ворот... Грозный враг Ларисе достался, нечего сказать. Но отступить было некуда, поэтому не раз виденным в фильмах и идеально повторенным движением она смахнула с плеча ремень и,

«Критическая масса» и другие повести...

вертикально держа ружье, легонько толкнула им хлипкое туловище, загоразживавшее вход:

- А я к вам, Геннадий, простите, не знаю, как по батюшке.

Именно в этот момент она поняла, что не ошиблась. Только в этот. Потому что, услышав имя, старик вздрогнул так, будто ружье уже в него выстрелило и попало – в сердце. Кем она пришла – палачом? Судьей? Но палачом этому человеку стало само время, уже недрогнувшей рукой завалившее его на плаху, а Судья – тот не замедлит, когда время опустит свой топор на эту ошипанную шею... И что, может, теперь просто повернуться и уйти?

- Ну, здравствуй, прадед, – как смогла, презрительно бросила Лариса, наступая на него, инстинктивно пятившегося от ружья по захлавленным сеням.

Но после первых минут закономерной растерянности старик уже сумел взять себя в руки:

- Какой еще прадед? Отродясь детей не плодил на свою голову! – сварливо выкрикнул он даже не писклявым, а будто надтреснутым голосом.

- Ах, гнида... – красиво сплюнула Лариса. – Насилуешь женщин – так не удивляйся правнукам!

- Ты что это себе позволяешь, мандавошка? – совсем, наконец, спохватился дед. – А ну, проваливай отсюда, пока я милицию не вызвал!

- Зови давай! – в запале крикнула она. – Мне как раз пора показать им документы! Предъявить доказательства, за которыми ездила! И которые, будь уверен, привезла! Рассказать людям, кто ты на самом деле: не ветеран войны, а кровавый палач, фашистский пособник! Что, думаешь, все свидетели померли?! – с удовольствием напропалую блефовала Лариса, картинно потрясая уже направленным ему в живот стволом и наслаждаясь выражением недоуменного ужаса, медленно заливающим лицо старого полиция.

Между тем она успела подумать: «Лишь бы не выстрелило!», аккуратно проверила большим пальцем предохранитель, а указательный и средний незаметно отодвинула от курков – мало ли что. Они благополучно допятылись до открытой двери в комнату и, переступив порог, Лариса поморщилась от отвращения: густой запах старческой мочи висел, как плотный туман; ногами в сени старик, вероятно, уже не бегал и справлял нужду тут же, у кровати с шишечками, в роскошную эмалированную ночную вазу – без крышки, но зато ярко-оранжевую и с наивными анютиными глазками на боку. В остальном же комната оказалась на удивление опрятной – скромной, понятно, но чисто прибранной – и деревянный пол даже был кокетливо покрыт толстым слоем коричневого лака... Пересилив себя, Лариса указала стволом на кресло и строго велела:

Наталья ВЕСЕЛОВА

- А ну, сел – и чтоб без шуток! – каких шуток от него можно было ожидать, она понятия не имела, но так полагалось для обязательной остратки.

Старик трясся с ног до головы – это было очевидно. Пестренькие семейные трусы спереди отвратительно потемнели. Что ж – тоже известное дело: как людей на тот свет спровоживать – тут они молодцы, а самим под дулом стоять – тут и обоссутся... Лариса уже чувствовала свою первую, крупную и нешуточную жизненную победу и хотела неторопливо распробовать ее вкус: вот она какая, оказывается – сладкая и пьянящая, даже голова кружится... Жаль, что так легко досталась. Она грациозно, как дама в амазонке, боком присела на подлокотник другого кресла и вновь твердо направила дуло уже подсудимому в лоб:

- Ну что, Генка-полицай? Сразу тебя прикончить или допросить сначала? Сам-то как во время оно предпочитал? – она звонко щелкнула предохранителем и притворилась, будто целится всерьез. – Здесь крупная дробь, так что голову тебе снесет без остатка, будь уверен. Короче, молись, если умеешь... – это последнее вышло несколько заезженно, но Генка, видно, со страху поверил.

- Бессовестная ты, бессовестная, – вдруг слезно запрычитал он. – Если вести себя с людьми не умеешь – ты хоть к сединам моим почтение поимей!

- Непочтенные твои седины, – отрезала девушка. – Предатель ты и убийца – а больше никто...

Он закрыл лицо руками:

- Да что ты знаешь-то об этом... Какое имеешь понятие... Здоровая росла, холеная... Жрала, что хотела... Горя не видела, счастья не знала – только страшилки смотрела по телеку... Того не понимаешь, что не все в мире черно-бело... Ишь ты, глупая... Думаешь – все просто: я злодей, а ты ангелица? Дура ты, дура... Злодей, небось, тоже, таким не рождается – судьба его ведет... Одно за собой другое цепляет... Я, когда почти пацаном еще в полицию шел – думал, чего такого? За порядком следить, да и только... А потом – от остального откажись, попробуй – такое сделают... Рассказали тебе, небось? Сама бы не хотела в такую камеру? Ну, и я не хотел... Еще не известно, какая бы ты там была героиня – под немцами-то... Это сейчас – ружьишко у попа сперла и сидишь смелая да бойкая... А там бы попробовала... Легко осудить через три-то поколения...

- Плевать мне на твое полицейство, – искренне сказала Лариса. – И у кого имя украд, неинтересно. Это пусть народ разбирается. Или суд – как люди решат. Мне другое нужно, – она судорожно вздохнула и решилась: – Насчет отца я примерно знаю. Теперь про мать говори. Иначе сдохнешь на месте. Я не шучу, – и она вновь, уже без легкого первоначального ерничанья, приподняла тяжелое и не-

«Критическая масса» и другие повести...

удобное ружье. – Мне, когда про подвиги твои расскажу, срок за тебя условный дадут, если вообще не оправдают. А из зала суда проводят овацией. Так что рассказывай, не тяни. Тогда обещаю – поживешь еще... Сколько сможешь...

Девочка не понимала, откуда взялся вдруг у нее такой горький всезнающий тон взрослой мудрой женщины – но увидела, что и Генка заметил перемену. Заметил – и пуще затрясся...

- А можно... – после долгого молчания еле слышно пискнул он. – Можно я покажу лучше... Это недалеко здесь... Только одеться надо...

Лариса поднялась:

- Быстро давай, – и сурово добавила: – Но не рассчитывай, что я отвернусь!

Он долго путался в серых тряпках дрожащими руками, суетливо искал свитер на полках своего спартанского шкафа, кряхтя, обувался в раздолбанные кроссовки, наконец, неловко натянул черный ватник и непослушными пальцами косо застегнул его. Вышел первый и жалобно обернулся:

- Ты хоть не улице-то ружьем не махай, дочка... Не позорь пока перед людьми-то...

- Дочка твоя от рака умерла в девяносто четвертом. А я тебе всего-навсего правнучка, – строго напомнила Лариса, но ружье перекинула за спину – впрочем, в этот глухой враждебно светлый час ни одна душа кругом не бодрствовала, ни одно окно не глядело дружелюбно на улицу.

Ветер ночью переменялся, и с северо-запада по тундре задула свирепая морянка. Лариса столкнулась с ней впервые, до того знакомая лишь с ласковым материковым шелонником – и в одну секунду ее проняло до костей. Тонкую розовую куртку на легком синтепоне, модный хлопковый свитерок и летние джинсики вмиг прохватило насквозь, словно их вовсе на ней не было – и пронизывающий все на свете ветер невозбранно загулял по голому телу, словно чьи-то грубые ледяные лапы нагло ощупывали его. Никакого головного убора, даже самой тоненькой шапочки, девчонка с собой не захватила, выбегая из дома с пылающей от жажды подвига и победы головой – и теперь эту голову сразу заломило, как от менингита, в ушах начались невыносимые острые рези... Быстро оледеневшие и почти бесполезные теперь руки без перчаток можно было держать только в карманах, плотно стиснув холодные кулаки, а ружье все мучительней тянуло назад и вбок, так что приклад почти волочился по земле. Бесконечные километры сухого седого ягельника, в котором глубоко утопали ноги, уходили вдаль во всех направлениях, но девушка и старик шли к недалекому морю, так что ветром больно секло лицо, и слезы застилали глаза... Тусклым равнодушным прожектором тя-

Наталья ВЕСЕЛОВА

жело висело над горизонтом в бесцветном небе неподвижное око негреющего тундрового солнца.

В глухом ватнике и плотно надвинутой на лоб ушанке, Генкаполицей то медленно плелся впереди чуть левее, то останавливался и жалко переводил дух, то в изнеможении хватался за сердце, то, оборачиваясь на Ларису, заискивающе повторял:

- Скоро уже... Вот чуть-чуть еще осталось... Скоренько, скоренько...

Она одеревенело кивала, стремясь сохранять грозный вид, но уныло думала о том, что хватит ее еще очень ненадолго, если ситуация как-нибудь не переменится. Вдруг впереди замаячила заброшенная рыбацкая изба – Лариса знала ее: сколько раз с Гришей вместе доходили они по тундре до этой заброшенной тони в хорошую погоду и стояли на высоком глядне у обрыва, держась за руки и наблюдая, как бурлит на куйпоге ледяная вода неласкового Белого моря...

- Это здесь... – остановился совсем уж обессиленный старик. – Сейчас помру... Задыхаюсь... И стрелять тебе не придется...

Ноги у него подкосились – и он грохнулся, судорожно разева рот, в глубокий мох метрах в пяти от обрыва; дрожащая рука терзала верхнюю пуговицу бушлата. Другая едва приподымалась, указуя вперед:

- Туда подойди... К обрыву... – прерывисто хрипел он, оттягивая воротник. – Вниз глянь – сама увидишь...

«Действительно – не помер бы... И что там можно увидеть под обрывом – сто раз смотрела: либо песок, либо вода...», – пронеслось у Ларисы. Она недоуменно уставилась на неразборчиво сипевшего обрывки умоляющих фраз старца, но любопытство пересилило: встряхнув ружье на онемевшем плече, она приблизилась к обрыву и, осторожно нагнувшись, заглянула вниз.

Приливная вода стояла на самом пике и завивалась белыми крутыми бурунчиками, готовясь быстро и мощно отступить. Больше ничего особенного внизу не увидев и смутно чувствуя какой-то подвох, Лариса резко оглянулась.

Никакого дряхлого старика, умирающего в серебряном мху от удушья, не было. В нескольких метрах от нее, упруго расставив ноги, стоял невысокий, но крепкий и сильный пожилой мужчина в расстегнутом ватнике и сдвинутой на затылок шапке, с яркими живыми глазами и юной белозубой улыбкой. В твердой жилистой руке зловеще поблескивала темная сталь небольшого ладного пистолета.

- Девяносто лет на свете живу – а вашей бабьей дурости не перестаю удивляться, – пересиливая шум воды и свист неистовой морянки, зазвучал спокойный и жесткий голос. – И та тоже – мамаша твоя, точно так же, как и ты, сюда со мною поперлась. У той и ружья не было. Прискакала ко мне – и фотографией той гребаной трясет...

«Критическая масса» и другие повести...

Пойдем, говорю ей, вечером, покажу доказательство, что ты ошибаешься. Надо же мне было прилива дожждаться. И пошла, представь себе, – дура она и есть дура. Не боялась нисколько – уже и тогда меня доходягой считала. А я еще баб топтал в свое удовольствие. И сейчас бы мог, да вот бабы не хотят... Не повезло мне тогда чуток: когда за вещичками ее пришел, тут как раз и поп с другой стороны подъехал. Еле ноги унес, опять не нашел телеграммы той распроклятой... Как и годом раньше у бати твоего малахольного, которого на бандитов списали. Но теперь найду, не волнуйся... Тебя, когда звал, думал, не пойдешь, заподозришь что-нибудь. Смотрю – потопала, надо же! Видать, права поговорка: волос долог – ум короток. Видишь, не обманул я тебя, девка, на то самое место привел: ее тело унесло в море именно с этого обрыва – в девяносто пятом. Ну и ты за ней плыви, рыбушка, с семгой вместе. До свидания на том свете... Хотя враки все это, нет там ничего. Так что прощай, – он плавно и точно поднял руку с пистолетом.

Только тогда Лариса опомнилась и смертно закричала, зажмурив глаза. Среди шума моря и воя дикого ветра коротко и сухо треснул единственный выстрел.

В ноябре 1944 года в Псковской области уже выпал снег. Выпал, потом растаял, потом снова выпал и остался лежать на израненной земле грязно-белыми пятнами, как несвежие бинты, сквозь которые проступает бурая кровь. Отступая из Краснореченска, фашисты сожгли за собой все деревни района, что находились западнее этого захолустного, словно не выросшего из девятнадцатого века, полугородка-полупоселка. На черных руинах первый снег мешался с сажей, печные трубы вздымались с пепелищ к небесам, зывая к отмщению, и даже традиционное воронье не кружилось над ними, потому что пожить здесь давно уж было нечем. Стояла мертвая страшная тишина, и ни ветер не выл, ни волк – но вдруг издали донеслось слабое, словно детское всхлипыванье.

Обнимая почерневшую трубу и прижавшись к ней чумазым от сажи лицом, горько плакал, размазывая слезы, демобилизованный солдатик в ветхой шинельке второго срока. Он стоял перед уцелевшей трубой на коленях, как блудный сын перед всепрощающим отцом, серая армейская шапка валялась рядом на обгоревшей и рухнувшей балке, залатанный в нескольких местах вещмешок сполз с худого, дрожащего от рыданий плеча, порыжелые от времени кирзачи неуклюже торчали из-под неровно обрезанных разметавшихся пол... «Деда... – повторял он сквозь слезы как заведенный. – Мамка... Лялюшка... Деда... Мамка...».

- Нету их больше, Толька... – раздался сзади тихий мужской

Наталья ВЕСЕЛОВА

голос. – Не зови напрасно, сердце себе не рви.

Солдатик вздрогнул, поднял голову, и опухшее лицо на секунду просветлело:

- Генка! Ты, что ли?!

К нему неслышно подходил невысокий парень его лет, одетый в черные стеганные штаны и такой же бушлат, застегнутый на все пуговицы. Приблизившись, он стянул с головы ушанку:

- Могила братская в Буриках, туда всех свезли хоронить, кого немцы в окрестных деревнях... – он сделал безнадежный жест. – Покажу тебе потом... – и сдержанно протянул распахнутые руки: – Ну, здравствуй, Толян. Вернулся, черт живучий...

Солдат молча вскочил и крепко обнял знакомого, проглотив последние слезы:

- Здорово, Генка. Вернулся вот – да и сам не рад...

Генка стиснул объятия крепче:

- Главное, живой ты. А горя у всех, на кого ни глянь, сейчас полно.

Толян высвободился:

- А ты-то? Тоже комиссован, что ли? Когда пришел?

- Не взяли меня – брюхо еще в сороковом располосовано, забраковали. Негодный, сказали... Под немца попал. То еще веселье... – объяснил приятель. – Двое теперь живых нас с тобой из класса – разве только с фронта еще кто придет. А которые здесь остались – те все до одного... Повесили, короче...

- Чего?! – вскричал солдат, роняя с плеча наброшенный было сидор. – Не бреши! А девчонки?!

- Сказал же – все, – мрачно ответил Генка. – Подполье у них было. Немцы накрыли. В апреле еще казнили их – семнадцать человек. Я сам видел.

Толян грузно осел на балку и, скрючившись, уткнул лицо в сорванную грязную шапку. На секунду глянул вверх с безумной надеждой:

- А Зина?! – но опять уронил голову, увидев, как одноклассник сурово кивнул.

Несколько минут никто из них не произнес ни звука, но, наконец, Генка решительно стиснул приятелю локоть:

- Подымайся. Ко мне пока пойдем – я тут землянку себе вырыл неподалеку. Батю с фронта жду, говорят, живой он. Как дождусь – с ним вместе уйдем, – и добавил, словно про себя: – Тут-то мне жизни все равно не дадут...

Шли медленно и долго, Толян все останавливался, явно не в силах нести даже свой небольшой вещмешок. Генка подхватил сидор:

- Давай я. Ты чего, сильно раненный, да?

«Критическая масса» и другие повести...

Пряатель благодарно кивнул:

- Куда уж сильнее. Под Сталинградом моя война закончилась: мина прямо передо мной разорвалась – так кишки и разметало.

Его одноклассник присвистнул:

- Так это ж когда было? Больше года назад, что ли? Где ж ты с тех пор?

- А-а... – махнул рукой Толян. – По госпиталям маялся, где ж еще... Аж до Свердловска довезли, операций пять сделали, не меньше. От одного хлороформа чуть не подох... Потому лишь, наверное, выжил, что про своих все время думал, как они тут под немцем... Еще боялся, помру – мать не переживет. Ведь кто у нее кроме меня – только деда Митяй старый да Лялька – в школу не ходила еще... – он остановился и коротко простонал: – Га-ады... Детей-то за что?!!

Генка несильно стукнул его по плечу:

- Пошли, – он быстро и неприметно огляделся, – здесь-то какой нам прок торчать...

Лес стоял седой и почти прозрачный. Под ногами сухо хрустел валежник, кое-где еще тускло зеленела умирающая трава, низкое белое небо словно готовилось накрыть своей мутной белизной и безмолвный лес, и двоих усталых парней, и давно оставшееся позади мертвое пепелище.

- Далеко ты забрался, – заметил, выбиваясь из сил, солдатик. – Будто прячешься от кого.

- Да нет, просто место отыскал подходящее, даже копать особо не пришлось: верно, берлога давно здесь была, да медведи ушли, – Генка отвалил в сторону трухлявый заросший пенёк, и указал гостю взглядом на черную дыру, ведущую вниз под вздыбленное корневище огромной поваленной сосны. – Добро пожаловать. Да не бойсь, обустроился я тут, чего надо было – из деревень сожженных натаскал. Не все же сгорело, кое-что вполне годится... Сейчас чай будем пить. Только вот со жратвой не густо: силки я вообще-то на зайцев ставлю, да сегодня не повезло...

Бывшая медвежья берлога была со знанием дела превращена Генкой в подобие фронтового блиндажа: стены и потолок укрепил он досками, оборудовал себе лежанку с двумя прогоревшими матрацами, в качестве стола приспособил добротный немецкий ящик из-под патронов, умело реанимировал чью-то пострадавшую керосиновую лампу, щедро наполненную унаследованным от бежавших захватчиков керосином, соорудил сносную печурку с грамотным наружным отводом, так что и топил свое жилище вполне по-белому. Одноклассник залюбовался:

- Да ты, я смотрю, с толком обосновался! – впервые улыб-

Наталья ВЕСЕЛОВА

нулся он и похлопал по тугому вещмешку: – А насчет харчей не горюй: сухой паек у меня здесь, копил долго... Думал, своих накормлю и Зину... Женихались мы с ней, знаешь? – он вздохнул, как укатанный конь: – Э-xxx... Судьба-индейка... Давай, Генка, помянем их всех – есть тут у меня спиртяжка во фляжечке... На дне, правда, да нам двоим хватит.

Помянули молча, потом долго ели. У Толяна оказался мешочек сухарей, две банки лендливовской ветчины, розовый шмат сала – выменял на какой-то станции – да трофейное печенье. Остальное – сухие концентраты в великом множестве, но чтоб их развести, требовалось топить печурку, а с этим решили повременить – в землянке еще было тепло. Генка снял с печки небольшую железную кастрюльку, накрытую куском алебаstra, и две мятые железные кружки:

- Смотри-ка, и чай не остыл. Травы у меня тут заварены, летом еще сушил. Пей вот. Полезно, наверное...

Сидя рядышком на узкой лежанке и прихлебывая чуть теплый травяной настой, парни негромко разговаривали.

- Делать теперь – что думаешь? Или не решил еще? Может, в Краснореченск двинешь? – участливо спрашивал Генка.

- Не-а. Как вспомню... Не вынесу. Новую жизнь начинать надо. В новых краях. Уеду я. Далеко отсюда, – горько говорил Толян. – Пришла тут одна идея.... Тетка есть у меня – не поверишь, где живет – аж у самого Белого моря. Я еще в колыбели лежал, как ее один начальник приезжий замуж взял и туда увез, откуда сам родом. Жизнь там свободная и сытная. Село поморское, рыбной ловлей живут – а рыба особенная какая-то, мясо у нее красное, представляешь? Вкуснющая, наверно. А здоровая – больше наших сомов из Красной речки. Колхоз тоже есть, конечно, куда от него денешься, только не такой, как наш, а рыболовецкий. Ну, еще охотятся там зимой, зверя какого-то бьют – про это я точно не знаю. Работы всем хватает...

- Это что – все тетка рассказывала? До войны, что ли, еще? – едва приметно насторожился Генка. – Сам-то ты видел ее? Приезжала когда?

- Да нет, какое приезжала... С матерью они все письма друг-другу писали... Овдовела тетка перед войной, да сюда возвращаться не хотела: хозяйство у нее там большое завелось, бросить жалко было...

- Раз хозяйство большое – так раскулачить могли и сослать подальше, – усмехнулся Генка.

- А куда еще дальше-то? И так тундра кругом. Разве, к медведям, на Северный полюс... На месте она, куда ей деться! Вот к

«Критическая масса» и другие повести...

ней и поеду, стало быть. Своих детей нет у нее, так что не прогонит, уж наверно, племянника, когда один из семьи остался... – Толян глотнул остатки чая махом, как спирт, посмотрел на кружку изумленно и сплюнул. – Решил, короче. Завтра на могилы схожу к своим и к Зине, а потом...

- Нет у ней могилы, – оборвал одноклассник. – Их всех после казни в грузовик свалили и увезли куда-то. Куда – так и не нашел потом никто... А что, тетка твоя тебя по фотографиям знает?

- Да какие фотографии, откуда... Хотя, кажется, посылала мать одну, когда – помнишь – в пионеры принимали и фотограф из Пскова приезжал, лет десять тому... Думаешь – не признает? Да ну, что ты! Я ей документы предъявлю, у меня все как положено. И красноармейская книжка есть, и справка о ранении, и комсомольский билет, прежде всего – вот, смотри... – не дожидаясь просьбы, Толян расстегнул шинель и достал из кармашка летней гимнастерки бордовые потрепанные корочки.

Генка с интересом заглянул: с темной маленькой карточки смотрело еще полудетское лицо, которое с успехом могло принадлежать любому русскому юноше без особых примет. Толян тоже глянул приятелю через плечо и хмыкнул:

- Да уж... Это ж когда снимали... Не то мое лицо, не то твое, не то чье угодно... И в других документах не лучше. Все мы теперь стали одинаковые. Сравняла война проклятая... Ну, да ничего, имя-то прописано, печати поставлены – и хватит.

- Слушай, а найдешь ты ее, тетку-то? Адрес есть у тебя? – спросил Генка.

- А как же! Пацаненком еще мамкины письма на почту носил, да и адрес-то немудреный: село Койдино Архангельской области, Малыгиной Анастасии Дмитриевне... - с некоторой гордостью поделился солдат.

- Ну, раз так... – медленно и глухо протянул Генка, не глядя на товарища. – Раз так, то дело твое, конечно, решенное... Ладно... Давай-ка на воздух выйдем ненадолго. Тяжело под землей-то без света дневного сидеть. Вперед иди, вдвоем тут не разминуться.

И, когда Толян, поднимая куцый воротник казенной шинели, неуклюже присел, повернувшись к выходу, Генка быстро достал из кармана легкий немецкий пистолет и дважды выстрелил ему в худую доверчивую спину.

Пес был у отца Олега знатный, Терекон звали – потому что ревел частенько точь-в-точь как горная река на дне узкого скалистого ущелья. Матери его, породистой сибирской хаски, случилось удрать пару раз от беспечного хозяина в тундру и испортить свою высо-

кую породу, слюбившись там с белым тундровым волком. Приплод принесла – загляденье, местные охотники в очередь встали, но отцу Олегу, понятно, со всем уважением первому предложили выбрать себе щенка по вкусу, потому как кобель его дворовый к тому времени как раз от старости окошел. Выбирал протопоп со знанием дела: сучек всех сразу в сторону – три их всего оказалось – а оставшимся пятерым кобелькам, потешно резвившимся на полу, прямо в центр их развеселой кампании с силой бросил свою солидную связку ключей. Четверо вмиг разлетелись с жалобным визгом, а пятый... Тот хоть и припал на секунду к полу, короткие ушки прижав – да сразу опомнился, молочные зубёнки ощерил – и на врага пошел скользющим волчьим шагом... Лапы ему отец Олег деловито ощупал – нет ли прибылых пальцев, в пасть заглянул: ух и черное нёбо! – проверить решил, не текут ли слезные железы – и влюбился. Бойко, умно и задиристо смотрели на него два разноцветных глаза: один светло-голубой, льдистый – материнский, а другой ярко-желтый, пронзительно-дремучий – от отца. «Беру... – растаял протопоп. – Вот этого и никакого другого...».

Через два года рычал на церковном дворе славный волкодав: желающих церковь обнести или дом священника – как ветром сдувало. В тундре Терек тоже хозяину был первый друг и защитник, в дальние походы что по требам, что на охоту, ходил теперь отец Олег без всякой опаски: знал, что пес его и от зверя любого оборонит, и лихому человеку, если попадется таковой, останется только убираться подобру-поздорову. Никого, кроме хозяина, пес к себе и близко не подпускал, даже на попадью, что всегда миску ему мясом наполняла, гремел неистово, а уж когда поповны приезжали – тем рад был бы и голову откусить, если б цепь не держала. Но как Лариса в поповском доме объявилась, удивляться порой стал протопоп: не лает, не рычит на девчонку Терек, а если она мимо проходит – так и кончик хвоста у него подрагивает, словно помахать им хочет, да хозяина стесняется. «Надо же! – хмыкнул тогда про себя отец Олег. – Не только Гришка, но и этот тоже... Тварь бессловесная – а туда же...». А через неделю вошел к себе во двор, ничего не подозревая, а там... Господи Боже, долго, сцену ту вспоминая, креститься начинал: сидит у собачьей будки Лариса на корточках, песью башку страшную у себя на коленях держит, и, мало того, в пасти клыкастой голыми руками ковыряется... Сердце зашлось у протопопа: порвет сейчас девчонку – зверюга ведь он дикий, волк наполовину! Замер, пошевелиться боясь, мысли все вмиг из головы повыскочили... А она лицо к нему поворачивает и говорит – строго так: что это, мол, отец Олег, вы за питомцем своим плохо следите, как вам не стыдно – у него же гингивит сильный, то есть воспаление десен, и их, дескать, люголем три раза в день смазывать надо; псина, мол, мучится, а вам нипочем...

«Критическая масса» и другие повести...

Он дух едва перевел – а тут и Терек на него посмотрел укоризненно: подкачал ты, хозяин, а я-то тебе верой и правдой... Вспомнил пристыженный протопоп, что и правда последние дни пес что-то ел неохотно, да разбираться все недосуг было. Пузырек люголя Лариса в тот же день от Гриши принесла, отец Олег на пальце попробовал и плюнул: если бы ему рот такой мерзостью намазать попытались – враз бы всю склянку издевателю на голову вылил. А Терек от Ларисы трижды в день сносил – и ничего, ворчал только, но не злобно как бы, а жалобно: скулить-то уж точно ниже его высокого волчьего достоинства было. А она его потом еще и за уши потреплет и в лбище крутой поцелует. Ветеринаром, говорила, стать хочет – что ж, дело: местного ветфельдшера трезвым здесь уж забыли, когда и видели...

Потому, может, волкодав и почувствовал недоброе первым. Они с доктором уж еле живые по глубокому ягельнику топали с рюкзаками своими, двенадцать километров пешим дралом отмахав с дальней тони. Рыбака несчастного, что крышу домика латать полез да и провалился сквозь гнилой рубероид, жестоко изломавшись, вертолетом в Архангельск отправили, перво-наперво кое-как Святых Тайн приобшив да шины наложив, как сумели. Сами, чаю только хлебнув, тундрой домой возвращаться стали: предлагал второй рыбак ночевать им – куда там: у Гришки будто шило в одном месте играет, прости, Господи: Лариса да Лариса, приехать должна вот-вот, а телефон здесь ловит нечасто – вдруг беспокоиться станет... Поди удержи такого, но и не по тундре же одного в такую дорогу пускать – вздохнул, да и пошел с ним, а Терек знай себе круги вокруг них нарезает радостно, хвост свой пушистый по ветру распустил... Но на подходе к Койдино странно вдруг заволновался и уши прижал – даже мелькнуло у отца Олега, что рядом где-то волк бешеный ошивается. Подозвал пса и на поводок взял от греха: что хорошего, если сцепятся. А тот вперед рвется, хрипя и давясь, шипы строгого ошейника в горло ему впиваются... Испугались мужики: беду, может, чует? Не спросишь ведь! И припустили из последних сил, не сговариваясь. На двор церковный вбежали – ночь уж глухая была, и здесь пес завыл неистово.

- Лариса! – крикнул отчаянно доктор, тоже что-то сердцем прознав. – Где ты?! Приехала?!

В ответ на крыльце только баба Липа показалась: маленькая, черная, и, как всегда, Иисусову молитву творит безмолвно. Но тут уста отверзла, что делала лишь по великой надобности, и объяснила коротко:

- Ушла она. Телефон вот на столе у себя забыла. Ружье в кабинете взяла и с Толькой-убивцем в тундру отправилась – на тону заброшенную. Я в окно им вослед смотрела.

- Чего-о?! – взревел Гриша не хуже Терека. – С ке-ем?!? Что вы

такое говорите-то?!!

Протопоп быстро перевел взгляд с доктора на бабу Липу и обратно, прозрел – и рывкнул:

- Знает, раз говорит!!! Бего-ом!!! Терек – Лариса!!! Лариса – ищи, ищи!!! – и спустил его с поводка; пес рванул по прямой в тундру.

Рюкзак они прямо там, во дворе, побросали и вдогонку за Тереком ринулись – да ведь не псы же, люди! После двенадцати километров – да четыре бегом, это ж кому под силу? Только тому, кто любит, наверное... На втором километре распахнули ватники навстречу злобной морянке, и совсем бы долой их, да нельзя: потом остынешь – назад не дойдешь в одном свитере. Так и волокли на себе, потом обливаясь и за бока держась, где колело, будто вилы воткнули и воротили – а Терек уж далеко впереди мелькал легкими своими лапами... «Скорее... – все повторял, воздух ртом хватая, доктор. – Скорей же...». Сами не помнили, каково им было, когда впереди вдруг море словно выросло и изба рыбачья старая показалась. Разглядели издали, что двое там у обрыва стояли – друг напротив друга, и один вдруг руку вперед вытянул. В тот же миг обрушилась на него огромная светло-серая тень, раздался истошный женский крик, и щелкнуло что-то сразу, как кнут по крупу лошади. Выстрел – ничто иное и быть не могло... Тишина настала сразу – особая, морская: когда шум моря и вой ветра привычные люди уж и за звуки не считают.

Доктор первый добежал – и они вместе с так и стоявшей на краю Ларисой медленно на колени осели, обнявшись. Трясло ее всю, колотило, но всухую – не плакала. Это Гриша плакал, как дитя, навзрыд, и все твердил, везде ее без разбору целуя: «Мимо, мимо, не бойся... Не попало в тебя... Не попало... Цела ты, целая...».

Терек, врага поначалу с рыком трепавший, вдруг отвалился от него и смирно прочь отошел. Оно понятно: смерть почувял, и добыча неинтересна стала. Подобрался отец Олег, глянул: точно, опоздала медицина. И не пес загрыз Ивана – только одежду порвал да оцарапал чуть – а он сам с испугу помер, в секунду. Но пистолет так и сжимал в руке, и дуло еще пороховым пахло... В воздух пуля ушла, когда Терек навалился... Плюнуть хотел протопоп – сдержался: не подобает грех такой сану. Просто отвернулся с горечью – да к ребятам пошел, что так на краю обрыва и сидели неразделимо. Сам тоже сел – да и обхватил обоих руками, свою голову поверх их прижав. Услышал, как Лариса шепчет неразборчиво:

- Как же так... Как же так... Я и не знала, что такое в жизни бывает...

- Еще какое бывает, – ответил. – Но, пока живы, ох, и многого нам знать не дано...

«Критическая масса» и другие повести...

Эпилог Спроси у моря...

Здравствуй, дорогая баба Зоя!

Рада, что все у вас в порядке, а главное, что тебя снова отпускают в церковь. Спасибо за поздравления и за свадебное платье :), только жаль, что никто из вас не сможет приехать на нашу свадьбу. Она предполагается очень скромная, будут только Гришины родители из Архангельска, а больше, кроме священника с женой, ни один человек, похоже, не придет: нас тут все-таки серьезно осуждают за того лже-ветерана. Не все верят и понимают – ну, да это со временем уляжется, говорит отец Олег.

Ты спрашиваешь, как у меня обстоят дела с учебой. Стыдно сказать, но пока никак. В этом году все сроки поступления я опять пропустила, а на будущий... Нам с Гришей уже можно будет перебраться в Архангельск, и подам в ветеринарный институт. Другого пути я для себя не вижу – пусть тетя Алла и дядя Слава не обижаются – им я отдельно написала. Пока я оформляюсь на работу: здесь восстановили маленькую ферму, где доращивают детенышей тюленей, оставшихся без родителей – они очень милые, за ними приятно ухаживать. Ну, и конечно, я собираюсь помогать своему мужу и выпишу много учебников, чтобы готовиться в институт.

Да! Передай всем большое спасибо за посылку с теплыми вещами! Дубленка сгодится разве что весной, а вот два пуховика сейчас как раз то, что надо: здесь ранний сентябрь – примерно то же самое, что у нас конец ноября. Ничего, перезимую, даже интересно...

Мне очень грустно было читать твое письмо, баба Зоя. Зачем ты так много думаешь о смерти? Хорошо, хорошо, я повторю свое обещание еще и еще раз: если с тобой что-нибудь случится, я сделаю все, как ты сказала, насчет церковного поминовения. Обязательно-обязательно. Но только надеюсь, что случится это еще очень-очень скоро.

Есть еще кое-что. Отец Олег недавно распорядился поставить на месте гибели мамы большой деревянный крест, а я хочу заказать в Архангельске медную табличку, чтобы прикрепить ее внизу. Батюшке я об этом еще не говорила, но, думаю, он против не будет. Текст выгравировать примерно такой: «На этом месте 17 июля 1995 года была злодейски убита фашистским преступником девушка Люба». Как ты думаешь, это нормальная надпись?

Мамин крест стоит на обрыве у самого моря, его можно видеть и далеко из тундры, и с воды, когда идешь вдоль берега на баркасе. Могилы у нее, к сожалению, нет – но так даже легче почему-то. И ей, наверное, нравится: вечный шум приливов и отливов, треск бирюзового льда да редкие крики поморников. Вот и все. Больше я о ней ничего не знаю. А у моря не спросишь...

25 августа 2013 г., Букино

Наталья ВЕСЕЛОВА

КУРТАН ПОБЕЖДЕННЫХ

*Повесть о любви и смерти в шести главах
с прологом и эпилогом*

*Был грозен срыв, откуда надо было
Спускаться вниз, и зрелище являл,
Которое бы каждого смутило.*

Данте Алигьери,
Божественная комедия, песнь 12

*«Мусью, сколько время?» - Легко подхожу...
Дзззызь промеж рогі!.. – и амба.*

Илья Сельвинский

Пролог (1996 год) **Юный искатель приключений находит их на свою голову...**

Ведьма Урсула значительно постарела с того дня, когда Ваня видел ее в последний раз, и теперь гораздо больше напоминала обычную русскую Бабу-Ягу, бояться которую стыдно и детсадовцу – не то что вполне взрослому самостоятельному парню, успешно перешедшему во второй класс. Баба-Яга – это для малышни, любой дурак скажет. Да и сама Урсула – всего лишь нарисованная уродина в телевизоре, и, вдобавок, живет под водой и имеет какие-то глупые разборки с Русалочкой¹, которая хоть и с хвостом – а все равно только наглая девчонка и ничего больше. Откуда взяться настоящей ведьме в подвале развалюхи-дома? И все-таки Ваня унизительно пятился на странно ослабевших ногах – потому что как ни уговаривая себя – а вот же она: жирная и бородавчатая, будто обожравшаяся жаба, с мохнатым черным пятном на щеке, с серо-белыми жесткими патлами дыбом, в пестро-рваных тряпках, под которыми ноги или хвост – иди, разбирайся... И – накрашенная! В подвале было во все не темно и не жутко, свет уверенно рвался сверху сквозь щелястый просевший пол, и Ваня ясно увидел яркую синюю краску над белесыми Урсулиными глазами, размазанную алую помаду вокруг широкой черной пасти с единственным длинным зубом... Тусклые

¹ Урсула, Русалочка – персонажи мультфильма студии Уолта Диснея «Русалочка»

«Критическая масса» и другие повести...

перстни унизывали корявые бурые пальцы, а на шее среди многослойных лохмотьев зловеще блестели разноцветные стекляшки. Тут и пятиклассник, наверное, вздрогнул бы, не то что Ванечка. Но главное – запах. До этого в подвале просто вполне терпимо пахло затхлостью и чем-то еще неуловимо-страшным и неперебиваемым, как в Петербурге, комнате их чистой и опрятной бабушки перед тем как ей умереть от старости... А теперь отчетливо завоняло протухшей тиной и деревенским туалетом, где мальчик всегда – на сколько б судьба туда ни забрасывала – старался дышать только ртом... И на ногах ли, на хвосте ли – а чудовище, загораживая своей сказочной тушей лестницу, по которой только что, кряхтя, спустилось вслед за беспечным исследователем подвалов, неторопливо, вразвалочку, двинулось прямо на мальчика...

Отступать стало некуда, потому что Ваня уже незаметно допятился до балки и распластался по ней всем дрожащим телом, пряча за спиной мгновенно намокшие ладошки. Но он не зажмурился – просто не мог, хотя и очень хотелось – потому что в фантазмагорическом зрелище невиданной старухи было нечто болезненно притягивающее. «А вдруг она – мертвая?» – мелькнуло у паренька смутное воспоминание о недавнем фильме ужасов. Но то, что он сейчас видел перед собой, неожиданно легко вышло за пределы самого ужасного – и заодно вынесло за собой и его. Ваня с облегчением почувствовал, что бурное дыхание выравнивается, исчезнувшие было ноги постепенно возвращаются обратно и даже начинают его держать, а сиплый писк, только что бесконтрольно вырывавшийся из горла, сменяется уверенной способностью к родной связной речи. Он произнес сколь естественные, столь невероятные в данной ситуации слова:

- Здравствуйте, бабушка...

- И ты не бойся, ведьмакин сынок, – вполне ласково и человечно произнесла Урсула.

Получалась какая-то путаница: ведьма-то – она, а не его мама! Ваня заторопился восстановить справедливость и разъяснить ситуацию:

- Я не ведьмакин, я мамы Ксюшин! Мы дом в деревне покупать приехали. Чтоб молоко пить все лето. Мы у тетя Вари комнату наняли. Мама дома смотреть ушла, мне сказала в саду играть с тетя Вариним Витьком – а он дурак, у него даже видика нет. Я и пошел... погулять. А в дом этот случайно залез, просто открыто было... Теть Варя говорит, тут не живет никто давно, мне интересно было...

- Не живет, – мирно подтвердила ведьма. – Умерла. Вот и хожу к ней на могилку. Рыженькую такую, молоденькую, не встречал здесь?

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Нет... – что-то смутно странное почудилось насчет этой «рыженькой», и страх снова начал мягко приобнимать мальчика, словно не решив еще – сжать ли в тугих объятьях или уж отпустить на волю.

- А странно... – Урсула медленно повернула голову, пристально взгляделась в дальний беспросветный угол. – Уж тебе-то, кажется, должна бы показаться. Потому что если б не ты – вышла б отсюда тогда еще, летом восемьдесят седьмого. А из-за тебя – не вышла... Только вошла – и с концами...

- Неправда! – выпутываясь из все более настойчивых объятий страха, почти крикнул мальчик. – Я в восемьдесят восьмом родился, в апреле! Меня и на свете тогда не было! – по математике у него была твердая пятерка, да и с цифрами в пределах сотни он еще в детском саду, пригостишкой, легко управлялся; страх отпустил, и пришла злость: – Вы просто старая и сумасшедшая! Все забыли, а на меня валите! Уйдите отсюда, а то я маме расскажу! – еще немного, и Ваня даже решил бы оттолкнуть Урсулу обеими руками и выскочить наверх, на пыльный свет.

- Расскажи, ведьменок, Расскажи... Раз в апреле – так и сомневаться нечего, – благодушно усмехнулась ведьма, как бы даже собираясь добровольно посторониться. – Расскажи, что, когда на свете тебя еще не было – а в другом-то месте сидел уже как миленький – ногу я перед тем сломала и три месяца в гипсе проторчала... У окна. За занавеской тюлевой. Окно-то мое как раз на это крылечко глядит... Меня никто не видел, а я – всех по пальцам пересчитывала, кто вошел, кто вышел... Так, от нечего делать... Туда – обратно, туда – обратно... Загну – разогну, загну – разогну... И один палец – вдруг лишний оказался, хоть отрежь его... Загнуть – загнула, а обратно не распрямляется... – старуха вдруг безумно хохотнула, и скрюченный сизый перст с коричневым косо заломленным ногтем закачался прямо у Вани перед глазами.

Отступивший ненадолго страх предательски прыгнул из угла и подмял мальчика под себя.

- А-а! – взвизгнул он, сумев, наконец, зажмурить глаза. – А-а!!! Пустите меня!! – и, хотя его никто не держал, замолотил по воздуху кулаками, несколько раз на ощупь попав в мягкое, рванулся вперед, с размаху врезавшись в деревянную лестницу, махом взлетел по ней и, взлетев по сбившимся гнилым половичкам, вырвался на заросший сиренью и терниями двор.

Только отбежав вниз по некрутому склону холма метров на сто, позволил себе упасть и отдышаться. Все было хорошо. Нежаркое июньское солнце нежно поглаживало его по щекам, будто желая ободрить – мол, испугался? – ах ты, глупенький... Нет, маме он, конечно, ничего не скажет. Что он – недоумок, что ли? Она и так уж

«Критическая масса» и другие повести...

сколько раз убеждала папу, что фильмы ужасов расшатывают ребенку психику, и следует их запретить... Ага, вот расскажешь такое – и папа, пожалуй, с ней согласится...

Ваня поднялся, постоял немножко в задумчивости, жадно и глубоко вдыхая сладко-жирный запах медуницы, потом тщательно отряхнул новенькие голубые джинсы и трусцой побежал к их с мамой временному дому.

Глава 1 А его мама с папой жили душа в душу...

Леониду и в голову не приходило, что она умрет раньше. Ксения была моложе мужа на десять лет и всегда так возмутительно молода, что на нее и шестидесятилетнюю заглядывались мужчины, только-только захваченные знаменитым кризисом среднего возраста – считали своей хорошо сохранившейся ровесницей. Он бы и в ее семьдесят мог ревновать ее к едва вышедшим на пенсию и вставившим по такому случаю бело-розовые челюсти здоровячкам, если б не был уверен с полной несомненностью, что для Ксюши вот уж около тридцати лет не существует ничего, кроме их семьи. А с тех пор, как Ванька, безжалостный, как весь нынешний молодежь, отделился от надоевших стариков, переехав в унаследованную от бабушки квартиру, вся жизнь его матери снова сфокусировалась на муже – как двадцать восемь лет назад в деревне Двуполье на реке Плюссе, когда Ксения совершила свой главный жизненный подвиг... Но это уже походит на патетику. А почему, собственно, нет? Да, подвиг. Потому что если б она тогда не поступилась законной женской гордостью, не приехала к нему на раскопки, то... Страшно подумать, во что бы он вляпался. А зная себя, он теперь с уверенностью мог сказать: не помешай Ксения, так он бы обязательно – «в г...., как в партию».

Летом восемьдесят седьмого она – растерянная, обиженная, с мягким медовым кукишем из волос на затылке, в скромном темно-синем платьице в белый горошек похожая на учительницу младших классов на каникулах, села со своим небольшим, словно пионерским, чемоданчиком вот в такой же междугородний автобус... Ну, положим, не такой же. Тогда ходили простые полосатые «Икарусы» с мягкими креслами в белых чехлах, и даже открыть неподатливое окно там надо было еще ухитриться. А он едет в замечательном двухэтажном дворце на колесах – с затемненными окнами, индивидуальными кондиционерами и таким мягким ходом, что кажется, летишь в спокойном «Боинге» над задумчивым Тихим океаном... («Ага, – вдруг гадким голосом вмешался в ровный поток его мыслей всегда живший в непосредственном соседстве, а может, даже и внутри, привычный со-

беседник, всю жизнь появлявшийся куда как кстати, – а там, внизу, на каком-нибудь совершенно безразличном тебе острове дикарей идет гражданская война между абсолютно неизвестными тебе племенами. И одно из племен, чтобы насолить другому и опозорить его перед лицом мирового сообщества, бах – и сбивает к чертям твой надежный самолет вместе с тремястами пассажирами!¹». «Иди ты знаешь куда! – беззвучно обозлился Леонид. – У меня такая потеря, а ты с глупостями!»). На самом деле острого горя он не испытывал – лишь тихую зимнюю печаль, хотя в их родном городе неяркая весна, быстрая временная гостья, уже готовилась передавать права скромному, ненавязчивому лету. Главнее горя был – страх, в котором старик не хотел себе признаваться. Последние дни он все чаще вспоминал пожилую пару отставных военных, незаметных соседей по лестнице. Хотя и были они ровесниками, сплоченно мотавшимися всю жизнь по дальним гарнизонам, но жена – здоровая и агрессивно энергичная – неожиданно умерла, не проболев и недели. Вдовец, при жизни ее всегда с иголочки одетый и благоухавший неизменным «Тройным» одеколоном, без жены уже через месяц превратил свой дом в темную берлогу, откуда несло зоопарком, а сам обернулся дряхлым снежным человеком, ушедшим в дальнюю нору из родной стаи навстречу смерти, непредсказуемо заплутавшей в тайге. Когда она все-таки с большим опозданием добралась до соседа, и его, уже тронутого нешуточным тлением, выносили в черном мешке к казенной машине из дремучего логова, куда нельзя было войти без респиратора, замыкавший скорбное шествие Леонид мысленно поздравил себя с тем, что Ксюха ему – не ровесница, и, стало быть, уж от такого-то жуткого конца он гарантирован... («Вот-вот, – подло возвеселился внутренний голос, – и споем мы с тобой песенку про кузнечика... Как там – тря-ля-ля – "... не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца...". Не забыл еще? Вспоминай, пока время есть!»). «Вот тебе! – мысленно сделал Леонид очень мужской, совершенно не по праву используемый в новое время бабами жест. – Сосед – это было мне предупреждение. А предупрежден – значит, вооружен!»). «Ну, милый, – четко донесся издевательский голос (вот бы рожу его подлую увидеть!), – ну-ну... Погляжу я на тебя через полгода...»).

Киевское шоссе он узнавал и не узнавал. Вот уже подъезжали к Луге, и все так же, подкрашенный по случаю юбилея Победы и заваленный увядающими венками, пролетел мимо партизанский мемориал – а ведь он еще помнит, как его возводили... Страшно сказать, он помнит не только тех, кто вернулся с той войны живым и покалеченным, – но и их матерей, в его детстве еще нестарых женщин

¹ Например, пассажирский «Боинг», сбитый над Украиной 17 июля 2014 г.

«Критическая масса» и другие повести...

с подкрашенными «под Орлову» губами... Когда тощим студентиком он ездил в эти же места раскапывать многочисленные курганы, то без всякого пиетета разговаривал в деревнях с теми, кто сейчас стал легендой, и знал, что легенды эти при жизни часто оказывались обычными сорокапятилетними колхозными мужиками, с тупой обязательностью глушившими самогон, – и вовсе не по причине каких-нибудь тяжелых душевных травм, полученных на той войне. Они нешуточно мутузили и показательно «гоняли» своих выдюживших оккупацию корявых горластых баб, гордились принципиальной нелюбовью ко всему «культурному» и оставалось только удивляться – где там внутри какого-нибудь разве только шерстью не поросшего субъекта запрятан тот синеглазый улыбчивый герой, что шагал двадцать лет назад по Европе добрым победителем... Вот уже скоро и граница с Псковской областью – и Ксения так двадцать восемь лет назад подъезжала, и все чаще колотилось ее целеустремленное сердце, и охватывало вдруг малодушное желание выйти на ближайшей остановке и – пересесть на обратный автобус... Не пересела.

Если бы он верил в Бога, то сказал бы про жену, что она была святая. Но их такому не учили – да и что это меняет, в сущности... Он звал ее «мама», а она его – «папа», потому что, в сорок три года родив ему с риском для жизни (врачи, как водится, категорически не рекомендовали: «В вашем возрасте... С вашим сердцем...» – тьфу) сына Ваньку, Ксения получила право на свой маленький хрустальный пьедестал – и он освободил ее от что ни говори, а унижительной для женщины постельной повинности. Уж чего-чего, а этого дела ему и на раскопках, и в свободное время хватало. Если быть с самим собой откровенным – что в нем так баб привлекало, что сами за ним бегали, даже ухаживать почти не приходилось? Рост у него так себе, лицо самое простое, ничуть не запоминающееся, волосы неопределенно пепельные – словом, типичный русак из северных, без предательской карей примеси, раскрасившей в шоколадные тона всяких там рязанцев и пензюков. Глаза, правда, серо-голубые, пронзительные – ну, так это у половины коренных питерцев. Голос зато достался басовито-зычный, как у армейского прапора, но таким только «Стр-ройся!» командовать, да студентов погонять, когда копать ленятся, а не дамам любезности на ушко нашептывать... Но любили, нельзя пожаловаться. Ксения же была женщиной редкого и ценного склада, и все понимала правильно: их союз для него – единственное настоящее, и всякие там «лапочки», как сама их, бывало, не взаправду гневаясь, называла – ей не соперницы. Но подробности ее, все же, наверно, ранили бы, поэтому, как всегда деликатно и без слов, она сумела поставить ему молчаливое, но безоговорочно уваженное им условие: щадить ее гордость. Он возражать и не думал:

мать его сына – звание наивысшее, поэтому, когда задерживался до одиннадцати, то непременно, войдя в прихожую и скидывая ей на руки тяжелое зимнее пальто на вате, целовал как ни в чем не бывало подставленную щеку и с достоинством сообщал жене: «Устал я, мама, как пес последний. В Публичке сидел, монографию по скифам читал. Давай, что в печи – на стол мечи, я хоть барана съем...». И съедал все до крошки – из почтения к ее труду и пониманию, хотя час назад у какой-нибудь аспирантки был насильственно кормлен в постели эклерами... На лице Ксении никогда не отражалось, что нехитрые его хитрости давно уж ею пересчитаны, и ровно звучал ее домашний грудной голосок: «Ну что, папа, сыт? Или добавки хочешь? Ну, ладно тогда, сейчас чайку подогрею...». С искренним чувством он целовал ей увядающую руку, а она ему – ничуть не польсевшее темя, и говорили за чаем о Ванькиной мымре-учителке, что сживает мальчика со свету почем зря, и прикидывали, хватит ли на покупку нового кресла – а откуда хватит: как перестройка проклятая началась, так, случалось, и ели не досыта... Но ведь все преодолели же – вместе! Если уж не говорить «святая», то почему не сказать – «идеальная»? У других мужиков не жены, а одно огорчение: одна на карьере помешалась, другая, что еще хуже, в политику подалась, третья вдруг великой поэтессой себя вообразила... А у Ксении и здесь была своя, но красивая и простая философия: «Женщине, Ленчик, летать не дано. Она может только встать на цыпочки и помахать руками, будто крыльями. Только пустое это – все равно не взлетит. Проверено, доказано. Зато мужчине, пока он летает, нужно, чтоб на земле его ждали. Вот я и жду, поэтому-то у нас с тобой все так хорошо и выходит». «Прочла где-нибудь?» – удивлялся в очередной раз умиляющийся на жену Ленчик. «Сама придумала», – с легкой гордостью отвечала она. «Хорошо, что у нас сын, а не дочка, – в другой раз убежденно бросала между делом. – С глупостями бороться не придется. Захотела бы институ-ут там какой-нибудь, карье-еру, не дай Бог – все они сейчас такие. А ведь для женщины это – прямой вред. Потому что если профессия или работа интересная – так она захватывает, не пускает в семью, к детям... Вот и рушатся семьи, вот и мужья уходят... А ей уж и работа дороже. Или какое-нибудь там... – презрительно, через уголок рта, – творчество надуманное. А работа у женщины должна быть – только для заработка, самая простая. Чтoб дома мысли не отвлекала от главного. Чтoб не крутилось в голове всякое там... Лишнее... Вот я, например...» – и она улыбалась – кокетливо и наивно-торжествующе, зная, как нравятся мужу ее слова, как ладно ложатся на сердце...

Красивая ли была? Глупости. Что такое женская красота? Могут стоять рядом две прямо противоположные друг другу женщины,

«Критическая масса» и другие повести...

и обе – красавицы. Или уродки. Тут надо как-то подавать себя, конечно, – Ксения умела. Всегда на ней кофточка какая-нибудь, брошечка... Или что там еще... Волосы не завивала никогда, гладкие были, светлые, блестящие – ближе к пятидесяти стричь их стала под эту, как ее – ну, певицу-то... Мирей Матье! – еще пластинка у них была с фотографией. В общем, «под горшок», как бабка его говорила, – а ведь шло чертовке! Но главное – это глаза, конечно. Особые были глаза у Ксюхи – большущие, иссиня-серые, с голубыми белками, с темными ресницами... И блестели, словно всегда чуть заплаканные, даже когда улыбалась... Беззащитные... За них и выделил ее когда-то.

Сердце на миг сжалось – нет, все-таки больно, какая там «зимняя печаль!». Леонид откинулся в кресле, зажмурился – и стало еще хуже, потому что мысленно увидел ее в гробу. Похожую на большую бабушку Красной Шапочки из давней Ванькиной книжки. С закрытыми глазами и в дурацком колпаке с белыми кружавчиками, что входил в традиционный «женский похоронный набор» – да кто ж выдумал такое издевательство! Знала бы она – и платье, и шарфик бы в тон приготовила... Хотя – не на бал же... Да и как к такому пригодишься...

Ксения пользовалась отменным, завидным здоровьем – во всяком случае, он не помнил, чтобы она на что-то жаловалась. Ну, подхватит иногда простуду какую-нибудь, кашляет тоненько и трогательно: «Кхе! Кхе!», да еще правый локоть последние месяцы побаливал... Он ей лекарство из рекламы сразу притащил – дорогущее. И ничего, помогло, не все, оказывается, в рекламе вранье... Правый бок заболел, как водится, перед самой ночью – она убеждала, что переможется, но, не на шутку испуганный, он впервые не подчинился ей и вызвал «скорую» сам. «Думала, так и помру с неотрезанным аппендиксом – да нет, выходит, придется расставаться...» – подбадривая мужа, шутила Ксюха, когда он вел ее за плечи в роковую белую машину... В больницу поехал с ней, в приемном покое не отпускал родную руку, а когда жену увели в недра районной «истребительной» – не уехал, как иные, с облегчением, а добился неуловимого, как мститель, дежурного врача и долго пытал его в коридоре, будто подозреваемого. И дознался, что никакого аппендиксита не обнаружено, а произошел лишь обычный кишечный спазм, и боль уже сняли уколами. Могут хоть сейчас домой отпустить, но неплохо бы до утра понаблюдаться... В вестибюль спустилась спокойная, порозовевшая от облегчения Ксюша и сказала, что боли полностью прошли, но, раз уж все равно привезли и водворили, то уж ладно, «от греха перестраخуется», и нежно велела ему идти спать, о плохом не думать, а Ванечку попросить утречком занести ей зубную щетку

Наталья ВЕСЕЛОВА

(«И ничего больше: сразу после обхода – домой!»), потому что чего она вынести не сможет – так это нечищенных зубов, а все остальное ей – плюнуть и растереть. Он крепко спал в ту ночь и ничего не чувствовал – ничегошеньки... А говорят, должен был... Утром решил все-таки занести щетку сам и, размахивая ею, как знаменем, робко сунулся в унылом «третьем хирургическом» в дверь указанной ею третьей же палаты...

Дальнейшие воспоминания причиняли жгучую боль. Кровать Ксении была пуста. Она умерла ранним утром, перед самым подъемом. Нет, никакого аппендицита – просто оторвался тромб. Во сне, без мучений.

- Да что вы тут знаете о смерти во сне! И что такое «без мучений», когда никого рядом не было! – орал Леонид в профессионально каменное лицо врача над ее уже застеленной новым бельем койкой, ожидающей новую жертву. – Может, она задыхалась, металась, хрипела! И никто не слышал, не подошел, не помог!!!

- Я слышала, – раздался тусклый голосок с соседней кровати, и Леонид перевел дикий взгляд на серое, как глина, женское лицо, утонувшее по соседству в неуместно пестрой подушке. – Я вообще не спала. Могу точно сказать, что она тихо лежала, как мышка, а потом один только раз вздохнула поглубже и погромче. И всё – отошла. Смерть праведницы...

В Пскове пришлось пересаживаться, и второй сегодняшний автобус – попроще, местного значения – вскоре бойко поскакал по разбитой грунтовке среди полей. Мысли о Ксюше, которые в первом автобусе кто-то словно писал у него в голове красивым разборчивым почерком, немедленно сбились на каракули, и целый час невозможно было сосредоточиться ни на чем толковом. Ему только все время попадались на глаза – и очень огорчали! – собственные руки, за последний год неуловимо быстро покрывшиеся густым безобразным крапом – а ведь долго оставались вполне приличными, и уж поверил было, что в здоровых генах его, да при общей молоджавости, старческие пятна не заложены... Еще как, оказалось, заложены – а ведь какие красивые руки были: крупные, но замечательно благородного очертания, умеренно загорелые и чуть-чуть мозолистые, так и кричавшие о том, что владелец их – человек хоть и не рабского звания, но ничуть физическим трудом не гнушался, перед простецами не кичился – и о высоком своем предназначении не забывал... Пока сокрушался – уж и время пришло выходить у нужного поворота.

Вылез на узкую обочину, размялся, разгоняя общую скованность. «Что там пятна, – нахально подсказали ему из черепного мрака. – Скоро разогнуться не сможешь, а там и до костыля рукой по-

«Критическая масса» и другие повести...

дать». «Достал уже! – устало отругнулся Леонид. – Да, так что там я про Ксюшу...». Он стоял в классически сказочном месте: на перекрестке трех пустынных дорог, ведущих в три разные деревни, о чем и сообщал прозаичный сине-белый указатель со стрелками. Приглядевшись к указателю внимательней, он заметил, что некий шутник, вышедший пару лет назад из автобуса на этом же месте (и, скорей всего, не один, потому что работа была проведена немалая), гвоздем или ножиком под каждой стрелкой с названием и километражем четко и жирно процарапал еще и мрачное, как следовало по законам жанра, предостережение. «Налево поедешь – машина сломается», – предрекала подпись под стрелкой влево, указывающей направление на деревню Грязны за 0,5 километра. «Естественно, – обрадовался внутренний голос, с которым Леонид на этот раз полностью согласился. – Если там дорога, как тридцать лет назад, то не только сломается, но и утонет». «Прямо поедешь – деньги пропьешь», – сообщалось под стрелкой, устремленной вперед. Тут Леонид и сам хмыкнул, потому что в двух километрах впереди по шоссе, в деревне Лехно чуть не с петровских времен располагался единственный в этой дикой степи шалман, куда на закате советской власти студенты-археологи по вечерам пешком ходили за «Столичной», – стало быть, вечно прибыльный бизнес процветал и сейчас. «Направо поедешь – за правду умрешь», – сулил поворот направо в деревню Двуполье за 3,7 километра. «Не очень-то и забавно», – обескураженно, что редко с ним за долгие десятилетия случалось, пробормотал невидимый собеседник. Действительно, несомненная правдивость двух первых обещаний предполагала то же и для третьего – а выходила полная ерунда. Даже если и предстояло там умереть – мало ли что, да в его-то возрасте, хотя, конечно, он так скоро не собирался – но почему за правду? «В конце концов, Ивану-царевичу указатель тоже угрожал погибелью – а он на Василисе Прекрасной женился, – подсказал успешный приободриться голос. – Так что предсказание это как раз хорошее. И вообще, сдурел ты, что ли, на старости лет? Василиса твоя – умерла, а ты о чуши какой-то думаешь». Леонид покачал головой, браво вскинул на плечо нетяжелый спортивный рюкзачок и не спеша, экономя и без того подрастраченные за долгую жизнь силы, тронулся в путь по широкой сухой дороге.

Да, Ксения... Экое странное дело! Ведь ему в тот год было уже за пятьдесят! Хотя и кажется теперь, свысока, что чуть ли не парнишкой был – а ведь дедом уже к тому времени заделался, и внучка в первый класс шла! Говорят, невозможно жить начерно, жизнь – всегда беловик, пиши каллиграфически! А вот и нет. До тогдашнего Ксюшиного приезда в Двуполье его жизнь именно такой и была, как черновая рукопись: серая бумага, нечитаемый почерк, кляксы во

всю страницу, густо зачеркнутые строки, неожиданные вставки и восклицательные знаки на полях, полное небрежение к орфографии и пунктуации. А с того лета страницы жизни стали как листки, что ловко выплывают нынешние лазерные принтеры: ровный печатный текст, буква к буквке, где надо – красный заголовок, в нужном месте – курсив...

А ведь черновик рассказывал – странно теперь и вспомнить! – о первом его браке, в котором жилось не так уж и плохо больше четверти века – нелепость, какая-то, дичь, будто и не с ним было. Приехал в шестидесятом из Крыма с раскопок – увлеченный своим делом, молодой, крепкий, от солнца словно облитый с головы до ног молочным шоколадом – лишь огненно-голубые глаза сияли, да пушились ржаные волосы, отросшие за лето и еще хранившие морскую соль... Оголодавший – когда мать позвала к телефону, с аппетитом поедая хрустящий «Городской» батон, разрезанный вдоль и любовно накрытый несколькими толстыми, с аппетитными жиринками кусками «Любительской»... И вдруг непонятная и неуместная Даша (потребовалось напрячь память, чтобы вспомнить – ах да, та, с шестимесячной завивкой, еще у Толяна дома познакомился; в начале лета, перед дипломом, несколько раз на дачу ее с собой со скуки возил, когда мать велела вещи какие-то туда доставлять) взволнованно потребовала какой-то мелодраматической «срочной встречи» и «серьезного разговора»... А он в те минуты всем сердцем был в лаборатории, куда привезли уже, конечно, их тщательно упакованные и описанные находки, в голове только и стучало: неужели подтвердится – или...? (Забегая вперед – еще как подтвердилось – да так, что после фамилий титулованных авторов солидной статьи о маленькой научной сенсации его фамилия была напечатана со всем уважением, целиком и при инициалах, а не скрылась в унижительном довеске «и др.»). «Не получится, – преувеличенно холодно, чтобы сразу расставить все по местам, ответил девушке Леонид. – Я сейчас очень занят наукой. И не могу ни с кем ни встречаться, ни разговаривать». Подумал еще, что никакой гордости у нее – надо же, сама парню звонит, вообще стыд потеряла. И даже слушать не стал – повесил трубку, да и пошел себе батон доедать...

Но, когда вернулся из лаборатории домой к ужину, выяснилось, что ужина никакого нет, зато в гостиной у них, откинувшись от пустого стола вместе с тщедушным стульчиком и накрывая мощным торсом отшатнувшийся к стенке модный торшер, насуплено сидит средних лет с тяжелым взглядом мужчина. При виде воспитанно поздоровавшегося Лени он с презрительным криком встал. «Я вам все сказал – теперь сами решайте», – процедил, мотнув головой в сторону странно поникших родителей и, грузно попирая веселый

«Критическая масса» и другие повести...

светлый паркет, зашагал к двери, не удостоив молодого человека и кивком. Вслед за ним метнулась, хрестоматийно промокая концом фартука глаза, бледная, как убегающее молоко, мама... Выражение лица папы было Леониду очень хорошо знакомо с послевоенных школьных лет, когда, излазив с пацанвой все окрестные чердаки и подвалы, он, чумазый, с отколотым зубом и надорванным рукавом, наконец, возвращался поздно вечером домой. Несделанные уроки не позволяли ему предаваться удовольствиям безоглядно, но мужская дружба и замечательные приключения того стоили – а родитель молча выходил в коридор, уже держа наготове свой верный фронтовой ремень...

- Ты знаешь, кто ее отец? – без гнева и осуждения, так же хладнокровно, как порол сына в детстве, спросил он и сам же ответил: – Завотделом горкома.

- Чей? – пискнул искренне недоумевающий сын.

- Девушки Даши, которую ты соблазнил и бросил беременную, – так же спокойно пояснил отец.

Леня икнул, и сразу же пронеслось смазанное воспоминание о том, как Даша (кажется, именно она, потому что на дачу он еще с одной тогда ездил, но на ту уж точно не подумаешь) придурковато-счастливо шептала ему в гремящей соловьями ночи: «Ты у меня первый, представляешь, первый!» – а ему спать до одури хотелось, он и внимания не обратил.

- И... что же мне теперь делать, папа? – малодушно спросил он.

- А – всё, – развел руками тот, ничуть не изменив деревянно-го выражения лица. – Все, что мог, ты уже сделал. Теперь остается только закрепить содеянное штампом в паспорте. Кстати, многие тебе бы еще и позавидовали.

- Да я сейчас уже не уверен, что в лицо бы ее на улице узнал! – отчаянно прошептал Леня.

- Всё, – с легким нажимом повторил отец. – К свадьбе, крестин, готовься. Потому что иначе не только тебя – что еще и полбеды было бы – но и меня эта сволоочь в порошок сотрет. А женишься без выкрутасов – карьера, считай, в кармане. Да и я из замов выберусь, наконец, и директору сверху на лысину плюну...

Та карьера, о которой мечтал для сына отец – мирно-кабинетная, пыльная, уверенно ведущая вперед и вверх, Леонида не прельщала никогда. В душе он навсегда остался вечно холостым романтиком и бродягой, без колебаний предпочитавшим тыловому книжному прозябанию трудные экспедиции и изнурительные раскопки с их малыми и большими радостями, случайными победами и серьезными открытиями – но две беспроблемные защиты чиновный

тесть, спасибо ему, обеспечил. Да и к родившейся дочке Светочке (Господи, Боже ты мой – она в том году на пенсию выходит! – выстрелила вдруг оглушительная мысль) Леонид привязался нешуточно, тетешкал ее и баловал, благодаря чему и маму ее, а свою жену Дарью вскоре стал считать вполне сносной и лучшей не желал. Она и была такой – тихой, домашней, ухоженной, в душу ему не лезла, с наставлениями не совалась. Жила своей чистой жизнью – дочка, хозяйство (няня и домработница с поваром были у них как само собой, чуть ли не бесплатные – отцу ее вроде бы от государства полагались), подружки какие-то из партийных жен, портнихи всякие, парикмахерши... Он мешать и не думал, даже в театр с ней, когда просила, таскался, перед тещей и тестем раз в месяц показывался в роли примерного мужа – все как положено... Не чуждались друг друга, со временем вроде как и подружились даже, она и посоветовать могла ненавязчиво, и дочку в уважении к отцу вырастила... В общем, о той соловьиной ночи он не то что не жалел никогда, а даже радовался, что «по залету» окрутили: ни в жизнь бы такой партии не сделал по сердечной склонности! Сам жил любимой работой, с удовольствием учил студентов археологическим премудростям – на занятиях его аудитория всегда была полна горячей в своем интересе молодежи, а когда экзамены принимал – по-пустому не зверствовал. На раскопках орудовал совковой лопатой, не чинясь, строго следил при этом, чтоб тяжелой работы – всем поровну, за кисточки-щетки брался последним, был справедлив и приветлив. За женщинами не гонялся – любовница-наука соперниц не имела – но, если какая сама намеки делала – отзывался охотно: коли бабе нейдет – отчего ж и ее, и себя не порадовать?

Все-таки отмахать без отдыха два километра – где вы, те благословенные годы, когда десять шутя наматывал, да и не с таким рюкзаком за плечами! – в конце восьмого десятка оказалось делом весьма затруднительным. Нет, если бы он с кем-то шел, то ни за что не допустил бы никакого привала для слабаков, наоборот, еще и пристыдил бы пожаловавшегося на усталость младшего путника: «Эх ты, в твоём-то возрасте! Посмотри на меня: я на двадцать лет старше, а вон как топаю. Потому что – привычка». Но рядом никого не было, а внутренний голос ему давно уже разъяснил, что к чему: и про внезапные инфаркты у разных самонадеянных почти восьмидесятилетних попрыгунчиков – тоже. Поэтому, когда дорога выскочила из белой рощи с окрепшими и раздавшимися за двадцать восемь лет вечными девственными березами, Леонид решительно двинулся к двум знакомым – стол и стул, как специально сделаны – валунам, о которых все эти годы ни разу не вспомнил, но, увидев их, возрадо-

«Критическая масса» и другие повести...

вался прямо жгуче: сел на малый, большой едва ли не обнял... Из рюкзака достал бутылочку минералки, пластиковую коробку с бутербродами – сын Ванька в дорогу настрогал, как дрова рубил, не по-Ксюшиному, аккуратными ломтиками. Вспомнил сразу же *те* ее бутерброды, *тогда* сюда привезенные, завернутые в несколько слов «Известий» – и вареные яйца сохраняли еще слабое домашнее тепло... Ванькины были с безвкусной сухой ветчиной, а растаявшее масло перемазало толстые куски черного хлеба со всех сторон – так что и пальцы испачкал. Женить пора парня... Особенно теперь, когда матери нет...

Страшно сказать – а ведь Ксению он многие годы в упор не замечал, хотя и виделся буквально каждый день на родной кафедре археологии. Ну, сидит себе секретарша за машинкой, равнодушно здоровался... Все-таки не его был круг: он, с тридцати лет доктор наук, с сорока – профессор, образованных предпочитал, аспиранток, в основном – молоденьких, кругленьких и веселых, как яблочко. Но чтоб обязательно поговорить можно было о разном, понимание встретить – да и вообще приятней; а секретарша – она ведь где-то чуть выше уборщицы.

Но однажды заболела верная машинистка, что десятилетиями перепечатывала его труды – а ему, как на грех, нужно было срочно сдавать в журнал тридцатистраничную статью – сам-то он одним пальцем всю жизнь печатал. «Да вон хоть Ксюхе халтурку дай, – от души посоветовал кто-то на кафедре, кивнув на прилежную головку, склоненную над железным монстром пишущей машинки. – За ночь настукает».

Так оно и вышло. Только, отдавая ему готовую работу, неяркая эта женщина подняла на него застенчивые влажные глаза и робко проговорила:

- Там у вас... Я заметила несколько фраз – не совсем удачных... С грамматической, так сказать, точки зрения... И взяла на себя смелость исправить... Немножечко...

Леонид вспыхнул – да что она себе позволяет! Мозгов, как у мыши, а смеет исправлять у него, у профессора! Всю статью, наверное, запорола, теперь точно к сроку не успеть! Резким гневным движением он выхватил из ее рук машинописные листы и начальственно рявкнул:

- Где?! Покажите, что вы мне тут натворили!

Пробежал глазами указанные места. Гм... А ведь как-то неумовимо доходчивей стало, читается легче... Мысли те же самые, только какие-то более выпуклые, яркие, что ли... Да и сама ничего... Толстовата слегка – ну, да ладно... Зато ножки какие, лодыжки тон-

Наталья ВЕСЕЛОВА

кие... Лицо хорошее, глазки умненькие... Ага, колечко обручальное на пальчике – меньше проблем, если что: к жене ревновать не будет... Вслух буркнул подобревшим тоном:

- Ладно, сойдет; смысл не исказили – и то хорошо...

В те минуты и вообразить не мог, что не она его к жене, а он ее к мужу ревновать станет! Что годом позже холодным балтийским летом будет метаться по маленькой комнатке гостиницы в Юрмале и, едва сдерживая до громкого шепота свой громокипящий голос, почти истерически упрекать ее:

- Как тебе самой не противно – с двумя мужчинами попеременно! Сама же говорила, что он дурак, ублюдок, что ты его презираешь! Что живешь с ним только ради сына! Думаешь, сын, когда вырастет, спасибо тебе скажет?! Да он и не поймет ничего, все примет как должное – это я тебе говорю! А ведь могла бы со мной стать по-настоящему счастливой, жить полной жизнью, а не скитаться по случайным пристанищам!

- Но ведь ты тоже не уходишь от жены ради меня! Хотя ребенок у тебя, в отличие от моего, почти взрослый! Почему ты сам не разводишься, а от меня требуешь? – тихо и робко станет возражать Ксения.

- Ну, как ты не понимаешь, что это совершенно не одно и то же! – буквально взвывает он, пораженный ее упорным нежеланием понимать очевидное. – У меня на жену и карьера, и вообще все в жизни завязано! Решит отомстить – и конец мне по всем статьям сразу! А вот тебя-то что рядом с ним держит?! Не верю, что только сын!.. А может, ты им просто прикрываешься? А сама хочешь сразу с двоих мужиков сливки снимать?!

- Мне страшно, страшно... – заплачет она... – Я все боюсь, что вдруг я с Жорой разведусь, все разрушу, а тебе надоем... Бросишь ты меня ради очередной молоденькой, и останусь я, дура, у разбитого корыта...

Он и сам не знал, когда и как успел прикипеть к ней до такой степени, что возжелал держать при себе на постоянной основе, не деля ни с кем и ничего не опасаясь. А может быть, Ксения просто случайно оказалась в его жизни именно в тот момент, когда настагает мужчину закономерная задумчивая усталость, и среди всегда неспокойного житейского моря тревожный взгляд его невольно ищет на горизонте четкие очертания надежного берега – пусть чужого, но ведь и он может стать родным.

Начиналось-то все, как всегда: кафе, шампанское с пирожными; просилась в театр – отговорился нелюбовью – в затрапезный не хотелось, а в приличном как раз плюнуть на знакомых нарваться. Вообще в личных делах своих, строго соблюдая конспирацию, он

«Критическая масса» и другие повести...

никогда не рисковал пользоваться широчайшими возможностями жены – потому и приходилось часто переносить когда смешные, а когда унижительные тяготы, на каждом шагу подстерегавшие рядового гражданина. Вспомнить хотя бы все те же гостиницы, где требовалось предъявлять паспорт со штампом о законном браке, и даже вложенный в него четвертной билет не гарантированно спасал от бдительного звонка «куда следует». Поэтому гостиницами пользовались только в полузападных прибалтийских республиках, где администраторы смотрели с одинаковым презрительным прищуром – да и то приноровились ездить туда двумя незаконно влюбленными парами. Очень просто: независимо брали два двухместных номера – один мужской, другой женский – и под покровом темноты и все тем же администраторским прищуром, приобретающим к ночи снисходительный оттенок, перемещались сначала в одну комнату – побаловаться «Рижским бальзамом» и дивными местными марципанами, а потом уж расходились каждый по принадлежности... Проще было с мягкими купе в «Красной стреле» – но только тесно, неудобно, да и Ксения всякий раз неуклюже пунцовела на недобро-испытующий проводницын вопрос: «Поменяться, гражданка, не желаете, чтобы с женщиной ехать?». Подумали было, что нашли легкий способ обмануть всевидящее око Большого Брата, иногда отправляясь на теплоходе в невинные Кижы – но только до того жуткого случая, когда пришлось безвылазно просидеть в своей каюте двое суток, потому что повезло ему вовремя заметить, как из номера «Люкс» высокомерно выходит с любовником едва ли достигшая совершеннолетия дочь одного из знакомых горкомовских инструкторов... Он тогда даже в ресторан выходить не решился – впрочем, не голодали, конечно, да и отнеслись как к волнующему приключению: «сухпакет»-то семейный (колбаски твердой палочка, «Арагат» любимый, янтарный балычок из осетра, икорки черной пара баночек, ну, и «Виолы» там сколько-то – сам не свой до нее был) он всегда захватывал с собой в портфеле, потому что одна мысль об общедоступной ресторанной кормежке причиняла страдание...

Если хорошо Леониду было с женщиной – никогда не задумывался он о том, как и когда все это закончится; знал, что всякому увлечению положен свой срок – и от чего зависит это, не гадал. Обычно все само как-то рассасывалось: незаметно зашищалась симпатичная аспирантка, переводилась в другой вуз молодая преподавательница, увозил военный муж к месту службы красивую пышечку-доктора... Ксения же всегда была – вот она: стрекочет на своей грозной «Ятрани», красиво склонив набок аккуратную головку, а когда проходит через кабинет он, ее возлюбленный, – поднимает ясный взгляд и незаметно улыбается... Оказывала она ему и вроде

бы мелкие, а на деле бесценные услуги: находила, упорно прозванивая десятки номеров, кого-то неуловимого, служила безотказным передаточным пунктом для разных его бумаг, конвертов и пакетов – когда попробуй, поймай того, кому они предназначены – а Ксения тут как тут: не волнуйтесь, Леонид Палыч, я передам – и он знал, что можно больше не беспокоиться. А уж печатала ему все в первую очередь, отодвинув и срочные задания завкафедрой. Работал он много и почерк имел невозможный, так что и опытные машинистки порой возмущались... И стал Леонид считать Ксению своей полной собственностью – с одним только не мог смириться: что этот ее поганый муж-инженеришка из какого-то вонючего КБ (не удержался, съездил раз глянуть – так и есть: козел козлом в шляпе ширпотребовской и пальтишке «накусь-выкуси») по ночам ее истязает своими гнусными ласками. Вот в абортарий она раза три бегала – Леонид ей каждый раз по четвертаку давал без всяких там – говорила, от него, да пойдя проверь... В общем, сломал ее, засовестил – и развелась со своим уродом, никуда не делась. Леонид сразу по-честному с ней рассчитался: купил однокомнатный кооператив, первый взнос оплатил, потому что не возвращаться же ей было в отчий дом – ветхую живопырку без ванной. Сын, четырнадцатилетний лохматый парень, уже наживший грязноватую полоску под носом, к матери переехать отказался, демонстративно выбрал отца-хлюпика (тот, понятно, его настроил – мол, мать предала их), а потом и вовсе в Нахимовское поступил. Это Леониду нравилось: никто под ногами в их новом гнездышке не путался, ежедневной заботы, стирок-кормежек не требовал, внимание на себя не оттягивал, волком на маминого друга не смотрел. Уж что-что – а гнезда она вить умела и, свое потихоньку отплакав (он в утешение ей тогда кольцо с сапфиром за восемьсот рублей подарил), обжилась на новом месте – и знай себе закружилась по собственному нежданному дому, захлопотала – а он ей то денежку, то вещичку редкую подбрасывал, нормальными продуктами бесперебойно снабжал... Ксения помаленьку округлилась, поздоровела, ночными халтурками изводить себя перестала, после работы сразу домой неслась – все приготовить и ждать, пока он на часок заскочет... Ждала, то и дело подбегая к окну, напряженно слушая улицу – и скоро уже начала узнавать шорох шин его въезжающей во двор новой желтой «шестерки» и радостно махала ему, идущему к подъезду, из-за шелковисто-плюшевой портьеры...

В те уютные годы всерьез увлекался Леонид культурой Псковских длинных курганов – казалось бы, за сто пятьдесят последних лет вдоль и поперек перепаханных – ан нет: случалось, случалось ему и вздрогнуть иной раз, когда внезапно отчетливо видел, как Мать-История вдруг с кряхтением поворачивается к нему другим бо-

«Критическая масса» и другие повести...

ком: на, мол, погляди, раз такой дотошный. Когда, например, вдруг обнаруживалось под его недоверчивой щеточкой в пограничном захоронении ну совершенно там неположенное архаичное каменное кресало – или радиоуглеродная дата труповложения насмешливо не соответствовала исторически доказанному возрасту полного комплекта женских погребальных украшений... А только что обнаруженный рядом был точно таким же – но на двести лет старше! Будто какая-то машина времени у них там действовала на близкие расстояния – и знобкая змейка восторга бежала по согбенной под солнцем спине... Копал, извлекал, описывал, отправлял – не разучившись мальчишески восторгаться своей властью над временем... И то сказать: вот эта оплавленная синяя бусина, найденная среди грустной кучки полусгоревших-полуистлевших женских костей, и в зеленую шубу древности завернутый медный накошник у черного черепа... Не может быть, а точно – любовно касалась их тысячу лет назад юная женщина... Наряжалась, покорная доисторическому инстинкту, узким звериным оком смотрела на молодой мир, не умея разобраться в простейших понятиях, пугаясь каждого шороха – и сама готовая убить и освежевать врага, ничуть не дрогнув дремучим сердцем... И умерла молодой – просто потому что все тогда рано умирали... И вообще, если глянуть на мир философски, оттолкнувшись хотя бы от находок в древних захоронениях, то получалось, что из многих миллиардов людей, дышавших воздухом на этой планете с момента ее появления, очень и очень не многим удалось просто вырасти, и еще меньше перевалило тридцатилетний рубеж... Можно сказать, процентов десять от всех родившихся... Так что он – редкий счастливчик из достигших достойной зрелости... Избранник, можно сказать... Вот и трудился, философствовал...

И такого удара не ожидал – совсем как в подзабытом шестидесятом, когда, ни единой сединки еще в голове не имея, вернулся из Крыма. Приехал со Псковщины радостный, как и тогда; по дороге к Ксении заскочил, убедился, что так же, как и три месяца назад, она мчится к окну на звук его машины – и поехал домой, отдать честный супружеский долг – да и про дочку узнать, Светлану – как там с новым мужем у нее дела...

Даша молча смотрела, неприятно, по-бабьи подперевшись, как он ест любимый суп с фрикадельками, специально заказанный к его приезду, недовольно косилась на медленную свою горничную («Ну, пусть поменяет ее, если не нравится, зачем перед мужем с кислой миной сидеть!») – мелькнула, помнится, равнодушная мысль), а когда та убралась, наконец, со своими тарелками, вдруг серьезно и тускло глянула Леониду в лицо и безо всякого предисловия брякнула:

- Слушай, мне нужен развод. Ты согласен в Загсе развестись

Наталья ВЕСЕЛОВА

или судиться будем? Сразу предупреждаю – если судиться, то отец мой, хочешь не хочешь, а всю правду узнает. И тогда пеняй на себя.

- Какой развод? Какую правду? Ты что, рехнулась? – оторопел от неожиданности Леонид.

- Обычный, – сухо пояснила жена. – Потому что я давно люблю другого человека – настоящего, имею в виду – и не могу допустить, чтобы он устал ждать меня. Три года я не решалась на это – из-за Светочки. Сам знаешь, как она кричала из-за того мерзавца: «Я жить не буду! Я убью себя!» – (Он, конечно, слышал те девические вопли, но о возможной их серьезности и не помышлял). – И добить ее разводом родителей я не могла, конечно... А теперь, когда у нее нормальный – тьфу-тьфу-тьфу-не сглазить – муж, который и девочку ее обожает... О, теперь я имею право вспомнить и о себе!

- Подожди-подожди... Какого это «другого человека»... – сиплым шепотом начал было пропустивший все остальное мимо ушей Леонид, но вдруг, в один острый миг захлебнувшись оскорблением и потому утратив свой грозный баритон, заорал истеричным фальцетом: – Ты чего – любовника, что ли, завела себе, дрянь?!?! Три года назад еще?!! И вот так спокойно мужу живому об этом говоришь?!! Бабка пятидесятилетняя, старуха уже, внучка есть – и туда же, передок зачесался?!! Какой еще развод – я тебе без всякого развода башку сейчас сверну?!! – и он, не соображая, приподнялся было со стула.

- Только тронь, – не повышая голоса и не двигаясь, сказала Даша. – На той неделе безработным станешь, а с партией родной еще раньше попрощаешься.

- И что, по-твоему, – мгновенно укротившись на треть, но зато продышавшись, все еще напористо загорланил он, – я должен вот так просто проглотить свой позор?!! Уползти оплеванным и еще спасибо сказать, что пинков не надавали?!! И не смей сказать старику-отцу, что его дочь – потаскуха?!!

- А сам ты откуда сейчас ко мне пришел – забыл уже? – смешливо спросила она. – Напомнить?

- Ах, во-от что... – задохнулся он, как от пощечины. – Ты ко мне, оказывается, шпио-онов приставила... Ну, расказа-азывай, расказа-азывай, дорогая... Насколько еще простирается твоя ни-изость... Давай уж сразу... Чтоб я узнал, наконец, с кем четверть века прожил...

Даша выглядела озадаченной:

- Мне действительно интересно узнать – ты всерьез считаешь, что можешь встречаться, где и с кем хочешь, а я должна всю жизнь просуществовать при тебе, как довесок, и сдохнуть так никогда никем и не полюбленной?

Он подскочил к жене и, зверски оскалившись, затряс указа-

«Критическая масса» и другие повести...

тельным пальцем у нее перед носом:

- Это разные вещи! Раз-ны-е! Способна ты понять это куриными твоими мозгами?! Просто каждому мужчине иногда расслабиться! Любая умная баба закрывает на это глаза и живет счастливо! А если жена гуляет – то это всё! Это значит, что она попросту шлюха, и ничего больше!!! – помолчал, взял себя в руки и глухо закончил: – Если ты сейчас же... вот прямо сейчас, при мне, позвонишь... этому своему... и скажешь, что передумала, и пусть он убирается к чертям собачьим или куда хочешь... И дашь мне слово, что больше никогда... Никогда... То я буду считать, что ничего не слышал... И все останется по-прежнему... А если нет...

- Нет, – спокойно и нагло ответила она. – И что дальше?

А дальше Леонида заставили подписать унижительное согласие на развод, потом, как бросают кусок мяса с наперсток пожизненно голодному льву на арене, чтоб заставить его проделывать противоестественные трюки, кинули ему захудалую однокомнатную квартиру в спальном районе – хуже, чем он лично в свое время Ксении купил – милостиво сохранили за ним работу, партбилет и научные звания – а потом он запил на неделю, раздавленный, уязвленный... И к Ксении больше идти не хотелось. Он понимал, что сильный человек в подобных обстоятельствах обязан начать новую жизнь; это требовало сильного вдоха, глубокого глотка свежего воздуха – но сначала ведь следовало выдохнуть. И тот мощный трагический выдох, казалось, унес из него навсегда и в никуда и облагодетельствованную им, но прошлому принадлежавшую любовницу, и несостоявшуюся семью, и даже далекую малознакомую внучку...

Через неделю он кое-как оправился, как пес, отлеживавшийся от побоев в вонючей конуре, сходил в местную парикмахерскую, ужаснувшись там мимоходом тем новым общегражданским условиям, в которых отныне предстояло жить, надел ненавистный (всегда ходил в стильных свитерах) итальянский костюм... Предстояла научная конференция памяти легендарного Журавлева, которого Леонид, никогда в жизни не удостоившийся высокого значества с этим гордым, непонятно как выжившим в лихолетье ученым, все-таки считал одним из своих немногочисленных учителей.

Глава 2 **Откуда ему было знать, что его там ждет...**

Ее папа был такой старенький, что своими глазами видел революцию, участвовал в гражданской войне (правда, довольно бесславно), а Великую Отечественную встретил зрелым мужчиной-

вдовцом. Благодаря ему, она ничуть не сомневалась, делясь опасной тайной только с самыми проверенными подругами, что никакого штурма Зимнего вообще в истории не было, а, как, ничуть не стесняясь юной дочери, говорил папа, просто «пьяная матросня ворвалась во дворец, насиливая добровольцев из женского батальона, подвернувшихся на пути, пока не наткнулась на зал заседаний Временного правительства». Следующим летом тщедушный питерский студент Коленька Журавлев, до того проявлявший принципиальное равнодушие к политике и демонстративно интересовавшийся только молчаливо-красноречивыми древностями, неожиданно ни для кого в один день переменив мнение и собравшись в путь, оказался в рядах самонадеянной на первых порах Добровольческой Армии (ну, не считать же было, в самом деле, серьезным противником эту разнородную и плохо вооруженную толпу сбитых с толку инородцами несмышленных, как дети, молодых мужиков). К счастью для восемнадцатилетнего Коленьки и запрограммированной на далекое будущее его единственной дочки Вероники, до первого боя дело так и не дошло, потому что красные захватили его в плен еще во время убийственно трудного с непривычки марш-броска – зазевавшегося у соблазнительного колодца, обнаруженного чуть в стороне от пути следования колонны. О чем выпытывать на допросе у свалившегося им как снег на голову пленного рядового, белобрысые мальчишки, его ровесники, не имели никакого понятия и потому, с напускной грозностью немножко поспорив для порядка о том, не пустить ли «беляка» за ненадобностью сразу в расход, на всякий случай заперли его на ночь в дощатом сарае, не пожалев для узника даже охапки свежего сена, глиняной крынки с водой и осьмушки в его же под сумке обнаруженного хлеба. Гражданская война только начиналась, и они, вероятно, просто не привыкли еще четвертовать без суда и следствия своих недавних совсем не жестоких господ, ожидали в ближайшем будущем, покамест поигрывая на свободе в мировую революцию, неминуемого возвращения мира на круги своя – и заслуженной порки в конюшне за плохое поведение. Один из них углядел на шее перепуганного барчука золотую цепочку от крестика, обождал, пока вокруг уляжется легкая буча – и припал к самой крупной щели хлипкого сарайчика, громким шепотом предлагая выгодную сделку: ему – золотой барский крест с все равно обреченной шеи, паничу – отодвинутая снаружи щеколда и оловянный крестик на шнурке в придачу, потому как оба они православные – а куда ж русскому человеку без креста... Словом, крестами обменялись, невольно побратавшись, прямо через щель, ну, а дверь была честно отперта теплой и безлунной, как специально созданной для побегов, ночью... Это маленькое, но до крови пощекотавшее нервы приключение мгновенно отбило охоту

«Критическая масса» и другие повести...

к ратным подвигам у довольно гладко добравшегося до Петрограда Николая Журавлева.

Его страстно увлеченной художественной литературой дочке Веронике, родившейся во втором браке отца (от первого осталась только смазано-серая фотография невнятной женщины в шляпке-кастрюльке), когда тот уже уверенной поступью дошел до середины собственного шестого десятка, казалось, что, написав эту романтическую историю обмена крестами на грани жизни и смерти, жизнь грубо нарушила законы жанра. Словно сказала «а» и забыла про «б». Ника – такое гордое, победное сокращение своего жалкого женственного имени девочка придумала сама, и взрослые вынужденно смирились – рано постигла тайны литературных скрытых смыслов и подводных течений. Она точно знала, что безымянный красноармеец, получивший от ее отца драгоценный крест в обмен на собственный – жалкий оловянный, просто обязан был (но никогда этого не сделал, гад!) в некий драматический момент появиться в жизни своего нечаянного побратима. На таком соблазнительном факте можно было бы построить совсем нехилый рассказ – если бы она, конечно, собиралась в писатели, а не в художники. Но еще по школьным сочинениям, особенно тем, на которые отводились сразу два урока литературы подряд, она с сожалением постигла одно из своих не очень ценных качеств: раскатившись в первые двадцать минут жарким бегучим текстом, она уже к концу первого урока окончательно сдувалась, теряла интерес к написанному, еле-еле выдавливая из себя скучные серые фразы – и, несомненно, давно бы бросила сочинение, если б не требовалось присобачить к нему какой-нибудь скомканный конец. От проверки и правки уж и вовсе с души воротило – и хорошо еще, если ставили за все нетвердую четверку. Писатель же должен торчать за столом часами, а потом еще бесконечно редактировать написанное... бр-р... И как только папа долбил эти свои бесконечные монографии; по ней – так лучше романтические раскопки, с бумажками пусть возится какая-нибудь посредственность!

Изостудия при Дворце Пионеров, куда, поддавшись на бесконечные Никины упрямства, все-таки отвела ее не одобрявшая внучкиной гуманитарности бабушка, тоже оказалась вовсе не местом бурного расцвета ее таланта. Вместо того чтобы, заглянув в победно распахнутую перед ней папку с работами, побледнеть и ахнуть: «Какая мощная кисть! Какое цветовое чутье! Да эта девушка – (Нике тогда едва исполнилось одиннадцать, но слово «девочка» было давно и с позором изгнано из ее внутреннего и внешнего словаря) – мало того, что красавица – да еще и огромный талант!» – похожая на облезлую шимпанзе преподавательница вяло перебрала рисунки и промямлила в сторону одобрительно кивавшей бабушки:

«Не вижу никаких данных. Обычно даже у младших школьников перспектива интуитивно менее искажена и присутствуют начатки композиции. Здесь же полная сумятица – а ведь ребенок уже в пятом классе». Слезы брызнули двумя толстыми горячими струями без всякой подготовки в виде предварительного накипания и пощипывания – и особенно болезненным, как незаслуженный удар линейкой по пальцам (практиковался математичкой на лентях), было отвратительное слово «ребенок». Она не ребенок! Она ослепительная красавица-художник с тяжелыми глубоко рыжими волосами, сливочной кожей без плебейских веснушек и ярко-зелеными лужайками глаз! Она – Ника, олицетворение победы! И не позволит всяким там... старым дурам... Но слезы неудержимо заливали ее, как недавно ржавая вода из прорвавшейся трубы – их замечательный, пахнущий свежим лаком паркет. Но бабушка никогда не могла выдержать внезапных внучкиных слез, особенно в последний год, после того, как похоронили ее молодую дочку, Никину несчастную маму. Поэтому, хоть и считала недопустимой блажью глупое помешательство на рисовании – вместо достойного хобби, со временем переросшего бы в уважаемую профессию – биолога, например, или медика – чем плохо для женщины! – бабушка, сама заморгав слезами, тихонько отвела Шимпанзе в сторону. Увлеченная рыданиями Ника не смогла оценить по достоинству отрывочно доносившееся до нее сдержанное бабушкино бормотание: «Как исключение... Ей самой через месяц надоеет, она и бросит... Без матери уже год... Отец весь в науку ушел... Из-за внешности переживает очень – видите, какая она у нас страшенькая, прямо беда...». Опомнилась и проглотила последние сопли, только когда Шимпанзе (потом Ника всех студийцев научит этой кличке) подошла к ней и, собрав в смешную кучку все морщинки, что, должно быть, означало улыбку, почти ласково сказала: «Хорошо, Вероника, – девчонка хотела было сунуться с поправкой, но сразу почувствовала, что с этим следует обождать. – Мы тебя пока принимаем. Но, дружок... – в голосе почувдилась смутная опасность. – Про кисть и гуашь придется забыть надолго. И приготовься – работать будешь много и скучно. С самой первой ступени. Карандашом и клячкой. Одно и то же. Изо дня в день». Ника снисходительно кивнула, за время рыданий успев придумать полностью удовлетворившее ее объяснение: эта макака просто поставлена здесь, чтобы не пропускать настоящие живые таланты; у нее полна студия бездарностей, таких же, как она сама – зачем ей кто-то понастоящему одаренный, ведь на его фоне разом станет видна цена остальных; говорил же папа, уезжая последний раз в Крым искать золото скифов, – запомни, мол, дочь: хочешь достичь чего-то большего, чем похвала за вкусный борщ – приготовься преодолевать

«Критическая масса» и другие повести...

препятствия с первого шага... Тут Ника сознательно недовспомнила окончание этой, несомненно, правильной заповеди, потому что заканчивалась она так: «...и не вздумай реветь – никогда, что бы ни случилось, слышишь? Плачет только слабак и неудачник, а такой всегда достоин презрения». Это она один раз, это случайно вышло, от неожиданности... Чур, не считается...

Папа действительно не плакал на похоронах мамы, своей драгоценной второй жены Зиночки, которая была моложе его на тридцать лет. Ника тоже не плакала – хотя слетевшиеся на труп, как чайки на дохлую рыбу, посторонние тетки одна за другой хищно хватили вежливо отдирающуюся сиротку, и, даже вырывая ее друг у друга, прижимали к своим обширным неприятно пахнущим грудям: «Поплачь, маленькая, поплачь! Поплачь – легче будет!». И каждая мечтала, чтобы Ника – какая гадость! – расплакалась именно на ее груди. А не плакала десятилетняя девочка не потому, что ей не жалко было свою милую и хорошую маму, а потому что та носатая, желтушная, с ввалившимися щеками старушка в гробу – невесть зачем глухо повязанная незнакомым белым платком и с полоской бумаги поперек голого лба – не имела никакого отношения к ее жизнерадостной тридцатипятилетней маме – круглолицей, румяной, белозубой, в крупных солнечных локонах Суламифи... И вообще казалось, что происходит странное недоразумение – во всяком случае, никто не заставит ее подойти вслед за отцом и поцеловать дурацкую бумажку на лбу у незнакомой покойницы. Поэтому, когда Нику стали подталкивать к гробу, она специально уперлась ногами, напрягла спину – и сразу была отпущена: «Не заставляй малышку – не видишь, она просто окаменела от горя!».

Папа потом говорил ночью на кухне выплаканной до дна бабушке, что поверил в смерть Зины только на похоронах, когда увидел ее мертвую, – а вот Ника именно на похоронах и разуверилась в смерти матери: как папа не заметил, что им подсунули какую-то чужую старуху вместо мамы! Потому несколько лет, до самой первой любви, когда не до того стало, Ника почти честно ждала дверного звонка. Она придумала за эти годы минимум две вполне правдоподобные версии маминого исчезновения и возвращения – ну, например, ее ни за что арестовали, продержали три года в тюрьме, разобрались и выпустили – она пришла усталая, надломленная, теперь родным предстоит ее выхаживать... Недаром же папа не плакал у гроба – все это был спектакль, затеянный специально для Ники, чтобы она не ляпнула про арест при ком не следует: думали, она маленькая и ничего не соображает, а у них в классе все давно знают, что уже десять лет как возвращаются домой несправедливо арестованные люди, и ничего в этом нет особенного... А может, болезнь, с которой маму тогда,

перед праздником, увезли на «скорой», оказалась тяжелой и заразной, ее отправили на долгое мучительное лечение куда-то в далекий горный санаторий, не надеясь на выздоровление, оттого и обманули Нику, чтобы она напрасно не ждала и не терзалась – а мама взяла и поправилась, и вот, преодолев трудности и страдания, добралась домой... Были и другие истории, пусть не такие достоверные, но тоже надежно занимавшие Нику долгие бессонные часы в постели, когда в темноте постепенно проступали нецветные очертания знакомых, но странно враждебных вещей, и квадратный железный будильник безжалостно отстукивал последние минуты ее так и не пришедшего сна...

Со временем она узнала, конечно, что ее мама Зина умерла от отека легких, до которого неосмотрительно довела себя сама, потому что успела нахвататься где-то передовых идей того сорта, что любое лекарство – яд, а организм обязан сам побеждать недуги с помощью разве что вкусных травяных настоев и надежной народной медицины... Именно так (запаренным в термосе шиповником и контрабандно добытым барсучьим жиром) она и лечила полгода свой изнурительный, напавший еще мокрым летом на раскопках кашель, который то затихал ненадолго («Что я говорила – прошел без всяких таблеток!»), то вдруг начинал рваться из нее сериями грохочущих залпов, словно внутри у мамы сидела маленькая, безостановочно палившая пушка – и тогда она заваривала новый, чудодейственный сорт грудного сбора... «Скорую» пришлось вызывать в ранних сумерках тридцать первого декабря, в самый разгар предновогодней стряпни и уборки, когда Ника только что соорудила для елки красивую голову клоуна в звездастом колпаке – из сырого яйца, выпитого бабулей через маленькую дырочку, папа втащил в гостиную безжалостно избитый палкой на свежем снегу ковер, а бабушка гордо распрямилась на кухне с железным противнем в руках, на котором умудрилась на этот раз не подпалить последний хрупкий корж для «Наполеона»...

В больнице диагностировали двустороннюю крупозную пневмонию, запущенную и уже неизлечимую... Но даже и там капризуля-Зиночка, задыхаясь до синюшности за белой ширмой смертников сразу под двумя капельницами, булькающим сипом требовала у качающих головами врачей: «Только, пожалуйста, без антибиотиков... Они мне начисто погубят иммунитет...». И он у нее, наверное, действительно был очень сильным – иначе она умерла бы гораздо раньше. А так промучилась до самого Старого Нового года...

Официально считалось, что воспитанием сиротки Ники занимается бабушка – да и сама бабушка была в этом совершенно уверена и со всей ответственностью подходила к важному процессу. Иде-

«Критическая масса» и другие повести...

альный образец воспитателя и конечный результат воспитания тоже никогда не исчезали из ее восторженной памяти, потому что боготворимая ею собственная мама расплатилась жизнью за попытку родить восьмого ребенка, и все выжившие старшие – числом три, все девочки – были переданы отцом, инженером Путиловского завода, в руки русской гувернантки Людмилы Ивановны. Он выбрал ее за целомудренную незараженность никакими вредоносными передовыми идеями вроде высшего женского образования или стриженных волос; первейшей своей задачей она видела воспитать из девочек «настоящих барышень», с гладкими, склоненными над рукодельем головками, впоследствии призванных превратиться в благовоспитанных домашних «барынь», ежегодно откладывающих в расшитые шелком пеленки по розовой человеческой личинке.

В воспитании Ники бабушка решила только на одну навязанную временем поправку: она вынужденно согласилась с тем, что внучке следует не ждать жениха у окна за пальцами, а все-таки выбрать какую-нибудь тихую интеллигентную специальность (почему-то все чаще грезился в этой связи интриговавший ее саму в юности микроскоп), а в остальное не сочла нужным вносить сомнительные коррективы. Так аж до тринадцати лет она провожала Нику в школу, изостудию и обратно, чтоб девочка случайно не столкнулась по дороге со знаменитыми «уличными мальчишками» – и даже в кошмаре не приходил к ней печальный факт, что внучкин класс примерно на треть как раз из них и состоял, и, более того, как раз им-то Ника и симпатизировала. Именно с ними, иногда прогуливая со второго по четвертый урок, она, не заходя в гардероб за своей ладной плюшевой шубкой, в чужом драном ватнике лазала по бетонным гаражам, откуда на спор соскакивала вниз – а навстречу ей выпрыгивали ржавые пружины утащенного с помойки матраца; с ними килограммами поедала посыпанный сахаром снег на заднем дворе и привязывала пустую консервную банку к хвосту шелудивой кошки – а потом, успев на пятый урок рисования, спускалась уже в пушистом красном капоре с бантом у подбородка в вестибюль к улыбающейся бабушке. В четырнадцать, причинив той острое горе («Что я упустила в твоём воспитании?!»), Ника навсегда рассталась с тугой рыжей косой – только на мытье, расчесывание и сушку которой уходила едва ли не четверть жизни – предпочтя ей пушистую сияющую копну, заставлявшую юношей оборачиваться на улице. Еще раньше выкинула длинные бязевые нижние рубахи с рукавами до кисти, глухие, как рыцарские доспехи, жесткие девичьи лифчики на многих пуговицах – и уж тем более без сожаления изгнала нелепый пояс с резинками для чулок, приноровившись попросту пришивать последние к плотным, коротко обрезанным штанишкам.

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Как ты не понимаешь, что это – не-при-лич-но! – всплескивала аккуратными руками увидевшая непатентованное пока изобретение бабушка.

- А какие, интересно, лица, будут заглядывать мне под юбку? – и Ника, смеясь, убежала.

Тот факт, что бабушка после этого весь день капала себе ландышевые капли, ее не беспокоил абсолютно: правда была на ее стороне и подтверждалась с каждым шагом – хотя бы только потому, что, шагая, не нужно было задумываться о каком-то предательски соскальзывающем чулке.

Долгое время бабушка с полным, как ей казалось, правом поздравляла себя с тем, что хотя бы в области чтения своевольный птенец, не упрямясь, доверчиво клонит с ее ладони золотые зерна детской классики минувших веков и современную героическую прозу для подростков – и ведь как трепетно обращается с книгой: обязательно обернет плотной бумагой, надпишет четкими буквами: «Сказки Андерсена», «Два капитана», «Витязь в тигровой шкуре»...

Быстрый и почти безболезненный инфаркт унес бабушку незадолго до внучкиных восемнадцати лет – а искренне горевавшей Нике не хотелось углубляться в однажды проскочившую на заднем плане красочной картины ее внутреннего мира идею: не слишком ли близко к трагическому дню (вроде, и недели не прошло) произошел их с бабушкой забавный разговор, после которого девушка, не обратив внимания на в очередной раз окаменевшее лицо бабули и очаровательно показав ей розовый кончик языка, умчалась, кружась, примерять новые узконосые «лодочки».

Она тогда дочитывала в гостиной под желтым торшером, уютно забравшись с ногами на папин любимый диван и обложившись еще мамой вышитыми подушечками, историю о вероломном Милом Друге – и книга, как, впрочем, и все, прочитанные ею в жизни, была надежно обернута и лживо (чтоб бабушка, прочитав название, не взволновалась) надписана: «Война и мир. 2 том».

Вошедшая с мороза бабушка была румяна и оживлена, и, взглянув на книгу, от которой внучка едва оторвалась, чтоб кивнуть ей, торжествуяще воскликнула:

- Ну вот, я же говорила твоему отцу! Большие романы Толстого и Достоевского в девятом классе изучать рано! А вот после школы – другое дело: когда человек более зрелый сам берет их в руки – его не оторвать. Ты уже дошла до смерти князя Андрея? Это одна из самых великих страниц русской литературы... Дай-ка сюда...

Ника растерялась и не успела вовремя среагировать, потому что за все минувшие годы бабушка ни разу не вмешалась в таинство внучкиного чтения, инстинктивно боясь спугнуть зачитавше-

«Критическая масса» и другие повести...

гося ребенка, ни разу не пришло ей в голову проверить – а над той ли книгой, которую она, священнодействуя, выдавала, напряженно склонена медноволосая головка. Книга беспрепятственно оказалась у бабушки в руках, она уже читала наугад выхваченные строки – и на лице проступала изумленная недоверчивость, заставившая ее несколько раз недоуменно глянуть на обертку – и обратно в текст.

- Ну, да, это Мопассан! – с вызовом сказала смущенная Ника. – Не вижу ничего ужасного. Мне через месяц восемнадцать, замуж могу идти! – и в самом деле, коварный писатель-растлитель действительно никоим образом не мог навредить ей, уже знавшей к тому времени наизусть и Вольтера, и Прево, и «Декамерона».

- А все-таки это чтение не для девиц, и я ее у тебя забираю, – педагогически строгим тоном объявила бабушка, захлопывая книгу. – Если тебе оказалось нечего читать – следовало просто подойти ко мне и попросить совета, а не самой доставать из шкафа книгу, которая всегда может оказаться неподходящей – как эта, из которой ты, разумеется, ровно ничего понять не смогла. В любом случае, не представляю, зачем было ее надписывать по-другому...

Она не представляла! И еще думала, что и правда может что-то у Ники взять и забрать! И если за минуту до этого Ника успела придумать оправдание – мол, оберточная бумага кончилась, и пришлось снять с только что дочитанного Толстого, чтобы не испачкать «Милого Друга» – то теперь, разозлившись не на шутку, выпалила:

- Ах, не представляешь – хорошо, я объясню! Я уже десять лет читаю книги только так – с тех пор как вообще читаю сама! Потому что та муть зеленая, которую ты мне подсовываешь, могла быть интересна разве что в прошлом веке! Я покорно брала у тебя книгу, прятала ее подальше и писала ее название на обертке той, которую сама доставала из ваших с папой шкафов! Я прекрасно знала, что такая простофиля, как ты, вовек не додумается меня проверить!

Бабушка внезапно побледнела так, что Ника даже немного испугалась.

- И... И что же ты в результате своей... лжи... прочла? – тихо спросила старушка.

Испуг внучки сменился гневом при слове «ложь»: кто кому лгал, интересно? Кто хотел оградить ее от настоящей жизни? Превратить в сюсюкающую дурочку? И поэтому она жестко и твердо ответила:

- Почти всё это. Практически всё, – и обедев рукой высокие книжные шкафы, битком забитые разноцветными, тонкими и толстыми отдельными томами и полными собраниями сочинений, с еще детской жестокостью и уже женским злорадством добавила: – А знаешь, какое мое любимое произведение? «Яма» Куприна!

Наталья ВЕСЕЛОВА

Бабушка никогда не ругала Нику – просто не умела этого делать, покрывая любовью все ее подростковые шалости. Ушла, не сказав ни слова, и на этот раз. Недосуг тогда было рыжей девчонке, почему-то ближайшие несколько дней не видевшей бабушку дома (хотя завтрак, обед и ужин по-прежнему в привычное время сами возникали на столе), разбираться, почему та неоправданно долго «дуется» – и так и не пришлось с ней за эти дни помириться...

На совершеннолетие отец неожиданно преподнес ей, тогда уже первокурснице Мухинского училища, любопытную вещицу: бронзовый браслет с несомкнутыми концами, имевшими вид примитивных змеиных головок. Дочь, археолога, она сразу поняла, что это из северочерноморских раскопок, и даже на глаз определила возраст вещицы: она была ровесницей новой эры. Ника подняла на любимого, но вечно далекого папу вопросительный взгляд.

- Да, правильно, я украл его, – весело пояснил известный своей принципиальностью археолог Журавлев, которому было тогда уже под восемьдесят. – Круглопроволочный женский браслет с ромбическим орнаментированием на концах в виде змеиных голов. Первый век нашей эры. Черноозерный могильник. Накануне того дня, когда мы откопали то женское захоронение – кстати, очень нас разочаровавшее всей этой бронзой, когда мы прекрасно знали, что там кругом лежит золото и даже рубины с Цейлона попадают – я пешком ходил на далекий междугородный телефон – еле добрался. Твоя мама сказала мне, что ждет ребенка – врач подтвердил ей это, она смеялась и плакала в трубку. И тогда я просто взял – и спрятал один из браслетов. Да-да, спер, пока никто не видел. Мои аспиранты тем временем набожно извлекали все остальное. В Ленинграде я отчистил его и подарил Зине, но она надевала его очень редко и только дома, потому что в нашем кругу все сразу поняли бы, откуда такое украшение. А ты – ты не пошла по нашим стопам, и в твоих художественных кругах он как раз то что надо, все скажут: ах, как оригинально... Так что носи. Он напрямую связан с тобой...

Когда отец сам надел ей на запястье невзрачную медяшку, по спине Ники вдруг прошел смутный холодок восторга – она почувствовала, что кто-то словно протянул ей дружескую руку сквозь мутную толщу их общего тысячелетия – только из самого его начала – в самый конец... И с тех пор она редко снимала папин подарок, словно желая компенсировать те дни, когда он лежал, забытый, в одной из маминих хороших лаковых шкатулочек.

На самом деле те самые «ее» художественные круги, которые походя упомянул отец, втянули Нику в себя еще пятнадцатилетней, благодаря подруге по студии, оторве-Катке, находившей очень взрослым, необычным и престижным довольно опасное времяпре-

«Критическая масса» и другие повести...

провождение, которое она сама называла «шатание по божественным нормам». Сама по себе детская художественная студия оказалась местом унылым: Ника и правда чуть не сбежала оттуда в самом начале, потому что хитрая Шимпанзе, решившая сразу же выдавить из талантливого коллектива случайную девчонку, заклеившую как «бесперспективная», принялась мордовать ее карандашными натюрмортами, требуя рисовать один и тот же графин с притулившимся яблоком – то в разных ракурсах относительно линии горизонта, то при различных видах освещения. Но, как только ученица окончательно разделялась с этой осточертевшей парочкой, перед ней тотчас насмешливо выставляли другую – гнусный подгнивший апельсин при ноге высокого металлического кубка – и все начиналось сначала. Ника не бросила это безумное занятие только потому, что папа и бабушка никакого серьезного значения ее рисованию не придавали, относясь к нему как к мимолетной детской забаве, и, когда за вечерним чаем заходил вдруг у взрослых разговор о достойном будущем для ненаглядной «малышки», они рассуждали о нем так, будто планировали жизнь кого-то недееспособного.

- Будут хорошие отметки по естествознанию – отдадим на био-фак, – невозмутимо говорила бабушка, отпивая из чашки.

- Нет, лучше на детского доктора выучим: для женщины возиться с детьми правильной, чем с микробами, – отзывался отец из-за газеты.

«Ах, "отдадите"?! "Выучите"?! А меня даже спрашивать не собираетесь?! – сжимала в детской кулачки двенадцатилетняя «красавица-художник». – Так я вам покажу, как мной распорядиться! Сама решу, кем быть, а изостудию назло вам не брошу!».

Даже опытная Шимпанзе, поразившись упорству похожей на недотопленного рыжего котенка малявки, с которым та остервенело выполняла ее издевательские задания, понемногу смягчилась и чуть ли не тайно заужала Нику, перестала демонстративно игнорировать ее на фоне других, принялась серьезно учить управляться с кистью, начала, кипя противоречивыми сомнениями, вглядываться в «свободные» работы девочек – и даже иногда чувствовала в них смутный скрытый смысл. Она решила понаблюдать немного и, по возможности, разгадать этот странный феномен: некрасивую девочку, почти начисто лишенную традиционных художественных способностей, от картин которой, тем не менее, хотелось зажмуриться, то застонать, то запеть... И жизнь в студии постепенно начала превращаться пусть не в интересную, но в сносную, Ника приобрела некоторое равноправие с признанными «молодыми дарованиями», ее все реже называли за глаза «чумичкой», а прилежно рисовавшая в свободное время свои фирменные «дышащие» розы первая ученица

Катя даже стала выказывать ей едва приметное расположение.

Ничего бы, может, и не случилось в ее жизни, если б не очередное ноябрьское наводнение... Они пришли в изостудию – и увидели на запертой двери кривую бумажку, сообщавшую об отмене очередного занятия: многоболезненная Шимпанзе снова взяла бюллетень. Предстояло идти в мокрой темноте по Фонтанке в сторону озверевшей Невы, нагнув голову навстречу ледяному ветру и придерживая одной немеющей рукой норовящий улететь берет, а другой – отчаянно парусящую коленкоровую папку, и жалеть, что нет третьей – для укрощения колотящегося этюдника. А дома бабушка засуетится над ней с ватрушками и учебником по биологии, и невыносимая тоска приступит перед сном при мысли о завтрашнем школьном дне – таком же беспросветном, как предыдущий... По соседству с ней перед высоким зеркалом дворцового гардероба Катька надевала нарядную, неуловимо необычную шапочку, не выглядя при этом ничуть огорченной. Она вообще всегда держалась задорно, будто жизнь ее была сплошными каникулами.

- Вот это я называю удача, – поймав Никин взгляд в зеркале, улыбнулась она. – Целых три часа – гуляй не хочу, а мать будет думать, что я в студии.

- Где ж гулять в такую погоду? – искренне удивилась Ника. – Разве в кино сходить? Да я читала программку – тут на Невском везде одна скукота идет.

- Что я, дура – на кино время терять и деньги тратить? – пожала плечом Катька, выправляя из-под своей шапочки продуманно-игривый локон. – Я в гости пойду.

- К однокласснице какой-нибудь? – со скрытой завистью вздохнула Ника.

Сама-то она, подружив до тринадцати лет с малой компанией классных хулиганов, была неожиданно ими отвергнута, когда те спохватились, что на равных общаются с презренной девчонкой, а это им вроде как уже и не по чину. Девичья же половина класса вполне справедливо считала ее «задавакой» и, выброшенную из соблазнительного мальчишечьего сообщества, в свое собственное, пока еще ленточно-платьевое, принимать не торопилась.

- Да к какой однокласснице? Не соплухе же зеленой идти! – сморщила тоненький носик с легкой горбинкой Катька. – У меня есть настоящие друзья, художники и поэты, а не этот детский сад... – она испытующе помолчала. – Хочешь – пойдем со мной? С такими людьми тебя познакомлю!

- Да! – с излишней горячностью отозвалась Ника и сразу с достоинством снизила градус: – Все равно погода плохая...

- Только... Это... – новая подружка заговорщицки взяла ее под

«Критическая масса» и другие повести...

локоток. – Тебе сколько лет?

- Пятнадцать, – прибавила себе три месяца Ника.

- Слушай, ты там, если что, скажи, что семнадцать, ладно? Оде-та ты по-взрослому, у меня помада есть – губы подкрасишь. Я тоже соврала, что школу заканчиваю и скоро совершеннолетней буду. А то они с малолетками серьезно разговаривать не станут...

Ника с готовностью согласилась – еще бы, такое приключение! – и девчонки, не замечая свирепствующего ветра и легко управляясь с папками и этюдниками, весело поскакали, подгоняемые ветром, к Казанскому собору, за мощной спиной которого располагалось троллейбусное кольцо.

- Его зовут Олег Мендель, – стала тихо рассказывать Катька, когда девчонки, честно оторвав по билету, уселись на мягкий коричневый диванчик. – Он – художник, из левых. Ну, из тех, чью выставку года три-четыре назад в Москве КГБ за два часа закрыло... Слышала? Не-ет? Да это же целая драма была! Ладно, потом... Ну, короче, он рисует не так, как официально разрешается, и в Союз его не принимают, и на выставки, само собой, не берут... Вроде тебя такой... Нестандартный... Шимпанзе бы его на смех подняла, мазилой бы обзывать стала. А он – гений... Да – гений, сама увидишь... И живет он не в квартире какой-нибудь, а... В общем, не пугайся, но в полуподвале... Чтоб в тунейдцы не попасть, он устроился художником при каком-то ЖЭКе идиотском – ну, малюет им там объявления и Красные уголки всякие оформляет... Ему выделили помещение – вроде как под мастерскую – вот там-то настоящая жизнь и идет... Увидишь – ахнешь! А люди! Знаешь, к нему все время приходят люди – спорим, что ты со своим папашей-археологом и дореволюционной бабушкой таких и во сне не видела! Художники, конечно, в основном, – а еще поэты, артисты... И девушки такие... Необычные... Одеваются... Я так не могу, например, – меня бы мать на месте прибила...

- Богатые очень, наверное? С рук покупают? – проявила взрослые познания Ника.

Катя рассмеялась:

- Что ты! Это у них считается «мови тон» – за импортными шмотками гоняться. Но они... Я даже не знаю, как объяснить... Многие сами шьют, конечно – чтоб ни на кого не похоже, но чаще просто носят самые обычные вещи – как-нибудь неправильно, но оригинально... Рядовые люди сказали бы, что они с приветом... Ну, вот например, прихожу я к нему прошлый раз – а у него там девушка сидит в длинной черной юбке до самых пяток и вроде как в цветастом пиджаке – здорово, просто жуть, особенно с этими ее ожерельями из разноцветной кожи... Потом я пригляделась – а это просто

Наталья ВЕСЕЛОВА

старый байковый халат обрзан, и другие пуговицы к нему пришиты – с пол-ладони размером...

– Олег Попов бы от зависти лопнул, – язвительно вставила Ника.

– Вот и ты туда же! – обиделась Катя, будто ее лично оскорбили. – Не знаешь, так не говори... Сейчас придем – и сама увидишь...

Они вылезли из троллейбуса напротив Фрунзенского универмага – Ника вспомнила, как они с бабушкой ездили сюда прошлой зимой за фигурными коньками – и Катя уверенно свернула с Московского проспекта в узкий темный переулок, кончавшийся и вовсе не освещенным тупиком. Но именно там, немножко слева, оказалась узкая арка, ведущая в глухой двор, а во дворе, в полуподвале совершенно безжизненного на вид дома, празднично сиял ряд разноцветных, словно уже новогодних окон, в одно из которых Никина подружка небрежно постучала носком перламутрового ботика своей мамы. В ответ открылось вовсе не окно, а незаметная дверь в торце, и, подталкиваемая уверенной Катей, Ника стеснительно вступила в свое будущее.

Там волнующе пахло сигаретным дымом – курил и ее папа, но его простые мужские папиросы не источали такого волнующего аромата, а здесь сразу упоительно закружилась голова. Все стены низкого помещения увешаны были невероятными, никогда не виданными картинами без рам, изображавшими крылатых женщин, марсианские кратеры и атомные катастрофы, странными масками не то людей, не то животных, а с потолка свисал потрясающей красоты китайский фонарь.

– Он не китаец, и потому делает китайские фонарики, – загадочно сообщила Катя. – Знакомься, Олег: это Катя, она со мной в одной студии, мы вместе будем поступать в Муху. Катя, это Олег, замечательный художник, о котором я тебе говорила...

И в круг света вступило действительно необычное существо – тщедушный молодой мужчина низенького росточка, имевший волосы такого же цвета, как и у Ники, только не пушистые, а закрученные в мелкие локоны. Борода точно такого же качества достигала хилой груди, огромные бледно-голубые глаза навывкате смотрели с очевидной усталостью. Тихо улыбаясь, он шагнул вперед и как ни в чем не бывало дружески поцеловал по очереди Катю и Нику. Катя кокетливо вернула ему поцелуй, а Ника замерла от неожиданности: как же так – они ведь совсем совсем незнакомы! Но это было только начало: в комнате, куда все они сразу же после этого вошли, оказалось еще человек пять молодых длинноволосых людей в рубашках навыпуск – и все они, как по команде вскочив при виде вошедших девушек, немедленно принялись обнимать и целовать их в обе щеки – и только

«Критическая масса» и другие повести...

потом назвали свои имена. Особенно симпатичным показался невысокий шатен по имени Алик, с мягкими волосами и затененным загнутыми девичьими ресницами взглядом. Он сразу как бы присвоил Нику себе, и, будто они были знакомы с детства, приобняв за талию, повел к низенькому столу, где был нарезан батон с толстыми кусками сыра, и стояли расписные глиняные кружки. Юноша поднял с полу уже наполовину пустую пятилитровую бутылку с чем-то бордовым – и деловито налил этой жидкости в Никину кружку до самых краев. «Боже мой, это ведь вино! – мысленно ахнула Ника, которой только последнее время папа стал за праздничным столом перед первым тостом капать чуть-чуть шампанского – на самое дно бокала. – Они хотят нас сначала напоить, а потом...». Она толкнула коленом под столом Катьку, уверенно закурившую странную длинную сигарету, и кинула на нее исполненный выразительного ужаса взгляд. Лицо подруги вдруг стало злобным и противным: «Слушай, ты либо веди себя по-взрослому, либо иди к своей бабусечке кашку кушать и не позорь меня перед людьми! – почти беззвучно прошипела она, сделав «страшные глаза». – Никто тебя напиваться не заставляет. Здесь все люди – абсолютно приличные, а не гопота какая-нибудь. Это – интеллигенция – настоящая, а не «трудовая советская»... И ничего тебе здесь не грозит, если конечно, сама себя не уронишь...». С другой стороны светло-ореховые, как у кошачьего хищника, чуть раскосые глаза Алика со сдержанным восхищением смотрели на нее из-за приподнятой кружки – и, храбро с ним чокнувшись, она пригубила свою. Вино отдавало черной смородиной и показалось чрезвычайно вкусным и безопасным – как сок; Ника с удовольствием допила до дна, не почувствовав ничего подозрительного.

- Домашнее, – гордо пояснил Алик. – Бабушка моя на даче делает – вкусно, да?

- Ой, Олег! – спохватилась вдруг Катя. – Я же тебе подарок принесла! Давно уже в папке таскаю, все времени не было заскочить.

Она выхватила старую, на семьдесят восемь оборотов[□], пластинку в пожелтевшем от времени конверте. Мендель глянул и всплеснул руками:

- «Рио-Рита»! Нет, это надо сразу же слушать!

Только тут Ника углядела в углу толстым змеем свернувшуюся медную трубу настоящего старинного патефона – как выяснилось, вполне рабочего; хозяин «богемной норы» уже накручивал ему ручку – и забавная, прыгающая музыка действительно грянула!

- Катенька, ты – прелесть! – Олег благодарно подхватил ее, и они закуружились центре комнаты в милом и грациозном танце.

Алик ловко вытащил Нику из-за стола, по-мальчишески показав язык нерасторопным товарищам – и вторая пара завертелась

рядом с первой. Все было так ново, непостижимо и так отличалось – так не было похоже на ту скучную, правильную и размеренную жизнь, которую она до тех пор вела, что и любимый родительский дом, и ненавистная школа как-то разом встали в один, мгновенно и навсегда отвергнутый ею ряд... Потанцевав, говорили – в том числе и опасно-сладкие вещи о том, как притесняют людей искусства, как удаётся иногда выставиться в захудалом ДК у недогадливого директора – на один день, потому что на следующий выставку уже громят, но и это победа! О тайных каналах переправки работ на Запад – и тут же было рассказано на эту тему несколько убийственно смешных историй – и прочтено одно грустно-обличительное стихотворение. На куске коробочного картона Алик уже набрасывал пастелью Никин портрет, который, пожалуй, был бы разорван на куски в припадке гнева уже не раз за вечер высмеянным «мастером» – закосневшей в соцреализме Шимпанзе, а Нику привел в такой не испытанный прежде восторг, что защемило сердце... После третьей кружки вина она осмелела настолько, что попросила у местного мэтра Менделя разрешения показать ему некоторые свои картины, и на его дружеское «Валяй!» немедленно притащила из прихожей папку с акварелями.

Работы смотрели серьезно – как у равной, иногда задавая конкретные, очень точные вопросы и внимательно слушая ее сбивчивые объяснения.

– Да чего тут обсуждать! – вставая, вдруг хлопнул себя по коленям Алик. – Это же кисть титана – и ежу понятно. Дай угадаю – ты считаешь себя ученицей Сикейроса, верно? Или нет – Ороско! Точно! – и на ее озадаченный взгляд: – Ты чего – правда, не знаешь Ороско? Ну, мексиканца-монументалиста? У которого сейчас выставка в Эрмитаже? Выходит, ты на этот стиль независимо вышла? Вот так вот взяла и вышла? Сама? Ну, тогда я даже не знаю, что и сказать...

За столом, где бутерброды с сыром на булке уже сменились на «Докторскую» на хлебе (кто-то ушел-пришел-принес), разом стало тихо – и все дружно посмотрели на очаровательно покрасневшую в полутьме Нику.

– Значит так, – определил Алик. – Завтра прогуливай к чертям свою школу – ты ведь в десятом, да? – тогда нестрашно – и яведу тебя в Эрмитаж, пока Ороско не увезли. Увидишь сама и заодно себе цену узнаешь, а то таких, как ты, в этих ваших пионерских худшколах обычно заклеивают... Тебя ведь клюют? Ну, и меня тоже – а теперь, в Репе, еще больше, чем раньше... И бросил бы давно – да ведь у нас известно: без бумажки ты... хм... букашка.

– Ну, вот видишь, – толкнула ее локтем Катя, когда Алик выскокил помогать хозяину в крошечную кухню, располагавшуюся в за-

«Критическая масса» и другие повести...

кутке рядом с миниатюрной, но украшенной, наверное, лучше, чем у маркизы де Помпадур, уборной. – Еще и пользу себе здесь найдешь, не только настоящих друзей и поклонников.

Ника отправилась подивиться лишний раз на невиданный туалет и, оглядывая вручную расписанные маслом сверху донизу стены, – изображались забавные приключения в городских трущобах изысканно-тощего, рыжего, очень похожего на Менделя кота – случайно услышала обрывок не очень понятного разговора на кухоньке. Голоса у обоих молодых людей были похожи, поэтому различить, кто что говорит, не удавалось.

- ...смазливенькие, а? И где ты их только берешь...

- Сами летят, я не напрягаюсь... Кстати, насчет этой... новой... ты сбавь пока обороты: она, может, из наших... И волосы эти... И зовут Никой. У гоев тоже, конечно, бывает, но все-таки...

- Зуб даю, что нет, но разведаяю... А то действительно, налетит какая-нибудь мама Роза – петлю на шею, и в Загс...

Скрипнула дверь, зазвенела посуда, и Ника осталась с кудрявым котом наедине в полном недоумении: обидно или нет то, что она слышала? Нет, наверное: это, скорей всего, тоже была какая-то элегантная богемная шутка, до понимания которой она еще просто не доросла...

Алик был по-прежнему обаятельно-настойчив:

- Ника, Ника, крылатая Ника, – дурашливо приставал он. – А как твоя фамилия? Журавлева? Очень романтично, но это ведь папина фамилия? А мамину знаешь? Необычная, наверно, какая-нибудь? Э-э... Нездешняя... Рыжее солнце на голове – это ведь у тебя от мамы? Ой, прости, я не знал... Милая, какой же я неуклюжий дурак... Нет, я имею в виду ее девичью фамилию... Петрова? – и он торжествующе обернулся к Олегу Менделю: – Вот видишь! Мой зуб останется при мне!

Прогуливать школу для Ники было делом привычным еще с глубокого детства: всякий раз она ухитрялась пройти по лезвию бритвы так, что смогла сохранить за собой репутацию хорошей, но несколько шаловливой девочки. Ее бывшие сотоварищи по хулиганству, со свойственной мужчинам до старости удалью, закусывали удила и не думали о последствиях – в то время как Ника подготавливала свои безобразия тщательно и бесстрастно, всегда заранее обзаведясь правдоподобной легендой и, в целом, не нагляда до бессмысленности. Она знала, какие уроки можно прогулять безнаказанно, а какие – себе дороже станет, блюла довольно строгие правила непослушания – и потому осталась до конца школы не запятнанной ничем бóльшим, чем случайное детское озорство. Зато теперь ей

можно было, пожалуй, целиком прогулять хоть целую неделю, впоследствии «забыв» принести справку от врача – ведь Ника никогда раньше не пользовалась этой возможностью понапрасну.

Благодаря все более настойчивому Алику, в том крутом и снежном, как бывает январь, ноябре Никина судьба в один день словно сошла с рельсов, как ни в чем не повинный пассажирский поезд, увлекающий в бездонную бездну под пологим травянистым откосом сотни беспечных пассажиров, некоторые из которых не успели даже проснуться... В ту бездну разом полетели не сотни, а тысячи предполагавшихся бабушкой и папой для Ники мирных и светлых дней, которые должны были составить ее ясную, достойную и простую жизнь: хороший, выбранный взрослыми институт, свадьба с приличным молодым человеком после пятого курса, спокойная несложная работа, послушные погодки мальчик и девочка, воскресные семейные походы в театр и совместные отпуска у теплого моря... Вспоминая те, словно Алисой в Зазеркалье проведенные полторы недели, Ника потом ни разу не усомнилась в том, что в этого нежного и странного еврейского юношу она вовсе не была влюблена. Но с первого взгляда и навеки поллюбила тот загадочный, как подводное царство, мир, в который случайно заглянула, будто попала на минутку в темный зрительный зал, где давно уже без нее показывали пленительную картину на незнакомом языке – и была грубо вытолкнута наманикюренной билетершей за то, что не имела голубенького билета. Не в Алика она влюбилась – в Ороско, потрясшего парадоксальной близостью видения и похожестью приемов, хотя что общего могло быть между ними – маститым художником из Южного полушария и растрепанной ленинградской школьницей? В китайский фонарик и смородиновое вино, в рыжую бороду безотносительно ее хозяина, в грациозно изогнутую медную шею патефона, в сколь простых, столь же непостижимых людей, посещавших полуподвал Менделя – не то мираж, не то оазис среди очередной беспробудной питерской зимы...

Но однажды в субботу утром, когда Ника снова добросовестно прогуляла школу, Алик не появился в одиннадцать часов утра в Румянцевском садике – обычной отправной точке их бесконечных удивительных странствий по родному и знакомому, но, как выяснилось, совершенно неизвестному городу. Оказалось, что и на Ленинград можно смотреть с разных ракурсов и при другом – нездешнем – освещении: из-за витринного стекла, например, странной забегаловки со стоячими столиками, где варили кофе такой густой и крепкий, что звенело в голове; или с круглой башенки на проспекте Майорова, откуда открывался вид на старые питерские крыши, на одной из которых, по легенде, был тайный лаз в замураванную во время рево-

«Критическая масса» и другие повести...

люции квартиру-призрак, не имевшую входа из подъезда – но Алик положительно обещал ей, что они непременно вскорости ее найдут – и уж тогда Ника точно будет обязана ему поцелуем! Но напрасно она пропрыгала вокруг памятника на ветру и холоде около получаса – так что уши, а также непонятные органы, обозначаемые бабушкой как «железки», нестерпимо, до слез, заломило. Напрасно потом еще около часа в черном отчаянье металась по высоким, отталкивающе чужим коридорам и лестницам института Репина в надежде случайно увидеть Алика – но спросить о нем не могла: она ведь не знала даже фамилии своего пропавшего кавалера! И, собственно, даже полного имени: Альберт? Александр? А может – Алексей? Телефона у него, как он стеснительно признался, не было – следовательно, надеяться теперь можно было только на Менделя. И в третьем часу дня – чуть не до звона промерзшая от долгой тряски в нетопленном троллейбусе, жалко втягивая голову в воротник легкого плащика (специально носила его теперь, считая вполне «взрослым» в отличие от теплого, но очень девчончьего пальто с помпончиками), она отчаянно колотила в наглухо закрытое шторой окно полуподвала.

Ника уже думала уходить, унося с собой целое озеро непролитых слез, когда дверь все-таки отворилась. Сразу юркнув в знакомую прихожую, она увидела, что Олег Мендель, нечесаный и опухший, стоит перед ней, завернувшись в куцое верблюжье одеяло, под которым, совершенно ясно, было только голое тело. Невозможно худые, покрытые свалывшейся рыжей шерстью ноги зябко переступали по заляпанному краской полу. Ника рванулась было вперед, в знакомую комнату, но он успел протянуть руку ей поперек пути и раздраженно буркнул:

- Туда нельзя. Там спят.

- Кто там, Олег? – раздался сонный женский голос, и Ника съежилась: все-таки, значит, происходило здесь и «это» – напрасно Катя твердила ей о чисто товарищеских отношениях всех гостей интеллектуального приюта...

- На минутку зашли. Спи, – отозвался он и решительно оборотился к девочке: – Вот что. Иди-ка ты домой, и вообще... Нечего тебе больше сюда таскаться.

Ника отшатнулась, будто он с размаху ударил ее кулаком в лицо: ведь не далее как вчера – ну, хорошо, позавчера! – они с Катей сидели тут часа три вместо студии, и Мендель лично показал ей три аккорда на гитаре, сказав, что в следующий раз они будут разучивать песню на его стихи, и говорил с ней пусть как с младшей по летам, но равной по достоинству!

- Почему... Что я такого сделала... – выдохнула она, преодолев жесткий сердечный спазм.

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Ничего, – ровно ответил он. – Просто я не хочу, чтобы меня в очередной раз выперли на улицу или вообще обвинили черт знает в чем и упрятали куда подальше... Всё, извини. Ты меня разбудила.

Он двинулся к входной двери с явным намерением открыть ее и попросту выставить Нику за дверь без всяких объяснений – и теперь уже она бросилась ему наперерез с обиженным детским криком:

- Ну, скажи мне, что случилось?! В чем я виновата?!!

- Ладно, – скрипнув зубами, ответил он. – Иначе ведь от тебя не отвяжешься. Короче, подружка твоя, которую ты привела...

- Это не я ее привела, а она меня, – тихо поправила Ника.

Он отмахнулся, сморщившись:

- Откуда я помню, кто кого приводит... И какая разница... В общем, она сдуру похвасталась перед старшей сестрой, что ходит сюда. Думала поразить ее оригинальным знакомством, что ли... Та взяла – и рассказала родителям. А папаша-то оказался райсоветовским работником! И вчера утром – а я ни ухом, ни рылом – ко мне вдруг заявляется целая делегация: а расскажите-ка, товарищ Мендель, как вы тут занимаетесь притоносодержанием и растлением малолетних... Слава Богу, что никакого застолья в тот момент у меня не было – иначе бы сразу крышка, но я как раз плакат «Партия – наш рулевой!» на том столе мазал. Не понимаю, говорю, о чем речь – вот, мол, работаю согласно должностной инструкции... А они мне: тринадцатилетних девочек вы тоже согласно должностной инструкции развращаете и спаиваете? Не знаю, отвечаю, ко мне только взрослые коллеги-художники заходят иногда за советом по работе. А сам дрожу – только бы какая из вас прямо сейчас не приперлась! Я, конечно, понимал, что вам не по восемнадцать – думал, ну, может, шестнадцать, всегда можно списать на то, что не знал – не проверять же паспорт! Но тринадцать – это уж извините! Тут и лесоповал, пожалуй, в полную мощь светит, если Алька тебя, например, завтра возьмет да обрюхатит! Потому что когда пятый пункт не только в паспорте, но и на морде, да еще и КГБ за тобой пристально приглядывает... Словом, звоню Алику и говорю – завязывай давай по-быстрому с этой твоей...

- Как позвонил?! У него же телефона нет! – вскричала, обливаясь слезами, Ника. – И нам не тринадцать – врут они все! Пятнадцать! Почти...

- Отец у Алика – известный зубной врач-протезист. Можно сказать, в прямом смысле на куче золота сидит. Так что как ты сама думаешь – есть у них телефон или нет? Это во-первых. Во-вторых, тринадцать или пятнадцать – это все равно малолетняя. Исполнится восемнадцать – милости прошу. А сейчас – всё, поняла? – и рез-

«Критическая масса» и другие повести...

ко, четко закончил: – За-будь сю-да до-ро-гу. Ясно говорю? Еще раз притащишься – такого «пенделя от Менделя» получишь, что враз на крыше Дворца Пионеров окажешься!

Когда ей исполнилось восемнадцать, на руке появился тысячелетний браслет, а в сумочке – студенческий билет Мухи, она туда не вернулась. Хотя подошла, постояла в переулке. Опять, как и три года назад, пугал потусторонним воем колючий питерский ветер – но под арку Ника не свернула. Улыбаясь, медленно пошла назад, к Московскому, благодарно шепча про себя: спасибо, что встретила; спасибо, что выгнал; зато теперь я – это я.

Глава 3 **А у других жизнь тоже складывалась неплохо...**

Нет, конечно, отдельную палату надо было сразу брать... Хотя кто же знал – да и как ее возьмешь – ночью? А завтра уже и смысла не имеет: утром ей врач на обходе живот потрогает – и сразу выпишут, никто тут здорового человека на койке держать не станет. А может, нужно было сразу с Ленчиком домой на такси ехать, как только сказали, что ничего страшного – сейчас бы лежала себе в своей кровати, читала роман... Но нет, испугалась: конечно, такие вдруг боли на ровном месте! Ленчик Ванечке сразу позвонил, а он, глупенький: раз справа, значит, аппендицит, вызывайте «скорую»! Ксения запаниковала, послушалась – а всего и оказалось-то – спазм толстой кишки, один укол но-шпы сделали – и как рукой... И вот лежи теперь в общей палате с пятью чужими бабами – быдло, конечно, какое-нибудь, приличный человек в такое место не попадет... Одна храпит, как ломовой конь, другая беспрерывно стонет – уколол им тут, что ли, не делают? Соседка ворочается, будто заведенная... А вонь какая – дышать только сквозь одеяло можно, и то вполсилы! Конечно: у кого-то под кроватью стоит себе открытое судно – а санитарку, пожалуй, не дозовешься, так что только утром вынесут – ужас какой! Отвернуться и заставить себя заснуть, чтоб не видеть и не слышать всего этого... Ага, как же, заснуть! Дверь в коридор – стеклянная, там свет, естественно, даже не притушили, и прямо напротив эта долговязая сестра на посту с больным из мужской палаты уже час, наверно, любезничает: он ей – бу-бу-бу, она в ответ – хи-хи-хи... Усни тут, попробуй...

Ксения все-таки улеглась кое-как на бок, натянула на голову худое больничное одеяло и закрыла глаза – но теперь одолели мысли. Счастье все же, что ей от предков досталось такое несокрушимое

здоровье – и то сказать, никто из них моложе девяноста не умирал, даже Микоянами дразнили: мол, от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича (ну, братика ее, и до тридцати не дотянувшего, можно не считать – тут совсем другая история). Поэтому, что такое бесплатная советская, а потом и российская больница, она слышала только от других, натерпевшихся и выживших. Вот хотя бы их факультет взять – были ведь и такие, что во цвете лет из больницы не возвращались: залечили до смерти... Но ее это, слава Богу, не касается – она попала сюда случайно, и ей только семьдесят (никто не верит, кстати: Ксения настолько хороша и моложава, что люди удивляются, узнав, что она на пенсии: поджарая, ухоженная, две пластики сделала – век и подбородка – ну, пятьдесят три на вид от силы)... А если здоровье есть – отчего бы и до ста не пожить? В этом году вся страна бурно отпраздновала ее юбилей – это, конечно, шутили у них в семье так: но ведь действительно – родилась 9 мая 1945 года, следовательно – Дитя Победы не за уши притянутое, а самое настоящее... Да и жизнь, в целом, шла победительно...

Жизнь? У кого как, а у Ксении их было две! Первая закончилась в тот день, когда пришла к ней – поздновато, правда, но и на том спасибо – единственная любовь, ради которой она без колебаний всем пожертвовала... А все-таки любопытно: правда ли, что человек воплощается на земле много раз, и в каждой следующей жизни искупает грехи предыдущей? Если так – то хреновая же ей предстоит будущая жизнь... Ничего, то когда еще будет – да и не с ней вовсе, а с кем-то другим, неведомым, который и родится-то, может, через пятьсот лет – чего об этом сейчас-то думать? Хотя так, конечно, лучше, чем сразу навсегда в ад, как учит христианство... Ну, это нет – сто раз ведь уже доказано: что угодно, только не христианство с его вечными муками, потому что глупо было бы – миллиарды лет жариться на сковородке за какой-то секундный порыв, за который не очень-то и отвечал в тот момент, если честно... А еще лучше – чтоб вообще ничего после смерти не было; в конце концов, мы все ведь умираем каждый день часов на восемь – и ничего. И, если там и правда ничего нет – ты об этом и не узнаешь... Хотя, конечно, похоже, что есть все-таки: все эти воспоминания о прошлых жизнях – у кого под гипнозом, а у кого и просто так... Нет, с ней, такого не бывало – не хватает еще! У нее, правда, есть другие воспоминания – тоже как сквозь пелену, будто не о своем... Ведь был у Ксении первый муж, инженер... И старший сын – Денис, они даже по скайпу иногда разговаривают, и Ксении странно слышать из уст этого седоусого, почти пятидесятилетнего моремана слово «мама» – она едва ли не морщится... А ведь она его до четырнадцати лет сама воспитывала, уроки с ним делала, а до того – в детский садик води-

«Критическая масса» и другие повести...

ла, буквы на вывесках показывала, а уж если болел! Сколько ночей не отходила от него, когда в жару лежал – казалось, случись с ним что – и... А вот надо же – как ластиком. Умом помнит – будто фильм, неинтересный и старый, смотрит – а из сердца совсем ушло... Действительно, на прошлую жизнь похоже... Когда родители развелись, Денис заканчивал восьмой класс и принципиально остался с отцом – как же, брошенный, преданный, несчастный папочка! А тот и рад стараться: миг настроил ребенка против преступной матери (не без помощи свекрови, конечно – ну, да та с первого дня на нее волком смотрела) – а сам-то что дал ей, чем осчастливил? После восьмого сын немедленно поступил в Нахимовское и только по воскресеньям дома бывал – чаще у отца, но и к ней заглядывал... Потом вырос – сразу училище Фрунзе (ей не до него тогда стало, что греха таить: у них с Леней как раз Ванечка родился) – да и во Владивосток служить отправили. С флота, правда, не ушел в перестройку, гнилым не оказался, как некоторые, все бури перенес – да только в Ленинград так и не вернулся уже... Чужой стал... Отрезанный ломоть – но и не пропал ведь! – а у нее зато Ванечка есть... Профессию себе выбрал настоящую, современную и, главное, мужскую, с высоким доходом – матери нет-нет, а подбросит денюжат или приятный дорогой подарок: «Тебе, мам, какие духи больше нравятся – от Шанель или от Диора?» – и сразу огромную бутылку тащит, не мелочится... Занимается компьютерными программами, сам их изобретает, делает сайты большим фирмам – такие умельцы сейчас нарасхват; семью создавать, правда, не спешит – так ведь это, может, и неплохо: лучше уж поздно жениться – да один раз. Ей тогда и к внукам можно будет привязываться без боязни, не страшиться, что завтра молодые разведутся, «бывшая» через год приведет детям другого папу с новой бабушкой в нагрузку – и до свидания...

Ксения почувствовала, что ее бедро и подвернутая рука затекают от долгого лежания на боку, и вынужденно перевернулась на спину, заботливо расправив простыню по нижней половине лица, потому что к атмосфере общей хирургической палаты привыкаться так и не удалось. Не мочой пахло, не лекарствами – страданиям, вот чем. А к этому привыкать она не собиралась – хватит уже, отмучилась свое той далекой ночью в деревне Двуполье, когда вот так же лежала в полутьме на спине (только Ленчик рядом безмятежно посапывал, а не эти чужие тетки), мучительно вслушивалась в зловещие звуки и гадала: снаружи дома? Внутри? Внизу?! И сердце обрывалось и останавливалось, когда чудилось, что Рыжая там... Стоп, стоп, стоп! Сколько лет уже прошло – а все нет-нет, да и сворачивают на это мысли! Но ведь кончилось же – хорошо! И, в конце концов, если бы она тогда допустила слабость, растерялась – не было бы на свете Ва-

нечки. Вот за что надо всегда хвататься, когда приходят такие воспоминания: она бы точно не решилась одна родить ребенка, опять бы взяла четвертной и побежала к Жанке в абортарий. Хорошо, что хоть Жанка, бывшая соседка, там работала медсестрой – других-то женщин, она сама видела, без всяких там уколов скоблили по две-три одновременно, потом пинком в коридор – и иди себе по стеночке... А ее, спящую, на каталке вывозили и клали на кушетку в бельевой, пока очухивалась. Просыпалась бодрая, с Жанкой в сестринской пили кофе – и, как у той рабочий день заканчивался, вместе ехали домой в автобусе и по дороге травили анекдоты про мужиков... Вот и Ваню пришлось бы так же... Так что – теперь ей жалеть об этом прикажете? Кошмары по ночам видеть? Может, еще к попу сходить и рассказать, как что было? А он пойдет и доложит по начальству, не поповскому – другому, настоящему... И кто от этого выиграет? Правильно, только поп, потому что премию, поди, получит...

Ксения повернулась на другой бок, со злостью ударила кулаком комковатую подушку, но сон даже и не думал приближаться к ее страдальческому ложу. Теперь перед ней вместо бесстрастной бежевой стенки была чужая койка через проход, а на койке тяжело вздыхала тоже бессонная женщина. Та несколько раз протягивала руку на тумбочку, осторожно стаскивала оттуда стакан с водой и, чуть приподняв голову, делала несколько глотков. Осторожно-то осторожно – а все равно звякала в стакане ложка, подрагивала хромая тумбочка, передавая тряску и на Ксеньину кровать, к которой была намертво притиснута – и все эти вместе взятые мелочи тоже не добавляли сонливости. Она опять крутанулась на сто восемьдесят градусов, предпочтя уже немножко знакомую стенку физиологии посторонней безразличной тетки. Нужно не беречь старые раны, а думать о хорошем, приятном, радостном... Ну, Ленчик, само собой... У кого повернулся бы язык – сказать, а мозги – подумать, что брак их неудачный? Нет таковых, и быть не может, потому что и дураку понятно: почти тридцать лет люди живут душа в душу, на ребеночка она – за сорок, он – за пятьдесят решились, а это ведь подвиг уже... Дом... Дом – это вообще сказка: сменяли они тогда две свои однокомнатные очень удачно, перед самой перестройкой обзаведясь отличной трехкомнатной квартирой, так что у Ванечки с рождения была собственная детская, да и они не путали спальню с гостиной, жили, как белые люди... Вот тут Ксения и проявила себя по-настоящему, всю душу вложила в свой новый выстраданный дом («Вот твой дом, вот твой вечный дом...») – как это хорошо у Булгакова). Она превратила квартиру в произведение искусства – гости, зайдя, не хотели уходить; ну, Ксюха, говорили, есть тебе, чем гордиться, три у тебя шедевра: мужа своими руками сделала, сына воспитала

«Критическая масса» и другие повести...

о-го-го и дом, можно сказать, собственноручно построила. Насчет мужа – это сущая правда: ни одна здравомыслящая женщина не стала бы спорить с тем, что мужчины со всеми их званиями и регалиями навсегда остаются детьми: даже войны, опустошающие враз по полземли, – просто их расширенные игры в солдатики. Ракету там придумать – а лучше бомбу новую, книгу написать, чтоб показать, какой умный, скелет тысячелетний раскопать – это пожалуйста. Особенно последнее очень уж смахивает на игру в песочнице... А вот по жизни... По жизни, если не ведет их твердая женская рука – то таких дров наломают, прости Господи... Шагу не знают, куда ступить, все жалобно оглядываются на мамку: правильно делаю? Жениться нормально ни один не может – только знай себе скачет за самкой, ветки ломая, и трубит, как олень в брачный период. И, если самка в Загс прибежит – так и он туда же... Ведь и Леня ее как раз плонуть на той молодайке женился бы, если б она не приехала тогда в Двуполье... К черту Двуполье – сколько можно вспоминать отболевшее... Да, так насчет мужиков: и Ванька их, программы – программами, а весь в отца: недавно она собралась было сдать бабушкину квартиру – а он вдруг давай орать: я не мальчишка! Я – мужчина, мне самостоятельность нужна! Нужна – получи. Ну, переехал – и что? Мама к нему два раза в неделю бегает, как на работу: прибраться – иначе грязью зарастет, приготовить – не то гастрит сухомяткой заработает, совет дельный дать – без этого и вовсе пропадет ни за грош... Так что все правильно: оба они шедевры – ею от начала до конца созданные... Ну, а дом... Тут уж ее царство – никто не отнимет. Потому что каждую тряпочку, каждую чашечку, каждую полочку... Нет, полочку не сама, конечно, прибавала, она ведь женщина! – но вдохновенно придумала, извернулась, чтобы воплотить в жизнь, чем-то, возможно, пожертвовала... Не говоря уж об обоях там всяких, коврах, кафеле... – это она меняла по настроению, чтобы становилось все лучше и лучше... И пространство как бы раздвигалось само, и воздуху прибавлялось... Подумать только, что и дома бы этого не было, а куковала бы она, быстро в одиночестве старея и опускаясь, все в той же малогабаритной «однушке», кинутой от щедрот богатого, но обманувшего и бросившего любовника! И что – будь она «хорошей девочкой», то сейчас бы локти себе кусала на этой койке? Ой, не верится что-то! Или она просто оказалась «девочкой» – плохой?

Кстати, насчет укушенных локтей. Никто не спорит, что иные в чем-то и раскаиваются – но не раньше, чем сама жизнь ткнет их носом в их неправоту, а еще лучше – мордой провезет по какой-нибудь воображаемой батарее. Ну, например, хрестоматийная ситуация: отбила мужа у лучшей подруги – а он все равно тебя потом бросил с ребенком-инвалидом; как хочешь, так и живи, а вокруг злорадно

талдычут: на чужом несчастье счастья не построишь. Тут, конечно, и засомневаешься, и каяться побежишь... А жизнь все равно не выправится!

А может быть, действительно: что позволено Юпитеру, не позволено быку? Ни одна религия об этом открыто не скажет, ведь каждый, даже последний дурак и замухрышка, считает себя Юпитером, а всех прочих – быками, и сразу начнет себе позволять что ни попадя... Но как ни взгляни – а странно получается: жизнь наказывает по-настоящему только мелочащихся трусов, сделавших один шаг и боящихся второго – значит, наказывает не за то, что сделали, а за то, что не довели до конца! Ну, чего ты, образно говоря, крадешь пачку тянучек в супермаркете – ты укради со склада контейнер, если уж такой любитель сладкого! Но нет, человеческое большинство именно таково: и хочется, и колется – и охранник на выходе стоит. Вот и кóсит судьба, не разбирая, где злаки, где плевелы, тысячи и тысячи человечков, сметает их как крошки со стола – за раз тысячами: то взорвется где-то что-нибудь, то цунами какой-нибудь налетит, то самолет рухнет ни с того ни с сего... А если задаться вопросом – погиб ли так, в общей массе, хотя бы один человек, способный на «нечто»? Легко ответить: редко такое случалось – обычно, даже оказавшись в эпицентре катастрофы, сильные люди как-то выживали, исхитрились избежать страшной участи – или это сама Судьба выносила их на руках? Теперь-то, почти тридцать лет спустя, разве не ясно: и ее, Ксению, бережно вынесла она после крушения на безопасный берег – положила там в холодке и выходила, потому что знала, что женщина эта, всем рискнув, совершила Поступок. А плохой ли, хороший ли – все, в конце концов, относительно... И дальше хранила ее Судьба, иногда даже словно лукаво показываясь из-за угла с осторожным напоминанием: это я, помнишь?

Однажды Ксении, уже укрепившейся в своей незыблемости, все-таки пришлось вздрогнуть по-настоящему. В тот день она, накануне управившись с отправкой в летний лагерь давно туда рвавшегося Ванечки, собралась на недельку в гости к школьной подруге, благоразумно переехавшей в более дешевый и спокойный городок в Псковской области. Билет на автобус был куплен заранее и, по железной секретарской привычке пунктуально проверив наличие документов и денег, Ксения вышла из дома с получасовым запасом времени. Деньги в ту ненадежную пору серьезно экономили, поэтому соблазнительная мысль о такси была с сожалением отвергнута, а Ленчик в те жаркие дни принимал экзамены – да и вообще она всегда старалась понапрасну его не напрягать: знала, как раздражают мужчин недалекие жены, вечно требующие от них участия в мелких бабьих делах – то в магазин за шляпкой ее сопроводи, то с

«Критическая масса» и другие повести...

работы на другом конце города встретить – нет, она была не из таких. Неторопливо пошла в удобных босоножках по улице, внимательно глядя под ноги и по сторонам – потому что очень уж гонять теперь стали эти расплодившиеся водители – и аккуратно везла за собой небольшой чемодан на колесиках, а добрые люди, как всегда, помогли спустить его в подземный переход к метро. В вагоне, однако, место никто не уступил: что ж, сама виновата, нечего так молодо выглядеть – да и ехать-то до Лиговки минут двадцать – не больше... И вот тут... Вот тут Судьба взяла – да и остановила поезд в тоннеле. С четверть часа ко всему уже привычные россияне не возмущались: есть о чем говорить, и не такое терпели – но потом решились с трепетом нажать красную кнопку связи с машинистом. «Поезд стоит по техническим причинам», – равнодушно доложил тот: конечно, ему-то что, он уже на работе – солдат спит, а служба идет – а большинство пассажиров как раз на работу и опаздывало! Ксения навсегда запомнила мерзкое ощущение захлопнувшейся мышеловки и за оставшиеся от ее запасного получаса пятнадцать минут вполне успела почувствовать красочно описанное многими чувство беспомощности и детской обиды: ведь нельзя же крикнуть машинисту, как водителю автобуса: «Откройте двери, я пешком пойду!» – потому что кто тебя выпустит в тоннель под током – и куда ты там денешься, даже если прыгнешь с проклятого поезда. Минут сорок возмущение пассажиров звучало крещендо, но напрасно тыкали они в красные кнопки переговорников, взывая туда о помощи: «Я вам что – Ванга? – сквозь хруст и скрежет рывкнул на них напоследок осатаневший машинист. – Откуда я знаю, когда зеленый свет будет?! Сейчас красный горит; погаснет – поедет!» – после чего на связь больше не выходил. Ксения оказалась в благоразумном меньшинстве, решившем отнестись к происходящему с юмором; в конце концов, в ее-то лично жизни катастрофы не предвиделось: она теряла только умеренную сумму, потраченную на билет, но прибавлять к ней еще и какое-то количество невосполнимых нервных клеток вовсе не собиралась. На другой, пусть не такой удобный, но тоже приемлемый рейс она успевала вполне – ну, а место в автобусе с уверенностью рассчитывала достать из брони... Зато она не испытала и такого бурного восторга, как остальные вызволенные пленники, когда под вагоном раздалось долгое змеиное шипение, кто-то радостно сообщил: «Оттормаживает! Сейчас тронется!» – и поезд действительно тотчас дернулся и пополз. На автовокзале Ксения сразу же удачно купила билет на другой рейс, уходящий всего лишь через час, ловко захватила в автобусе место сзади, у затемненного окна, – и вдруг, подчинившись внезапной сонливости, блаженно задремала, уютно склонив голову на собственную сложенную в несколько раз шерстяную кофту... Она

проснулась от невыносимой жары и духоты – и еще запомнилась резкая боль в затекшей шее. Автобус стоял с выключенным двигателем посреди Киевского шоссе, и, вероятно, стоял давно – потому что пассажиры уныло курили на улице. Вышла к ним и заспанная Ксения – размять задеревеневшие ноги, узнать, что к чему: нет, решительно, сегодняшний день не задался! Неподвижная пробка из дальнобойных фур и автобусов (ручеек юрких легковушек независимо журчал по узкой обочине) тянулась до горизонта в оба конца. Никто ничего толком не знал. Удалось только вырвать у водителей с трудом остановленных встречных машин неутешительную информацию о серьезной аварии впереди. У многих пассажиров, ввиду смехотворности расстояния, не оказалось с собой ни воды, ни бутербродов. (У многих, но не у Ксении, которую никогда не подводила врожденная предусмотрительность; свой чай из термоса и четыре пирожка с печенью она сочла нужным употребить незамедлительно, деликатно отойдя для этой цели в сторонку и усевшись на холме под юной березкой: кто знает – вдруг и впрямь застрянешь тут надолго, и станет неудобным не поделиться с соседями.)

Тронулись – шагом уставшей лошади – только в условных сумерках, предвещавших полубелую (от Питера все же успели отъехать порядочно) северо-западную ночь – и видимости вполне хватило для того, чтобы часа через полтора рассмотреть в кювете безоконный скелет перевернутого междугороднего автобуса с начисто снесенным задом, несколько разбросанных по трассе там и сям изувеченных легковых машин и наискось стоящую фуру со скобоченной кабиной – будто получившую по морде огромным железным кулаком... Проехав скорбное место, сразу набрали должную скорость – а выпрямившаяся в кресле Ксения все не могла откинуться на сиденье. «Не может быть. Не может быть. Не может быть», – заклинило ее на единственных трех словах, совсем не на тех, на которых заклинивает обычно женщин, хотя уж кто-кто, а Ксения-то знала доподлинно, что бывает абсолютно все.

Исключения не произошло и на этот раз. В утренних новостях, жадно включенных подругой, профессионально взволнованные голоса подтвердили ее бурлившие догадки: в кювете лежал именно тот автобус, на который у Ксении так досадно пропал билет. Заснувший дальнобойщик, уверенно вынесенный в своей высокой кабине на встречную полосу той же всевластной рукой, что ранее застопорила в тоннеле голубой поезд, срубил груженым контейнером, как топором, всю грузную корму автобуса с доверчивыми пассажирами. То, что осталось от одиннадцати человек, доставали по частям из почти напрочь оторванного куска, похожего на смятую консервную банку. Это был тот самый кусок, где обязательно постаралась бы занять

«Критическая масса» и другие повести...

место Ксения – и, конечно, преуспела бы в этом, прибыв на вокзал заранее – потому что с детства любила уютную качку кораблей и автобусов... Разметало по асфальту и несколько не успевших затормозить легковушек – но там все выжили, и пострадавших, вместе с теми, кого в передней части автобуса покалечило не до смерти, развезли по окрестным больницам в тяжелом состоянии...

Итак, кто-то все-таки присматривал за ней – и вовремя остановил поезд. Теория подтверждалась, Судьба приветливо кивала из-за угла. И другие улыбки, конечно, были – не такие, правда, ослепительные, но ведь надо уметь читать и неявные знаки! Ну, например, когда в классе у Ванечки случилась вспышка гепатита, и детей долго держали на карантине – именно он за неделю до этого схватил тяжелую ангину. Как перепугалась тогда Ксения, чуть не свихнулась со страху, ведь у ребенка три дня не спадала температура под сорок! А тем временем именно Ванин сосед по парте оказался источником смертельно опасной заразы – и сам еле выкарабкался, и два других ребенка из-за него на год отстали от школы... А когда сокращения шли у них на кафедре? Ха! Леня-то ладно, защищенный-заслуженный, пронесло, а она? Нетрудно опытному секретарю разыскать работу даже в последефолтных руинах, но как мужа без круглосуточного присмотра оставить – как бы чего не выкинул! И ведь, казалось бы, ни единого шанса выстоять в бурю не оставалось, потому что главная ее конкурентка была многолетней любовницей декана, что и скрывать давно перестала – и нате вам: декан себе молодую красотку на другой кафедре приглядел, а старую любовь уволил, не моргнув и глазом. Так Ксения не только не оказалась на улице, но и получила неожиданное повышение по службе, переехала в новый престижный кабинет и мгновенно из Ксюши превратилась в Ксению Анатольевну. Можно бы, конечно, и лет на пятнадцать пораньше, но лучше поздно, чем никогда. Так, Ксенией Анатольевной, она до недалекой пенсии и дослужила... Муж ее, Леня, о заслуженном отдыхе и не помышлял – с таких должностей, известно: только вперед ногами – но и ему не потребовалось особенно надрываться на старости лет. Как и Ксения, позже отдавшая Ванечке скромное жилье своей матери, Леонид унаследовал от родителей большую квартиру в престижном доме. Повезло сразу и надолго сдать ее приличным людям, и, в те тугие времена, когда большинство граждан, улыбки Судьбы вовек не видевших, бедовало то голодом, то общей неустроенностью, их семья пусть без роскоши, но вполне уверенно переступила высокий порог нового таинственного века...

Сын тоже никогда серьезно не огорчал родителей: учился без слепой оголтелости, свойственной тупицам, часто выходящим благодаря ей в отличники, но и лоботрясом мальчика ни в коем слу-

чае назвать было нельзя. Ровные его четверки, по мнению Леонида, свидетельствовали не об отсутствии талантов, но о высоком общем уровне развития, что позволяло особенно учебной не перегружаться. Леонид вообще о школе был невысокого мнения, считал ее необходимым злом, которое должен перетерпеть в жизни каждый, ничего полезного для сына от нее не ждал – и не дождался, конечно. Зато в институт Иван поступил с первого раза, не истрепав родителям нервы и не пустив их по миру – они нарадоваться не могли...

Все хорошо складывалось в жизни – так хорошо, как иные и не мечтали: где надо – Судьба соломки подстелила, в другом месте испугала немного, но потом выяснялось – к лучшему! За долгую свою жизнь Ксения очень хорошо усвоила не всем доступную истину: бывают в жизни неприятности, даже и крупные, которые на самом деле – благо; нужно только не спешить давать событиям очевидные на первый взгляд названия...

Вот и эта внезапная в жизни больница – смутно подумалось ей, наконец, притихшей в удобной позе, – наверняка еще отзовется какой-нибудь неожиданной удачей... И уж конечно, на случившееся тогда в Двуполье, если б не эта вековая общечеловеческая зашоренность, можно было бы взглянуть и с другой стороны...

Глава 4 Например, с такой...

«Ну, что, Наполеон, как тебе сожженная Москва?» – глумливо прозвучал в нем на время притихший внутренний голос, и Леонид торопливо опустил руки по швам. Он действительно несколько минут простоял на холме со скрещенными на груди руками, хмуро озирая лежавшую внизу полностью разоренную деревню Двуполье. Почему ему казалось, что она, как счастливый оазис, останется нетронутой, не выпьет из общей отравленной чаши, от которой отпила смертельный поток вся крестьянская Русь? Он ведь не раз стоял на этом холме в те годы – тридцать лет назад. И видел – вон там, слева, где теперь простирается до горизонта заросшая сорняками степь, необозримый плюшево-зеленый луг, и паслось там пестрое колхозное стадо племенных коров, иногда поднимавших от сочной травы свои мудрые тяжелые головы – и тогда хотелось поцеловать каждую в широкую кожаную плюху носа. Справа, где сегодня среди диких кустов виднеются искореженные, словно после жестокой бомбежки, руины надежных когда-то стен, стояли аккуратные приземистые корпуса: коровник, свинарник, телятник, целый городок птицефермы... Едва заметная сейчас среди буйных трав тропинка, по которой ему предстояло идти прямо, спустившись с холма, – раньше бежала меж двух

«Критическая масса» и другие повести...

половин пшеничного поля, и он, бывало, срывал для Ксении яркие васильки, там и тут вспыхивавшие внезапной просинью среди светлого золота хлеба... Прямо за полем стояла школа, где жили в спортзале веселые студенты, еще не опомнившиеся от романтики первой «настоящей» экспедиции, а по классам степенно расселилось парами несколько снисходительно смотревших на мелюзгу вечных паразитов – желавших чужими руками выкопать себе готовые диссертации аспирантов (сами – такая же мелюзга, но чуть покрупнее). Сам-то, ныне заросший до полного сходства с простой сопкой курган, бывлой центр всеобщего притяжения, высился на том берегу реки, и отсюда раньше можно было четко видеть аккуратные прямоугольные траншейки на горбу длинной рукотворной насыпи и неутомимых разноцветных мурашей, шевелящихся внутри – то прилежно трудилась его археологическая гвардия. Их с Ксенией дома отсюда не видно – но он, темно зеленый, с белыми наличниками, стоял чуть дальше, над нешироким ручьем, сломя голову бегущим в полноводную в тех местах Плюссу. Леонида, чьим уже громким в то время именем назывались раскопки, руководителя разношерстной молодежной толпы, очень чистенькая старушка за малую плату поместила в отдельный дом, полученный ею в наследство после недавно умершей бездетной золовки. Как теперь бы сказали, «в виде бонуса», бабка лично приносила постояльцу по вечерам литровую банку парного молока... Усталый после дня на карачках, он жадно выпивал его – сладкое, густое – в один присест, и закусывал круто посоленной горбушкой ржаного хлеба... Бабушка, конечно, давно умерла, а дом... Вдруг его просто – нет?! «Вот-вот, – издевательски прозвучало внутри. – Говорил тебе, дураку: куда ты тащишься на старости лет, там ведь давно одни развалины кругом, – нет, поперся, романтик хренов...». «Циник ты паршивый, – дал ему суровую отповедь Леонид. – Это не просто курган, хотя и он много значил в нашей науке. Это – Курган победы. Не Мамаев, правда, поменьше будет – но зато мой. И Ксеньин – ведь кабы не она... Наш с ней, стало быть. Потому и приехал. И если б мертвые могли что-то чувствовать (чушь, конечно, но иногда приятно предположить), то она бы там сейчас радовалась, что я здесь. Поэтому не суйся, придурок, в то, чего не понимаешь». Прислушался: молчал голос. Ага, застыдился, охламон...

В тот последний год своей прежней беспутной жизни он тоже, помнится, спускался со студентиками с этого холма – только тропинка была вполне прохажая, не путался он ногами в длинных жестких сорняках, не спотыкался о неожиданные кочки... Только думал совсем о другом. Стояло тогда перед его мысленным взором неправильное, но милое женское лицо, в рыжем нимбе пушистых волос... Тридцать лет прошло – что ему, зло на нее держать? Смешно... Поч-

ти на двадцать лет моложе него была – вполне естественно, что ровесника предпочла... Тогда шел, от молодняка немного поотстав, и думал тревожно: правда ли, что приедет, как обещала? На письма – действительно станет отвечать или нет?

Он бы и внимания на нее не обратил тогда на конференции памяти Журавлева, если бы вдруг у, прямо скажем, невидной стареющей девушки, сидевшей неподалеку, не завернулся вдруг широкий рукав нелепого бордового свитера. На белом, как сметана, запястье блеснул бронзовый браслет – две змеиные головки хищно смотрели одна на другую... Из Крыма его еще в молодости выдавили мастиные, да и от золота, часто и жадно выкапываемого там, у него голова никогда не кружилась, и всем раннескифским ювелирным чудесам предпочитал он какую-нибудь скромную, лимонного цвета, огнем погребального костра оплавленную бусину, вдруг найденную за пятьсот километров и лет от места и времени, где могла находиться на законном основании: ведь целый роман об этом можно написать, если умешь! Но со змейками такими знаком был прекрасно – их десятками в свое время выкапывали по всему Крыму, у мужских, женских и детских скелетов их часто находили не только на руках, но и на ногах... На тощей белой лапке надета была не подделка или копия – самый настоящий артефакт. Неужели эта молоденькая дура-археологиня поперла его с раскопок и даже не стесняется? Понятно, что все понемногу что-то тащат домой из экспедиций, но все-таки не штучные памятники древности, которым место в музее. В перерыве он подошел к ней, представился и, на правах старшего товарища, не привыкшего церемониться с молодыми и, особенно, некрасивыми коллегами, обхватил ее двумя пальцами за повинное запястье:

- Рекомендую снять. Неудобно будет, если другие заметят.

На него озадаченно глянули зоркие зеленоватые, как иная галька на черноморском пляже, глаза:

- Ой, правда, – и рыжая девица (не такая уж и девица, кстати: при ближайшем рассмотрении не осталось сомнений в том, что тридцатилетний рубеж благополучно преодолен и забыт) робко стщила с руки крамольный браслет и быстро сунула его в объемную, обшитую бахромой матерчатую суму.

- Вот и молодец, – презрительно бросил Леонид, отворачиваясь, чтобы уйти, но она вдруг ловко перехватила его за локоть:

- Вы не так поняли, я – Ника... В смысле – Вероника Николаевна Журавлева. Я вообще не археолог, я художник. А браслет мне папа на совершеннолетие подарил. Я привыкла к нему, почти не снимаю – вот и сегодня забыла. Спасибо, что напомнили, – она извинительно смотрела на него снизу вверх, и он увидел, что глаза ее заметно переменялись: из тускло-галечного их цвет стал ближе

«Критическая масса» и другие повести...

к глубокому малахитовому – ничего сверхъестественного, конечно: обычные загадки радужной оболочки у рыжих баб – а все-таки...

- Художник, да? – инстинктивно включая свой фирменный заинтересованный взгляд и понижая голос на пару тонов, спросил он. – Что же вы рисуете?

Ника улыбнулась:

- Рисуют дети. Художники тоже, конечно, иногда рисуют, но, в основном, пишут все-таки.

- Ах, пардон! – рассыпался он, тоже фирменно, по-мальчишески краснея. – И что же вы пишете?

- Разное – чаще пейзажи, жанр, портреты очень люблю писать; говорят – удаются... – Ника все так же держалась за его локоть, но только ее ладонь постепенно заползла под него и удобно улеглась на рукаве; получилось, что они уже медленно и уютно идут по длинному коридору под руку, как старые знакомые, и голос Леонида над яркой головкой Ники уверенно жужжал, как меховой июльский шмель над цветком шиповника.

- А вот, к примеру, меня... – волновался он. – Меня вы могли бы нарисовать... Э-э, то есть, мой портрет написать? Сколько вы за портрет берете? Масляными красками?

В жизни не пришла бы ему такая нелепая мысль – заказать художнику свое изображение: что он, Екатерина Великая, что ли? – а теперь вдруг показалась хорошо и правильно, если от него потомкам останется качественный портрет, профессионально написанный маслом, да и такая работа, сделанная женщиной, уж наверное, в два раза дешевле, чем если бы мужчина писал.

Ника остановилась и остро, оценивающе посмотрела ему в лицо, покачала головой:

- Это от многого зависит. С некоторых я вообще денег не беру – когда работа меня захватывает, и я понимаю, что уже не для заказчика пишу, а для себя. А с других – очень дорого запрашиваю. Одному назвала цену, а он, мерзавец, мне в ответ: вы что, с ума сошли – женщина, а столько заламываете? Были бы мужчиной – другое дело! Противно, правда? – (Леонид виновато кашлянул). – А вы... Дайте посмотреть... Так... Урод первостатейный... – (он удивленно и обиженно промычал, уже готовый стряхнуть ее со своего рукава, как гусеницу: а сама-то, подумаешь, королева красоты – драная рыжая кошка!). – Очаровательно! В нашем деле лучшего и желать нечего! Надо же, как нарочно: ни одной тривиальной черты – зато какая экспрессия... Глаза... Господи, просто Гамлет! Знаете, с таким лицом вам нужно было стать артистом, а не археологом, потому что ваше лицо раз увидишь – не забудешь. Конечно, я вас буду писать! У меня прямо руки чешутся – сто лет не видела такой идеальной модели...

Он уже благодарно бормотал вежливые плоскости, сконфуженный и польщенный, и выяснилось вдруг, что они идут, одетые в куртки, по проспекту Майорова – и когда успели с Васильевского столько отмахать, он и не заметил за разговором... Разговором? О чем они говорили? Разве помнишь, о чем бесконечно говоришь сам с собой? Он только знал, что каждое ее слово в нем, а его – в ней отзывалось уверенным «Да! Да!», словно тревожно-звонкий колокол призывал их друг к другу, чтобы бежали, бросив все дела, – туда, где главное, где будет хорошо... Он уже любил ее в ту минуту? Нет, так все-таки не бывает, наверное... И предстояло, как по нотам, разыграть в четыре руки обязательный прелюд – без которого нельзя, не принято, невозможно...

На следующий день Леонид сидел в ее крошечной квартирке, даже не однокомнатной, а еще меньше, потому что кухню со спальней-гостиной разделяла не настоящая стена, а какой-то ненадежный сквозной стеллаж, уставленный глиняными фигурками и артефактными черепками; стены были, конечно, увешаны картинами – только странноваты они показались на его вкус: фигуры все какие-то надломленные, в необычных позах, словно в будоражащем сне... Он удивился – неужели великий Журавлев не оставил дочери приличного жилища?

- Хоть эту квартиру выцарапала – и то слава Богу, – грустно рассказала она, словно прочитав его мысль. – Когда бабушка с отцом один за другим умерли – мама-то раньше еще, давно очень – я в огромной квартире осталась одна, горевала сильно, но никакой новой беды не ждала. А она уж на пороге стояла, беда-то. Как-то утром – звонок в дверь, открываю – незнакомые люди стоят, мужчины и женщины. Меня – без объяснений в сторону и – по-хозяйски на кухню, по комнатам... Я за ними бегу, кричу – в чем дело, кто вы такие?! – а они мне эдак через губу: комиссия из ЖЭКа, у вас здесь площадь освободилась, заселять будем... Я даже не поняла, что происходит – это папина квартира, кричу, он профессор был, крупный ученый! Теперь я здесь живу, уходите немедленно! А они переглядываются, подло так, и смеются: деточка, тут вам не гнилой Запад, частной собственности нет, и вся жилплощадь принадлежит не какому-то папе, а государству рабочих и крестьян. А вы, интеллигенция, – всего лишь временная прослойка, пока терпим вас... Какой здесь метраж? Так, восемьдесят три общая площадь? Пока ваш папа был жив, ему дополнительные метры полагались – заслуженный и всякое такое... А вы, кажется, еще Государственной премии не получали, милочка? Вот вам от *нашего* государства по санитарным нормам и положено двенадцать квадратных метров. Какая тут комната самая маленькая? Ага, шестнадцать квадратов... Вот и заселяйтесь в нее, да еще за че-

«Критическая масса» и другие повести...

тыре метра *излишков* будете по жировке доплачивать... А остальные в трехдневный срок – освободить. Мы эти две, что двадцать два и двадцать восемь, предоставляем двум трудовым семьям... Да, из мест общего пользования тоже не забудьте свой хлам убрать... И ушли... Я стояла, как Евгений Онегин после Татьяниной отповеди... Теперь я бы, конечно, такие трудовые семьи им показала! У папы и знакомства наверху были солидные, и друзья в чинах – в общем, нашлось бы, кому заступиться, в два счета бы квартиру за мной оставили. Но я тогда едва восемнадцати достигла, привыкла всю жизнь за папой и бабушкой... Растерялась... Думала – раз закон, то что тут поделаешь... Вот меня и взяли тепленькую... А друзья мои – тоже студенты Мухи, откуда другим взяться – надоумили быстро комнату в центре на отдельную «однушку» на окраине обменять. Ну, чтобы хоть эти самые... места общего пользования... с гегемоном не делить и дерьмо за ним не вытирать по графику... Так и оказалась здесь... С возрастом поняла, конечно, какого дурака свалила, да жизнь ведь назад не отмотаешь. Была бы членом Союза – хоть на мастерскую могла бы надеяться, так ведь еще попробуй, попади туда; пока только в молодежную секцию приняли, и то со скрипом. Но хоть надежда на что-то забрезжила... Напишите, говорят, серию картин на тему рабочих будней – стройку там какую-нибудь комсомольскую... Ох! Не могу и все, хоть тресни – с души воротит... Кофе будете? – Не дожидаясь ответа, Ника взмахнула рукой, словно дала сокрушительную пощечину кому-то невидимому, и быстро ушла на кухню.

Вот что, оказывается, происходит с людьми – и не в порядке послереволюционного передела, а в конце двадцатого века, в мирное время, в культурной столице – а он, когда из чужого дома нелюбимая жена в приличную квартиру выперла, еще несчастным себя считал! А вот если б, как у Ники: родной твой, неотъемлемый от тебя дом, где с детства каждый цветок на обоях – друг, взяли и ни с того ни с сего отдали каким-то хамам, а тебя за шкирку – и в эту вот халупу... У Леонида впервые по-настоящему заломило сердце: да как же это можно было – вот так! – с такой маленькой, беспомощной, рыженькой... Прижать бы ее сейчас к ноющему сердцу, погладить, пожалеть, поцеловать в голову... Нельзя – прелюд. Понаставили себе люди заборов – шагнуть некуда!

Прелюд их длился с конца осени до начала лета – и все никак не сменялся симфонией. Но удивительно – Леонид не раздражался, не мучился, не оскорблялся! Да устрой ему любая другая баба этакий марафон – он уже через две недели в таких бы выражениях ее послал, что бежала бы без оглядки! А тут... В который раз задавался вопросом: что в Нике такого необычного – ведь если б не браслет тогда, он бы и в сторону ее не посмотрел! Да и к рыжим обоего пола

вообще всегда с некоторой опаской относился... И в Союз Художников ее, видно, не напрасно не пускают: мазила-то она весьма посредственная. Портрет два месяца писала – ну, совершенно ни с чем не сообразно получилось: глаза у него там выпученные (специально потом перед зеркалом проверял – ничего похожего), руки как клешни, рот до ушей; весь какой-то темный, перекошенный... Он ей этого, понятно, не сказал – похвалил, все как положено – а все-таки – ну, какой там талант! Зарабатывала на жизнь плакатами, лозунги всякие на заказ рисовала... Рассказал ей как-то под настроение о своем военном и послевоенном детстве – так она на трех листах оргалита разразилась многофигурной композицией под названием «Мальчик и война» – просто кошмар, если честно: не люди, а души в аду какие-то... В общем, бедолага-неудачница – а ведь как любил ее! За руку три месяца взять не решался – все ходили под ручку, как пенсионеры в парке, иногда в рестораны ее водил, гриль-бары... Там даже танцевали иногда под оркестр – под тонким платьем у нее все ребра пересчитать можно было – он чуть не плакал от умиления... Опекал ее по-всякому – всегда беспокоился, пообедала ли, и не дай Бог, если всухомятку, надела ли в мороз теплые рейтузы, боялся, не выскочила ли без шапки на улицу... Виделись часто, все набережные, все сады городские обошли. Иногда уезжали к заливу на его верной «шестерке», а когда та зимой закапризничала – перед разводом как раз менять ее собирался на солидную «Волгу», да не пришлось – то на Никином доставшемся от отца четыреста восьмом «москвичонке». Глядя, как серьезно и деловито – словно девочка играла в маму – управлялась Ника со стальной, капризной и тяжелой машиной, отбивая тонкие пальцы об огромный пупырчатый руль, – он уж и плакать не мог: слезы набухшим комом застревали в сердце – и в то же время хотелось смеяться от счастья! На вид была у них только нежная дружба – и порой его пронзала мысль, как пуля в сердце попадала: а вдруг он ей действительно – просто старший товарищ? Или замена умершему отцу? А что – тоже археолог, тоже, может, стариком ей кажется... Но нет – ловил иногда ее лукавый, чисто женский, не дочковый взгляд – дразняще-призывный – и ободрялся: равнодушна, как на мужика смотрит... И не заметил, что украдкой приблизилось лето, а с ним – время ехать на раскопки, что шли в кургане на Плюссе уже несколько лет, обещали нешуточные открытия и готовились в том году с самой зимы – когда он еще не понял, что жизнь его навсегда перевернулась...

Перед отъездом решил: побритый до полной гладкости, надушенный французским одеколоном, с приглаженными волосами, пришел к Нике в жаркое воскресенье с букетом уже отходящих в сезоне ее любимых ландышей. Охрипшим от смущения голосом вы-



Наталья ВЕСЕЛОВА

палил заученную ночью фразу – и зажмурился: вот сейчас она ка-ак отрезет: «Вы что, Леня, с ума сошли? Как это замуж – мы же просто друзья! Да и по возрасту вы мне в отцы годитесь».

- Конечно, выйду, – просто сказала Ника. – Я ведь давно тебя люблю. Так же сильно, как и ты меня.

Было решено, что поженятся они осенью, к Леониду на раскопки она придет месяца через полтора, как только развяжется с большой заказной работой, которую делает вдвоем с напарницей, а пока влюбленные будут писать друг другу письма. Очень часто. Очень длинные. А телефона в ее конурке, конечно же, не было...

И письма пошли – помчались – в оба конца. Три недели Леонид находился в состоянии, знакомом, как считается, каждому – но лично он в начале шестого десятка испытывал такое впервые. Да, увлекался, конечно, и раньше – но совсем уж голову не терял никогда: всегда отдавал себе ясный отчет в обязательной временности происходящего и старался извлечь из очередной любви максимум приятных эмоций, в дебри психологии не вдавался, удивляясь тем мазохистам, что придумывали себе изощренные пытки – и сами же терпели от них впоследствии серьезный ущерб. В те дни он узнал – что такое за час переходить от смертного отчаянья к эйфории, когда на почте утром не оказывалось ему письма от Ники, а потом бегавшая туда за чем-нибудь студентка неожиданно доставляла ему прямо на раскопки все-таки поступивший на его имя белый конверт... Он узнал, что такое, скрючившись над кучкой праха с ситом в руках и автоматически-внимательно просеивая сухую почву сквозь четвертьсантиметровые ячейки в поисках стеклянных бусин или оловянных бляшек-скорлупок, прогонять набегающую слезу острого счастья, когда в голове всплывал отрывок простой фразы из ее только что прочитанного письма: «...и оба мы слишком много ошибались и страдали в жизни, чтобы теперь, когда она преподнесла нам такой драгоценный подарок, небрежно отнестись к нему...». Никогда он не умел и не любил писать писем – а сейчас в сердце сами собой складывались ответные строки, которые он будет вечером при свете старинной лампы под абажуром быстро-быстро писать ей любимой перьевой ручкой, местными ярко-фиолетовыми чернилами: «...моя любовь похожа на ту древнюю крапчатую бусину, которую я нашел сегодня в земле: она так же опалена огнем испытаний, так же была на столетия замурована и облеплена грязью – и вот теперь вновь увидела солнце – тебя, Ника, – и засверкала под ним, омытая очищающими слезами...». Красиво ведь? Она много читала, должна оценить по достоинству...

Но три недели прошли, до приезда невесты оставалось еще

«Критическая масса» и другие повести...

примерно столько же, когда, возвратившись с кургана позже обычного, Леонид увидел, что с крыльца его дома спускается хозяйка, как всегда, поставившая банку с молоком в сених. Старушка улыбалась и кивала ему издали, а когда он подошел и поздоровался, с доброй лукавинкой сообщила:

- Ну, вот, слава Богу, и кончилось ваше одиночество, Леонид Пальч... Жена к вам приехала. Час уже в зале сидит, дожидается. Я уж ей и чайку... Теперь хоть будет кому по хозяйству управиться. А то мыслимое ли дело – один да один мужик, без бабьего догляду...

- Ника! – он радостно приобнял бабульку за плечи и разве что не расцеловал. – Пораньше, значит, приехала! Вот уж действительно – сюрприз так сюрприз!

Он юношески легко взлетел по ступеням, сияя улыбкой, распахнул дверь в горницу – и там действительно ждал его еще больший сюрприз, чем он думал: у стола напряженно сидела Ксения. Полностью выкинутая им из головы и сброшенная со всех счетов. Нет, конечно, последние полгода они ежедневно виделись на работе, хотя Леонид и старался пореже оказываться в поле ее зрения. Пару раз, что греха таить, он даже забежал к ней домой по старой памяти – но, захваченный Никиным образом, дважды потерпел со старой любовницей удивившее его самого фиаско. Оправдался усталостью, рабочей загруженностью, нервным истощением после развода и унижительного изгнания, на ходу вспомнил, что у дочери опять что-то там в семье не складывается – экспромтом выразил свою по этому поводу горячую озабоченность... Словом, все эти месяцы он намеренно вел себя так, чтобы Ксения – умная женщина, хорошо его знавшая – могла раз и навсегда убедиться: их прежние отношения закончились. Не маленькая – должна понимать. Ему казалось, что она и понимала... И вот – на тебе!

- Не сердись, Ленчик... – смиренно начала Ксения, а его перевернуло: ну какой он ей теперь Ленчик! – Если ты скажешь, что я должна уехать, то я уеду прямо сейчас...

Чего он всегда инстинктивно боялся чуть не до паники – так это выяснения отношений с не желающими понимать самых простых вещей дамочками. Вот сейчас как завалит его упреками, обвинатит с ног до головы, а он должен будет перед ней, как двоечник перед учительницей, оправдываться. Поэтому он не стал входить в комнату и здороваться, сурово остановился в дверном проеме и попробовал сходу предотвратить катастрофу:

- Да, – ответил мягко, но внушительно. – Я думаю, ты и сама понимаешь всю бессмысленность своего приезда.

Ее огромные серо-синие глаза, и без того всегда делавшие ее похожей на большую, безобидную, тяжело раненную извергом-бра-

Наталья ВЕСЕЛОВА

коньером олениху, мгновенно наполнились тяжелыми слезами.

- Конечно, – сдавленно прошептала она. – Просто я хочу знать... Имею право знать... Скажи... У тебя другая женщина?

Он рубанул наотмашь – другого выхода не было, да и покончить с этой тяжелой сценой следовало быстро и радикально:

- Да. Осенью я женюсь. Извини, конечно, что раньше не сказал, но как-то повода не было.

Ксения на миг закрыла лицо руками, а когда убрала их – слезы сплошь заливали лицо, она еле выговорила:

- Ты... ты мог хотя бы позвонить... Ведь ходишь же, наверное, звонить...ей... Вот и потратил бы на меня... пятнадцать копеек... Просто сказал бы... чтоб я не ждала... А то – взял и уехал... Ни слова ни сказав...

- Я не хожу звонить ей, у нее телефона нет, – раздраженно объяснил Леонид. – Мы переписываемся. А ты, кстати, прекрасно знала, когда и куда я еду, как и все на кафедре. Если хотела попрощаться – могла подойти в любое время. И не затрудняла бы себя напрасной поездкой.

Отчаявшаяся женщина беззвучно рыдала:

- Я все еще надеялась... Я не верила... Что ты мог так со мной обойтись... Заставил меня разрушить мою семью... Расстаться с мужем, сыном... Вытерпеть всеобщее осуждение... – она вдруг сорвалась и отчаянно выкрикнула: – Меня ведь в глаза гулящей называли! Я думала, теперь ты свободен, немножко оправившись – и будешь только со мной... И все кругом увидят... А ты... Ты!..

Ксения сложилась пополам, икая от слез, доходя почти до рвоты – а он стоял в дверях, как дурак, и молчал. Кое в чем она, положим, была права, кто же спорит – но так уж случилось, откуда ему было знать тогда, что все так обернется... Да еще и ночь, как назло, на дворе – не выставишь же ее действительно сейчас на улицу... Хорошо, что в избе есть вторая комнатка за занавеской – вот туда он ее на ночь и определит, а утром проводит до шоссе, благо все уже сказано...

Она пришла, когда Леонид с трудом начал задремывать, – в самый глухой час ночи, когда чуть надкушенная справа луна, извечный друг убийц и любовников, уже выплыла из-за края соседской крыши и брызнула жидким серебром ему на постель. Ксения робко показала из-за своей занавески, серебряно-обнаженная, облитая по плечам душистым медом волос; миг – и ее влажная щека уже прижалась к его лицу, звучал в ушах знакомый грудной голос: «Не отталкивай меня... Пусть это будет наша последняя ночь... Я хочу навсегда запомнить ее... Мой любимый... Не гони меня... Тебя никто не будет любить сильнее...». А он что – не мужик, что ли? Полгода

«Критическая масса» и другие повести...

платонических ухаживаний уже не раз доставляли нешуточные ночные терзания; с Никой – когда еще, да и получится ли так складно – а тут родная, можно сказать, годами проверенная женщина... Он и не думал ее отталкивать – притянул к себе с первобытной жадностью!

Она еще не проснулась, когда утром Леонид убежал на раскопки, спала, раскинувшись, розовая и особенно соблазнительная во сне. Он постоял над ней, поудивлялся: вот ведь Ксюха – зрелая, во всем подходящая ему баба, и насколько Ники красивей, а он почему-то запал на ту, худосочную и с проблемами, с которой еще неизвестно как сложится... Вечером возвращался беспокойный: уехала ли Ксения? После этой их незапланированной ночки – как теперь прогнать ее с прежней твердостью? И куда, кстати? – вечер ведь опять на дворе. А если останется – опять ночью придет, тут и гадать нечего... Так и встретя постепенно – потом не отделаешься; бабы это умеют.

Ксения действительно оказалась в доме – приветливая, хлопотливая, улыбчивая. Будто и не было вчера между ними ужасного разговора о далекой невесте, о его жестокости, об их расставании... Топилась белая печка, прогоняя прочь избяную затхлость, на плитке аппетитно шкворчало что-то вкусное в чугунном горшочке, стол на кухоньке был нарядно накрыт, нарезан в корзинке на вышитом рушнике хлеб, лежали помытые огурцы на расписном блюде, алела яркая редиска среди свежей зелени, а знаменитое хозяйское молоко было перелито из банки в чистую глиняную крынку... В горнице на белом свежескобленном полу Ксения расстелила славные пестрые половички, пахло глаженным бельем, одежда была собрана со стульев и аккуратно развешена на плечиках в шкафу, занавески и скатерть радовали скромной льняной чистотой, букет ромашек и колокольчиков красовался на подоконнике... За один день его запущенная холостяцкая берлога, по опрятности сравнимая с медвежьей, превратилась в уютное семейное гнездышко с расторопной хозяйкой, не очень-то и прячущей виновато-веселую улыбку:

- Я еще на денек задержусь, ничего? Ты тут так запустил всё за эти недели, что мне в один день не разобраться... Завтра я баньку затоплю и проверну большую стирку – у тебя ведь почти ни одной чистой вещички не осталось! Да и попарюсь с тобой заодно на дорожку – когда теперь в следующий раз придется... А уж потом и поеду, когда буду за тебя спокойна... – Ксения вздохнула с грустинкой и опустила глаза.

Надо было быть уж вовсе бесчувственной скотиной, чтоб теперь не подойти к ней, не поцеловать с искренней благодарностью – а ее такие знакомые руки уж обвивались вокруг его шеи, глазички сияли... И все-то она за день успела: выяснила, у какой хозяйки брать крупные яйца, а у какой есть сепаратор, чтоб делать жирные

Наталья ВЕСЕЛОВА

сливки, в каком из двух магазинов свежее булка, а где по утрам иногда выбрасывают «Любительскую»; договорилась о бесперебойной поставке укропа с петрушкой, притащила полную сумку отборной прошлогодней картошки – а он до этого только хлебом с консервами питался – и даже достала у кого-то деревенской сметаны и ослепительный кусок сливочного масла...

Весело поужинали вдвоем, балагурия, как встарь, – а про то, в какой комнате ей ночевать, разговор уж и не заходил, конечно. Когда Ксения, нахлопотавшись за день, заснула, трогательно уткнувшись носом в его плечо и, тихонько, как котенок, посапывая, он умиротворенно смотрел в дощатый потолок, по которому снова ходили серебряные тени, и думал о том, что слишком скоро уезжать ей, вроде бы, и необязательно. Пусть поживет с ним пару недель по старой памяти, похозяйничает, раз нравится... Ника ведь раньше августа не приедет – сама сказала; а ему тут что – одному одичать, что ли? Как сообщит в письме дату приезда – так он за пару дней с Ксенией и распрощается по-хорошему, без обид и слез – она ведь все понимает: вон, как по-женски деликатно ведет себя, неудобных вопросов не задает, ничего не требует... Ну, а если кто потом заинтересуется, что за женщина в доме жила, или Нике гад какой-нибудь шепнет, он ответит – сестра гостила. Есть же у него сестра в Москве? Ну, вот и гостила у брата, помогала ему по-родственному. А злые языки пусть мелют, Ника и внимания обращать не станет, она выше всего этого...

Ксения осталась, даже не спрашивая, – затопила в субботу баньку, вместе попарились от души, постегали легонько друг друга дубовыми вениками. После и водочки тяпнули под малосольные огурчики – русские же люди, какой тут грех – а уж соленья у Ксении всегда были выше всяких похвал. Как он Нику ни любил – а все же умом понимал, что никогда у нее в такой холе и спокойствии жить не будет. С ней надо часами вести сложные разговоры, вникать в ее проблемы – нет, он не против, он свой выбор сделал: ведь не зверь же бессмысленный, чтоб на пищу и самку променять свое счастье! Но почему бы хоть напоследок себя не побаловать? И отчего-то не особо обеспокоился тем обстоятельством, что письма от Ники уже четыре дня не приходили.

Никаким почтовым ящикам он в деревне не доверял, сговорился с почтаркой, что будет лично заходить за почтой перед работой – и она ему когда письмо, когда два заботливо откладывала в сторонку. На пятый день, слегка встревоженный, снова заскочил:

- Точно нет? Да вы, может, невнимательно смотрели?

- Да что вы, Леонид Палыч, – обиделась простая женщина. – У нас все четко: раз нет – значит, не доставляли.

Не было писем и на шестой день, и через неделю... Леонид

«Критическая масса» и другие повести...

уж не знал, что ему делать: волноваться или сердиться на Нику. В глубине души он чувствовал, что все с ней в порядке – а значит, просто остывает к нему, отвыкла понемножку... Через полдня он уже стыдился этих мыслей: быть того не может! А вдруг она в больницу попала и лежит там сейчас одинокая, никому не нужная – почему-то представлялись кровавые бинты вокруг головы – а он тут с бабой в свое удовольствие развлекается! На десятый день поставил сам себе срок: не придет письма еще три дня – и он на следующее утро дневным автобусом отправляется в Ленинград. Разлюбила – пусть так и скажет, он ей не мальчик, чтоб за нос его водить. А если, не дай Бог с ней случилось что-нибудь... Об этом и думать серьезно не хотелось – хотя и подмигивала иногда мыслишка: а вдруг Нике, например, трамваем ногу отрезало? Приходить тогда в больницу или уж лучше сразу, не заходя к ней, обратно вернуться? Но письмо пришло как раз в день предполагаемого отъезда. «Здравствуй, Ленья! – бежали перед глазами строчки, мелкие и черные, как зловредные больно-кусачие туземные мушки. – Прости, что долго тебе не писала. Не так уж и легко решиться на то, что я сейчас собираюсь тебе сказать. Видишь ли, когда первая волна радости от предстоящего замужества, на которое я уж в жизни и не надеялась, схлынула, я понемногу начала задумываться: а что дальше? Ну, хорошо, поженимся мы осенью, и может быть, даже родится у нас ребенок. Но все-таки ты мужчина уже немолодой, неизвестно, сколько судьба отпустит нам времени быть вместе. Не обижайся, но ведь это так! Кроме того, мы все-таки очень разные, если внимательней взглянуть. Тебе, быть может, вскоре потребуется уход, захочется моего постоянного присутствия, налаженного быта... А я совсем не уверена, что смогу полностью отказаться от творчества, остаться навсегда нереализованной, посвятить себя целиком тебе и твоим удобствам. Пойми меня правильно: нам лучше остаться добрыми друзьями, а в спутники жизни выбрать себе более подходящих людей – и по возрасту, и по интересам...» – не дочитав это мерзкое письмо до конца, он уже остервенело рвал его – на две, четыре, восемь... на шестнадцать частей не получилось – Леонид скомкал остатки и, обжегшись о горячую дверцу, швырнул в печь... И это перед ней он выплясывал! Клоуном заделался! А она вот какую судьбу, оказывается, ему прочит – прямо как во всенародно любимом фильме: «Хороший дом, хорошая жена – что еще нужно человеку, чтобы встретить старость!». Вообще за мужика его не считает, может, даже думает, что он импотент, раз на постель завалить не пытался! А он-то, он-то! Тоже хорош, нечего сказать! Где глаза его были, когда связался с этой крокодилкой! Страшная, как весенняя лисица! Сама же пишет, что на замужество и не надеялась – а им все равно побрезговала! Ему надо, видите ли, выбирать жену себе по возрасту!

Наталья ВЕСЕЛОВА

А вот Ксюха ее всего лет на семь старше – и так, представьте, не думает! Реализоваться мечтает, великим художником себя возомнила, скажите, пожалуйста! А сама только ручки-ножки-огуречик может нарисовать! И все-таки – как она могла, как смела... после всего... после их разговоров... прогулок... нежности... доверчивости... Глаза ее – темно-зеленые, пытливые, серьезно-ласковые...

Лицу вдруг стало горячо-горячо – то ли от печи пыхнуло жаром, то ли слезы – настоящие, не умильные, просились наружу – он застонал в голос, схватившись за виски, как женщина. И сразу сзади на плечи ему легли две теплые ладони, зажурчал ровный, успокаивающий голос:

- Ты чем-то расстроен, милый? Баба Тася нам сливок принесла – хочешь?

Леонид обернулся и порывисто сгрэб Ксению в объятия, зашептал, срываясь и захлебываясь:

- Ты одна – настоящая... Единственная... Прости меня... Я идиот... Не уезжай никуда, моя Ксюха... Я пропаду... Я чуть не пропал без тебя...

Даже теперь, через двадцать восемь лет, вспоминать о том дне было трудно. Все-таки предательство не имеет срока давности – а Ника так полоснула его тогда по самому сокровенному, мужскому. Он представил себе, что вот получил бы то письмо, читал, стоя у окна, – а Ксении бы рядом не было... Каким униженным, растоптанным, в прах поверженным он чувствовал бы себя... А просто легли на плечи руки преданной женщины – и жизнь вернулась. Он остро почувствовал тогда слабый аромат тоненьких лиловых стебельков лаванды – Ксюха в те минуты как раз внесла в комнату небольшой букетик, и с тех пор этот запах навечно ассоциировался с чувством преодоления и победы...

Леонид миновал дикий луг – бывшее щедрое пшеничное поле – и уже подходил к школьному зданию. Еще издалека он видел, что окна этого старого купеческого дома кое-где выбиты, а некоторые заколочены фанерой, что штукатурка стен большею частью осыпалась, обновив добротную кладку, сделанную при царе-батюшке – да, пожалуй, и не при последнем, что двор зарос бурьяном и кустарником, а на ржавой крыше, в увенчавшем главную трубу пышном гнезде, стоят два торжественных аиста. Улица в деревне осталась одна – центральная, давно утратившая асфальт, а от нее кое-где ответвлялись ползаросшие тропы. Кусты королевской сирени, окружавшие их дом (приехав в том году, Ксюха уже не застала ее цветения, а он запомнил одуряющий запах тяжелых и фиолетовых, как спелые виноградные кисти, огромных гроздьев, ломившихся в окна), теперь

«Критическая масса» и другие повести...

разрослись, превратившись почти в деревья. Леонид не желал признаваться себе в том, как страшно устал, как уже почти готов был пожалеть об этой странной, и что ни говори, а трудной в его лета поездке. Только теперь ему пришла в голову мысль настолько простая, что он поразился – как он раньше об этом не подумал: что теперь делать? Хорошо, сейчас он дойдет до той сирени, посмотрит на не раз являвшийся в воспоминаниях эдаким кораблем спасения старый дом, от которого, в лучшем случае, осталась куча бревен – а дальше что? Обратно через поле и рощу к шоссе – те же четыре километра?! Да он же может попросту не дойти! А когда будет – и будет ли сегодня вообще – обратный автобус? Господи, во что он ввязался? Зачем?! «Вот то-то и оно, – оживился присмиривший было внутренний собеседник. – Вот и оправдаешь ты предсказание под той стрелкой – помрешь тут на куче соломы, только правды не добудешь: чай, не Иван-Царевич». Леонид даже не нашелся, чем отругнуться. Ведь и правда, собираясь сюда, он смутно представлял себе какую-нибудь добрую опрятную бабушку, вроде той, что снабжала их когда-то молоком, у которой он остановится на ночь, и раним утром, глядя в солнечную даль на тяжелую тушу кургана, будет неторопливо пить утренний чай с травами и умиленно вспоминать Ксению... «Какие тебе бабушки, мой юный друг? – глумился голос. – Они все вымерли давно и поголовно, дети их чуть позже спились – и к ним, а внуки, кому охота было жизнь спасти, по городам уже лет двадцать как разъехались! Если здесь и найдется кто живой – так только дачники из того же Питера! Так они тебя и пустили, держи карман шире!». «Но уж на дом-то я в любом случае посмотрю!» – возмутился Леонид и, ступая, как умел, широко и уверенно, направился к сиреновой чаше.

Насчет кучи бревен – это он чуток погорячился: дом стоял на своем месте. Только был он уже не зеленый с белым, а выгоревший серый, будто поседел от старости. Крыша рухнула внутрь, двери перекошились, крыльцо исчезло, окна, хоть и сохранившие зачем-то несколько мутных стекол в облезлых рамах, все равно выглядели забитыми наглухо... «А чего ты ждал-то? – поинтересовались изнутри. – Что кругом запустение – а здесь тебе сказочный терем стоит?». Леонид не испытывал даже разочарования – только досаду: и впрямь дурак старый! Не раз ведь уже сказано, даже стихи придуманы – как там... Та-та-та-та, та-та-та-та... Ага... «По несчастью или к счастью/ Истина проста:/ Никогда не возвращайся/ В прежние места...». Написал этот, как его... Смешная фамилия и ужасный конец'... Но раз уж бес попутал вернуться, то надо было по-скорому

Геннадий Шпаликов, советский поэт, сценарист, кинорежиссер (1937-1974); покончил жизнь самоубийством

выбираться, пока хоть какой транспорт ходил!

Леонид сообразил, что единственное место, где можно узнать что-то путное в деревне – это сельский магазин с вездесущей и всезнающей продавщицей, да и бутылочку воды в дорогу купить не мешало... И правда – в том же самом кирпичном домишке с большими стеклянными окнами, чуть ли не под той же самой навеки выгоревшей и так оставшейся вывеской, что и двадцать восемь лет назад, располагался райповский магазин – и даже немножко страшно было переступить его порог. А ну как случится то, что не раз мнилось на раскопках: шаг – и ты в другом временном пласте! Он почти готов был увидеть пустые холодильники с пирамидками кулинарного жира в бело-голубых пачках, сиротливую кучку пожелтевших огурцов, суровый ряд пол-литровых банок с бурым томатным соусом... Но нет, машина времени на этот раз не сработала, все оказалось как везде: пестрое изобилие синтетических, заведомо опасных для здоровья продуктов. Кстати, вот вопрос: как он теперь без жены питаться будет? Она-то знала, где что покупать, что можно есть, что нельзя, да как приготовить... Сейчас была бы здесь – уверенно бы пошла к нужной полке, посмотрела, положила, махнула продавщице – можно вас? – где тут состав продукта написан, покажите-ка – а он бы только шел себе и шел сзади с корзинкой... Но минеральную воду отыскал сразу, именно ту, что с Ксюшей всегда пили – вот чудеса! – и гордо понес бутылку к прилавку с кассой, за которой стояла бабулька в белом халате. Желая сразу наладить с туземкой добрые отношения, Леонид широко улыбнулся, сверкнув новехонькими зубами цвета слоновой кости («Не вздумай сделать белоснежные – сразу будет видно, что протезы»), – тотчас с нежностью вспомнил Ксюхино наставление).

- Здравствуйте! – сказал ей приветливо. – Как все тут у вас изменилось... Почти тридцать лет здесь не был... Что же это с деревней-то вашей стало, а?

«Н-да, вопрос по существу. И, главное, оригинальный», – встрял невидимый дружок.

- Что и со всеми, – спокойно ответила старуха и, прищурившись, длинно посмотрела на Леонида: – Почти тридцать, говорите? Так из археологов, наверно? То-то я вижу – лицо знакомое.

Он приосанился: вот ведь, почти не изменился, посторонние люди столько лет спустя узнают!

- Время-то, конечно, никого не красит, – продолжала она, – а только глаз у меня наметанный, да и памятью Бог не обидел: раз увидела – и навсегда! По общему облику любого узнаю, как бы ни постарел человек... А вы-то сами меня что – забыли? Я ведь здесь и тогда работала, и раньше еще... Лёлька-гордячка, вспоминаете?

«Критическая масса» и другие повести...

Лёлька? Он мысленно охнул: пышная красотка лет сорока пяти, с пунцовыми губами и в золотых кудрях, за которой совершенно бесплодно увивалась колхозная пьянь, почему и прозвали мужики тетку Лёлю горячкой... Вот эта заплывшая, складчатая, криворукая, остро напоминающая старого бульдога, с клоком будто драного поролона на голове древняя бабка – та самая красавица, будто сбежавшая с картины Рубенса? А ведь она моложе него... Да что же это... Как же...

- Вот и я говорю – что с нами время делает, – перехватив его взгляд, вздохнула Лёля. – Теперь я вспомнила – вы точно раскопками тогда руководили, еще в проклятом доме жили, и жена у вас бойкая такая была... Вот только имя-отчество ваше не припомню.

- Леонид Павлович... – механически представился он. – Почему – в проклятом? Хороший был дом, крепкий... Сейчас, правда, развалился совсем – ну, да здесь многие дома теперь в руинах. Время такое...

Лёля прислонилась к высокому стеклянному холодильнику, кивнула:

- А, точно! Это ведь уже после вас было, тому лет пятнадцать, наверно, или чуть больше – ну, когда скелет там нашли...

- Что-о?! – он выпустил теплую зеленоватую бутылку с водой, и она покатила по прилавку.

Лёля ловко подхватила ее у края:

- С вас тридцать восемь рублей, Леонид Палыч... А скелет... Ну да, там действительно труп был закопан. Баба Настя умерла когда – так внук ее оба дома унаследовал, ну и однажды в подвале что-то по хозяйству делал... Смотрит – грунт как бы просевший. Подумал – клад там, что ли? А оказалось – мертвая женщина, так-то вот. Милиции понаехало, опрашивали всех, ясное дело – да только глухо, как в танке. Она уж лет десять с лишним, говорили, пролежала – и концов не нашли... Но жить там, ясное дело, с тех пор никому не хочется...

Леонид дрожащими руками расстегнул кошелек, нашел четыре желтые десятки; точно, лучше бы не приезжал, зачем такие новости на старости лет! Они с Ксюшей, оказывается, и знать не знали, что свою любовь творят прямо над закопанным трупом – вот тебе и правда... От такой действительно и умереть недолго... А он и валидола с собой не носит – все здоровяком прикидывается...

- И что, – прошептал, еле справившись с собой, – так и не нашли, кто ту женщину... Ну...

- Какое там! – махнула рукой старуха. – Даже кто такая – и то не узнали. Здесь в округе никто не пропадал – значит, приезжая... Ни документов, ничего... Только браслет на руке нашли – участковый потом с ним весь район пешком обошел. Всем показывал, да без

толку...

На прилавок с какими-то пакетами и коробками сунулась, отесняя Леонида, толстая тетка, обдавшая его запахом хлеба, и старая Лёля принялась добросовестно щелкать костяшками доисторических деревянных счётов. Браслет... Что-то было тесно связано в его сознании с такой вещью... Ах, да – браслет, украденный благородным Журавлевым, который носила его дочь Ника! Да какая теперь разница... Он уже выходил на желанный воздух, прижимая к себе попку, но все-таки с безотчетной тревогой обернулся в дверях:

- Лёля, а вам-то показывал участковый тот браслет? Как он выглядел – помните?

Она уже была занята другим – быстро записывала что-то в растрепанной общей тетрадке, сверяясь с большим линованным листком – и потому ответила рассеянно, через плечо:

- Браслет? А, да, браслет... Как сейчас... Необычный потому что... – последовала долгая пауза, в течение которой продавщица, пожевывая губами, озадаченно переводила взгляд с тетради на лист и обратно. – Старинный какой-то... Желтый, но не золотой... А на концах эти... – Она поднесла ручку к открытому рту и начала быстро-быстро постукивать ею по своим металлическим зубам, не отврываясь от какой-то строчки. – Ну, эти, короче... Как их... Змеёвые головы...

Глава 5 Тот самый – какой же еще...

Старый питерский двор вымощен неровно отесанным черным камнем, унылые дровяные сараи стеснительно жмутся к высокой кирпичной стене. Мощная кряжистая липа давно уже проломилась себе путь к жизни, разворотив своим сильным стволом мостовую, и вольно расправила ветви в углу двора, создав там что-то вроде непроницаемого для дождя и солнца зеленого шатра. Вся она покрыта душистыми желтыми цветами, напрасно, как и многие десятилетия до сегодняшнего июньского дня, ожидающими полосатых хлопотуний-пчел, что собрали бы нектар и унесли с собой, чтобы приготовить в сотах целебный мед. Вокруг липы на палках, увенчанных деревянными лошадиными головами, возбужденно скачут несколько бедно одетых ребятишек – в коротких штанишках, подерживаемых перекинутой через плечо лямкой на пуговице – но, по случаю летней жары, без чулок на резинках. Среди них одна девочка в коротком мятом платье – на ее голове подрагивает небольшой, съехавший набок бант. Коня на палке она только что отобрала от бритого наголо, с одной лишь непонятно зачем оставленной светлой

«Критическая масса» и другие повести...

челочкой малыша, вытирающего обиженные слезы в сторонке. Ребятня грозно размахивает игрушечными саблями, а на кого сабель не хватило – те довольствуются просто палками. У одного счастливица есть вырезанный из дерева пистолет, и он упоенно целится из него в небеса... «Ура! – кричат ленинградские дети. – Ура! Война! Бей немцев!». Что именно они кричат – на картине не написано, но зрителю нетрудно догадаться...

Изувеченный поезд стоит среди голой равнины, со всех сторон под откос в панике прыгают обезумевшие люди. На втором плане видно, как распласталась по земле нарядно одетая женщина в летней шляпке – она закрывает своим телом маленькую девочку с двумя задорными косичками. Ужас этих страдальцев легко объясним: сверху на бреющем полете несутся два черных немецких самолета – они только что сбросили бомбы на беззащитный поезд с ленинградскими беженцами и теперь поливают пулеметным огнем уцелевших при бомбежке пассажиров. На переднем плане мальчик лет шести, в котором внимательный зритель, конечно же, узнает одного из тех питерских мальчишек, что носились недавно вокруг мудрой старой липы, занеся жестяные сабли над головами невидимых врагов. Мальчик – его зовут Лёня, но до публики этого никак не донести – в недоумении склонился над парнишкой-ровесником, что лежит навзничь в серой траве. Лёня удивленно трогает тонкую черную струйку, бегущую из-под затылка своего товарища по детскому саду, и не может понять – как это: только что опрометью бежали рядом вон в те кусты, а теперь...

Опрятная деревянная горница в сибирском доме, за оледеневшим окном – будто трехголовый розовый дракон распростер крылья над низким чужим городком, дымящимся от сухого колючего мороза. Это играют с первыми лучами солнца до сладкой боли прекрасные Саяны... В горнице все тот же ленинградский мальчик – вот и упрямый хохолка на затылке в качестве опознавательного знака – среди еще нескольких печальных детей, с головой укутанных в теплые шали. Он один недоверчиво улыбается, сбрасывая с плеч опутывающий его платок и устремляясь вперед: за ним приехала мама – изможденная тень с одними пронзительно-яркими глазами, у нее едва хватает сил протянуть руки навстречу сыну...

А вот он снова в Ленинграде – уже тыловом городе, подросший на вершок, но не утративший хохолка. Два свирепых быка словно стерегут Лёню и его маму с двух сторон – каждый настоящий, не пришлый ленинградец их знает: это каменные быки у ворот мясокомбината. Мать и сын довольны: сегодня удалось по талонам из поликлиники выпить на мясокомбинате по стакану еще теплой бычьей крови – позади видна усталая очередь за ней, ее выдают сразу после

Наталья ВЕСЕЛОВА

забоя очередного животного, пока не успела свернуться...

Три стандартных щита оргалита были смонтированы впритык один к другому и помещены в торце большого зала Союза Художников, а композиция называлась «Мальчик и война». Ника написала детство своего любимого, рассказанное им во время их нескончаемых прогулок, и посвятила свою работу ему. Она трудилась в мастерской подруги, которая иногда ненадолго пускала Нику поработать над большой вещью, но, тем не менее, упорно отказывалась разделить с ней на законных основаниях свое огромное помещение, позволив взять на себя половину ежемесячной платы. Вот и прибежала Ника в чужую мастерскую, когда дозволялось, на правах благодетельствованной просительницы робко проскальзывала через миниатюрную кухоньку в пустой холодный зал, заваленный рухлядью, и там творила свою личную «Гернику». Общая мрачная черно-белая гамма только изредка оживала под Никиной кистью неожиданным цветным мазком: желтые цветы липы, оранжевый всполох взрыва, призрачная розовость Саян, голубой огонь глаз Лёниной мамы, пунцовая кровь погибших быков... Убийственное детство мальчика Лёни, родного ее мужчины. И лично для нее как для художницы – высокая, определяющая планка. «Ты забыла еще две доступные темы, кроме комсомольских строек, если уж они так тебе не по нутру, – с морщинистой улыбкой сказала ей ее старая мухинская педагогиня, когда Ника по традиции пила у нее чай с тортом первого января. – Не запрещаются еще Пушкин и Великая Отечественная война. Ну, на Пушкина кистью, пожалуй, не замахивайся: там на две пятилетки вперед ниши распределены. А вот война, блокада... Можно попробовать. В худсовете одна половина блокадников, другая – фронтовиков: могут расчувствоваться, если в точку попадешь... Ну, и кроме того – связь поколений и все такое... Эх, жаль сорокалетие Победы прошлепали!».

На выставке молодых художников-членов молодежной секции Никина многофигурная композиция, благодаря ее масштабности, нечаянно заняла центральное место – но совсем не случайно стала центром притяжения посетителей, которые буквально сгрудились перед ней, толкаясь локтями и разглядывая детали. Не раскрывая инкогнито, Ника подкралась сзади, беспардонно подслушивая. «Вроде, и тема заезженная – а исполнение!» – донеслось до нее. – «Соцреализм у всех давно в печенках, а тут...». «...а тут формализм, батенька, формализм чистой воды». «Ну и что, «Герника» – тоже формализм, а весь мир почти полвека с ума сходит». «Так ведь то Пикассо и на Западе, а здесь девка какая-то зеленая и у нас – разницу понимать надо!». «Ну, знаете, с таким подходом...». «Да перестаньте, что вы заладили – формализм, формализм... Это экспрессионизм.

«Критическая масса» и другие повести...

То есть, реализм с эдаким вывертом...». «Не нашим вывертом, заметьте – не нашим». «Нашим, не нашим... А как вы к Мунку, например, относитесь?». «Прекрасно девушка исполнила, прекрасно! Вот посмотрите – этот жест матери, прикрывающей телом ребенка...».

Ника на цыпочках отошла прочь очень довольная: эта здоровая, редкая на официальных выставках атмосфера нешуточного спора – и вокруг чего! – вокруг картины неизвестной молодой художницы – обещала многое, заставляла сердце колотиться предвкушением сюрприза, как в давнем детстве, когда еще была жива мама, и подарки в коричневой бумаге, присыпанные конфетти, лежали под елкой до первого удара курантов... Удар прозвучал незамедлительно, только не курантов, а колокола Судьбы. Придя следующим днем на выставку с группой самых близких, призванных без зависти разделить ее торжество друзей, Ника обнаружила, что работа из зала исчезла, а на ее месте повешены в два ряда шесть веселеньких акварелей. Она металась по выставке, как мать, потерявшая в толпе ребенка, готовая рычать и рвать на куски любого, причастного к исчезновению ненаглядного детища – а за ней бежали искренне поздравлявшие ее наперебой друзья: «Да ты что, Ника, не понимаешь – это и есть настоящий триумф! Картина провисела на выставке сутки, вызвала фурор и была снята! Да о тебе сегодня же вечером все «голоса» трубить начнут!». Но вечером она неостановимо плакала в очередной гостеприимной мастерской – Менделей в городе оказалось пруд пруди, все примерно одинаковые, и у всех она была теперь желанной гостьей – плакала безутешно и до полного опустошения. Нику не прельщала закордонная слава гонимой властями левой служительницы искусства, ей хотелось законного признания у себя дома, среди тех людей, для которых только и предназначалось ее творчество – а чья-то власть имущая рука просто взяла – и смела ее на всякий случай с ее скромной, узкой, ничью чужую – не дай Бог! – не пересекшей тропы...

Дальнейшие репрессии тоже не замедлили: перед ней не только сразу и навсегда закрылись двери Союза Художников, но и молодежная секция в дружном негодующем порыве изгнала ее прочь из своих сплоченных рядов с надежной формулировкой: за отход от традиций соцреализма. Напрасно Ника призывала в свидетели почтенный приznak члена коммунистической партии Франции, автора великой «Герники» – ее быстро и просто осадили неоспоримым: но вы-то не Пикассо! Сушая правда; и все более очевидным становилось, что никем подобным ей стать никогда не позволят...

Но странное дело: приключись такая беда полгода назад – впрочем, тогда никакой подобной работы она в принципе написать не могла – и Ника, пожалуй, дошла бы в отчаянье до черты, за кото-

рой слабаки режут вены. А теперь, этой бледной и ветреной весной, в сером пальто и сиреновой шляпе, придающей лицу интересную бледность, сидя с Леонидом на скамейке Михайловского сада и просунув руку без перчатки в его теплый карман, она не чувствовала себя несчастной вовсе. Ну, турнули... Значит, она не посредственность – тех не трогают! Успокаивающе урчал у виска его низкий уверенно-ласковый голос, подрагивали у нее на коленях тугие розовые бутоны во влажном целлофане, бесстрашно бежала мимо, обремененная собственными немалыми заботами первая весенняя городская мышка... Мужчина и женщина касались друг друга волосами и коленями, еле заметный в теплеющем воздухе парок улетал прочь от их уже почти общего дыхания. Соблюдая честную очередность, они поровну кусали от последнего пирожка с мясом и рисом, но жалко было вставать со скамейки, чтобы пойти и купить у ворот еще четыре таких же.

Все это было ново и почти невозможно для Ники, давно и на отлично окончившей жестокою школу красивой богемной любви, расцветавшей в мастерских на дружеских вечеринках со стихами и водкой, под серьезные разговоры о вечности в искусстве и предназначении художника. Она прекрасно знала, как быстро облетают такие райские деревья, какой горький плод познания приносят, если не остаются и вовсе бесплодными. И вот уж недавний возлюбленный дружески-равнодушно наблюдает, как ты, пылая от вина и надежды, спускаешься в ночное метро с другим – таким же неревнивым и нетребовательным, ждущим лишь будоражащей встряски, действительно способной дать сильный творческий импульс – всегда сколь долгожданный, столь и мнимый...

Мужское рыцарство, бережность, уважительное преклонение – все это в жизни не раз искушенной Ники, обреченно наблюдавшей в зеркале по утрам, как на лице все яснее проступает печать нехорошей опытности, оказалось неожиданным и драгоценным. За ней никто раньше не ухаживал так классически – с букетами при каждой встрече, с пирожными в белой коробке из «Севера» – просто так, потому что она хорошая и очень нравится мужчине. А уж танцевать под оркестр в приличном ресторане... Расскажи Ника об этом друзьям – и расценили бы как забавную эскападу, зачем-то предпринятую в ее и без того нескучной жизни, – а она относилась теперь к каждому дню с трепетом и серьезностью! Вот и молчала даже перед подругами, берегла свою странную тайну любви к человеку не их мира, чужих понятий, казалось бы, незатейливых, но на поверку таких правильных представлений. Главное, что с Леонидом Нике не нужно было постоянно держать себя в напряжении, опасаясь уронить высокое достоинство: он и так с первых встреч возвел ее на та-

«Критическая масса» и другие повести...

кой недосыгаемый пьедестал, что она со временем стала даже побаиваться, что ненароком там оступится и неудачно сорвется. Зато говорить можно было о чем угодно, даже рассуждать о сомнительных, обычно на язык не идущих вещах – и всегда встретить понимание и поддержку, ни разу не наткнуться на пренебрежение или оскорбительную недооценку... Любовь-дружба постепенно окутывала их нестерпимой нежностью, сохраняя от преждевременной страсти, но однажды на Нику внезапно сошла ледяная лавина страха: Леонид твердо и печально сказал ей, что на лето уезжает руководителем на раскопки. Неделю она прометалась, как укушенная то ли бешеной, то ли нет собакой: сказать, что придет к нему, когда закончит очередное панно с рабочим и колхозницей? А в качестве кого, позвольте спросить? Они ведь, вроде бы, друзья и только? А он вернется через три месяца – чужой. И все. Конец света – всего лишь персональный, но какая разница: ведь даже всеобщий конец станет личным для каждого! И опять... В те дни Ника поняла, что душу может тоже тошнить – отдельно от тела.

Она не знала, что уже через десять дней будет получать от него каждое утро из дальней псковской деревни такие славные, неуклюже-художественные в угоду ее предполагаемой тонкости письма: «...я никогда не думал, что над отдельно взятой человеческой жизнью тоже может однажды взойти собственное солнце, чтобы светить кому-то одному, и что солнце это – взаимная любовь, что это ты, возлюбленная...» – и она каждый вечер отвечала: «Ни минуты не сомневайся во мне, слышишь? Моя любовь к тебе теперь не может ни исчезнуть, ни ослабеть: ей суждено отныне идти только в рост и наливаться теплом, как те золотые колосья, о которых ты пишешь...».

Но прошло три счастливых, прошедших в эйфории труда и любви недели, когда она что было сил гнала вперед опротивевшую работу над агитационным щитом пригородного совхоза, чтобы свалить ее с плеч долой, как тяжелую шубу в оттепель, и – рвануться, раскинув руки... А письма от Леонида вдруг как отрезало. Целых семь дней черные глазницы почтового ящика насмешливо встречали ее в подъезде утром и вечером, и Ника понемногу начала с ядовитым энтузиазмом поддерживать днем разговоры напарницы о том, что «лично она любовью сыта по горло».

Но ненадолго хватило законной женской ярости – из глубины души начало накатами подниматься ледяное чувство: что-то случилось; не мог он вот так просто, в один день – передумать. Это было все равно, как если б конь на скаку споткнулся – и грянулся, а уж встал бы или пристрелить пришлось – то зависело от обстоятельств. Самое простое – простудился, лежит с температурой, до почты не дойти; то же самое – только ногу подвернул. Целую неделю? И ни-

кто не пришел к руководителю раскопок, не помог, письмо на почту не отнес? Бред. Руку сломал, писать не может... Ужасно, конечно, но наказывал бы левой короткую записку, а адрес на конверте кому-нибудь продиктовал. Во всяком случае, она сама бы именно так поступила – а придет ли в голову мужчине – Бог весть. Но ведь не может же он не знать, как Ника волнуется, и просто наплевать на нее! Леонид – другой человек, и отношения у них особые... Влюбился с первого взгляда в какую-нибудь ослепительную красавицу так, что мозги напрочь отшибло, а все остальное просто смыло с сердца, как губкой? В теории возможно, конечно, – но ведь не мальчишка же, за пятьдесят лет перевалило мужику... Бес в ребро? Но ведь этим бесом – очевидно же! – была именно она, Ника! И валом валят от нее каждый день письма – не в помойку же он их выбрасывает, не может не читать ее отчаянных призывов! Или – выбрасывает? Нет, для этого нужно было просто в бревно за один день превратиться... Вот именно – в бревно. А вдруг он и лежит – бревном?! Да мало ли какой несчастный случай мог произойти: упал в глубокий раскоп, сломал позвоночник... И теперь в какой-нибудь местной больничке – один, при смерти... Да нет, не может же быть... Что за мысли в голову лезут, тьфу на них... А все-таки... Или машина... Мотоциклист!.. У этих вообще головы нет, а если еще и пьяный – в деревне-то! Или...

Письмо пришло на тринадцатый день, и у Ники не хватило даже терпения подняться с ним на свой шестой этаж – читала на лестничной площадке у ящиков, под высокой горизонтальной щелью тусклого окна: «Здравствуй, Ника! – сердце оборвалось уже от одного обращения: обычно он называл ее «Солнце». – Извини, что так долго не посылал тебе весточки. Видишь ли, все оказалось не так просто и весело, как было вначале. Здесь, в деревенской глуши, невольно думаешь больше и глубже, чем в суе города, где велик соблазн поддаться наплыву чувств. Но чем больше я размышляю, тем более безответственной кажется мне наша скоропалительная затея. Не могу дальше скрывать от тебя: у меня есть обязательства перед другой, серьезной женщиной, чувство к которой началось давно, и всегда было свято для меня. Наш с тобой короткий бурный роман лишь отодвинул главную любовь моей жизни на задний план, но теперь, когда я получил возможность на свободе обдумать все...». Нике показалось, что дальше на бумаге расплылись такие знакомые ей фиолетовые чернила – но нет, это слезы не позволили дочитать... Ей словно надавали жестоких пощечин по обеим щекам – оскорбительно и незаслуженно... Ну, и пусть убирается из ее жизни... Пусть хоть сдохнет...

Только через несколько часов, почти ослепшая и оглохшая от рыданий, Ника начала приходить в себя на своем старом и верном,

«Критическая масса» и другие повести...

из отцовской квартиры спасенном диване. Что-то такое не давало ей покоя, скребло, как колючка, попавшая за шиворот. Неправильное что-то... Она с содроганием взяла это отвратительное письмо и стала внимательно читать с начала, пока не наткнулась на царапнувшее словосочетание: «скоропалительная затея». Какая же она скоропалительная! Ведь он полгода робко ухаживал... А вот еще: «короткий бурный роман»... Да он должен был полностью спятить, чтобы так обозвать их длительные ровно-ласковые отношения! Она уже сидела прямо, сердце рвалось из грудной клетки, как лесной зверь, угодивший в капкан. Но ведь почерк-то – его! А его ли? Буквы крупней, чем всегда, но можно списать на волнение... Буква «д» очень характерная, с высоким завитком вверх, а не вниз... А вот «з» и «р» - почти стоят на строчке вместе с другими буквами, у них, наоборот, слишком короткие «хвосты»... Эти яркие черты, собственно, и определяли его почерк, остальные буквы были самыми обычными, как у многих... Да, но раз она с первого взгляда нашла характерные отличия – то почему этого не мог сделать кто-то другой? А если тот человек потратил гораздо больше времени, чем она? Но кому это могло быть нужно? Как кому? А зачем вообще люди изготавливают подложные письма? По политическим мотивам – ну, их можно исключить; еще в разведке, когда пойманного шпиона заставляют отправлять подложные радиogramмы, а у него есть тайный знак работы под контролем, – это тоже не подходит... А третье что? Да только любовь, больше ничего и быть не может... Та самая «серьезная женщина», которая, можно сказать, проговорила, что чувства к ней началось давно... Да – бывшая возлюбленная, которая хочет вернуть его любыми путями... Ника придирчиво осмотрела конверт – еще одна деталь так и выскочила перед ней, как живая: почтовый штемпель оказался не бледно-черным, как все предыдущие, а ярко-синим! И вместо слов «п/о Двуполье» и трех всегда одинаковых раньше цифр, на нем стояло совсем незнакомое название и другой номер почтового отделения! Письмо написал кто-то, кто не знал в подробностях об их с Леонидом отношениях, и конспиративно отправил – отправил! – с другой почты!

Решение немедленно ехать к жениху пришло в одну секунду и больше не отпускало, хотя абсолютно все жизненные обстоятельства будто вздыбились протестом против ее жгучего стремления: напарница взвыла от перспективы остаться на несколько дней без помощи посреди гигантского полураскрашенного железного щита, лежавшего на наскоро очищенном от навоза полу в старом коровнике; стартер в отцовском «Москвиче» слушался ключа через раз, со всей очевидностью обещая хозяйке, что машину навеки застопорит где-нибудь на глухом лесном проселке; живой зуб под неудач-

ной цементной пломбой иногда вдруг словно вскрикивал от резкой боли, не оставляя сомнений в том, что недалеко уж и страшная ночь под знаком острого пульпита – и приключится она именно во время поездки... Но после этого неправильного письма – не то провалившегося резидента, не то самозванки-царицы, стало очевидным, что беда при дверях, и Ника, уговорив товарку и наврава ей с три короба, наплевав на зуб и все-таки не рискнув довериться старому автомобилю, села пасмурным утром, грозившим нешуточным ливнем, на рейсовый автобус до Пскова.

Всю дорогу она не могла избавиться от равномерной, не проходившей и не нарастающей дрожи внутри – такой неотвязной, такой противной дрожи! И казалось, что душа будто промокла и теперь трясется от холодной сырости, как редкие прохожие, мелькавшие на обочине шоссе – съезжившиеся под дождевиками, втянувшие жалкие головы в плечи. «Если бы сейчас я взялась рисовать собственную душу, – подумалось Нике, – то лучшего образа, пожалуй, и не найти...».

В Пскове долго пришлось ждать пересадки, не по-июльски ледяной ливень буквально стоял стеной, и только незаметно подошедший, как на медленных дрожжах, гнев теперь поддерживал в Нике силы. В местном автобусе, где полностью запотели все стекла, и словно в предбаннике, стоял тепловато-липкий пар, она поняла, что уже способна ударить «ту» – и даже по лицу, если надо. Она читала когда-то, что аистихи – старая и молодая – часто устраивают в начале весны нешуточный бой у гнезда, где стоит невозмутимый аист – и победившая получает право остаться и отложить яйца. Но нет – предстоит не банальная драка двух человеческих самок за право на место у очага – а изгнание гниды, вредителя, паразита, тайком заползшего в чужую душу и присосавшегося там...

Ника не заметила, как вышла в ранних сумерках у нужного указателя, размашистым шагом миновала мокрое злаковое поле по широкой скользкой тропе и уже стояла на краю обезлюдевшей в шесте дождя роковой деревни Двуполье. Насчет поисков дома она не беспокоилась: потребная ей улица Ленина, наверняка, была именно эта, имевшая все признаки главной – асфальтированная и даже снабженная парой-тройкой фонарей – ну, а дому под номером тринадцать – как хорошо, что она не суеверная! – уж точно предстояло найти метрах в пятидесяти...

За кустами отцветшей сирени горели два уютных окошка – и подумалось вдруг: а если Ленька распахнет дверь, и сразу все окажется каким-нибудь диким недоразумением – ведь оба они ошалели от счастья! Все разъяснится в нескольких простых и понятных словах – есть же тысячи не подверженных учету возможностей! – и

«Критическая масса» и другие повести...

вот сейчас какая-нибудь из них... Ника взошла на крыльцо, откинула капюшон, встряхнула влажными волосами и дважды требовательно стукнула в дверь.

- Иду, Ленчик! – отозвался звонкий голос, сразу вызвавший мысленный образ хорошего женского лица с чистым прямым взглядом.

Гнев выплеснулся из Ники, как рвота: «Ленчик, скажите, пожалуйста!» – и, когда дверь стала бесшумно-ласковым движением приотворяться, она рывком распахнула ее и напряженно гавкнула в сторону испуганно ойкнувшей в полутемных сеньях женской тени:

- Леонид Павлович дома? Я его жена, дайте пройти!

Не ожидая разрешения, девушка пробежала несколько шагов и рванула на себя внутреннюю, почему-то ярко-синюю дверь.

В светлой, чисто прибранной кухоньке стоял накрытый с деревенском колоритом стол (крынка молока, глиняные горшочки с солениями, яркий рушник под караваем, чугунок с вареной картошкой), топилась идеально побеленная печь, висели по стенам золотые связки луковиц... Только краем глаза отмечая все это, Ника уже толкала дверь в комнату:

- Леонид!

- Мужа нет дома, он у аспирантов, – ответил сзади все тот же приятный голос и, помедлив, добавил: – А позвольте узнать, милочка...

- Не смей так со мной разговаривать! – задыхнулась Ника. – Имейте в виду... Не знаю, кто вы такая, но...

- Ксения, – с легкой улыбкой представилась женщина и мило предложила: – Да вы присядьте на минуточку. Вам, наверное, стоит кое-что узнать...

- Я не на минуточку присяду, а очень надолго, – все еще с вызовом, но невольно снижая тон в ответ на вежливость, отозвалась Ника и демонстративно, по-хозяйски уселась на стул у окна. – Потому что намерена дожидаться Леонида и поговорить с ним, а не с вами. Про вас я и так все знаю: вы – интриганка! Крали чужие письма, писали подложные... Какой позор! Неужели вы думаете, что с вами после этого хоть один приличный человек станет разговаривать? И рекомендую вам уже начать собираться – чтобы мы с Леонидом после того, что вы сделали, не вышвырнули вас за дверь как есть!

Выплеснув первую обиду и не встретив ответной агрессии, Ника несколько удивленно рассматривала замершую у печи с прижатыми к груди руками соперницу. Женщина была старше лет на десять – но только гнев и презрение не позволили Нике признать, что Ксения намного симпатичнее ее. Эти гладкие блестящие волосы, высокая грудь, подчеркнутая облегающим платьем женственная

фигура... Странная незащитность сквозила в ее взоре, громадные, будто налитые ртутью глаза словно бы кротко вопрошали: «За что? Что я вам сделала?». И все-таки от Ники не укрылась общая туповатость ее черт, что-то непробиваемое почудилось в рисунке короткого закругленного носа, чуть выдающейся нижней губе – да и взгляд в глубине своей был пугающе-дремуч, как у заарканенной, но еще не обьезженной лошади. Ника невольно поежилась – будто оказалась в одной клетке с общепризнанно безобидным, но все-таки непредсказуемым зверем.

- Я теперь поняла: вы, наверное, Вероника? Но напрасно вы возводите на меня такие ужасные обвинения... – тихо заговорила Ксения. – Хотя я, пожалуй, понимаю, что вы имеете в виду... Да, меня с Леонидом связывают долгие, почти родственные отношения... Не хочу скрывать – я действительно без приглашения приехала сюда, когда мне вдруг показалось, что между нами пробежала... черная кошка...

Изнутри накатило – как бездна поднялась: «Ей что – только недавно *показалось*?! Значит, раньше, когда Леня ухаживал, он одновременно... любил... и эту... Иначе она давно бы уже все *поняла*...».

- ...и у нас состоялся серьезный разговор, – спокойно продолжала та. – Нелегкий разговор, надо сказать... Да, Леонид Павлович рассказал мне про свое увлечение молодой женщиной, Вероникой... О своем сделанном под влиянием момента предложении... Я хотела немедленно уехать, но он удерживал... Говорил, что не может предать столько лет глубокой любви, что ему трудно, он на распутье... Просил поддержки... Моя гордость была, как вы понимаете, серьезно ранена, я ни за что не хотела оставаться в этом доме... Но поддалась на уговоры, видя, как он мечется, разрывается... Ведь мы были близки двенадцать лет – такое со счетов просто так не сбросить, согласитесь! Я поставила условие: ваша переписка должна прекратиться, я не смогу вынести двойственного положения... Он, конечно, боролся с собой, все это не в один день получилось... И... вот что... Да, действительно, должна вам признаться... То письмо, которое вы, должно быть, получили... Ведь вы же получили письмо, да? Ну, в общем, он не сам писал его – мы писали вместе... Если точнее, я диктовала... Да... Просто он не знал, как лучше объяснить... Я и отравила – из райцентра, когда ездила на рынок – чтобы скорей дошло... Ну, да, да: если считать это подложным письмом, то, конечно... В каком-то смысле... Но Ленчик... То есть, Леонид Павлович... испытал колоссальное облегчение... Как после кризиса болезни... Так что я даже не знаю – как вам теперь объясняться с ним – и надо ли объясняться... Может быть, его следует просто пощадить... По человечески...

«Критическая масса» и другие повести...

Ника на миг прикрыла глаза, а когда открыла их вновь, увидела, что вокруг разом потускнели краски – перед ней все как вылиняло: бледным показался и огонь в печи, и вышивка на тканом полотенце, и веселые маки на темно-синих прихватках... Вот она, непросчитанная возможность: все так просто, достоверно и человечно... Нет, она не в силах увидеть его сейчас... Выслушивать жалкие объяснения... Что тут можно сказать... Жив – и слава Богу... Надо идти... Куда-нибудь... Господи, как зуб болит... Какая усталость...

И, наверное, она встала и пошла бы – туда, в дождь, в ночь – только уголки губ Ксении непроизвольно дрогнули с выражением злорадного удовлетворения, тотчас исчезнувшем, – но это решило дело. Ника твердо вскинула голову:

- Даже если все так, как вы говорите, я все равно предпочитаю услышать это от самого Леонида, – она жестко взглянула женщине прямо в лицо: – И не пытайтесь меня отговаривать!

Тут за окном грянул неистовый собачий лай, означавший, конечно, что по улице идет человек.

- А вот и он! – почти с облегчением вскрикнула Ника, отводя рукой оконную занавеску и силясь взглянуть в дождливый мрак.

И в этот момент наступил конец света.

Глава 6 **Но не для всех...**

Ее первым заработком стали не деньги, а немецкая «вечка». У Ленки Сенькиной, главной и записной двоичницы, отметки за последние недели и вовсе стали такими, что показать их родителям означало, скорей всего, быть битой сначала мамой об стенку, а потом папой ремнем по попе. Во всяком случае, каждый раз, когда дневник случайно попадался им на глаза, они именно так и поступали. Поэтому Ленка – крупная, красивая девочка, похожая на трофейную куклу, но отнюдь не с фарфоровой, а железобетонной головой – дневник дома надежно прятала. Уже больше трех недель классная настойчиво интересовалась, почему нет подписи родителей и, наконец, поставила вопрос ребром: в понедельник либо подпись, либо сами родители. Лена впала в нехарактерное для нее состояние раздумья – а за соседней партией прилежная Ксюша что-то увлеченно рисовала карандашом на промокашке. Сенькина рассеяно глянула – и сердце ее подпрыгнуло: вся промокашка была изрисована идеальными копиями сложной, обильно повитой кудельками подписи ее мамы-парикмахера. С тяжелой грацией породистого щенка Ленка перегнулась через парту, едва не опрокинув чернильницу:

- Слушай, Анисимова... А давай ты мне в дневнике все под-

Наталья ВЕСЕЛОВА

писи за последний месяц нарисуеть! А то меня дома такая трепка ждет, что хоть топиться иди...

Аккуратная Анисимова не подняла головы, но скосила глаз:

- А ты мне за это что?

- Ну, хочешь, я тебе четыре пирожка с повидлом куплю?! – с восторгом предложила Сенькина.

- Да я сама себе пять куплю... – пожала плечами Ксюха. – А ты мне вот что... Ты мне «вечку» свою отдай – надоело, что все ладони в чернилах.

Двоечница помялась: с одной стороны возвращаться к примитивным «вставочкам» решительно не хотелось, а вечную ручку из Германии привез не успевший погибнуть там старший брат, но с другой – именно он будет зажимать ее голову меж своих коленей в понедельник вечером, пока отец станет охаживать ее по голой заднице широким коричневым ремнем... Уловив колебания клиента, Ксения добавила:

- «Вечку» вперед.

Поставить четыре только на вид хитроумные, а на самом деле элементарные закорючки в чужом дневнике было делом быстрым и легким – зато с того дня она до конца жизни разделалась с отвечающими свой долгий честный век царапающимися «вставочками», всегда с тех пор имела чистые руки, всеобщее уважение и регулярный доход. Потому что – кто напишет оправдательную записку учителю от родителей прогульщицы, скопирует любую подпись, добавит нужную отметку в дневник? Конечно, Ксюша Анисимова, у которой талант: минутки три-четыре, прищурившись, посмотрит на чей-то, даже очень заковыристый почерк, и – раз! Готова копия, сам автор не отличит... У нее никогда теперь не случалось недостатка в переводных картинках, цветных карандашах, атласных лентах, симпатичных блокнотиках... В их дружном девичьем классе, после того, как по истории начали проходить многообразные безобразия средневековой Руси, где само собой считалось «поклониться ярыжке двенадцатью собольими шкурками», довольно часто украдкой давался серьезный совет, вроде «поклониться Анисимовой альбомом для рисования». Ну и что? Когда одна девочка по случаю сперла из поликлиники целую пачку листов с печатями, именно Ксюха снабжала всех желающих любыми справками о болезни и освобождениями от физкультуры – и писала их не абы как, а разными чернилами и очень взрослыми почерками... Весело было, практически – кто ж знал тогда, что так серьезно в жизни пригодится...

Нет, решительно, не помирать же она собралась – почему вдруг так густо вспоминается детство? Большая хирургическая палата поч-

«Критическая масса» и другие повести...

ти затихла к самому глухому часу, когда за высокими окнами без занавесок молодая белая ночь настолько померкла, что свет не лез под закрытые веки, и можно было бы даже задремать немножко, если б Ксения хоть сколько-нибудь привыкла спать в одном помещении со всяким сбродом. К счастью, неприятная соседка уgomонилась, не хлебала бесконечно свою воду и не ворочалась, как корова на соломе. Подумалось – может, скоро уже и рассвет, а там и подъем не за горами – в больнице свет включают рано... И сразу – толпа врачей в палате, быстрая выписка, такси поскорей вызвать... Ленчика теревить не стоит – пусть спит, не молоденький ведь уже, день у него не-присутственный... Она придет домой, примет теплый душ – вроде, считается, что в больницах должна быть чистота, а ощущение, будто в грязи вывалялась – наденет шелковый халат весь в пурпурных пионах, с наслаждением выпьет чашку зеленого чая с хорошим куском вчерашнего торта для окончательного утешения и – спать. В мягкой родной постели, на любимом голубом белье с запахом лаванды... Да, про детство... Ему положено быть беспечным и беспечальным – если, конечно, войны нет... Так-то оно так, но...

Не у всех, например, детей в самые мирные времена рождается младший братишка с болезнью Дауна. А родители его так ждали, папа все на коленях перед мамой стоял и живот ее слушал! И ее приучили слушать, она, как дура, перестукивалась с не родившимся еще братцем – и было решено, что назовут Митенькой. Она до сих пор помнит, как у мамы иногда вырастал на животе словно твердый напряженный бугорок – «Ой, пяточка!» – умилялась мама. Папа тут же кидался гладить и похлопывать: «Нет, – говорил с уверенностью и разве только слюни не пускал, – это Митенькин локоток!» А пятилетняя Ксюша подпрыгивала, хлопая в ладошки, и невинно подначивала папу с мамой: «Это коленка!».

Когда мальчик родился, и стало ясно, чем именно он болен, папа очень скоро исчез из дома навсегда – завербовался куда-то на Дальний Восток и начал там новую жизнь – без долгожданного Митеньки, а заодно и без дочки Ксенечки. Первое время мама еще неуклюже врала ей, что отец уехал на мифические заработки, что звучало почти как «чертовы кулички», и пусть нескоро – но обязательно вернется. Но Ксюша откуда-то знала, что ждать не стоит, разговоры о возвращении папы («Что папа скажет о твоей учебе, когда вернется!») не поддерживала, и мама довольно быстро перестала настаивать. Поначалу она пыталась было невинно пристроить дочку в няньки к убогому сыну («Посмотри на него, он такой маленький и беззащитный, и никому, кроме нас, не нужен...»), но встретила ясный взгляд своей хорошенькой дочери: «Никому, кроме *тебя*, мама»,

– кротко поправила Ксения. У них была тогда крошечная квартирка в доме у Нарвских ворот – с деревянной лестницей, холодной водой и закутком в роли второй комнаты – там, за плотной занавеской в душном «алькове», она и провела остаток своего отрочества и полюности, без нужды не подходя и близко к маленькому косоглазому обманщику с вечно мокрым подбородком... Не справившись с сыном в одиночку, мать с семи лет отдала Митю в интернат для безнадежных, никогда не звала дочь с собой навещать его по выходным – и в доме сразу стало легче дышать.

Ксения мечтала выучиться на инженера и готова была все силы бросить под ноги своей мечте – а сил почему-то не хватало. Каждый день, каждый миг с досадой ощущала она в своей голове непонятную преграду, словно там находилась какая-то потайная комната, запертая на секретный замок – и жизнь забыла дать Ксении волшебный ключик. Что бы она ни делала – неизменно наткнулась на непреодолимую внутреннюю стену и, освоив с трудом любую науку до определенного предела – как с заткнутыми ушами ни зубрила даты, как ни надрывалась ночью над теоремами, по утрам роняя голову на стол – дальше шагнуть не удавалось. Так познания в математике трагически оборвались на формуле дискриминанта – и дальнейшие попытки поймать хотя бы лучик света в своем личном, других не касавшемся мраке оказывались полностью бесплодными... Когда задавали на дом сочинение на тему «Как я провел лето», она физически слышала трепетание мышиноного хвоста под деревенскими обоями, равномерный, уже за тишину сходивший стрекот кузнечиков в мокрых от росы зарослях дикого горошка, призывную трель толстого папы-ласточки у гнезда под стрехой сарая; ощущала благодатную шероховатость морского песка под нежной стопой, еще не огрубевшей от беганья босиком, ледяной огонь утренней колодезной воды; видела пунцовый шар солнца, намертво запутавшийся в листьях почти падающей в розовый залив ветлы, бабушкиного охотничьего кота, хозяйственно волокущего в дом за крыло убитую им в лесу куропатку – и многие, многие другие чудеса, о каждом из которых можно написать поэму... Видела, слышала, осязала – а на бумаге уныло тянулись тошнотворно куцые предложения: «Лето было жаркое. Солнце ярко светило. Было много цветов. Мы ходили купаться, а вечером играли в мяч. Я помогала бабушке по хозяйству...». Так же получалось и со всеми остальными предметами: чуткость и подробность внутреннего видения – и полная запертость внешнего выражения... Единственное виртуозное умение – скопировать любой почерк или автограф – было не приложимо ни к какому нужному и уважаемому делу, и однажды бывшая двоюродная Сенькина, неожиданно обернувшаяся лучшей рисовальщицей в классе и нацелившаяся

«Критическая масса» и другие повести...

яся стать модельером, снисходительно похлопала ее по руке:

- Не горюй, Анисимова: не всем женщинам запускать спутники и создавать шедевры... Кто-то должен и детей рожать... А у тебя, вон, как раз бедра широкие – семерых родишь как не фиг делать!

Ксения не могла стать даже скромной акушеркой – потому что и в медучилище требовалось сдавать биологию и сочинение... Она и пробовать не стала – сразу без экзаменов записалась туда, где учили на секретарей-машинисток... Мама, много лет скупившаяся на любую доброту к дочери, на этот раз похвалила:

- Молодец. Если б в текстильное какое-нибудь пошла или кондитерское – то на всю жизнь бы в работницах, в платке и халате, замуж – только за работягу. А там тебе и пьянка, и мордобой – и все такое. Теперь устроишься секретаршей – глядишь, и за итээра выскочишь.

Но, знакомясь с молодыми людьми в гостях и на танцах, она долго еще врала, что учится в Политехе, и придумывала смешные подробности из своей якобы студенческой жизни: все-таки не так стыдно было за свою неудачливость; казалось, что люди даже говорят с ней иначе, чем если бы знали, кто на самом деле эта миловидная девушка. Казалось – пока один симпатичный студент-киноинженер, серьезно завладевший как-то раз ее девичьим воображением, не отвел однажды в чужом доме Ксению в сторонку – она думала, целоваться, и побежала вприпрыжку. А он оглянулся по сторонам и незаметно, но железно вдавил ее в стенку, выпятил нижнюю челюсть и зашипел:

- Слушай, ты! Хватит тут из всех дураков делать! Ты что думаешь, никто не видит, что ты такая же студентка, как я китайский император? Ребятам просто неудобно за тебя – вот и молчат, а мне надоело, поняла? Не знаю, ткачиха ты или там продавщица какая-нибудь – только в следующий раз ври умнее, ясно? И не в нашей компании. Все, давай топай отсюда, пока я тебе не навешал!

- А что значит – врать умнее? – обреченно спросила растерянная и обиженная Ксюша, вовсе не рассчитывая на подробные инструкции.

Но, к ее удивлению, они поступили. Уже отошедший было юноша вернулся и усмешливо посмотрел на нее:

- Пожалуйста. Пусть это будет мой тебе, так сказать, прощальный подарок. Слушай сюда: во-первых, ври только так, чтобы нельзя было тебя проверить... Во-вторых, сочиняй исключительно в той области, которую хорошо знаешь... В-третьих, ври как можно ближе к правде... В-четвертых, ты должна сама искренне верить в то, что говоришь...

- Я не сумею... – безнадежно прошептала она.

Наталья ВЕСЕЛОВА

Взмахом руки он отбросил небрежную челку:

- Чепуха, все приходит с опытом... А в-пятых, самая лучшая ложь – это истина. А-а, удивляешься? И напрасно! Настоящий, виртуозный лжец не произносит ни одного слова неправды, и его нельзя ни на чем подловить. Но в целом его слова полностью искажают информацию, являясь стопроцентной ложью... Хотя этому учиться и учиться, но... – он пристально взглянул ей в глаза: – У тебя точно получится.

- Как это? – спросила Ксения, одновременно чувствуя удивительное: та самая намертво запертая дверь в ее сознании вдруг медленно и туго подалась внутрь; появился слабый луч таинственного света – и осталось только сделать последнее усилие...

Она вздрогнула. Паренек с напором продолжал:

- Вот возьмем, к примеру, твою неудачную легенду – второй курс Политеха и прочая чушь... Кстати, кто ты на самом деле? И почему действительно в институт не поступила? Но сейчас – слышишь! – говори только правду!

Ксения всеми клетками почувствовала, что настала сакральная минута жизни, и не стала ничего из себя строить:

- Машинистка... В университете работаю, на историческом факультете. А не поступила... Не поступила, потому что у меня тройки по всем предметам... Ну, короче, все говорят, нет у меня никаких талантов, кроме как быть женой и матерью... Только абы за кого идти не хочется... Чтоб потом всю жизнь с битой мордой не ходить... Ну, я и стараюсь попадать в приличные компании, где нормальные парни... На лицо-то я не уродка, и...

Пренебрежительно выставив ладонь, он пресек ее рассуждения и кинул краткий вопрос:

- Мать-отец, сестры-братья?

- Одна мать, на обувной фабрике бухгалтер; младший брат – даун, в интернете; отец бросил, конечно, – с той же похвальной краткостью доложила она.

Он кивнул:

- Правильно сделал. Что там историки на факультете меж собой говорят, что печатать тебе дают – сечешь иногда? – (Ксения торпливо кивала). – Тогда вот что...

Минуты две он размышлял, наморщив лоб, потом лицо прояснилось:

- Вот отныне твоя абсолютно правдивая история. Ты нормально училась в школе (свой троечный аттестат спрячь подальше и никому не показывай), но не на отлично – скажем, хорошистка с парой пятерок. Мечтала поступить на истфак – но дома у вас беда: маленький братик стал инвалидом (в подробности не вдавайся, но помни,

«Критическая масса» и другие повести...

что именно стал, а не родился: на девушке, у которой брат с врожденными отклонениями, вряд ли кто женится), лечение требует много денег, а отец вас бросил. Мать старая и больная, негоже ей одной надрываться... Хм... Бухгалтер, говоришь? Нет, пусть лучше финансист – кто там будет разбираться в тонкостях, а звучит солидней. Ты сама решила помочь матери и не идти пока в институт, а работаешь в Универе на любимом факультете – кем, уточнять не обязательно. В самом ближайшем будущем планируешь идти на вечернее отделение – кто это проверит, ведь планы далеко не всегда осуществляются... Вот и все! Много тут лжи? Да почти ни слова! А человек – другой: не жалкая врушка-неудачница не пойми какого роду-племени, а девушка-героиня из культурной среды, жертвующая собой для любимой мамы и братика. (Ты их обоих терпеть не можешь – я угадал?). И никаких разоблачений: все достоверно, – он помолчал и заговорщицки подмигнул ей: – А я сам-то – знаешь, кто? В кинотеатре механик...

Потрясенная Ксения молчала: из широко распахнутой заветной двери ей в лицо сиял ослепительный свет.

Только она начала задремывать, как мимо двери прогрохотала каталка – в одну сторону, потом в другую – и снова ее хрупкий сон был грубо разбит. Бессонная ночь всегда мучительна и дома – а уж в таких-то условиях...

Случалось ей, конечно, и раньше до утра смотреть воспаленными глазами в постепенно светлеющий потолок – особенно в тот год, когда казалось, что жизнь уже не выправится, что теперь останется только доживать – как-нибудь, где-нибудь... Она тогда лежала и горько думала о том, что ее любимый человек оказался таким же, как и все прочие мужчины: сначала мог предложить ей только несколько напрасных лет унизительно тайных встреч, потом заставил развестись с мужем, потому что гордость его страдала оттого, что он в ее жизни не единственный. Она с пониманием отнеслась к невозможности его собственного развода – но ведь жена бросила Леню сама, и он освободился! Ксения уже мысленно праздновала победу, чуть ли не платье свадебное приискивала себе – ведь он был ей обязан, после стольких-то лет! А любимый, наоборот, вместо радостного сближения, стал стремительно отдаляться, лишь раз или два удостоил милостивым посещением – и пропал. Она снова готова была терпеть и прощать, списывая его охлаждение на усталость и стресс: так ласкова, услужлива была на работе – а он и внимания не обращал. Думала, хоть перед отъездом на раскопки подойдет, повинится – но он даже не изволил попрощаться с ней! Уехал, будто ее и не было! Несколько дней Ксению воротило от еды, пропал сон, на цыпочках уходила по-

следняя красота... Она уже понимала, что Леонид попросту решил начать новую жизнь – и, разумеется, с новой зазубой – а ее, так преданно его все годы прождавшую, просто отставил в сторону, как будто убрал в чулан отслужившую вещь... Кто та женщина? – над-рывалась ночами Ксения. Она знала, что не из их, факультетских: такое известие давно бы уж прополоскали на всех кафедрах! Значит, со стороны – и никаких подходов к ней нет... Преодолев гордость, она написала знакомой аспирантке на раскопки, умоляя ответить, с кем там живет Леонид – и с некоторым облегчением получила обнадеживающий ответ, что один. Может, они расстались с *той*, и он по возвращении одумается и придет?!

- Ты чего, мать, спятила – сидеть и ждать у моря погоды? – сказала ей, придя в гости, бывшая соседка Жанна – медсестра, сохраненная на всякий случай в старых приятельницах – и для доходчивости звучно постучала пальцем по собственному лобастому черепу. – Так он и примчался – жди с зажженной свечой: если и прилетит разок, то только как на запасной аэродром, пока нет ничего свеженького. На твоём месте я бы, конечно, давно его послала куда подальше, но раз уж ты так заиклилась... Короче – если нужен, то борись за свою любовь, борись до последнего – вот что я тебе скажу! И не вздумай опускать руки!

- Да как бороться, как бороться?.. – всхлипывала полностью опустошенная Ксения. – Он, похоже, и знать меня больше не хочет... Письмо напишу – не ответит... Или, еще хуже, ответит, что все кончено... – В ее руках ходуном ходила догорающая сигарета, кофе остывал нетронутым. – Мне жизнь опротивела... Псу подхвост пошла... Семью потеряла, сын отвернулся... Мне иногда хочется – руки... руки на себя... – оттолкнув пепельницу и чашку, она зарыдала.

Приятельница встала и, обогнув стол, прижала голову Ксении к своему рыхлому теплому животу:

- Надо взять себя в руки... Письмо писать – это, конечно, глупость полная... А вот раз этой сучки его там нет – то надо тебе срочно брать отпуск и самой туда ехать... На месте разберешься, что к чему... Только запомни: никаких упреков... Никаких выяснений отношений – Боже упаси: тут же пинками выгонит! Смотри: главное – приехать не утром, чтоб действительно сгоряча обратно не отправил с какой-нибудь оказией... А попозже вечером, когда ясно будет, что домой тебе не добраться... Если даже автобус туда раньше приходит – хоть в лесу жди, а к нему не беги сразу...

Ксения перестала всхлипывать и высвободилась. Подняв голову, она внимательно смотрела на Жанку; в мозгу опять, как однажды в юности, быстро и чудно прояснялось.

«Критическая масса» и другие повести...

- А на ночь оставит – считай, твоя победа, – спокойно продолжала подруга. – Даже если учесть, что они прямо перед его отъездом переспали – все равно он уже три недели постится. И чтоб мужик при таких условиях красивую бабу из своей постели выгнал – да ни в жизнь не поверю! Да еще бабу, которая ничего не требует, ни о чем не спрашивает, со всем соглашается... А там – сама знаешь: ночная кукушка всегда дневную перекукует... Тем более ты за столько лет все его слабые места вычислила, знаешь как облупленного... Ну, словом, не мне тебя учить...

- Он ведь наверняка ей звонить бегаёт! Мне же звонил раньше из своих экспедиций! С этим-то как быть? – Ксения уже маятником ходила по кухне: три шага туда, три – обратно.

- Побегает и перестанет, – пожалала плечами Жанна. – Да и вопрос еще – бегаёт ли. У нее телефона может не быть, на почте у них не обязательно есть междугородний... Куча сложностей... Конечно, узнать это надо сразу же... Но, скорей, они письма пишут... А тут уж придется проявить фантазию...

У Ксении перехватило дыхание:

- Ты имеешь в виду – письма как-нибудь... того...?

Жанна подошла и крепко взяла подругу за плечи:

- Ты идешь *ва-банк*, поняла? Ты борешься за свою любовь. За его и свое счастье. За будущее – потому что тебе не поздно еще и ребенка родить – для себя. За справедливость, наконец, потому что ты ее заслужила. А в такой борьбе – даже не сомневайся: все средства хороши. Абсолютно все. Кроме разве что убийства. Даже если на подлянку, например, потребуется пойти – не вздумай отступать из каких-нибудь благородных соображений – слышишь?

- А как же – мораль? – неуверенно спросила Ксения. – Ну, там, нравственное чувство...

- Морально то, что в конце концов приносит пользу, – отчеканила подруга как по писаному. – Вот у нас в абортарии некоторые тетки сокрушаются, что поступают безнравственно. А очень нравственно, интересно, если ребенок будет расти в условиях нашей советской нищеты, а пьяница-отец будет каждый день бить его по голове? Вот и у вас. Очень морально было со стороны твоего Ленчика проматросить тебя десять лет, лишить семьи, дома, сына – а потом, когда появилась возможность вступить с тобой в законный брак, спутаться с какой-то шалавой? Кроме того, сама знаешь: мужики – это вечные дети, которым подавай мороженое. А если горло большое? Кто остановит такого... лакомку? Только мать, между прочим. Женщина. Ленчик твой и понятия не имеет, что для него лучше, что хуже, ему приспичило здесь и сейчас – а потом трава не расти. Все они такие. Но ты-то знаешь истину, что, кроме тебя, для него ни-

Наталья ВЕСЕЛОВА

кто столько не сделает, никто его так не полюбит. А мораль, Ксюха... Сколько людей, столько и моралей. Только правда одна – как в песне.

Ксения молчала: ее особая дверца внутри вновь была широко открыта, и где-то вдали будто вставало другое, более яркое солнце.

Нет, заснуть оказалось принципиально невозможно – но не хотелось и шевелиться. Все тело словно оцепенело в странной полудреме, постепенно светлело за окнами, мысли текли плавней, с благодарностью вспомнилась Жанна. Надо бы попробовать разыскать ее, ведь с того дня так и не пришлось увидеться – настолько круто повернула жизнь на хорошее, что не хватало времени на праздные встречи с людьми из прошлого. А ведь помогли ее советы бывалой женщины, без них, может, и не управилась бы так удачно...

С письмами получилось – идеальней некуда.

Убедившись, что Ленчик собственноручно относит свои на почту и там же получает послания от зазнобы, Ксения поначалу приуныла: тут уж не украдешь их из почтового ящика, не примешь из рук почтальона... В тяжелых раздумьях отправилась она на разведку к почте и, проходя под ее окнами, раскрытыми по случаю редкого тем летом жаркого дня, вдруг услышала отчетливые женские причитания. Она остановилась и прислушалась.

- Хватит уже, хватит! – сквозь слезы кричала женщина. – Не верю я больше ни одному твоему обещанию... Кобелюкой всю жизнь был – кобелюкой и остался... Трех детей нажили – все неймется! Лучше бы уж пьяницу Бог послал: проспался – и опять хороший... Мне по деревне ходить – срам один, потому что люди пальцами показывают!

- Бу-бу, – приглушенно ответил мужчина. – Бу-бу-бу... Бу.

- Ага, любишь, как же! – еще пуще зарыдала женщина. – Любил бы – не таскался бы к этой на виду у народа! А ты – ты на всех наплевал – на мать, на детей, на меня... Любит он! Вопрос только – кого!.. Как человека тебя прошу – ну, уйди ты уже к ней совсем, не мучь ты меня больше!.. Сил ведь никаких нету – гадать каждый раз, где ты и с кем...

Мужской голос снова успокаивающе загудел – но сразу был прерван истерическим воплем:

- Убирайся с глаз моих! Еще на работу имел наглость припестеться! Вон, пока не прибила!

Со свистом пролетело и шмякнулось что-то тяжелое, и по деревянной лестнице сразу дробно затопали шаги; Ксения отпрянула от окна и скрылась за угол. Получалось, что почтарке изменяет муж – а значит, они оказывались полностью подругами по несчастью...

«Критическая масса» и другие повести...

Ну, какая женщина не поможет другой в таком горе, особенно той, к которой искренне расположена! – и Ксения решительно повернула обратно к дому.

Была у нее с собой одна драгоценность: едва начатый флакон изысканных духов «Климá», привезенный ей в качестве презента из Москвы, из знаменитого на всю страну единственного магазина настоящей французской косметики, одним очень пожилым профессором, которому только она много лет подряд перепечатывала все его впечатляющие труды. Ксения достала из чемодана плотную квадратную коробку, подняла крышку. На голубом бархатном ложе, как огромный бриллиант искусной огранки, сверкал изящный флакон со светлой жидкостью. Он был почти полон, потому что она только изредка, по торжественным случаям, позволяла себе нанести за оба уха по капле драгоценного аромата – а сюда захватила в качестве тяжелой артиллерии, помня, как в прямом смысле дурел Леонид от запаха ее кожи, когда ловил волну неземного аромата. Даже в своей критической ситуации Ксения посмотрела на флакон с горьким чувством предстоящей утраты – но тут же улыбнулась. Она быстро извлекла из сумочки большой темный пузырек с витаминами и вытряхнула остатки в помойное ведро – их оказалось всего ничего! Понюхала – бутылочка ничем не пахла. Тогда с величайшей осторожностью она перелила туда три четверти бесценной жидкости из флакона и плотно заткнула пузырек пробкой. В Ленинграде она перельет хитроумно сохраненные духи в точно такой же пустой флакон от «Климá» в коробке небесного цвета, что остался от лучших времен, когда Леонид тоже делал ей подарки, – и таким образом, почти не понесет ущерба! Ну, а почтарка... Ксения долила дорогой Лёниной водкой флакон с остатками духов, хорошенько взболтала, понюхала: русская водка нимало не перебила французскую парфюмерию! Пахло почти так же божественно – что ж, пусть вместо духов теперь будет туалетная вода: в этих диких местах люди не слишком разборчивы. От такого подношения что почтарка, что свинарка – одинаково быстро поступят в добровольное рабство...

Она не ошиблась: через двадцать минут переговоров с усталой заплаканной женщиной – иссера-бледной, с взъевшейся в руки земли, в синем штапельном халатике – Ксения без хлопот выторговала безоговорочное право получать в собственные руки письма обоих прелюбодеев, дружно заклеянных честными женами. Всего-то ничего и потребовалось: «Вижу, глазки заплаканные... а я-то уж свои слезы все выплакала... да так, ничего... ладно, скажу, что уж... муж другую нашел... как – и ваш?! – да что вы говорите, быть не может – такая красавица... расскажите, мы ведь товарки по несчастью... трое детей?... ах, какой подлец... ну что вы, что вы, не плачь-

те так... вот хотите, я вас утешу... смотрите, какая красота... искала, кому продать, а вам так отдам... нет, нет, не благодарите – мне в удовольствие... хоть кому-то радость... а мне-то, старухе, зачем уже... вы такая милая, все у вас еще будет... да нет, со мной все кончено: уходить собрался... двадцать лет прожили, и вот... письма носит ей каждый день... сами знаете, через вас же идут... и она ему тоже... а я уж так... хоть напоследок пожить с ним... помочь чем-нибудь... все глаза проплакала... ой, нет, я и прикасаться к ним не хочу – такая гадость... чужие письма, да еще от этой – нет, нет... вы думаете?... нет, не могу... да?... хотя действительно... может, правда – постепенно забудет, если письма не придут... а что – хорошая идея... хотя не очень нравственная... вы считаете?... ах, умничка вы моя... я ведь и не чаяла... Тогда вы вот что: все его и ее письма откладывайте в сторонку подальше, а я где-нибудь в полдень буду их забирать. Ну, а Леонид Павлович спросит – скажете, ему, мол, ничего не приходило. Понятно? А если справитесь с этим, я вам потом еще пудру подарю – «Ланком». Так что – можно считать, что мы договорились, милая?».

Почтарка уже не благодарила Ксению за щедрый подарок: она прекрасно поняла, что духи ей вовсе не подарили. Но и расстаться с чудом, никогда не являвшимся даже в мечтах ввиду полной несбыточности, было невозможно по определению: вырвать у нее теперь флакончик из рук можно было только вместе с самими руками. Отдать за него хорошей несчастной женщине какие-то чужие письма? Да еще подлеца и подлюки? Да с нашим удовольствием! А вот она к ночи надушится как следует, Толька понюхает – и с катушек. Еще посмотрим, как он к *той* поскачет после этого – *та*-то, небось, в коровнике работает!

Так первая и главная забота отпала, оставалась сущая безделица. С самого начала было очевидно, что, долго не получая писем, хоть один из любовников – да бросится к другому выяснять, что случилось – и тогда уж ей пощады ждать не придется! Леонид человек решительный, эту тетку с почты в одну секунду так припрет, что она на месте все свои страшные тайны выложит... Но способ предотвратить их совершенно лишнюю встречу, Ксения придумала сразу, как только получила письма в свои руки. Надо же – Журавлева Вероника Николаевна! Уж не дочь ли того великого Журавлева, о котором вся кафедра, включая и Ленчика, говорит не иначе как с придыханием? И такими делами занимается – рушит чужие жизни, сманивает мужей... Хоть и противно было читать бесстыдные излияния, но чувство законного возмущения человеческой подлостью укрепило ее вполне: ведь нужно было досконально изучить почерки обоих!

Даже теперь, через двадцать восемь лет, в утренних сумерках

«Критическая масса» и другие повести...

лежа в казенной постели, Ксения улыбнулась: вот этого бы точно никто, кроме нее, не смог сделать – ни за какие коврижки. Потому что ни у кого не было такого с детства данного таланта...

Чтобы пылкие любовники больше знать друг друга не захотели, требовалось нечто, что обоюдно обидело бы их, оскорбило до самых печенок. Ну, что могло оскорбить Ленчика, ей было понятно из его глупых писаний: он ужасно боялся, как бы молодая не сочла его стариком – а сам, дурак, ей во всех письмах напоминал о своем возрасте. Ну, а та изо всех сил выставляла себя эдакой неординарной личностью – нагляделась уже на них Ксения. Для такой самое страшное – если кто-то обойдется с ней пренебрежительно, как с примитивной дамочкой без мозгов. На изготовление двух оскорбительных писем времени хватало с избытком: голубки должны были хорошенько дозреть до их получения, измучившись молчанием своих адресатов... Но и передержать было страшно: а ну как кто-то сорвется и полетит раньше времени! Фиолетовые чернила Леонида стояли тут же, на столе, а за таким же черным стержнем, как у Ники, пришлось даже съездить в Псков – под предлогом купить себе шляпу от солнца – и ничего, нашелся как миленький – в отличие от шляпы... И настал день, когда, осторожно отпарив конверты, Ксения вложила в каждый новое содержимое. Тот, что был из Ленинграда, с последней датой на штемпеле («...просто ответ – жив ли ты, мне главное знать хотя бы это, ведь я уже начинаю думать о самом худшем!!!») – напрасно вопияло вынужденное из него письмо), аккуратно прислонила к вазе с цветами. А что такого, она честная женщина: захватила на почте послание для друга заодно со своим, от мамы, и, не распечатывая, принесла в дом – почта-то вечером все равно закрыта, не ждать же ему до завтра! Со вторым письмом – для соперницы – пришлось ехать в райцентр, чтоб не показалось честной почтарке странным, что жена вдруг лично принесла на отправку письмо от мужа к любовнице...

А по дороге обратно, когда автобус трясся по усеянной ямами грунтовке, перед глазами у Ксении внезапно позеленело, изнутри поднялась гнусная тошнота, пелена дурноты на минуту заволочла окоем, руки взмокли... Она еле отдышалась, еще не веря себе – но сердце уже колотилось бурной радостью: это – оно. Ксения быстро подсчитала дни – точно. И если до той минуты со дна души еще изредка всплывали какие-то сомнения и страхи (например, что сделает Леонид, если обман ее все-таки вскрыется через какое-то время), то отныне они растворились сами собой: она знала, что теперь не одна, и бороться предстоит за двоих. А если правда и выйдет когда-то наружу, то уже поздно и невозможно будет что-нибудь изменить...

Наталья ВЕСЕЛОВА

Дальше в памяти глубоко копаться не следовало – и благоразумная Ксения, с усилием прогнав уже устремившееся вперед воспоминание, перевернулась на спину и поправила на себе одеяло: дрема все-таки начала одолевать измученный этой ночью мозг. Но Ксения чуть-чуть кривила душой, убеждая себя, что ее никогда не мучают кошмары. Нет, был у нее один – не то что кошмар, но сон настолько знакомый, что, когда он приходил, она сразу понимала, что спит, и, более того, помнила, что нужно сделать, чтобы немедленно проснуться... Она снова стояла в подвале – и все, как обычно, оказалось в порядке: никто не тронул гнилые доски в углу, из крошечных окошек тек обыденный серый свет, пора было уходить; она знала и почти не боялась, что вот сейчас откинутаая ею дверь подвала начнет сама закрываться у нее над головой и – да! – станет страшно на миг, но нужно просто взбежать по лестнице, оттолкнуть ее обеими руками, выскочить наверх и – проснуться... Так она и сделала – уф, больница! Ну, конечно, этот сон всегда приходил в моменты волнений! И корни свои имел, и ноги – а как же...

Воспоминание все равно прорвалось к ней – может быть, потому, что за высокими больничными окнами все еще стояла светлая ночь – почти такая же, как тогда: откуда-то взялся частый предутренний дождь (наверное, пошел, пока она лазала по подвалу), ритмично стучали капли по жестяным карнизам... Дождь в ночи либо успокаивает, либо пугает...

Ксению всегда пугал, потому что в тот вечер в Двуполье ливень обещал ночную бурю, а Леонид ушел в обжитую летом школу, к своим: веселые аспиранты уговорили его заглянуть к ним на рюмочку коньячку. Она ждала любимого с некоторой обидой, потому что с собой он ее все-таки не пригласил. Была бы женой – пошли бы вместе, а так получалось, что он как бы не особо стремится легализовать при людях ее положение... Обида нарастала, усугубляясь тем, что все средства воздействия были исчерпаны, оставалось только ждать результат – а все словно повисло между небом и землей... Накрыв на стол к ужину, Ксения приуныла: настало ли время для решительного разговора? Только надумала еще чуть-чуть подождать, как в дверь дважды требовательно постучали. Уверенная, что это вернулся Ленья, и готовясь уже сушить его – мокрого, забавного, бубнящего из-под ее настоячивого полотенца о «совершенно несостоятельной теории позднескифского происхождения» чего-то там, она отодвинула завес – и едва не была сметена человеком, стремительно ворвавшимся в дом. Этот чужой человек оказался – женщиной... Слишком молодой для дочери Журавлева – внучка, что ли? Мокрые рыжие волосы

«Критическая масса» и другие повести...

падали на мелкое крысиное личико... И вот на *эту* Леонид хотел променять *ее*?.. Она запомнила, как в ту секунду словно гладкий ком льда упал у нее от сердца в низ живота – и там остался – вымораживая, губя, истребляя...

Следующие четверть часа в память Ксении не уместились – но она знала, на что это было похоже: словно безвинного человека, грубо сорвав одежду, бросили в прорубь – и мощное ледяное течение подхватило его, унося во тьму. Этим несчастным была она – из последних, но уже нечеловеческих сил цеплялась до мяса разодранными руками за острые ледяные края, на миг выныривала, хрипя и задыхаясь над черной водой под далеким звездным небом, но потусторонний холод уже сковывал с головы до ног, навеки парализуя и тело, и волю. Она отстраненно понимала, что даже терпеливо говорит с *той*, оскорбившей ее с порога, – и произносит единственно возможные и правильные вещи, подсказанные оттуда, из-за вновь спасительно отворившейся внутренней двери – но ни единого слова не сохранилось в памяти! В мозгу стучало – гремело – грохотало – одно: счет идет на минуты, за которые она обязана удалить, убрать, растворить в воздухе эту мелкую рыжую крысу, все время трогаящую противной розовой лапкой свою подпухшую щеку. Иначе – все напрасно, напрасно, напрасно! Где она просчиталась? Почему из маленьких злобных глазок крысы летят в нее такие острые, такие победительные искры? Как сделать так, чтобы она уползла, убежала, исчезла – чем напугать? Или усовестить? Но есть ли у крысы совесть?!

В начале улицы захлебнулась лаем собака – страшней этого звука в тот миг не могло быть ничего, потому что это означало: все кончено. Три минуты проходило всегда от первого гавка дурного цепного пса, исходившего хрипом и лаем при виде любого прохожего, до стука в дверь. До катастрофы, разоблачения, позора, изгнания оставались ничтожные полторы сотни секунд. Поняла это и рыжая нечисть, нагло вломившаяся в ее дом и жизнь – глянув на онемевшую Ксению с неприкрытым торжеством, она откинула занавеску... И в этот момент, не думая о том, что делает, только зная, что другого способа нет, Ксения схватила со стола чугунок с горячей, политой пахучим маслом и посыпанной укропом картошкой – и со всей силы обрушила его на затылок вражины. Та повалилась без звука и без единой капли крови. Пятидесятилитровый бидон с колодезной водой Ксения отставила на метр одним движением, мгновенно откинула лоскутный половичок, на котором он стоял, отпахнула деревянную дверцу глубокого лаза в подпол. Подтащить неподвижную рыжую девушку к отверстию, ухватив ее за обе ноги в промокших кроссовках, оказалось проще простого. Внутри Ксения спихнула ее двумя толчками своих сильных рук – и та даже перекувырнулась через голову,

Наталья ВЕСЕЛОВА

падая по крутой лестнице, но нельзя было потратить и секунды, чтобы взглянуть на упавшую – осталось только успеть схватить с полу ее рюкзачок и сбросить его следом за владелицей. Закрывая дверцу подвала, наспех постилая обратно половички, Ксения уже слышала боковым слухом неторопливые шаги Леонида под окнами, а бидон поставила обратно как раз в то мгновение, что прошло между двумя его звонкими ударами в дверь. «Иду, Ленчик!» – громко крикнула она, распрямляясь, но, когда он, повесив в сених насквозь мокрый дождевик, вошел вслед за ней в кухню, бормоча и весело поеживаясь, Ксения уже колотилась в слезах и судорогах на полу среди раскиданной картошки, над пустым, покачивающимся на боку чугуном...

- У нас будет ребенок!!! – кричала она. – Слышишь, ты?!! Я больше не пойду на аборт, не пойду, не пойду, хватит!! Ты отнял у меня одного сына – так дай хоть родить другого!!! Да скажи же ты что-нибудь!! Не стой, как истукан, и не молчи мне тут! Не смей молчать!!!

Леонид подошел и присел с ней рядом, помолчал с минутку и осторожно обнял за плечи:

- Ну, будет, так будет, – примирительно сказал он, наконец. – Иваном назовем. Ты не против? Ну и ладно...

Вот тогда и настала ее самая страшная ночь – ночь, искупившая всю жизнь на тридцать лет вперед... Над деревней, затертой меж двух бескрайних полей, давших ей в давние времена красивое имя, разразился в те часы нешуточный ураган. Река Плюсса, не хуже великой мастерицы на эти дела неласковой Невы, ярилась где-то под холмом и ревела бешеным медведем, рвущимся из клетки. В окна летели небесные горсти крупного града, колотило о наружную стену сорванный рукой шквала резной наличник... Лицом к стеночке уютно, по-щелячьи посапывал умиротворенный Леня, а Ксения лежала на спине с широко распахнутыми во внешнюю тьму глазами, не в силах шевельнуть даже пальцем и еле переводя дух. Она вся была устремлена туда, вниз, где кучей ломаного хлама валялась *та* – а может быть, уже не валялась, а очухалась и копошилась, ища выход, как недобитая гадина...

...Мертвая она или нет? Или в любую минуту может, как непогребенный утопленник у Пушкина, постучать холодной рукой в окно?.. Какое окно – она же внутри дома! Нет, нет, она не выберется наружу, ни за что не отодвинет тяжелый бидон с водой! А если начнет кричать, биться... Вот сейчас... Что там за звук – кажется, вни-зу?! Нет, показалось, это ветер полощет ветви сирени... А теперь... Шаги!!! Показалось... Или нет?!!

До самого утра обрывалось и стыло сердце, фантастические

«Критическая масса» и другие повести...

образы вставали перед лезшими от ужаса из орбит глазами, и закрыть их было нельзя: тогда казалось, что *она* стоит уже прямо над кроватью, и насмешливые глаза горят зеленым в темноте – как и должны гореть у крысы... В какие-то моменты приходило понимание, что после такого удара не мог выжить ни один человек, но сразу набегали сомнения: ведь крови-то не было! Должна была быть или необязательно? А вдруг – она лежит там живая, но не может встать – что тогда?! Одно дело ударить, не думая, и совсем другое... добить на следующий день... А что же делать?! Ответ только один – довести начатое до конца, потому что теперь одной из них на земле нет места...

Утром стояла восхитительная, парная тишина. В окне, словно поднимаясь из взбитой сливочной пены, возвышалась на туманном холме горбатая спина тысячелетнего кургана... Ксения все-таки заснула, обессилев на исходе ночи – и Леонид, выпив вчерашнего молока с ломтем сыра на горбушке батона – в двух метрах от нарядного половичка, на котором сверкал отчищенный до блеска бидон, ушел на раскопки. Он не решился потревожить любимую женщину – ждущую ребенка, подлежащую нежной заботе и слегка приболевшую... В одной рубашке убийца бросилась к лазу, вмиг, не задумавшись даже, своротила бидон, откинула дощатую дверцу... Она уже знала: если нужно – добьет, и рука не дрогнет: в ней – ее Ванечка. «Ты не против?» – о, еще бы она противилась... Но Рыжая не шевелилась, мертвая давно и бесповоротно. Холодное сомнение ворохнулось в Ксении – как такое может быть? – только вчера ходила тут по-хозяйски, грозила уверенным голосом... И вот лежит поваленным манекеном, вместо глаз – два тусклых слизня, голова запрокинута... Она пригляделась, преодолевая отвращение: не может так быть повернута голова – ни у живого, ни у мертвого! Что же это? А это – сломаны шейные позвонки! Выходит, не она ее убила – случай! Она просто – стукнула, не зная что делать, просто слепо стремясь пресечь обволакивающий кошмар... А уже падая, женщина сломала шею... Это – случайность! Но кто теперь этому поверит...

Ксения выпрямилась и с шумом вдохнула воздух, босиком стоя на песчаном полу: нужно немедленно прийти в себя – немедленно! Сейчас каждый шаг должен быть выверен – до миллиметра. Она не имеет права совершить больше ни одной ошибки... Но как это сделать – что вообще делают в таких случаях – в жизни, а не в кино?! Она напряглась всем существом, будто уже предстояло родить – и нужно было не только дать новую жизнь, но и выжить самой. И снова вспыхнуло глубоко в мозгу – приоткрылась та самая потаенная дверь, и Ксения изо всех сил всмотрелась внутрь себя, в тот пронзительный свет, указующий путь...

Сделав еще несколько глубоких вдохов, она твердой поступью обошла труп и поднялась по лестнице: прежде всего, следовало обезопасить себя. Заложила древний, еще сто лет назад выкованный местными кузнецами железный засов на входной двери, наглухо задринула все занавески: она больна и спит – не тревожьте ее! Надев чужой истрепанный халат, висевший в сенях, четкими скупыми движениями вынула все три заслонки русской печи, ловко затопила ее: кто поспорит с тем, что после ночной бури надо основательно просушить дом во избежание плесени? Подошла к серванту, налила себе большую рюмку водки из синего графинчика – той самой экспортной водки, которой недавно еще разбавляла духи для наивной почтарки. Выдохнула – и не стала закусывать; подождала, пока жидкий огонь дойдет до глубины души, придавая ей крепости – и крепость пришла. Ноги не дрожали, и сердце лишь ненамного ускорило свой ритмичный шаг, когда Ксения, перевернув покойницу на спину и не глядя ей в лицо, обыскала ее одежду: в карманах нашелся паспорт и тощий коленкоровый кошелек – то и другое немедленно отправилось в печь – правда, деньги, поколебавшись минуту, она решилась вынуть. Личность по ним не установишь, а лишний четвертак при ее все такой же нищенской зарплате... Ксения работала на истфаке и хорошо знала, что именно ответил римский император Веспасиан своему сыну Титу – будущему разрушителю Иерусалима, когда тот возмутился тем, что отец обложил налогом общественные нужники: «Деньги не пахнут!» – сказал он, сунув сыну под нос горсть золота. Ксения тоже понюхала две десятки, зеленую трешку и мятые рублики: от них исходил едва уловимый запах незнакомых духов – такой слабый, что им вполне можно было пренебречь. Подкинув дровишек в без того яркий огонь, и на всякий случай чутко прислушавшись, она вернулась в подвал, чтобы проделать самую неприятную часть работы: предстояло проверить, какие на *той* украшения – потому что именно они-то и могут послужить, в случае чего, лучшими удостоверениями личности. Подумала – не выпить ли перед этим еще водки, но вспомнила про Ванечку: нет уж, пришлось ей увидеть в жизни одного мальчика-дауна, хватит... Проглотила быстро набравшуюся слюну и отогнула высокий воротник на ледяной шее: так и есть – золотая цепочка с кулоном; дернула что было сил – и она лопнула. Кулон оказался крестиком – и Ксения от неожиданности чуть не выронила его: выходит, покойница – верующая, что ли, была?! И теперь Бог, чего доброго, за нее покарает?! Сердце сорвалось, задрожали руки... Глупости, глупости, глупости... Суеверия... И вообще, если Бог и есть, то Он знает, что все произошло случайно... Она же не убийца – просто так вышло... Преступнице снова удалось взять себя в руки – и уже почти спокойно она принялась сдирать

«Критическая масса» и другие повести...

единственный малахитовый перстенок с холодного твердого пальца покойной; рванула посильней – и он довольно легко соскочил. Потом она выбросит то и другое в заброшенный колодец за околицей – туда, где на дне стоит мутная тухлая вода... В маленьком кожаном рюкзачке оказались всё тряпочки, тряпочки да картонный блокнотик – это-то бабское барахло в печи сгорело за полчаса – вместе с рюкзачком...

Отдышавшись, Ксения снова полезла в проклятый подпол, критически осмотрела одежду на трупе: ширпотреб. Индийские джинсы, польская голубая куртка (у нее самой такая же была, только бежевая), свитерок из Прибалтики – она там тоже себе однажды чуть такой же не купила... Так что раздевать *ее* – Ксения крупно содрогнулась – не придется...

Когда-то она ненавидела свою бывшую свекровь – фанатичную труженицу на затерянном среди партизанских лесов и болот под Лугой дальнем садовом участке. Волевая и властная женщина, она с восходом в любую погоду выгоняла на грядки и постройки невестку, сына и внука, приехавших отдохнуть на недельку – и на следующий же день начинавших горько раскаиваться. Но теперь Ксения вспомнила ее с настоящей симпатией: ведь это благодаря свекрови она теперь ловко и грамотно управлялась с лопатой, знала, как уберечь руки от пузырей, правильно надел перчатки – и через несколько часов в углу подвала, в мягкой, песчаной, податливой почве образовалась пусть и не слишком глубокая – но надежная и, можно сказать, уютная яма.

Время поджимало – потому что солнце уже уверенно перевалилось ближе к западу; земля над безвестной могилой была утрамбована почти до каменности, а сверху навалены старые серые доски из другого угла; лишнюю землю – ее оказалось не так уж много – Ксения равномерно рассыпала по всему подвалу, размела истлевающим вербным веником, найденным там же... На своем месте лежал миленький лоскутный половичок, красавец-бидон, как нелепый памятник на могиле, уверенно попирает замаскированный вход в подвал... Уже прибравшись, Ксения спохватилась о единственной своей, теперь неустранимой оплошности: как она не догадалась отвернуть рукава голубой куртки – ведь наверняка же там остались часы! Но сразу себя и успокоила: ну, какие там часы? «Заря» какая-нибудь или «Луч» – пусть бы даже и золотые... Все равно выпускаются массовыми партиями... Да и кому придет в голову искать пропавшую – здесь? Даже если кто-то и знал, куда *та* отправляется – зачем станут копать землю в подвале? Вероника Журавлева сюда не приезжала – никогда. Это с полной уверенностью покажет любому следствию Леонид – кто посмеет усомниться в словах заслуженного ученого?

Наталья ВЕСЕЛОВА

Ее не найдут. Она навсегда останется пропавшей без вести. Мало ли людей ушло из дома и не вернулось...

Ксении предстояло спуститься в тот подвал еще раз – через девять лет. Когда с восьмилетним умницей-Ванечкой по дороге в другую деревню не устояла перед искусом завернуть в Двуполье – и просто убедиться в том, что мертвецы не встают из могил. Что тайна любви и смерти надежно сохранена временем, и ничто не угрожает ни благополучию ее семьи, ни самой жизни... Прикинувшись, что подыскивает себе деревенский дом, Ксения размотала почерневшую тряпку, служившую теперь замком для наружной двери, и спустилась по рассохшейся лестнице в подпол. Увидела мирный пыльный свет из щелей и крошечных окошек, почти в труху распавшиеся доски на том же месте, где она их оставила, – и такой покой снизошел в душу! Никто ее уже не тронет... Все позабыто... Правда, когда она собралась подниматься наверх, сумасшедшая грязная старуха в рваном тряпье, которая все время околачивалась вокруг с неразборчивым безумным бормотанием, зачем-то вздумала захлопнуть над ее головой дверцу подвального лаза – пришлось отшвырнуть ее в сторону и с криком выбежать – впрямь неприятное воспоминание...

Оно и превратилось со временем в этот навязчивый сон, приходивший то еженощно, то раз в десятилетие – вот опять, уже второй раз за ночь... Неудивительно – когда сама себя так разбередила... По куче гнилых досок беззаботно скакали в полутьме солнечные зайчики, подрагивала искусная паутина в плоском пыльном луче... Безотчетная тревога нарастала изнутри, гоня прочь из сумрачного места – наверх, к настоящему свету. Надо только подняться по лестнице – и вот она уже на нижних ступеньках. Сейчас выход начнет накрываться дощатым прямоугольником двери – да, как всегда, нависает, грозя запереть ее в подвале, как в гробу! Не страшно, не страшно... Просто оттолкнуть его легким движением, как делала десятки раз, и вырваться, вздохнуть полной грудью... Ксения увидела свои молодые руки на бурых занозистых досках – один толчок – и... Там, в больнице, наверное, уже утро...

Но легкая деревянная дверца не поддавалась послушно, как в предыдущих снах... С силой и нажимом бетонной плиты она давила вниз, делая усилия двух ее жалких ладоней просто смешными... Тогда Ксения уперлась в доски головой – как же больно!!! – но нельзя позволить двери замкнуть последний свет! Она судорожно вдохнула в последнем усилии и выдохнула – а-а-а! Остановите! Так нельзя! Это нечестно!! Пустите!!! Но силы иссякли, перехватило дыхание – и следующий вдох сделать не удавалось... С глухим стуком дверь-плита рухнула вниз, и в тот же миг навек захлопнулась и другая – та,

«Критическая масса» и другие повести...

заповедная... Ксения в смятении обернулась, панически ища взглядом другого выхода – но никакого подвала не было. Вокруг стояла непроглядная тьма, и со всех сторон напал живой, запредельный ужас.

Эпилог (2015 год) **Не все так плохо, как кажется...**

- А вот этот дуб посадил Иван Грозный, – с улыбкой сказал молодой монах вполне светскому парню лет двадцати семи – шатенистому, светлоглазому, румяному, но очень грустному здоровяку.

- Вряд ли. Он на пятьсот лет не тянет, – нехотя отозвался парень.

- Ну, не знаю, я при том не был – просто здесь так считается, – не стал спорить веселый чернец – и вдруг легко подпрыгнул, на лету сорвав хилый дубовый листок; приземлившись, незаметно оглянулся – не успел ли кто увидеть и осудить его неподобающий маневр. – Давай-ка, Ваня, по стене лучше походим – туда туристы реже суются...

Он, разумеется, ошибался, потому что, как только молодые люди начали чинно, гуськом подниматься по каменной лестнице на широкую крепостную стену, навстречу им с голодным кошачьим мявом бесцеремонно поскакали, небрежно толкнув обоих, сразу четыре долгоногие девицы в майках и шортиках, условно повязавшие вокруг тощих бедер полученные на входе в монастырь цветастые платки. Монах и не оглянулся на них, но товарищ его проводил девушек суровым взглядом:

- Слушай, Серый, как вы тут такое терпите?

- А, привыкли, – равнодушно отозвался Серый и потом деликатно подкашлянул: - Только это... Я теперь, типа, иеромонах Иона...

Они сели на замечательную широкую скамейку, сработанную под старину местными черноризными умельцами. Иван печально махнул рукой:

- Ну, не могу я так тебя называть – хоть ты что делай. Язык не поворачивается. Десять лет за одной партией... В одном дворе росли... А уж если детский садик посчитать! Помнишь, как в черепашек-ниндзя играли? Ну, какой ты мне отец Иона – Серый ты, Серый и есть. Ну, Серега, в крайнем случае. То есть, я помню, конечно, что ты грехи отпускаешь и советы даешь толковые. Но езжу-то я к другу, а не к священнику!

- Который по благу тебе все смертные грехи молодости без епитимьи отпустил, – добавил монах. – Кхм. Шутка, – и было видно,

что он действительно шутит, потому что глаза его искренне смеялись из усталых провалов глазниц на заметно осунувшемся лице.

Кроме церковной службы, послушание его было одним из самых тяжелых в монастыре: трудился он хлебопеком и спать мог только урывками, пока подходило на быстрых дрожжах то ржаное, то пшеничное тесто. Он и сейчас бы лучше вздремнул полчаса перед вечерней – как лампочка бы выключился хоть на этой скамейке, но долг любви всегда оказывался в нем сильнее слипавшихся глаз, даже когда меж веками было «хоть спички вставляй».

- Что случилось-то, говори, – тихо сказал он. – Мать-отца похоронил – это я понимаю, но ведь тому месяц уже. Недоговариваешь – что? Ты ведь все равно именно с этим приехал, я тебя как облупленного знаю. Так не молчи уж, я ведь тоже человек. Мне на вечерне сослужать еще, а я с трех ночи присел первый раз. Говори давай.

- Ну, сам напросился – слушай, прозорливый ты мой, – с усилием выдохнул Иван, запнулся на секунду и бухнул: – Мать моя, когда мной беременна была, человека убила и в землю закопала. Как поп собаку. Я не шучу.

- Тетя Ксюша?! Ты чего, Ванёк, мыла поел?! – ахнул никакой не отец Иона, а питерский школьник Серега, не раз и не два забегавший к другу и соседу то порубать горяченьких пирожков с мясом, то супчика грибного тетя Ксюшиного навернуть от души. Его-то собственная мать профессор была настоящий – не кислых щей, и от плиты шарахалась быстрее, чем от вирусов в своих пробирках, а отец-филолог только картошку в мундире варить умел...

Друг его молчал, тяжело уставившись в землю, и недоверчиво отодвинувшемуся от него Сереге вдруг стало ясно – может, недаром тетки глупые прозорливым зовут – что переспрашивать Ивана на тему «А ты уверен?» или, еще лучше, осторожно визнавать, не переутомился ли тот ненароком – дело лишнее и неправильное. Шепотом спросил:

- Случайно, да? – предположил: – Дневники какие-нибудь нашел, письма, да?

Иван, все так же глядя вниз, стал тихо рассказывать:

- Нет, сам дотумкал. Постепенно. Вот как дело обстояло. Я мальцом еще был, во второй класс пошел, кажется, когда мать захотела дом в деревне купить. То есть, это она мне так сказала. Мы ехали к какой-то ее подруге в деревню – и вдруг она вышла со мной из автобуса и потащила меня совсем в другую сторону... «По пути, говорит, быстренько несколько домов в одном месте посмотрим, а завтра дальше поедем». В деревне, конечно, разорение – а что ты хочешь, середина девяностых. Остановились мы на ночь в каком-то вонючем доме, и мать мне велела сидеть во дворе, а сама ушла, вроде

«Критическая масса» и другие повести...

как дом присматривать. Мне восемь лет было – что я понимать мог! Сбежал, короче, через часик и забрался в один дом – развалюху такую. Видел, как мать оттуда выходила, и испугался – вдруг, думаю, купит, и нам придется в нем жить! Увидел дверь в подпол – да и полез из любопытства... По подвалу хожу, сам себя пугаю, будто в ужастик наяву попал. Оборачиваюсь – и никакого ужастика не надо: прямо передо мной ведьма стоит. Настоящая...

- Слушай, – деликатно перебил отец Иона. – Ты – это... Может, действительно, детский кошмар какой-нибудь или что-то вроде этого?

- Кошмар, – согласился Иван. – Только взрослый. Понятно, что не ведьма это была, а просто страшная сумасшедшая старуха. Ведьму из «Русалочки» напоминала – Урсула, помнишь? Которая ей ноги вместо хвоста приделала? Ну, так вот, похожа была на нее до дури. И начала эта бабка мне чуху какую-то нести... Кстати, ты ведь духовный у нас, лучше меня понимать должен. Сумасшедшие – они ведь знают и чувят что-то такое... Ну, что нормальные люди не видят и не понимают. А психи – они...

- Знаю. Видел, – коротко и серьезно вставил монах и незаметно содрогнулся. – У нас здесь такому никто не удивляется. Ты продолжай.

- Короче, тогда я не понял, конечно, ни хрена, – но в память врезалось, ведь не каждый день такое слышишь. И не перескажешь, потому что звучало, как бред. А суть такая. Во-первых, назвала она меня «ведьменок». Во-вторых, спросила, не показывалась ли мне там какая-то «рыженькая», которая откуда-то «не вышла» по моей вине. В-третьих, летом восемьдесят седьмого она сломала ногу и, похоже, из дома не выбиралась – а торчала у окна, наблюдала через тюлевую занавеску за соседским двором и домом – тем самым, где мы с ней в подвале стояли. Я, конечно, со страху чуть не обделался – такая она ужасная была... И воняла хуже помойки... В общем, следила от безделья за всеми – кто вошел, кто вышел. Считала их... И вдруг обсчиталась. Кто-то вошел в дом – да так и не вышел. Судя по предыдущим словам – «рыженькая» та самая. Причем, сказала, что на свете меня и правда еще не было, но «в другом месте уже сидел как миленький»... А где бы это, кроме как не у матери в утробе... Когда я сказал, что родился в апреле – она как бы уверилась в своей правоте... И мать мою она вполне могла в тот день видеть – ведь та в дом прямо передо мной заходила... И узнала ее, наверно, – ведь лет-то всего девять прошло...

- С чего? С чего девять лет? Ванёк, при чем тут эта рыженькая – и твоя мама? Ты сам-то не запутался в дедукции, Шерлок Холмс хренов? – давно и окончательно проснувшийся Иона вновь чувство-

Наталья ВЕСЕЛОВА

вал себя вихрастым восьмиклассником Серым.

- С чего? Да с того, как предки меня зачали. В июле восемьдесят седьмого – в том самом доме – как раз когда она в гипсе сидела у окна... И когда некая рыжая женщина вошла в дом – и больше не вышла. И которая могла кому-то «явиться» или «не явиться» - то есть, она умерла. Но, если б своей смертью, то ее бы открыто вынесли оттуда и похоронили на кладбище... Значит, ее убили, – бесстрастно разьяснил Иван.

- Что за бред?! – вскипел спохватившийся отец Иона. – Это же форменная чушь! Как тебя могли зачать в том самом доме, где ты случайно пацаном оказался? Если там даже пристукнули кого-то, прости мя, Господи, грешного, то твои-то родители тут причем?

Друг медленно, словно лениво, повернул к нему лицо:

- А я не сказал? Не сказал, значит... Так слушай. Деревня эта – Двуполье называется, недалеко здесь, на Плюссе стоит. Там курган какой-то рядом, я специально проверять ездил. Так вот, курган этот батя со своими студентами как раз тем летом и раскапывал. Студентов в школе разместили на матах – а отцу пустой дом выделили. И мать с ним там жила, хозяйничала – месяца два. Ну, а я, как и положено, в апреле следующего года родился...

- Хорошо, но откуда ты знаешь, что именно этот дом, а не другой? И что вообще убили кого-нибудь? Ты же не можешь всерьез верить словам тронутой бабки, которую видел двадцать лет назад! До поноса испуганным пацаненком! – не по-монашески вспылал Серый; ему ужасно, просто до рези в душе хотелось, чтобы вот сейчас все разрешилось какой-нибудь глупостью, бесовским наваждением – и они бы рассмеялись оба с облегчением, и Ванька бы потряс своей шелковистой, как у девушки, головой со словами «Да, действительно, что-то понесло меня не в ту сторону!», и стукнулись бы они кулаками, будто кружками с пивом, как бывало после удачно списанной контрольной...

- Я не идиот, – враждебно сказал Иван. – И не чокнутый, чтоб собственную мать просто так обвинять в убийстве. Я тоже гнал от себя все эти мысли, когда приходили. Несмотря на то, что батя мой патологически ненавидел рыжих баб. Знаешь, сквозь всю мою жизнь красной нитью прошла его главная заповедь: «Только с рыжими девками не вяжись – хоть с негритосками, только не с ними! Огребешь по полной, вспомнишь отца – да поздно будет...». Как он про рыжих начинал – так я сразу тот подвал вспоминал, и в угол тянуло жаться, как твоего, прости, труса-лабрадора... Но только, когда мама... мать моя... умерла... Отец решил после похорон снова туда съездить – один. Про это Двуполье он и раньше как-то сказал, что там – главный курган его жизни. Курган победы, типа. Я думал, он это в том смыс-

«Критическая масса» и другие повести...

ле, что нашел там что-то важное или редкое какое-нибудь... Хотя что там можно было найти – эти курганы вдоль Плюссы все как под копирку. А он имел в виду, что именно там его жизнь круто повернула в нужное русло – ему уже за пятьдесят было тогда – вроде как какую-то победу одержал – то ли над собой, то ли над обстоятельствами... И это как-то связано было с... ней. С матерью, в смысле. Жена-то она вторая у него была. И меня они там слепили – как ни крути. Любили дико, поздний ведь я у них ребенок... Вот и поехал старик поклониться тому кургану... Атеистами они с матерью были – сам знаешь. А все же потянуло к чему-то такому... А может, просто романтика – археолог все-таки... Не хотел я его пускать, старый же был, под восемьдесят... А как отговоришь, если уперся? И меня с собой не взял ни в какую... Ну, и все. Вернулся на себя не похожий – и в ту же ночь инфаркт. Навестить я его в больнице только один раз успел, да еще врач, гнида, сказал, что, может, и выкарабкается – старикан-то крепкий. Я и поверил. А отчего инфаркт – сказать? Приехал он к дому, где с женой жил – а от того уж одни развалины. Но нашел тетку какую-то местную, она и рассказала: дом этот вроде как проклятый теперь, потому что лет пятнадцать назад там в подвале скелет нашли. Женский.

- С рыжими волосами?! – схватив друга за руку, возопил Серый.

Иван глянул недоуменно:

- Не-ет... Насчет волос не знаю... Но с древним браслетом. И не из тех раскопок. Вообще не отсюда, а из Крыма, кажется. Его участковый по всей деревне носил – думал, может, признает кто. Не признали. А батя – по описанию узнал. И даже бумагу просил, нарисовать мне его пытался – сил не хватило. И заплакал тогда... Молча. Так, плача, и умер.

- Да уж... – потрясенно протянул монах. – Тут даже не наешь, что и сказать...

Они и не говорили – долго. Колокола к вечерне отзвонили давно, снизу напозла влажная сырость.

Было уже почти темно, когда отец Иона, переодевшийся в рабочее, но так ни минуты и не поспавший, появился в жаркой, как преддверье ада, пекарне, где два молодых инока в белых робах и смешных колпаках деловито замешивали очередную порцию скользкого желтого теста. Он автоматически положил земной поклон перед «Спорительницей хлебов» и тоже шагнул к чану.

- Отец Власий рвет и мечет, весь вечер тебя искали – и на службу ты не пришел, – обернулся к нему ближний инок, по локти погруживший руки в теплый будущий хлеб. – Где пропал-то?

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Исповедовал, – глухо буркнул иеромонах, которого сон душил медленно и коварно, будто накинув ему на голову ватное одеяло.

- И что, подождать нельзя было? Власий ведь опять разорется. Или важный кто? – руки инока привычно быстро перетирали случайные комки муки.

Отец Иона выпрямился, глянул на «Спорительницу» – но Она вдруг легонько качнулась перед ним в прозрачном мареве отрешенности. Он зажмурился и быстро помотал головой, в которой с готовностью отозвался целый оркестр разнородной боли. Предстояла длинная ночь утомительной однообразной работы, а потом его, накануне проштрафившегося, никто уж не благословит уйти с утрени, сразу после которой – новый замес...

- Да. Насельник наш будущий. Пока Иоанном зовут... – одержав над сном мучительную победу, ответил он.

*4 августа 2015 г.
д. Букино*



Критическая масса

*Несоделанное мое видесте очи Твои,
и в книге Твоей все напишутся,
во днех созиждутся и никтоже в них.*
Пс.138, ст. 16

Часть первая

...и крыло мухи имеет вес...
Иеросхимонах Аристоклий Афонский

1

- Значит, вот ты какой.
- Что удивляет тебя, Наставник?
- Я не умею удивляться. Я просто говорю о том, что вижу: тебя прислали ко мне ко мне Учеником – на вторую ступень. Ты – из Пришедших.
- Прости, я еще не привык. Вернее, не до конца разучился.
- Это ты прости – я думал, ты не до конца выучился.
- Я не о том, Наставник. Я имел в виду, что я не до конца разучился чувствовать. И предполагать чувства в других.
- Тем вы и отличаетесь от Изначальных. Мы умственны и не знаем ваших бед. Но это пройдет, не сомневайся... На предыдущей ступени ты ведь не одно прижизненное Хранительство изучал?
- Не одно, Наставник. Я и на Мытарствах был. Но лишь как наблюдатель. Мы с Хранителем больше всего боялись за пятое...
- Как обычно...
- А не уберегли уже на третьем... Все отдали, ну и...
- Можешь не рассказывать. Когда я был Хранителем, мне случилось терять своих прямо на первом. Вы в каком веке работали?
- В двадцать третьем от Рождества Христова...
- Так ваш подопечный, считай, праведник, если вам удалось его в такое время до третьего поднять... А сам ты – Пришедший – из какого века?
- Из семнадцатого. Но там от Сотворения считали. Едва-едва седьмое лето не перешагнул – и...
- Хорошо, что не успел. Тогда не быть бы тебе с нами. А из каких весей?
- Из Московии, Наставник. Тогда как раз...
- Знаешь, Ученик, Изначальные говорят, что от вас, Пришед-

Наталья ВЕСЕЛОВА

ших, нужно держаться подальше, чтоб не заразиться чувствами. Я сейчас, право, улыбнулся бы, если б знал, как это делается.

- Почему? Там тогда было вовсе не забавно – там как раз...

- Там никогда не было и не будет забавно, там всегда что-нибудь «как раз» – это тебе не Византия. А улыбнуться можно было бы только от радости за тебя. Ведь именно туда мы с тобой сейчас и отправляемся... На твою земную Родину, в стольный город Москву...

- Нет... Это вовсе не радость. Я бы не хотел вновь увидеть свою мать – там, зная, что... Видишь ли, я ведь не встретил ее здесь – нигде. Ни на Мытарствах, ни... выше. Ее нет. Совсем.

- Ну, значит, она либо там, куда даже нам по чину не разрешено подниматься, либо не прописана в Книге, только и всего. Второе, как ты и сам знаешь, гораздо более вероятно.

- Тебе не понять, Наставник. Прости.

*- Да. И не хотелось бы понять однажды. Но ты напрасно беспокоишься: мы идем на этот раз не в семнадцатый век, а в двадцатый. Итак. Я покажу тебе работу Встречающего. С Хранителем ты посмотрел на Мытарства. А я тебе покажу, что **внутри**. Что происходит с теми, кого Хранители теряют. Они теряют, а мы – принимаем, потому что человек никогда не остается без помощи, даже там. Потом ты сам решишь, кем станешь – Хранителем или Встречающим. А может, выберешь и другую стезю. Но Пришедшие все-таки чаще всего предпочитают одно из этих служений... Конечно, до того тебе дадут самостоятельно побыть и тем, и другим – если заслужишь...*

- Наши подопечный – мужчина или женщина?

*- Женщина. Она умерла в шестидесятом году двадцать первого века, в возрасте девяноста четырех лет. И нам надо поторопиться, потому что краткий отдых, разрешенный ей, заканчивается, ее сейчас разбудят **те**. Вот она, смотри... Просыпается. В семьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто второй раз.*

Девочка считала, что ее имя – это первое, с чем ей основательно повезло: пока что только раз в жизни она встретила обладательницу такого же сокровища, но ее смело можно было не принимать в расчет. Ибо другая Инна, с мокрым от восторга подбородком, вышагивала на помочах по коридору детской поликлиники, ведомая, будто щенок боксера в шлейке и при поводке, гордой и строгой бабушкой, увенчанной рубиновой брошкой, как кремлевской звездой. В одиннадцать лет она вычитала у Куприна, что имя ее – парадоксально мужское. Это было второе везение: ведь всем известно, что мужчиной быть лучше, потому что он – если настоящий мужчина

«Критическая масса» и другие повести...

– то командует, а женщиной – легче, потому что за нее делают всю тяжелую и грязную работу – если она настоящая женщина, разумеется. Но ведь можно научиться совмещать то и другое... Тут могла помочь третья удачно, шестеркой выпавшая кость: отражение в зеркале. В свои тринадцать Инна прочитала уже столько книг, что научилась наблюдать окружающую жизнь сквозь совсем не детский прищур и сумела сделать наиважнейший вывод: подлинная красота только помешает в жизни стоящему человеку. Удача – это когда ты видишь в зеркале приятное лицо без вызывающих изъянов – будь то уродливый нос или мохнатое родимое пятно – лицо, которое ты потом сама сделаешь таким, каким тебе будет нужно. А красавица... Она может рассчитывать только на одно: быстро выйти замуж по своему выбору, а там... А там – ничего. Киндер, кюхе, кирхе. И однажды повеситься в туалете.

У Инны были гладкие русые волосы, стриженные под «сес-сун», большие серые глаза, прямой тонкий нос и умеренно пухлые губы. У них в классе учились девочки гораздо красивее – кудрявые, глазастые, чернобровые – а вот записки с гадкими и соблазнительными словами и рисунками мальчишки клали только в ее парту. Это в нее метили из пластмассового корпуса авторучки жеваной промокательной, ей как-то раз вылили суп в портфель – но ей же и подбросили туда однажды заботливо очищенную от жестоких игл веточку белого шиповника... Это именно ее, в конце концов, девчонки инстинктивно ненавидели – но она-то читала уж как-нибудь побольше их, и прекрасно знала, почему... Да потому что из них еще неизвестно, что и когда получится, и получится ли вообще, а она уже – состоялась. Женщина с мужским именем...

Она проснулась оттого, что, уютно повернувшись в постели на традиционный «бочок», угодила глазом прямо в жирное солнечное пятно, расплывшееся по подушке. Обманчиво-яркое, будто летом, но безлико-холодное, как и положено в середине ненавистного сентября. Ужасное, потому что в ту же секунду Инна, еще пребывая почти во сне, припомнила, что учебный год, для нее – седьмой, только начался, а значит, перед ней разверзается целая вечность тоски и ежедневного отвращения. И это еще не все – пришел самый подлый день недели – суббота. День, когда все нормальные люди могут спать до обеда, и только подневольные школьники (ну, еще студенты – да на тех плевать, они взрослые и все равно живут, как хотят) обязаны подниматься в любую погоду... О, нет! Инна решительно отодвинулась от солнечного зайца – скорей, жирного кролика – разлегшегося на ее подушке, как у себя дома, и закрыла глаза... Хоть пять минут... Все равно сейчас придет мама – и начнется: «Инна, вставай сейчас же! Ты что, с ума сошла – до сих пор валяться!». Но вдруг сердце воз-

бужденно подскочило: мать не обязательно проснется сейчас! Инна вспомнила, что глубокой ночью, поднявшись в туалет, она поддалась соблазну повернуть одну редкую, но славную операцию: в темноте, не скрипнув предательницей-половицей, не задев бедром подлокотник легкого, всегда ворчливо ерзавшего в таких случаях кресла, прокралась в мамину комнату и точным движением «придушила» взведенный, как курок дуэльного пистолета, ее верный звучный будильник. «Тук, тук, таки-токи», – не прервал своего вкрадчивого монолога он, а девочке удалось выскользнуть так же бесшумно. Теперь зловещий прибор не зазвонит в половине восьмого утра – мама вполне может проспать аж до десяти – и тогда буквально ворвется в комнату дочери поздним утром: «Инна, вставай, мы проспали! Я будильника не слышала!» – и можно будет покапризничать: «Из-за тебя контрольную по русичу пропустила! Между прочим, «пятерка» была почти в кармане! И вот, пожалуйста...». В конце концов, мама хмуро спросит: «Сколько уроков ты теперь пропустишь? Только к середине третьего попадаешь в школу? А четвертый какой? Рисование? А пятый есть? Пение? Хм... – тут она состроит знакомую обнадеживающую гримаску с намеренно глупо вытаращенными глазами, поднятыми донельзя бровями, выпученными губами при несомненном главенстве верхней и напряженным подбородком, пошедшим мелкими частыми ямочками. – Ну и ладно, зачем тогда вообще огород городить, сиди уж дома...».

Но только успела вдохновленная надеждой Инна в подробностях просмаковать выпуклую мечту, как спиной почувствовала легкое дуновение ветра от распахнутой двери – и голос матери торжественно зазвучал на пороге: «Инна! Мы чуть не проспали! Но меня вдруг ка-ак подбросит! Ка-ак подбросит! У меня ведь – «сутки» сегодня плюс студенты в отделении! Вот была бы история! Смотрю на часы – без четверти! Но ничего! Успеем! Наскоро ополосни лицо, а я пока быстро глазунью пожарю!». «Ну и обошлись бы там без тебя лишних пару часов в твоей больнице... Чай, не уволили бы... – раздраженно подумала девочка, со стоном отбрасывая одеяло. – Тоже мне, профессор кислых щей...».

Мама ее, Алла Юрьевна, работала врачом-гинекологом в клинике Первого Медицинского института, параллельно занимаясь какими-то невятными научными исследованиями, и, когда удавалось, подрабатывала левыми абортками, честно деля в таких случаях на троих с подружкой-анестезиологом и надежной акушеркой полученный по твердой негласной таксе хрустящий – или совсем занюханый – фиолетовый четвертной. К мужчинам она испытывала нечто вроде снисходительной ненависти – за то, что ни один из них не сумел разглядеть в некрасивой долговязой девушке с водянистыми

«Критическая масса» и другие повести...

глазками ее таких очевидных ей самой душевных достоинств и не догадался хотя бы полусерьезно поухаживать за ней; ну, а женщин презирала на вполне законных основаниях – за их животную зависимость от мужского внимания – и за то, что всех ее пациенток это внимание хоть раз, да не обошло. «Что, больно? – с удовольствием спрашивала она «неблатных» абортисток, которым полагалась лишь условная, местная анестезия. – А с мужиком в постели кувыраться не больно было?».

Дочку свою, Инночку, она заполучила случайно, после того, как, бурно отметив в ресторане на улице Горького с одноклассниками пятнадцатилетие окончания школы, она неожиданно проснулась поздним утром в чужом деревянном доме, на железной кровати с никелированными шишечками (*- Так, на всякий случай, Ученик, наблюдай земные парадоксы: через сорок три года, когда домик давно уж от старости развалится и будет покинут вместе с этой ржавой кроватью – вон от той левой металлической трубки забежавшие поиграть ребятишки открутят, наконец, шишечку. В трубке что-то загремит, и они заинтересуются. Окажется, что там спрятано несколько тяжеленьких свертков в промасленной бумаге, в виде таких колбасок, я сам видел: Хранителем у одного из мальчиков был, уже на восемнадцатом Мытарстве потерял его – так жаль было, думал, дотяну – редко ведь кто до той высоты сразу поднимается... Так вот, в каждой «колбаске» было завернуто по сорок золотых царских червонцев... Если хочешь, можем сейчас посмотреть, кто и когда их туда положил.*

– Не хочу, Наставник, если ты не возражаешь. Это ясно даже мне. А имя... Там тот человек свои червонцы назад не получил – а уж здесь они ему тем более не пригодятся.) среди горы вышитых думок, под тусклым фотографическим портретом крестьянина в пиджаке и косоворотке. Рядом, разинув белозубую, как у молодого пса, пасть и выложив на лоскутное одеяло темно-коричневую трудовую пятерню, оглушительно храпел смутно знакомый мускулистый пролетарий – и парной запах его здорового пота вызвал у Аллы отчетливый приступ тошноты. Сделав усилие, она с изумлением опознала Витьку-Как-Его-Там, трижды второгогодника, неинтересно существовавшего где-то на последних партах... В школе его для нее просто не существовало... Оба они лежали рядышком, запутавшись в несвежих пятнистых простынях, но совершенно голые, так что сомневаться в том, что именно произошло между ними минувшей ночью, не приходилось. Заглушая громоподобный Виткин храп, казалось, прямо под окном застрекотала шустрая электричка, будто Зингеровская швейная машинка вздумала шить перед мощным микрофоном... Желая тихо сползти с кровати, Алла осторожно

пошевелилась – но не тут-то было: старая панцирная сетка, как оказалось, таила в себе целый оркестр, немедленно грянувший из-под Аллиной тощей попы, что сразу оборвало Витькино мощное соло. Под русым, как положено, кучерявым чубом неожиданно прорезались на его обветренном лице два глупых тускло-серых глаза, и загорелась придурковато-восторженная улыбка: «Алка! – гугнивым со сна голосом простонал он, простирая к ней загребущие свои руки. – Невеста моя желанная!». Полностью лишившись от ужаса языка, она молча шарахнулась вбок, скатилась на кривой крашеный пол, ловко вскочила на ноги и, схватив со стула, через голову напялила выходное кримпленовое платье – черное с белыми полосами и крупными синими цветами. Витька и внимания не обращал на ее жалкую панику – а может, посчитал за проявление законной девичьей стыдливости – во всяком случае, наблюдал он за Аллиными суетливыми перемещениями с некой властной нежностью – словно считал ее законной собственностью и в ответных чувствах не сомневался. «Ты, Алка – того... Ты ничего плохого не думай... – грубовато-ласково убеждал он. – Что я – не понимаю, что ли? Раз испортил тебя – так и женюсь, чего такого? Давно уж пора, да невесты хорошей не было. А теперь вот сам Бог велел, так что ты не бойся, не брошу... Детишек народим... Я машинистом работаю, полдома, вишь, нам с матерью-покойницей от депо дали... Хороший дом, да жить некому... Так что хозяйкой будешь... Ты-то мне еще в школе нравилась... Строгая такая, не то что эти вертихвостки... А что до свадьбы не утерпел – так «под мухой» был, извини уж... Ну, ничего, не говори никому: распишемся по-быстрому, да и дело с концом...».

Алла уже нашла под кроватью остроносые лодочки, впихнула в них босые ноги и теперь лихорадочно трепала пальцами свою развалившуюся «бабетту», пытаясь придать хотя б наполовину приличный вид на совесть начесанным и налаченным вчера, а сегодня похожим на рухнувшее осиное гнездо волосам. Она уже не искала ни белья, ни чулок... Кое-как скрутив и зашлифовав липкие жесткие волосы и коротко взвывая от мимолетного взгляда в мутный осколок зеркала над железным рукомойником (то, что она там увидела – черно-пестрое на глинисто-сером – осмыслению не подлежало), несостоявшаяся невеста подхватила с того же стула черную лаковую сумочку и, закусив от нетерпения губу, буквально вывалилась из дощатой двери в странное захламленное помещение, проковыляла по щелястому полу и, наконец, оказалась на воздухе, прямо перед железнодорожной насыпью – и опять откуда-то нарастал шум недалекого поезда... Потом она мылась из черной колонки на земляной дороге ржавой тепловатой водой, напоминавшей на вкус кровь из губы, и мокрые ноги не лезли обратно в раскисшие тупфли, и три не-

«Критическая масса» и другие повести...

дели страстно ожидала так и не пришедших месячных, и – внезапно успокоилась, поняв, что с ней негаданно произошло то же самое, что и с теми дрожащими тварями, что ежедневно, сбившись в трусливую кучку у белых дверей малой операционной, ожидали своей незавидной участи... И тогда Алла решила сохранить ребенка – для себя. Родила, назвала Инной и полюбила. И радовалась, что девочка не унаследовала ни безнадежной материнской некрасивости, ни столь же разительной тупости своего случайного отца. Она росла миловидной и неглупой – а значит, имела высокие шансы на лучшую, никогда даже в мечтах не приходившую к ее рассудительной матери долю...

Алла прекрасно знала, что Инночка снова придавила будильник среди ночи – но, поскольку позволяла она себе такое нечасто, свято чтя невидимые, но очень хорошо чувствуемые рамки, за которыми находилась наказуемая наглость, умная мать в очередной раз сделала вид, что ничего не заметила. Она бы и теперь с удовольствием проспала до десяти, а потом разыграла с дочерью привычную мизансцену, кончавшуюся добродушным родительским попустительством – но Инна не учла или просто забыла, что такие фокусы можно проделывать только в те субботы, когда мама выходная. Взрослая работа – это святое, и ребенок не должен организовывать родителям служебные неприятности ради своих капризов; девочка была немилосердно разбужена, накормлена простой яичницей (сама виновата, что на взбывание любимого омлета по всем правилам не осталось времени) и выпровожена из дома как раз в те последние секунды, когда вполне успевала добежать до «Сокола» и вскочить в автобус, что доставит ее к школьным воротам без трех девять. У Аллы между тем оставалась еще минуточка на пару глотков живительного кофе, пока милые резвые ноги дочурки, обутые в замечательные бежевые чехословацкие туфли на каучуке, беспечно несли ее к остановке по оранжевым палым листьям, наискосок через обширный газон...

До «Сокола» Инна легко домчалась и по инерции прыгнула в отходивший автобус – верно, благодаря удобным мягким туфлям, словно так и предназначенным для упругого бега, но внешне все-таки, по ее мнению, слишком детским... Она на вид – совсем девушка и вполне заслуживает каблучка! Но стоит только заикнуться об этом матери, как готово – слушать противно: «Рано... Не по возрасту... Люди примут тебя за лилипутку – маленькая, а туфли на каблучках... Ноги испортишь – там кости формируются... Ты и без того одета слишком по-взрослому...». Тьфу. И, главное, не докажешь ей ничего. И пальто коротковато уже, выше колен на две ладони, совсем по девчончьи выглядит, хотя само – красивое, польское, из мягкой шерсти в сине-зелено-серую клетку и с капюшоном. По-настоящему

хороша только дамская коричневая кепочка из замши – импортная, конечно, маме какая-то знакомая пациентка подарила, ей оказалась мала, ну, а Инна – головастая девушка... И славно смотрится с этой новой, совсем взрослой стрижкой (парикмахерша даже стричь ее так не хотела, все бормотала, дура, – зачем, дескать, тебя стричь, как тетку для фотографии на паспорт, давай оставим побольше на макушке, чтоб можно было завязывать такой большой красивый бант, – ну, не идиотка ли?)... К кепочке идеально подходит старая мамина сумка – вместительная и тоже из коричневой замши – всяких там школьных портфелей Инна давно уже не носит: стыдно, не первоклашка ведь!

В этих мыслях она не заметила, как автобус подвалил уже к последней остановке перед той, на которой следовало выходить – и так протяжно, будто по кариозному зубу, прошла вдруг по сердцу нудная тупая боль: не хочу-у! – простонала сама ее душа. Инна быстро оглянулась: ни одного знакомого в салоне не оказалось, все ее обычные попутчики успели прибыть в школу предыдущим рейсом; только на задней площадке смеялись две простецкие старухи, да равнодушно стоял высокий мужчина в кожаной куртке. Желтые двери длинного «Икаруса» сложились гармошкой, и, даже не успев принять конкретного решения, Инна с облегчением выпрыгнула на сухой пыльный асфальт.

- Вот он. Теперь все-таки будем внимательней. Конечно, каждый раз все, как правило, идет точно так же, как и всегда, но... Изредка они все-таки что-то меняют на ходу, и можно не успеть вмешаться... У меня так, правда, случилось только однажды, в Римской Империи. Я был Встречающим одного новокрещеного, который шел на тайное собрание своей общины и все никак не мог столкнуться со стражниками, которые поймали и отвели на суд, мучения и казнь всех его товарищей, а он не дошел буквально полсотни шагов. После он прожил еще лет тридцать, со временем попал под влияние дурной женщины и отрекся. Так вот, стражники четыре миллиона триста тысяч сто шестнадцать раз появлялись за городской стеной у старого кладезя. И я никак не мог подогнать к нему подопечного вовремя, чтобы он, наконец, прошел свое Мытарство. А на сто семнадцатый они вдруг появились еще до ворот – и схватили бы его, наконец, если бы я преступно не расцобился и сумел бы отвлечь внимание подопечного, который успел их увидеть и спрятаться... В результате, мне так и не удалось помочь ему: он шел на то собрание еще сколько-то сотен тысяч раз, пока, наконец, не достиг своей критической массы, не попался им в руки сам и не умер от пыток. Его можно даже видеть на одной иконе всех святых – не отдельно, правда, а в лике первомучеников, одиннадцатым

«Критическая масса» и другие повести...

слева в восьмом ряду – но и это уже кое-что...

- Не понимаю, а где – Встречающий этого мужа? Ведь мы могли бы связаться, обустроить... А он один... Почему?

- Потому что это не его Мытарство, а ее – здесь просто воссоздается нужная ситуация. Это девочке именно здесь и сейчас нужно пройти правильным путем, а исправлять путь мужчины – не нам и не теперь; с ним другие работают, в других местах и по-другому – если он в Книге. А если нет... В любом случае, незачем это проверять.

- Я понял, Наставник. Ее будут будить в одном и том же дне до тех пор, пока она не проживет его так, как было нужно?

- Ты не совсем понял, Ученик. Да, ее будут будить в том же дне – луч, подушка, помнишь? – и, прожив его, как раньше, она продолжит жить – день в день, шаг в шаг, жест в жест, слово в слово – смерть в смерть, как сотни тысяч раз жила эту жизнь и умирала. У нее не будет никаких воспоминаний о прежнем, поэтому в бесконечности все пойдет совершенно одинаково: она ни разу не вздохнет ни короче, ни глубже. А умерев, опять проснется на той же подушке... И так до тех пор, пока не накопится у нее некая собственная критическая масса. Что это – нам неизвестно, но так говорят... Если я не сумею помочь ей раньше. И когда она поступит как должно, ее выпустят – и Хранитель пойдет с ней выше. Ну, потом он, конечно, опять ее потеряет, а я снова приму на другом Мытарстве и стану думать, как ей ускорить его прохождение. Как видишь, ничего сложного...

- Это больше, чем ужасно, Наставник.

- А что ты хотел – это Мытарства. То, чего на земле боятся даже праведники. И притом, это не последнее ее испытание. Не забудь, на пути вверх стоят и другие стражи, а откупиться от них ей давно нечем...

- Но успеет ли она пройти все? Я слышал, времена подходят к концу...

- Не нам рассуждать о том. Сразу видно, что ты не Изначальный. Но не бойся – она успеет. На земле, в ее времени, лишь десятый день после смерти – урна с пеплом даже еще не замурована в нишу.

- А если о ней кто-нибудь оттуда попросит?

- Смотря кто и как. Но о ней – некому попросить... Да никто и не захотел бы... Хотя... Прислушайся... Я не ошибся?

Прабабушка Катерина проводила Макса до самого выхода в запущенный дворик дома престарелых. Сегодня она, вопреки обычаю, не спрашивала его о том, когда он собирается, наконец, вернуться

к «родной жене» и «брошенным малюткам», не упрекала в измене «Таточке, милой девочке» и не обзывала Светлану проституткой. Надо же – ни признака маразма в бабке, ни провалов в памяти, а как заело старую: «Надо жить с матерью своих кровиночек. Пока не вернешься в семью – дом на тебя не перепису». А то, что они с Татой развелись – по обоюдному согласию – целых шестнадцать лет назад, до войны еще, когда их дети заканчивали институты, и теперь у этих детей собственные перешли в старшую школу, что Света – его верная и любимая жена уже полтора десятилетия, и, кстати, тоже мать его умницы Олечки – упорно не принимает в расчет. Вздорная, упрямая и жестокая бабка. Прекрасно знает, как им трудно сейчас, как мучительно пережили проклятую войну, сколько друзей потеряли – не говоря уж о крове, какая нищета беспросветная одолела... Нашла себе повод для радости: соседка по этажу умерла – такая же гнусная, сварливая, похожая на старого бультерьера, весь свет ненавидевшая старуха, Инной звали, а по отчеству... черт бы ее побрал... – и можно переехать в ее более светлую угловую комнату...

Макс раздраженно плюхнулся в старую битую машину, рассеянно ткнул было в кнопку автопилота, но спохватился и сразу отменил приказ: нет уж, на этой старой раскорячке тридцать шестого года выпуска... он лучше сам поведет, плевать, что другие подумают, а то не дай Бог, как в прошлый раз... Вспомнить страшно – только чудо спасло: автопилот решил на высокой скорости произвести вертикальный взлет, и тут его, как раньше говорили, заглощило... Ни отключить, ни руль разблокировать... «Господи! – крикнул он в отчаянье. – Я еще дочке нужен!!!» – и расклинило, вот чудеса... Схватился за баранку, на последнем дыхании вырулил... Считаю, второй раз родился – а все мало ему, все не нравится... Бабу Катю вот костит за глаза, а покойницу эту постороннюю, Инну, или как ее там... черту посулил... Он перевел глаза на небольшой пластиковый складень, прикрепленный у сенсорной панели, и виновато пробормотал: «Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей Инны... И учини ее... Ну, куда-нибудь там учини, где получше... Не такая уж она и плохая была, наверное, как нам кажется... И меня, грешного Максимилиана, прости, Господи, и помилуй...» – и Макс, быстро оглядевшись, украдкой перекрестился.

- Ты слышал?
- Да, Наставник. Скажи: у нее появилась надежда?
- Пришедший, она никогда и не исчезала.

2

- Для кого ты бацишься¹ коли муж твой на купле? – немо-

¹Баситься - наряжаться (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

лодая соседка в ярком зеленом летнике стояла на крыльце рядом с Мишуткиной матерью, с утра нарядившейся в алую шиденную срачицу¹ с расшитым подолом, который и виднелся теперь из-под легкого свободного платья цвета цини². – На боярыню хочешь походить? Смотри, Маша, дорядишься... Жена красовита – безумному радость³!

- Для себя, – презрительно ответила мать, высокая полная женщина с румяным, намазанным лицом, и, оглянувшись по сторонам, откинула с головы тонкий плат, из-под которого сразу же гладко хлынули неубранные коричнево-золотистые волосы – словно мед потек. – Жарко, сил нет... Лету самый межень⁴... – ее взгляд упал на неугомонного сына, как раз затеявшего рискованную игру с соседским Васяткой: мальчишки сговорились прыгать через сливную канаву на манер саранчи травной⁵, совокупив обе ноги, а прыгнувшему дванадцать⁶ раз подряд, не угодив в воду, предстояло получить в качестве награды большую сахарную коврижку, ожидавшую своего жребия поодаль, на чуть колыхавшейся доске покинутых качелей.

- Мишутка! Сил моих нет больше! А ну, как ноги переломаешь! Лучшие коником скачи – да на ровной лужайке, там-от, раз уж на месте не сидится! А не то в дом пойдите, бабка Дарья вам молока с малиной даст! – крикнула Маша в сторону вовсе не обрадовавшихся на нее внимания ребяташек.

- Да брось ты себе сердце рвать попусту... Пусть себе резвится, пока живой... В гробу, чай, не попрыгаешь... Мало кто из ребят в возраст войдет... Без них горе, а с ними – вдвое,⁷ – соседка Мавра облокотилась на перильца рядом с Машей и зевнула, равнодушно созерцая детскую возню: оба мальчика были уже по уши мокрыми, но больше полудюжины раз никто из них не сумел благополучно перелететь канаву. – Ты лучше послушай, что в городе делается... Оногды⁸, сказывают, в большом доме у мугазенных амбаров⁹ у купца Евлогия служилые люди зятя до смерти убили, когда за книгами старыми пришли. Евлогий с семьей крепко старой веры держится, ну, зятя их отдавать и не захотели...

1 Шиденная срачица - шелковая нижняя рубашка (арх.)

2 Цвет цини - синий (арх.)

3 Поговорка

4 Межень - середина (арх.)

5 Саранча травная - кузнечик (арх.)

6 Дванадцать - двенадцать (арх.)

7 Поговорка

8 Оногды - позавчера (арх.)

9 Мугазенные амбары - торговые склады (арх.)

Так одному все персты отсекли на десной¹ руке, когда разжать их на Псалтири не сумели, а другого по лбу топорищем огрели – так к вечерне из него и дух вон... А сама ты, подружие, сколькими перстами крестишься?

- Сколькими поп велит, столькими и крещусь, в еретицы подаваться не собираюсь, - мягко огрызнулась потемневшая лицом Маша, все так же неотрывно глядя на хохочущего в радужных каплях сына. – А коли, в воду упав, заклёкнется²... Как думаешь, Мавра?

Подруга снова от души зевнула и принялась обеими руками махать себе на влажное свекольнo-красное лицо:

- Ух, и жарница... Но знаешь, я хотя и пущеница³, которую ни один поп не перевенчает, а простоволосой, как ты, даже в закрытом дворе не останусь: еще заглянет кто – сраму не оберешься... Без того всякий, кому не лень, готов камень кинуть... И как ты – мужатица⁴, а не боишься... А коли челядь мужу донесет, он, как вернется, – ох, за власы-то тебя оттаскает...

- Не заклёкнется Мишутка мой в канаве той дурацкой? – досадливо перебила ее Мария. – Вон уж сколько раз с головой туда ёбрюишлся⁵!

- Мо-ожет... – Мавра медленно повела круглым плечом. – Вон, смотри, Васятка Алёнин чуть отдышался... У меня и самой один заклёкнулся. Не в канаве правда – в Москве-реке... На ту излучину, что под холмом нашим, с холопчиками⁶ побёз, а я недоглядела... Да и сама молода была – двадцать⁷ лет той весной миновало. Втóрый он был у меня, да остальные шестеро на то лето уж померли, а этот в отроки вышел⁸, уже уставом⁹ пимал... Ни глотошная¹⁰ его не взяла, ни трясца¹¹... Думала, хоть этого жению, а тут... Как принесли его с реки без дыхания, я сама три дня аки мертва, пролежала: я в то лето ведь не брюхатела – мой совсем уж лазить на меня перестал. Оно и понятно:

1 Десная – правая (арх.)

2 Заклёкнуться – захлебнуться, подавиться (арх.)

3 Пущеница – разведенная женщина (арх.)

4 Мужатица – замужняя (арх.)

5 Ёбрюишлся – упал (арх.)

6 Холопчики – дети рабского сословия (арх.)

7 Двадцать – двадцать (арх.)

8 То есть, ему исполнилось семь лет

9 Устав – печатные буквы

10 Глотошная – скарлатина (арх., диал.)

11 Трясца – лихорадка; любая болезнь с высокой температурой (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

когда нас венчали, ему за сорок¹ далеченько перевалило, а я ему двенадцатной² досталась. У нас ведь как? Невеста родится – жених на конь садится³... А у моего уж и внуки были... Но ничего, потом прокинулась⁴ – а куда деваться: на рать сена не накопишься, на смерть ребят не нарожаешься⁵... Так что и ты к своему не очень-то прикипай, сама знаешь: десятерых родишь – одного женишь. Редко, когда двух... Мишутка-то твой у тебя который, соседка?

– Тоже только второй, потому и хоронить не обвыкла, – отбросив ладонью волосы и так замерев, тихо отозвалась Маша. – Марфинька, старшая-то, на третьем году сырным заговеньем⁶ преставилась от лихоманки... Так я тогда с печали едва ума не отбыла. А если и с Мишуткой что – так мне и вовсе свету больше не взвидеть: других-то не родить уж: стара... Тридесять⁷ и семь по осени сравняется – да и откуда? Муж и раньше-то не охоч был до игрищ тех со мной – всё приговаривал: кабы вы, детушки, часто сеялись, да редко всходили⁸... Ртов, вишь ты, плодить не хотел, по девкам блудным шастал... А как видел, что я брюхата – так и по пелькам⁹ меня, аспид, и по чреву, и под гузно¹⁰ – пока дитя само не вывернется... Когда – зарод, а когда и образ... Сам всех в выгребную яму вынес... Ничего, – говорил, – за то поп епитимьи не наложит¹¹... Насилу жива осталась... – Мария увидела, что, устав от прыжков и воды, но так и не выявив победителя, Мишутка с Васяткой уже мирно сидят на двух перевернутых горшках посреди двора, и каждый бойко жует свою половину коврижки – и расслабилась, отпустила руку: – Так ты, значит, соседка, потому своей волей к другому мужу ушла, что еще деток родить хотела?

Мавра покачала головой:

– Нет. Ты хоронить не обвыкла, а я устала. Аки сука щенная

1 Сорок (арх.)

2 Двенадцатная – двенадцатилетняя (арх.)

3 Поговорка

4 Прокинулась – очнулась (арх., жарг.)

5 Поговорка

6 Сырное заговенье – сырная неделя (Масленица), когда заговляются на Великий Пост и уже не едят мясо, но всю неделю разрешены молочные продукты (арх.)

7 Тридесять – тридцать (арх.)

8 Поговорка

9 Пельки – женские груди (арх., жарг.)

10 Гузно – седалище (арх.)

11 Церковное покаяние (от 5 до 15 лет земных поклонов, поста и отлучения от Причастия) накладывалось на женщину только в том случае, если она сама вызывала у себя выкидыш; если это происходило в результате побоев, то епитимьи не полагалось

*каждое лето ходишь, да у той что ни приплод – так половина вы-
живет... А у меня – не стоят. Сломалась я на Гришаньке моем...
Знаешь... – она невесело, половиной рта улыбнулась. – Зндёбка¹ у
него тут вот на вые² была багряная... Боялась, женить трудно
будет: побоятся девку отдавать, чтоб детям зндёбка на лицо не
перескочила... Не того, выходит, боялась...*

*- Ты, верно, как брюхата им была, пожар видела, – ласково
сказала Маша.*

Мавра отмахнулась:

*- Пустое. Так вот, не за новыми детушками я к другому
мужу пошла – просто пожить захотелось – дёлюби³, пока нутро
не засохло. Еще за венчанным моим будучи, когда бражничал и
дома по две недели не живал, часто во сне видела, якобы спасти
с другим на едином ложе и сладостно во сне любовастася⁴... А
как дома муж явится – так скимер-зверь⁵ рядом с ним котенком
покажется! Места живого на мне не оставлял, иной день от
утрени до вечерни на мосту⁶ проваляюсь, кровьями плюя... Я уж и
сама с ним упьянчива стала, известно ведь: страшно видится, а
выпьется – слюбится⁷. А однажды у кумы-попадьи в обед госте-
вала – и вошел он, серцо мое... И со мной, как с той злой женой
– помнишь? – приключилось: «составы мои расступаются, и все
уди тела моего трепещутся, и руце мои ослабевают, огонь в серд-
це моем горит, брак ты мой любезный»⁸...*

*Маша, продолжая коситься на сына, пододвинулась ближе
к Мавре:*

*- Впервые слышу такие непригожие речи... Так ты, зна-
чит, злая жена у нас, подружие? Хорошую память Бог дал тебе
– а другое, оттуда же – не забыла? «Аще жена стыда перескочит
границы – никогда же к тому имети не будет его в лице своем».*

*- Стыд не дым, глаз не выест⁹, Машенька! Мне к исповеди
не ходить, я невенчанной живу – зато счастливой! И робят мне
больше не надобно: чем ложесна напоить¹⁰, чтоб не зачать не-
значай – и тебя научу, если хочешь...*

1 Зндёбка – родимое пятно (арх., диал.)

2 Выя – шея (арх.)

3 Дёлюби – досыта (арх.)

4 Любовастася – была ласкаема (арх.)

5 Скимер-зверь – злое сказочное чудовище (арх.)

6 Мост – деревянный пол в доме (арх.)

7 Поговорка.

8 Из «Беседы отца с сыном о женской злобе» – нравоучительного произ-
ведения XVII в.

9 Поговорка

10 Применить противозачаточное средство местно

«Критическая масса» и другие повести...

Собеседница сухо отстранилась:

- Мне поздно уже. Да и грех ведь это какой – с мужем приближение иметь не деторождения ради, а слабости! И чего ты сладкого находишь в ласкательстве том? Я за отдых почитаю, когда мой на купле или по девкам... И сама подумай: за то на пятнадцать лет отлучают. Впрочем... Ты ведь пущеничеством своим сама себя отлучила... Как же ты без церкви живешь, Мавра?

Но та вдруг борзо обернулась к Мишуткиной матушке и возвысила голос:

- А ты?! Я и в дому своем молюсь – да крещусь двоеперстно! А как тебя стыд не берет – кукишем крестное знамень творить?! Я хоть и пущеница – а Святой Троицы не четверю: трегубо «аллилуйя» не пою, славлю сугубо³! Я Святого Духа по старому Истинным называю⁴ – а ты что ж? Как я без церкви обхожусь, спрашиваешь? А вот и я спрошу – как ты туда ходишь, как без стыда чтёшь новые книги... поганые, где все слово Господне выхерено ?

Ни одна из женищин не заметила, что Васятка с Мишуткой давно уж во дворе были порознь: первый из всех сил пытался поделиться малым остатком коврижки с брезгливо воротившим сытую щекастую морду котом, не решавшимся, однако, пустить в дело только что преостро наточенные когти, а второй, незаметно подобрившись под высокое крыльцо, нашел там недогрызенную кость их сторожевого кобеля, как раз отлучившегося по важному делу, и увлеченно пробовал ее на вкус, параллельно краем уха слушая разговор матери с соседкой. Теперь, когда Мавра заговорила с матушкой дерзостно, она совсем разонравилась мальчику, по первоначальному залюбовавшемуся было на ее новый летник из доброй зендяницы⁶, надетый врасстопашечку⁷, и на сверкающее в лучах обеденного солнца дорогое ожерелье с розовым жемчуж-

1 Пятнаدهсять – пятнадцать (арх.)

2 Креститься тремя пальцами, по новому обряду, введенному Патриархом Никоном

3 Согласно старообрядческому учению, «аллилуйя» должна петься два раза (сугубо) – «по-ангельски», а третий – «Слава Тебе, Боже!» – «по-человечески», в то время как после реформы Патриарха Никона ее стали петь трижды (трегубо) «по-ангельски» и четвертый раз – «по-человечески», что старообрядцы считают оскорблением Святой Троицы.

4 Реформой Патриарха Никона из «Символа Веры» было убрано слово «истинного», относившееся к Духу Святому

5 Выхерить – перечеркнуть (арх.)

6 Зендяница – хлопчатобумажная ткань, поставлявшаяся в Москву из Новгорода, а туда – из села Зандана, находившегося недалеко от Бухары (арх., диал.)

7 Врасстопашечку – нараспашку (арх.)

ным саженьем... Хотя и не уразумел несмышленный Мишутка, все еще не обсохший после прыжков по-саранчиному, почему вдруг соседка с матушкой друг на дружку взъярились, но приятно ему было услышать, что матушка в долгу не осталась и стала храбро наступать на обидчицу:

- Не за то побьет меня муж, что во дворе у себя просто-волосая стояла – а за то, что блудные речи бабы отлученной на своем пороге слушала! А уж от пущеницы до еретицы – недолог путь! Ты вот что, Мавра: иди-ка со двора моего, пока я твои-то бесстыжие волосы не повыдергивала!

Наверху послышалась весьма красноречивая возня, и осторожно высунувшись, мальчишка успел увидеть, как Мавра, быстро нагнувшись, подобрала с полу материнский убор, легкомысленно сброшенный тою с vlas, и с размаху швырнула его Марии в лицо:

- Вот твой кокуй – в нём и кукуй!¹ – зло крикнула она и бросилась вниз по лестнице.

Проводить ее взглядом Мишутке не удалось, потому что в темной сырости вдруг блеснул коричневой с золотом гибкой спинкой быстроногий жижлец² – и, вскрикнув от радостной неожиданности, мальчишка плашмя упал на брюхо, чтоб успеть схватить увертливую добычу...

- Ты не здесь, Ученик?

- Прости, Учитель, я задумался.

- Чем скорей ты забудешь прежнее, тем более преуспеешь в учении. Мужчина сейчас вон там – наблюдает за девочкой сквозь кусты, со скамейки, но подойти не осмелится: кругом гуляющие. Так что наша подопечная пока в безопасности – вот она, хочет покормить белку, а белка не ест.

- Это неудивительно, Наставник: белки не едят хлеба. Некоторые люди просто не знают об этом. Его и птицы берут только зимой, когда умирают с голоду. Их пища – зерна, червяки и насекомые.

- Похоже, Ученик, ты тоже хочешь в чем-то быть моим Наставником.

- Я думал, может, ты не знаешь о том, как живут белки и

1 Искаженная поговорка (в оригинале «Вот тебе кокуй, с ним иликуй!»), означавшая, что, выйдя замуж, женщина обязана была постоянно носить головной убор «кокуй» (по-другому «кокошник», «кику»), видоизменявшийся с течением времени, но всегда являвшийся символом зависимости и покорности

2 Жижлец – ящерица (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

птицы, а я знаю, и очень хорошо.

- Ты прав, я редко задумывался о животных, с ними работают другие, но когда они мне нужны в моем служении, я просто спрашиваю, вот и все. Эта белка нам не понадобится. Но, знаешь, тебе может оказаться в чем-то легче, чем мне, например, и вообще Изначальным. Вы, Пришедшие, всегда будете лучше ориентироваться в мире людей, потому что видели их жизнь изнутри своими глазами – недолго, конечно, но ваши семь земных лет дорогого стоят. Недаром среди вас так много хороших Хранителей. Ты интересовался – почему тебя не пустили дальше младенчества?

- Да, Наставник, но мне запретили прозреть. Сказали – еще рано.

- Теперь пора, я думаю. Посмотрим вместе, когда закончим работать с Инной... Почему ты вдруг опять отошел куда-то? Я теряю с тобой связь, это неправильно.

- Я подумал: вдруг нам снова не удастся ее оградить? Этот муж ведь учинит над ней насилие – так? Или даже смерти ее предаст?

- Ученик, ты все еще рассуждаешь, как Хранитель, а здесь ты сопровождаешь Встречающего – не забывай. Я говорил – она умерла в девяносто четыре года. И мы здесь не защищаем ее, а помогаем пройти Мытарство и, кстати, избавить от этих отвратительных восьмидесяти с лишним лет, которые ей предстоят. Оградить... Она почти миллион раз успешно ограждала себя сама! Вот хотя бы предыдущий тебе покажу... да все равно, какой: все они похожи больше, чем близнецы. Смотри.

Гулять в одиночестве по Покровско-Глебовскому лесопарку Инне скоро наскучило: неприятное чувство предошущения неминуемого разоблачения с последующим наказанием (оно может быть ужасным: мать не пустит ее в следующее воскресенье на день рождения к Лёльке и денег на подарок не даст) никак не покидало девчонку. Сколько она ни убеждала себя, что классная, у которой в субботу, как у всех порядочных людей, – выходной, не полезет проверять журнал в понедельник в поисках затесавшихся прогульщиков – все равно свербило в душе – мелко и остро, как соринка в глазу, которую никак не сморгнуть. Да вдобавок, и есть захотелось невыносимо: сдуру осталась без второго завтрака, недальновидно раскрошив всю домашнюю слойку привередливой осенней белке, отравившей на подачках такие бока, что походила уж на закормленную морскую свинку с пришитым хвостом. Явиться в школу – хоть к третьему? Но, настроившись на незапланированный выходной, не так уж и легко было переключиться обратно, да и математичка, змеюка, чего добро-

го, вызовет... Словом, путь лежал в обратном направлении, домой, где матери не будет до утра, а значит, можно после обеда зайти за Лёлькой, старшей подружкой-девятнадцатилетней с четвертого этажа и затащить ее вместе смотреть телевизор – после программы «Время» покажут какую-то там серию «Знатоков»... Кстати, если мать открыла ту бутылку «Плиски» – ведь она прикладывается по ночам в одиночку, Инна знает – то они с Лёлькой легко отцедают оттуда по рюмочке, совсем незаметно... И тогда может накатить охота поиграть «в мужа и жену»... Лёлька всегда с удовольствием исполняла роль мужа, но Инна никогда не бывала до конца довольна этими их редкими игрищами, иногда даже рыдала после них по ночам, потому что смутно чувствовала, что подружка не умеет дать ей чего-то самого главного, что сразу сделает ее совсем взрослой, того, ради чего люди и занимаются таким делом по-настоящему, а не как они – по-детски и будто понарошку. Правда, однажды соседка одолжила у себя в школе иностранный журнал, в котором на цветных фотографиях были только женщины – вдвоем и втроем – но попытки неуклюже изобразить то, что они там проделывали, привели только к неприятным и некрасивым последствиям для Инны, так что пришлось наскоро – дело происходило у Лёльки, и вот-вот должен был прийти с работы ее отец – отмывать обивку их совсем нового мягкого дивана в гостиной. Правда, после того случая Лёля сказала, что когда все заживет, они могут играть уже посмелее и жестче, пообещав Инне кайф, с которым ничто и никогда не сравнится. И в следующий раз, тоже в субботу, когда родители подруги еще не пришли из театра, Иннина мать дежурила свои очередные «сутки», а они только что посмотрели в темноте глупейший старый фильм и решили поиграть, Лёлька принялась уже по-хозяйски, опытными прикосновениями, от которых хотелось крикнуть то ли «Хватит!», то ли «Еще!», искать какую-то «заповедную точку» у Инны, уверенно ее нашла – и у той вмиг ослабело все тело, и она повалилась, стоя на коленях, лицом на подушку. «Муж» оставался где-то сзади, его руки уже не ведали никаких препятствий, и вдруг Инна закричала, как от невыносимой боли – но Лёлька не испугалась, откуда-то зная, что нужно продолжать; а у Инны внутри словно начал медленно надуваться огромный воздушный шар, и девочка уже знала, что как только он не выдержит, лопнет – сразу придет то ощущение, ради которого люди убивают, истязают и предают; оно уже подступало, исподволь накапывая мощными волнами, усиливаясь от их уже общих стонов, шар в ней достиг невероятных размеров, она напряглась и прогнулась, готовясь к неведомому, страшному и вожделенному взрыву, оставались доли секунды – и вдруг темноту прорезал длинный и острый, как удар кинжала в печень, дверной звонок. Это Лёлькины родите-

«Критическая масса» и другие повести...

ли вернулись из театра... После того случая девочки избегали друг друга всю весну и лето, каждая с острым стыдом вспоминая секунду, в которую они мгновенно разъединились и соскочили с дивана, дико глядя друг на друга и силясь перевести дыхание... И только после летних каникул, в сентябре, случайно столкнувшись в лифте, они вновь задружились, вполне невинно, с бурными танцами под магнитофон и прогулками в отделы духов и бижутерии, но каждая, определенно, ожидала от другой тайного сигнала – взгляда, кивка, двусмысленной улыбки... И тогда, знала Инна, все завертится опять – и уже по-настоящему. Они обе хорошо помнят тот воздушный шар – и уж теперь-то он у них лопнет, можно не сомневаться! И так будет происходить каждый раз... Так вот, сегодня она этот знак – подаст. И пусть Лёлькины родители смотрят на здоровье там у себя идиотов-знатоков, нудно распутывающих простейшие преступления (Инна каждый раз с самого начала легко определяла, кто виноват, и дальше смотрела фильм только чтобы убедиться в правильности своей догадки) – они с Лёлькой телевизор и включать не станут. Этих полутора часов им с лихвой хватит для того, чтобы вырастить в ней шар, соизмеримый с дирижаблем – и он разорвётся только когда она, Инна, ему позволит... И в ту же секунду она станет взрослой!

В автобусе она вдруг заметила того же статного мужчину в дорогой кожаной куртке, что ехал с ней еще в ту сторону и вышел на той же остановке, у входа в парк. Девочка присмотрелась к нему повнимательней – просто так, из чистого любопытства – и, прежде всего, привлекала его роскошная куртка, ясно указывавшая на высокий статус владельца. Даже ее небедная мама-гинеколог очень долго не могла позволить себе такую же, но женскую, и только полгода как ею обзавелась... Инна вздохнула: ей самой одеться в такую замечательную лайку не светило еще лет... Столько, что в эту бесконечную даль времен не стоило и заглядывать. Он, наверное, директор комиссионки, этот высокий мужик, или ресторана, или... Машина у него сегодня в починке, вот он и отправился на автобусе прогуляться по осеннему парку, пока ее ремонтируют, а сейчас едет забирать – мгновенно придумала она коротенькую, вполне правдоподобную легенду. Ему можно было дать на вид лет тридцать пять, и собой мужчина был так хорош – ну, просто загляденье! – что Инна даже уставилась на него почти откровенно. Высокий, с широченными плечами и узкой задницей, как и положено безупречному красавцу, с четкой ямкой на твердом подбородке, с приятным, правильным и ясным лицом, с крупными длиннопальными руками самой благородной формы – он мог влюбить в себя не только простушку-школьницу, но и любую, самую шикарную и недоступную женщину... Следующий вздох Инна подавила, потому что вдруг вспомнила, сколько ей

на самом деле лет, несмотря на потаенное «почти взрослое» состояние. Что толку на него пялиться! Ей нужно прожить еще, по крайней мере, столько же, сколько она уже прожила, чтобы такой, как он, хотя бы второй раз глянул в ее сторону... Она отвернулась и принялась смотреть в окно – до «Сокола» оставалось уже всего ничего. Сейчас она прежде всего хорошенько поест – там, кажется, мясо тушеное в латке оставалось, и картошка в кастрюльке – выпьет чудного мамино компота, а потом... Только бы Лёлька никуда не ускакала вечером со своими друзьями-старшеклассниками!

И тут что-то произошло. Словно на какой-то далекий город упала атомная бомба, и световое излучение, достигнув ее на излете, в один миг горячо опалило с головы до ног. Даже не боковым зрением, а почти затылком она уловила острый жаркий взгляд, и уже знала, чей он. Инна мгновенно обернулась и успела заметить, как все тот же стоявший на задней площадке мужчина быстро отвел от нее пронзительные глаза и вновь принял безразличный, едва ли не сонный вид. Но ничто уже не могло обмануть Инну: он только что смотрел на нее, и смотрел со жгучим интересом. Ее сердце заколотилось было от радости, но сразу проснулся никогда особо не засыпавшийся разум: этот красивый жеребец не мог принять ее за взрослую – пока еще очень редко посторонние люди говорили ей «вы», а несколько раз даже случались уж совсем неприятные казусы. Например, не далее как вчера одна женщина в метро из-за спины сказала ей: «Разрешите пройти, пожалуйста», но, когда, протискиваясь мимо, увидела Инну в лицо, поправилась: «Пропусти, девочка» – а Инна чуть не заплакала. Тогда почему, видя, что она школьница, он сейчас смотрел на нее... так... как на взрослую? Она испытывала все нараставший неуют и долго не могла понять, что тревожит ее, но тут как раз водитель буркнул в микрофон: «Сокол!» – и она бессознательно выскочила напротив входа в родной двор и бросилась наискосок по газону к воротам. Оглянулась: мужчина быстро шел в том же направлении. «Он хочет меня изнасиловать и убить», – вспыхнула яркая мысль, и девчонка ни на секунду не усомнилась в ее правильности, словно кто-то подсказал ей, что ошибки нет. Но он же не мог напасть на нее во дворе, где в этот золотой полдень резвились дошколята, чесали языки мамы с колясками, расселись бабульки по всем скамейкам вокруг детской площадки, как курочки-рябы по насестам, а в самом центре двора на пожертвованном кем-то ради святого дела столе резалось в домино около десятка пенсионеров в сдвинутых на упрямые затылки одинаковых шляпах! Инна перевела дух, спокойней направилась к своему подъезду, и, оглянувшись на ходу несколько раз, убедилась, что мужчины во дворе нет – она все себе придумала! Действительно – чушь какая! Зачем такому кого-то

«Критическая масса» и другие повести...

насиловать – да ему бровью повести достаточно, чтобы к нему выстроилась очередь из влюбленных красавиц! У него же наверняка каждый день – новая! Ну и дура же она – бегом от него бежала! – то-то он хохочет сейчас, наверное, идя по улице своей дорогой! Инна досадливо мотнула головой, едва не стряхнув от досады свою хорошенькую кепку, рванула дверь подъезда – и вдруг услышала справа быстрые твердые шаги.

Он не стал преследовать ее во дворе на виду у всех. Он тихо проскочил, никем не замеченный, по асфальтовой дорожке прямо вдоль дома, пригнув голову под сочными ветвями старых акаций, что ломаются в окна первого этажа. И теперь ему оставалось не более пяти шагов, чтобы войти в подъезд вслед за жертвой. Но на эти пять шагов она его – опередила. Это была данная ей кем-то добрым и заботливым маленькая, но спасительная фора: мужчина еще не мог дотянуться до нее руками и заставить повернуть, куда ему было нужно – налево, в темный угол к лифту, где девочка оказалась бы в полной власти насильника и убийцы. И она еще успевала свернуть направо – туда, где были почтовые ящики, лестничные пролеты и квартиры, где жили люди, где можно было позвать на помощь и где он, скорей всего, не решился бы поднять шум... Инна успела. Она не только свернула куда нужно, но и взлетела сгоряча на один пролет – и вдруг остановилась, не слыша погони...

Она медленно обернулась, удивляясь, что ужас, схватившей ее было за горло несколько секунд назад, пропал, как стертый ластиком след мягкого карандаша. Да, она была права: он не решился преследовать ее вверх по лестнице – да и смысла в этом особого не было – даже догони он ее на площадке – куда бы он делся оттуда со своей сопротивляющейся добычей? Мужчина стоял в нерешительности у подножия лестницы, и солнце било прямо ему в лицо из лестничного окна над ее головой. Теперь Инна разглядела его вполне – и вновь поразились, насколько же он красив! Его большие, чуть затененные глаза смотрели на нее снизу вверх с бессильной алчностью загнанного за решетку хищника, перед которым с вызывающей беспечностью прогуливается ускользнувшая жертва – желанная, ненавистная и недосыгаемая. И глядя в эти глаза, Инна торжествующе-злорадно ухмыльнулась: «Что, руки коротки оказались?» – ясно сказала ее победительная полуулыбка. Мужчина не выдержал. С полсекунды он шатался, как дом перед тем, как рухнуть от прямого попадания бомбы, затем круто повернулся и ринулся вон – лишь пушечным выстрелом бахнула дверь на улицу...

- С того дня – до последнего – прошел восемьдесят один год. Через четверть часа после того, что мы сейчас видели, она стала

Наталья ВЕСЕЛОВА

любовницей старшей развратной девочки, и с тех пор у нее было еще много любовниц и любовников – так много, что и счет им она лет через тридцать потеряла. Но никто из них долго не продержался рядом с ней, потому что каждого она как-нибудь предала или оскорбила. Никакой профессии она так и не сумела получить, полагая, что она и без всякого образования – великий художник, поэт, философ и ученый, заглазно и в лицо обзывая «недоумками» всех, кто считал иначе. Соответственно, она никогда себя не обеспечивала, постоянно живя у кого-то на содержании – и всегда за это подло и жестоко мстила при расставании. Правда, один из любовников случайно стал отцом ее ребенка – мальчика, которого она сначала отдала в детский сад на пятидневку, потом – в школу-интернат, а после – в кадетский корпус. Сын вырос и сначала просто презирал ее, а потом – возненавидел, когда она разрушила его брак с любимой женщиной, потому что считала ее недостойной быть невесткой «великой женщины». Он спился и умер, но мать даже не пришла на его похороны. Она проклинала и внуков, и правнуков, считая всех пигмеями, не стоящими ее мизинца, но одну из правнучек – больше всех, потому что та, наконец, сдала ее в дом престарелых и никогда не навещала там. При этом она, правда, исправно оплачивала прабабкин отдельный номер и особый диетический стол, иногда последними деньгами, отказывая своему ребенку в самом необходимом. Когда Инна умерла, ее сожгли без отпевания, и на кремацию не пришли даже соседи по богадельне, вспоминая ее только с отвращением. Но она – крещена, в отличие от всех своих потомков, и пошла по Мытарствам, потому мы и бьемся за нее здесь, чтобы и такой дать шанс не погибнуть до конца...

- Как же нам помочь этой несчастной, Наставник? И можно ли помочь?

- Разумеется. Пока не пришел Самый Последний День, помочь можно любому. Сейчас, Ученик, для этого нужно просто сделать так, чтобы у нее не оказалось тех пяти шагов. Но вот они едут в автобусе – в семьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто второй раз – а я все еще не могу сообразить, что для этого нужно сделать.

- Наставник, возможно, следует просто наместить побольше листьев на дорожку, по которой пойдет мужчина? Девочка может не услышать его, а увидеть только, когда он подойдет к ней вплотную.

- Листья? Что ж, почему не попробовать... Все-таки, знаешь, я рад, что мне дали ученика из Пришедших – ваши мысли текут непонятным, но подчас правильным руслом.

- В этом нет ничего необычного. Мы там всегда старались

«Критическая масса» и другие повести...

идти по траве или листьям, а не по камням или сухой земле, если не хотели, чтобы нас услышали – только и всего... Но скажи, Наставник, если мы отнимем у Инны эти пять шагов – что с ней случится?

- То, что должно было случиться с самого начала, чтобы пресечь проклятый род и повернуть время вспять. Ты ведь знаешь уже, что Вечность живет не по земным законам, и разные миры подчиняются разному времени. Гляди.

...Инна досадливо мотнула головой, едва не стряхнув от досады свою хорошенькую кепку, рванула дверь подъезда и юркнула туда. Она любила пыльный солнечный полумрак своей лестницы, ее просторные каменные пролеты с витыми решетками, широкие теплые подоконники, на которых они с Лёлькой еще совсем крошками играли «в повара» или «в детский сад», когда снаружи шел дождь – так за городом в непогоду дети играют в беседке или под навесом крыльца. Иногда она даже не спеша поднималась на свой шестой этаж пешком, чтобы насладиться по дороге простыми детскими ассоциациями – но сейчас голод и смутное нетерпение, казавшееся предстоящего вечера, погнало ее налево, к лифту... Жаль, что Лёлька еще, наверное, в школе – нельзя заскочить к ней прямо сейчас и договориться о встрече, намекнув, что сегодня хорошо бы возобновить старую игру – тогда она уж точно не запланирует ничего другого! А вдруг она сегодня тоже сачканула? Нет, надо все-таки захватить на четвертый – чем черт не шутит! Тогда можно пообедать и у нее... Или пообедать – потом... После того, как... Как лопнет шар, который уже обозначился где-то внизу – такой еще маленький, но уже пересыхает во рту... Вот под ее нетерпеливым пальцем вспыхнула красным прозрачная кнопка, и двери лифта, ожидавшего прямо на первом этаже, начали гостеприимно разъезжаться.

Вдруг сзади послышался шорох – но Инна не успела обернуться. В один миг в лицо ей впечаталась огромная влажная ладонь – и сразу же перекрыла дыхание. Одновременно ее грубо пихнули в спину – а позади негромко сомкнулись двери. Она забилась в чьих-то железных руках – еще полностью не осознав происходящего, но уже озаряемая мгновенной догадкой: это он, догнал ее все-таки, а она не видела и не слышала! Рука по-прежнему зажимала ей рот и нос, в голове начинало мутиться, но глаза еще видели – и перед ней мелькнуло знакомое лицо: да ведь он же вовсе не красавец, а – урод! – какое страшное лицо, с оскаленными зубами! – глаза как у бешеной собаки! – девочка начала беспорядочно молотить слабеющими кулачками по твердому, будто каменному торсу, обтянутому гладкой коричневой кожей, и услышала срывающийся хрип над ухом: «Затихни, а то содохнешь прямо сейчас... сладкая маленькая шляха...» – но ее па-

Наталья ВЕСЕЛОВА

рализовало лишь на секунду. Бешено извиваясь, Инна инстинктивно пыталась вырваться, освободить лицо, крикнуть – и все усиливался зверский нажим на голову, уже некуда было ее отклонять – не может быть, чтобы я сейчас умерла – нет, кажется, умираю – еще жива – попытаюсь – и она рванулась вбок... Что-то треснуло, легко и сухо, как мертвая ветка, в глаза плеснуло огненно-красным – да, это смерть, вот это как, оказывается... всё... Всё.

- Ты опять ушел, Ученик. Так нельзя. Ведь это вовсе не грустно – то, что я тебе сейчас показал.

- Я не о том Наставник. Я подумал о ее матери. Она вернется на следующий день – и узнает? Или ей сообщат сразу?

- Уж о ней не печалься, Пришедший. Хотя она – не наша, но ведь мы и ради нее тоже стараемся. Просто знай, чтобы утешиться: только в тот день она убила двоих детей – своими руками; одного – за деньги, а другого бесплатно: он был сыном ее лучшей подруги. А до этого... постой... две тысячи одиннадцать. Потеряв дочь, она пересмотрит свою жизнь. Хочешь увидеть ее? Смотри вверх... нет, еще выше... еще: вон та, в белой мантии. На земле – монахиня Феоктиста...

- Я понял, Наставник. Но от этого не становится легче. Позволь опять отойти ненадолго – ведь «Сокол» еще нескоро...

3

- Не во времечко белы слезки выпали... Они выпали межень лета теплого... – напевала Мишуткина старая мамка¹ Орина дребезжающим – точь-в-точь как у их серой козы – голоском.

Весь последний год, укачивая Мишутку после вечерни, она вышивала и вышивала зелеными и алыми нитками все одну и ту же ширинку² – но, то ли ширинка ее была слишком длинная, то ли по старости уж не осталось в Орине хитроручного изрядства³ – а все казалось мальчику, что алого и зеленого узора по-прежнему намного меньше, чем чистого белого полотна.

«Глупость какую бормочет... – раздраженно думал Мишутка, моргая на ровный огонек Орининой лучины. – Как могут снежки – да летом выпасть!». Ему не спалось нынче, потому что, хоть первая ночная стража уже миновала, но за мутной слюдой узкого окошка все еще мерцал теплый оранжеватый свет,

¹ Мамка – няня (арх.)

² Ширинка – полотенце (арх.)

³ Хитроручное изрядство – умение искусно заниматься рукодельем (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

и в их с Ориной малой полатке¹ было душно и жарко, хотелось все время ворочаться с боку на бок на своей маленькой лавке, сбивая в комки тонкую летнюю перину... А туда, на двор, знал мальчик, как раз сейчас пришла бархатная прохлада. Как бы хорошо, если б матушка позволяла ставить ему лавку на ночь во двор, под пышный куст боярышника – спит же так Васятка – и ничего! Попроситься разве у матушки еще раз? Мишутка украдкой глянул на Орину: голова ее упала на грудь, изо рта свисала длинная нитка слюны, корявые руки с вышиваньем замерли на коленях; лучина догорала, слегка чадя. Мальчик осторожно сполз на пол, бесшумно ступая по гладко струганным, до бела выскобленным половицам, легко добежал до двери и, не скрипнув ею ничуть, выскользнул на узкую темную лестницу. Семь невысоких ступенек вели в материнскую светлицу – оставалось только надеяться, что мать еще не спит. Мишутка поскребся у двери, как котенок, и сразу услышал знакомый приветный голос: «Мишутка, ты, что ль? Взойди, свет мой!».

Матушка боком сидела на спальной лавке, в простой льняной срачице, с распущенными волосами, горевшими янтарем в свете сразу двух толстых лучин и, наклонясь к дубовой укладке², быстро-быстро писала что-то острым гусиным пером на большом куске белой голландской бумаги – той, по которой часто водила рукой сына, показывая ему сложные буквы устава. В ее светелке тоже стояла липкая глухая жара – и спасу от нее не было.

- Что, не спится тебе?... – не оборачиваясь, спросила она. – погоди, dokonчу... Там-от на мисе³ у меня полоса арбуза в патоке есть – хоть и малая отрада – да покушай пока себе на здоровье...

Мальчик жадно набросился было на арбуз, предвкушая его сладкую, пахнущую морозом, мокрость – но он оказался теплым и приторным, клейким от густой вязкой патоки.

- Матушка... – робко начал Мишутка... – Ты б велела, как давеча Васяткина мати, мне постелю во дворе постлать... Под боярышником...

Но она не слушала, остро глядя в написанное и удовлетворенно шепча:

- ...богомерзкие книги старого обычая чтёт... «аллилуйю» поет сугубо... троеперстие кукишем предезко обзывает... Ага... как же подписать теперь... Машка, Ивашкина дочь, купца Афа-

1 Полатка – комната (арх.)

2 Укладка – сундук (арх.) 3

3 Миса – блюдо (арх.)

насия Васильева сына Зотова жена...

С довольным и красивым в полутьме лицом она поворотилась к собравшемуся было показательно всплакнуть Мишутке:

- Думала – оскорбила меня гораздо – и как с гусыни вода. Высоко запурхивает¹ – да как бы не расшиблась, падаючи! Нет уж, Мавруша, добрая жена уж как-нибудь да пуценицу перещипит²! Отберут теперь книги-то твои еретицкие, а саму, небось, с невенчанным-то мужем разлучат, да на поклоны поставят не на одно лето – будешь знать, как женам непорченым их честные уборы в лики швырять... – пробормотала Мария, словно обращаясь к кому-то невидимому, стоящему за спиной сына, потрясла над написанным из маленькой железной песочницы³, улыбнулась и принялась осторожно сворачивать бумагу. – Ну, чего кручишься? Слыхала – стара, да не глуха еще: сейчас велю тебе постелю стелить под нашей березой покляпой⁴ – там прохладой с Москвы-реки веет, а боярышник твой на слетной⁵ стороне, туда рано жара придет...

Просияв, мальчишка с великою резвостью помчался по лесенке, крича на весь дом:

- Эй, челядь! Просыпайтесь все! Мне матушка в эту ночь во дворе стелить велела!

А снежки взяли да выпали.

Ден через несколько они с матерью как раз гостили у вдовой Алены, и в гостевой горнице Мишутка с сыном ее Васяткой, дружком закадычным, сидя на сундуке чуть поодаль от взрослых женицин, утешались румяными имбирными хлебцами и глиняными расписными кониками, когда за узким слюдяным окошком в полдень вдруг потемнело, словно неожиданно пришла ночь. Где-то грохнул ставень, брошенный о стену дома порывом дикого ветра, на улице взвыло, как перед концом света, и ребятишки, ничуть не заробев, ринулись на крыльцо, желая подышать свежим воздухом ливня. И остолбенели враз, увидев, как с неба – на сочную зелень, на высокий деревянный забор, на далеко видимую с холма реку, на обезумевшую черную суку и мелко крестящуюся от ужаса молодую холопку косо валят с сизого неба мягкие комья размером с детскую длань... И матери их, и кривая приживалка Фетинья, и мамка Васяткина Гликерья – все столпились позади

1 Запурхивать – залетать или заскакивать (арх.)

2 Перещипать – взять верх над кем-либо (арх.)

3 Чтобы чернила скорее высохали, написанное присыпали сверху песком

4 Покляпый – наклонившийся (арх.)

5 Слетный – южный (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

них на крыльце – и дивились, кто радостно, а кто боязливо.

- Не к добру это, вот поглядите еще... – гнусаво предрекла приживалка, кладя мелкие крестики на своей впалой, словно сухотной¹, груди. – Двадцать с лишком лет тому солнце среди дня черным стало² – так с Немецкой слободы моровую язву принесло. Ну, а нынче чего доброго и ожидать-то, коли у нас два царя теперь и одна царица³... От века такого на Руси не водилось...

- Хватит жерствовать⁴, старая! – оборвала ее черноглазая Алена. – Лучше пойдешь, вели еще медку нам подать! – она подмигнула подруге и мамке: – А то голова что-то больно ясная, со снежков, наверное...

Небо неожиданно посветлело, и снегопад как отрезало – будто кто-то там, наверху, вспорол огромную перину, вытряхнул из нее разом весь пух – и ушел. Переглянувшись, мальчишки, не сговариваясь, кинулись вниз с крыльца – и принялись скакать, хохоча, босыми ногами по быстро таявшей рыхло-белой холодной каше, горстями подбрасывать к небу отяжелевшие снежные перья...

Матери по-прежнему, блаженно и глубоко дыша, стояли под высоким навесом, не желая возвращаться в прелую духоту дома. Мишутка умаялся и повлек Васятку на крыльцо, ожидая, что тетка Алена и им предложит угощенье – сласти какие-нибудь заморские, на которые так были падки все в доме этой богатой беззаботной вдовы, что даже и челядь ходила уж с черными зубами. А вот у его матери зубы были всегда белые – сам не раз видел, как тайком – от всех, но не от несмышленого Мишутки – чистила она их не только костками из курячих голен, как то рекомендовали умные книги, но квасцами и даже порохом!

И правда, дали им по четыре сахарные фиги каждому – мальчишки принялись лакомиться ими на ступеньках не торопясь, чтобы растянуть удовольствие.

- А что, – вдруг вспомнила Алена и, помрачнев, поставила свою кружку на перила, – я чай, Мавра-то пущица – подружие твоя?

- Была, – повела плечом Мария, – во времена досюлешние⁵. Раздор у нас вышел с ней, теперь врагиня она мне: обиду нанесла смертную – не знаю, как и к отцу духовному с тем пойду.

1 Сухотный – чахоточный (арх.)

2 Полное солнечное затмение можно было наблюдать 22 июня 1666 года

3 Малолетние цари Петр I и брат его Иван V при регентстве их старшей сестры царевны Софьи

4 Жерствовать – вещать (арх.)

5 Досюлешние – прежние, давние (арх.)

Наталья ВЕСЕЛОВА

Собеседница молчала. Всегда веселая, словно не помнила в своей жизни никакого злосчастия, она вдруг без улыбки повернулась к Мишуткиной матери, и он, случайно увидевший Алену в тот миг, удивился, как посерело вдруг ее лицо в обрамлении низанных жемчугом ряс¹. Когда она заговорила снова, голос ее пресекался:

- Так это не ты ли, случаем... Та Мария, Иванова дочь... Что изветную челобитную² на нее... в Ямской двор³ написала?..

- А ежели и я? – гордо вскинулась Мария. – Что плохого в том, чтоб дерзкую пущеницу и еретицу окоротить маленько? Пусть бы судебные ярыжки⁴ книги ее поганые поотнимали, а саму ее в Православную церковь, к духовному отцу вернули. К пользе и епитимья б от него пошла... И муж венчанный, глядишь, обратно бы взял... А то что – только мне одной тычки да алабуши⁵ всякий день от пьяного сносить, как он не на купле? А ей в ее старушечьи лета – с купавым⁶ молодым любовастася, да без брюхатости?

Ее подруга отступила на шаг:

- Маленько, говоришь... Алабуши, говоришь... Епитимья... А про Софьины дванадесать статей⁷ ты что же – не слыхала?

- Пошто они мне нужны... – чуть смутилась Мария. – Я еретицей и во сне не бывала...

- А ведь по ним и тебя кнутом было бить положено за то, что с Маврой речи водила...

- Меня? Кнутом?! – отшатнулась матушка, а Мишутку на крыльце взяла оторопь: бежал он раз с холопчиками тайком смотреть, как вора на Лобном кнутом стегали – мясо так во все стороны и летело – и потом унесли за смертью; а ежели матушку... Того он и помыслить себе не мог!

- Теперь-то уж не за что... – с горечью отозвалась Алена, а у него отлегло от сердца. – Теперь тебе, пожалуй, еще куньих шукурок от казны пожалуют...

Мишуткина мать вспыхнула и задохнулась, а он, досадливо

¹ Рясы – бахрома из нанизанных на нити жемчужин или драгоценных камней, украшавшая женские головные уборы (арх.)

² Изветная челобитная – донос (арх.)

³ Прежнее название Земского приказа, в компетенцию которого входили, в числе прочего, суд и дознание по гражданским и уголовным делам

⁴ Ярыжки – нижние полицейские чины (арх.)

⁵ Алабуш – подзатыльник, оплеуха (арх.)

⁶ Купавый – красивый (арх.)

⁷ 12 (дванадесать) статей – закон правительницы Софьи об усилении наказаний, пытках и казнях для старообрядцев и их приспешников

«Критическая масса» и другие повести...

сбрасывая с плеча руку Васятки, тянувшего его вниз с крыльца с намерением утащить в сад за зелеными еще яблоками, напряженно слушал взрослый разговор. Алена говорила прерывисто:

- Из челяди моей девка одна – кума приказного подьячего¹ Демки. Так вот, сказывал он ей, что в дознании у них оногды Маврутка-пущеница была. Расспрашивали ее против изветной челобитной² некоей Марии, Ивановой дочери – чья жена она была – он того не запомнил, а я-то на тебя и не подумала... Пытана была Мавра на пытке в три стряски³, да суставы все выломаны, да семьдесят ударов ей дано – а она и на пытке говорила дерзкие речи: в церковь Божию ко отцам духовным ходить исповедаться и тремя-де первыми перстами во образ Святыя Троицы креститесь не будет – то-де печать антихристова; хотя ныне ее и смертию казнят – она-де к тому готова... В срубке ее с другими еретиками жечь хотели, да Бог иначе судил: как с пытки сняли, так из нее и дух вон...

Светлое, мыльной травой с чистотелом измытое лицо Марии пошло пунцовыми пятнами, уста мелко задрожали:

- Так то, может, не наша Мавра, другая..

- Брось, – строго отрезала Алена. – Пущениц на Москве немного, сама знаешь: женитьба есть, а розженитьбы⁴ нет. А чтоб еще и Мавра, да еретица... - она вдруг жестко усмехнулась: – А к отцу духовному ты ходить не бойся: кунных шкур не добудешь, но ежели мелкое что в тебе обретет – на поклоны не поставит, так отпустит, довольна будешь. Ну, а Господь что на это скажет – то одному ему ведомо... Токмо за дитем-то своим последним пуще теперь гляди: Маврина-то древняя мать-старуха теперь одна да без пропитания, ведь она у нее дочь единая оставалась, сын на Крым пошел с Голицыным⁵, да загинал.

- Я не ведала... Хотеньем не хотела... Я думала... – залепетала Мария, пятась от нее и дрожая уже всем телом; на краю ступенек спохватилась: – Мишутка! Собирайся, дружочек, загостились мы...

Мальчик снова не очень хорошо уразумел – отчего так размолвилась вдруг его матушка с еще одной доброй своей подругой, но бесхитростное сердчишко его дрогнуло, почувяв страшное не

1 Подьячий – низший административный чин, часто писец, делопроизводитель, повыгчик во время допросов (арх.)

2 Изветная челобитная - донос (арх.)

3 То есть, ее три раза вздергивали на дыбе

4 Поговорка

5 В неудачный поход против крымских татар фаворита царевны Софьи Василия Голицына

Наталья ВЕСЕЛОВА

просто где-то в стороне, с чем он к концу младенчества уж и обвыкаться стал, а прямо рядом, едва ли крылом его не задевающее. «Права Фетинья, добром не кончится», – пронеслось у него при взгляде на уж совсем посеревиший и расплзшийся, как трунью¹ на каликах², июльский снег...

- Ты вот что, Мария... – сурово сказала веселая Алена им вслед. – Ты Мишутку своего к моему Васятке больше не пускай. Не оттого что Иудино отродье – а чтоб и мой с ним под расправу не попал, ежели что...

И Мария не огрызнулась, не вскинулась на обидчицу, а, лишь крепче ухватив сына за руку, зашагала с ним прочь со двора.

- Я не спрашиваю, где ты был, Ученик. Не могу запретить этого, но поверь: для тебя же лучше, если ты пока пребудешь в этой Московии, а не в той.

- Эта Московия, Наставник, ту даже не напоминает.

- Тем лучше. Но на самом-то деле она всегда одинаковая – даже когда еще считалась Тартарией – ты позже и сам поймешь. Мне тоже приходилось работать там – в пятнадцатом, потом в двадцатом несколько раз, затем в тринадцатом, а после – в двадцать четвертом. Туда отправляют самых опытных Извечных, потому что работа в той земле трудней любой другой. Ну, а ты, если останешься в Хранителях или Встречающих, пожалуй, до века обречен на Московию: Пришедшие почти всегда работают там, откуда пришли, – по крайней мере, с людьми, родившимися в тех же весях.

- Не знаю, радоваться или огорчаться тому, Наставник.

- Ни то, ни другое. Просто принять как данность, которую не изменить.

- Буду учиться этому... Пока я отсутствовал – сколько прошло здесь, Наставник?

- Четыре секунды, если считать по земному времени. Ты хочешь еще о чем-то спросить, пока они едут?

- Да. Почему род нашей подопечной должен пресечься на ней? То есть, я понимаю это, просто хочу увидеть и соизмерить...

- Видишь ли... Она из тех, кто просто не должен был родиться. Вообще. С ними всегда больше хлопот, чем с теми, другими... Но, поскольку люди имеют свободную волю, а пользуются ею, в основном, во зло... Для начала вот тебе один пример, будет недостаточно – потом покажу и другие.

¹ Трунью – отрепья, лохмотья (арх.)

² Калики – странники (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

...Весна не торопилась, но маки в тот год зацвели уже в конце зимы: на серых шинелях солдат и черных бушлатах матросов-балтийцев, на кокетливых пальто нарядных петроградских барышень, на нелепых тужурках румяных возбужденных студентов, над бляхами утративших строгость дворников, на кургузых армячках вездесущих уличных мальчишек – всюду атели пышные революционные банты.

К вечеру буйная толпа на Знаменской площади поредела, но кое-где еще вспыхивали небольшие стихийные митинги «местного значения» – и брадобрей Прошка, ровесник молодого еще века, пока собственной бороды не отрастивший, мечтал пристать к какому-нибудь из них – чтоб не возвращаться в длинную холодную комнату деревянного флигеля в глубине Лиговских дворов – косога, исподволь уходившего под землю. Три окошка жилища, которое делил он по-братски с половым Фомкой и рассыльным Гриней, заглядывали во двор уже как бы из-под мостовой – флигелек выглядел, как не доросший до стола ребенок, что смотрит на яства, стоя на цыпочках и вытянув шею. Дровяные деньги три друга в том месяце уже проели... Ну, положим, не проели, а... Но, в конце концов, то их были кровные, по грошику скопленные чаевые, кому какое дело, на что их потратили уже совсем взрослые парни! В любом случае, топить сегодня было совершенно нечем, дрожать одному под тощим сыроватым одеялом не хотелось отчаянно, особенно сейчас, когда такое дело кругом творилось – революция! Да и вечер страшно хотелось провести с пользой.

- Товарищи! Временный Комитет Думы издал приказ об аресте всей полиции! Всех до одного полицейских – в тюрьму, товарищи! Этих извергов и паразитов, топтавших нас лошадьми и хлеставших нагайками! Презиравших и ненавидевших трудовой народ! Теперь они узнают, кто есть настоящий преступник, когда мускулистая рука мирового пролетариата дотянется до каждого из них – и свернет его подлую шею! – подпрыгивая от возбуждения на перевернутом ящике из-под вина, по-хозяйски прихваченном на митинг из час назад разграбленной винной торговли, испитым баритоном вешал красивый чубатый парень с дополнительным мазком красного еще и на рукаве.

- Правильно! Свернуть! – одобрительно загудели голоса их отдельного митинга. – Попили налей кровушки, гниды! Пусть теперь своей понохают!

Тут и там как по команде запыхали костры, потому что вечерний свет стремительно гас, и Прошке подумалось еще: как же красиво! Оранжевое пламя выхватывало из темноты пунцовые банты и полоски на рукавах и высоких солдатских шапках, лица горели прекрасным нечеловеческим огнем.

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Не робей, пацанва! – дружески хлопнул его кто-то сзади по плечу, так что Прошка едва устоял на ногах. – На-кась лучше, приобщись по-солдатски!

И темная рука протянула ему початую бутылку.

- Ты вот скажи, – с напором продолжал солдат, чуть насмешливо глядя, как паренек, притворяясь бывалым и прожженным, торопливо делает большие тугие глотки дармового вина. – Ты городских – любишь?

Прошка кое-как перевел заколдобившее дыхание, шикарным жестом утер поджатые губы – и бурно потекший нос заодно. Вино оказалось крепким и горьковатым, очень, верно, дорогим, и юный брадобрей сразу почувствовал, как ему словно ударили чем-то тяжелым и мягким по затылку. Голос вернулся не сразу, зато прозвучал как надо – по-ямщицки сипло и основательно:

- Не-е... Кто ж их любит, поганых... Меня, вон, шашкой раз по спине рубанул – как пополам не перерубил... У-у, сволота!

Скажем, не рубанул его тогда околоточный, а лишь хорошенько протянул – плашмя да несильно – чтоб наверняка отучить с лотков у разносчиков товары таскать. Прошка и не таскал больше, навек зарекся – вспоминая, что с месяц после того лежать навзничь не мог вовсе, а Гриня с Фомкой, в очередной раз обозрев его, голого, сзади, докладывали, как поперек спины переливается от черного к желтому (через синюшный, багровый, фиолетовый, сиреневый, коричневый и зеленый – последовательно) длинный и толстый, как полоз, кровоподтек... Зато теперь перед солдатом он выглядел едва ли не героем, пострадавшим за дело революции.

- Ишь ты... – уважительно протянул тот, почесав затылок под серой бараньей шапкой с красным лоскутом спереди. – Так ты, выходит, не простой хлопец – а борец за рабочее дело!

- А как же! – подбоченился Прошка. – Ясное дело, не капиталист какой-нибудь!

- Господа-товарищи, господа-товарищи! – раздался вдруг сбобку верещащий, будто бабий голос – и тем удивительней показалось, что принадлежит он высокому студенту с длинными волосами и круглыми, полыхавшими из-под фуражки очочками. – А у нас городской во дворе живет! Пойдемте, покажу! Он у меня сколько раз, сволочь, прокламации вытаскивал!

- Ура!! – в одну грудь отозвались десятки собравшихся. – Молодец, товарищ студент! Даешь бить городского!

Уже подросшая, словно подойдя на дрожжах, оранжево-черная толпа кольхнулась и тронулась, увлекая Прошку в моргающую редкими факелами темноту; откуда-то густо грянуло знакомое:

- Смело, товарищи, в ногу, / Духом окрепнем в борьбе!

«Критическая масса» и другие повести...

Он хотел радостно подхватить – что-то про дорогу в царство свободы – но от волнения позабыл слова и лишь ускорил шаг, расстегивая на ходу пальто: непонятно, почему его вдруг бросило в самый настоящий жар, хоть прикуривать давай. Студент и еще несколько уродливых девиц – тоже в очках и заломленных, как бескозырки, шляпках, вприпрыжку носились туда и обратно по бокам факельного шествия, визгливо торопя и науськивая... А толпа уже начинала втягиваться в злобную пещеру недалекой подворотни.

По мере приближения к цели, шаги становились все упругие и слаженней, гулко и ритмично застучали десятки сапог и башмаков по черным булыжникам, словно уже не кучка озлобленных крыс неслась покусать врага и отойти в беспорядке, а один голодный великан-циклоп, целеустремленно шагала за добычей с дубиной на саженном плече...

- Во дворе – налево! – суетливо пищал студент, появляясь тут и там с обеих сторон – Дверь крашенная, звонок бронзовый!

Но звонком никто и не думал пользоваться. В дверь забарабанило сразу множество рук и ног – еще немного, и ее бы попросту вынесли внутрь, как вдруг она быстро и тихо отворилась сама, открывая взорам картину самую мирную, резко полоснувшую Прошку своим несоответствием тому, что творилось снаружи, где десятки горевших революционной яростью лиц разверзали в свете факелов кривые дыры ртов, беспорядочно выплевывая обрывки фраз:

- ...городового подавай!.. ...именем рабочего класса!.. ...арестовать!.. ...приказ Государственной Думы!..

- Онуфрий Петрович на службе, – растерянно отвечала из теплого полумрака, стоя с керосиновой лампой в руках, простоволосая круглолицая женщина, за спиной которой, в проеме второй распахнутой двери, ведущей в комнату, виден был в неярком свете угол накрытого простой скатертью стола, круглый медный бок самовара, зеленый огонек лампы под двумя темными ликами в тусклых окладах...

Толпа дрогнула лишь на секунду – но одна из очкастых барышень-курсисток, уже без своей потерянной в революционном раже кривой шляпки в числе первых взлетевшая на крыльцо, подняв руку, обернулась к собравшимся:

- Она врет, товарищи! Убийцу покрывает, подстилка полицейская! Не верьте ей, там он, куда ему деться!

Курсистка едва успела отпрянуть и прижаться к перилам крыльца, когда ею же вдохновленная толпа с рокотом хлынула в открытую дверь – и Прошке удалось особенно ловко втечь с нею в крошечную темную прихожую, откуда в ужасе отступала, уронив погасшую лампу, женщина. Она метнулась в угол, закрывая собой

Наталья ВЕСЕЛОВА

короткую детскую кроватку с сеткой, завешенной стеганым голубым одеяльцем.

- Дите не напугайте! Видите же – нету Самого дома! – умоляюще простонала хозяйка.

- Ишь, хоромы какие себе отгрохал, кровопивец! А народ трудовой по сырым подвалам сидит да по казармам, по кубрикам вонючим перебивается! – рывкнул по соседству с Прошкой давешний матрос, угостивший его вином. – Круши тут все, братва!!! Бери, кому что приглянется!!! Это добро на наши трудовые куплено!!! Рабочей кровью полито!!!

Прошка немедленно смекнул, что раз уж ему повезло оказаться в числе первых, то нельзя зевать, пока не опередили. Он тотчас подскочил к буфету, распахнул хрупкие дверцы, счастливо наткнулся на коробку с серебряными ложками, успел запихнуть ее в карман, но рядом уже гремели подстаканниками другие быстрые руки, летели на пол ящички с мелочевкой, кто-то шустро прополз по полу, ловя юркнувшее под комод колечко. Позади с грохотом обрушился стол, взвыла медь самовара, на секунду взлетел крик грудничка, немедленно оборвавшийся, чей-то голос отрывисто приказал: «Да добей уже об стенку это отродье – вишь, пузырьрится!», женщина завизжала как-то неправильно, по-звериному – как, бывало, орали кошки у них в подвале, когда Фомка смеху ради выжигал у них сигаркой zenки – а чего им зыркать, шелудивым! – на секунду среди общего грохота и рева прорезался голос курсистки: «Товарищи! Товарищи! Так нельзя! Вы же не бандиты и насильники, а народные мстители!» – но ей справедливо велели заткнуться, пока сама не попала под раздачу... Прошка рассовал по карманам еще какую-то мелочь, да прихватил с полу орластый, никем не замеченный полтинник, вспомнил про бабу и заработал локтями в направлении эпицентра возни и брани – но ее уже уволокли два матроса за уцелевшую ситцевую занавеску, у которой, отчаянно матерясь в нетерпении, изнемогало в очереди несколько человек. Прошка тоже пристроился среди них, то и дело грозно, как сам был уверен, гнусава в сторону занавески: «Ну, скоро вы там?!! Другим тоже надо!» – но кто-то по-доброму окорачивал его: «Не торопи людей, малец... Дай им полакомиться-то... Всем хватит...». «Не хватит, – снова возник рядом Прошкин знакомец в серой шинели. – Как твоя очередь дойдет – там уже только мешок с костями останется, какая в нем сладость...». Но Прошка, притоптывая на месте и прижимая картуз к груди, лишь упрямо мотал своей круглой бритой головой...

- Дальше смотреть нет нужды, Наставник. Кто он ей?

- Помнишь четверогодника из домика, где потом нашли клад?

«Критическая масса» и другие повести...

- Да Наставник. Мальчик станет его отцом, я прав? -
Именно. Через двенадцать лет, и тоже случайно. Их обоих даже не было на Мытарствах. Ведь и это еще нужно заслужить. Как бы там ни было страшно – но они ведут наверх, и каждый, попавший туда, имеет надежду.

- Инна выходит из автобуса, Наставник. И тот мужчина за ней.

- Я вижу. Это то, что не может измениться. Если б ты знал, как я устал каждый раз видеть одно и тоже.

- Я все-таки намел побольше листьев на его пути. Смотри, они оба уже во дворе...

- Да. Остались две местные минуты. Сейчас он выбежит из двора – и лицо его будет лицом безумца. Тот ее взгляд на лестнице – ты помнишь – он воспринял, как высшее оскорбление своей мужественности; в злой гордыне Инна унизила, пригвоздила его, как к позорному столбу, – и теперь несчастный будет мстить за это всем девочкам, до которых сможет дотянуться. Всего он изнасилует и задушит их тридцать шесть. Младшей – девять лет, старшей – четырнадцать. Его долго не смогут поймать, потому что он из тех, на кого редко падают подозрения. А когда все-таки поймают... Женщины прорвут кордон милиции у здания суда, и он попадет им в руки... Знаешь, даже я, хотя повидал многое, отвел взгляд, когда увидел то, что они с ним сотворили... Но если Инна станет первой его жертвой – то время для нее вернется вспять, и она останется единственной. Когда этот ребенок, наконец, умрет у него руках, преступник ужаснется содеянному, больше ни разу не поддастся преступной страсти, и все те тридцать шесть девочек останутся жить и вырастут... Вот почему я устал, Ученик. Я устал видеть собственную несостоятельность. Не хочу смотреть.

- Но мы должны?

- Пропустим один раз, Пришедший: еще наглядимся, даже ты устанешь... Побудем здесь, у ворот. Уже через... сорок одну... земную секунду он промчится сквозь нас со сжатыми кулаками и пеной на губах. А пока я покажу тебе то, ради чего мы это делаем.

- Я подчиняюсь, Наставник... Но те листья...

- Забудь о них. Смотри.

4

У них здесь даже местное плоское солнце выглядело мертвым, но от него все-таки шел неподвижный, удушливый жар. Беспощадно-бледное, оно слало на раскаленную каменистую землю пронзительный бело-огненный свет, похожий на тот, что горит в

операционной – и пыточной. Ему хватило когда-то сил не сдохнуть в первой и не предать – во второй... Может, потому что Сергею тогда только-только перевалило за двадцать, он лишь полгода как надел погоны лейтенанта-летчика и много размышлял о чести. Впрочем – думалось позже с ухмылкой – он сделал бы, конечно, либо первое, либо второе, только чуть позже, если б сначала не встала к столу, пожалев белокожего светловолосого раненого, виртуозная хирургиня-негритоска (честное слово – у той восьмидесятилетней бабули над зеленой маской горели ледяные голубые глаза на густошоколадном лице!), и спустя год не вызволила бы его мимоходом пехотная разведка, совсем другое задание выполнявшая во вражеском тылу... Одного сержанта отрядили тащить к своим охреневшего от невероятной боли окровавленного офицера – и паренек ни на минуту не задумался вкатить запытанному оба обезболивающих укола из собственного пакета первой помощи. Разведчик тащил его, словно вынуженного из уже принявшейся пережевывать пасти, на своей широкой теплой спине – а Сергей удивлялся сквозь наркотический туман: ведь теперь если парень попадет под лазер – умрет от болевого шока. «Я бы так не смог. Я бы все-таки второй шприц для себя сохранил», – уважительно мелькнуло в уме.

Но оказалось, прекрасно смог. Когда увидел, что недавно золотисто-смуглое, мягкое лицо Рифката Мухамедзянова за последние несколько часов стало пепельно-серым и острым, как у одного из древних, наполовину занесенных песком черепов, которые в этой страшной стране встречаются едва ли не чаще, чем оскольчатые камни... «Привал, Рифкат!». Три укола он ему уже сделал, и, обнажая иглу четвертого шприца, Сергей лишь коротко подумал: «Если не попаду под лазер – можем выжить оба. Попаду – уколюсь или нет, обоим кранты. Не уколю сейчас Рифката – он умрет максимум через час...» – и уже без всяких колебаний закопал в раскаленные камешки пластмассовый колпачок... Подтащил штурмана чуть глубже в тень от случайного небольшого валуна – единственную, драгоценную, лишь головы их укрывавшую от убийцы-солнца, поднес к облепленным коркой жара губам последнюю – две другие выпили – флягу. Сам поглядел на нее – оставалось с четверть – и пить не стал: «Глотну, когда уж совсем немогогу станет, можно еще потерпеть...». Щеки друга чуть порозовели, ресницы дрогнули, открылись запавшие глаза – без блеска, как дыры:

- Не геройствуй, Серый... Мне все равно лучше сдохнуть... куда я теперь... без обеих ног...

- А сам ты как поступил бы на моем месте? – прошептал, облизывая губы, Сергей и, не дождавшись ответа, усмехнулся: – То-то же... Не ссы, капитан, прорвемся. Протезы тебе сделают – как новый

«Критическая масса» и другие повести...

станешь. У Вована из второй эскадрильи – помнишь, старлей бело-брысый такой, в веснушках весь – так у него от паха всю ногу лазером оттяпало – а биопластмассовую приживили – и ничего, летает. Говорит, даже баба его не сразу расчухала, что нога искусственная. Их теперь как-то так научились делать, что они, вроде, даже теплые на ошупь. А у тебя, считай, вообще полный порядок: оба свои колена целые. И моргнуть не успеешь, как опять вместе полетим...

- Я моей Райке... ни с ногами, ни без ног не нужен... – горько отозвался Рифкат.

Даже в таком крайнем положении он вспоминал о своей шалаве без гнева, давно простив ее гнусное бабье вероломство; Сергей такого не понимал: легче застрелиться, чем бабу, которую кто-то другой попробовал, обратно допустить – пусть хоть на брюхе ползает, стерва.

- Так еще и лучше, – ободрил он друга. – Никто над тобой соплей размазывать не станет... Сейчас дух переведу – и дальше пойдем. Нельзя здесь надолго: заметят – враз каюк, – а в сторону добавил: – И хорошо еще, если враз...

- Я вот о чем думаю... – прерывисто зашептал штурман. – Как они нас... засекли – мы ведь невидимки... И без звука летаем... А они же варвары... у них и зенитки-то... столетние... или больше... в двадцать втором веке... похожие пикалки делали – там, у нас... А уж оптика... Как они смогли, Серый?.. Ведь это узнать надо... Иначе... сколько наших еще...

В этом был весь Рифкат. Даже сейчас, с гладко срезанными молниеносным лазером ногами (в этом, как цинично ни звучало – а был свой плюс по сравнению с обычным осколочным или пулевым ранением: ни кровопотери, ни инфекции – сверхгорячий лазерный луч мгновенно и герметично запаивал срез живой плоти), штурман думал не о своей иссякающей жизни, а о ребятах. И ведь не русский – татарин, креста не целовал, на Коране приносил присягу Российской Империи... И если б он, Сергей, в бою его не знал... А по первоначальному с недоверием отнесся к инородцу, приставленному штурманом – и вот, пожалуйста: не каждый русский так несокрушим, великодушен и щедр... Далекое не каждый...

- Трогаемся, Рифкат. Нам бы только до тех холмов доковылять, а там... Там – вода, тень, и вообще проще будет... Может, связать удастся наладить... Ты вот что – ты глаза не закрывай, в небо смотри: вдруг наши дроны¹ заметишь...

Это последнее он так сказал, без надежды, просто чтобы дать парню дело, заставить его почувствовать себя не бесполезным кулем

¹ Дрон – беспилотный летательный аппарат круглой формы, с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для выполнения различных разведывательных, поисково-спасательных или технических задач (техн.)

Наталья ВЕСЕЛОВА

на плечах у товарища, а как бы нужным ему, даже здесь и сейчас – штурманом, а не безъязыкой, мучительно неподъемной поклажей...

Но Рифкат не обманулся:

- Кто их сюда пошлет, в эту жопу... дронов-то... Никто не знает, где мы... Все случилось... так быстро...

Сергей стиснул зубы:

- Неважно. Ты, главное, смотри.

...Солнце вконец обезумело. Его убийственный жар высушивал насквозь, заживо превращая человека в мумию, сворачивая кровь, лохмотьями срывая сожженную кожу – и вот больше не осталось ни воды, ни укулов...

Но холмы уже близко – и Рифкат еще жив.

Раз я сделал этот шаг, значит, смогу сделать и следующий.

- Это, Ученик, далекий потомок одной из девочек, которые вырастут, если умрет Инна.

- Он дойдет, Наставник? И спасет товарища?

- Нет, Пришедший. В тех холмах их ждет засада, и они примут свой последний бой через... Да, через двенадцать минут земного времени.

- Зачем же тогда та девочка должна уцелеть?

*- Чтобы дать ему однажды **пойти** по этой каменной пустыне с раненым другом на плечах, Ученик. После того неравного боя он придет в место гораздо более важное, чем то, в которое стремился. А товарища его запишут в Книгу – за то, что он закроет Сергея собой и умрет на две с половиной секунды раньше. Мы здесь и ради него тоже.*

- Я понял, Наставник... Как причудливо переплетены меж собой нити людских жизней...

- Так бы не было, если бы люди не вкусили от Добра и Зла. И вот теперь мы выправляем путь каждого – так, чтобы получилось единственно правильно вытканное полотно – и только тогда исполнятся Сроки.

- Я помню... Но где же насильник, Учитель? Уже прошла сорок одна секунда с четвертью.

- О, Боже Милосердный... Неужели... Туда.

Он заметил ее еще в автобусе, когда ехал на дневной спектакль, – и сразу от шеи до копчика словно пробежала горячая змейка, руки затряслись так, что пришлось спрятать их в карманы куртки. Девочка как девочка... Школьница... Как бы не так... О, нет, он бы поклялся чем угодно, что перед ним – не ребенок, хотя и было ей на вид лет двенадцать... Нет, пожалуй, четырнадцать... Или около...

«Криворечная масса» и другие новости...



Да, не больше. И все же у средней двери, готовясь к выходу, стояла женщина. Его единственная. Долгожданная. Не хватало воздуха. Ну, почему?! Если бы его интересовали девицы хотя бы на три-четыре года старше – приглянись какая-нибудь, и подошел бы не мешкая: «Девушка, извините, это не вас я видел вчера в Третьяковке?» – и вечером они бы уже резвились в постели у него на даче... Вадим и сам знал, что отказать ему невозможно – с рожденья имел он особую, роковую, никогда не изменявшую власть над женщинами. Власть, которая была совершенно ни к чему, потому что по-настоящему прельстить его могла только девочка не старше пятнадцати лет – а лучше бы двенадцати-тринадцати. «Когда ты, наконец, женишься?! – ломала руки старуха-мать. – Ты соображаешь – мы с отцом еще в прошлом веке родились – а до сих пор не нянчили внуков! Что, кругом мало красивых и добрых женщин? Не хочешь на своей, на артистке, – да хоть на ком женись, за тебя любая пойдет!».

Спектакль было суждено отыграть дублеру – Вадим едва доскакал до телефонной будки, в холодном ужасе неся кенгуринными прыжками, панически оглядываясь: боялся потерять девчонку в парке, где она, милая прогульщица, принялась упорно охотиться за неблагодарной белкой – он, пока бегал звонить, черта молил, чтоб она не ушла с той полянки... Не ушла. Вадим уселся боком на скамью неподалеку, закинув локоть за спинку, положил ногу на ногу и развернул удачно прихваченную из дома газету: ни дать ни взять – обычный субботний отдыхающий ловит последнее тепло. А сам смотрел на желанную почти в упор, и каждым нервом своим чувствовал: вот она. Та самая. И он либо умрет сегодня, либо... А вдруг с ней можно будет... договориться? Эти вовсе не угловато-подростковые, а уверенные женские движения, эти припухшие, будто нацелованные губы... Эта пионерка не девственница – пусть ему хоть сейчас рубят любую руку. Она все знает... Все испытала... Много себе позволила... То, что не каждая взрослая баба... Да нет, глупость – просто девочка одета по-взрослому, вот и все. Мечтает поскорей вырасти, как и большинство из них... Это только его фантазии... Но вот, подбирая что-то в палых листьях, маленькая чертовка наклонилась, стоя к нему спиной. Вадима обожгло так больно и сладостно, что потребовалось несколько глубоких вздохов, чтобы остановиться, не дать перелиться через край так бездарно, раньше времени... Нет – либо она совершенно невинна, что *так* наклоняется, либо... она хочет. Не его, конечно, кого-то другого, но... Интересно, про какого ублюдка она думает?! Не может же быть, чтоб про какого-нибудь сосунка-одноклассника! Онаниста с мокрыми руками... Эта не из таких... Вот бросила свою белку и пошла обратно... На автобус? О, черт, только бы не в школу!

«Критическая масса» и другие повести...

В автобусе у него мутилось в голове от одной мысли, что, может быть, пройдет всего лишь несколько минут – и она уже будет извиваться под ним от боли, стыда... А может быть – от наслаждения?.. Но как это делается – научил бы лукавый, раз уж подсунул ее... Вот обернулась, хлестнула взглядом – почувствовала? Поняла? Спокойно, спокойно... Куда эта маленькая развратница направляется? Вдруг встретит какую-нибудь подружку или мамашу, и вместе пойдут? Тогда останется только повеситься... Хотя нет, можно выследить, и в другой раз... Пошла к дверям – внимание! Бежит... Торопится куда-то или заметила его? Ну, это уж бесполезно, догнать нетрудно – с его-то ногами... Черт, черт, черт – сколько народу в этом проклятом дворе! Идет вдоль дома, хорошо бы в подъезд – там подвал, и, если никого нет... Она и не пикнет. Или в лифт, на верхний этаж – и на чердак... Как карта выпадет... Скорей, скорей, терпеть уже нет сил... Ага, дорожка вдоль дома, кусты какие хорошие... Оглядывается, сучка... Нет, его не видно, а она меж ветвей – как на ладони... Какие бедра... Ножки... Только бы никто не помешал, ничто... Дьявол, если ты действительно существуешь – пожалуйста! Я тебе что хочешь... Я не буду с глупостями, как Фауст... Что за мысли дурацкие, какой еще дьявол – вон она, сама как юная дьяволица... Счастье, что тут листья влажные под ногами, толстый такой слой – шагов почти не слышно... Снова оглянулась у подъезда, да не туда! Ну, вот ты и попалась, все теперь...

Вадим догнал беглянку как раз в тот момент, когда перед ней пригласительно разъехались автоматические двери узкого лифта – и тут же втолкнул в тускло освещенную кабину, одной рукой зажимая девчонке рот, а другой тыча в верхнюю кнопку. Лифт медленно, очень медленно, со вздрогами и спотычками, потянулся наверх – и там-то уж ему не составит труда загнать ее по маленькой, везде одинаковой лесенке на чердак... Она отчаянно сопротивлялась – горячая, хрупкая – скажите-ка! – а он думал, что ее парализует от страха. Вадим уже только одного боялся: как бы ей не удалось вывернуться и крикнуть... В остальном же шансов у нее было не больше, чем у котенка перед утопителем, быстрые острые удары ее крошечных кулачков, которыми она часто колотила ему по животу, только сильнее возбуждали его – как будет жаль, если все кончится в первые же секунды, как он ее заполучит... И выйдет, что овчинка выделки не стоила... Нет, надо срочно уgomонить мерзавку – «Загихни, а то сдохнешь прямо сейчас... сладкая маленькая шлюха...» – но у нее, верно, отшибло мозги в те секунды, потому что билась девка уж как-то слишком бешено, зубки так и впились в ладонь – крик был уже где-то близко, даже мычание стало таким громким, что могли услышать... Гадюка, если не хотела – зачем тогда так ходила?! Так

Наталья ВЕСЕЛОВА

двигалась?! Так взглядывала?! Так наклонялась?! Да замолкни же!!!

Он не слышал, а почувствовал рукой среди возни и стонов, как что-то быстро хрустнуло, будто куриное крылышко, какое он, бывало, так любил смачно обглаживать в конце обеда, когда был уже сыт, – и сразу тщедушное тельце обмякло и повисло в его руках, голова девочки запрокинулась. В ту же секунду с легким жужжаньем разошлись двери, и в наступившей тишине с ее русых прядок тихо соскользнула и шмякнулась на пол до тех пор чудом державшаяся замшевая кепка. Вадим задом шагнул на площадку, таща под мышки сползшую вниз добычу, и наружным, еще не спохватившимся умом соображал, как будет поднимать ее на чердак – но некое внутреннее сознание громко подсказывало ему, что все это уже лишнее, и, главное – мгновенно затихла во всем теле только что бушевавшая оглушительная буря...

Он осторожно опустил свою невесомую ношу на каменные плиты – и голова его жертвы случайно попала в золотой солнечный квадрат. Ничего не соображая, он опустился на четвереньки и легонько коснулся одним пальцем неподвижного, еще теплого лба. Сиреневатые веки неплотно закрытых глаз и чуть приподнятые светлые брови делали не успевшее застыть лицо мертвого ребенка особенно незащитным, словно слегка удивленным: как – уже? Так быстро? А я думала...

- Господи... – прошептал Вадим, и пальцы его инстинктивно потянулись куда-то вверх, сложившись в неуверенную шепоть. – Господи... Ведь совсем же дитя... Как это я... Почему...

Он не видел и не мог видеть, что позади него на площадке находились трое: потрясенная молодая женщина с волосами до пят и залитым слезами белым лицом поднималась с колен, протягивая руки Двоим, молча стоявшим над нею...

- Вот и все, это испытание ты прошла – и... благодари сего Пришедшего. Он в прошлом – один из вас и сумел помочь тебе лучше, чем я... Я был бы рад сказать, что больше ты не будешь страдать, но... Скорей всего, нам еще предстоит встреча – и не одна. Сейчас иди туда... да, туда – выше. Там встретит тебя твой Хранитель и поведет дальше. Ступай...

- Она теперь снова пойдет по Мытарствам, Наставник?

- Да, и ты немало ей в этом помог... Знаешь, Ученик, тебя уже смело можно считать готовым к самостоятельному служению – конечно, под присмотром пока, но... – буду просить об этом Выших. Ты хочешь узнать о работе Встречающих еще что-нибудь?

- Да, Наставник. Ты сказал, что Инна не должна была родиться. Почему же она родилась?

«Критическая масса» и другие повести...

- В свое время, когда я был Хранителем, я не сумел этого предотвратить. В результате, мне пришлось встать ее Встречающим – я сам наложил на себя такое наказание.

- А почему ты... не смог, Наставник? Разве у Хранителя нет полной власти над подопечным?

- Конечно, нет. Мы можем только наставлять и советовать – ну, и ограждать от бед, когда это позволяют Высшие. Но действуют люди лишь по своей воле, а поскольку она у них злая, разум помрачен, а внутренние очи у большинства закрыты... Часто приходится видеть, как твой подопечный упорно стремится навстречу гибели – и ничем его не пронять, не свернуть... Тебе тоже скоро предстоит такое.

- Ты покажешь мне, Наставник, или это запрещено?

- Отчего же нет? Вот тот злосчастный день – за шестьдесят пять с половиной человеческих лет до того, в котором мы с тобой только что побывали... И за три с лишним месяца до их первой мировой войны.

5

В Санкт-Петербурге, в похожем на именинный торт Измайловском соборе, во время пасхальной заутрени стояла липкая сладкая духота – от дрожащих кисточек пламени множества свечей, зеленых клубов ладанного дыма и горячего дыхания многочисленных верующих. Гимназистка-семиклассница Наденька уже корила себя за то, что поддавалась уговорам набожной Шурочки Ястребовой, пол-Страстной убеждавшей ее, что пропустить церковную службу на Пасху – великий и строго наказуемый грех. Было так жарко и тяжело, что голова под шляпкой чесалась от пота, мягкий французский корсет, недавно выпрошенный у матери под многочисленными, заведомо невыполнимыми клятвы, ощущался не иначе как гибридом вериг и власяницы, а новенькие лаковые ботиночки на шнуровке, которыми Наденька так гордилась еще вечером, причиняли, казалось, не меньше страданий, чем знаменитый испанский сапог, который надевали на несчастного благородного Ла Моля¹. Она с раздражением покосилась на истово молившуюся Шурочку, чье миленькое, еще не избывшее детской припухлости личико, определенно, выглядело глуповатым, когда подруга восторженно выкрикивала вместе с толпой: «Воистину Воскресе!». Сегодня Надя, вообще-то, обычно любившая эту добрую и безотказную девушку, испытывала к ней

¹ *Ла Моль* – герой романа А. Дюма-отца «Королева Марго», популярного в XIX-XX веках.

самую настоящую неприязнь – происходившую из самой черной зависти, внезапно посетившей в таком неподходящем месте. Дело в том, что Шура честно и по всем правилам отпостилась весь Великий Пост, с трепетом приобщилась Святых тайн в Чистый Четверг – и теперь готовилась простодушно разговеться после заутрени. Дома у Ястребовых – Надя зашла перед службой за подругой на Тринадцатую Роту – стоял дым коромыслом: родители и старшие сестры отправились занимать в храме лучшие места, но сбившаяся с ног принаряженная прислуга еще металась вокруг блестяще накрытого стола... Так что Шурочке через какой-нибудь час предстоял настоящий праздник – с долгожданными лакомствами и подарками, даже лучше, чем на Рождество...

Надя тоже была звана и, разумеется, собиралась пойти, только ничего особенного ей не предстояло – разве что зевать за ночным столом, изо всех сил изображая бодрость. Что ей за радость все эти бесконечные окорока, жирные пироги с гусиной печенью, нарядные пасхи и крашеные яйца – ведь в их доме никакие посты не соблюдались. Надина мама, женщина-врач, после давней смерти мужа воспитывала своих двоих детей в строгости – но отнюдь не религиозной. Она внушала им, что человек обязан быть хорошим сам по себе, не имея над головой вечно занесенной дубинки Божьего наказания. «Кто добр из страха – тот зол», – внушала она Наденьке и Павлику, что был двумя годами ее моложе. Существования Бога она, правда, не отрицала, но смеялась над образом бородатого Мужчины, восседавшего на троне поверх пушистого облака: «Вы же понимаете, что облако – не ковер, чтобы ставить на него стулья! Это всего лишь скопление водяного пара – и любое кресло сквозь него немедленно провалится!». Дети ее прочно усвоили, что Богу, то есть, Высшему Разуму, управляющему всем сущим на их планете, совершенно безразлично, что они едят на завтрак, обед и ужин, с кем соединят потом свою жизнь. Ему важно видеть их добрыми и справедливыми, и можно рассчитывать на счастливую судьбу, только если посвятишь себя гуманистическому служению... Так-то так, но сегодня для многих из этих людей (Наденька исподтишка прошлась взглядом по окружающим лицам, и отчего-то особенно красивым показался ей не молодой породистый поручик, а благообразный, смутно знакомый мужик) жирная ветчина и красное куриное яйцо покажутся лакомством и отрадой... А для нее – обыденной пищей, не очень-то и желанной: совсем недавно заботливая мать, вовсе не протестовавшая против того, чтобы дочка пошла в церковь с подругой по гимназии и «посмотрела русские обычаи», заставила ее съесть перед выходом полную тарелку наваристого мясного супа с

«Критическая масса» и другие повести...

ложкой густой сметаны – чтобы не ослабела, если служба затянется... Пасху у них дома, правда, тоже варили – вкусную, малиновую – и яйца брат Павлик любил собственноручно разрисовывать, а уж куличи с цукатами кухарка Прасковья пекла – не оторвешься: мать считала необходимым соблюдать древние традиции и не допускала ни в себе, ни в детях никакого превозношения над не просвещенным пока простым народом. Сама она была образцом передовой женщины, зарабатывая на жизнь себе и детям тяжелым и нужным трудом: с утра – оперировала в Мариинской больнице для бедных, с обеда до ужина – принимала там же в амбулатории бесконечных больных. Дома мать тоже обустроила для своей довольно успешной домашней практики просторную приемную – с пола до потолка в белом кафеле – куда по воскресеньям, а иногда и среди ночи, будя весь дом пронзительными звонками с черного хода, постоянно приходили ее небогатые пациенты. Семья ни в чем не нуждалась, ведя разумный и нерасточительный образ жизни, а дети знали, что мать расшибется в лепешку, чтобы Павлик непременно окончил Университет, а Наденька – Высшие женские курсы...

Она встрепенулась и подтолкнула подружку плечом: пойду, мол, назад ненадолго, там попрохладнее – и стала пробираться ближе к выходу, откуда порой приятно веяло ночной апрельской свежестью. Оказалось – хорошо: где-то, вдобавок к центральной, открыли боковую дверь, и замечательно было встать, разгоряченной, под струю холодного воздуха, незаметно расстегнуться, освободить шею, подставить ее освежающему дуновению...

- Я только и делал тогда, Ученик, что метался от одной двери к другой, чтобы обе оставались открытыми – все ждал, что простудится на сквозняке, сляжет ненадолго и никуда не пойдет...

- Она не простудилась, Наставник?

- Простудилась. Но это не помогло.

Наденька не понимала, почему насморк считается самой легкой болезнью на свете – и никто не относится к нему всерьез, жестоко обращаясь с изнемогающими от страданий насморочными больными. «Ну, что делать – ртом будешь дышать!», – неизменно говорила мама, отправляя в гимназию кого-то из детей, гугниво канючившего у нее хоть денек передышки. Надя дышать ртом – *не умела*. Она задыхалась, подскакивала, обливалась слезами и соплями, вырывая из носа фитили с мазями и швыряя их через всю комнату, а когда сопли густели – то и дело ворочалась по ночам с боку на бок, чтобы дать им возможность перетечь из верхней ноздри в нижнюю, чтоб хотя

бы одной, на время освободившейся, кое-как подышать... Девочка умоляла мать закапать ей эфетонину¹ для облегчения мук – но та неумолимо запрещала это «баловство» почти всегда, кроме уж самых «непробиваемых» случаев.

И сейчас такой случай как раз настал: Надя заболела прямо на Пасху вечером, но ей хватило ума украсть у матери из приемной целый пузырек заветных капель, не выпрашивая их у нее, как милости, – и вот с утра понедельника лежала у себя в комнате на диване, одетая, лицом к стене, и несчастная до крайности. Она теперь уж и вовсе не сомневалась, что жизнь ее навек разбита, любовь поругана, и впереди – только море одиночества, болезней и людского равнодушия... Еще в соборе во время службы, когда удалось немного охладиться и переключить мысли от сиюминутного неудобства на главное, Наденьке стало ясно, что Коля к ней не вернется никогда. Отец его – какая-то важная шишка в Адмиралтействе – уехал с семьей к новому месту службы на юг России, и письма от возлюбленного, определенного там родителями в выпускной класс местной гимназии, – поначалу страстные и мучительные, потом грустно-ласковые, а последнее время – уже дружески-прохладные, приходили все реже и реже, а любовь к Наденьке и мечты об их скором воссоединении Коленька постепенно заменил восторженными описаниями морских красот и мощи российских броненосных крейсеров. К Пасхе и вовсе пришла только оскорбительная в своей обязательности открытка с пошлыми фиалками, приторно умильными детками и дежурными словами поздравления... Словом, нужно было оказаться уж совсем никчемной дурочкой, чтобы и теперь убеждать себя, что летняя встреча (которая, кстати, находилась под очень большим вопросом) вернет их былые доверительные и нежные отношения. Вдобавок, очень скоро предстояли выпускные экзамены – в восьмой педагогический класс она не пойдет, уж дудки! – и давнишний утробный страх перед злым и ехидным латинистом, с его презрением ко всем женщинам вообще, а к гимназисткам в частности, гадко заворочался в душе, будто глист в кишках. Переэкзаменовка, кажется обеспечена... *hoc beatam agricola*²... Чтоб ему лопнуть... Хотелось отравиться, глотнув из какой-нибудь склянки в приемной, но было жалко

1 *Эфетонин* – капли с небольшим содержанием наркотика и алколоида, применялись для быстрого облегчения симптомов насморка в первой половине XX века

2 *hoc beatam agricola* – этот счастливый земледелец (лат.), традиционное словосочетание из учебников латинского языка, которое и по сей день предлагается просклонять по падежам.

«Критическая масса» и другие повести...

маму – а на Павлика и Колю наплевать.

Достав из-под подушки пузырек и пипетку, Надя закапала себе в обе ноздри по щедрой порции эфетонина – и ей ненадолго полегчало. Хоть бы Наташа фон Берг телефонировала! Они познакомились еще в десятом году, летом, когда обе семьи снимали для детей соседние дачи неподалеку от Гельсингфорса – и с тех пор дружили и в городе. По воскресеньям и праздникам ходили вместе в Летний сад или на общественный каток в Юсуповский сад, устраивали на Рождество детские любительские спектакли, купили недавно вскладчину волшебный фонарь... Наташа жила далеко – на Бассейной¹, но обе девушки всегда находили лишний двугривенный, чтобы встретиться где-то посередине пути от одной до другой и хотя бы просто поболтать в скверике или прогуляться вдоль Фонтанки, если уж совсем не было денег, чтобы погреться в кондитерской или полакомиться жареными пирожками у Филиппова... Небогатые фон Берги оба преподавали, дочь у них была единственная, а стало быть, балованная – и училась в Павловском институте, который терпеть не могла, завидуя гимназической свободе Наденьки. Но минувшей зимой обрушилась на Наташу страстная любовь к кадету Жоржу Волкову – вполне, впрочем, взаимная, так что обезумевшая от первого счастья Наташа все выходные и праздники проводила теперь уже с ним, отдавая подруге только те редкие дни, когда Жоржика за какую-нибудь провинность лишали в корпусе очередного дневного отпуска... В этот раз Наташа положительно обещала телефонировать ей на второй день Пасхи вечером, если родители уйдут, как собирались, с визитами, а прислуга разойдется по гостям. Хорошо было бы подняться, встряхнуться, перестать чувствовать себя, как раздавленная жаба на дороге... Когда нет Наташиных родителей, можно всласть побеситься и побояться в ее комнате – обе обожали страшные истории в темноте – и даже тайком выпить немного вина. Но телефон молчал, хотя длинный апрельский день уже порозовел за высоким окном, выходящим на узкую Третью Роту. «Ну, конечно, – обиженно думала Наденька, покусывая подушку. – Если ее родители надолго ушли, а прислуги нет дома – то она лучше со своим Жоржиком будет на свободе целоваться, чем лучшую подругу пригласит... Изменщица...».

- Телефон не звонил потому, что я повредил провод внутри дома, Ученик. Боялся, что она поднимется даже больная – и не зря. Поломку обнаружили и устранили только на следующее утро... Это

¹ Ныне ул. Некрасова

Наталья ВЕСЕЛОВА

никому не повредило: я знал, что неотложных больных у ее матери в тот день не будет. На всякий случай посмотри сюда: нежелательные звонки подопечным в девятнадцатом и двадцатом веках устраняются так: видишь этот провод? Переламываешь его вот здесь...

- Я понял, Наставник. Но ты сделал это напрасно?

- Да. Воля людей не ломается так легко, как провод. А здесь ненароком постаралось несколько человек.

И когда Наденька уже совершенно разочаровалась в людях и дружбе, сочтя свою жизнь окончательно пропащей, звонок прозвонил – но не телефонный, а у парадной двери. Она даже не обернулась: кто к ней придет сегодня без договоренности? У всех сейчас, на пасхальных каникулах, свои веселые и важные дела! А у нее ни Коли, ни Наташи... Хоть бы кому-нибудь она была нужна!..

- Барышня, вас там спрашивают, – горничная просунула голову в Надину дверь.

«О, нет, значит, из гимназии – только не это...» – из своего класса Надя могла хоть как-то терпеть только Шурочку, но та уехала сегодня поздравлять бабушку на Петербургскую сторону.

- Гони в шею... Скажи – болею... Ступай, – гнусаво пробормотала она, но в последний миг любопытство все-таки одолело. – Пой, Дуня. Кто спрашивает-то?

- Из десятой квартиры, Зуевых старшая барышня.

Инженер Зуев со своей полной добродушной женой и многочисленными детьми – было их человек семь, не меньше – жил как раз под ними, точно в такой же квартире на втором этаже. Старшая, почти взрослая девочка – глазастая светлокудрая Мэри – училась, кажется, в каком-то институте, а еще она помнила пухленькую, всю в локонах, Женечку лет десяти. Три младшие девочки – Клава, Валя и Кира – слились в Надином представлении в одного открыточного ангелочка, а два больших сына, чьих имен она не помнила, учились в мужской гимназии на Восьмой. Зуев принципиально лечил своих чад и домочадцев у другого доктора, не доверяя женским способностям в области медицины, семьи равнодушно-приветливо здоровались на лестнице, понемногу судачила меж собой их прислуга, но тем всегда и ограничивалось соседское общение. Странно было предположить, что Надя зачем-то им понадобилась!

- Проси! Не держать же ее в парадном...

Юная соседка при ближайшем рассмотрении оказалась чудо как хороша – и красота ее была настолько светлой и простой, что не вызывала зависти даже у Наденьки, втайне переживавшей из-за собственной «обыкновенности» и отсутствия хоть одной запомина-

«Критическая масса» и другие повести...

ющейся черты своего прозаичного лица. А эта... Пушистые кудри, большие и наивные серые глаза, изумительная чистая кожа матового оттенка – такая девица точно не будет знать отбоя от женихов... И уже, наверное, не знает... Сколько ей? Лет пятнадцать?

Мэри механически сделала изящный институтский книксен.

- *Je vous demande pardon*¹, что беспокою вас – я не знала, что вы больны. Но мне только что телефонировала моя... скажем так... *l'amie principale*²... по институту, Наташа фон Берг. Видите ли, она никак не может соединиться с вами: телефонная барышня все время говорит, что связи нет. Вероятно, что-то на линии... Так вот, зная, что я живу на Третьей Роте, она вдруг спрашивает, далеко ли от меня дом два. Я ответила, что в нем и живу, в квартире десять – а она так обрадовалась! И говорит: сбегайте, душка, прямо сейчас в двенадцатую – она ведь, должно быть, над вами? – спросите там Надю и передайте, что я ее жду, как договорились – она поймет. Ну вот, собственно, я вам и передала. Но, раз вы больны... Может, телефонировать ей от вашего имени, что вы не сможете?

- Нет, нет, я буду! Телефонировать, что, наоборот, – еду! – отбрасывая колючий шерстяной плед, Наденька уже вскакивала с дивана. – Не могу больше лежать, все тело заостенело... Будь что будет, эфетонину с собой возьму... Ах, милая Мэри, спасибо вам за вашу доброту!

Хотя и зная, что дома у Наташи, как и положено в Пасху, полно всякой вкусной снеди, являться в гости с пустыми руками Надя считала не очень приличным, а деньги – целых четыре рубля – ей удалось скопить из своих подарочных. Поэтому, до того, как кликнуть извозчика, она пошла, пригнув против ветра голову во взрослой парижской шляпе, чтоб не быть узнанной каким-нибудь некстати подвернувшимся учителем, в сторону Измайловского проспекта, где рядом находились виноторговый магазин и лавка восточных сладостей. Сначала она уверенно забежала во вторую с намерением купить за тридцать копеек двухфунтовый брусочек косхалвы. В этой лавке ее продавали не с привычным арахисом, а с цельными орехами фундука, и клали их так щедро, что сливочно-белый брусочек получался как бы весь в крупных коричневых бородавках. Имелся здесь и еще один небольшой фокус: иногда брусочек весил меньше двух фунтов, и тогда приказчик длинным тупым ножом откалывал небольшой ломтик от особого, специально для этого предназначенного и весьма уже изломанного брусочка, – и клал его на весы в качестве довеска, который тут же покупателем и съедался – а что с ним делать... Много лет это было одним из нескольких маленьких тайных счастья Наденькиного

¹ *Je vous demande pardon* – прошу прощения (фр.)

² *l'amie principale* – старшая подруга (фр.)

Наталья ВЕСЕЛОВА

детства – наряду, например, с редко-редко обретаемой в тарелке настоящей сладкой-сладкой мозговой косточкой. Каждый раз, подходя к лавке, Надя загадывала: если сегодня мне будет довесок, то... – и дальше четко проговаривалась дежурная девичья мечта. Но в этот раз она плохо себя чувствовала и впервые ничего не загадала, а когда вспомнила – то пожалеть не пришлось: довеском ее приказчик не порадовал.

В винную торговлю Наденька вошла уже гораздо более робко, гадая про себя – выглядит ли она распущенной гимназисткой, или все-таки уже тянет на взрослую барышню, что вполне может купить вино для праздничных нужд.

- Мне надо шампанского, любезный... – с преувеличенной уверенностью начала она, и молодой развязный приказчик, с насмешливой проницательностью глядя ей в шляпу, зачастил:

- «Вдову Клико» желаете или «Финь-Шампань»? А может быть...

- «Помпадур Розе»! – гордо отрезала она, удачно вспомнив название, прозвучавшее на днях из уст матери, когда та заказывала кухарке пасхальный обед.

- Сию минуточку-с, – поклонился он и вскоре вынес бутылку кипучего розового вина...

- Тебе может оказаться понятней, чем мне, Ученик. Видишь ли... Надежда проживет еще более двадцати четырех лет – восемь тысяч девятьсот девятнадцать дней – но среди них почти не будет таких, когда она бы не вспомнила вкуса той косхалвы и шампанского...

- Она тоже поняла, Наставник, что этот день был решающим?

- Да. Почти сразу. Всю жизнь оглядывалась на него и думала: а если бы я не пошла тогда к Наташе – как сложилась бы дальше моя жизнь?

- И как же, Наставник?

- Также невесело, но не для стольких людей. Вскоре начнется большая война, потом в той стране произойдет кровавая революция – и опять война. Надежда переболеет тифом и холерой, будет жестоко голодать, ворочать мешки с дровами и гнилой капустой, потеряет от цинги почти все зубы... Мать умрет от пневмонии у нее на руках, а брата расстреляют. Замуж она так никогда и не выйдет, потому что всю ее силу заберут болезни и печаль, а красоты у нее и с самого начала не было. Она станет именно тем, чем быть не хотела – учительницей математики – и посвятит свою одинокую жизнь чужим детям, которые зато полюбят ее. В горе

«Критическая масса» и другие повести...

она вспомнит и о Церкви, и уж не будет маяться от скуки на службе, попав в незакрытый и непоруганный храм... Проживет она на три года дольше, чем в случае, если пойдет к подруге – и ее застанет на земле вторая большая война. Конца ее Надежда не увидит, потому что по пути в эвакуацию попадет в поезде под бомбежку и погибнет мгновенно, даже не успев понять, что умирает... Если хочешь, можешь взглянуть на нее. Нет, не там – ниже... У подножия северного склона...

В передней фон Бергов счастливая, розовая, как шампанское в хрустальном бокале, наспех застегнутая Наташа, с губами, похожими на маленький растрепанный пион, провожала любимого Жоржика. Он обязался не позже семи добраться с поздравлениями до богатого строгого старика-крестного, имевшего весьма похвальный обычай дарить крестнику на каждый праздник по красенькой¹, которую влюбленные планировали завтра же прокутить у Дюка – причем, Жорж уже почти уговорил Наташу взять отдельный кабинет...

- Их любовь тоже плохо кончится, Наставник?

- Я ими не занимался, но давай посмотрим... Нет... Не успеет. Георгий через десять месяцев погибнет в Мазурских болотах² от заражения крови – а Наталия умрет почти одновременно с ним – родами... За страдания им будут облегчены Мытарства, и они благополучно пройдут их – каждый с небольшими задержками... Ничего особенного, Ученик. Давай не будем отвлекаться.

- До чего осточертела мне, барышни, эта серая шкура! – небрежно говорил Жорж, интересный темноволосый юноша с быстрыми вишневыми глазами, застегивая перед зеркалом кадетскую шинель и поправляя фуражку так, чтоб она выглядела чуть-чуть более лихо, чем позволялось.

- Потерпи до осени, – нежно одергивая ему вовсе не нуждающуюся в том полу, отозвалась Наташа. – В юнкерской черной ты будешь смотреться неотразимо, и я влюблюсь в тебя еще раз...

- И я, чего доброго... – с деланным смехом поддержала Наденька, снимая шляпу и встряхивая своими пепельными, коротко остриженными волосами.

- Сразу видно – пойдешь на Курсы, – одобрительно кивнул ей

¹ Красенькая – десятирублевая купюра в Царской России (жарг.)

² Героическая оборона окруженного в Августовских лесах в районе Мазурских озер в Восточной Пруссии 20-го русского корпуса против втрое превосходивших по численности германских войск 25 января – 13 февраля ст.стиля 1915 г. в ходе Первой мировой войны

Наталья ВЕСЕЛОВА

Жорж.

- А куда еще... – притворно вздохнула она. – Не замуж же...

- Ой, девчонки, совсем забыл! – приснул вдруг кадет, оборачиваясь в дверях. – Я вам сейчас такое расскажу – животики надорвете... В тебя, – он невежливо ткнул пальцем в Надю, – наш Тюля по самые уши врзался. Со мной вчера после заутрени разоткровенничался. А как узнал, что пойду к Наташе... Ой, не могу, умора!.. За молви, говорит, за меня перед Наденькой словечко, если увидишь! Вот я, считай, и замолвил... Ну что, Надя – может, замуж вместо Курсов, а? А я шафером буду... – он махнул рукой и подтянулся: – Ну все, лечу... А то мой старый хрыч мне за опоздание, чего доброго, штраф назначит... – он шутиливо отдал честь и ловко выскользнул на лестницу.

Тюля? Да, Надя помнила его: Юра Тюленев, высокий, мешковатый и неуклюжий, неизвестно как попавший в кадеты юноша – вероятно, родители, особо не задумываясь, просто отправили сына по обычной в их кругу дороге – и в самом деле похожий на грустного тюленя с красочной иллюстрации к статье «Ластоногие» в энциклопедии Граната... Он сидел, откинувшись на диване, в стороне от танцующих, когда праздновали у фон Бергов последнее Рождество, и не сводил с нее слегка раскосых, ярко-голубых глаз... «Ну и дурак, – раздраженно думала она в те минуты, вальсируя с веселым взрослым студентом-естественником. – Если я ему нравлюсь, так подошел бы, заговорил... Что проку пялиться, как баран на новые ворота!»... Но сегодня, когда по спине словно бегали тысячи холодных мышинных лапок, в тяжелом лбу переливалась густая, тягучая боль, а беленькая, крошечная, как шпиг, Наташа и не думала скрывать своей торжествующей радости перед подругой, которую недавно постиг жизненный крах, – сегодня и незадачливый Тюля не казался ей жалким рохлей... А что? Он окружит ее заботой и вниманием, станет баловать, посылать цветы и конфеты, водить в кинематограф... А летом покатает на лодке, подержит над ней зонтик в дождь или зной... Но уж никаких поцелуев – хватит, нацеловалась! Чувствуя себя любимой и нужной, она постепенно оправится, выздоровеет душой и телом, запишется на Курсы – юридические или литературные? – ладно, это потом... Появятся новые знакомства... Настанет совсем другая, взрослая жизнь... А Тюля... Да такому туповатому пентюху в любой момент можно дать отставку!

- А знаешь что, Наташа? – задумчиво протянула Наденька, все еще глядя на захлопнувшуюся за Жоржиком дверь. – Ты скажи ему – пусть этому своему Тюле мой телефонный номер даст. Так, смеха ради... Мне, может, развеяться нужно...

- Ну и развейся. Полно тебе горевать... – легко согласилась

«Критическая масса» и другие повести...

подруга и затеребила ее: – Так что в сверточке-то у тебя? Признавайся, грешница, – сверточек-то тяжелый!

- Пожалуй, достаточно, Пришедший. Все уже ясно.

- Не совсем, Наставник. Что, в этом Юриш – корень ее бед?

- Корень бед только в самом человеке. А Юрий – вовсе не рохля, не пентюх и не тюлень. И уж тем более он не туповат. Когда он телефонирует Надежде и они встретятся, она сразу поймет, что он умен, образован, необычен, по-своему красив и вообще не похож ни на кого другого. Тогда она полюбит его – так мощно, жертвенно и безоглядно, как редко любят там, на земле. Они вскоре, уже осенью, обвенчаются, но детей у них долго не будет, и Алла, мать нашей Инны, станет через девятнадцать лет их единственным ребенком. Она родится уже после того, как отца арестуют и казнят. Надежда умрет от рака, когда дочке будет только шесть лет, и ее возьмет к себе вдова Павла, Надиного расстрелянного брата. Что дальше – тебе известно.

- Я, возможно, миллион раз неправ, Наставник, но не могу усмотреть ничего плохого в той любви, что ты мне сейчас описал.

- В ней и не было ничего плохого – и все же лучше бы она не начиналась. Пойдем немного дальше – там прошло четыре года. Но прежде укрепи себя. Даже мы не на все можем смотреть без трепета.

Арестантам никогда не говорили, что ведут их расстреливать – понятно, почему: чтобы избежать всяких там женских истерик, поповских молитв на исход души, да чтоб запуганное офицерье не вспомнило вдруг про свою затоптанную беляцкую «честь» и не решилось на какой-нибудь мелкий бунт по пути в подвал.

- Внимание, арестованные! – распахнув дверь камеры, рывкали туда Юра или Матвей. – В камере будет производиться дезинфекция, поэтому все вы временно переводитесь в другую. Прошу следовать организованно, соблюдать в коридорах тишину и порядок.

Они и соблюдали, овцы поганые, – покорно шли, куда велели, исподтишка косясь по сторонам, что было, вообще-то, запрещено, но тут не препятствовали: максимум через пять минут всем им предстояло превратиться в бессловесные уродливые туши – так что какая разница, что они там углядят... По лестнице вниз – и первая дверь налево. Ее отпирали, и смертничков всем гуртом так туда по инерции и всасывало; правда, пока подтягивались задние ряды, в передних возникало легкое недоуменное бурление при виде багровых стен и плохо отмытого пола с косым стоком – но тут уж не церемонились: пинками заталкивали последних, быстро пропускали

Наталья ВЕСЕЛОВА

ребят с маузерами – и те начинали пальбу. Юра на это не смотрел (хотя не слушать – не удавалось, и тут его не так выстрелы смущали, как постепенно спадавший вой и визг), стоял с другом в коридоре; у них с Мотькой, как у старших по команде, была задача только побыстрей прикончить недостреленных. Сам он старался это делать аккуратно – четким выстрелом в лоб, висок или затылок – что у кого оказывалось подставленным – из родного трофейного револьвера, вынутого когда-то после боя из окостеневшей руки белого офицера – пажа, судя по перстню, который снимать не стал – и никогда ничем подобным не занимался: этим пусть пробавляется несознательное быдло, а он не мародер – он идейный красный комиссар, всегда чисто служивший делу революции. Мотька же предпочитал штыком – с оттяжкой, особенно если попадалась ему девушка с умоляющими глазами или гимназист какой-нибудь, откровенно пищавший «Дяденька, не надо...». Юра потом долго топтался во дворе, сапоги от крови – и еще какая там требуха налипнет – то снегом, то травой, то листьями по полчаса отчищал. А Мотьке – хоть бы что: у меня, говорит, отец резник был – привык я...

- Довольно, Наставник, я видел и осознал.

- Ты еще ничего не видел, Ученик. Досмотрим до конца.

Но сегодня вышла кошмарная неувязочка: как погнали по коридору очередное убойное стадо, окошко одной из камер, имевшее, как потом выяснилось, замок с дефектом, вдруг распахнулось от мощного толчка изнутри, и за решеткой показалось желтое лицо той чахоточной эсерки, что при водворении в их Чрезвычайку крыла конвоиров таким изобретательным матом «в тридцать девять накатов с переборами», что даже из дежурки ребята в кожанках сбежали послушать и поучиться. «Во дает, баба! – уважительно качали головами некоторые – а были среди них и бывшие балтийские матросы. – Таковую даже в расход выводить жалко...».

Но сейчас эсерка не материлась, а, увидев в коридоре человек десять, среди которых были три оципанные институтки, заплаканная вдова уже хлопнутого присяжного поверенного с двумя жавшимися к ней детьми-подростками и четверо парнишек-кадетов, неожиданно звонким для своей болезни голосом крикнула:

- Товарищи! Не верьте им! Вас ведут на расстрел! Из этого подвала никто не возвращался! Долой узурпаторов революции!

Мотька подскочил к двери и быстро захлопнул форточку, изо всех сил прижал ее обеими руками – но было поздно. На несколько секунд Юра остался со своим револьвером один охранять смертников – и тут кто-то из бывших кадетов, ловкий, видать, малый, не

«Критическая масса» и другие повести...

сдрейфил и выхватил маузер из кобуры на секунду повернувшегося спиной Мотьки. Умел бы он им пользоваться – и чекисту бы тут же хана, но парень замедлил на миг, разбираясь с незнакомой системой, и этого мига Юрке хватило, чтобы красиво всадить ему пулю в центр лба. Но маузер-то отлетел не к пятившемуся в ужасе Мотьке, а прямо под ноги другому кадету – и тот тоже не растерялся – дважды выстрелил в сторону Юры, промазал, институтки истошно завизжали, кадет палил в белый свет как в копеечку, вдова принялась закрывать собой отпрысков и что-то голосить на тему «Это же дети!!!», справа и слева из запертых камер понесся рык и стук... Помощь уже спешила – со всех сторон слышался тяжелый топот ног – но пока обескураженные ребята добежали до Юры, ему самому пришлось положить из револьвера еще шестерых из десяти арестантов прямо тут, посреди их некогда мирного коридорчика... Когда патроны кончились – живы были только две безобидные институтки, уже лишившиеся голоса со страху, и мамаша, вдруг грозно восставшая от своих еще трепыхавшихся на полу мальчишек. Она подняла окровавленную руку и мертвым взглядом уперлась Юре в лицо: «Проклятье на твой род, – сказала она спокойно. – Проклятье на твой род до четырнадцатого колена». Кто-то из ребят тут же выстрелил в спятившую бабу, она свалилась ему под ноги, а Мотька тем временем успел пригвоздить к стенке штыком выхваченного у кого-то ружья уже вторую институтку, смотревшую на него огромными, совершенно белыми, выкатившимися шарами глаз и молчала, хватаясь голыми руками за хрустко ворочавшийся в ней штык. Первая колотилась на полу, зажимая перерезанное горло, и никто не торопился ее прикончить. «Хорошо, что у нас с Надей детей нет... А она еще жалеет об этом, дура...» – проскользнула у Юры суеверная мысль; он хотел перевести дух, но никак не мог.

Рядом встал закончивший свое дело Мотька, положил руку другу на плечо.

- Если б не ты... – Он помедлил и повернул к Юрке свое красивое бледное лицо с пасмурными ночными глазами, никогда не блестящими, будто вырезанными из траурного бархата. – Я тебе тоже одну услугу хочу оказать. Это не всем... – он кивнул в сторону суевившихся в коридоре чекистов. – Могут понять неправильно. А ты вот что...

Мотька быстро сунулся в закуток для дежурного и сразу же появился оттуда с тонким стаканом, на ходу выплескивая из него остатки чая. Сделав несколько шагов, склонился над потерявшей сознание, но еще булькающей институткой, жестко отвел ее судорожные руки от шеи, из которой иногда толкалась алая кровь, подставил

Наталья ВЕСЕЛОВА

стакан под рану, подержал – и вернулся к тяжело дышавшему Юре, протянул:

- Вижу, ты никак не разучишься переживать. Пей. Сердце как каменное станет. Проверено¹.

Юра не сопротивлялся – он твердо взял теплый стакан и, выдохнув, выпил уже начавшую густеть кровь до дна – как подогретое молоко, только солонее... Вернул товарищу, встряхнул головой, буд-то после водки.

- Ну что, легче? – Матвей хлопнул его по плечу и слабо ухмыльнулся: – Только забыл предупредить тебя, друг... С бабами ты по-прежнему сможешь, даже еще лучше, но... Без любви. Навсегда.

- *Останови это, Наставник. Ты забыл, что я не Изначальный. Я пока не могу, как вы.*

- *А мы уже видели все, что надо. Пойдем.*

- *Скажи... Такое можно исправить на Мытарствах?*

- *Нет. Он переполнил меру и обрек себя. Люди иногда делают непоправимое.*

- *Я не про него, я про Надежду. Почему ее не возвращали в тот день миллионы раз, чтобы она превысила свою критическую массу и однажды не пошла к подруге?*

- *На Мытарство отправляют за содеянное неискупленное и не отмоленное личное зло. А в ее выборе не было зла. Это был просто – выбор.*

- *А как же Инна? Ведь не злом было убежать от убийцы?*

- *Ее злом было то, что она обернулась на лестнице, Ученик, и посмотрела на него... так, как посмотрела. Один тот взгляд отразился на сотнях людей – ты знаешь о некоторых, одного даже видел.*

- *Благодарю тебя, Наставник, хотя сегодня ты преподнес мне один из самых сложных и тяжелых уроков.*

- *Рад работать с тобой, Пришедший. Я обещал показать то, что в свое время тебе запретили прозреть самому. Теперь можно, смотри.*

Часть вторая

*Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи,
яко день вчерашний, иже мимоиде, и стража нощная.*

Пс. 89, ст.5

1

Боль имеет цвет – красный. Ярче, чем кровь. Зато у нее нет

¹Эпизод со стаканом крови не выдуман автором. Он взят из книги С. Мельгунова «Красный террор в России», Берлин, 1924 г.

«Критическая масса» и другие повести...

звука – все тонет в твоём собственном крике, которого ты не слышишь. Боль всех равняет – холопа и дворянина, богатыря и девицу. Раньше он слышал, что именно женщины оказываются более стойкими на дыбе, а мужчины, захлебываясь слезами, рассказывают все, уже когда палачу только делают знак вздернуть пытаемого еще раз... Второе он блестяще доказал, а первое... Хотя Ефросинью¹ не пытали – она сама с охотой – еще бы! – предложила извергу и хитрецу Толстому² рассказать все, что знает, и кого выдала – а кого и оговорила... И его, Михайлу, в числе других. Что с нее взять – рабского звания баба, она царевичу из крепостных Вяземского досталась. И как открыла рот в Тайной Канцелярии с первого дня дознания – так и не закрыла до тех пор, пока не подвела под плаху почти всех, кто окружал наследника Алексея Петровича... Ему, небось, тоже теперь несладко придется – только Михайло об этом уже не узнает. Он сам теперь губитель неповинных: как вырвалось у кого-то из под кнута имя бывшей царицы Евдокии³ – так за него и взялись круче прежнего – кому, как не ему, секретарю царевича, было из Тироля, а потом и из Неаполя грамоты возить от сына к матери в монастырь и обратно... А имя Степана Глебова⁴ так само из Михайла и выскочило – мимоходом, уж и не считал он, на каком ударе... Этот несчастный преступлений «противу первых двух пунктов»⁵ не творил, всего лишь Евдокию бедную приласкал немного – а жизнь его молодую он, Михайло Васильев, Афанасьев сын, языком своим пресек. Потому как тут и к бабке не ходи – плаха Глебову. Если еще не кол – с Петра станется⁶. Вся Русь обламынил⁷ ирод, а всем кто за старый обычай стоял – смертушка лютая... Ему, Михайле, хороший палач попался – заботливый: как с дыбы второй раз снял – сразу опять суставы на место поставил, потому как, если сразу не вправить – заплывут плечи с локтями – так навсегда и останутся. Навсегда...

Он усмехнулся: надолго ли?

Сегодня Михайло уже мог даже подниматься кое-как: когда

1 Любовница царевича Алексея Петровича

2 Петр Андреевич Толстой возглавлял тайный политический сыск при царе Петре I

3 Первая жена царя Петра I, насильственно удаленная им в монастырь, мать царевича Алексея Петровича

4 Тайный возлюбленный опальной царицы Евдокии

5 Государственная измена

6 Степан Глебов действительно был посажен на кол

7 *Обламынить* – перекрыть на западный лад, в более широком смысле – осквернить (арх.)

его в несознательности в камору тюремную принесли и брюхом на тюфяк кинули, то раны от кнута сразу густо обложили капустным листом, чтоб затягивались. Неужели опять на пытку поволокут – о чем его еще спрашивать, все рассказал! Даже как Ефросинья в мужское платье перерядилась, чтобы с царевичем Алексеем Петровичем за границу бежать. Про всех гонцов, которые письма из замка Эренберг, что в Тироле, Карлу австрийскому доставляли, про то, как потом из Неаполя царевич у шведов армию просил, чтобы с ней в Россию идти войско противу отца мутить... И посла Веселовского выдал, что царевичу сочувствовал и от отцова гнева его укрывал¹... Сколькo покойничков, поди, на совести, да и он, Михайло Васильев, считай, один из них теперь – государев изменник...

Он сполз с гнилого от протухшей крови, вонючего соломенного тюфяка на каменный пол и завыл от бессилия: опереться руками, чтобы встать, не удавалось: вправленные – но ведь разорванные же! – плечи огрызались горячей болью. И ведь не вьюнош² он зеленый – зрелый муж почти что четыредесяти³ лет – а, когда подымали, визжал не хуже пороса, коего на ветчину режут... Стиснув зубы, он исхитрился подняться на одно колено – перед глазами уже плясали огненные языки – но потом удалось и на ноги встать с Божьей помощью... Нет, окно все равно высоко – не заглянуть. А если б и заглянул – ничего веселого: мощный двор Петропавловской крепости, глухие серые стены... Кажется – гул толпы вдалеке? Неужели и сегодня казнят кого-нибудь? Или это ревет страшная, всегда свинцовая, ненасытная Нева? Какой ужасный город строит здесь этот царь-гордец... Как преддверье преисподней на земле... Мужескому сердцу, знал он, достоин разумом рассуждать о всякой печали, хотя что и печально припадет – того не допускать до сердца своего... Легко о том в книге прочитать, а вот, в крепости сидючи, попробуй...

Ему уже казалось, что все осужденные гибнут только по его вине. Если б он, Михайло, стерпел пытку, как, говорили, Александро Кикин? Нет, не может быть, чтобы Кикин стерпел – он по сути своей трус и прохиндей, бывший денщик, тоже холопья душа... Неужели же можно стерпеть? Нет, не может быть того... Не зря ведь и Церковь Христова под муками от веры от-

¹ Предположительно, царевич Алексей Петрович имел намерения, опираясь на военную помощь шведского правительства, захватить Российский престол, в чем активно помогали ему некоторые облеченные властью в России люди, недовольные реформами Петра I

² Вьюнош – юноша (арх.)

³ Четыредесять – сорок (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

рекихся только на три года отлучает – а баб, что рожать не хотят – на пятнадцать. Значит, это по естеству человеческому – при муках отречься? А Алексей-то царевич, чай не Господь!

И все равно горечь и отвращение к самому себе не отпускали, да еще и заноза одна сидела внутри у него – малая, а цепляла: он уже не помнил, в каком возрасте осознал, что матушка его когда-то на староверку Мавру донос написала – и та на пытке дух испустила. Кончилась – а не сломалась ведь! Руки – сломались, а душа – устояла! А ведь ее – помнил он, хоть и шесть годов всего было, когда слышал – в три стряски пытали, не в две! Ах, да что там... Он-то на первой все выложил, а второй раз Толстой его так, для порядку велел вздернуть... Вспомнил Михайло, как, бывало, с удовольствием смотрелся в великое зеркало¹ – аравитской² меди, от матери покойницы досталось – и видел кряковнистого³, как дуб столетний, мужа с суровым пронизательным взором из-под насупленных бровей – не щап⁴ какого-нибудь пустопорожнего... Казалось, никакая буря не возьмет – и вот, хватило одной стряски... Всех предал, и впереди – только плаха... Уж не так страшна она видится, потому что страшней – с этим жить... Господи, яви последнюю милость: только бы плаха – не кол!

Почему так шумит за недоступным решетчатым окном толпа?

- Ну что, Пришедший, не жалеешь теперь?

- Я не жалел никогда, Учитель, – просто хотел знать, почему. Теперь знаю.

- Я призвал тебя, чтобы сказать, что Высшие позволили тебе самостоятельное Хранительство. На первый раз – ненадолго, всего около семи земных лет. Когда нужно будет отступить от подопечного – тебе скажут, что делать. Отправляйся снова в свою Московию... Ты не рад?

- Я боюсь ее, Наставник. Век хотя бы не семнадцатый? Не восемнадцатый?

- Нам не к лицу бояться. Мы, Изначальные, так и вовсе этого не умеем – хотя и трепещем иной раз там, на земле – но не от страха, а от высшего ужаса. Ты его тоже неизбежно познаешь. А сейчас у тебя, Пришедший, главная задача – приобрести бесстра-

1 Зерцало – зеркало (арх.)

2 Аравитский – арабский (арх.)

3 Кряковнистый – кряжистый (арх.)

4 Щап – щеголь (арх.)

Наталья ВЕСЕЛОВА

стие. Но на этот раз не смущайся. Высшие учли твой опыт и не хотят мучить понапрасну... Может быть потом, когда наберешься умения... Нет, век – двадцатый. Хотя по мне – так семнадцатый спокойней, а восемнадцатый веселей. Но тебе лучше знать...

- Ты будешь по-прежнему со мной, Наставник?

- Не всегда. Я занят Инной – она вновь на Мытарстве, как мы и предполагали. Но наша с тобой связь теперь неизменна. Если встретишь трудности – стоит только позвать меня... Ну, вот, знакомься. Его зовут Димитрий, и родился он в том городе, который ты только что видел...

- Питербурх¹... Я чувствовал, что мне никуда от него не деться.

- В двадцатом его называют иначе. Кроме того, ты уже видел Москву примерно того же времени – много ли в ней было сходства с той, что ты знал раньше? Так и Питербурх...

- Ты прав, Наставник, прости мою строптивость. Я отправляюсь и жду твоих указаний.

- Иди, Ученик, – и постарайся не ужасаться. Земной ужас так часто оборачивается спасением...

2

Росту в Маргарите Сольцовой был один метр восемьдесят три сантиметра – и удивительно еще, что она них остановилась. «И куда ты растешь?!» – в настоящем отчаянье восклицала мама, чья голова вместе с прической едва-едва возвышалась над плечом дочки, заканчивающей гимназию. И платья, и юбки для любимой «Маргаритки» она заказывала с большим запасом не в ширину, а в длину – подол всегда приходилось основательно выпускать не позже, чем через три-четыре месяца. При всем том у Риты были узкие острые плечи, длинные руки и неуклюжая, загибающаяся походка, а в довершение впечатления ее мягкий невыразительный нос украшали круглые черные очки с выпуклыми линзами. Все материнские попытки как-то украсить девушку – дорогими ли нарядами, особенной ли прической, идеальными ли манерами – неизменно терпели обидный крах, потому что сама Рита от природы не умела даже казаться хорошенькой – и научить ее этому чаще всего с рождения присущему женщинам искусству не могло ничто. Замечательные шелковые платья всегда выглядели на ней, как на кухарке, вырядившейся в дареную барыней поношенную вещь, тщательно уложенные матерью при помощи искусной горничной локоны делали ее суженное книзу лицо похожим

¹Изначальное название города

«Критическая масса» и другие повести...

на овечье и смотрелись всегда растрепанными, а манеры, по мнению всех до единой родственниц, больше пристали мальчишке из ремесленного училища... Родители готовы были дать ей в приданое хоть доходный дом на Миллионной – но молодые люди к ним больше одного раза не приходили, потому что даже распоследний из них понимал, что его приглашают только с целью женить на этой сидящей на мешке с золотом крокодиле, что может стать хуже любого рабства... Мать плакала по ночам. Но ее Маргаритке и в голову не приходило особенно огорчаться – ее мечты текли совсем в другом направлении: она намеревалась стать сестрой милосердия – и это притом, что размер капитала ее родителей позволял им купить дочери любого мужа, по ее выбору. Этим родительница себя и утешала: пусть какой-нибудь и на деньгах Риточкиных женится – но обязательно разглядит со временем, какой золотой души жену ему Бог послал – и полюбит уже по настоящему, а не за глазки-лапки...

В отличие от матери, отец свое единственное чадо терпеть не мог. Всю сознательную жизнь он, если на что и тратил деньги без счета – так это на красивых и ласковых женщин, с которыми сходилась без оглядки на тихую жену, кровоточивую, как в Евангелии, и привык считать, что знает в них толк. Полагал, что дамочка может быть любой масти и комплекции – но смазливость для нее обязательна, хотя и не это главное – порода должна присутствовать! Ручки маленькие, лодыжки тоненькие, шейка стройненькая, носик точеный... Мозгов много незачем – курсисток там разных и учительниц от всей души презирал – но голосок обязана иметь приятный, смех – колокольчиком, глазки ясные... Когда дочка только родилась – думал, станет его первой и единственной платонической любовью. А выросла... Разочаровался и стал ею попросту брезговать, а иногда, в минуты тяжкого внутреннего раздражения, искал выпустить пар, отвесив ей хорошую затрепщину.

«Что руками размахалась, облизьяна чертова! – рывкал он на свою уродицу за столом, отвешивая ей тяжелую оплеуху при гостях и прислуге, когда дочь неуклюжим взмахом плоской длиннопалой кисти опрокидывала на хрустящую скатерть свой стакан. – Не рыпалась бы, раз воспитанной барышней держаться не умеешь!» – в ту же секунду он видел, как маленькие, неопределенного цвета глаза за идиотскими очками, розовея, набухали слезой – и у него отлегалось от сердца. «Вот не дам за ней вообще ни копейки – пусть в монастырь идет...» – уже более мирно думал он, в глубине души зная, что на такое все-таки не решится.

В начале войны девчонка, за неделю до того отметившая четырнадцатилетие, вдруг сбежала на фронт, записавшись сестрой милосердия и соврав на комиссии, что ей девятнадцать лет, а метрику-

де затеряла (и поверили, солдафоны неотесанные, – ведь дылда же!). Когда удалось найти дочь в полностью готовом к отправке санитарном эшелоне и вернуть (отец застал ее в перевязочном вагоне неловко щиплющей корпию), он с досады взял ее дома за косу и пару раз приложил об стенку для острастки – так, не больно, по коврику настенному протасил, просто чтоб впредь неповадно было. Решила в себе, видно, что раз не красавица – так хоть героиней станет; читалась, видите ли, газет этих ура-патриотических. Будь его воля – он бы баб ни читать, ни писать не учил, а Священное Писание пусть бы в церкви слушали: потому как если в мозги их куриные еще и пихать чего ни попадя...

В восемнадцатом году после покушения на Ленина бывший купец первой гильдии Осип Сольцов был расстрелян в числе тысяч других заложников, и Рита вдруг с изумлением поняла, что никакого по случаю положенного горя не испытывает... Сердобольные женщины их круга, тоже несшие бесконечные потери, искренне сочувствовали ей («Бедняжка, несчастье какое...»), и мама, как-то вдруг превратившаяся из молодой модной женщины в маленькую старушку с лицом, похожим на потрескавшийся кусок мыла, причитала, уткнувшись в угол дивана: «Нет больше нашего папочки, Риточка, как же мы теперь без него...» – а Маргарита растерянно искала в своей душе хотя бы крохи дочерней скорби – и не находила их ни в каких тайниках. «Никто меня больше не ударит при всех по лицу, – против воли мелькало в ней. – И маму никто не оскорбит, не унизит...». Она мотала головой, стряхивая прилипчивую крамолу, и начинала усиленно тереть кулаками глаза, чтобы выжать из них подобающую времени и событию слезу.

Профессию фельдшера она все-таки решила получить в девятнадцатом, когда по всему Петрограду пооткрывалось вдруг великое множество всяких бесплатных курсов, где можно было научиться чему угодно – от стихотворчества до коновальства. Достаточно было, не предъявляя никакого удостоверения личности («Теперь не старое время, когда бумажка была в чести, а не человек!»), просто назвать свою фамилию, которую тотчас же улыбочивый молодой человек в кожанке заносил в длинный список; потом он вставал и с широкой светлой улыбкой протягивал записавшемуся руку: «Поздравляю, товарищ! Учитесь на здоровье! Теперь всякий в своем праве!»... На курсах читали интереснейшие лекции лучшие университетские профессора, светила отечественной медицины, и фельдшеры новой формации порой получали не меньше знаний, чем имели врачи – а уж как интересно было учиться! Рост, внешность? Какая глупость, когда так легко и весело жить, все набираются знаний и работают с таким подъемом, полны таких грандиозных, великолепных планов!

«Критическая масса» и другие повести...

Вот она, например, получив свидетельство, поедет, как доктор Чехов в свое время, «на чуму» – и там будет свободно и бескорыстно служить людям... Им с мамой нечего есть, ежедневно деля на двоих ее, Ритин, скудный паек из тощих селедочек и полфунта пшена? Не беда – вон, сколько дорогих и бесполезных вещей у них осталось от прежнего времени! Обменять их на сало, муку, картошку... Продержимся!

Не продержались. В декабре двадцатого, постояв с утра до темна на рынке с мужниным пальто, предлагаемым к обмену на два фунта конины, и в конце дня их героически добыв, мама мясному супу так и не порадовалась. К вечеру у нее обложило горло и поднялся жар – такой, что любая еда казалась нежеланной и безвкусной, и сколько ни приставала к ней дочь с тарелкой целительного бульону – больная лишь с отвращением сделала несколько глотков... Вскоре она и вовсе не могла ни глотать, ни говорить из-за множества гнойных нарывов в гортани – и лишь цедила в просветах тяжелого забытья, из последней серебряной ложки теплую воду с крупинками выменанного Ритой сахару... Порошки, принесенные серьезно качавшим головой пожилым врачом, что руководил на курсах практическими занятиями, не подействовали ничуть, и он потом – когда мама безгласно отошла, не имея возможности даже пожаловаться или проститься, смущенно оправдывался перед Ритой, говоря, что злокачественная гнойная ангина и в старое-то время да при хорошем уходе почти неминуемо сводила больных в могилу, а уж сейчас... Да еще когда в комнате почти что вечная мерзлота...

Летом она получила свидетельство фельдшера, но ни на какую «чуму» проситься уже не хотелось: чума свирепствовала кругом – как она этого раньше не видела? Почему ей такими счастливыми и вдохновенными еще недавно казались все эти уродливо одетые, темнотилицы люди, с опущенной головой спешащие по каким-то мелким крысиным делам вдоль замусоренных улиц в эти круглосуточные пыльные дни¹? Как легко, без особых сожалений, отдала она свое красивое, сытное и уютное прошлое ради этой сомнительной «новой жизни»! Еще год назад Рита в помрачении считала, что временные трудности вот-вот закончатся – и с законной гордостью преодолевшей она станет, многозначительно улыбаясь, вспоминать о них – а потом наступит долгожданная, небывалая, ослепительная жизнь! Но вместо этого Рита заметила однажды, что и она теперь ходит так же, как и все окружающие – глядя себе под ноги и съезжившись, словно вечно куда-то опаздывая... Не считая отца, не оставившего по

¹ Декретами Совнаркома РСФСР стрелки часов дважды переводились на час назад

себе ни одного хорошего воспоминания, она уже лично знала четверых вполне порядочных и достойных людей, без следа сгинувших в Чрезвычайке! Она старалась не думать, чтобы не испугаться по-настоящему, и с головой ушла в трудную работу – служила по протекции преподавателя, у которого была когда-то любимой ученицей, в детском хирургическом отделении, где, как ей казалось, главный ужас заключался в безответных ребячьих страданиях, перед которыми отступали все остальные, внешние страхи...

Но не так-то далеко они и отступили. В конце двадцатых годов, когда вдруг начали ссылать за происхождение и «контрреволюцию» старых врачей, ее тоже едва не уволили заодно с ними, вспомнив, чья она дочь – и потребовав решительно отмежеваться от покойного отца-эксплуататора. Рита отмежевалась – громко и убежденно, на профсоюзном собрании, заслужив одобрительный гуд коллег – а изнутри, несмотря на застарелую нелюбовь к отцу и только неприятные мысли о нем, все равно рокочуще поднялось недовольство собой: отец был плохой человек, мучил жену и дочь – но ведь его *расстреляли*. Вывели в какой-то двор, завязали глаза... Впрочем, нет... Это раньше, в благородные времена, так казнили, а его... Скорей всего, он, беспомощный, ничего не понимающий, попал в кровавую бойню, где кругом кричали, молили и проклинали, падая наземь, и он стоял в недоумении и смертной муке вместе со всеми, а потом упал и, может быть, не сразу умер... И вот, спустя десять лет дочь публично отреклась от его памяти, от его боли и ужаса, все, быть может, испутивших...

Чуть позже страх дотянулся до нее опять – это когда родительскую квартиру быстро и жестоко заселили по ордерам, раздав пролетарским семьям все комнаты, кроме детской, в которой Рита как жила с рождения – да так и осталась... Ей иногда чудилось, что их огромная барская квартира с двумя уборными превратилась в городскую окраинную улицу: с утра до ночи прямо под дверью то возникала крикливая перебранка, то плакали дети разного возраста, то звала на помощь избиваемая женщина – и Рита далеко не сразу начала понимать, что никто никакой помощи не ждет... С ней считались и часто даже мыли, когда подходила очередь, вместо нее туалет и ванную, потому что «дохторша» – человек при любой власти полезный и ценный, и лучше ей на всякий случай угодить... Она накладывала бесконечные свинцовые примочки не подбитые женские скулы, ежедневно смазывала йодом детские локти и колени, щупала вздувшиеся животы, лазила ложкой в гнилые взрослые пасти... Все по-соседски, бесплатно, за почет и вымытый нужник... Возвращаясь в свою комнату, сверху донизу заставленную уцелевшей дорогой мебелью, Рита сразу ложилась спать – чтобы поскорей раздаться

«Критическая масса» и другие повести...

еще с одним бессмысленным и тошнотворным днем. Измученная работой, засыпала быстро, а когда открывала глаза, млечное утро такого же невеселого дня было тут как тут... И однажды, уже в начале тридцатых, когда в шесть часов утра с перекинутым через плечо полотенцем Рита ожидала в коридоре своей очереди в ванную, к ней неожиданно подошел сосед – одинокий жилец из бывшего маминого будуара. Его звали Семеном, на своем ремонтном заводе он занимал почетную должность старшего мастера цеха и считал себя безупречным партийцем, в гражданскую довоевался до красного командира в восемнадцать лет, росту был высокого, глаза в глаза с Маргаритой, лицо имел настоженно-волчье, несмотря на гладкую выбритость – сероватое снизу, и дремучие, тускло поблескивавшие глаза – на кухне о нем говорили, как о роковом красавце. Он уверенно дотронулся до руки Риты чуть повыше кисти, и ей показалось, что по коже жестко провели скребком.

- Очень извиняюсь, – откашлявшись, хрипло сказал Семен, ничуть не смущаясь присутствием других соседей. – Но как бы это нам с вами вечерок вместе провести? Тут вот у нас в рабочем клубе концерт намечается по случаю Первомая – ну, и танцы потом, само собой. Да!.. И буфет с пирожными... В общем, это... Культурно все, не как-нибудь там...

Рита презрительно подняла было бровь в его сторону – но вдруг ее как прострелило: а ведь это – единственный раз в жизни; больше – никогда; и детей – своих – не будет, до конца дней – только чужие...

- Ничего не имею против, – каменно отозвалась она.

Митенька родился синим мартовским утром тридцать третьего года – и в окно родильного зала колотилась черная на золотом фоне оттаявшая ветка старой липы. Как раз накануне его отец, уже неделю ходивший с почерневшим от неотступного недоумения лицом (на партийном собрании бывшего красного командира вычистили¹ за связь с «чуждым элементом» – матерью его ребенка), получил повестку в Большой дом, куда пошел охотно, горячо обещая «доказать», «разобраться», «дать по шапке» – и не вернулся. Появившись на шестой день дома с туго запеленатым, похожим на завернутую французскую булку новорожденным сыночком, Рита стала объектом всеобщего кухонного сочувствия. Несмотря на то что у них в квартире никого прежде не арестовывали, женщины всех социальных слоев, как оказалось, были прекрасно осведомлены о том, куда нести передачи для сидельца, где справляться о ходе следствия, как писать

¹Вычистить – исключить из ВКП(б) (жарг.)

Наталья ВЕСЕЛОВА

прошения прокурору – и даже с готовностью вызывались посидеть с бедным дитятей-безотцовщиной, пока несчастная пойдет по этим дополнительным женским мукам – а то родовых мало! За бурный век, минувший со времени бессмертного, но какого-то слишком комфортного подвига декабристок, муки эти усилились многократно и, более того, приняли массовый характер, поэтому никто не сомневался в Ритиной готовности пожертвовать собой ради вызволения отца своего ребенка...

Но с ней вновь, как в восемнадцатом году после гибели Осипа Сольцова, приключился непонятный ступор. Рита вспомнила – вернее, никогда не забывала – это первое пьяное насилие над ней, когда Семен молча повалил ее на кучу реквизита в чулане рабочего клуба, одним резким движением почти пополам разорвал на ней нарядную, собственноручно состроченную минувшей ночью кофточку, и остро пахнуло немытым мужицким телом... «Ну чё ты ломаешься... Чё строишь-то из себя... По-простому давай...» – бурчал он девушке в ухо, и это были единственные услышанные ею в те минуты слова, которые заслуженный партиец искренне считал ласковыми и приятными... Позже он не жалел для своей сожительницы затрещин гораздо более увесистых, чем когда-то полученные от отца, и зарабатывать их можно было за что угодно: «Ну чё ты расквохталась!», «Живей копытами шевели!», «Расселась тут!», «Шурши давай, лохухра!» – после любой из подобных фраз немедленно следовал сочный удар в ухо или по затылку, несильный и беззлобный – для порядка, чтобы все добрые люди видели, что Семен свою бабу в узде держит и вообще заботится – без ученья не оставляет...

Поэтому Рита снова не могла горевать – наоборот, из последних сил гасила в себе бодрый огонек радости: никто ей и маленькому теперь не помешает, и молоко у нее от слез не пропадет, как пропало у соседки Нюры, в первый же день после роддома для острастки побитой благоверным... Писать прокурору? А вдруг он возьмет – да Семена выпустит за ненадобностью?! Чтобы не упасть в глазах причитающих соседок, Рите пришлось прибегнуть к непривычной хитрости: однажды она ушла из дома на несколько часов – не отдав им, правда, ребенка, а взяв его с собой – погуляла в мокром Летнем саду среди голых статуй, неприятно тарасивших на нее слепые бельма глаз, и вернулась, солгав на кухне, что отстояла очередь к прокурору; но заявления и передачи, дескать, принимаются только от родственников, а она Семену – посторонняя... На ее счастье это было действительно так: год назад он сам дальновидно отговорил ее от традиционной «прогулки в Загс», разумно мотивировав это тем, что их, как молодую семью, загонят жить в одну комнату, а лишнюю жилплощадь – Семенову, что поменьше – отберут в пользу Жакта и

«Критическая масса» и другие повести...

заселят новыми жильцами... Логика в его словах, безусловно, присутствовала железная – и подумать о законном браке было страшно: тогда она лишилась бы последнего собственного пристанища, где хоть изредка забывалась от печали...

Но опечатанную комнату арестованного вскоре как ни в чем не бывало распечатали и, выкинув из нее нехитрый скарб бывшего хозяина, снова заселили – одинокой и безработной старой барышней, почти такой же некрасивой, как и Рита. Это могло означать только одно: возвращения Семена можно больше не опасаться... На кухне плакали, Рита ходила с непроницаемым лицом, как римская матрона, что немедленно нашло свое объяснение: несчастная женщина окаменела от горя...

Но она просто боялась выказать неуместную радость!

Довольно и той, которую разрешалось проявлять на законных основаниях: Митенька рос здоровеньким и крепким ребенком, хорошо кушал и спокойно спал, вовремя показывал маме молочную крошечку на нижней розовой дёсенке – первый, второй, третий и четвертый зубик – довольно гулил, забавляясь унаследованными от подросших соседских ребятишек игрушками... В свои сроки он уверенно пошел по светлому паркету навстречу Ритиным раскинутым рукам, с улыбкой назвал ее, ошалевшую от солнечного счастья, мамой, осмысленно ткнул пухлым пальчиком в дореволюционной книжке на «заю», «лисю» и «мишу»... Случалось ему, правда, и устраивать своей матери мгновенный смертный испуг, от которого останавливалось сердце: однажды, расшалившись, сдернул хваткой ручонкой скатерть со стола – а вместе с нею и только что вскипевший чайник, но чудом ни единой капли не попало на его нежную кожицу; в другой раз, душным летним вечером уложенный своей матерью на взрослом диване спать у открытого окна, в которое слабо текла влажная прохлада, он проснулся и через спинку тихо-тихо перебрался на широкий подоконник... Рите долго снилось в кошмарах, как она подняла голову от своей медицинской книги и увидела только круглую персиковую попку сына – в то время как ладошки его уже беспечно лежали на теплом покатом карнизе их шестого этажа, и юный исследователь как раз заносил над рамой ножку в трогательных перевязочках, чтобы окончательно перелезть на карниз – но все никак не мог достаточно высоко поднять толстенькое колено... Случилось ему положить себе на язык крупинку марганцовки – успел слизнуть только одну, и то сколько реву было – перед этим счастливо уронив на пол склянку с остальным порошком... Младенцем он выпал во дворе из коляски, когда неожиданно впервые в жизни самостоятельно встал, держась за бортик – и попал головой точно в мягкую кучу осенних листьев, а не на черные булыжники мосто-

Наталья ВЕСЕЛОВА

вой... Он подавился найденной в углу, должно быть, еще бабушкиной бусиной, но с испугу споткнулся, упал – и страшный предмет сам вылетел у него из дыхательного горла от сотрясения...

Обо всем этом жутко было вспоминать – и Рита предпочитала думать о том, каким умненьким растет ее мальчик, какая хорошая у него память: вопросы его, пятилетнего, – «А почему, мама, у тети Нюты много мужей, а у тебя – ни одного?» – подчас заставляли его маму неопределенно мычать, наскоро придумывая ответ, а уж стихи он запоминал с лету – и пятилетним, случалось, безо всякого стеснения встав на табуретку в центре кухни, от начала и до конца шпарил без запинки любимый стих про Тараканище, не понимая, почему взрослые, как-то странно смущаясь, прячут глаза, когда он с выражением читает: «Поклонилися звери Усатому –/Чтоб ему провалиться, проклятому...».

Как медик, Маргарита, к тому времени уже прочно «Осиповна», никогда не сомневалась, что отдать ребенка в советские ясли или сад – значит позволить ему переболеть всеми существующими детскими болезнями, и, желая этого избежать, пригласила в качестве няни приличную старую деву по имени Ева, вселенную в комнату сгнувшего Семена и сразу навязавшуюся в крестные. Впрочем, симпатичного, забавного и рассудительного «докторского» Митю дружно обожала и баловала вся многократно леченная женская половина квартиры – и ему постоянно то совали в коридоре пряники или капустные кочерыжки, то несли прямо в комнату дымящийся кусок свежеиспеченного яблочного пирога. Ева же просто души не чаяла в своем воспитаннике и крестнике, готовая проводить с ним рядом сутки напролет, и ненадолго отлучалась только в тех редких случаях, когда ей вдруг самым положительным образом думалось, что у нее начинается с кем-нибудь долгожданный «роман». Тогда, судорожно отпрашиваясь у хозяйки, она неслась, обнадеженная случайным мужским теплым словом, в очередную «киношку» с мимолетным знакомым – и всегда возвращалась грустная, с глазами «на мокром месте», так и не дождавшаяся приглашения на следующее свидание... В такие дни, если нужно было идти в больницу, фельдшер Маргарита Осиповна без сомнений брала сына с собой на дежурство: в их стерильном хирургическом отделении заразных больных и в заводе не было, а мальчика она решила с детства постепенно приучать к мысли, что он, когда вырастет, непременно станет доктором. Митя никогда не мешал работать добродушно кивавшему персоналу – наоборот, иногда ухитрялся помочь замотанным палатным сестрам быстрее разнести больным порошки, утешал скучавших по родителям выздоравливающих – а потом сладко спал до утра на кушетке в теплой раздевалке у душевой. Присев среди хлопот рядом со сладко

«Критическая масса» и другие повести...

посасывающим во сне кончик заштампованной простыни ребенком, Рита чувствовала иногда, как у нее по-настоящему ноет сердце: это оно раздавалось вширь, не в силах вместить и без того огромного, но все растущего и растущего счастья.

3

- Ну вот, Ученик твое первое самостоятельное деланье завершается. Короткий путь твоего подопечного подходит к концу. Трудно ли было работать?

- Нет, Наставник, скорей, приятно: однажды струю кипятка из упавшего чайника отвел в сторону, другой раз целых четыре минуты земного времени держал подопечного за ногу, пока его мать заметила, что дитя сейчас выпадет из окна. Потом выбил у него из рук пузырьки с марганцовкой... Ну, еще пододвинул кучу листьев младенцу под голову, когда он вздумал падать на камни, хорошенько потрянул и бросил на пол, чтобы вышибить бусину у него из горла... Да много чего пришлось сделать по мелочам: то кошку лапу с когтями перехватил у самого глаза, то успел задержать электрический ток у кончиков пальцев, едва мальчик засунул в розетку две материнские спицы, то выключил примус за миг до того, как тот вспыхнул бы рядом с ребенком... Всего не перечислить, Учитель.

- Ты заслужил похвалу, Пришедший. Ну что ж. Скоро тебе держать экзамен перед Высшими, а я буду твоим ходатаем, но сначала... Приготовься к завтрашнему – по их исчислению – дню: исход подопечного – дело едва ли не самое ответственное в служении Хранителя.

День выдался бело-голубой и снегириный. В полдень, когда Рита ходила с сыном в булочную, желая пусть и в мороз – но дать ему чуть-чуть подышать воздухом для закалки, они пересекали наискосок двор бывшей женской гимназии, а ныне обычной ленинградской школы имени товарища Кирова, и задержались перед входом.

- Через два месяца тебе исполнится семь лет, и к осени я запишу тебя в эту школу... – начала было Рита, но речь ее пресеклась, а дух захватило: – Митя! – дрожащим голосом выдохнула она. – Ты только посмотри!

Справа от здания, на пышном, сплошь заснеженном кусте, сидело десятка три круглогрудых снегирей. Словно зрелые райские яблоки небывалых размеров, они облепили сверкающие на солнце ослепительные ветки сирени и не торопились покидать их слишком скоро – верно, стая остановилась отдохнуть на пути к таинственной цели, а звенящая городская стужа нипочем была этим радостным

зимним птицам... Мать и сын застыли в почти священном восторге – казалось, сделай одно движение – и миг исчезнет чудо, смажется неизъяснимо красивая живая картина... Сколько продолжалось нездешнее очарование? Секунды мчались и мчались прочь, а волшебные птицы все не улетали – и длилась, длилась мучительно прекрасная бесконечная минута... Их никто не спугнул. Повинуясь какому-то своему, недоступному людям сигналу, снегири вдруг разом затрепетали крыльями – и мгновенным пламенем вспыхнули вздрогнувший куст. Осыпался снег, оголились кое-где ветки. Пропало виденье – но осталось навсегда.

Домой они пришли тихие, счастливо-грустные. Рита стала задумчиво мазать маслом чуть теплую свежую булку; она хотела перед уходом на работу к трем часам сама хорошенько покормить сына, чтоб не оставлять этой заботы няне, вечно проявлявшей мелочную и бесполезную пунктуальность – например, она не позволила бы Мите отломить в свое удовольствие руками хрустящую корочку, как он любил, а стала бы скучно резать батон тонкими ломтиками... Еще, пожалуй, повязала бы ему вокруг шеи детскую салфетку – а ведь он уже большой мальчик, и это ему может быть обидно...

Дверь их комнаты распахнулась, и за полчаса до предполагавшегося времени Ева буквально ворвалась к ним – с широко открытыми горящими глазами и папильотками в жидких бледных волосиках: – Риточка Осиповна! Риточка Осиповна! – возбужденно выкрикнула она. – Простите, миленькая, – не могу! Позвонил! Сейчас! Только что! Позвонил Аркадий Львович! «Большая жизнь!»! Фильм с Бернесом! Билеты взял! Не сердитесь!

Сердиться и невозможно было: Ева работала у них практически без выходных, считалась почти родственницей, и уж конечно, имела полное право раз в пару месяцев потратить несколько часов и на себя... Рита искренне желала ей счастья перед каждым ее заведомо обреченным свиданием – но снова и снова какое-нибудь забавное, но роковое обстоятельство мешало дальнейшему развитию многообещающего Евиного романа. То ее вдруг начинало от волнения тошнить прямо в театре на глазах у кавалера, то она ломала каблук и некрасиво ковыляла, теряя все свое маленькое очарование, то еще какая-нибудь мелкая беда обрушивалась на ее незадачливую головку...

- Конечно, идите! Желаю вам приятно провести время с хорошим человеком! – от всей души порадовалась за нее Маргарита Осиповна. – Мы с Митенькой отлично и вдвоем подежури́м, правда?

Мальчик подскочил от восторга: на службе у мамы он чувствовал себя вполне взрослым, почти что доктором – только чуть-чуть подучиться – и даже свой маленький белый халатик у него там был,

«Критическая масса» и другие повести...

оставшийся от уволившейся санитарки-лилипуточки.

...Когда в полночь мама ушла с хирургами на срочную операцию, Митя осторожно вылез из-под серого солдатского одеяла, укрывавшего его на довольно жесткой клеенчатой коечке около душевой. Он взобрался на широкий подоконник, поставив ноги в кожаных тапочках на теплый радиатор парового отопления, и принялся задумчиво смотреть на пустую узкую улицу, тонущую в фантастическом, оранжевом в свете фонарей снегу. Ему не спалось, а мечталось. Почему именно врачом? А если летчиком, как Чкалов? Или, когда папанинцы соберутся на новую зимовку, отправиться с ними – ведь он уже успеет вырасти? А может быть, стать пограничником, чтобы уж наверняка иметь собаку от государства, раз мама не разрешает? Или все-таки хирургом – и вот так же оперировать глубокой ночью, как лысенкинский толстячок дядя Коля, который сейчас в операционной вовсе не кажется смешным, а уверенно командует басом: скальпель! зажим! дренаж! шить! – Митя пробрался однажды днем в смотровую со студентами, и они, шушукаясь и подсмеиваясь, по очереди закрывали его собой от старенького профессора, который в конце концов рассердился на всех, а Митю вывел прочь за ухо...

Сидеть стало скучно, и мальчик направился в спящий затемненный коридор, где неприятно пахло пресной больничной едой и бродили по стенам тени от редких машин, и принялся слоняться без цели, разглядывая цветные плакаты. «Бе-ре-гись-вшей, – читал он по слогам, напрягая зрение. – Ди-зен-те-ри-я-бо-лезнь-гряз-ных-рук...» – но и это скоро прискучило. Оглянувшись на тяжело дремавшую под зеленой лампой медсестру на посту, и чуть скрипнув высокой дверью, Митя выскользнул на лестничную площадку. Там тоже было окно, и у окна, положив локти на подоконник и склонив на них растрепанную черную голову, стоял кто-то маленький, утонувший в буром казенном халате – только две ножки-палочки в огромных шлепанцах виднелись из-под подола. Услышав скрип двери, фигурка вздрогнула, и сразу тревожно обернулось заплаканное девичье личико. Девчужке было примерно столько же, сколько и Мите, но маленький рост и общая шуплость делали ее, похожую вблизи на обиженного вороненка, младше и беспомощней, что сразу заставило будущего доктора-летчика-пограничника взять над ней снисходительное шефство:

- Чего ревешь? – деловито спросил он тоном старшего и назидательно добавил: – Спать надо.

- Ага-а, – еще пуще захныкала девочка. – Сам бы спал, если такой у-умный... А меня сегодня выписать обеща-али! И мама... – она протяжно всхлинула. – Мама даже пришла с вещами... А докторша меня ей не отдала...

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Почему? – поразился мальчик, невольно делая шаг к лазаретной пленнице и заглядывая ей в лицо, изрядно измазанное соплями. – Как так – не отдала?

- А потому что я вчера... на сквозняке простудилась и насморк... заработала... – уже спокойней объяснила девочка. – А больных детей не выписывают, даже если швы сняли...

- Ну-у, – совсем по-взрослому протянул Митя и смутно припомнил фразу из давней сказки или стишка: – Это горе – не беда...

Он решительным, скопированным у няни движением, вытер ей слезы и сопли рукой:

- Пойдем-ка, в палату тебя отведу. Поспи все-таки. А утро вечера мудренее, – кстати подвернулось еще одно сказочное выражение.

Мальчик взял девочку за плечи и осторожно повлек в коридор. Она не сопротивлялась. Всклоченные мягкие волосы пахли деревенским курятником. Медсестра на посту все еще крепко спала.

- Вот, собственно, и все, Ученик. У девочки не простой насморк – а менингококковый назофарингит – так эта болезнь называется у людей, но в ее случае никто об этом не знает. У девяноста восьми человек из ста заразившихся она протекает в виде легкой простуды и дает пожизненную устойчивость к возбудителю – менингококку. Но двое заболевают тяжелым менингитом, и твой подопечный – один из таких двоих. В первой половине двадцатого века лекарства от этой болезни еще не знают, и заболевшие дети умирают почти всегда.

- Его смерть будет мучительна, Наставник?

- Нет. Ни он не согрешил настолько, ни родители его, Пришедший. Утром он потеряет сознание и к обеду, так и не придя в себя, умрет. Его смертная мука пройдет в бреду, так что не стоит жалеть.

- А его мать?

- Она трех лет не доживет до следующего века – такая длинная жизнь ей отмерена – а дальше я не смотрел: нет надобности.

- Скажи, Наставник, имею ли я право спросить, что ждало бы его, если б няня осталась с ним дома – или это слишком дерзко с моей стороны?

- Тайны нет. В таком случае ему просто был бы нужен другой Хранитель, более опытный и проникательный. Намного более. И, скорей всего, с ним бы даже работал Изначальный, потому что вести такого трудней, чем канатоходца... Но здесь, у нас, ему в любом случае уготовано быстрое восхождение...

- Его ждало бы много скорбей и опасностей на земле, Учитель?

- Искушений, Ученик. Суди сам. Обращал ты внимание на того

«Критическая масса» и другие повести...

одинокого не очень чистоплотного старичка из дальней комнаты, где когда-то жила горничная? Он спит на полу, на ветхом матра-се, носит одну и ту же пиджачную пару, зимой накидывает поверх старое одеяло, а всю его комнату занимают ящики. Пока мальчику еще рано, но если его няня однажды останется с ним, вместо того, чтобы уйти в кино...

Однажды он доберется до тех ящиков и обнаружит в них книги... Сотни и сотни книг. Старик, у которого в семнадцатом сын и дочь погибли на Западном фронте, младшие дети умерли в Петрограде от тифа, а единственный внук – от голода, этот старик охотно допустит лобознательного мальчика до своей сокровищницы. И произойдет это именно тогда, когда никто, даже самый искусный Хранитель, не смог бы спасти обреченного отрока: ведь гораздо легче помешать человеку упасть со скалы в пропасть, чем низвергнуться в бездну отчаянья. А в такую бездну превратится в те месяцы весь этот город – и полтора миллиона человек, включая и няню Еву, поглотит она. Но старик и дитя, накрывшись одним одеялом и по очереди отщипывая по крошке от стограммового куска влажного хлеба, будут читать при свете чадающего светильника – каждый свое... Вечером Маргарита принесет им в котелке из госпиталя пол-литра замерзшего по пути тощего варева, они разогреют его на маленькой печке, съедят, уступая другому по пол-ложки – и снова примутся читать – пока не заснут... В той маленькой прожорливой печке сгорит вся оставшаяся в опустевшей квартире старинная драгоценная мебель – но книгами топить ее не станут, Ученик... Так и выживут. У твоего подопечного будут два случая, когда он не умрет только из-за жажды узнать, как выберутся Том Сойер с Бекки Течер из подземелья, и чем закончится эпопея пятнадцатилетнего капитана... Но оба раз подоспеет суп, и с ним – возможность пожить еще. Когда кончится и та большая война, старик перед смертью подарит подростку все свои книги, зная, что только он сумеет распорядиться ими как должно... Но все дело в том, что романы о страстях и странствиях скоро перестанут удовлетворять юношу – и он разыщет для своей новой потребности другие книги. В библиотеке найдутся исторические изыскания, философские труды, богословские трактаты... Он изучит и обдумает Священное Писание, а уже к окончанию школы состоится серьезная проба пера – юный Димитрий втайне напишет блестящее эссе, переосмыслив в свете современной ему жизни учение блаженного Августина...

- Я все-таки хочу услышать, что ты решил, сынок...

Маргарита Осиповна – с короткими седыми волосами, забранными назад под гребенку, заметно ссутулившаяся с возрастом – сто-

яла спиной к раковине в маленькой кухне их новой миниатюрной квартирке на Охте, выделенной матери с сыном, когда старший, в блокаду пробитый во многих местах и кое-как залатанный дом, через пять лет после войны все-таки был признан аварийным и расселен.

Изо всех сил Рита пыталась говорить спокойно, не дать вспыхнуть своей давно таившейся удивленной обиде на сына. Она так на него надеялась! Учился Митя легко и непринужденно, никогда не прикладывая на занятиях особого труда – и многие учителя, не таясь, предрекали ей, что из мальчика явно выйдет толк. Любой, даже самый трудный институт, куда рядовому хорошисту путь заказан – как пустое семечко для ее одаренного сына, уверяли они. Вскоре мать поняла, что увлечение медициной осталось для сына далеко в раннем детстве, когда он, бывало, прилагал все силенки, чтобы помочь врачам и сестрам в больнице, и стала подталкивать мальчика к будущей профессии ученого-авиатора. Записывала в кружок авиамоделирования – через неделю он бросал ходить в Дом пионеров: неинтересно. Тогда мать начинала представлять своего ребенка блестящим инженером у кульмана, окруженного восторженно внимающей талантливой молодежью... Покупала дорогие конструкторы – они пылились годами едва распакованные. Водила в Военно-морской музей – Митя вежливо смотрел на витрины, трогал пальцем ботик Петра... И все. Торжественные парады на Седьмое ноября не производили на него никакого впечатления – и становилось ясно, что бравым офицером ему тоже не быть, а потом еще и обнаружилось плоскостопие... Изо дня в день, из года в год наблюдая запойное чтение сына, мать в последние годы принялась утешать себя тем, что, видно, Митенька станет учителем, раз уж ни к какой крепкой мужской профессии не лежит его мягкое сердце. А что? Будет преподавать деткам историю, например, или литературу... Мужчина-учитель теперь редкость – тем больше почет. Но и к возне с младшими ребятами не выказывал он никакой склонности – скорей, сторонился их... Неужели эта его непонятная пассивность, отсутствие твердого стержня и мужского влияния теперь погубит все такие очевидные таланты, превратит здорового и умного парня в рыхлого, ничего не достигшего в жизни мещанина?

- Так что же? – настаивала она, строго глядя в хорошее и правильное юношеское лицо прямо сидевшего за столом Дмитриия, на его непокорную прядку, упрямую, как и сама его крутая макушка, на которой она всегда победительно топорщилась. – Выпускной позади – куда ты намерен поступать?

- Мама, я боюсь, ты можешь неправильно понять меня и не одобрить моего выбора... – смущенно проговорил, наконец, сын молодым звучным баском. – Я решил...

«Критическая масса» и другие повести...

- Я поддержу любое твоё решение! – горячо воскликнула мать.
– Лишь бы будущая профессия была и тебе по душе, и людям приносила бы пользу!

-...стать священником, мама, – твердо закончил он.

Стало тихо.

- Это... шутка такая... да? – через какое-то время выдавила Рита. – Скажи – да? Я знаю, что у тебя очень... своеобразный... юмор...

- Я не шучу, – мягко ответил Митя. – Ты, может быть, знаешь, что в Ленинграде теперь снова открыли Духовную семинарию... Так вот, туда я и...

- Нет!!! – неизвестным доселе ей самой утробным рыком разгневанной львицы взревела Рита. – Ты не посмеешь!!! Ты – этого – не – сделаешь! Сколько попов – расстреляли! Даже твоего отца – коммуниста – репрессировали! Видит Бог – я его не любила!! Но я – не переживу! Если что-то случится с тобой!! – и вдруг, оторвав ладони от раковины, она всплеснула ими и тяжело грохнулась на колени, на крашенные красной масляной краской доски, и никогда не изведенные раньше рыдания рванулись из груди сами собой: – Ну, стань учителем... Ну, что тебе стоит... Учи детей истории... Чему там еще... И будешь жив и здоров... Только не свя... свящ... – слезы захлестнули ее, как волна, в сердце словно воткнули железный кол – и ворочали, ворочали, ворочали – она поникла, оседая на пол: – Я одна растила тебя... Ты у меня... единственный... Никого на свете... Скажи, что ты не... не... Скажи!

Митя тщился поднять свою высокую и угловатую мать, тяжело и нелепо упавшую на подвернутую ногу, но выходило это у него плохо, поэтому оба неуклюже барахтались под раковиной, мокрые от ее слез...

- Хорошо, хорошо, но только не учителем... – растерянно шептал, возясь с нею на полу, юноша. – Потому что я не умею врать... Я, оказывается, совсем не умею врать, мама...

- И он не станет священником, Наставник?

- Нет. Он поступит на философский факультет Университета, но через год уйдет оттуда сам, не выдержав еще большей лжи – и больше нигде не пойдет учиться. Да и чему было учиться ему – там и тогда?

- И никто, никогда не поддержит его? Даже жены у него не будет, Наставник?

- Будет жена, Ученик. Красивая девушка с длинными светлыми волосами полюбит его за необычность, за странную философию, за непонятные стихи, которые он посвятит ее глубоким синим гла-

Наталья ВЕСЕЛОВА

зам... Она родит ему сына – несоро, в семидесятом году... А это – уже восемьдесят пятый. Взгляни.

Рано увядшая сухопарая женщина со скорбным ртом и паутиной частых неглубоких морщинок на худом желтоватом лице, перекинув через плечо длинный край вафельного полотенца, привычными движениями перетирала вымытые тарелки. Звучные настенные часы настучали уже половину первого ночи, а будильник в спальне, где, все еще не поднимая головы от письменного стола, сидел ее муж, был заведен на шесть. Но ей кровь из носу надо было покончить с посудой перед тем, как лечь спать: пунктуальность характера в совокупности с тревожностью сердца все равно не дали бы заснуть с мыслями о недовершенном деле – такой уж родилась эта женщина... Ну, а сегодня она припозднилась: просидела с Петрушей за алгебраическими примерами почти до полуночи – сама ахнула, когда глянула на часы. Но не даются парню точные науки – просто беда! Зато сочинения по литературе на шестнадцать страницах пишет, без толку мыслю по древу растекается, и училка, дура, потом их перед классом зачитывает... Сколько раз просила ее не возвращать в мальчишке никаких ложных и никчемных мечтаний, предупреждала, что решила направить сына совсем по другой стезе! Он мальчик – и, значит, должен закончить технический вуз. Она не даст ему пойти в отца и превратиться в бесполезного тюфяка-гуманитария... Сделает его настоящим мужчиной – ответственным человеком с уважаемой профессией, кормильца, семьянина. Все силы на это бросит – все, все! «Боже мой, Боже мой... – женщина со стоном прислонилась лбом к белому настенному шкафчику. – Хоть бы завтра он дал мне поспать на час подольше и сам бы доделал с сыном уроки... Физику эту проклятую... Так ведь нет – сейчас погоню его из спальни, а он опять на кухне засядет со своими бумажками. И, когда мой будильник прозвонит, *Этот* как раз спать ляжет – и хоть из пушки пали. А что ему? Работает сутки через трое... Ха! Работает...». Уголки ее рта опустились еще горше, брови трагически изломались... «Устала. Устала. Господи, как же я устала...» – прошептала она, не в силах оторвать голову от прохладного пластика.

Позади нее с шумом распахнулась застекленная дверь, и тотчас зарокотал сочный мужнин бас:

- Люся, послушай! – возбужденно говорил Дима, широкоплечий русобородый мужчина, не обращая никакого внимания на то, что жена его изнеможенно стояла спиной, и он мог видеть лишь ее короткие, пережженные перманентом жесткие кудряшки. – Только не перебивай. Я полгода вынашивал, все не понимал, к чему такое в голове вертится, вертится... И вот сейчас – как молния вспыхнула. И

«Критическая масса» и другие повести...

я – представляешь – на одном дыхании, только что...

- Труба иерихонская... – глухо отозвалась жена, не поворачивая головы. – Ребенка разбудишь...

- Да он дрыхнет без задних ног... – отмахнулся муж. – Так вот... В общем, зачитаю я тебе сейчас один набросок, но, чтобы было яснее, сначала объясню, что и как. Короче, есть такой сто тридцать восьмой псалом у Давида, и всегда меня, знаешь, царапал этот русский перевод с церковнославянского... Что-то там не вытанцовывалось... Перевели, умники: «Зародыш мой видели глаза Твои»... Да почему зародыш-то, когда в псалме ясно сказано: «Несоделанное мое видели очи Твои». Да не имел тут в виду Псалмопевец никаких зародышей! Тут речь идет, Люся – о сослагательном наклонении, вот что! Глаза Господа видели то, чего я не сделал, но мог бы сделать! – вот о чем пишет Давид, и этот псалом – особенный, он не просто славит величие Божье и утверждает Его вездесущность, но и говорит умеющему слышать, что то, что *было бы* – тоже рассмотрено и оценено Богом! Вот я и написал по этому поводу маленькое исследование Псалтири – так, страниц на восемнадцать-двадцать печатного текста... Сейчас прочту, ты только сядь, стоя неудобно слушать... О, Господи, я и сам оглушен, все в себя никак не приду – да садись же ты, наконец – не могу же я все время голову задирать!

Люся медленно повернулась к мужу, и на лице ее читалось такое презрение, смешанное почти с ненавистью, что он осекся и озадаченно пробормотал:

- Люсенька, что?

- Что? Что? – шепотом переспросила она, медленно садясь за стол, округляя глаза и неприятно скалясь. – Ты сам не догадываешься – что? Если ты еще не смотрел на часы – так посмотри: на них час ночи! А вставать мне в шесть! В шесть, Дима! Чтобы успеть разбудить нашего сына, на которого тебе плевать, накормить его и доделать с ним уроки! А потом мне к половине девятого ехать на работу, где торчать до полшестого за ЭВМ! И не напутать там ничего, и самой не сдохнуть! И ты при этом собираешься три часа читать мне какую-то ахинею?! Тебе вообще хоть до чего-то в этой жизни есть дело, кроме своих идиотских фантазий?! – под конец женщина сорвалась на визг, сама позабыв о священном сне ребенка.

- Они не идиотские... И вообще не фантазии... – обиделся Дима. – Ты просто не хочешь понять, потому что никогда толком не слушаешь...

- И не буду слушать! – из глаз у Люси вдруг брызнули усталые злые слезы. – И никто не будет ни слушать, ни читать! Потому что ближайшие пятьсот лет это все равно невозможно напечатать! Опомнись, оглянись – на что ты жизнь тратишь! На дворе конец двадца-

Наталья ВЕСЕЛОВА

того века – какие еще псалмы?! Ты любого... вот любого человека на улице останови... Останови и спроси: «Что такое псалом?» – и ни один не ответит тебе, ни один!!! – она уже неостановимо рыдала, закрыв лицо руками и сотрясаясь, но сквозь рыдания все же неслись горькие упреки: – Тебе за пятьдесят перевалило, борода, вон, седая, волосы выпадают! А все, как мальчишка, в котельной за восемьдесят рублей сидишь и бездельничаешь, я одна вкалываю каждый день в институте и дома! В приличном месте работаю, а хожу оборванкой – порядочные люди смеются! У Петруши одни ботинки на все случаи жизни – а ты статьи на отвлеченные темы пишешь! Которые никому не нужны, и их никто, никогда, нигде не прочтет!!!

– Прочтут, кому надо... И где надо... – хмуро отозвался Дима. – Может быть, не здесь и не сейчас...

– А где? Где? На Западе?! – пуще полились ее слезы. – Ты еще и сесть хочешь вдобавок ко всему, диссидент хренов? Мало тебе того, что ты мою жизнь в грязь втоптал – ты и ребенку ее искалечить хочешь?!

Дима уже не слушал ее – большой, угрюмый и нескладный, он молча собирал с кухонного стола свои исписанные размашистым почерком листы. Сложил в аккуратную нетолстую пачку, постукал ею по столу, выравнивая...

– Я имел в виду – совсем не здесь, – тихо сказал он. – И не сейчас – в другом смысле...

Его жена махнула рукой и уронила голову на стол.

– Скажи, Наставник, а то, что он писал...

– Он во многом ошибался, Пришедший, как любой человек. Но ошибался он меньше других – вот в чем дело. А иногда – редко, но чаще мало кто может вместить – был и вовсе настолько близок к истине, насколько это вообще возможно для смертного... Он не сражался и не погиб за правду, как мученики, он просто и незаметно потерял все, кроме нее. Его Хранителю почти никогда не пришлось бы спасать его земную жизнь, но вечно ходить за ним над такой пропастью смог бы не каждый. Поэтому менингококк той девочки...

– Я понимаю, Наставник. Еще один вопрос, если позволишь: неужели он не получит при жизни вообще никакого утешения?

– Так не бывает ни у кого, Пришедший. Даже ты получил его в свое время, а твой подопечный... Смотри, что было бы с ним еще через четырнадцать лет, в его последний земной день.

– Было бы, да. Не так уж неправильно он понял тот псалом, Учитель...

«Критическая масса» и другие повести...

- Отец, ты дома? – Петруша открыл дверь своим ключом и дважды щелкнул выключателем.

Свет не загорелся; молодой человек стал осторожно пробираться в полумраке по захламленному коридору, задел тренькнувший велосипед – и сразу же, как по сигналу, из-за полуоткрытой двери в единственную комнату, откуда тек слабый голубоватый свет, раздался взрыв надсадного кашля. Он толкнул дверь и вошел к отцу.

Дмитрий Семенович сидел в большом покойном кресле под торшером и тяжело, с хрипом и свистом, дышал. В комнате стояла влажная духота, но окно было не только закрыто, но еще и тщательно законопачено грязным рыжим поролоном. Петруша заметил, что даже за те полмесяца, что он не навещал своего больного родителя, тот еще больше исхудал и опустился: всклокоченная борода, вся в перьях от подушки, падала на грудь, остатки серых волос свалились, гноился правый глаз... На плечи его был накинут теплый клетчатый плед, но старик все равно зябко ежился и потирал руки, как на морозе. По обе стороны от кресла стояли деревянные табуретки, одна из которых была сплошь заставлена пузырьками и коробочками с лекарствами, а другая гордо держала на себе неровную стопку книг и множество испещренных записями блокнотных листочков, придавленных, будто пресс-папье, граненым стаканом в подстаканнике. Молодой человек сел на тахту:

- Ну, как ты, папа? – спросил он нарочито бодро. – Все еще кашляешь?

- Не разговаривай со мной, как с маразматиком! Терпеть этого не могу! – прохрипел отец, и в груди у него грозно забулькало. – Ты прекрасно видишь, что настали мои последние дни.

Петя не умел бездействовать никогда, а сегодня ему еще и было стыдно из-за того, что он так долго не приходил к старику:

- Тебе нужно срочно в больницу. Вот что: сейчас я позвоню в «скорую», и они обязаны будут тебя госпитализировать!

Дмитрий Семенович протестующе поднял руку:

- Ни за что! Не могу больше в больницу. Там только мучают, а легче не становится... Да и нет таких лекарств, чтобы я перестал задыхаться. Видишь ли... Я прозадыхался всю жизнь – дома, на работе, среди знакомых – хотя и дышал тогда еще полной грудью. Теперь я умру от того, чем невидимо страдал все эти годы: задохнусь по-настоящему, явно для всех. Знаешь, я даже рад, что Бог посылает мне именно такую смерть.

- Нельзя так говорить! – наставительно сказал Петя, хотя у него и мелькнула странная мысль: а ведь это правда, как ни страшно звучит; но согласиться вслух было невозможно, и он сам почувствовал, как фальшивы его слова: – Тебе надо лечиться регулярно – вот и

Наталья ВЕСЕЛОВА

все. Хотя бы лекарства вовремя принимать...

Отец посмотрел на него с усмешкой – и опять надолго закашлялся. Продышался и попросил:

- Передай-ка вон ту прыскалку... Мне самому не дотянуться...

Петя взял в руки пульверизатор, посмотрел, возмутился:

- Папа! Ведь этот препарат применяют максимум два раза в день – утром и вечером! Потому что возникает привыкание, и можно просто подсесть на него! А ты в который раз сегодня собираешься?

- Не считал. Да это уже не имеет значения... Человек слаб – никто не хочет умирать в мучениях. В смысле – в слишком уж больших мучениях.

Сын покачал головой, но флакон больному протянул.

- Сменим пластинку, – сказал старик, после того, как с наслаждением вдохнул лекарство. – Как мама? Мужем своим довольна?

- Ты все двенадцать лет каждый раз спрашиваешь, – пожал плечами Петя. – Сам знаешь, что довольна. Когда был у них последний раз – она нахвалиться не могла: и деловой, и с руками, и головастый он у нее... – Петя помедлил. – Тьфу.

Дмитрий Семенович повернул голову и внимательно, почти пронзительно глянул на сына, легонько хмыкнул, приподняв бровь, – но ничего не сказал. Помолчали минутку, и молодой человек решился:

- Папа... а моя книга... ты нашел время... или...

Больной молчал, поджав губы и мелко кивая головой, наконец, вскинул ее, и сын поразился ясности и твердости отцовского взгляда:

- Видит Бог, – медленно и тихо заговорил отец. – Видит Бог, я сделал все, чтобы ты писателем не стал. Я считал это своим долгом, но Он... У Него, вероятно, на тебя какие-то другие планы. Потому что ты – писатель, и куда от этого не деться. Я читал твой роман запоем. Наплевать на горячий максимализм, на недостатки стиля... Это уйдет. Но ты, сын, написал – Трагедию. И мне остается только благословить тебя.

- Папа! – Петруша вскочил и взволнованно забегал по комнате, сам от себя прятая вдруг жарко поднявшиеся слезы. – Но ведь ты всегда так ругал меня... Говорил, что ничего из меня не получится, убеждал заняться каким-нибудь «настоящим» делом... А теперь...

- Это и есть твое настоящее дело – но оно в конце концов разрушит твою жизнь, вот в чем беда... Я боялся за тебя, сынок – просто, как отец, боялся за свое дитя... – прошептал, опустив голову, больной. – Я не хотел, чтобы ты повторил мой каторжный путь – без друзей, без признания, без понимания со стороны самых близких... Я мечтал для тебя о хорошей семье, работе... Простой, чистой и

«Критическая масса» и другие повести...

счастливой жизни, любящей жене...

- Ася любит меня, – быстро вставил Петр.

- Не сомневаюсь... – отец опять обхватил фиолетовыми губами горлышко пульверизатора, перевел дыхание, лицо чуть порозовело. – Она милая и умненькая девочка, но... Дай-то Бог, чтобы этого не случилось, конечно, но ты должен быть готов к тому, что и она не выдержит...

Он выжидающе посмотрел на сына, предполагая возражения – но Петя горько покачал головой:

- А я готов, папа... Давно готов – с того момента, как сел за самую первую рукопись... – он поднялся: – Знаешь, сейчас я должен бежать в садик за дочкой, но завтра мы с Асей...

Дмитрий Семенович махнул рукой:

- Конечно... Постой-ка. Наклонись – перекрещу. И вот что... Не сегодня, а потом... Совсем потом... Ну, ты понимаешь... Ты скажи ей когда-нибудь... Ну, дура этой... Что я ее одну в жизни любил. И сейчас люблю. Как в день свадьбы.

- Как видишь, Ученик, такая жизнь под силу только титану. Нет, двум: второй – тот безумный Хранитель, который согласится работать с ним.

- Да, Наставник. Тут нужна отчаянность. Та, которая в хорошем смысле.

- Тебе-то откуда знать? Ты делай, что велено: проследи за менингококком, потом прими подопечного как должно – тебя учили... По Мытарствам ему не идти – он младенец, так что все просто.

- Он станет одним из нас, Учитель?

- Не думаю. Скорей, Высшие решат учить его другому – но то не наша забота. Жди меня завтра по земному времени – я приду подержать тебя, когда ты предстанешь перед Советом... Ты понял? Что ты молчишь?

- Да, Наставник. Прости, я опять задумался.

4

Ни Мишутка, ни Васятка своих матушек, конечно, не послушали. Оба одинаково ввали и, что бегают на реку с другими соседскими отроками, и проверить их матери, разумеется, не могли. Был у них придуман особый ясак¹, для вызова друг друга со двора по-хитрому, чтобы ни мамки, ни челядь не приметили: весной еще оба они, шутки ради скоморошествова, выучились на

¹ Ясак – условный сигнал (арх.)

свободе грать по-враниному¹, так что теперь, как только раздавался у кого-то из них за забором надрывный грай, будто смелый кот прихватил зазевавшуюся ворону, мальчишка тут же срывался с места и, запихивая за пазуху любую сыть², до какой удалось дотянуться, бежал на улицу, не обращая внимания на ворчливую ругань мамки. Правда, мамки у обоих были уже старые и особенно за ребятами не ходили, считая их почти за отроков, коим дозволено гулять по своей воле.

Местом встречи всегда назначалась негустая осиновая роща над речной излучиной и, накупавшись до зубовного стука, синие от ледяной воды, ребята с наслаждением садились голыми на упеченке³ и честно делили меж собой, кто что принес из дома пожевать на пабедье⁴...

Июль уже готовился перетечь в август, а жары стояли прежние – и, если б не река с ее черной прохладой, то совсем бы беда, согласно думали юные друзья, жуя уже чуть подванивающего от жары осётрика вперемишку с первыми, еще незрелыми яблоками. Они знали, что под вечер у обоих прихватит животы – ну, да то дело было привычное, случалось, и белые черви то у одного, то у другого из задуг вылазили – никто в том беды не видел... Лишь бы хвост осетрика, под носом у мамки Орины с ледника ловко выкраденный, доесть поскорей, пока совсем не провонял... Огрызки яблок они кидали в реку – кто дальше – потом, откинувшись на мягкую траву, безмолвно глядели в небо, задремывали...

- Где-то там батюшка мой обретається? – задумчиво проговорил Васятка. – Видит он меня сейчас, Михайло, как думаешь?

- Знамо дело, видит, – убежденно отозвался его дружок, приоткрыв один глаз. – И как ты у дьяка из сада яблоки воровал – тоже, – в его хитром зеленом райке играли искорки.

- И это?.. – упавшим голосом пробормотал паренек. – Ну, все тогда... Как встречу с ним на небесах – точно возжжой от-делает...

- Когда ты на небеса попадешь, ты и сам уже во какой большой будешь... Пусть попробует! – утешил Мишутка. – Да и забудет он. Нам с тобой до этого еще знаешь сколько...

Позади них в густых кустах ольшаника послышалось как бы слабое скуление, и ребята враз обернулись.

1 Грать по-враниному – каркать, как вороны (арх.)

2 Сыть – пища, еда (арх.)

3 Упеченка – солнцепёк (арх.)

4 Пабедье – второй завтрак (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

- Кутёнок¹ там, что ли? – заинтересовался Мишутка и, не раздумывая, бросился раздвигать ветки. – Ишь, плачет, малой...

То был не кутёнок. Под густыми ветвями сидел и дрожал молодой черноногий лис, смотрел на людей затравленными желтыми глазами – и плакал. Во всяком случае, жалобная морда его была мокрым-мокра. Мальчик осторожно протянул руку, готовясь к тому, что зверь отдернет голову и умчится, но тот покорно, как добрая собачка, подставил шелковый лоб под человеческую ласку и даже как бы подался вперед.

- Ух ты, ручной! – восхитился Мишутка и, присев рядом с ластящимся животным, принялся наглаживать его. – Кушать хочет. А мы рыбку-то сами съели... Экие шалыги²!

Сзади опасливо подобрался Васятка, вытянул было палец, чтобы потрогать серый от жары лисий нос, но отдернул руку:

- А не бешаной он, часом?

- Да не пес же он, чтоб ему бешаному быть, – резонно возразил друг. – А коли и был бы, так кусался бы и пеной почему зря исходил. У нас, когда у соседа собака сбесилась, так она ему, прежде чем околеть, во дворе всех котов и кур передрала и даже из челяди кого-то укусила... Я в щелку смотрел – и то страшно. А этот... Хворый просто... Надо его к дому поближе перенести и выходить... Во! Знаю, куда! В заброшенный амбар! Я ему ужю курятину туда носить буду, – мальчик с нежностью склонился над больным зверем: – Лисенька-лись! А, лисенька-лись? Пойдешь с нами в амбар курочек кушать?

Лис лънул к нему, всем своим видом выражая полное согласие. Кряхтя, ребята вдвоем подняли тряпкою повисшую у них на руках лисицу и, хоронясь от взрослых, по-за домами затрусили в старый обвалившийся амбар. Васятка вызвался сбегать за куском мяса, потому что домашнее воровство выходило у него как-то ловчее и безнаказанней, а Мишутка кинулся в свой двор и молча унес у изумленного дворового пса из-под носа полную плошку воды. Примчался в дырявый амбар, плюхнулся на колени перед мелко подергивающим всей клочкастой шкуркой зверком:

- Лисенька, видишь, как я быстро... Пей, миленький! – и он стал совать плошку к понурой морде.

Но лис не пил. Наоборот, он напрягся и начал судорожно сглатывать – не воду, а воздух, будто давился костью. Глаза его смотрели мутно и трагически.

- Э, да я вижу, ты совсем плоха, скотинка несчастная... –

1 Кутенок – щенок (арх.)

2 Шалыга – дубина (арх.)

искренне огорчился Мишутка. – Почто не пьешь? Надо, друже, – жар у тебя... – запрокинув лисице голову и зажав ее локтем, он принялся обеими руками раздвигать стиснутые челюсти, намереваясь влить воду в пасть силой.

Дикий лесной зверь одним движением вывернулся, в дремучих глазах его мелькнула мгновенная злоба – и мощные белые клыки быстро сомкнулись на детском запястье. Брызнула кровь, мальчик вскрикнул, прижимая руку к животу:

- Вот ты какой... – обиженно прохныкал он, глотая подступающие от боли слезы, но природная доброта пересилила: – Дурашка...

Ветхая косая дверь распахнулась, в солнечной полутьме возник деловитый Васятка – и рубаха у него над поясом недвусмысленно оттопыривалась: мясо было добыто.

- Что тут? – испуганно спросил он, увидев пополам согнутого дружка. – Цапнул все-таки?

Мишутка кивнул, удерживаясь от плача из чистого молодчества. Руку ему они туго перевязали вдвоем – как раз той подобранный во дворе тряпицей, в которую был аккуратно завернут Васяткой кусок недоваренного мяса, борзо утянутый им прямо из кипящего чугунка.

- Заживет, – сурово успокоил он страдальца. – Ты вот что: рукав-то у рубахи вниз раскатай, чтоб Орина твоя или, хуже, матушка не заметила. Я тоже однажды локоть распорол – о сук – во была раница! – и только малый рубчик розовый остался... Помнишь, это на Петровках³ было – а теперь хоть бы что...

Покончив с перевязкой, ребята дружно обернулись на виновника. Лис не шевелился, лежал, вытянувшись, на соломе; в чуть оскаленной пасти тусклым жемчугом поблескивали белоснежные зубы, меж полузакрытых век грязно-перламутрово отсвечивали мертвые белки глаз...

- А давай его на большой муравейник за Москву-реку оттащим? – с ходу предложил неугомонный Васятка. – Когда мураши с него всю мертвечину объедят, мы его кось-главу⁴ на палку вденем и Парашку с Любавкой до поноса напугаем...

- А ведь и правда, чего добру пропадать, – загорелся Мишутка. – Сейчас и пойдем, пока обедать не кличут.

Рука у него уже почти не болела, да и не видел он ничего особого в случайном лисьем покусе: сколько раз его собаки дворовые

1 Во время Петровского поста, до 29 июня по ст. стилю

2 Кось-глава – череп (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

– свои и чужие – со злости за икры хватали, да и босыми ногами на что только не наступал! Иногда ему мамки гной выпускали для облегченья, да отваром романовой травы¹ измывали ошур², а чаще – само проходило... Вон, у холопчика Егорки уж куда как худо было дело: ему бабка из струпа зудящего, что на лбу торчал, живые мушьи личинки выковыривала – и то зажило, как на кошке... Некогда горевать – пока теплынь стоит, пока вода в Москве-реке не замерзает, пока зрелая малина в садах так и падает в ладонь, оставляя на ветках короткие белые стерженьки, пока дожди еще в радость, а ночи стоят душистые...

Мишутка и думать забыл о неприятном случае – уж к Успенью³ и корочки отвалились со следа лисьих зубов, оставив на память кучные красноватые пятнышки – да то не единственная его признашка⁴ была, и посерьезней имелись метки... Вспомнил он о давнем укусе лишь во время торжественной обедни, изнывая в церкви от духоты в своей праздничной рудо-желтой⁵ рубахе, под горло застегнутой, рядом с прямой и гордой, нарядившейся бась⁶ ради в платье из дикой⁷ венецицкой⁸ камки⁹ матушкой... Заживиую рану отчетливо покалывало изнутри – пришлось зажать руку под мышкой, но легче не стало – наоборот, приспело и жжение. Такого никогда до сих пор не случалось, и Мишутка грустно подумал, что и у него, должно быть, под свежей розовой кожицей завелись жирные желтые личинки – не миновать теперь длинной кривой иглы, как холопскому Егорке...

В последний раз подошел он к Причастию без исповеди вместе с младенцами: знал, что по осени сравняется ему семь годов, и кончится воля: придется перед духовным отцом за каждую чужую ягодку ответ держать – каково, а? Мальчик закручинился, а руку все дергало, непонятная тоска тихой сапой заползала в сердце – и поначалу он ее никак с той давней раной не связывал...

За обедом есть не хотелось. Напрасно Орина соблазняла его присланным батюшкой с купли виноградом – целых пять кистей еще утром доставили вкупе с другими гостинцами – Мишутка

1 Романова трава – ромашка (арх.)

2 Ошур – открытая рана (арх., диал.)

3 14 августа по старому стилю

4 Признашка – отличительный признак (арх.)

5 Рудо-желтый – оранжевый (арх.)

6 Баса – красота (арх.)

7 Дикий – серо-голубой (арх.)

8 Венецицкий – венецианский (арх.)

9 Камка – шелк (арх.)

сидел снулый и сонный, в голове стоял отдаленный звон, по плечам бежали мурашки.

- Докупался, – шершавая ладонь мамки провела ему по голове. – Горишь ведь! – и она немедленно послала за матушкой, что в горнице угощала ради праздника духовного отца своего с попадѳей Настасьей.

Она пришла как была, пощипая¹ и веселая, присела на корточки перед печально сидевшим на лавке сыном, жемчуга на очелье² ее убора блестели, будто зубы мертвого лиса. Хотелось плакать, как маленькому, болела спина...

- Вели уложить меня, матушка... – попросил он.

- Простыл, дитячко? – ласково спросила мать, отбрасывая ему волосы со лба и рассеянно ероша их: – Ишь, оброс... Как встанешь – острить велю... И впредь купайся поменьше.

- Все это лис окаянный, матушка, – пожаловался Мишутка, смутно уловивший связь между жжением в старой ране и нынешним своим недомоганием. – Верно, червячки под кожей завелись. Ты накажи Егоркиной бабке их повытянуть, а я ничего – потерплю...

- Какой еще лис? – насторожилась Мария.

- Который сдох, – объяснил ей сын. – Но перед тем кусил меня дюже. Мы с Васяткой руку ту трунью перевязали, да ранка и зажила... А сегодня в церкви как начало в ней печь! И по всем удам³ так жар и растекается...

Она отпрянула, не удержалась на весу – и жалко плюхнулась на гузно. Мишутка изумился тому, как быстро с лица матери стекала вниз природная розовость, руки ее судорожно поднялись к горлу – и она все не могла сделать настоящего вдоха.

- Государыня⁴! – захвохтала мамка. – Не зашиблась ли? Братчина⁵, что ль, в ноги кинулась?

Мария тупо посмотрела на нее помутневшими глазами – и опять вспомнился мальчику околевший лис. Она так и сидела на полу, отмахиваясь обеими руками от мамкиной помощи, но вдруг спохватилась и начала выкрикивать:

- В Немецкую слободу!.. Сейчас пошли!.. Сейчас!.. Лучшего

¹ *Пощипая* – нарядная (арх.)

² *Очелье* – часть женского головного убора, соприкасавшаяся с лицом, украшалась подвесами (рясами) с жемчугом или драгоценными камнями (арх.)

³ *Уды* – части тела (арх.)

⁴ Обращение не только к царице, но и просто к хозяйке дома, имения

⁵ *Братчина* – хмельной напиток из меда (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

лекаря немчина сюда!.. Искуснейшего! Вот... вот... – она принялась стаскивать с пальца что-то сверкающее. – Жуковинье¹ возьми... С лалом²... Только скорей чтоб! Только скорей!

Старуха-мамка, поначалу забормотавшая было о том, что из-за легкого озноба на лекаря тратиться – хозяин зашибет, но, узрев протянутую драгоценность, вмиг схватила ее и, на ходу пряча в складках старого летника, с великою борзостию ринулась прочь из полатки.

Лекарь, не старый еще человек, одетый в странные темные одежды – узкие порты и короткий кафтанчик – был гладко выбрит, так что лицо его смотрелось совсем как гузно с глазами. По-русски он говорил прекрасно, только чуть-чуть чудно, и сразу принялся расспрашивать Мишутку – но тот едва мог отвечать: отчего-то сводило челюсти, и в горле появилось неприятное чувство застрявшего куска, который никак не глотался, сколько ни пытался парнишка то выкашлять, то силой продавить его внутрь. Потом немец долго и больно жгал твердыми пальцами на розовые рубцы – и, наконец, поднялся, хмуря кустистые брови. Некоторое время он молча простоял над Мишуткиной постелью, губы его сложились в узкий, задумчивый, смешно ходивший туда-сюда хоботок. Из-за суконного плеча виднелись только черные глаза матери, отражавшие пламя всех четырех лучин, которыми ради лекаря осветили спальню – но свет сегодня был чем-то ужасен для мальчика, он болезненно жмурился и прятал лицо под перину.

- Воды, – коротко потребовал немец и, немедленно получив из рук мамки детскую кружечку, поднес ее к губам больного: – Пей, Михайло.

Мишутка и не знал, что у воды есть запах! Ничего отвратительней он не вдыхал отроду – но глотнул через силу – и вода пошла обратно... Лекарь убрал кружку и резко оборотился к Марии:

- Государыня, у вас есть еще дети? – голос его походил на пронзительный птичий крик.

Мишутка смутно, уже нехотя удивился: почему, коли ма-тушка одна, лекарь обращается к ней, будто их две – и все потонуло в тягучей судороге, прошедшей от головы к ногам. Мария опустила голову:

- Нет. Была еще Марфинька...

¹ Жуковинье – перстень (арх.)

² Лал – рубин (арх.)

- Это прискорбно, – равнодушно сказал немец. – Потому что вашему сыну врачебная наука помочь бессильна. Та лисица, что укусила его, была бешеная, и зараза попала ребенку в кровь. Если бы он сказал сразу... Можно было бы поставить кровососную банку и попробовать оттянуть больную слюну... Но теперь... В вашем возрасте еще могут быть другие дети.

Пока он говорил, Мария не переставая мотала головой, а когда замолчал – горько улыбнулась:

- Нет. Я уж давно не брюхаю. И, ежели Мишутка мой теперь преставится, то я и сама себя живота лишу.

- Тогда вы большие с ним не увидите, – таинственно отозвался лекарь.

Мария снова замотала головой.

- Послушайте, – продолжал он. – Зрелище будет тяжелым. Вам лучше не видеть – такое даже для меня трудно. У мальчика не получилось сделать ни одного глотка воды – значит, я не смогу напоить его и сонным отваром, чтобы страдания свои он прошел в беспамятстве. Но напиток пригодится вам, государыня. Для вас будет лучше опочивать, потому что вы сыну ничем не поможете... Этот маковый отвар дает на время забвение, подобное смерти.

И тут Мария кинулась на лекаря, как медведица:

- Опочивать?! Опочивать?! – дико взвела она ему в лицо. – Когда дитё мое единое смертную муку принимать будет?!

Легко отшвырнув лекаря, она рванула с головы убор и простоволосая бросилась на колени перед Мишуткиной лавкой, накрыва собой его сотрясавшееся тельце:

- Дитяtko мое! – взревела она, терзая рассыпавшиеся волосы. – Насилу свет от слез вижу! Чрез меня, твою мать окаянную, пришла тебе пагуба! Иудин грех совершила из зависти – под дыбу подвела Мавру-подружью! И как мне теперь в том каяться?! Коль и церковь поставлю обыдённую¹ – не отмолить греха такого! Мишутка, свет мой ясный – лучше б, как отец твой меня, брюхатую, чоботами² колотил – мне б с тобой вместе да убиенной бысть, чем тебе на головушку безвинную смерть лютую призвать! Ты с собой теперь возьми меня – туда, куда уходишь от матери! Укуси меня за персты, что извет на Мавру писали, чтоб я тоже бешаной стала и в мученьях скончалася! – и, помутившись разумом, Мария поднесла руку ко рту метавшегося мальчика.

1 Обыдённая – построенная по обету за один день (арх.)

2 Чоботы – сапоги (арх.)

«Критическая масса» и другие повести...

Мамки оттаскивали ее; позади бритый лекарь тихо давал сбившейся в кучу у дверей челяди быстрые распоряжения:

- Свет уберите совсем, оставьте только за дверь. Принесите хорошие возежи: мальчика сейчас придется связать и взнудать, иначе он скоро начнет кусаться и станет для всех опасен, – он обернулся на Марию, пожал плечами: – Эти москвиты... Сколько живу здесь – а все никак не привыкну к их варварским нравам...

...К утру больного развязали: он почти успокоился – лежал тихо, дрожь проходила по телу все реже и реже, обильно текла слюна – уж все подголовье насквозь промокло – и мать его лежала, уткнувшись туда лицом, стиснув зубами перину и порой издавая тяжёлый стон. Сквозь узкие слюдяные окошки оранжеVELO последнее Мишуткино солнце.

- Она тоже, вероятней всего, сбесится, – сказал немец Ори-не, кивая на распростертую Марию. – Укус для этой заразы не обязателен, слюне бешеного достаточно попасть другому в рот, а она изжевала всю мокрую простынь.

Орина беззвучно заплакала, утираясь концом повоя¹. Но Мишутка вдруг очнулся, приподнял восковые веки и почти неслышно позвал матушку. Она вздрогнула и подскочила, щупая его лоб:

- Что?! Светик мой ненаглядный – неужто полегчало тебе? – с безумной надеждой она обернулась к лекарю и мамке:

- Ему лучше! Смотрите – жар-то спадает! Простил меня, значит, Господь?! Умолила его Мавра-мученица?!

Бритый черный человек бесстрастно покачал головой:

- Нет, государыня. Мальчик не может выздороветь. Но теперь он будет спокоен и, может быть, даже съест хлеба и выпьет воды. Так всегда бывает при этой болезни. Перед самым концом Бог посылает утешение.

- Что случилось, Ученик? Ты где-то допустил ошибку?

- Нет, Наставник, ошибки не было.

- Неужели Еве не позвонили? Да нет же – я вижу того человека: вот он опять набирает номер.

- Учитель, я тоже видел его. Но... Ведь ты же сам – помнишь? – научил меня, как переломить телефонный провод...

- Ты... сделал так, чтобы няня не услышала звонка? И не испугался гнева Высших? Но что заставило тебя?

¹ Повой – род платка, ниспадающего из-под женского головного убора; покрывал шею и плечи (арх.)

Наталья ВЕСЕЛОВА

- Я тоже достиг своей критической массы, Наставник. Я негодный Хранитель и не прошу прощения – знаю, что это бесполезно. Моя вина велика, и я готов нести любую кару – но... после того, как пройду с моим подопечным до конца... Возможно ли это? Ты молчишь, Учитель?

- Я нем от восхищения Пришедший. Ты еще не понял? Это и был твой экзамен – здесь он суровей, чем на земле. Ты – прирожденный Хранитель, и не ищи другого служения. Отныне ты больше не Ученик мой, а полноправный Соратник.

- Наставник... Я так ошеломлен, что не знаю, что сказать.

- Не говори, а действуй, Соратник: пока ты отвернулся от подопечного, **те** уже надоумили его схватить острые ножницы... Впрочем, смотри сам: отныне ты один за него в ответе.

- Отложи ножницы в сторону, Митя, и сядь прямо.левой рукой не забудь придерживать тетрадь. Вот так. Нет, не смотри на мамину чернильницу: ты еще и карандашом-то не научился писать как следует.

- Ну, тетя Ева...

- Я сказала: нет. Возьми карандаш правильно. Готов? Начинаю: мы-не-ра-бы... Не надо писать так размашисто.

- Тетя Ева, я забыл рассказать: мы с мамой сегодня, когда шли из булочной, видели...

- Потом, Митя. Написал? Не-ра-бы... Не сутулься, подними голову... Ра-бы... Ну, вот теперь красивее получилось... Давай дальше... Ра-бы-не-мы... Смотри в тетрадь... Митя, смотри в тетрадь, я говорю...

- Это они... Тетя Ева, это они!!! Те самые, красные!.. Как высоко залетели – прямо на наш тополь! Тетя Евочка, смотрите!!! Сколько их! Кругом зима, а им хоть бы что!

- И правда – как красиво, Митя! Я, вообще-то, зиму терпеть не могу – холодно, все белое кругом, вечные простуды... А вот они прилетели – и просто какое-то... Даже не знаю...

-...утешение, тетя Ева. Без этого никак.

31 июля 2016 г.
Новый Иерусалим



СОДЕРЖАНИЕ

Галактика вранья	3
Друг мой, кот...	119
На линии любви	235
Курган победителей	346
Критическая масса	449



Наталья Александровна ВЕСЕЛОВА

**«КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» и другие повести...
Сборник избранных повестей**

Литературно-художественное издание

Художники:

**Сафронов Игорь Александрович
Полякова Ольга Александровна**

По вопросам приобретения книги обращаться по тел:

8-921-908-97-16, 8-921-655-22-20

сайт: www.rmsp.pro

(Российский Межрегиональный Союз писателей),

а также по электронной почте:

igorsirena@mail.ru

Санкт-Петербург,

ООО «Издательство Гамма», 2017, 540 с.

В авторской редакции

Технический редактор Н.А. Сафронова

Отпечатано в типографии издательства «Гамма»

с готового оригинал-макета.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д 87

Печать офсетная, формат 84х108/16. Тир. 1000. Заказ № 898